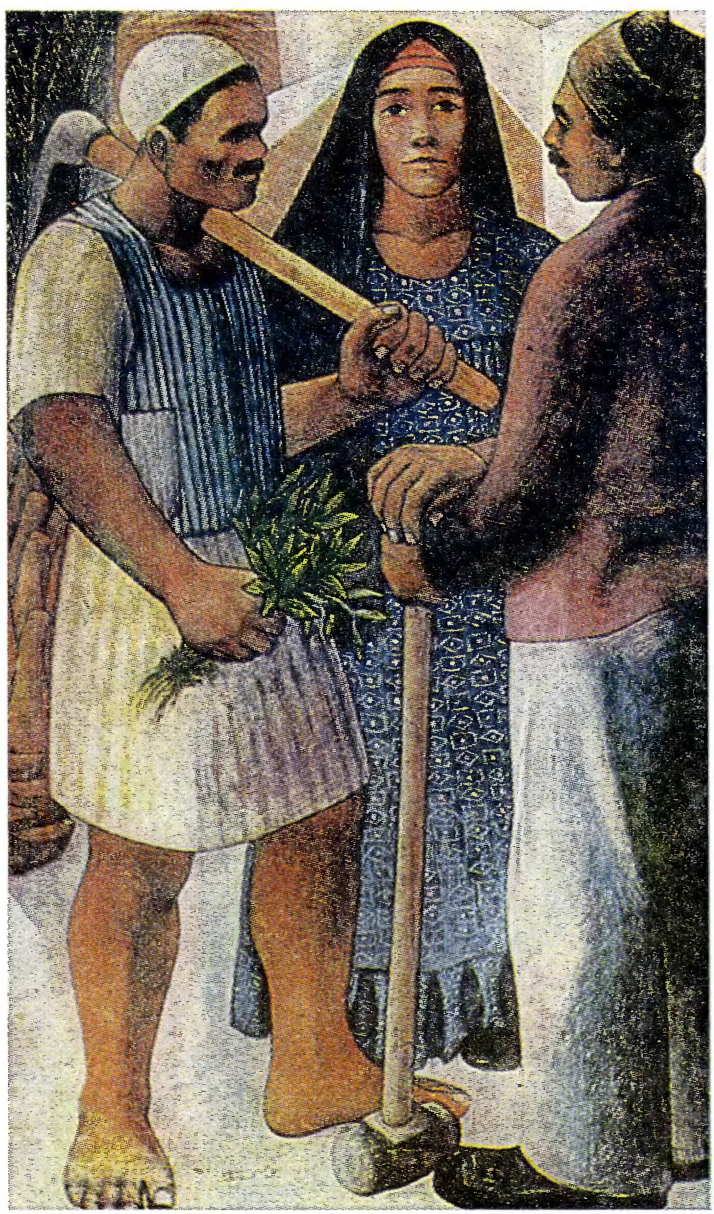
3.1975

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



ВАЛЬТЕР ВОМАКА *(ГДР)*

Мать и дитя

СОДЕРЖАНИЕ

ТАДЕУШ НОВАК — Черти *(Роман. Перевод с польского К. Старосельской. Вступление А. Ермонского)* 4

УОЛТЕР МЭККИН — Действующие лица в порядке их появления *(Рассказ. Перевод с английского С. Митиной)* 61

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Горы и оружие *(Роман. Окончание. Перевод с английского О. Сороки)* 74

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — Из моей жизни *(Перевод с чешского И. Бернштейн и Л. Лерер. Предисловие И. Бернштейн)* 154

К 500-летию со дня рождения Микеланджело

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — Мой Микеланджело. Мемориал Микеланджело 203

Критика

С. ШЕРЛАИМОВА — Духовная ориентация — социализм (Заметки о современной чешской литературе) 215

Н. ВАГАПОВА — Верность времени (О творчестве Марияна Матковича) 224

Культура и современность

Заметки на полях

Г. Богемский, А. Богемская — Метаморфозы Пазолини 230

Публицистика

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — Идеальный вакуум *(Фрагменты из книги. Перевод с польского Э. Гессен. Вступление Ариадны Громовой)* 238

Изобразительное искусство за рубежом

А. БОГДАНОВ — Живопись Мохаммеда Овейса 254

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

3

МАРТ
1975

СОДЕРЖАНИЕ

Среди книг

Издано в СССР

В. Пронин — Признания невиновного. А. Зверев — Уроки мастера 257

Издано за рубежом

С. Пархомовская — Двенадцать статей о болгарской прозе. Т. Мотылева — Грани таланта Кристы Вольф. В. Ивашева — «Хранители мудрости» Чарльза Сноу. Г. Жучкова — «Леаль» — значит «верный» 261

Из месяца в месяц 269

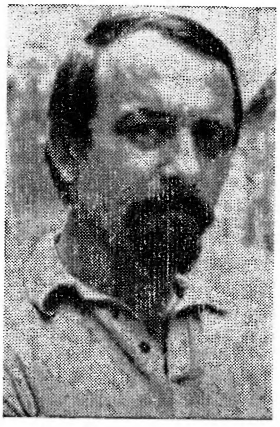
На всех языках 285

Авторы этого номера 286

На обложке: картина МОХАММЕДА ОВЕЙСА (АРЕ) «Мы — народ».

На цветной вкладке: работы художника МОХАММЕДА ОВЕЙСА.

© «Иностранная литература», 1975.



ТАДЕУШ НОВАК

Черти

РОМАН

Перевод с польского К. СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Рождение легенды

Это — по существу первое серьезное знакомство советского читателя с прозой Тадеуша Новака, яркого и самобытного писателя Народной Польши. Еще в начале пятидесятых годов он заявил о себе как незаурядный поэт и сегодня по праву занимает почетное место в польской поэзии. Но в 1962 году Тадеуш Новак дебютирует вторично, уже в прозе, и с тех пор, не оставляя поэзии, все чаще обращается к рассказу, повести, роману.

И именно один из его романов («А как королем, а как палачом будешь», 1968 г.) принес ему и широкую известность, и широкую популярность, был включен в школьные программы «обязательного чтения». И именно проза Тадеуша Новака (в 1971 году вышел его роман «Черти», в 1974 году — роман «Двенадцать») стала, пожалуй, наиболее веским аргументом в пользу Государственной премии, которой писатель был удостоен в 1974 году. Это отличие тем более почетно и знаменательно, что писатель стал лауреатом в году, юбилейном для своей родины, когда социалистическая Польша перешагнула рубеж тридцатилетия. По общему мнению, Государственными премиями в прошлом году в Польше были отмечены наиболее зрелые работы, которые вносят важный вклад в сокровищницу социалистической культуры Народной Польши. И, думается, не случайно имя Тадеуша Новака оказалось в одном ряду с именами таких выдающихся деятелей современного польского искусства, как, например, писатель Мариан Брандыс, кинорежиссер Анджей Вайда, театральный режиссер Конрад Свинарский, актер Даниэль Ольбрыхский...

Тадеуша Новака нельзя — без большой натяжки — назвать деревенским, или крестьянским, писателем в традиционном и узком смысле этого слова, хотя он превосходно чувствует и знает польскую деревню, ее быт, историю и традиции, ее чистую и прозрачную крестьянскую речь, ее мифы, поверья, легенды. Его нельзя назвать так, хотя в последних своих романах он нарисовал — возможно, в художественном отношении убедительнее, чем кто-либо до него в польской послевоенной литературе,— картину того перелома, который в конце сороковых годов произошел в польской деревне. Все дело, видимо, в том, что взгляд Тадеуша Новака на эти проблемы, на эти события нестандартен, а их трактовка неожиданна, своеобразна. Потому, наверное, роман «Черти» нельзя вот так просто пересказать «своими словами».

Конечно, ответить на такой, казалось бы, простой вопрос — о чем повествует Тадеуш Новак — можно было бы, скажем, и так: менее чем о двух первых послевоенных годах в небольшой деревушке; о том, как налаживается и перестраивается здесь жизнь — крестьяне делят помещичью землю, посылают двенадцать наиболее способных деревенских ребятишек в город учиться, расправляются с бандой Боруты, отрядом контрреволюционного подполья, борьба с которым требовала, как известно, большого напряжения сил в конце сороковых годов; о трагической судьбе двух молодых крестьянских парней, в эту банду втянутых. Но такой пересказ не дает и не может дать никакого представления о романе. Ведь в основу его писатель кладет действительные, суровые факты революционного поворота в жизни и сознании польского крестьянства, однако, так сказать, не в чистом их виде, а как бы осмысленные и измеренные вековым нравственным опытом «польского мужика». И потому роман «Черти» — документально до-

стоверный, по существу, рассказ о пробуждении крестьянства, польского народа, который крепко берет в свои руки собственную судьбу,— все же не хроника, облеченная в литературную форму, не бытописание, не «деревенская проза», а свидетельство талантливого художника о том, как этот поворот воспринимали крестьянский ум, крестьянская душа, как они творят легенду, из каких источников берет она свое начало, как она рождается в наши дни, в XX столетии.

Когда говорят о легенде, былине, мифе, обычно и прежде всего имеют в виду прошлое, причем, как правило, далекое, даже седое прошлое. В роман Тадеуша Новака «Черти» естественно, органично вплетены старые легенды, притчи, сказания и поверья, в емкой и афористической форме в них словно бы спрессован многовековой опыт народа. Опыт, который остается и частицей его жизни, и в определенной степени служит нравственным мерилом происходящего сегодня. Но вместе с тем Тадеуш Новак показывает, как такое восприятие преломляется в душе человека, накрепко связанного с землей, с прошлым, с событиями, происходящими у него на глазах, а нередко и при его участии, как эта современная, живая история может стать — и становится — основой новых легенд и притч.

Раздел помещичьей земли, первый снятый с нее крестьянами — свой — урожай, первый праздник Дожинок в бывшей господской усадьбе — это, пожалуй, наиболее поэтичные, наиболее правдивые, наиболее трогающие душу и говорящие уму и сердцу страницы не только в романе Тадеуша Новака, но и вообще в послевоенной польской литературе, которая не раз обращалась к описанию переломных для судеб польского крестьянина дней. Сцена Дожинок, праздника урожая, например, напоминает подлинное народное действо.

...За огромным столом — вся деревня. Сам стол накрыт по-барски: серебро, фарфор, хрусталь. Кушаний горы. Напитков — реки. Мужики и бабы учатся есть вилкой, держат в заскорузлых, натруженных руках ножи и изящные рюмки. Всей деревней сидят они за «общим столом, чтобы этими ножами и вилками зарезать, заколоть раз и навеки вечные нашу покорность, привычку нашу целовать ручку, ползать на коленях, выклянчивать краюху хлеба, кварту муки, драную рубаху, вязанку дров».

Но, как было в польской послевоенной истории и как положено быть в легенде, мир, праздник омрачает появление пьяной банды Боруты, этих «господских чертей». В жизни, однако, в такой момент обычно раздавались выстрелы, лилась кровь, падали люди, вспыхивали пожары. В легенде — как в легенде. Борута кощунствует: он приказывает свалить на землю все яства, смешать их с грязью, а затем понуждает людей, словно скотину, дочиста вылизать двор. Но и этого показалось мало панскому дьяволу. Он велит перебить весь фарфор, весь хрусталь. Он велит соорудить из вилок и ножей «терновый венец» для старостихи, солтысихи, и гонит, гонит ее, босую, по острым осколкам — вот, мол, твоя Голгофа...

Как и положено в легенде — а так было и в жизни,— банда в конце концов распадается, не находя поддержки в деревне, уходят в небытие «господские черти». Новая жизнь крепнет, новая, народная власть пускает глубокие корни. Так, отвечает всем своим романом Тадеуш Новак, творится сегодня легенда. Так она, судя по всему, творилась и всегда. И весьма характерно: многие сцены романа поэтому напоминают мистерии, служат как бы символом, метафорой реально происходивших в польской послевоенной деревне — и можно без преувеличения сказать, в польской послевоенной истории вообще — процессов. Но символом и метафорой, которые как бы рождены фантазией крестьянина, а потому приобретают ясную, прозрачную, привычную форму народного сказания, притчи, легенды, расцвеченную нередко евангелическим орнаментом.

Всем этим объясняется и своеобразие композиции романа Тадеуша Новака, в котором словно воедино слились два на первый взгляд весьма чуждых друг другу течения: реалистическое, претендующее на педантичную верность конкретному ходу истории, и фантастическое, буйно сказочное, щедро приправленное народными поверьями, сказаниями, а порой также суевериями и предрассудками. И глубоко прав, на мой взгляд, был литературный критик газеты «Трибуна люду», когда, отметив, что и то и другое играет в романах Тадеуша Новака (помимо «Чертей» он имел в виду и «Двенадцать») строго определенную роль, подчеркивал их органическую связь между собой, невозможность, не искажая замысла писателя, толковать их каждое по отдельности, в отрыве друг от друга.

Да и действительно, можно ли было бы в противном случае вообще понять и принять центральный образ романа — солтысиху Ядвигу, от имени которой ведется все повествование? Кто она? Живой, реальный исторический тип? Или игра воображения, полуколдунья, полупрорицательница, повитуха-самоучка и пастырь в юбке? Ни то ни другое по отдельности. Но и то и другое вместе.

Уже в молодости, когда зрение ее стало ослабевать, Ядвига почувствовала, что у нее открывается как бы второе, «внутреннее», зрение. «Мудрецом я не была,— вспоминает она,— и никогда не стремилась стать. Правда, еще со школьных лет помнила я, что прорицательницы, пророки, предсказатели человеческих судеб либо бывали слепы от рождения, либо им выкалывали глаза. Если я и знала больше, чем... наши деревенские, то не потому, что корпела над книжками, изучая небо и землю. Просто мне поневоле приходилось заучивать наизусть не только церковные песнопения и мир-

ские истории про королей, святых и героев, но также и то, что в человеке тонко, как паутинка. Теперь, на старости лет, мне кажется, что, положив ладони на лицо любого человека из нашей деревни, я смогу рассказать о том, что глубоко-глубоко в нем упрятано.

И не хотела я, а мало-помалу стала для деревни словно бы провидицей. Наверное, этому еще помогло то, что я принимала всех новорожденных. С незапамятных времен люди верили, что повитуха, отрезая дитя от пуповины, отсекает его от черных сил ада, от мира, населенного колдуньями, и от вечных мук».

Вот такая женщина после смерти своего мужа, задолго еще до второй мировой войны, занимает в деревне его место: становится солтысом — своего рода «головой» деревенской общины. О годах оккупации солтысиха почти ничего не рассказывает, но мы все же узнаем, что она сколотила из деревенской молодежи боевой отряд, что потому у нее и медаль партизанская есть и Золотой крест заслуги. Бездетная и одинокая, пожилая, больная женщина оказывается деятельной, активной силой в тот важнейший для польской деревни год, когда делилась помещичья земля. Без деклараций, без громких слов, всем сердцем встречает Ядвига Народную Польшу. Она видит в ней осуществление извечной крестьянской мечты о земле, справедливости, образовании и счастье для детей. И на свой лад выражает это свое настроение, стремясь передать его всей деревне, укрепить, утвердить в ней веру в новое. Принимая у немолодой уже крестьянки, матери семи девочек, новорожденного мальчика, она предлагает родителям назвать его странным именем: Пророк. И пусть нет такого имени в святцах, пусть в костеле нарекут его Якубом, но для отца с матерью, для солтысихи, для всей деревни он так и останется Пророком: ровесником и провозвестником новой жизни, новой доли.

После войны прошло тридцать лет. В жизнь вступили поколения, для которых «послевоенные сороковые» — давняя история. Но значит ли это, что каждое обращение к недавнему прошлому, как и более далекому,— непременно уход от настоящего, от сегодняшнего дня? Строго говоря, почти все значительное, появившееся в польской литературе в последние годы, так или иначе обращено к прошлому, связано с прошлым, а иногда можно рассматривать даже как возведение литературного памятника прошлому. (Здесь, чтобы не множить примеров, достаточно сослаться на трех писателей, как и Тадеуш Новак, получивших в прошлом году Государственные премии: Марию Кунцевич, Мариана Брандыса и Анджея Кусьневича, книги которых с чисто формальной точки зрения следовало бы отнести к разряду «исторических повествований».) Но это, однако, не имеет ничего общего с «бегством от настоящего». Скорее напротив.

В польской литературе примерно до шестидесятых годов главенствующую роль, без сомнения, играла проза, в которой шел жестокий, нелицеприятный, беспощадный «расчет с прошлым» — военным и предвоенным прошлым буржуазной Польши. (Кстати, тогда это «прошлое» было еще слишком близко, слишком живо, чтобы стать историей.) Сегодня, как мне представляется, можно было бы говорить о другом, не менее интересном процессе: о поисках ответов на новые, сейчас возникающие вопросы — вопросы, сейчас мучащие человека,— в его прошлом, так сказать, в биографии народа, страны, о попытках найти корни, причины многих нынешних представлений в национальном характере, национальных традициях, национальной судьбе. Так литература факта, которой еще совсем недавно отдавалось предпочтение, все более явственно превращается в литературу воспоминания о факте, о мифах и легендах, в литературу, пытающуюся объяснить, как они, эти факты, мифы, легенды, рождались, какое влияние они оказали на формирование дня сегодняшнего. Проза Тадеуша Новака, думается, относится именно к этому направлению.

«Достоверными или поддельными могут быть документы, но нет достоверных или поддельных легенд,— так писал в 1945 году польский писатель Ксаверий Прушинский в рассказе «Трубач в Самарканде». У легенд нет метрики... Легенда бродит и крепнет в умах поколений и поколений, как вино в бочках». И если так, то легенды и мифы, рожденные совсем недавно, три десятилетия назад,— это молодое вино, которое бродит в умах детей и внуков односельчан солтысихи Ядвиги.

Польская деревня, ее общественное мнение и общественное самосознание у Тадеуша Новака здоровы, динамичны, активны. Польская деревня у Тадеуша Новака не только свято хранит традиции, духовные ценности прошлого, выдержавшие закалку временем, историей, но и решительно прибавляет к ним новое, рожденное новой жизнью, столь же категорически отбрасывая старое, «дьявольское», стоящее на дороге. Ибо польская деревня, послевоенная польская деревня у Тадеуша Новака — это общество, которое знает, чего оно хочет и чего оно не приемлет. Это знание, эту выстраданную собственной долей приверженность к новым ценностям новой, социалистической Польши — наряду с наказом не забывать историю своих отцов и дедов — она передает молодому поколению: тем двенадцати парнишкам, которых солтысиха послала в город учиться (об их судьбе писатель повествует в своем последнем романе, «Двенадцать», прямом продолжении романа «Черти»).

Вот почему так светел, так оптимистичен этот роман о трагической временами схватке польского крестьянства с «господскими чертями», пытавшимися вновь сесть ему на шею, и с «наваждениями», источником которых была и собственная его темнота, отсталость, невежество. Идеи, практика новой, свободной жизни, как подчеркивает это

своим романом писатель, утверждаясь в реальной жизни, утверждались и в душах, в сознании людей.

Тадеуш Новак, подобно герою уже цитировавшегося рассказа Ксаверия Прушинского, по-видимому, считает, «что если какая-то версия сохраняется в памяти одного или нескольких людей или в нескольких документах, то она значительно менее достоверна, чем версия, сохраняемая большинством жителей какой-либо деревни, местности или города и затем передаваемая следующим поколениям». С этим, по крайней мере, безусловно согласилась бы рожденная фантазией Тадеуша Новака полуслепая крестьянка Ядвига, которая оставила после себя правдивое, немного печальное и очень поэтичное сказание.

А. ЕРМОНСКИЙ

Прости, Пророк, что так поздно отвечаю на твое письмо. Раньше я не мог исполнить твою просьбу. Хоть я и не крестьянствую, ибо на клочке настоятельского поля посадишь разве что лук, морковь да петрушку, но с тех пор, как умер Каноник (спаси, Господи, его душу) и в наш приход назначили нового ксендза, дел у меня столько, что я и не заметил, как промелькнули лето и осень. Не подумай часом, что я забыл о твоем письме. Оно у меня лежало в ящике письменного стола, откуда ты, когда был маленький, любил таскать конфеты, облатки, оставшиеся с сочельника, и образки, которые не успели раздать на святках.

Часто, приводя в порядок приходские книги и акты, препорученные мне по распоряжению нового настоятеля, я брал твое письмо и, читая его с помощью увеличительного стекла (в последнее время зрение мое сильно ухудшилось и очков уже недостаточно), вспоминал твои детские и отроческие годы. А иной раз, бывало, задумаюсь, переведя взгляд с твоего письма на клен за окном, сквозь листву которого видна лестница, ведущая на костельные хоры, и ты словно бы являешься мне возле органа. Я даже слышал, как ты тяжело дышишь, уставши качать мехи. Еще видел я тебя закинувшим голову к деревянному своду костела, расписанному изображениями бога-отца, Адама, Евы и райской яблони. И видел, что тебя искушает яблоко у Евы в руке. А может быть, я ошибаюсь, может, в ту пору тебя уже больше волновали груди нашей праматери, со знанием предмета воспроизведенные художником.

Однако перейдем к делу. Что́ тебе видения старого органиста, который ходит во всегдашнем своем закапанном свечкой сюртуке и причесывает пятерней едва смоченные водой космы. Ты спрашиваешь насчет дневника старой солтысихи. Верно, я показывал тебе его несколько лет назад, когда ты уезжал учиться в институт. Сейчас я пишу письмо, а дневник этот лежит передо мной на столе. Странички сильно поистлели. Видно, что их не пощадили ни солнце, ни мухи, а кое-где даже жучок поел. Признаюсь, мне не очень хочется отдавать его тебе. Хотя бы потому, что дневник не весь написан старой солтысихой. Ты ведь знаешь, что к концу жизни она почти совсем ослепла. В тот год она каждые две-три недели приходила ко мне. Усаживалась в кресло на мягкую подушку, потягивала маленькими глоточками кизиловую настойку и, слово за словом, диктовала мне свой дневник. Я не всегда точно записывал то, что она говорила. Порой меня тянуло ее рассказ пригладить, приукрасить. Случалось, что после ее ухода, просматривая первую часть дневника, написанную ею самой, я добавлял целые страницы пояснений и даже, подделываясь под ее манеру, говорил за старуху. Незадолго до ее смерти я признался ей в этом.

Она велела прочесть вслух мои пояснения и куски, написанные как бы от ее имени. Обидеться на меня не обиделась, но особенно и не обрадовалась. А когда я настойчиво стал интересоваться ее мнением, сказала: «Вы пишете от себя, а я от себя. Вы рассуждения вставляете и немножко присочиняете, а я записывала одну правду. Может, так оно и лучше. Если кто когда-нибудь это прочитает, увидит нашу деревню как бы глазами двух человек».

Я решил выполнить твою просьбу и переслать тебе дневник не потому даже, что в нем говорится о нашей деревне. Скорее я это делаю потому, что, читая его, ты снова увидишь нашу солтысиху как живую. Хочу только тебя предупредить, что в дневнике идет речь и о тебе. Прости это старушке. Она возлагала на тебя столько надежд.

И еще одно, Пророк. Я не стал просматривать дневник, чтобы не рассыпались в прах изъеденные страницы. Вытащив из ящика, я сразу же обернул его в газету и вложил в конверт. Быть может, просматривая его и перепечатывая, ты найдешь между страниц вырезки из старых календарей, из крестьянских журналов, а может, случайно кое-где затесались отрывки из состряпанных мною сценок для вертепов, для представлений о Страстях господних и ноты с колядками. Приведи все это в порядок, а что сочтешь лишним или просто ненужной чепухой, кинь в печку. Разумеется, я надеюсь, ты вернешь мне рукопись вместе с одним или двумя экземплярами, отпечатанными на машинке.

У меня ничего интересного. Вот только некому качать органные мехи. Все деревенские мальчишки стали учиться. Я по-прежнему вожусь с церковными бумагами, приводя в порядок метрические книги.

Твой органист

1

Вчера вечером народился Пророк. За несколько дней до него родился козленок. Пророк и козленок появились на свет в хлеву. Один на сене, другой на соломе. Про козленка известно было, что он должен родиться в хлеву на соломе. Известно было недели за две, с той поры, как коза начала толстеть, выпивала разом ведро соленой воды и перестала по ночам срываться с привязи, чтобы обгрызать хвост старой кобыле. И не мудрено, что козленок этот был жданным, желанным, не раз помянутым в молитвах утренних и молитвах вечерних, в литаниях слаще сыпкого овса, слаще высушенного под сентябрьским солнцем сена — таких, какие испокон веку складывали колдуньи, поминая нетопыря, кобчика, сову и ласточку, бегающую по речному дну.

Никто в округе нашей, да и в соседних — а козу знали повсюду — не сомневался, что, как всегда, родятся два козленочка: один черный, а другой белый. Так оно повелось издавна. При бабках и прабабках так было, и еще, наверное, при той козе, которая во время оно пришла из-за гор с мадьярской стороны, и еще при той козе, которая была сначала словом и лишь потом в руках у Адама и Евы стала копытцем, шкурой, бородой и рогами на земле, бесприютной после утраты рая. Дивилась хозяйка, и хозяин дивился, и вся деревня, что ни дом, дивилась, отчего это коза, приносившая каждый год двойню, черного козлика и белую козочку, родила только одного козленочка.

Да и как тут не дивиться, как не горевать, когда исстари было заведено июньской ночью трижды обходить с черным козленком вокруг деревни, чтоб он блеял на тени, шевелящиеся в садах, мелькающие в колосящемся жите, чтобы бодал едва прорезавшимися рожками де-

ревцо за деревцом в осиннике. Известно ведь, что в молодом осиннике ведьмы приносят на свет дьявольское отродье: нетопыря, который запутывается в волосах и выедает мозг; кобчика, который выклевывает печень у заснувших на траве усталых жнецов; сову, которая, врываясь в сны стариков и младенцев, баламутит в них каплю за каплей живую воду; ласточек, которые, не замечая норовистого течения реки, ходят по илистому ее дну, зарывая в тину любовь молодиц и вздохи мальчишек.

А когда черного козленка обведут трижды вокруг деревни и от рожек его и блеянья все станет так, как записано в книге трав и в книге вод, на буйволовой коже земли и на рогоже небесной, тогда подвязывали ему на голубой ленточке серебряный колокольчик и приводили к нашему маленькому деревянному костелу. А я взбегал по деревянной лестнице на хоры и, хотя был июнь и над полями только-только умолкли богородичные песни, играл колядку про вола, что, преклонив колени, любуется лежащим на сене младенцем.

Сбегая вниз, я уже слышал позванивающий в притворе колокольчик. Здесь, в костеле, а точнее в костелике, который выстроили три века назад без единого железного или даже медного гвоздя, памятуя о мученичестве Христа, апостолов и отцов церкви, козленку перерезали горло. Перерезали медленно, чтобы не задеть боевой жилы, чтобы по каплям текла темная кровь на белый камень, вымытый загодя мыльной водою, посыпанный белым песком.

Коли зашла речь о белом камне, надо рассказать о нем все до мелочей. Потому что камень этот не из реки вынесли и не из земли вытащили, и не был он из погоревшего дома, с уцелевшего его порога, и тем более не был он с неба, хотя старые люди в деревне помнят камни, падавшие с небес, гаснувшие в реках, в озерах, в колодцах как знамение божие о том, что мор, война и голод уже бродят за лесом. Был этот камень из плача, выплаканный по слезинке тем народом, что в незапамятные времена пришел в наши края с козой, кремневым топориком да с одним семечком мальвы, украденным у монголов. Кто хочет убедиться, что я не вру, что все это сущая правда, пусть зайдет в маленький наш костел, наклонится и лизнет белый камень. Соленый он, будто его только что вытащили из копей в Величке.

Над этим камнем из плача — впрочем, в деревянном костеле он единственный — и закалывают черного козленка. А когда из надрезанного горла, из перерезанного, чтобы не блеял, дыхала, выйдет вся кровь и выйдет дух, да так, что ни копытце не шелохнется, ни рожки, ни один волос в бороде не дрогнет, соскребают с камня пропитанный козьей рудою песок и рассевают его по весенним полям, чтобы не было голодных, чтобы зло никого не имало, чтобы ни единая слеза не застила солнца.

А пока белый песок, пропитанный кровью черного козленка, рассевали по весенним полям, принаряженная белая козочка в свадебной фате, в венке из полевых цветов стояла на холме — чистая, выкупанная в священном озере, где много лет назад утонул приходский ксендз, когда шел по льду, неся святые дары умирающему. Перед козой ставили деревянный подойник с молозивом. Все деревенские девушки подходили к ней друг за дружкой и касались руками ее головы с едва пробившимися рожками. На холме была еще только солтысиха, стоявшая рядом с козочкой. Она одна имела право блюсти и вершить этот обычай. И она же, спустившись к подножию, где собиралась вся деревня, рассказывала, поклявшись говорить правду, что произошло на холме. А рассказать было о чем...

Если козочка переставала хлебать из подойника, значит, ее рогов коснулась рука девственницы. И, понятное дело, девушки, знавшие,

как в сумерках пахнет скошенный луг, чердак, заваленный красным клевером, белеющие хлеба, душные от зноя, подходили к козочке, зажав между пальцами иголку, а кто посмекалистей — и сапожное шило. И кололи ее до тех пор, пока она не заблеет, задравши голову к небу.

Правда, попадались козочки, с таким увлечением хлебавшие молозиво, что не помогало даже шило, каким пробивают рыло хрякам. Тогда и те две-три девственницы, что еще сохранились в деревне, сбегали с холма в слезах, но никто особенно не сокрушался, виня во всем, как водится, удалых парней из-за леса. Конечно, лучше было, когда козочка время от времени отрывала голову от подойника. Тогда знали, в который дом засылать сватов с водкой, кому нести святую Веронику во время процессии и какая из девушек достойна подать Канонику шелковую подушку для коленопреклонения, расшитую голубицами и золотыми розанами. Если же козочка ни разу не поднимала головы к небу, вместо свадеб плясали на гулянках, а подушку страдающему ревматизмом Канонику подавал подросток, переодетый девушкой.

Вообще-то обычай этот имел по сути дела совсем иную цель. Уже давно, надо думать с тех пор, как появились первые шпильки из рыбьих костей, из меди, из латуни, не очень на него полагались. Девушек, в особенности тех, что позастенчивее, маменькиных дочек, соблюдавшихся за семью замками, за палисадниками в мальвах и пионах, в дрожь бросало при виде белой козочки, которую вели на холм, но их смятение никакого значения не имело, и после жатвы одна за другой играли свадьбы.

Главное, что белая козочка стояла на холме, пила молозиво из подойника, поднимала время от времени голову и поглядывала золотыми глазами на заколосившиеся хлеба, на сады, что ни день становившиеся слаще от завязывающихся яблок, груш и слив, на плывущую под холмом реку, в которой купают младенцев, стирают рубахи, пеленки и нижние юбки, отбеливают лен и коноплю. И уводили козочку не сразу после того, как пройдут перед ней все деревенские девушки, а лишь когда она выпьет все молозиво из подойника, выщиплет, сколько позволит веревка, все до единой травинки и заблеет, задрав голову к весеннему небу.

Тогда самая старшая из женщин, знающая язык трав и ворожбу, сокрытую в птичьем лете, умеющая завязывать узлом то, что не завязывается, сводить коросту от золотухи и чесотки, сгонять твердые как камень желваки и распутывать разъедаемые изнутри, дыхание стесняющие узелки, подходила к козочке, снимала с нее белую фату и, отвязавши, пускала с холма. Если козочка, сбежав по склону, сворачивала к дому, значит, деревне предстоял урожайный и счастливый год, звенящий, точно хорошо обожженный кувшин, весь в хлебах, в садах, в огородах да травах всяких. Если же козочка убегала в ближний лесок, это означало, что все хорошее уйдет невесть куда вместе с прикостельными нищими, разбредется по дорогам с цыганами, уплывет по воде со снулыми от зноя рыбами.

Так бывало с давних пор, с незапамятных времен. И никто из тех людей, которых я знаю и которых знал мой отец, не припомнит, чтобы было иначе. Только в этот год раньше обычного, недели на две пораньше, принесла коза вместо двух одного козленочка. А спустя несколько дней появился на свет Пророк. Как же еще можно было назвать этого младенца, родившегося в хлеву на сене? Впрочем, если подумать, а старая солтысиха умеет думать, если потянуть за ниточку, то ниточек окажется не одна, а несколько. И каждая так совьется, что получится имя *Пророк*.

Вот она, первая ниточка: младенец появился на свет следом за семью девочками; а вот вторая: родители его уже внуков имели; и третья: не мог он родиться ни в доме на постели, ни на поле в борозде, потому что дом был разобран на блиндажи, а мог родиться только в хлеву, в яслях, выстланных сеном. Была еще и четвертая ниточка: ведь именно в ту ночь, когда дитя родилось на сене, окончилась война. И пятая была: хоть и не волхвы, а шли все же с востока, и шестая: они преследовали Ирода. И за шестью этими ниточками, из которых соткано по буковкам имя *Пророк*, как золотая основа, светится лицо старой солтысихи. Это она, принимая дитя, сказала: «Вначале было слово, и слово стало плотью. Какой же он большой. Пророк — не иначе!»

Необыкновенное приключение пана нашего, Барона

Бором да лесом, темными ночами, ловя сирым оком (второе было потеряно в бою) свет Большой Медведицы, шел императорский солдат. По его наружности, по сирому этому сверкающему оку, хоть и был солдат в изодранном терниями рубище, понять было можно, что роду он знатного. По исхудалому лицу, по щекам запавшим, по нетвердой поступи видать было, что не ел солдат уже много дней. То и дело он останавливался, привалясь всем телом к стволу лесного дерева, чтобы немножко передохнуть. Должно быть, донимал солдата жар, потому что, прислонясь к стволу, слизывал он с коры нанесенный ветром снег. А когда перемогся, когда последним усилием воли оторвался от заснеженного дерева и вышел из бора на равнину, заметил он сирым оком своим мерцающий вдали огонек. И тотчас же увидел, что перед ним по рыхлому снегу, проваливаясь по брюхо и без умолку блея, бежит не то черный козленок, не то некозленок. Засомневался солдат, остановился, протер закоченевшими пальцами око свое сирое. Но пересилил себя, перекрестился навыворот и громко, хоть жар и колотил его, повторяя знакомые с малолетства слова: «Всякое дыхание хвалит Господа», пошел следом за тем черным козленком-некозленком. Идут они, идут, козленок все дальше, а мерцающий огонек все ближе. Вдруг козленок сгинул за пригорком, а перед солдатом словно из-под земли вырос домишко. Дверь в домишке была приотворена, а на пороге с каганцом в руке стоял его друг сердечный, вместе с которым солдат наш бился на Сомосьерре и под Аустерлицем, под Москвой и под Бородином.

И сказал нашему солдату его друг сердечный:

— Добро пожаловать, Барон!

И обливаясь слезами радостными, провел его в комнату. В комнате той было тепло, но пусто. Кроме стола широкого, из колоды вытесанного, да двух скамеек, не видно было ни ложа, ни портретов дедов-прадедов на стенах, ни образа святого. Глядя на эту нищету, сказал наш солдат:

— Ты ли это, брат мой по оружию, ты ли это, князь мой?

— Да, брат я твой по оружью, но не князь я. Прости меня, Барон, за обман бесчестный. Из мужиков я, из твоих мужиков, брат. Отец твой лет двадцать назад за мешок краденой пшеницы приказал насмерть забить моего родителя. Но я тебя любил, я хотел тебе ровней стать. Вот и стал я ровней, досточтимый сударь! Телом и обличьем был я с князем схожий. Князь полег в Испании. Тут я и придумал — взял его рапиру, шапку с уголками и еще одежу. Сам переодевшись, я надел на князя свой мундир солдатский. С той поры я другом стал тебе и князем, братом по оружью. Но сегодня все же я решил открыться. Не серчаешь, пане?

— Не серчаю, брат мой. Все тебе прощаю.
— Будь же гостем в доме.
— Я голодный, княже.
— Я и сам без хлеба.
— Пить хочу я, княже.
— Даже квасу нету.
— Что-нибудь придумай. Поищи в деревне.
— Ни души в округе. Я, Барон, один тут.
— Может, горсть мучицы, ячменя иль проса?
— Три зерна последних вечор сгрызли мыши.
— Да никак уж полночь. Вон и ковшик звездный в дым печной глядится.
— Полночь, говоришь ты?
— Полночь, говорю я.
— Ну, тогда немного подожди — я мигом.

И вернулся через минуту, неся ружье-одностволку. Подошел князь к очагу, в котором еще теплился огонь, взвел курок и сказал Барону:
— Хочешь есть, брат?
— Хочу.
— Для тебя стараюсь. Для тебя, запомни.

И в очаг пальнул он. Засвистело в трубе, засверкала Большая Медведица, загудело, точно вихрь пролетел по деревьям, и упали прямо на решетку целых три фазана. Зарядил еще раз и выстрелил снова. Взвыло в дымоходе, и упал на угли, ввысь взметая искры, кабан стофунтовый. Зарядил по третьей и опять пальнул он. Взвыло в дымоходе, и олень-трехлеток угодил на угли.

— Ешь, Барон, досыта.

А утолив голод и утерев уста, улеглись они на солому и накрылись буркой. Чуть свет наш солдат проснулся. Поглядел, а князя, брата по оружью, рядышком и нету. По хате, блея, топотал копытцами черный козленок. И не было бы в этом ничего удивительного, кабы не стол, из колоды вытесанный, и обглоданные кости на нем.

Вспоминая это, наш Барон учил нас:

— Тут мораль простая: смерда в князи тянешь — черту сватом станешь.

2

Много лет уже принимала я всех новорожденных в деревне. Почти с самого детства я плохо видела. Правда, только правым глазом, но из-за этого всякий раз, входя в костел, спотыкалась о порог, из-за этого парни и прозвали меня Слепухой. Что ни день, с глазами у меня становилось все хуже. Когда я выходила за своего Михала, я едва различала его праздничную шапку с павлиньими перьями. После свадьбы стали мы с Михалом откладывать каждый грош. За год набралось столько, что с лихвой хватило бы на четырех коров. С деньгами этими, завернутыми в платочек, засунутыми глубоко за корсаж, поехала я в Краков к знаменитому профессору. Через несколько недель сняли у меня с глаза катаракту. Операция прошла удачно. Выйдя из больницы, я решила погулять по Кракову. Столько я об этом стольном городе слыхала, что не могла отказать себе в удовольствии пройтись по его улицам. Ведь по каждому камню тут ступали короли, ступали наши святые, блаженные да прославленные на целый свет люди.

До операции, по дороге в больницу, я не каждый дом могла различить с пролетки, теперь же, глядя на костелы, которые были повыше помещичьих лиственниц, видела пролетающих над ними галок и голубей. Мне казалось, что я вижу даже ту татарскую стрелу — как она

пронзает тучу, пролетающего под тучей Змия и застревает в горле у трубача, что я слышу, как он кричит, как падает на доски тело. За всем этим мерещились мне несметные полчища всадников, скачущих на конях, разящих друг друга копьями, натягивающих луки, и знамена, знамена, развевающиеся на весеннем, почти зеленом ветру.

Операция хотя и прошла удачно, но в деревне после моего возвращения поговаривали, что не совсем так, как нужно бы. Не раз случалось мне ночью, проходя по деревенской улице, услышать из открытого окошка: «Вишь ты, до чего хитра стала наша Слепуха после операции. У себя в огороде воробья на грядке углядит, а буренки своей в чужом клевере ни в жизнь не заметит». Не скажу — случалось и такое. Но когда меня попрекали буренкой, я в ответ, как серпом, отрезала. «Верно,— говорила,— может, зеница моя снова зарастает пленкой, но если разобраться, кое-кого в деревне господь еще не так пометил. Взять хотя бы тех, у кого в башке вместо мозгов пузырь сморщенный».

Быть может, из-за моей подслеповатости и острого, будто на оселке заточенного языка получилось так, что после смерти Михала, которого господь прибрал за несколько лет до войны и который еще до нашей свадьбы был солтысом в деревне, меня выбрали на его место. За меня были женщины да молодые мужики, родившиеся на моих руках. И хотя хозяева постарше, ровесники моего Михала, противились и ходили с жалобой к войту, ничего у них не вышло. Войт, как всякий войт, и выпить любил и закусить. Однажды в воскресенье после поздней обедни пошла я к нему, нарядившись в краковский корсаж, краковскую юбку и высокие шнурованные ботинки. Он упирался, но я все-таки вытащила его из корчмы. Правда, пришлось истратить десятку на горькую да на колбасу, но с той поры не было в приходе солтыса лучше меня.

Деревней я управляла по своему разумению. Да по-другому и быть не могло. Почти вся деревня так или иначе от меня зависела. Ведь это я принимала всех младенцев, я им вправляла вывихнутые в бедре ножки, я их лечила травами, собачьим и кошачьим салом, керосином и скипидаром от ангин, от скарлатин, от недугов душевных и телесных. А когда вылечила от прострела нашего Каноника, которому два года ни один врач ничем не мог помочь и он даже дароносицу в процессии нес, согнувшись в три погибели, угомонились и те, что ходили с жалобой к войту. И не прогадали. Я их всех по воскресеньям созывала на совет в Юдкин шинок.

Через год дошло до того, что ни одно дело в деревне не обходилось без меня. Кое-кто даже незлобиво называл меня Зюком [1] в юбке, Витосом [2] в косынке, Стефчиком [3] в шнурованных ботинках. Я бывала на всех крестинах и свадьбах. Не пропускала ни одной гулянки. Помня свои девичьи годы, когда мне грозила слепота и кавалеры обходили меня стороной, старалась, как могла, чтобы такой обиды не узнала ни одна девушка. Хоть и стара я уже была, но, подойдя к басам со стаканчиком, совала музыкантам по два гроша и, заведя подходящую припевку, вытаскивала из-под верб самых застенчивых девушек и впихивала их в объятия онемелым кавалерам. Не мудрено, что через год в деревне не осталось ни одной старой девы, ни одного старого холостяка и даже вдовцов с сиротами на руках не осталось. Случались порой и забавные истории. Как-то на гулянке, захмелев больше обыч-

[1] Зюк — псевдоним Юзефа Пилсудского *(здесь и далее — примечания переводчика).*

[2] Витос, Винценты (1874—1945) — политик, деятель крестьянского движения, пользовавшийся большой популярностью среди крестьян.

[3] Стефчик, Франтишек (1861—1924) — общественный деятель, организатор союзов сельскохозяйственной кооперации.

ного, я так упорно подсовывала обалдевшую девчонку молоденькому викарию, что тот, забыв про свой сан, подоткнул сутану и пустился в пляс. Пляска эта, а может девушка, так запала в душу викарию, что с той поры он по целым дням подкарауливал ее за мальвовыми палисадниками, в ивняке, на скошенных лугах, в ризнице, пропахшей стеарином и ладаном. Надеюсь, за этот грех, в который я ненароком ввела викария, господь не укорит меня на страшном суде.

Прошли два года моего правления, и мужики, которые уезжали батрачить во Францию и, заработав на клочок земли, возвращались обратно, не узнавали деревни. Однажды не больно сметливый батрак из помещичьей усадьбы целую ночь блуждал по приходу — не мог отыскать нашу деревню. А все потому, что с согласия советников я велела побелить все дома и огородить их новыми ивовыми плетнями. Как-то, на диво урожайным летом, когда хлеба вымахали ростом с двух мужиков, я приказала нашим пожарным содрать баграми с домов все прогнившие и протекающие соломенные кровли. Несколько недель потом почти вся деревня крыла свои хаты свежей соломой. Зато днем, а в особенности светлыми ночами, когда небо искрилось, крыши сверкали, точно были обиты позолоченной жестью. И опять же дороги — разъезженные, утопающие в песке, тысячами колесин расползшиеся по лугам, запутавшиеся в чахлых перелесках,— я приказала выпрямить и засыпать гравием на высоту заступа.

Когда же по окрестностям, чуть ли не по всему повету, разошлась молва о нашей деревне, я велела все дороги, ведущие к нам, перегородить шлагбаумами. И сделала это неспроста. За въезд в нашу деревню на телеге или на бричке мы стали взимать по пять грошей, с пешего брали грош. Впрочем, ни конные, ни пешие не жалели о потерянных деньгах. Потому что начиная с мая все лето по воскресеньям бывали у нас гулянья, а на площади выступал цирк.

Мысль насчет цирка пришла мне в голову, еще когда я ездила в Краков на операцию. Выписавшись из больницы и обойдя все костелы, бродила я от нечего делать по городу. И сама не знаю, когда и каким путем очутилась на Блонях, куда в тот день приехал цирк. Купила я билет и вошла в шатер. Сидела там, глядела и только диву давалась, какие штуки могут выделывать люди.

Взимая так по грошу да по пяти мытный сбор, мы купили на собранные деньги в Тарнове у советника бицикл, а в магазине — велосипед с деревянными ободьями. Надо сказать, что велосипедов в нашем приходе было тогда немного. У одного из викариев был, у войта да у комиссара полиции. И нам господь послал. На бицикле разъезжал перед деревенскими и приезжими тот самый ошалевший от любви викарий. Ездил вокруг площади, поднимая над собой икону святой Марии Магдалины, и произносил подходящую к случаю проповедь. Каноник этому не противился по двум причинам: во-первых, все делалось для общего блага, а, во-вторых, зная тайну викария, он справедливо рассудил, что тому не повредит публичное покаяние. Езде на велосипеде с деревянными ободьями обучился у войта лучший музыкант из нашего оркестра. Только он мог, не держась за руль, играть на скрипке самые задорные вальсы.

С каждой неделей программа расширялась. Нашелся даже фокусник, глотающий огонь. Тут отличился один батрак из поместья, про которого говорили, что если он поцелует девушку, у той потом неделю губы не оттают. И не мудрено. Когда-то нашли его младенцем нескольких дней от роду в сугробе; был он завернут в крестьянскую газету и лежал в снопике соломы. Этот самый парень, безо всякого вреда для здоровья, на потеху приезжим выпивал два стакана горящего спирта. А поскольку выступал он в конце представления, его обязан-

ностью стало, хлебнув глоток пылающего спирта, поджигать сваленный в кучу хворост. Делал он это с явным удовольствием. А потом, утерши рот и подхватив первую попавшуюся девушку, пускался в пляс и начиналась гулянка, затягивавшаяся до поздней ночи.

Выступали у нас и вороватые ловкачи, специалисты по свадебным пирогам, курам и перинам, а также конокрады. В этом искусстве мало кто мог сравниться с нашими молодцами. К сожалению, их номера, хоть и исполняемые с мастерством и задором, пришлось отменить. Случилось раз-другой, что гости из соседних деревень, увлекшись выступлениями наших артистов, и не замечали, как исчезают в ближнем лесу их кони, выпряженные из бричек да из телег.

Еще я мечтала заманить в цирк нескольких колдуний, живших в нашей деревне. Пусть бы укрощали котов, черных козлов, метлы, колченогие столы. По ночам мне виделось, как они превращают колодезную воду в парное молоко, белую глину, вымытую паводками из берегов,— в фарфоровые тарелки, стружки, валяющиеся возле верстака,— в бруски масла, а блуждающие по болотам огоньки — в керосиновые лампы. Я даже заглянула к некоторым, но согласия не получила. А одна нажаловалась Канонику. Тот вызвал меня к себе, заставил исповедаться и впервые в моей жизни наложил тяжкую епитимью.

Все номера нашего цирка проходили с успехом. Не забыли мы о жонглерах и канатоходцах. Жонглеры особенно нравились ребятишкам. В отличие от викария, Музыканта и глотателя огня, выступавших всю весну и лето, жонглеры начинали показывать свое искусство только в середине июля. Двое из них заходили в сад к настоятелю или помещику, а третий оставался за оградой. Номер был тщательно отрепетирован. Один взбирался на яблоню, срывал спелые яблоки и кидал второму, стоявшему под деревом. Тот, жонглируя, перебрасывал их третьему, который ждал за изгородью. Бывало, и три раза молитву не успеешь прочитать — глядишь, помещичья или настоятельская яблоня обобрана до последнего яблочка. Конечно, почти все яблоки тотчас оказывались за пазухами у детворы.

Канатоходцы у нас выступали только в особо торжественных случаях: в Дожинки, престольные праздники, в праздник тела Христова и по случаю разных церковных процессий. Собирались у реки, там, где над нею протянут стальной трос для парома. Канатоходцы взбирались по деревянному столбу, ступали на трос и, держа в руках шест для равновесия, шаг за шагом переходили с одного берега на другой. Свалиться с троса никто не боялся. В том месте, где ходил паром, река была глубиной в несколько метров.

Радовал меня этот цирк. Да и не одну меня. Но было еще много такого, что, как незаживающая рана в душе, не давало мне покоя. Я никак не могла смириться с тем, что чуть ли не треть мужиков в нашей деревне двух слов связать не умеет. Не то чтоб они заикались или плохо выговаривали буквы. Просто, покамест придумают, что сказать в ответ Канонику, помещику или даже войту, проходило изрядно времени. Часто мне казалось, что в голове у них — чистое поле, по которому за версту друг от друга разбросаны белые камешки слов. И решила я этому положить конец. На одном из сельских сходов я предложила организовать кружок ораторов.

Поздней осенью и зимой, когда в деревне, кроме как щипать перо, поджидать ряженых да мять коноплю, делать нечего, члены кружка собирались в сельском клубе. Через несколько недель даже самые косноязычные начинали рассуждать обо всем на диво искусно. Говорили о боге и дьяволе, о правительстве и народе, о зерне и мышах, о муравьях и сосновой хвое. И не стало в деревне лошадей с больны-

ми копытами и яловых коров, тощих гусей и болтунных яиц. Не стало и холостяков, вековуш, вдов и вдовцов. Даже старый Юзва, которому в детстве лошадь раздавила ступню, научившись разглагольствовать про тайны белка и желтка, нашел себе жену, притом богатую, в соседней деревне.

Само собою, раз в несколько недель мы устраивали выступления ораторов. Конечно, в присутствии Каноника, которого можно назвать оратором чистым, как брильянт без изъяна. Труднее всего было оценить мастерство тех, кто рассуждал о боге, пребывающем в каждой капле воды, о черте, который ухитряется легионами рассаживаться на остриях ведьмовских шпилек, о душе, каковая легче плывущей по ветру паутинки бабьего лета, о подкрадывающихся к деревне мороках и блазнах, о коне, с которого заживо содрали шкуру, о собаках, брешущих огнем, и о котах, что могут оборачиваться разряженными щеголями.

Для проверки выводили ораторов на скованную льдом реку и заставляли кричать, обращаясь к людям, живущим на другом берегу. Но, как известно, всякий голос, даже если говоришь о пекле, на морозе рано или поздно замерзает. Так что успехи наших ораторов мы, ясное дело, могли проверить только весной. Когда начинало таять, когда прибрежный лозняк покрывался первым пухом, мы, прыгая по ожившим льдинам, перебирались на другой берег и подымались на высокую плотину. Вместе с ломающимся на реке льдом оттаивали и слова. Если слова эти, да еще усиленные гулом лопающихся льдин, были слышны, мы с легким сердцем вручали ораторам дипломы.

Намеревалась я еще на деньги от мытного сбора и на выручку от цирковых представлений купить полоску помещичьего поля и разбить на ней общинный сад, чтобы детворе не приходилось тайком лазить за яблоками к помещику или к приходскому ксендзу, но началась война. Проводив с оркестром наших мобилизованных солдатушек в поветовый город, я вернулась домой, чтобы приглядеть за тем, как косят отаву, копают картошку, лущат горох и кукурузу.

О временах оккупации много говорить не стану. Нет в этом особой надобности. Скажу только вкратце, что до того, как в нашем приходе появились первые немцы, все оружие: винтовки, пистолеты, пулеметы, гранаты, боеприпасы и даже зенитка, брошенная нашей армией на переправе, были попрятаны в земле, в помещичьих стогах, в колодцах и на пасеках. А заведенных до войны порядков мы не отменили. Конечно, про наш цирк вскоре прослышали немцы, расквартированные в окрестных местечках. И гурьбой стали приезжать к нам развлекаться. Была от этого своя польза — ни одного из наших парней не угнали на работы в рейх, а в конце войны никого не отправили рыть окопы и строить блиндажи. Если же в деревне появлялись жандармы с намерением уничтожить ручные и с конным приводом жернова да самогонные аппараты, которых было как грибов после дождя, наши ораторы умудрялись так их заговорить, что спустя несколько часов те, в дым пьяные, поворачивали обратно, свято уверовав, что им попалась деревня, которую еще много веков назад посетил светловолосый дух чистой и непорочной германской расы.

В сумерках, когда жандармы уезжали из деревни, я надевала военный мундир Михала. Сидел он на мне как влитой — мы с Михалом были одного роста. От Михала ко мне перешла и воинская должность взводного. И так, в мундире, похлопывая ивовым прутиком по голенищам офицерских сапог, отправлялась я в ближний лес. На поляне меня уже поджидали вооруженные ребята. Я занималась с ними строевой подготовкой по учебнику, который принес с военной службы мой по-

койный муж. Обращению с оружием их учил поручик. Тут уж и я воспользовалась случаем. Несмотря на то, что слепота моя снова стала усиливаться, я не хуже молодых попадала из пистолета в страничку, вырванную из тетрадки и приколотую к сосне.

Сама я не участвовала в нападениях наших ребят на окрестные усадьбы, полицейские участки и немецкие жандармерии. Один только раз меня попросили в базарный день зайти, прихватив в виде подарка корзинку колбасы, в полицейский участок в соседнем местечке. Я зашла, а ребята, воспользовавшись удобным моментом, ворвались в дом. Не успела я оглянуться, как полицейские уже стояли у стены, подняв руки. У них отобрали оружие и нагишом затолкали в подвал. Говорят, только через три дня их оттуда вызволили жандармы.

(Вот какая была наша солтысиха, а вернее, она и сейчас такая, потому что старушка еще жива, награждена партизанской медалью и Золотым крестом заслуги и сидит в своем деревянном, крытом соломой доме, где стены увешаны святыми изображениями вперемежку с разными грамотами, которые солтысиха получала в гмине, в повете и даже в воеводстве. Но прежде чем я завтра перед утренней мессой поцелую ей руки и поклонюсь ее вдовству по солтысу, партизанским ее годам, прежде чем она спросит, как дела у Пророка, я еще раз на сон грядущий перечитаю то, что она записала в дневнике о его рождении.)

На рассвете удрали на велосипедах синие [1] полицейские. Целый день, до темноты, вся деревня сидела на коньках домов и овинов, наблюдая, как удирают за Вислу немцы. Вечером по деревне прошел оркестр, играя наш национальный гимн и «Боже, ты Польшу...»[2]. Музыканты еще не успели дойти до моего дома, когда ко мне ворвалась запыхавшаяся соседка Юзефихи и, крикнув с порога: «Идите скорей, Слепуха, Юзефиха родит», побежала обратно огородами. Я поснимала с плиты кастрюли и, набросив полушалок, побежала за ней.

Юзеф с женой месяца два уже жили в хлеву вместе со скотиной. Их деревянный дом, выстроенный перед самой войной, обшитый тесом и крытый красной черепицей, так и просился, чтоб его разобрали, а из сосновых бревен понастроили блиндажи, обив их выкрашенными в зеленый цвет досками. Приоткрыв двери хлева, я увидела треножник над огнем и на нем котелок с кипящей водой. Юзефиха, подтянув колени к самому подбородку, лежала в деревянных яслях, выстланных сеном. Над нею стоял, наклонившись, Юзеф, а через плечо его заглядывала в ясли рогатая морда пеструхи.

Я попросила Юзефа, чтоб он снял карбидную лампу с гвоздя, вбитого в балку, и посветил мне. Осмотрев живот Юзефихи, я подумала, что роды должны быть легкими. В чем, в чем, а в этом я хорошо разбиралась. Кроме того, Юзефихе не привыкать было. Семерых девчонок она уже родила. Я не ошиблась. Едва мы управились с водой, Юзефиха пронзительно вскрикнула. На сене показалась головка. Я потянула за нее — и вот уже ребенок, весь в крови и слизи, был у меня в руках. Я шлепнула его, чтобы подал голос, и, взяв у Юзефа прокипяченную и промытую самогоном бритву, отрезала пуповину. А потом почти на ощупь перевязала пуповину льняной ниткой.

Неся младенца к лоханке с теплой водой, я невольно сказала почти словами Библии: «Вначале было слово, и слово стало плотью. Какой же он большой. Пророк — не иначе!» Но этот опущенный в воду Пророк, видать, не был ни Иоанном Крестителем, ни тем паче пророком Ионой, потому что начал орать так, будто в хлев хлынули все воды Иордана. Когда же я выкупала младенца и вытерла пеленками,

[1] Польские полицейские на немецкой службе носили темно-синие мундиры.
[2] Церковный гимн.

понаделанными из старых рубах, подошел черный козленок, топотавший по хлеву, и ткнулся мокрыми ноздрями в его сморщенное личико. Я прогнала козленка и, завернув новорожденного в овчину, понесла к яслям, чтобы отдать Юзефихе.

Юзеф сидел на краю яслей и, подгребая сено, раскиданное во время родов, ворчал все громче да громче:

— Опять ощенилась, старая ты сука. Да еще в такое время. Стыда у тебя нет. Как я теперь людям на глаза покажусь?

Юзефиха, тихонечко всхлипывая, отвечала, прижавшись губами к сену:

— Ведь это сын, Юзеф. Сын ведь наконец-то. Столько я рожала. Раз девять небось будет, а, Юзусь? И те, что поумирали, и те, что живые, все девчонки. Бил ты меня за это, чуть не каждый день бил по голове, по грудям, по животу, чтоб выколотить из меня эту хворь, чтоб перестала я приносить девок. И наконец родила я тебе сына, а ты даже не поглядишь на меня, волосы мои со лба не откинешь, кружки воды не подашь.

— Правда это, солтысиха?

— Истинная правда. Гляди, Фома неверующий...

— Господи, мальчик. Вот те на! Я и не посмотрел. Думал, опять сучка. А тут парень, как есть парень... Весь, без обману, от макушки до пяток, а под животиком-то, под животиком — мужик мужиком. И это мой, боже милостивый, мой. Как же мы его назовем? Где календарь, Марыся?

— На что тебе календарь?

— Имя надо отыскать, солтысиха. Как иголку в стогу. Как слюду в камне. Быстрое, как крыло соколиное, грозное, как медвежья лапа, мудрое, как книга трав, и книга вод, и зверей живая книга. И еще сладкое, как розмарин, как рута, в новолунье посеянная. Чтобы девки, когда он будет мимо проходить, шеями вертели, точно за иконой во время крестного хода.

— Я ему уже выбрала имя.

— Какое? Чего ж вы молчите?

— *Пророк.*

— Пророк, Пророк, Пророк. Пророк, говорите? Нету такого имени в календаре.

— Зато в небесах есть. В воде и в зверях, в птицах, в каждом комочке земли, пальцами растертой.

— Погодите, солтысиха. Ну-ка, я еще повторю: Пророк, Пророк, Пророк. Усни, Пророк, закрой серые глазки. Поди сюда, Пророк. Дай головушку, Пророк. Залезай ко мне на колени. Расскажи нам, Пророк, о пророках Аврааме, Иакове, Ионе. Скажи отцу, Пророк, девушка у тебя уже есть? Когда сватов собираешься посылать, когда свадьбу сыграем, Пророк? Внука ты нам, грешным, подарил, Пророк. Ладно, солтысиха, пускай будет Пророк. Только что люди скажут?

— Да ничего. Имя-то вон какое!

— Ксендз не согласится.

— А ему и соглашаться не надо. Окрестите его Якуб, для метрики. А дома, в деревне пусть будет Пророком. Были уже у нас ведьмы и колдуны, был хромой черт и был юродивый, был апостол Павел и апостол Симон, был предатель-почтальон и герой Франек, а Пророка еще не было. Пророком будет твой сын, Юзеф[1]. Но прежде чем он вырастет, прежде чем в нем пробудится пророк, нам надо бы его обмыть, Юзеф.

— Да ведь он уже обмытый.

---

[1] Юзеф — польская форма имени Иосиф (жену Юзефа зовут Марыся — Мария).

— Только водою. А это совсем не то, что омовение в росе, в травах, в овсе и в жите, в золотых дукатах и дубовых листьях. Мы его в молоке обмоем, Юзеф, в козьем молоке.

Подошла я с подойником к объягнившейся с неделю назад козе. Сидя на деревянной скамеечке, я доила густое, как млечный сок, козье молоко, что и от чахотки помогает, и от сглазу. Выцедив последнюю каплю из козьего вымени, окунула руки в подойник и окропила козу и козленка, стоящую в углу кобылу и нагнувшуюся над Юзефихой корову, затем Юзефа и Юзефиху и под конец самое себя. Чтобы очиститься от всех сокрытых в нас недобрых сил. Потом я подошла к младенцу и, развернув овчину и пеленки, вылила все молоко, что осталось, на голое тельце Пророка. Поливая темечко, глаза и рот, выпуклый животик, крепко затянутый пупком, едва наметившуюся, но уже плотную мужскую завязь, я сама даже не замечала, что повторяю слова, слышанные словно сквозь сон от бабки, склонившейся над моей рожавшей матерью. Только имя я изменила:

— Обмываю темя твое, Пророк, от черных и красных снов, от огня и глины, от ран ножевых и от ран, нанесенных незримым орудием. Чтобы ум твой был светлым, как наливающаяся рожь, прямым, как лиственница, гибким, как березовый прут. И завязываю на первый узел, на третий узел и на седьмой узел имя твое, Пророк.

Обмываю твои глаза, Пророк. Отверзаются родники, и ты видишь все до самого дна, до золотого песка. Точно чудесная рана отверзается земля, и ты сыплешь в нее зерно всякое, чтобы вдоволь было у нас хлеба. Разверзаются небеса, и ты видишь на них письмена, и читаешь слово за словом, и нам всем объясняешь.

Обмываю руки твои и ноги, живот твой и мужской твой цветок, чтоб ты обнимал то, что объятий достойно, чтобы шел упрямо за тем, за чем тебе идти надобно, и чтобы в беспамятстве, в изнеможении слился с телом, которое ты избрал и которое рождает жизнь.

Сказала я эти слова и почувствовала, как у меня внутри загорается незнакомый до того огонек. Обтерев ребенка от козьего молока пеленками, я попросила у стоящего рядом Юзефа соли. По старому обычаю, раздвинув беззубые десны младенца, я положила ему на язык несколько крупинок смешанной с землей соли. Ребенок закричал, а я, вытирая мокрые руки о подол, сказала:

— Я уязвила твой язык солью, чтобы слово твое никогда не уязвили ни нож, ни клевета, которая ножа хуже. Служи нам словом своим, как соль пище всякой.

Усталая и разбитая, точно это я рожала, присела я на край яслей возле Юзефихи. В хлеву было тихо, только постукивал копытцами козленок да жевала солому корова. Подвешенная обратно на свое место, под накатник, карбидная лампа мерцала еле-еле, будто светляк. За окошком, составленным из трех кусков стекла, зажглась первая звезда, за ней вторая. Я посмотрела на младенца, уснувшего на руках у Юзефихи, и вспомнила про старый обычай приносить в жертву весенним полям черного козленка. И еще вспомнила про обычай с белой козочкой. И спросила у Юзефа:

— А где белая козочка?

— Нынче один козленок родился.

— Как же быть с нашими обычаями?

— Пусть берут козленка. Я каждый год давал, дам и теперь.

— Нет толку в одном обычае без другого.

— И верно, нет.

— Может, продадите тогда мне козленочка?

— Продать не продам. А дать дам. За Пророка.

О пользе, каковую приносит дрессировка медведя

Медведя в бору выследив, яму в рост дюжего мужика приуготовь ему на тропке, хворостяным настилом ее прикрой, мхом и травой всякой попритруси. Сверху борть поставь либо из борти подрезанный июльский сот с медом. А то довольно будет лукошка черники или куска мяса, на огне подрумяненного. Медовый запах тягучий, дух от мяса привадливый, черники аромат заманный вытянут мишку из бора, из берлоги его тесной на тропинку. Выманив такого медведя, поджидай вместе со своим кметом[1], запасшись загодя веревками да шестами, пока он в яму провалится. Вытащив, будто сома из сака, мишку из ямы, в усадьбу, опутав прежде толстыми веревками, вези. Там замкни в темном, хоть глаз выколи, сарае, и чтоб ни свет белого дня, ни лучик месяца молодого туда не достигал. Жрать ему не давай хотя бы и с неделю. А когда пройдет неделя, проделай в крыше отдушину и на веревке опусти какие ни есть мясные объедки. Только, гляди, не слишком низко. Чтоб медведь, как человек, на задние лапы воздвигся и без устали передними махал. Так его месяц натаскивай. Через месяц вели его вывести на майдан, надежно со всех сторон крепким заплотом огороженный. Заглядывай к нему туда, ино только сам и чтоб больше никто, помни, и понемножку угащивай. То чернички подбрось, то мясца кусок, то катышек меда. Через месяц он у тебя из рук станет есть.

Тогда начинай его обучать разным штукам. На задних лапах хождению, через палку скаканию, из кружки пиво пить, тулуп надевать, взбираться на жердь за яблоком, высоко подвешенным. Даже на дудке играть можешь его научить. Считай, медведь твой. Будет он тебе вечера зимние скрашивать, когда время тянется, точно четверня по мелколесью. И супругу свою ты порадуешь, а коли нет у тебя супруги, то милую барышню. Если же пожалует к тебе в усадьбу воевода аль кастелян[2], медведь своими проделками их, как детей, увеселит. А если надоест тебе мишка, в чем сомневаться осмелимся, продашь его цыганам. На свадьбах, в престольный праздник, на всяких там ярмарках он мужика твоего и позабавит, и от разбойничьих мыслей беспременно отвратит.

Такова есть польза от дрессировки медведя, с малыми издержками достигнутая.

3

Под январским небом, по запаханному под озимь, чуть припорошенному снегом полю возвращалась я домой. Устала я так, точно дрова рубила. В руках, ногах, в крестце отозвалось рождение Пророка. По слепоте своей, хотя ночь выдалась звездная, я на каждом шагу спотыкалась о комья промерзлой земли. Несколько раз даже упала, больно ударившись. К тому же я несла на руках дареного козленочка. Выйдя из хлева, я попыталась было вести его на веревочке, но козленок уперся копытцами в присыпанную снегом кочку и ни с места. Пришлось взять его на руки, погладить по темени и завернуть в полушалок. Только тогда перестал он жалобно блеять. Несла я этого козленочка и сама не заметила, как начала говорить с ним, с собой, с покойным Михалом, с январским небом. Говорила, а перед глазами у ме-

[1] Кметы — в XIII—XV веках в Польше так называли всех крестьян, имевших земельный надел.

[2] Помощник воеводы в средневековой Польше, с XIV века — земский титулярный чиновник.

ня был наш оркестр, идущий в сумерках по деревне, рождение Пророка, прошлая моя жизнь.

Не хотелось тебе идти со мной, козленочек, блеял ты, даже бодаться пробовал. И не зря. Не суждено тебе скакать по весеннему лугу, топтать белый клевер в саду под сливами. Не для тебя поседеют к осени тугие капустные головы, не для тебя вылезут из земли бураки, каждый больше круглого жбана, до краев налитого сладким соком. И не для тебя стрекочет в сарае сено, дымится в подойнике молоко, погромыхивает в поставце рафинад.

Темная у тебя звезда, темней железа, стуженного в глине. И нож, воткнутый в дверной косяк, завидев тебя, сам по себе, пока его не вытащат, будет туда-сюда колыхаться. А ведь твое появление на свет было еще чудесней, чем рождение Пророка. Но и ему, Пророку, через год, когда он оторвется от земли, покачнется и не упадет, сделает первый шажок и десятый, не суждено опереться на твою черную спину. А он бы мог года через два, оседлав тебя, ездить на пруд, на реку, а через десяток лет ты бы мог стать для него черной книгой, по которой читают слова белее, чем крыло столетнего ворона.

Но не быть тебе черной книгой. Никто, кроме меня, не прочтет в ней ни словечка, ни единой буковки. И по деревне с колокольчиком на шее тебя не проведут. И в костел не затащат, и не зарежут медленно-медленно, чтоб не задеть боевой жилы, и не потечет из тебя на белый камень густая, как смола, кровь. Ты мой, от копытец, просвечивающих даже на утренней заре, до едва угадывающихся на темени рожек. И никто, кроме меня, не посмотрит отныне в твои глаза, не положит руки тебе на голову. Никто тебе не даст щепотки соли, ивовой веточки, налитой душистым соком, пучка сена, хранящего запахи прошлого лета.

Я тебя не выпросила, не купила, не украла, я тебя получила в подарок за то, что отрезала сегодня от бабьей, от человечьей, а значит бренной, пуповины Пророка. И он, новоявленный этот Пророк, прежде чем в его незрячих глазках блеснул свет карбидной лампы, прежде чем отразился в них образ старой кобылы и задержался на мгновение образ старой матери, охапка сена и охапка соломы, он первый меня благословил. Отдал мне руками старой Марии и старого Юзефа твою хрупкую, как засушенный цветок мальвы, козью жизнь. Чтобы могла я с нею сделать все, что мне вздумается.

Ибо так записано в Библии, и на воловьей шкуре, и на каждой борозде земной: тот, кто принял пророка, кто отрезал его от пуповины, кто протер ему глаза, и умастил тело, и язык его вырвал из тьмы, из бессвязного лепета, сможет прочесть завет зверей и завет птиц, и каждая буква, сокрытая в водах, обвитая-перевитая травами, будет ему явна.

Но я не стану читать того, что записано на печени твоей и на твоих кишках. Да и что я там увижу? Несколько букв, из которых едва можно сложить одно-два слова. И не хочется мне держать тебя в своем доме до старости, чтобы молоко обсохло у тебя на губах, чтобы стал ты, блея, посматривать в лес, на исчезающие в нем один за другим огоньки, которые из нас, людей, беспрестанно уходят, уходят. Нужен ты мне, потому что ты чист, как родник. Твоя кровь мне нужна, твой последний вздох, мягкая твоя кость, от которой отъединена будет твоя жизнь.

Боже ты мой, Михал, муж мой покойный, о чем же я думаю? А ведь ты меня предупреждал, чтобы я гнала такие мысли, каждый день повторял, чуть только увидишь, что я загляделась в колодец. Там, в глубине, на самом его дне, мерцала звезда. Завидев ее, я начинала ведрами вычерпывать воду, пока звезда не прилеплялась к донной тине.

Один ты знал, что не звезда мне была нужна. Звезду ищут в небе, в близком, точно припечек зимой, мужике, в себе.

Сына я там искала, дитятко наше. И когда только случалось у тебя свободное время, когда ты не был навеселе, когда вся деревня засыпала и даже в помещичьей усадьбе гасли огни, а Каноник в плебании [1] задувал огонёк фарфоровой лампы, ты будил меня ото сна. Вдвоем, в два багра, в два ведра, вычерпывали мы воду из нашего колодца. А когда в ведрах появлялась тина, звали тихонечко, наклонившись над колодцем: «Сынок наш, сыночек, покажи хоть пальчик, хоть волос прядку». Но не было сыночка нашего ни в колодце, ни в реке, из которой по ночам выбирали мы все камни. Не было его и в лесу, хотя мы исходили лес вдоль и поперек, за каждым деревцем, под каждым кустиком искали, подбирая с тропок птичьи перья, а с пней шерсть разного зверья.

Неплодная я была, муж мой, Михал мой. Неплодная, как сухой терновник, как поле за мельницей, до воды грунтовой проросшее пыреем. До того, как пойти за тебя, знала я, что неплодна. Бывало, еще живя в родительском доме, в начале августа, когда созревает пшеница, когда птицы выводят оперившихся птенцов из борозд, когда на небе светится рука с серпом Богородицы Зельной, уходила я в огромные помещичьи поля. Снявши платье на краю самого большого из них, я нагишом забиралась в гущу пшеницы. Зная, что никто меня не увидит, бегала я среди хлебов, все быстрее да быстрее. Колосья тверже зеленой меди, железа, тверже узловатого ствола яблоньки-дичка хлестали меня по грудям, по белому животу, по округлым бедрам. Выходила я из пшеницы, только когда дыханье перехватывало, когда пот ручьями заливал глаза.

Тогда падала я навзничь на белый клевер, подтягивала колени к подбородку и, едва удерживаясь, чтоб не кричать в голос, надавливала на живот. Мне казалось, что из раздвинутых моих ног течет кровь, что вот-вот под звездой покажется головка новорожденного сыночка. Измученная, мокрая от пота, исколотая усами остистой пшеницы, напевала я, не размыкая губ, колыбельную белее клевера, белее птичьего пера, оброненного на пути в рай. А руки мои все быстрее, быстрее, быстрее гладили белый клевер, пока не наступала тишина, тише той, что живет в белом камне. Такой был у меня сынок, Михал.

Натешившись своим сыночком, превозмогая боль, вскакивала я с клевера и, подхватив платье, бежала напрямик через луга к лесному озеру. Бросившись в озеро, я не вылезала, покуда не почувствую, как впиваются в мой крестец ледяные иголки. Так я смывала с себя кровь и родовые воды, слизь и темную силу, живущую в последе. А сдавливая свои груди, видела я, как сочится из них капля за каплей молоко. И, прижавшись к березе, шептала ей заклятья, которые слыхала от своей матери, чтобы материнское мое молоко никогда не превратилось в сыворотку, в желтые катышки живицы.

Из лесу я бежала домой. Чтоб никто меня не увидел, я заходила в ригу и натиралась там барсучьим салом, и салом сукотной крольчихи, и еще, по третьему разу, салом суки в поре. Но ничего не помогало. Я это знала. И ты знал. Потому что до того, как мы поженились, я бывала с тобой на всех гулянках и на всех престольных праздниках. А после этих гулянок, после праздников этих все луга и сено на сеновале были наши. И ты был мой, и я была твоя. Но даже тогда судьба моя была против меня. Каждый день я ее видела, как стоит она, точно высохшее от зноя кизиловое деревце с одним-единственным, ссохшимся в камень плодом.

---

[1] Дом приходского ксендза при костеле.

Только потому, что была я бесплодна, что не было во мне ни одной искорки, ни одной капельки молока, стала я повитухой. Я принимала младенцев, отрезала их от пуповины, сыпала им соль на язык, чтоб закричали, чтоб распутали узлы людской своей судьбы, и казалось мне, будто все они мои. Лишь тогда мои пустые груди наполнялись молоком, а в бесплодный мой живот бил кулачок и толкалась ножка. От печали этой, от бессонных этих ночей, проведенных у колодца, на реке и в лесу, я все больше слепла. Я не говорила тебе, что слепну, Михал, боялась, ты станешь брезговать кушаньями, которые я готовила. Перед тем как тебе помереть, я даже не видела дна кастрюли, не знала, каким концом брать ложку, только различала ее очертания. Не видела я, хорошо ли ощипала зарезанную курицу, как ободрала шкуру с кролика, как его выпотрошила. Все делала вслепую. Глазами моими стали руки и язык. И сейчас я только на них полагаюсь. Особенно дома и если не горит лампа на столе или под потолком.

И не знаю я, Михал, не уверена, не моя ли слепота повинна в твоей смерти. Ты умер спустя неделю после того, как принес от мясника говядину. Прежде чем подать тебе это мясо, я его двадцать раз попробовала. Потому что мне показалось, что вместо соли кинула я в кастрюлю щепотку отравы, которую ты принес из гминного правления и по неосторожности положил рядом с гвоздичным перцем. Помню, съел ты это мясо, а через несколько часов стал жаловаться, что у тебя живот болит. И у меня заболел. Я не стала тебе говорить, что у меня тоже болит. И уж конечно не сказала про крысиный яд, который лежал рядом с солью.

А в тебе все разрасталась боль. Она заполонила застеленную перинами кровать, с перин перешла на подушки. Болело изголовье, болела вся кровать, болело сено под периной. А когда заболела комната и все образа на стенах, все горшки на печи и даже огонь в плите и зола, я поняла, что ты у меня помрешь. Я не сказала тебе, что так думаю, что знаю об этом, Михал. Я даже бога молила, чтоб не думать про это, не знать. Перемогая боль — правда, она была послабее твоей,— обвязав живот сложенной в восемь раз простыней, я готовила для тебя отвар из шалфея и ромашки, из липового цвета и зверобоя. Но тебе ничего не помогало. Ты таял на глазах. Разве что боль твоя вышла за порог, вошла в яблоньку, растущую у крыльца, а с нее с ветки на ветку разбрелась по всем деревьям в саду. По ночам я слыхала, как твоя боль обрывается с веток вместе с грушами-бессемянками и скатывается в колодец. Чтобы больше не слышать этого, я выбежала однажды ночью из хаты, взобралась на грушу, стоящую над колодцем, и стрясла с нее все плоды.

Той же самой ночью, думая, как бы тебе помочь, я припомнила, что делала моя мать, когда отец напоролся на свисавшую с ветки косу и несколько дней, придерживая руками кишки, умирал в риге на сене, потому что в доме даже собака, напуганная его криками, забивалась, ощетинившись, под кровать. Как мать тогда, я пошла к колдунье, что живет за скотинным погребалищем, и принесла от нее сердце нетопыря и сердце соловья, печень змеи и печень жаворонка, высушенный язык ящерицы и язычок черного дрозда. Сварила я все это, остудила в полночь под Полярной звездой и дала тебе выпить. Я думала — помогло. И не жаль мне было поросеночка, которого я отнесла колдунье. Но когда стала тебя колотить дрожь и ты сказал едва слышно: «Ты меня видишь, Ядвися?» — я поняла, что все это было ни к чему. И не успела я даже прошептать: «Я тебя вижу, Михал», как голова твоя упала на правое плечо.

Я рассказываю тебе об этом в сотый, а может, в тысячный раз. Но не суди меня строго, Михал. Вовсе не хочу я тревожить твою душу,

тень твою, которая навсегда поселилась во мне. Мне кажется, что, когда я говорю с тобой, мы по-прежнему вместе. Мало того, мне кажется, что мы недавно поженились и ждем, когда ангел господень меня благословит, когда заболят у меня груди и я подойду к тебе, читающему газету, шепну: «Угадай, Михал, угадай». А ты, поднявшись с лавки, обнимешь меня и скажешь: «Неужели, неужели, Ядвися?»

Всякий раз мне это кажется, когда я возвращаюсь домой, приняв роды. В особенности сегодня. Ведь Юзефиха после стольких девчонок в немолодые уже годы, когда у старших ее дочек у самих по трое да по двое ребятишек, родила сына. И не ругай ты меня, Михал, не являйся мне по ночам из-за того, что я позднего их сыночка назвала Пророком. Наверное, если б у меня, бесплодной, как яблонька, выросшая на чистом песке, родился сын, я бы больше прав имела назвать его Пророком. И не сердись на меня за то, что я впервые в жизни прикинулась не то ворожеей, не то ведьмой и полила сына Юзефихи козьим молоком. Не могла я поступить иначе. Он такой слабенький. Того и гляди, помрет. А ну как Юзеф с Юзефихой, поверив в мое чародейство, станут заботиться о нем больше, чем о девчонках. И не скажешь же ты, что за все то, что я сделала для их сыночка, причитался мне, как обычно, петух. Едва промелькнул в моих замутненных катарактой зрачках черный козленок и я на ощупь определила, что у Юзефихи родился сын, я решила, что козленочек будет мой. Правда, пришлось у них этого козленка попросить. Для чего, спрашиваешь? Еще не знаю, Михал. Но если до того, как доберемся мы с ним до дому, я вспомню, что́ после той войны говорила мне мать, я буду знать, Михал.

Наставления

...Не постигнет ее ни духовное лицо, ни христианин с чистой душою, ни дева, ни младенец. Избавлены они от тайны сей. И вас бы желали мы тоже избавить. Но зная, сколь человек слаб, сколь склонен ко грехам всяческим, мы выбрали для вас из священных преданий, вдохновленных духом чистым, эти несколько наставлений.

Не гляди на небо в полночный час, ежели находишься возле погоста. И сам не заметишь, как явится тебе черный дух, в колесницу распутных женщин, будто кобыл, запрягающий. Левою рукою на ночь не крестись, иначе во снах своих увидишь себя блудницею обнимаемым. Кошки не убивай, даже если загрызет твою любимую птичку. Сердце тебе истерзает безжалостно образ семи гурий, которые где-то в туретчине ласками непотребными басурмана денно и нощно услаждают. Пригожей девки своей дворовой на сеновал не тащи. Через шесть недель нападет на тебя хворь, и будешь ты как зачумленный избегать госпожи своей супруги.

(Неделю спустя после прихода русских мы с могильщиком вытащили из придорожной канавы русскую женщину, которую вместе с ребенком застрелили жандармы. Учитывая, что она могла быть партийной, мы спросили у Каѐоника, где ее хоронить Он велел выкопать ей могилу на освященной земле. А я, уже по своему усмотрению, на кресте, сколоченном из ствола засохшей березки, написал чернильным карандашом: *Могила неизвестной матери.)*

4

Словами я не сумею описать муравья, маргаритку, травинку, жаворонка. Лошадь, реку, лес, поле я знаю, правду говоря, только по очертаниям и по запаху. До сих пор дивлюсь я старикам и детям: как

они могут без конца говорить об одуванчиках, о паутинке бабьего лета, о рыбе, точно стрела, застрявшей в камышах. Сколько себя помню, живые твари и предметы существовали для меня каждый сам по себе, не связанные общей судьбой. Может, именно поэтому в детстве я сильнее своих одногодков привязывалась к тряпичной кукле, к деревянному волчку, к едва оперившемуся воробью, выпавшему из гнезда, к барахтавшемуся в пруду котенку, которого прутиком вытащили на берег. Понадобилось несколько дней, пока я своими руками не удостоверилась, что у всех трех щенят, которых я вытаскивала у суки из-под брюха, разные лапы, разные хвосты, разные головы. И только по этим признакам, да еще по тому, как кто скулил, отличала одного щенка от другого. Однако по-прежнему не знала точно, какого цвета у них шерсть, глаза, пасть.

Уже тогда болели у меня глаза. Особенно правый. Я не могла смотреть, даже из-под ладони, на весеннее небо, на песок, добела раскаленный солнцем, на реку, текущую по равнине, будто огромное живое зеркало. Никогда, если не считать снов, не видела я ни бога, ни святых. И, стоя на коленях у кровати, молилась, по сути дела, стенке. Иконы, которые на ней висели, расплывались у меня в глазах, лики на них находили один на другой. Я никогда точно не знала, в каком облаченье святая Тереза, а в каком — святая Магдалина. Ни того, сколько кинжалов вонзилось в сердце Богородицы — семь или всего пять. И я нашла выход — молилась, закрыв лицо руками. Тогда мне казалось, что у всех святых на всех иконах мое лицо. Стоит ли говорить, что в зеркало я смотрелась только потому, что об этом рассказывали мои подружки, а волосы расчесывала у реки по примеру взрослых девушек.

Но даже в ту пору я скорее угадывала, чем понимала, свое увечье, свою убогость. Слепота моя казалась мне схожей с беспомощностью, которую испытываешь, надевая башмаки. Никогда не угадаешь, где правый, а где левый. И, когда девчонки без умолку щебетали, у кого какого цвета лента, я думала, что еще год, ну самое большее два, и я начну видеть, как они. Что этого не случится, я поняла, когда пошла в школу. Правда, читать и писать научилась, но лишь потому, что учитель заметил мое увечье и, никому ничего не говоря, стал заниматься со мной после уроков.

Только в школе обнаружила я, что во мне как бы существует внутреннее зрение. То, что я едва могла различать с помощью глаз, рук и языка, вдруг проясняется и навсегда закрепляется где-то глубоко во мне. Я гордилась этим. Никто не мог так, как я, не взяв в руки воробья, лепестка пиона, травинки, по памяти описать их вид, голос, запах. И никто, кроме меня, не умел понять, что воробей — это и живое существо, и покрытое перьями, чирикающее слово. Я, можно сказать, видела вроде двояко: как все люди, только гораздо хуже, и внутренним своим взором, единственно для самой себя.

Это внутреннее зрение помогало мне сочинять разные истории и сказки. Никто лучше меня, когда мы забирались в коноплю, в густой кустарник, когда пасли скотину на осенних лугах, не умел рассказывать о духах, привидениях, ведьмах, колдунах и колдовских чарах. Закутавшись в попону, сидела я возле самого костра, различая только огонь и расплывчатые, будто пятна гашеной извести, ребячьи лица, и, заглядевшись в себя, придумывала каждый раз новые и новые сказки. За рассказы эти детвора приглядывала, чтобы коровы мои не потравили чужого, помогала мне загонять их домой, а мальчишки даже не раз приносили мне украденные у старших сестер свадебные ленты.

Пока я не подросла, я не горевала из-за своей немощи. Пожалуй, впервые мне захотелось, чтобы глаза у меня были такие же, как у

подружек, когда однажды воскресным утром у костела подошел ко мне Михал, взял за локоть и, наклонившись, шепнул: «Какая ты красивая, Ядвися».

Желание это стало еще сильнее, когда спустя несколько недель Михал явился к нам в дом со сватами и, как только столковались, сел рядом со мной и обнял меня за плечи. Мне тогда так захотелось прижаться к нему, обхватить руками его голову и навсегда запечатлеть его лицо. Но сделала я это только после венчания. До свадьбы я даже не знала, за кого выхожу. Не запомни я Михала по голосу, под венец со мной мог бы пойти любой из наших парней.

Счастье, что Михал был старше меня почти на десять лет. Кумушки, тетки, родные да знакомые, ясное дело, доложили ему о моей слепоте, но он не очень-то им поверил, потому что не знал меня в пору детских забав на лугу, над рекой, в овине. Уже тогда, в двадцать лет, я управлялась со всякой работой. Даже рубахи латать, даже коврик на стенку расшить цветами и зверями могла без труда. Случалось, правда, что кот глядел на мир с коврика глазищами не зелеными, а белыми, как известь, а свадебные розаны были серые, как зола, но Михал этого вроде и не замечал.

А внутреннее мое ви́дение, появившееся еще в детстве, после замужества сохранилось и стало острее. Чтоб не заплутаться в мире животных и предметов, мне хватало слабого света в моих зрачках и глаз Михала. Зато внутренним взором я легко вникала в суть всех наших дел. Через год дошло до того, что Михал, справляя обязанности солтыса, не принимал никаких решений, не посоветовавшись прежде со мной.

Мудрецом я не была. И никогда не стремилась стать. Правда, еще со школьных лет помнила я, что прорицательницы, пророки, предсказатели человеческих судеб либо бывали слепы от рождения, либо им выкалывали глаза. Если я и знала больше, чем Михал, чем наши деревенские, то не потому, что корпела над книжками, изучая землю и небо. Просто мне поневоле приходилось заучивать наизусть не только церковные песнопения и мирские истории про королей, святых и героев, но также и то, что в человеке тонко, как паутинка. Теперь, на старости лет, мне кажется, что, положив ладони на лицо любого человека из нашей деревни, я смогу рассказать о том, что глубоко-глубоко в нем упрятано.

И не хотела я, а мало-помалу стала для деревни словно бы провидицей. Наверное, этому еще помогло то, что я принимала всех новорожденных. С незапамятных времен люди верили, что повитуха, отрезая дитя от пуповины, отсекает его от черных сил, от мира, населенного колдуньями, и от вечных мук. Год шел за годом, и я, обмывая новорожденных в воде с ромашкой, стала единственным лекарем в округе, пристраивающим в лубки сломанные руки, исцеляющим язвы телесные и душевные. А так как видела я плохо, то и просила женщин, живущих над лугами, за лесом, над озером, собирать для меня разные травы. Врачуя больных, я, как могла, старалась обойтись без заклинаний нечистой силы, духа земли и духа воздуха, духа трав и вод, но иногда деревня сама меня к этому понуждала. Если над умирающим от чахотки или водянки не скажешь подходящего заклятия, никто не поверит в силу твоих трав, собачьего и кошачьего сала, сока из надрезанной весной березы. Чтобы успокоить больного, а в особенности его родных, я на ходу придумывала целые литании из слов, и было в них все — названия растений, животных, имена давних и новых богов и то, что мне снилось по ночам и что, если задумаюсь, мерещилось.

Я не только лечила тяжелобольных, которым, по сути дела, лишь

облегчала последние дни, приходили ко мне со своими сердечными заботами молодые девицы и вдовушки. Ворожила я им по руке, по картам, по оброненному над бором воронову перу, сулила доброго молодца, неутешного вдовца, старого холостяка с тугой мошной. Вот с этими у меня бывало много хлопот. Не всякий раз удавалось холостяков да вдовцов, которых я наворожила молодицам, уговорить идти под венец.

Больше всего, однако, радовалось мое сердце, когда приходили ко мне мужики за советом, где сеять просо, а где пшеницу, куда вести продавать корову — на ярмарку или к еврею-посреднику. Иной раз молоденькие, едва оперившиеся мужние жены, выданные против воли за пожилых вдовцов, немощных мужиков, только землей и богатых, приходили, просили совета: исповедоваться ли в том, что соделалось у них с милым втайне от чужих глаз на лугу, в лесу, над рекою.

Прошло много лет, но и теперь, когда я это записываю, кажется мне, что всю деревню, всех до единого, начиная с грудных младенцев и кончая дряхлыми стариками, которые день-деньской глядят на солнышко да и в небеса, я ношу и вижу в себе. У каждого там есть свое место, особая примета, по которой я могла бы распознать его хоть на краю света. А вот какова я сама, по-прежнему не знала. В том, что я этого не знаю, я убедилась после того, как вышла из больницы. Ведь тогда я почти на два года прозрела. Тогда впервые зазеленели для меня поля, луга и пастбища, впервые я увидела, что листья на деревьях похожи на непрестанно вслушивающиеся уши, а воды, по которым плавала ряска, лягушачья икра, оброненные птицами перья, представились мне немым великаном, умолкшим пред обличьем небес. Больше всего меня поразило, что птицы, пролетая по небу, не оставляют, подобно телеге на песчаной дороге, на росистом лугу, утопающих потом в песке, пропадающих в траве следов. Поразили меня и серые глаза Михала, и то, что я могу, стоя перед зеркалом, глядеться в него, расплетая свои светлые косы. И еще меня удивило, что у святых на картинах, висящих по стенам костела, плывущих над головами во время крестного хода, лица людей из нашей деревни. Глупо это, конечно, но мне подумалось, что когда-то они жили в наших краях, ели из одной миски с нашими прадедами, убивали тех же самых зверей, спали на тех же самых травах.

От этого почти осязаемого видения мира, всех в нем предметов и разных тварей словно дымкой затянулся мой внутренний взор. Ведь у меня сердце замирало от радости, когда я глядела на Михала, сидящего у окна, надевающего накрахмаленную рубашку и праздничную шляпу с ленточкой, когда видела, как меньше чем за ночь Большая Медведица успевает обойти половину неба, как надламываются мои ноги, когда я вхожу в реку. И все-таки жаль мне было, что предметы, звери, птицы, травы, впервые увиденные по-человечески, теряют свою душу, чуть ли не дыхание свое теряют. Спустя два года, опять начав слепнуть, я почувствовала почти что облегчение. Потому что снова стало обостряться мое внутреннее зрение.

Но ни этим внутренним взором, ни тем, какой дан каждому человеку, я не видела себя королевной. Тем более на старости лет у меня и в мыслях не было стать королевой. Хотя несколько раз мне снилось, в особенности после того как, выйдя из больницы, я побывала в Вавеле, что у меня под подушкой хранится держава, а в сундуке с кружевами — золотой скипетр. Как-то даже во сне увидела себя в собольей мантии.

В этой самой мантии прошла я по красному ковру через весь наш маленький деревянный костел, чтобы перед главным алтарем возблагодарить всевышнего, который несколько недель назад одарил меня первенцем. Играл орган, били колокола, а звонче других, точно сизая

голубица, разливалась сигнатурка[1]. И чудилось мне, что живот мой, из которого вышел первенец, вновь преполняется лишь нам, женщинам, благовествованной тайной.

Тогда же, в том же сне, случилось нечто удивительное. Оглянувшись, я увидела, что вместо двух пажей конец моей собольей мантии несет в зубах черный козленок. А на скамьях вместо придворных в кунтушах сидят черные козлы во фраках и белые козы, каждая в свадебной фате и миртовом венке.

Сон этот повторялся много раз. Помню, проснувшись как-то среди ночи, я растолкала Михала и рассказала ему об этом наваждении. Но Михал только посмеялся, сказав, что если уж простому человеку приснится королевский сон, то непременно будет все шиворот-навыворот.

Хорошо было Михалу посмеиваться, а сон этот перестал меня мучить, только когда деревня единодушно постановила, чтобы я, как жена солтыса, блюла обычай с белой козочкой. Тогда же мне припомнились рассказы бабушки и матери о колдуньях, которые разъезжают по лесу верхом на черных козлах, бросаются в реку, взбухшую после половодья, а рождественской ночью одна за другой исчезают в сверх всякой меры усыпанном звездами небе. Наслушавшись, бывало, этих рассказов, я, хоть и была незрячей, видела, как во мне по небесам скачет баба на помеле, а следом за ней, постукивая копытцами, бежит черненький козленок. Даже блеяние его, напрягши слух, я слышала.

Гораздо позже, уже взрослой женщиной, прочтя Библию, которую брала у Каноника, да начитавшись разных историй в календарях и в газетах, выпускаемых для деревни, я узнала, что с черным козлом не считали зазорным прогуливаться мудрецы и короли, а жрецы забивали животных, дабы прочесть по их внутренностям судьбу государя, государева двора и даже всего царства. Оттуда же я узнала, что, выбрав из многих стад такого черного козленка и позолотив ему рога да копыта, сажали его в клетку, сплетенную из золотых прутиков. У меня аж дух захватило, когда я сопоставила эти рассказы с нашим обычаем убивать черного козленка над белым камнем. Только мы не гадали по его внутренностям, что ждет деревню, Каноника или помещика с семьей, а вместе с кровью вверяли свою судьбу весенним полям.

Я думала обо всем этом целую неделю, с того дня, как принесла домой от Юзефа дареного козленка. Даже поискала краску, чтобы позолотить ему копытца и пробивающиеся рожки. Хотелось мне убить козленочка, как это делали жрецы в давние времена, и по его потрохам прочитать свою судьбу и судьбу всей нашей деревни. Но я побоялась, что кто-нибудь увидит золоченого козленка, разнесет по всей деревне и стану я на старости лет посмешищем. К тому же после смерти Михала я не очень интересовалась тем, что ждет меня впереди. Правда, меня так и подмывало узнать, какую судьбу Провидение назначило нашей деревне, но я рассудила, что еще немного поживу на этом свете и сама увижу. В конце концов я решила, что не буду наводить красоту на козленочка, обойдется и без позолоты. И подожду еще недельку, пока у него получше не прорежутся рожки, а голосок, струйкой парного молока разбивающий утреннюю тишину, не зазвенит, словно хорошо обожженный глиняный горшок.

Прошла неделя, и я вытащила из сундука нож, которым много лет отрезала новорожденных от пуповины, а значит, от злых сил. Спрятав его в широкий рукав кофты, чтобы не упал на лезвие свет карбидной лампы, чтобы не глянул на него красным своим глазом кролик, живущий у меня под кроватью, или, упаси бог, привязанный

[1] Самый маленький колокол в костеле.

у окна козленок, я стала ждать, когда запоет петух. А едва петух смолк, вышла во двор к колодцу, откуда столько лет вычерпывала ведрами воду, но так и не смогла достать звезду, предвещающую зачатие. Там, так же осторожно, чтобы ни один из лучей ночных не упал на лезвие, я долго точила нож о внутреннюю стенку колодца. Не раз и не два пробовала я острие большим пальцем. Когда же оно стало впиваться в кожу, как бритва, вернулась в дом.

Обдав кипятком деревянную лоханку и отвязав козленка от оконницы, я подвела его поближе к свету. По-прежнему пряча нож в рукаве, левой рукой нащупала на шее боевую жилу. Крепко зажав козленка между колен, чтобы не вырывался, я завязала ему глаза полотенцем. Запрокинув его обмотанную голову, чтобы он не увидел смерти, чтобы остался невинным, надрезала жилу. Брызнула кровь. Козленок заблеял и стал опускаться на коленки. Я все сильнее сжимала его ногами. А в комнате все сильнее пахло чистой, как брызжущий из-за облаков весенний свет, козлиной кровью. Кровь била из жилы, барабаня по деревянным клепкам лоханки. Я подождала, пока козленочек со свистом испустил дух, раздвинула колени, и он осел на пол. Тогда я размотала полотенце и обвязала перерезанное горло. Глаза козленка затягивались пеленой. Даже свет от лампы перестал в них дрожать. Я подняла козленка за ноги и положила на лавку. С лоханкой, полной светлой крови, вышла во двор. Тихо-претихо было вокруг. Тише, чем во время оно на королевском дворе, в храме, охраняемом жрецами, в дремучих лесах, где, точно стрела, выпущенная из лука, проносился единорог. Ни огонька не светилось в деревне. Только в плебании вздыхала во сне, как всегда, перекормленная скотина.

Начав с порога, трижды обошла я с лоханкой свою хату. Зачерпывая кровь рукой, кропила все подряд: порог, стены дома, землю, смерзшуюся и слегка припорошенную снегом. Не забыла про хлев, где терлась о жердину старая корова, ни одного деревца в саду не пропустила. И изгородь, и скрипучую калитку окропила кровью. Только колодца не тронула. На дне его так и лежала утонувшая материнская моя звезда. И все время твердила я молитву, которую запомнила с детства. Ее пела моя мать, обходя, как я сегодня, вокруг дома, когда после той войны во всей деревне уцелела одна наша халупа:

Упаси мой дом от глада,
от мора упаси
и от пожара огради.
А что станется с домом моим,
пусть станется и с домом соседкиным,
да и со всем селением!
От сей крови светлой
да уродит земля плод,
а вода рыбу,
а леса ягоду всякую.
Пусть возглаголят тишайшие,
прослышат глухие,
узрят слепые.
Да узрят они, что сокрыто в небеси,
и в земле, и в потоке,
и все в оных тайное.
Бу́ди мне, козленочек,
с рожками, с копытцами,
с последним дыханием,
утаенным в светлой кровушке,
и печальником, и заступником
от порога моего заклятого
да судьбины бесталанной моей.

Когда я вернулась в дом и ополоснула руки, захотелось мне содрать с козленка шкуру, вспороть ему брюхо и сперва на печени, а

потом на сердце прочитать все до словечка, что написано на его потрохах. Пока я повторяла молитву, во мне уже звучали слова, которые помогут мне прочесть на печени мою судьбу, а значит, и судьбу всей нашей деревни. По сердцу козленка я хотела узнать судьбу Пророка. Но потом я вдруг испугалась этих слов и не стала ворожить.

Сказание о королевне

Давным-давно за семью горами, за семью лесами, под защитой дракона и шапки-невидимки жила-была королевна. Притронется королевна пальчиком к маковому зернышку — вырастет дворец. Взглянет на муравья — оборотится муравей слоном. Обернет свой стан шелка куском — и потечет шелк рекою. Услышит комариный писк — в королевском саду запоют соловьи. Положит на язык крошку хлеба — покатятся по столам подданных белые калачи.

Почитали ее дворяне, почитал и простой люд. Песни о ней складывали, баллады всякие и сказания. Но не была королевна счастлива. Потому что не могла найти никого, кто был бы ей под стать в слове, во взгляде, в деле. Правда, добивались ее руки кесари, короли, князья, знатные рыцари и скромные дворяне, но стоило ей обратить на них свой взор, как превращались они в то, о чем она в ту минуту подумает. А думала она обыкновенно о вещах возвышенных, значительных, достойных ее королевской мысли. И не под силу было ее белым рукам обнять кесаря, превратившегося в думах ее в пихту стройную, королевича, превратившегося в дуб вековой, князя, обратившегося мальвовым палисадником, рыцаря, ставшего осадной башней, и дворянина, превратившегося в молодой лесок, где похрюкивали под деревьями вепри.

И не нашлось в целом королевстве лекаря, который исцелил бы ее от этих преображающих все вокруг взглядов, прикосновений, слов, поступков, грез и сновидений. Не мудрено потому, что, несмотря на все внушения и попытки наделить ее бездумностью, королевна так и не вышла замуж и не оставила после себя наследника. Единственное, что от нее осталось,— это сказание, правдивое и печальное.

5

Старая я уже, а до сих пор не пойму мужчин. Кажется, только родился, только начал ползать на четвереньках, а уже лезет в собачью конуру — неймется ему дернуть пса за хвост, ткнуть ему пальцем в глаз, попробовать зубы на его ухе. Едва поднялся с коленок и матушка-земля впервые не ушла у него из-под ног, а уже тянется за рогаткой и, глядишь, стреляет по воробьям, чирикающим в дикой сирени, целит в жаворонка, с весенней песнью подымающегося выше тополей над Дунайцем, в кошку, лапками пересчитывающую колышек за колышком в новой изгороди. И ни одной куклы, ни одного человечка, вырезанного из деревянной чурки, он не пропустит — каждому попытается открутить голову, отвертеть ножку, выколупать глаз — стеклянную пуговичку.

Когда я закрываю слепнущие глаза, я вижу свое детство, издерганное за косички, ноющее от тумаков, сталкиваемое в лягушачью заводь, заходящееся плачем на обглоданном козами выгоне. С тех пор как себя помню, все мальчишки казались мне врагами. Даже у костров, которые мы разводили на осенних лугах, они сидели особняком, вооруженные заостренными палками, длинными, в несколько метров, кнутами, сплетенными из шести или восьми веревочек, хлопающими

громче двустволки лесничего, рогатками, складными ножиками и ножами, сделанными из заточенных на бруске обломков косы. Мне казалось, что при помощи этого оружия они преграждают нам, девчонкам, доступ к той самой калитке, из которой уходят на войну и садятся на гнедого коня, грызущего золотые удила, откуда с окованным жестью сундучком уезжают за семь морей, где адские машины чеканят доллары и поджидают женихов невесты с богатым приданым.

Не понимала я, почему только следом за мальчишками, повизгивая от радости, переплывают реку собаки и заходят в пруд взмыленные кони, почему только на их подставленные ладони садятся кружащие под облаками голуби. Только мальчишки могли, забравшись в рябой от росы сад к помещику или настоятелю, унести оттуда за пазухой сколько влезет яблок, груш и слив. Даже чахоточный учитель закона божьего, года два уже собиравшийся помереть, готовя нас к первому причастию, не заставлял мальчишек рассказывать на исповеди про сладкие эти яблоки. Часто мне казалось, что наши мальчишки, ростом меньше двухлетнего привоя, только еще задуманные мужчинами, уже сговорились с Господом Богом, со святым Петром, с царем Давидом и царем Соломоном. И те, как мужчины, дарят их особой милостью и все позволяют.

Как я теперь припоминаю, сближение между мальчиками и девочками началось, только когда волею небес стала давать о себе знать разная наша плоть. Однако и тут согласие не было долгим. Тотчас после свадьбы оно нарушалось: мы снова вступали в войну, и была она во сто крат злее, чем в детстве. Конечно, случались и исключения. Взять хотя бы моего Михала. За всю нашу жизнь он руки на меня не поднял, словом не обидел, не уколол в самое сердце многодневным молчанием. Недаром его в деревне звали тюрей, который только и знает, что сидит у бабы под юбкой, лишь по временам высовывая оттуда свою солтысовскую башку.

С детских лет нам снилось, что, одетые мальчишками, скачем мы без седла по лесной опушке, курим, укрывшись в помещичьих стогах, самокрутки из махорки, кидаем ножи в израненную, точно свадебный гость после драки, осину, а осмелившихся подойти поближе девчонок в кровь исхлестываем ивовыми розгами. Повторялись эти сны и после свадьбы. Чаще всего они снились тем из моих подружек, которых что ни день били и таскали за косы по дому да по полю. Бывало, идем мы с ними в костел, и они, повязав платки до кончика носа, чтоб не видно было синяка под глазом, рассеченной губы, выбитого зуба, рассказывают мне свои сны. В снах этих, обернувшись разбойниками, привязывали они своих мужиков к крыльям ветряных мельниц, сажали на цепь в собачьей конуре, заставляя лаять даже на тень гнущейся на ветру вишенки, топили, пока те не начнут захлебываться, в лягушачьем пруду, и хлестали наотмашь по щекам, покуда мужики не падали на колени и не начинали визжать как собаки, с которых заживо сдирают шкуру.

Не сумев превратиться в мальчишек, а потом в мужиков, мы как могли старались умилостивить в них бешеного жеребца, сорвавшегося с железного кольца быка, брыкливого жеребенка, норовящего лягнуть тающий на утреннем небосводе молодой месяц. Стоило им порезаться ножом, исцарапаться в терновнике, вывихнуть лодыжку, прыгая с груши в саду настоятеля, мы бросались прикладывать к их ранам изжеванные в кашицу листья подорожника, металлические пуговицы или поднятые со дна реки, прослоенные блестящей слюдой камни. Пользуясь тем, что от боли мужики наши теряли силу и рассудок, мы гладили их взлохмаченные вихры, выбирая застрявшие в волосах травинки, перышки и паутинки.

А если у кого из них схватит живот, или лошадь кому наступит на ногу, или перейдет дорогу колдунья со скотинного погребалища, мы забывали про подбитые глаза и про вырванные клочья волос. Мы обнимали их, а в горле у каждой ворковала от радости горлица, когда они засыпали возле нас, вдруг сделавшись беззащитными и беспомощными, как слепые котята. Когда же все между нами ладилось и казалось, что даже в воздухе распускаются зеленые листочки, мы вынимали из люлек своих малюточек и, подбрасывая их чуть ли не к потолку, приговаривали: «Папаня, папаня, папаня, вылитый папаня. И глазки, и носик, и кулачки точь-в-точь такие же. Скажи, голубок, скажи, капелька моя ненаглядная, скажи, солнышко, куда кулачками будешь бить».

Много я думала про нашу девичью да бабью долю и, ставши солтысихой, постаралась кое-что сделать для баб. Подговорила викария, того, что разъезжал на бицикле, и стали мы с ним наведываться в дома, где больше всего дрались. Я оставалась с хозяйкой, чтобы приласкать ее, утешить, погладить по распухшему лицу, а викарий выходил с мужиком в сад для разговору. Долгим разговор не бывал. Пригрозив не отпустить грехи на пасху, викарий, если угроза не действовала,— а был он, прямо сказать, мужик рослый и здоровенный, столетние дубы с корнями выворачивать впору — без лишних слов закатывал упрямцу такую оплеуху, что тому небеса саврасыми начинали казаться, а сам при этом смиренно приговаривал: «Видно, господу сие было угодно. Опамятуйся, человече, а то как бы он еще раз не подвигнул ударить. Опамятуйся, мой тебе совет. Имей уважение к небесам и к моему сану». После такой беседы деревня несколько недель жила спокойно.

Точно уж не помню, но, кажется, только после того, как я стала солтысихой, замужние женщины начали повязывать платки узлом назад. Вначале я не поняла, откуда к нам пришла эта мода. Но потом меня осенило. Просто не стало нужды прятать синяки, и женщины открыли свои, теперь ясные, как солнышко, лица. Еще я добилась от мужиков, хоть некоторые и упрямились, кое-чего поважнее. При мне ни разу не случилось такого, чтобы баба на сносях до последней минуты тяжело таскала, полола просо, копала картошку или даже стояла часами у плиты, а потом рожала где придется: в борозде, на возу, в хлеву или в чистом поле, только-только заборонованном под овес. Теперь перед родами женщину укладывали в постель И лишь спустя неделю после родов разрешалось ей встать, чтобы сварить молочную лапшу.

Еще мне удалось, хоть и с великим трудом, отучить родителей решать, за кого выдать дочь, на ком женить сына. Перестали в деревне сводить старых баб с юнцами потому лишь, что у невест этих было богато земли и серебряных монет в сундуках. И молоденьких девчоночек перестали выдавать за многодетных вдовцов, божьих одуванчиков, чтоб им потом достался дом и все хозяйство. И бедняки не стали засылать сватов к богатым хромыгам, горбуньям да к чахоточным, выхаркивающим легкие.

С тех пор никто не лил слез на свадьбах, не рвал на себе волосы, не подстерегал с косой счастливого соперника, никто никого не убивал мотыгой, топориком или сапожным ножом. Перестали рождаться дети с раздутыми от водянки головами, с вывихнутыми ножками, в струпьях, с бельмом, с языком, приросшим к небу, с ушами, навсегда закрытыми для голосов мира сего. Любо-дорого было глядеть, как с деревенских праздников, свадеб, гулянок да крестин мужья с женами и молодые парочки расходятся в обнимку и песни поют, так их переполняет радость.

И хотя все это мне удалось, хотя сама я со своим Михалом никаких забот не знала, но по-прежнему не могла понять мужиковской натуры. Что-то их оттягивало от нас, от наших детей, от дома и от поля. Поначалу я не знала, что именно. Но, побыв во время войны вместе с ними в лесу, стала догадываться, в чем тут дело. Поглядишь, бывало, на восемнадцатилетнего парнишку с винтовкой через плечо и видишь, как в глазах его, в лице, на котором разве что одно словечко и записано великим пером судьбы, появляются оседланные кони, поющие трубы, грохочущие барабаны, сабля наголо над эскадроном, развевающаяся на ветру бурка и золотящееся на солнце знамя. Тогда я поняла, почему так льнут к мужчинам кони, почему тычутся к ним за пазухи длинными своими мордами и лижут руки, почему, если хозяину случится задремать под деревом, в тенистой ложбине, на пригорке, насквозь прошитом солнечными лучами, будят его легким, легче женской руки, прикосновением копыта.

Это они, со своей насыщенной железом кровью, со своими снами, полными пожаров, рева загнанных зверей, объятой огнем степи, бились на поединках палицами да пращами, бросались в драку с кремневыми топориками и затевали войны, пуская в ход холодное и огнестрельное оружие. И после схваток этих, драк, сражений и войн заносились еще больше. Тут уж мы целиком принадлежали им — телом и душою, вместе с бабьими своими снами, мягкими, точно плечо милого, вместе со своими ребятишками, воспитанными как им заблагорассудится. Ведь это они нас защитили палицей да выпущенным из пращи камнем, заслонили саблями от дикого зверя, от Змия, от нечистой силы, от москаля, пруссака и прочей солдатни с разных концов Европы, которой пришла охота прогуляться или проехаться, кому шагом, а кому галопом, по нашим равнинам. Редко какой из нас удавалось убежать в монастырь, надеть монашеское платье и, припав к стопам Господа Бога, выплакивать, не уставая, бабью свою печаль. Но и там они нас настигали, насиловали, вырывали из рук четки, заставляя на коленях молиться им, смердящим звериной кровью, пожаром, разогретым в бою мускусом.

Я на них за это не обижалась. Такое уж у них, у мужиков, право, так им положено. Одного я не понимала — почему за их поражения, за раскроенные в бою черепа, пропоротые железом бока, за победы, о которых по холмам и долинам возвещали трубы, барабаны, дудки и рога, стяги и знамена, мы должны расплачиваться синяками на теле и на душе, мокрыми от слез (а мы скрывали эти слезы, говоря, что проходили под низкими ветвями росистого сада) лицами, вымученными ласками.

Обо всем этом я думала, когда шла поутру, надевши солдатский мундир Михала, в ближний лес. Из лесу, спотыкаясь о корни, я привела к народному дому наш партизанский отряд. Так пожелали ребята. В солдатских куртках, в немецких мундирах с польскими нашивками, в сдвинутых на лоб пилотках, в офицерских сапогах, в солдатских ботинках, обвешанные гранатами и пулеметными лентами, с каким ни попало оружием, шли они за мной, распевая партизанские песни. Когда мы появились перед народным домом, оркестр сыграл нам генеральский марш. Всем отрядом мы прошли перед стоявшими на крыльце Каноником, викарием и войтом. После парада я выстроила отряд в две шеренги перед крыльцом и попросила Каноника, чтобы он по порядку зачитал по заранее составленному списку фамилии славных наших партизан.

Ребята один за другим подходили к крыльцу, отдавали честь, вытаскивали из-за ремня гранаты, снимали обернутые вокруг пояса пулеметные ленты, стягивали с плеч винтовки и автоматы. И бросали все

это на землю. Через час перед крыльцом выросли три немалых холмика, сложенных из гранат, патронов и разного оружия. Я смотрела на эти кучи, медленно засыпаемые снегом, на затаившуюся в них смерть. Поглядывала и на стоящих перед нами ребят. И, хотя не различала их лиц, нутром чувствовала, как жаль им, что все уже позади, что пройдет несколько месяцев — и с вешними водами, с первыми листочками на березах, ивах, зажатых между сараями во дворе яблоньках уйдет их отвага, геройство, смерть.

Несмотря на то, что я женщина, к тому же почти слепая, несмотря на то, что оружие подходило мне, как князю грабли, я попросила дать мне пистолет. Спустившись по трем ступенькам на замерзший луг, я разрядила всю обойму в небо. И со словами: «Пусть будут эти выстрелы последними в деревне» бросила пустой пистолет в общую кучу. Потом, пройдя перед строем все еще стоявших в двух шеренгах молодцов, каждому поочередно пожала руку. То же самое сделали Каноник, викарий и войт. Ребята вытянулись по стойке «смирно», отдали честь и разбрелись по лугу.

Перед крыльцом уже стояли три устланные соломой подводы. Те из ребят, кто не ушел домой, помогали возчикам грузить винтовки и гранаты на телеги. Полные оружия подводы сверху прикрыли соломой. Возницы хлестнули лошадей и, держа путь в город, свернули к ближнему парому. Мы проводили их до самой дамбы. Подводы въехали на паром. Кто-то из перевозчиков, кажется Казик, который был у меня в отряде, вытащил из-под соломы «стен» и длинной очередью прошил реку. А потом снова спрятал автомат под солому.

Когда телеги съехали с парома и скрылись из глаз, затерявшись среди верб и садов соседней деревни, Каноник взял меня под руку и помог спуститься с насыпи. Осторожно, шаг за шагом, потому что дорога была скользкая, я слепая, а Каноник старенький, брели мы по деревне. Потом, когда с нами распрощались шедшие следом викарий и войт, Каноник откашлялся и заговорил:

— Скажи мне, сестра, что случилось с Ендреком и Павелеком? Отчего ты не привела их вместе со всем отрядом?

— Видать, какие-то важные дела им помешали. Наверное, Войцех послал их в лес или на мельницу.

— А что с оружием?

— Оружие они должны были оставить кому-нибудь из ребят, чтоб те сдали.

— Я этого не видел.

— Как так?

— Ребята сдавали только свои винтовки и автоматы.

— Не может быть. Не ошиблись ли вы, духовный отец?

— Память у меня хорошая, а зрение и того лучше.

— Зачем им оружие? Они ведь совсем еще дети.

— Не знаю, сестра. Может быть, они и в самом деле по мальчишеской глупости оставили его у себя, может, жалко им было расставаться с гремящими игрушками. Ну, а если их кто подговорил, если они соблазнились легким заработком?

— Я с ними поговорю, духовный отец. Я все разузнаю. А потом и вам скажу.

— Узнайте, Ядвига. Конечно, я мог бы вызвать их к себе и сам с ними поговорить, но они меня избегают, боятся меня, а вернее Всевышнего, с коим я ежедневно беседую в молитвах. Вы же, Ядвига, знаете их с малолетства. Вы их отрезали от пуповины, вы им промыли слепые глаза, значит, вы для них все равно что мать. А может, даже больше, чем мать.

Мы и не заметили, заговорившись, как подошли к плебании. Только когда в наш разговор ворвался голос ручной галки Каноника, я поцеловала ему руку и пошла домой. Не снимая полушубка, я села на кровать и вытащила из-под подушки испеченную на противне ржаную лепешку. Но есть мне не хотелось. Я жевала лепешку, точно она не из муки была испечена, а из кое-как перетертой жерновами колючей проволоки, а сама все думала о том, что сказал Каноник.

Не верилось мне, что они могли на такое пойти. Я старалась припомнить год, когда принимала их у матери. Вышло, что Ендрусю семнадцать, а Павелеку не больше шестнадцати. Но когда я касалась их лиц, будто сложенных из птичьих косточек, они мне казались еще моложе. Помню, год назад явились они ко мне и стали проситься в отряд. Я долго не соглашалась. Хотя бы потому, что не могла забыть их брата, застреленного на пароме жандармом. Может, старшего, Ендрека, я бы и взяла без спору. Но за двоих мне не хотелось быть в ответе. Они всегда держались вместе, точно Лель и Полель [1]. Друг от дружки ни на шаг. Спали в обнимку на лесном мху, зарывшись в сухие листья, в разведку уходили, держась за руки. А в таких случаях достаточно одной автоматной очереди. Но тогда они меня упросили, умолили, чуть не на колени становились, целуя мои руки и незрячие глаза. На следующий день они принесли присягу. А еще через день были со всеми вместе в лесу на заснеженной поляне.

По всему выходило, что если они не сдали оружия, то сделали это по глупости, из мальчишеской жадности к игрушкам. «Так или иначе,— решила я, сидя на кровати,— самое позднее послезавтра затащу их к себе и все узнаю». Но, к сожалению, ни Ендрека, ни Павелека мне затащить к себе не удалось. А через несколько месяцев я узнала, что они уехали на западные земли. У меня камень с сердца свалился. Я и мысли не допускала, чтоб они могли взять с собой оружие.

Когда же в середине лета разные люди стали мне докладывать, что сыновей Войцеха видали в лесу с бандитами, я не хотела этому верить. Но слухи повторялись все упорнее, один страшней другого. Бандиты не только грабили зажиточных хозяев, не только избивали местных солтысов и войтов, но как будто среди бела дня застрелили в соседнем местечке милиционера. И я решила отыскать братьев во что бы то ни стало.

Разбойник Муха

В былые времена жил на свете разбойник Муха. В младенчестве волосики у него были льняные, точно у ангелочка, а глаза такие голубые, что смотреть бы в них не насмотреться. До самых отроческих лет он букашки пальцем не тронул, веточки на дереве не обломил, рогатки в руки не брал. Каждый божий день исповедовался и каждый день причащался. А когда вырос он и возмужал, застиг его однажды пан, как он подглядывал сквозь сердечко в ставне за раздевающейся ко сну господской дочкой. Приказал пан своим слугам связать его и на глазах всей челяди избить батогами.

Ох и били же его, Господи Иисусе, смертным боем били. А пан сидел на балконе в мягком кресле, и супруга его сидела с рукоделием, а дочка, сколько бы раз бедняга ни вскрикивал под ударами, вскидывала белые ручки, хлопала в ладоши и смеялась так звонко, что в смехе ее слышны были соловьиные трели. Когда же упал парень посреди двора, истоптанного скотиной, и замер, как теленок под ножом, вылили на него кувшинов пять воды. Однако он не поднялся. Видно, лишь

[1] Славянские божества-близнецы.

когда стемнело, оторвался парень от матери-земли. Шатаясь, как пьяный, дотащился он до помещичьих стогов. Там его и нашел один дворовый. Смазал он ему раны льняным маслом, украденным из господского дома, и перевязал тряпицами. И потом кормил его, вынося тайком то кусочек хлебца, то подгнившее яблоко, то горсть слив.

Понемногу стал малый приходить в себя. Однажды, как обычно, подошел дворовый к помещичьему стогу, а парня там и нету. Ушел он из поместья. Исчез, словно в воду канул. Прошло несколько месяцев— и отовсюду поползли слухи о нападениях на усадьбы, на плебании, на купеческие лавки. И вот однажды зимой постучался кто-то в спальню к тому пану. Пан, решив, что это жена его или дочь, отворил дверь. В стоявшем перед ним человеке не узнал он запоротого парня.

Но тот напомнил ему об этом, ой, напомнил. Вынув из-за пояса револьвер, велел он пану поцеловать черное дуло, ой, сладкое дуло, да помалкивать. Чтобы пану не утруждаться, он сам стянул с него белешенькое исподнее. Стал пан перед ним в чем мать родила, нагой, вдвойне нагой — наготой человечьей и еще особой, господской, наготой. Парень приказал ему нагнуться и молитвы шептать. А сам, вытащив из-под бурки нагайку, принялся хлестать его по широкой спине, по белому, как простокваша, заду. А когда пан, читая молитву, сбивался, парень начинал все сначала. Но даже пятидесяти молитв не насчитал пан, хотя счету учен был в школах, притом в самых лучших. Упал на ковер и потерял сознание. Парень, подойдя к столу и взявши графин с настойкой, вылил настойку на него. Застонал пан, открыл глаза, но подняться не смог.

Тогда вынул парень из кармана яйцо, обыкновенное куриное яйцо, и еще какую-то бумажонку, положил то и другое пану на спину и сказал, что это граната, которая, только шелохнись, взорвется. А сделав так, выскользнул из панских хором.

В полдень нашли пана в спальне на ковре. На спине у него лежало яйцо. Из-под яйца вытащили записку. На записке с трудом разобрали два вкривь и вкось нацарапанных слова: *разбойник Муха.*

6

Плохо мне спалось в ту ночь. Опять донимали ноги. Не успев задремать, я просыпалась, зажигала лампу и от лодыжек до колен обматывала ноги льняными тряпками. Смоченное в настое ромашки полотно сгоняло опухоль, и боль стихала. Но я знала, что не в ногах дело. Уже несколько лет, как начало болеть у меня сердце. Стоило чуть поволноваться или пройти с десяток шагов быстрей обычного, как в ту же ночь я чувствовала, будто кто-то вонзает мне из-под лопатки в сердце невидимый нож. Приходилось лежать неподвижно. Если я ворочалась с боку на бок, боль усиливалась. Удобнее всего было лежать навзничь. Правда, несуществующий этот нож все глубже вонзался мне в спину, но не так быстро, миллиметр за миллиметром.

Несмотря на этот нож, я порой задремывала. Тогда мне начинало казаться, что кто-то стучится в окошко. Это могла быть веточка вишни, тронутая ветром, крыло собравшейся на охоту летучей мыши или какой ночной птицы. Пробуждаясь, я слышала, как в саду за домом кто-то убегает, спотыкаясь о комья мерзлой земли. Это мог быть пес, объевшийся потрохами черного козленка, а могла быть куница или ласка, вышедшая поохотиться за воробьями, живущими под стрехой. Когда я неслышно подходила к окну и прислушивалась, все стихало. В конце концов я решила, что это убегает мой вспугнутый сон.

Однажды в мою полудрему пришли сыновья Войцеха: Ендрек и Павелек. Вместе с ними пришел еще какой-то парень, которого я не могла узнать. Глаза у него были завязаны платком, руки вывернуты назад и опутаны веревкой. Ендрек вытаскивал из-за пояса пистолет, Павелек по складам читал слово за словом приговор. Ендрек взводил курок. Когда Павелек опускал руку с листком бумаги, Ендрек стрелял в парня. Тело парня вздрагивало, словно стоячая вода, в которую бросили камень, а Ендрек, сдунув с пистолетного дула дым, говорил мне: «Видишь, солтысиха, видишь, Слепуха? Это совсем нетрудно, гляди!» — и снова стрелял в парня.

Я просыпалась, когда тело парня оседало по стене на пол. Дремота уходила, но я все еще видела руки парня, цеплявшиеся за стену. Сон этот повторялся в ту ночь несколько раз. Был он такой осязаемый, такой похожий на мои внутренние видения, появившиеся, когда усилилась слепота, что всякий раз, проснувшись, я с криком звала на помощь. Мне даже казалось, что в горнице пахнет оттаявшим в тепле оцепенелым телом, вспотевшими от оружия руками, дыханием, пропитанным пороховым дымом.

Страшась этих повторяющихся снов, этого ножа, все глубже входящего в спину, я села на кровати, закуталась в перину и, бормоча без счету, одну за другой, молитвы за упокой души моего Михала, решила дожидаться рассвета. А до первой зорьки было еще далеко. Во всяком случае петух, дремавший в сенях на лесенке, только что пропел в третий раз.

Мне даже нравилось сидеть так на постели. Тогда я слышала все голоса дома. А было их не счесть. Сперва до меня доносилась куриная возня — я слышала, как наседки хлопают короткими крыльями, пытаясь взлететь к куриной своей звезде; потом слышала кролика, которого взяла из хлева в дом, жующего сухие травинки; слышала, как пересыпается труха в ходах, проложенных короедами, и как шебаршит под полом крот, который в тот год зимовал, зарывшись в мягкую землю погреба. Больше всего я привязалась к кроту. Слыша его возню, я знала, что это он зашевелил во сне лапками, что его остывшая на зиму кровь быстрее побежала по жилам, что еще несколько недель — и придет весна. Эта возня была все равно что первый весенний проблеск, осветивший темную комнату зимних ночей.

Еще я слышала, как звучат во мне разные голоса. И к ним я привыкла. Я могла часами разговаривать с голосом Михала. Он отвечал мне на все вопросы насчет дома, поля, деревни. Не хотел только ответить, как сложилась его судьба после смерти. Любила я говорить с голосом Каноника. Он объяснял мне все картины, которыми расписаны стены нашего маленького костела, вспоминал, как сам он, мальчиком, пас овец в горах, как раз в неделю притаскивал из дому в духовную семинарию краюху овсяного или ячменного хлеба. Рассказывал даже, что Христос, чудесной силою сокрытый в облатке, является ему в образе мякинного хлеба. Беседовала я и с голосом викария, уже больше двух лет больного чахоткой. У того были свои заботы, он харкал кровью и боялся принимать причастие, считая, что потом выплевывает господню кровь.

Больше всего я боялась говорить с голосом моего неродившегося ребенка. Не размыкая губ, не шевеля языком, я пела ему колыбельные, рассказывала про лес, луг, реку, весеннее небо, которые видела своим внутренним зрением. И пока, не размыкая губ, не шевеля языком, рассказывала, шила ему без иголки, без нитки, без льняного полотна королевские наряды, башмачки, шапочки, слюнявчики. А когда он подрастал, когда твердо вставал на ножки, я учила его стрелять из рогатки в пролетающих птиц, в пробегающих по заснеженной изгороди ко-

шек, даже в единственное оконце, вернее, в кусок стекла, еще не выбитый детворой, учила стрелять.

Боялась я, боялась этих мыслей, этого разговора с неродившимся моим ребеночком. Избегала этого разговора как могла, прикусывая язык, чтоб не пел сыну колыбельных песен, губы, чтобы не тянулись его поцеловать, сдерживала пальцы, подстригающие невидимыми ножницами его длинные волосики. Исписывая страницы этого дневника, я нет-нет, а поймаю себя на том, что говорю о своем сыночке, что карандаш сам выводит его имя, его черты. Но я решила, что никогда этого имени не открою. И так в дневнике слишком часто появляется имя Пророк, имена мальчиков, которые, будучи от горшка два вершка, уходили в лес, вытащив из колодцев, выкопав из земли оружие.

О них, об этих мальчиках, которых я принимала своими руками, отрезала от пуповины, купала в лоханке, укладывала в выстеленные сеном люльки, думала я и в ту бессонную ночь. И не потому даже, что мне приснились сыновья Войцеха. Неделю назад на сельском сходе мы постановили, что пошлем учиться в город двенадцать (по числу апостолов) самых способных ребят из нашей деревни. Ведь, если не считать сына старого войта, который перед войной, с трудом окончив гимназию, служил помощником секретаря в гминном правлении, это будут первые дети, уехавшие из нашей деревни учиться.

Но как они там справятся? Ведь в нашей школе их едва выучили писать и считать. Некоторые даже таблицы умножения толком не знают. Вот про что я думала в ту ночь и ехала вместе с ними в город, шла в школу, подхватив портфель с книжками, и, замирая от страха, садилась за парту. Не для них уже, для себя хотела я узнать всю правду про камни, что падают с неба в наши колодцы, реки и озера. Мне было интересно, почему Стожары съезжают по небосводу, а Большая Медведица стоит неподвижно, верно ли, что вечерняя звезда превращается в звезду утреннюю. Мне казалось, что, посидев вместе с ними за партой, я узнаю, что же это в самом деле такое — падающие звезды. Действительно ли вместе с каждой умирает человек. Потому что, если человек умирает вместе с упавшей звездой, тогда выходит, что в минуту благовещения должна родиться новая звезда.

Еще больше, чем небо и звезды, занимала меня земля и в особенности люди, на ней живущие. Я, правда, знала, что реки рождаются из родников, но откуда берутся родники, не знала. Слыхала о морях величиной с тысячу наших озер, чьи воды колышутся, будто огромная люлька, но не знала, отчего это так и зачем. Не для того же, чтобы набаюкать нам мудреца, героя, святого. А вдруг воды эти бескрайние нас убаюкивают? Хотя мне казалось, что такого быть не может. Меня, например, все чаще одолевала бессонница. Еще я не понимала, хоть и читала Библию, почему человек приручил зверей, а звери до сих пор не могут приручить человека.

Однако меньше всего понимала я, что творится в душе у меня самой и у наших деревенских. Одни были мягкие, хоть к ране прикладывай, а из других прямо искры сыпались. С такими страшно было идти по колосящемуся полю, заходить в ригу, в дом, под высушенную солнцем кровлю. Так и казалось, что вот-вот от них все вокруг займется и сгорит дотла. Еще не понимала я помешанных. Вроде бы я и знала, что в голове у них нарушилось что-то, чего не исправить, как веялку или соломорезку, но не понимала, почему болезнь эта не заразная, как чахотка или коклюш.

Я сидела на кровати, обложившись периной, и думала обо всем этом, а перед глазами у меня были двенадцать наших мальчиков. Я выкликала их по имени, и они один за другим, хлопнув дверью, являлись передо мной, вернее, перед моей памятью. Я всматривалась в них, но

разглядеть не могла и узнавала того, кто подошел, только коснувшись лица. А потом, сунув каждому конфету или яблоко, говорила:

— Ты, Антось, будешь ксендзом. Ты у нас робкий, стеснительный, пройдет мимо девушка — вспыхиваешь как маков цвет. Господь таких любит и милостями своими не оставит. Только проповеди хорошо читай. Запомни: если во время твоей проповеди все женщины, какие есть в костеле, не выплачут бабьей своей боли и тоски, если не потечет по плитам соленая река, я поеду к епископу, пусть лишает тебя сана. А потом в наказание женю на самой никудышной девке в деревне.

— А ты, Юзек, будешь адвокатом. Отец с матерью тебе слово, ты им—пять, старшим в ответ огрызаешься, у братьев и сестер последний грош можешь выманить, самого войта вокруг пальца обвел. Будешь нас защищать в судах. Но если ты кого обидишь, если кого обдерешь как липку да погонишь с последней рубашкой на базар, мы завернем тебя в твою мантию, отвезем в чистое поле и будешь ты там торчать до тех пор, покуда не докажешь грачиному народу, что личинки и дождевые червяки сытнее, чем зеленя или первые ростки кукурузы.

— А ты, Войтусь, станешь доктором. Люди видали, как ты выстукиваешь своих дружков на осенних лугах, как выслушиваешь их, приложив к спине ухо. И, говорят, так же ты выстукиваешь фруктовые деревца, прислушиваясь, не завязываются ли в них сладкие яблоки, груши, истекающие соком, дымчатые сливы. Мы будем к тебе приезжать. Ты вылечишь нас от чахотки, от гноящихся ран, выпрямишь горбатых, уврачуешь нам темноту в зрачках, а может, и темноту в сердце. Один ты сумеешь остановить бесовскую мельницу в голове у поврежденных умом Юзека, у Казика, у Магдалины. Мы будем привозить тебе курочек, колбасу, бруски масла и сыр. Только, гляди, денег с нас не тяни да не прячь в кубышку. Если же ты нам не поможешь, мы привезем тебя обратно в деревню, обрядим в мешок из дерюги с дырками для головы, рук и ног и будешь ты ходить в этом мешке по лесам, лугам и полям следом за колдуньей со скотинного погребалища и учиться у нее, как овладеть силой, сокрытой в травах.

— А ты, Ромек, будешь учителем. Или ученым, паном профессором. Не можешь ты никем другим стать. Слабый потому что, слабенький. Но терпения у тебя много, ты мог часами лежать под яблонькой, пока не сочтешь, сколько на ней яблок, нырять без конца на дно самого глубокого омута, чтобы проверить, правда ли там есть дыра, ведущая в преисподнюю, записывать придуманными тобою письменами голоса пчел, шмелей, птиц, живущих в траве и в лесу. Ты будешь учиться. Всему будешь учиться. Ты должен стать умным, умней тех, кто придумал керосиновую лампу, плуг, молитвенник, хлебный нож. Мы тебя попросим объяснить нам, что такое земля — и ты объяснишь, что такое звезда — растолкуешь, что такое бог — и тьма в голове у нас рассеется. Но если ты нас подведешь, если обманешь, мы запрем тебя в чулане, куда свозят мак со всей гмины и в котором нет ни одного окошка, и будешь ты там сидеть, пока не пересчитаешь впотьмах все до единого маковые зернышки.

И так по очереди говорила я со всеми двенадцатью мальчиками. Немного меня беспокоило это число. Правда, я не была суеверной, но даже Христос, выбирая из своих учеников двенадцать апостолов, не предвидел, что среди них окажется Иуда. Сказав все, что мне хотелось сказать, я целовала каждого мальчика в лоб и отпускала на замерзшую в мелководьях реку покататься по скользкому льду. Уже стало светать, когда кто-то постучал в дверь. Отскочила щеколда, и в горницу вошел Ясь — двенадцатый. Я узнала его по голосу.

Вначале я не могла разобрать, явился ли Ясь в моем воображении или на самом деле вошел в дом. Лишь когда он поцеловал мне руку и

сел на лавку, поняла я, что это не сон. Я достала из-под перины яблоко и дала ему, а сама, пока надевала юбку, что-то говорила, говорила. Я вертелась по горнице, и было мне радостно, как никогда прежде. Впервые случилось, что кто-то пришел ко мне аккурат в ту минуту, когда я о нем подумала. Я ведь нарочно стала думать о Ясе после прочих. Он, пожалуй, больше всех был мне по сердцу.

И потому-то, хлопоча в комнате, я возвела его в должность старосты [1]. Мне виделось, как подъезжает к моему дому черный лимузин и Ясь выходит оттуда во фраке, цилиндре и белых перчатках. На ногах у него лакированные штиблеты. Именно лакированные. Даже мне, Слепухе, достаточно взглянуть на его ноги, чтобы это увидеть. Августовское солнце отражается в них, как в медной сковородке, выкованной цыганами. Но Ясь, забыв про фрак, цилиндр, белые перчатки и даже про лаковые штиблеты, бежит ко мне по двору, где копошатся в густой пыли куры, хватает на руки и, покружив в воздухе, покрасневшую от радости, опускает на землю и целует в обе щеки. А я снимаю у него с головы цилиндр, глажу по зачесанным назад льняным волосам и веду в горницу. Ясь, как в детстве, подходит к кровати, достает из-под сена яблоко и, обтерев рукавом фрака, впивается в него зубами. А потом рассказывает о белых камнях, поднятых со дна реки и подложенных наседке, о крапчатых грачиных яйцах — как их, вытащив из гнезда, выпивают прямо на дрожащей высоко в небе верхушке дерева, о рыбе, которую видали сквозь сковавший реку лед, и о том, до чего хорошо скакать без седла по утренним лугам. И только рассказав обо всем этом, самом близком, самом заветном, вскользь упоминает про прием у воеводы, про бал в президентском дворце.

Горница моя вдруг озаряется огнями, и огни эти ярче канделябров в барском доме, ярче всех разом зажженных в костеле свечей, ярче августовского солнца, висящего над просторной помещичьей нивой. Горница моя становится больше, стены раздвигаются за ограду сада. Это уже не горница, это дворцовая зала. На хорах играет оркестр. Во дворце бал. Господа во фраках, дамы в белых платьях до пят. Они танцуют вальс. Танцуют трикраты: в зеркальных стенах, в зеркальном потолке и на блестящем как зеркало паркете. И в первой паре танцует мой Ясь. С супругой президента. А когда музыка умолкает, в залу входит президент, и каждый видит его трикраты. За президентом следует его секретарь и несет на подушке орден ярче звезды. Президент подходит к Ясю, берет с подушки орден и вешает Ясю на шею. Ясь склоняет голову, президент целует его в лоб, а все собравшиеся в зале хлопают в ладоши. Вокруг слышен шепот: «За что, за что, за что? За что он получил этот орден?» — «Как, вы не знаете, за что он получил орден? Да ведь это Ясь, лучший в стране староста».— «Ах, так вот он какой, этот Ясь, про которого столько пишут во всех газетах, во всех календарях, о котором распевает песенки детвора».

Задумавшись, я не сразу почувствовала, что Ясь, сидевший на лавке и хрупавший яблоки, которые вытаскивал из кровати, теребит меня за юбку и говорит:

— Бабушка, проснись, бабушка. Нас уже там ждут.

— Кто ждет, сынок?

— Подводы, бабушка. Подводы возле народного дома.

Я набросила полушубок и, взяв Яся за руку, опрометью выскочила из дома. В спешке чуть не растянулась посреди обледенелого двора. Спасибо, Ясь поддержал. Потихоньку, шаг за шагом, выбрались мы на дорогу, ведущую к народному дому. Еще издалека я услышала ржание норовистых коней, щелканье кнута и смех радостней обычного. На

[1] Староста в межвоенной Польше — главное административное лицо и представитель правительства на территории повета; в Народной Польше эта должность сохранялась до 1950 года.

промерзлом лугу перед народным домом стояло несколько телег, выстланных соломой, запряженных лучшими в деревне лошадьми. Все было готово к отъезду. Ждали только меня.

Ко мне подошел директор нашей школы и, взяв под руку, помог подняться на крыльцо. Родители и дети кучкой стояли у крыльца. Я не очень-то представляла, о чем говорить. В голове у меня все начисто перемешалось. К счастью, я вспомнила, что мне пригрезилось нынешней ночью. И стала выкликать по одному всех двенадцать мальчиков. Крепко обняв каждого и сунув в кулак два злотых, я отпускала их обратно к родителям. После меня говорил еще школьный учитель и учитель закона божьего. Последним, стянув с головы отцовскую шапку, на крыльцо поднялся Ясь. Глотая слова, он прочитал наизусть стихотворение про дитя, которое чего-то не дождалось. Мы, слушая это стихотворение, плакали. Увидев такое, оркестранты заиграли, заглушая последние слова Яся и наш плач. Под музыку мы подошли к ожидающим на лугу телегам.

В первых четырех подводах лошади были в свадебной упряжи: белые недоуздки с разноцветными кистями, хомуты в медных гвоздиках, белые подпруги и поводья. В лошадиные гривы были вплетены яркие ленты. Плотно умятую солому накрыли солдатскими одеялами — получились сиденья. На этих телегах должны были ехать мальчики и провожающие их родители. На остальные три подводы погрузили продукты, которые собирала вся деревня. Первый воз был доверху завален картошкой, капустой и морковью. Второй полон мешочками с крупой, мукой, сушеными сливами и зимовавшими в погребах яблоками. Поверх мешочков лежали двенадцать больших, точно мельничные колеса, караваев. На последнюю телегу положили два куска сала, несколько изрядных кругов колбасы, несколько брусков масла, сушеный и свежий сыр.

Осмотрев все это, мы вернулись к первым четырем возам и, усевшись среди ребят, тронулись с луга. Заиграл оркестр, щелкнули кнуты, заржали кони. Взяв с места в галоп, мы въехали на дамбу, а с дамбы на паром. Ребята слезли с телег и, вытащив из карманов мелочь, вместо плоских камушков стали пускать по воде монетки. Подхваченные ветром кружочки вспыхивали на солнце и светлячками шли на дно. Я не спрашивала у мальчиков, о чем они думают. Должно быть, каждый, бросая монетку, думал о близкой весне, о выгоне, лучше которого нет места для забав.

Всю дорогу до города мы пели разные песни и песнопения. На полпути телег за нами поприбавилось. Они выезжали с проселочных дорог, заросших припорошенными снегом ивами, ракитником, кустами шиповника. Невдалеке от города дорога взбиралась на небольшой холм. Мы посмотрели с холма — веренице телег конца не было.

Мы подъехали к общежитию при монастыре. Несколько дней назад ехавший сейчас с нами викарий побывал в городе и обо всем договорился с монахами. Так что нам не пришлось искать по городу пристанища. Зайдя в общежитие, мы внимательно осмотрели спальню, столовую и зал, где можно было готовить уроки. Каждую кровать, каждый набитый соломой тюфяк я ощупала собственными руками. И все выспрашивала у монахов, по скольку раз и чем будут кормить мальчиков. В конце концов один не выдержал и спросил ворчливо:

— Это что, бабушка, все ваши дети?

— Мои, отец, если вас это интересует. Даже больше, чем мои.

Убедившись, что ребятам в общежитии будет неплохо, мы еще заглянули в гимназию, где им надлежало учиться. По гимназии нас водил сторож. В одном из классов я села за парту и, подняв руку, как бывало в школе, спросила сторожа:

— Вы давно здесь работаете?

— Ох, давно, давно. Без малого тридцать лет.

— Тогда вы, наверное, все знаете.

— А что бы вы хотели узнать, бабушка?

— Да вышел ли кто из этой гимназии в люди?

— Ясное дело, вышел. Еще какими людьми стали. Министрами, депутатами, профессорами, врачами, адвокатами, судьями. Даже есть такой, который книжки пишет. Я одну читал. Ученая очень — я половину только и понял.

— А священников не было?

— Как же не было? Этих без счета. Приходские ксендзы, каноники, епископы. Не говоря уже о викариях. Я каждому, когда они у меня на переменках покупали бутерброды с колбасой, наказывал, чтоб прочел за меня по нескольку молитв. Если только они не забыли свои обещания, место в раю мне обеспечено.

Успокоенная рассказом сторожа, я вернулась в общежитие. Прощаясь с мальчиками, я снова и еще яснее, чем нынешней ночью, вообразила их профессорами, врачами, учителями, адвокатами. Больше чем когда-либо, мне захотелось дожить до ста лет, чтобы увидеть, как, проучившись лет десять, приедут они к нам, сядут вместе с нами за длинный, сбитый из досок стол, поставленный в весеннем саду, а мы будем на них смотреть и дивиться. какие они ученые да умные.

Притча о дурном сыне

Давным-давно, так давно, что только самые старые деревья могут о том помнить, родился у кметов долгожданный сын. Отец с матерью обихаживали его, как волхвы, с позволения сказать, сына божьего, и сластями разными кормили, и затейливые игрушки покупали, и птенцов с деревьев доставали, из гнезд в лесу да в поле вытаскивали. Младенец рос не по дням, а по часам. К двенадцати годам он уже стал отцу по плечо, а мать перерос на голову. Дивились все. отчего мальчик такой высокий да стройный. А еще больше дивились его разуму. Никто так, как он, не умел рассуждать обо всем на свете. Ребенок был умнее деревенских стариков, которые многое повидали, о многом слыхали и ногами своими, от войны к войне, исходили полмира. С приходским ксендзом он как равный с равным говорил о небе, о святых, о бесчисленных тайнах, сокрытых на земле и в небесах. Этот же ксендз приглашал к мальчику мудрецов из большого престольного города, чтобы мог он с ними вволю наговориться.

Мудрецы эти, когда мальчик раздался в плечах и возмужал, забрали его в город и на свои средства определили учиться разным наукам. Но прежде чем послать его учиться, вынули у него из сердца Господа и на пустое место вставили цветное стеклышко. А когда это цветное стеклышко засверкало в груди у мальчика, мудрецам не составило большого труда убрать из его души образ матери и образ отца. И заместили они их обличьями двух распутных девок. Юноше пришлись по вкусу развратные эти образы, и тогда мудрецы отняли у него память. И внушили ему, что он-де княжеский сын, украденный цыганами и проданный за мешок муки бездетным кметам. Внушив это, мудрецы продали юношу за три мешка золота воеводе на забаву. И юноша во всем был воеводе послушен. Он сам придумал и при помощи таинственных чисел умел доказать, что кмет происходит от дикой свиньи. Как свинья, роется он в земле, в голодную пору ест лепешки из желудевой муки и спит где попало, хоть бы и по уши в грязи.

С той поры воевода, отправляясь вместе с юношей на охоту, приказывал раздевать мужиков донага и, изваляв в грязи, разгонять по

лесам. Мужики, сидя в молодняке, похрюкивали, точно кабаны. Воевода и неотлучный при нем юноша, снявши с плеч фузеи, стреляли по хрюкающим перелескам. Но почти никогда не попадали, потому что кметы, под стать диким свиньям, были хитрыми и ловкими. Но однажды похрюкиванье раздалось так близко, что трудно было промахнуться. Выстрелил воевода, выпалил из фузеи юноша. Заворочалось что-то в кустах, поднялось на задние лапы и с криком «Иисусе!» повалилось на землю. Бросился в молодняк воевода, а за ним юноша. На мху лежал не то человек, не то зверь. Когда юноша кончиком сапога перевернул его на спину, этот не то зверь, не то человек прошептал: «Сын, сыночек, зачем ты меня покинул?»

7

Только в середине апреля взялись мы за раздел помещичьих полей. Земли было немного. Гектаров двести. Поначалу мы собирались всю эту землю поделить на участки по полморга [1], чтобы каждому досталось понемножку. Однако в конце концов на сельском сходе, где не обошлось без ругни, постановили половиной земли оделить тридцать помещичьих батраков, а остальные сто гектаров отдать самым бедным в деревне. Деревянная барская усадьба, прогнившая от дождей, источенная жучком, вместе с большим садом и огородом в несколько моргов отходила деревне в общее пользование. Через год, самое большее через два, мы собирались, отремонтировав дом, перевести туда школу. За садом и огородом решили ухаживать всей деревней, а доход предназначили на содержание двенадцати мальчиков, уехавших учиться в город.

Прежде чем приступить к разделу господской земли, задолго до этого, едва уехали в Краков помещик с семьей, мы распорядились тем добром, которое осталось в доме. Должна признаться, что, входя в усадьбу вместе с батраками и нашими деревенскими, я чувствовала себя так, точно приняла причастие не исповедавшись. Еще хуже меня и деревенских чувствовали себя батраки. Как я узнала потом от Каноника, все они перед дележкой помещичьей земли исповедались и причастились. Но и после исповеди было у нас с батраками немало хлопот. Немного успокоились они только тогда, когда оба викария на их деньги отслужили несколько месс за благополучие помещика.

Прежде чем мы вошли в помещичий дом, сын одного из батраков слазил на чердак и притащил оттуда деревянный позорный столб. Я велела разжечь перед домом костер. Когда столб запылал, я увидела моего прадеда, привязанного к столбу, избитого до беспамятства, увидела, как отливали его водой и снова били. И слышала его крик, от которого ржали лошади в конюшнях, мычали коровы и выли собаки, будто им примстился злой дух. И еще видела я, как прадеда моего, завернув в кусок грубой холстины, волокут по саду два батрака и, раскачав, кидают в обмелевший пруд, где плещутся в грязной воде утки. Видела, как оттуда его вытаскивают моя прабабка с моей бабкой, как разрезают они ножом его задубеневшую одежду, обмывают водой и умащивают льняным маслом его тело. И это стало его соборованием. Спустя несколько дней он умер. Как бунтовщика, закопали его за кладбищенской оградой на неосвященной земле, где хоронили висельников, бродяг, ярмарочных нищих и разбойников.

Все еще видя, как живого, прадеда, вошла я в барские покои. Было в них темней, чем в нашем маленьком костеле. Я зацепилась не то за

[1] Морг — мера земли (около половины гектара).

стол, не то за стул и упала бы, если б меня не поддержали. Последняя искорка света в моих глазах погасла. Только когда в комнату внесли несколько свечей и керосиновую лампу, я поняла, что мы в библиотеке. Здесь будто бы чаще всего сиживал помещик. Поговаривали, что он читал книжки, переплетенные в телячью кожу, в сафьян, в камку, размышлял над ними и писал какую-то большую и умную книгу. Кое-кому даже случалось видеть, как за спиной у помещика, едва брал он в руки гусиное перо, появляется архангел о двух узких крылах и, склонившись к нему, нашептывает на ухо слова, ведомые лишь небесам.

Я подошла к одному из застекленных шкафов, отодвинула стекло и, вынув первую попавшуюся книжку, поцеловала корешок. Так я передавала все эти книги во владение деревне. И те, что написаны на чужом языке, тоже. Когда мальчики выучатся, они мне скажут, о чем во всех них написано. Ведь это наши книги, как Евангелие, из которого нам с амвона читают страницу за страницей.

Потом мы вошли в залу. Все стены, от пола до потолка, были увешаны картинами. Теперь-то я знаю, что там висели портреты дедов-прадедов помещика и помещицы. Но тогда мне казалось, что это все незнакомые мне святые — не наши, крестьянские, а те, которым только господа молятся. Однако и в этом я не очень-то была уверена. Некоторые лица на картинах вроде смахивали на красавчика Якуба, помещичьего камердинера, про которого осенними вечерами любила рассказывать моя бабка. Сдавалось мне, что кое-кто из батраков и деревенских мужиков тоже мог бы почесть некоторые за свой портрет. Под портретами висели сабли, мечи и старые пистолеты. Я протянула руку и с трудом вытащила одну саблю из ножен. На ее клинке блеснул отсвет свечей и керосиновой лампы. Я взмахнула саблей, накрест рассекая воздух. Тут же мне почудилось, что воздух, вспоротый сталью, слегка закровенел, и послышался чей-то вздох тише мышиного писка. Я решила, что картины, похожие на портреты батраков и кое-кого из деревенских, мы перенесем в народный дом, а остальные отдадим в поветовый совет. Холодное оружие, дабы оно никого не искушало, я велела сложить в окованные сундуки и перенести в плебанию. Кроме четырех алебард. Алебардами я вооружила наших ночных сторожей. Подумала, что и пожарным нашим они пригодятся, если не на пожаре, то уж непременно, когда будут стоять на часах у гроба Иисусова.

Из залы мы перешли в спальню. Там тоже было много картин. Только не дедовских портретов. Тут все висели изображения, на которых люди были почти что нагишом. Я хоть и старуха и немало повидала на своем веку, а и то покраснела до корней волос. Никогда в жизни, даже при Михале, я не отваживалась раздеться донага. Не стану лукавить, я любила, скинув рубашку, входить в нагретую солнцем реку. Но только ночью, когда знала, что все парни разошлись по домам и никто за мной не подглядывает. Еще бегала я нагишом в господской пшенице, но тут была цель, тут нагота имела свой смысл. Зато мужики, завидев голых баб на стенах, стали потирать руки и гоготать, будто их посадили на муравейник. А один подошел к широкой, на полкомнаты, кровати под зеленым балдахином, лег на нее и, протягивая руки к бесстыдной картине, просил нежно и жарко: «Голубка моя белая, пташка золотистая, ангел светлый, поди ко мне. Поди, говорю тебе. Не пожалеешь. Чего захочешь, сделаю».

Из спальни пошли в столовую. Посередине стоял стол мореного дуба. Помню, перед войной мой отец вытащил такой дуб из Дунайца. Когда его стали колоть топором на щепки, оказался он чернее смолы. Я не знала, что из такого дерева делают мебель. Стоило наклониться

над столом — и ты видел себя как в зеркале. Кое-кто из мужиков даже, глядясь в него, шептал, что видит, мол, помещика, помещицу и бледное, как осенняя розочка, личико их дочери. Вдоль стен стояли буфеты тоже из черного дуба. Я обратила на них внимание сразу, едва вошла, потому что при каждом шаге они звенели. И не мудрено. Полки были уставлены фарфором, хрусталем и стеклом. Я подошла к одному буфету и вынула оттуда несколько фарфоровых тарелок с гербом, несколько чашек, тонких, как яичная скорлупка, и высокие рюмки. Кто-то из батраков вытащил из буфета бутылку красного вина, откупорил ее и налил мне рюмку. Я выпила это вино, словно Каноник во время мессы. Выпила за здоровье батраков, за здоровье мужиков из деревни. Последними каплями я окропила дубовый стол, в котором кому-то привиделось лицо помещика. Фарфор и стекло решили, проложив сеном, в корзинах перенести в наш клуб. Пусть послужит нам всем на свадьбах да по праздникам.

Обойдя покои, мы осмотрели скотный двор и амбар. Коров, лошадей, свиней, овец, птицу, зерно, плуги, бороны, телеги и брички решили разделить между батраками. Я велела только взять несколько центнеров муки да крупы да четырех поросят для наших мальчиков, которые учатся в городе.

Выходя с подворья, я снова увидела своего прадеда с переломанными ногами и руками, с перебитым позвоночником. За прадедом мне привиделся Шеля[1] на гнедом коне. За Шелей — сбегающиеся со всех сторон мужики, вооруженные цепами, дрекольем, пилами разными, вилами и топорами. А когда образы эти растаяли меж деревьев помещичьего сада, когда мужики эти вновь обратились плодовыми деревьями, каждый своим, я, как живого, увидела деда нашего помещика. Он ехал шагом на таком же гнедом коне, что и Шеля. Ехал к недалекой Висле. За ним шли в пешем строю вооруженные берданками, пиками, железными цепами и саблями парни из нашей деревни. На деревянной лодке переправились они через Вислу, чтобы примкнуть к восставшим. Спустя несколько месяцев они вернулись. Но не все. Те, что уцелели, несли нашего барина на мужичьем тулупе.

Выходя из помещичьего сада, чуть припорошенного снегом, я молилась шепотом. Но за кого — не знала. Быть может, за моего прадеда, за деда нашего помещика, за Якуба Шелю или, может, за то, что пришел конец помещичьей усадьбе, которая была для нашей деревни бельмом в глазу. А может быть, я молилась за тех двенадцать мальчиков, которые, прочитав все книги и рассудив, что хорошо, что плохо, придут ко мне и все объяснят.

Думала я об этом и теперь, в середине апреля, стоя вместе с батраками и с нашими деревенскими на помещичьей земле. Никто не знал, с чего начинать раздел поля, подобного огромному пергаменту, на котором понаставили крестики неграмотные батраки. Все поле было засеяно пшеницей. Весна в том году случилась неожиданно ранняя, и озимые были нам до лодыжек. Мы стояли посреди огромной этой страницы, вырванной из огромной книги, с парой лошадей, впряженных в двухлемешный помещичий плуг, и у меня аж сердце сжималось при мысли, что эту ровную зеленую ниву придется поранить плугом. Но я знала, что все ждут моего слова.

Я подошла к плугу и, взявшись за чапыги, крикнула державшему лошадей батраку: «Трогай! Пошел вперед! Бери прямо!» Лошади, получив вожжами по раскормленным крупам, дернули плуг. Лемех взрезал озимь. На зеленя с красноватыми еще стебельками посыпа-

[1] Шеля, Якуб (1787—1862) — предводитель крестьянского восстания 1846 года в Галиции.

лась земля чернее запекшейся крови. Мне мешала длинная, по щиколотку, юбка. Я крикнула батраку, чтобы придержал коней, и подоткнула подол вместе с нижними юбками. Я знала, что ноги у меня заголились, что вся деревня это видит. Но мне было все равно. В танце да за работой и голизна сойдет. Я махнула батраку. Лошади снова пошли.

Поле было почти в километр длиной. Мы перерезали его пополам. Когда допахали до бровки, я почувствовала, что руки и ноги у меня одеревенели. Но я не присела ни на плуг, ни на озимь, чтобы передохнуть. И никому не передала плуга, пока не перепахала помещичье поле крестом. Крест этот, который стал теперь общей для всех дорогой, по моему разумению должен был стать памятью тем, кто от века на этом поле трудился, стать последним крестным знамением для помещика и благословением этой земле, разделенной бороздами между тридцатью батраками да несколькими десятками деревенских бедняков.

До вечера мы поделили все помещичье поле. Признаться, давно ни от чего так не болели мои слепнущие глаза, как от этой распаханной на клочки озими. Ведь мы бы могли подождать с этим разделом до августа, до жатвы, и не губить посевов. Но каждый из тех, кому была обещана земля, поторапливал, каждому не терпелось получить свое. Еще больней было глядеть на вывернутые двумя лемехами межи. Я подумала, что, прежде чем в этой развороченной земле укоренятся трава и пырей, не одна еще вспыхнет ссора, а кое-кто, может статься, схватится за камень, за кол, за мотыгу. Даже перепахивая крест-накрест озимь, я еще думала, что не будет у нас межей, что обойдемся дубовыми колышками, вбитыми по границам полосок. И верила, что новорожденные эти хозяйства поведутся по-новому, что уж этих-то батраков, этих бедных крестьян не придется мирить у войта, таскать по судам, что у них все начнется по-другому, не так, как в Библии, как у нас, старых хозяев, повелось со времен Авеля и Каина.

Тяжело мне было возвращаться вечером домой, словно целый день пудовые камни ворочала. Еще у себя во дворе я слышала доносящиеся с помещичьего поля песни. Это батраки, выкатив из господских подвалов несколько бочек с сивухой и вином, обмывали свое вступление в сословие земельных крестьян. Я разделяла их радость, хотя знала, что это разодранное на клочки поле немало еще горя им принесет.

Паныч, конь и слуга

Воротился паныч с войны. Воротились с ним конь да слуга его верный. Все трое мечом посеченные, копьем исколотые, стрелами насквозь проткнутые. Глянешь на паныча, а сквозь раны в теле его видать лиственницы усадебные, ниву пшеницы золотой, сад, августовским солнцем разрумяненный, а в саду барышню с косами до земли. Глянешь на коня, а сквозь рану у него в боку увидишь овсы звенящие, клеверище белое, что возле сада, седло, золотом клепанное, да удила серебряные. Глянешь на слугу верного, а сквозь тело его, стрелой пробитое, видать хату, камышом крытую, мать, на порожке плачущую, отца, смалывающего в жерновках на лепешки кору березовую да корешки пырейные.

Неделю спустя, вздохнувши страдательно, умирает на сеннике слуга верный. Месяц спустя конь наземь валится. Год спустя выходит паныч на крылечко на солнышке погреться. Глядит вокруг. На огороже, точно живая, шкура, с коня гнедого содранная, на ветру мотается. За огорожей ветер по лугу зеленому лисью шапку слуги вер-

ного катает. Заплакал паныч тут, горестно заплакал. На костыль опер-ся и пошел в покои. Бросился на ложе. Семь ночей проплакал, долгих семь денечков.

В день восьмой услышал — ржет гнедой у сада. Конь его полегший. Сполз паныч с постели, подошел к окошку. Ржанье все слышнее. Наш паныч с крылечка живо в сад спустился. Конь стоял под грушей. Тут паныч гнедого потрепал по гриве. Только видит, шкуры на коне-то нету. Скок паныч к забору, шкуру снял с тесины и гнедому тащит. Тот в нее и влез бы, да она не лезет. Паныч помогает. Шкура ж тесновата. Разве что до бабок, до пахов достало. Вновь паныч заплакал, залился слезами. А гнедой ноздрями в спину ему ткнулся и по-человечьи говорит тихонько: «Ты, паныч, не сетуй. Что мне в этой шкуре? Обойдусь и так-де. Мне мороз не страшен, да и снег не страшен. Доброта твоя же и коня согреет».

В дом паныч вернулся весел да утешен. Только снова вроде кто-то его кличет. На крыльцо он вышел. А у тына кто-то этак вроде машет. Скок паныч с крылечка и пошел к забору. Подошел и видит — стоит слуга верный. Стоит слуга верный, стрелами прошитый, и за шапкой лисьей наклониться тщится. А ему склониться не дает стрела-то. Та, что между ребер. Углядевши это, наш паныч склонился, шапку слуге подал. А слуга рукой-то дотянуться может лишь до подбородка. Тут паныч заплакал снова безутешно и слугу горючей окропил слезою. Взял он шапку лисью, и надел ту шапку верному слуге он на голову в ранах. Тот ему с улыбкой: «Не грусти, мой пане, слез не лей горючих. Что там мои раны. Шапкой их прикрыл ты. Даже птице хищной их теперь не видно. За тебя, мой пане, тыщу раз готов я гибнуть смертью лютой».

8

В начале мая вновь заработал наш цирк. К сожалению, езда на бицикле, что на велосипеде перестала занимать деревенских. Велосипедов в деревне становилось все больше. За два килограмма искрошенной на соломорезке махорки, за несколько бутылок самогону можно было приобрести вполне приличную машину. Мы решили купить аккордеон и мотоциклетку. Ездить на ней уговорили нашего Музыканта. Водить обещал его научить начальник милиции, а играть на аккордеоне — органист.

Зато кружок ораторов пользовался все большим успехом. Нужда в говорунах постоянно росла. К нам приезжали из повета, из местечек, из соседних гмин и забирали самых лучших ораторов. Приходилось срочно обучать новых. Через несколько месяцев до того дошло, что куда ни поедешь, на какую сходку, собрание, митинг ни попадешь, везде выступают ораторы из нашей деревни. Узнать их не составляло большого труда — стоило прислушаться. Они слегка подмазуривали[1], вместо «он» выговаривали «ом», вместо «эн» — «эм», вместо «и» — «ы». Но это не мешало им запросто рассуждать обо всем: о боге, о человеческом естестве, о духах, колдуньях и чародеях, о коневодстве, о выращивании рапса, о старых и новых временах. Их язык, вскормленный просторечьем, образный, конкретный, как клочок поля, как сбитый из досок стол, стал возвышенным, обогатился новыми словами, прежде никем в деревне не слышанными.

Радовалась этому моя душа. Если до войны мне приходилось часами простаивать в приемной у старосты, в суде, в полицейском уча-

[1] Мазуре́ние — выговаривание согласных «ш», «ж», «ч» как «с», «з», «с», свойственное некоторым польским диалектам.

стке, в кассе Стефчика [1], то теперь везде сидели люди из нашей деревни. Они жали мне руки, расцеловав в обе щеки, усаживали, угощали колбасой, которую им приносили люди, стаканчиком самогона, а то и настоящим чаем. И не успевала я выпить чаю, наглядеться на своих земляков, наговориться с ними, как в контору уже кто-то вбегал, крича с порога: «Все в порядке»,— и подавал мне бумажку, подписанную старостой, или начальником милиции, или каким другим начальством.

Немало наших деревенских, из тех, кому не хватало своей земли, уезжало на западные земли в надежде устроиться там получше да поосновательней. Мы шумно прощались с ними, провожали с оркестром до ближайшей станции. Правда, спустя год-другой некоторые возвращались с набитыми сундуками, со стенными часами, с фарфором и хрусталем, но большинство все-таки осталось в Щецинском, в Зеленогурском, в Опольском воеводствах. До сих пор получаю я от них письма. Пишут обо всем: у кого кто родился, кто какие купил машины, пишут о своем из году в год умножающемся добре, движимом и недвижимом.

Деревня наша, по которой еще несколько лет назад нельзя было пройти, не повстречавши десятка людей, становилась все безлюднее. Попадались дома, в которых остались одни старики да старухи. Остальные разъехались по всей стране. Я опасалась, что если дальше так пойдет, то и поболтать будет не с кем — придется ходить в соседние деревни либо ездить на ярмарки в окрестные местечки. Когда в конце мая мы устроили первую гулянку, оказалось, что и плясать некому.

Очень меня это огорчало. Я совсем перестала спать по ночам. Чтобы как-нибудь дотянуть до рассвета, еще чаще, чем прежде, разговаривала с Михалом, со своей живностью и даже со всякой домашней утварью. Но эти ночные разговоры и бесконечные молитвы только разгоняли сон. За месяц я, верно, ни разу не сомкнула глаз. Исхудала, ослабела, юбка, когда-то крепко державшаяся на бедрах, теперь с меня сваливалась. Глаза пуще болели, волосы стали лезть целыми прядями. Хотела я съездить к доктору в повет, посоветоваться. Да все не было времени.

Вот почему однажды в воскресенье после обеда собралась я к колдунье, что жила возле скотинного погребалища. Я не очень верила слухам, которые о ней ходили, да и не нужны мне были ни заговоры, ни заклятья. Хотела попросить у нее траву от бессонницы. Хромая Янтоска, прозванная в деревне колдуньей, была мне ровесница. Мы вместе играли на выгоне, ходили в школу, пасли коров. Правая нога у Янтоски была чуть короче левой, и ее дразнили Хромоножкой. Досаждала Янтоске эта хромота. Но еще сильнее досаждали мальчишки. И не мудрено, что, приходя на выгон, где мы играли в чижика, в лапту, в войну, в классы, она садилась в сторонке. Жаль мне ее было. Может, потому, что и сама я была калекой, хотя мое увечье не так бросалось в глаза. Обычно я подходила к ней, брала за руку и втягивала в игру. Гоняясь за мячом, за мелькающим в воздухе чижиком, она забывала про свою короткую ногу.

Особенно ей доставалось на лугах, где мы пасли коров. Янтоску первой выталкивали мальчишки из кружка гревшейся у костра детворы, если чья-нибудь корова забредала на засеянное поле. Никто из них будто и внимания на нее не обращал, когда она бежала выгонять скотину, забравшуюся в озимые или в свеклу. Но стоило ей

[1] Кассы Стефчика — сельские кооперативные ссудно-сберегательные кассы, получившие свое название в 1924 г. после смерти Ф. Стефчика.

повернуть обратно, все как один срывались с места и каждый пуще другого над ней насмехался. «Глядите, глядите,— кричали они,— Янтоска-то у нас плясунья. Музыки не слыхать, а она точно вальс танцует».

Янтоска, слыша эти обидные насмешки, садилась посреди луга и плакала, теребя подол. Я подходила к ней, утирала ее мокрое лицо, гладила тоненькие косицы. Она прижималась ко мне, обнимала за шею и принималась плакать еще горше. Я, как умела, ее успокаивала, совала лежалое яблоко, репку, горстку печеных бобов или тыквенных семечек, а то закалывала ей волосы цветной заколкой, которую мать купила мне в престольный праздник на ярмарке. А когда мы возвращались с лугов, шла с нею рядом позади всех и, держа за руку, рассказывала придуманную на ходу сказку о хромой королевне, за любовь которой бились на турнире сто рыцарей.

Тогда Янтоска начинала рассказывать о себе. Была она единственной дочкой. Но отец ее не любил. Даже близко к себе не подпускал. А если ей случалось поставить не там, где следует, кружку с молоком, ведро воды, задуматься, держа в руке недоеденный кусок хлеба, или заглядеться на огонь в плите, он изо всех сил дергал ее за косички, бил прутом по рукам, обзывал недотепистой хромыгой. И мать ее не баловала. Один только раз, когда Янтоска готовилась к первому причастию, купила ей белую ленту и белое платье. Все детские годы проходила Янтоска в юбках, перешитых из материнских, в материнских драных косынках, в разношенных туфлях, которые на каждом шагу сваливались с ног. Но иной раз, когда отца не было дома, мать сажала ее к себе на колени и, укачивая, расплетая ей косы, рассказывала о колдуньях и колдовских чарах.

Говорила ей мать: «Когда вырастешь, Янтося, покумись с нечистым. Только он один тебе и поможет. Будешь ему верно служить, он сделает так, что у тебя ноги сравняются, или устроит, чтобы парень, которому ты приглянешься, хромоты твоей не заметил. На святых тебе рассчитывать нечего. Святые таких, как ты, не любят. Они сами были когда-то увечные, если не телом, речью или слухом, так уж душой наверняка. Лучше ты им глаза не мозоль. Они не любят, когда людское убожество напоминает им про ихнее, небесное. А спознаешься с нечистым, считай, вся деревня твоя. Будут приходить к тебе влюбленные, брюхатые бабы, вдовы, которым мозги иссушило одиночество, деревенские жилы и скряги, пядь за пядью простукивающие землю в поисках медного котелка, набитого червонцами. Увидишь, вскорости сам солтыс станет тебе низко кланяться, и войт, и староста, а может статься, и настоятель постучит в твою дверь. Ты только сейчас слушай и все хорошенько запоминай. А я знаю такие травы, такой камень из печенки висельника, такое слово, утаенное на илистом дне самого глубокого омута, что тебе откроется вся премудрость, заключенная в книгах, в людях, в земле, в поднебесье и на небесах».

Потом, когда мы с подружками перестали пасти на лугах коров, когда пришла пора носить лифчик, высокие, до колен зашнурованные ботинки, сорочки из отбеленного в озере полотна, цветастые юбки, корсажи и бусы, Янтоска больше не рассказывала мне про свою мать. Но, видно, она сдержала данное в детстве слово, потому что в деревне ее уже много лет называли колдуньей.

Не повезло Янтоске и с замужеством. Не совру, если скажу, что к ней многие подъезжали. Ухажеров у Янтоски была куча. В особенности после смерти отца с матерью, когда осталась она хозяйкой дома, овина и немалого надела. Но Янтоска и не очень-то рвалась замуж. Выбирала среди холостяков да вдовых мужиков, точно корову поку-

пала. Как-то по дороге из костела я спросила ее, когда свадьба, а она ответила, что, наверное, никогда. И поторопилась добавить: «Боюсь, дети родятся хромыми. Не хотелось бы мне видеть, как их дразнят».

А люди поговаривали, будто она не хочет связываться ни с одним мужиком, потому что уже спозналась с лукавым, а он, поймав ее на слове, заполучил ее душу, о чем и записано на воловьей шкуре. В доказательство, что так оно и есть, вспоминали про падающих от неизвестной болезни кур, про больных ящуром коров, охромевших от мокреца лошадей, подыхающую в реке рыбу, про гуляющие по небу огненные столбы северного сияния. Боялись Янтоску люди. Когда она проходила полем во время жатвы, бабы, чтоб не порезаться, втыкали серпы в землю, мужики, отложив в сторону косы, усевшись на межу, принимались свертывать самокрутки, плотники, тесавшие бревна для постройки дома, с маху загоняли топоры в дерево, чтобы не оттяпать себе палец или — упаси бог! — руку. Некоторые, когда Хромоножке случалось, проходя по деревне, поглядеть на теленка, на корову или на свинью, слоняющихся по двору, кропили их святой водой, окуривали хлева можжевельником, скармливали скотине с помоями свяченую соль либо крошки рождественской облатки. А если ребенок, посидевший на едва оттаявшем выгоне, схватит прострел, да такой, что головы не повернуть, в этом тоже винили Хромоножку, а мальца натирали свяченым маслом.

Да и сама я, хотя не больно верю в чудеса, не раз ловила себя на том, что, когда Хромоножка проходит мимо моего дома, осеняю себя крестом навыворот, закрывая руками подслеповатые глаза. С тех пор, как по деревне пошла про нее такая слава, я каждый год бросала в колодец головешку от костра, на котором сжигали терновый венец, а коровье вымя натирала маслом, освященным вместе с пасхальной колбасой и грудинкой.

Рассказывали еще люди, будто еда у Хромоножки не переводится. И какая! Жареное мясо, колбасы, сыр, масло, калачи и пеклеванный хлеб. Будто сама она всего этого съесть не может и кормит по ночам мясом, а когда и колбасой дворняг со всей деревни. В самом деле, проходя ночью возле скотинного погребалища, можно было услышать рычанье, хруст костей, жирное от сала, от подливки и костного мозга чавканье. После собачьих пиров на погребалище слетались ночные птицы. Они хлопали крыльями и ухали, вырывая друг у друга недоеденные псами куски. А по утрам, чуть свет, можно было увидеть стаями кружащих над соломенной крышей Хромоножкиного дома галок, грачей и сорок. Они очищали от остатков мяса разбросанные по окрестным полям кости. Люди, которым случалось проходить мимо или проезжать на телеге к себе на поле за погребалищем, при виде этих белеющих на солнце, чернеющих под дождем костей торопливо крестились и сплевывали через плечо.

Зная это, я все-таки пошла после обеда к Янтоске. Чем ближе подходила к ее дому, тем сильнее колотилось у меня сердце. Я чувствовала, как мои распухшие ноги наливаются усталостью, а руки сами складываются для молитвы. Разозлившись, я даже сплюнула и громко сказала: «Ну и дура же ты, Ядвися, ох и дура. Старая ведь, столько всего на свете повидала, душа у тебя белее замоченного в озере полотна, а боишься подружки своей, Янтоски, хромоножки убогой. Да ведь вы с ней похожи как две капли дождя на листке полыни. Ведь не выйди ты, Ядвига-слепуха, замуж за Михала, не стань солтысихой, вся деревня пальцами бы на тебя показывала, шепчась по углам да по задворкам: «Глядите-ка, глядите, слепуха-то наша — во тьме костра не заметит, а снюхалась с нечистым. Всякую неделю,

чуть смеркнется, то на кочерге, то на помеле, то на сучковатой скамейке на шабаш выезжает».

Задумавшись, я и не заметила, как вошла к Хромоножке во двор, огороженный ивовым плетнем. По всей изгороди развевались на майском ветру разноцветные ленты. На кольях плетня сидели, греясь на солнце, несколько кошек. Над ними, громко стрекоча, кружили две сороки. Они явно задирали кошек. Но те, разомлев на солнышке, видели только свои кошачьи сны о разливанных реках парного молока, о едва оперившихся птенчиках, и ни лапой, ни хвостом не шевелили, и ни единый волосок у них в усах не вздрагивал.

Во дворе, устланном соломой и сеном, грелись, зарывшись в песок, рябые курицы. Возле дома, под самыми окнами, за низенькой оградой вылезали из распаренной земли мальвы, пионы, лилии и вьюнки. В окно стучались лиловые кисти персидской сирени. Запах сирени смешивался с запахом мясного бульона. Потянув носом, я различила запахи лаврового листа, черного перца и имбиря.

Я вошла в эту полосу запахов, доносящихся из неплотно притворенной двери в сенях. Протянув руки, нащупала железную скобу. Постучала костяшками пальцев в дверь, дернула за скобу и вошла в комнату. Там было темно, если не считать слабого света, пробивающегося через окно, заставленное горшками с миртом и аспарагусом, и я ничего не могла разглядеть. В колени мне ткнулся кто-то и стал меня обнюхивать. Я подумала, что это собака, и наклонилась, чтоб ее погладить. Но, к изумлению моему, рука наткнулась на едва прорезавшиеся рожки. Тут я услышала голос Хромоножки: «Здравствуй, солтысиха. Что это тебя ко мне привело? А давненько мы с тобой, Ядвися, не виделись. Погоди-ка... небось с твоей свадьбы».

— Да, давненько, Янтося, давненько. А и где нам было встретиться? Ты почти не выходишь из дому, да я и про себя не скажу, что непоседа. К тому же живешь ты на отшибе. К тебе не забежишь по дороге на минутку посидеть, поболтать о том о сем.

— Не одной тебе, Ядвися, не по дороге. С тех пор как померли отец с матерью, ко мне почти никто не заходит.

— Зачем зря говоришь, Янтоска? А сколько ухажеров вокруг тебя вертелось? Каждый день люди видали кого-нибудь нового на дороге к погребалищу.

— Да что ухажеры. Врать не стану, приходили всякие, водку приносили, шоколад. Но как я двоим-троим отказала, перестали приходить. С той поры, если не считать заплутавшейся побирушки, ярмарочного нищего, блаженненьких, что спят в чистом поле, да цыган, никто ко мне не заглядывает. И я знаю почему. Все в деревне думают, что я колдунья. Боятся меня люди. Больше чумы. Правда, Ядвися, меня боятся? И ты, наверное, тоже считаешь, что я колдунья, и тоже боишься? Ну, скажи, Ядвися. Боишься ты меня? Скажи.

Я молчала. Не знала, сказать ей правду или солгать. Не хотелось мне ее обижать. Ни на минуту не забывала я об ее увечье, под старость ставшем еще заметнее. А она, точно почувствовав, что я заколебалась, подошла ко мне и, как в былые времена на лугу, прижалась к плечу, взяла мои руки и положила их себе на лицо.

— Только не обманывай меня. Ты одна во всей деревне никогда меня не обманывала. Да хоть бы и хотела обмануть, не сможешь. Ничего у тебя не получится. Посмотри, какие у меня глаза. Ты никогда еще их не видела. Посмотри.

— Ты забыла, Янтося, что я почти совсем слепая. Еще на солнце могу разглядеть кошку, птицу, пролетающую над садом, но в такой темноте, как в этой горнице, я и тебя едва различаю.

— Давай выйдем во двор. Под окном у стены есть скамеечка. Посидим на ней, погреемся на солнце. Хорошо на старости лет погреть на майском солнышке искореженные подагрой кости. Погоди только минуточку. Захвачу чего-нибудь поесть и выпить.

Я вышла за порог. Меня ослепило почти зеленое солнце. Я прикрыла рукой глаза. У стены под кустом персидской сирени стояла сбитая из двух оструганных досок скамеечка. Я села на нее, прислонившись спиной к нагретой, как широкая печь, стене. Подтянула юбку, подставляя солнцу распухшие ноги. Вскоре из дому вышла Хромоножка. Увидев, что я уже сижу на лавочке, она приковыляла ко мне.

— Вот, принесла кусок пирога и черносмородиновой. Давно мы с тобой не видались. Надо по этому случаю выпить. Неужто одним мужикам можно?

Вынув из-за пазухи пузатую бутылку, Янтоска налила до краев стакан. И выпила одним духом, последние капли выплеснув на сирень. Выпила и я. После второго стакана в голове у меня зашумело. Янтоска, поставив бутылку на землю, села рядом со мной.

— А теперь погляди мне в глаза. Ты таких не видала, верно? Ни зеленые, ни серые, ни голубые. Всякого понемножку. Но не в том дело. Видишь три огонечка в каждом зрачке? Не видишь? Ну, так я тебе про них расскажу. Они у меня как язычки пламени в керосиновой лампе, как три негасимые искорки, брошенные в осеннюю воду. Оттого я вижу лучше ястреба, лучше сокола. Часто, когда гляжу по ночам на звездное небо, кажется мне, что я вижу звезды, которые еще дальше Большой Медведицы, что даже тень от ковша различаю. И с рекой то же самое. Я вижу не только рыб, словно веретена, большие и маленькие, наматывающих на себя зеленую нить воды, не только занесенное речной галькой и песком дно, но и тот волшебный перстень, что бросила через плечо святая Кинга[1], меч, утопленный в глубоком омуте князем вислянским[2], татарские стрелы и даже осыпавшиеся на песок и гальку голоса переходивших реку кочевников. Так же насквозь я вижу и лес. Мне не мешает ни орешник, ни сосняк, ни кружевной папоротник. От моего взгляда не укроется ни серна, ни кабан, ни лиса, не спрячутся щетинистый барсук, ползающий по земле желтопузик, квакающая в лесной мочаге жаба. Еще я вижу, как проходят по лесу с копьями, с мечами, с колчанами, полными стрел, воины, которых давным-давно уже нет на свете. Стоит мне взглянуть на листок подорожника, мать-и-мачехи, лесного хвоща — и я под кожицей листа вижу все прожилки, все канальцы, по которым растекаются свет и капельки дождя. Сама ты, надо думать, понимаешь, что и людей я вижу насквозь. Достаточно мне посмотреть в их глаза, в их затянутые непроницаемой сеткой лица — и передо мной открывается все тайное, что спрятано, сокрыто, погребено на самом дне их замусоренных душонок.

— Не дури мне голову, Янтоска. Не можешь ты всего этого видеть. У людей таких глаз не бывает. Даже у ученых, которые, говорят, все рассматривают сквозь тыщекрат увеличивающие стекла.

— Не веришь? А хочешь, я скажу, что тебя гложет? Хочешь?

— Попробуй.

---

[1] Кинга (Кунегунда, 1224—1292) — княгиня краковская и сандомирская, жена польского короля Болеслава Стыдливого; после смерти мужа ушла в основанный ею монастырь; причислена к лику святых.

[2] Висляне — объединившиеся в IX веке в общий союз племена, жившие по берегам верхней Вислы и ее притоков.

— Сынок, сыночек твой, Ядвига. Немного похожий на Пророка. И сыновья Войцеха, и еще эти двенадцать сорванцов, которых вы послали учиться.

— Верно, Янтоска. Но это каждому ребенку в деревне известно.

— И не спится тебе. Несколько недель уже донимает тебя бессонница.

— Ты и это увидела?

— Ну, конечно. Это ведь так просто. У тебя все на лице написано. Из-за бессонницы ты и пришла ко мне. Только из-за бессонницы. Боялась ты меня. Даже когда во двор входила, еще боялась. Я глядела на тебя из-за аспарагуса и видела, что ты боишься.

— Да, немножко побаивалась. Всякое о тебе рассказывают. Все к тому же помнят, какая была у тебя бабка, что тебе сулила мать. Но я не верила тому, что болтают люди.

— А надо верить. Люди правду говорят.

— Как это — правду?

— Не бойся. Я не вожусь с лукавым. Хотя, кто его знает, может, он со мной водится? Ты забыла про мои глаза, про мою короткую ногу. Людям большего и не надо было, чтоб прозвать меня колдуньей, матерью всех бесенят, какие бы ни народились по задворкам, в ригах, в лесу, в ямах от вырванных с корнем деревьев, на болотах. А теперь, после раздела помещичьих полей, к мужицким чертям добавились еще господские. Об этих я тоже должна заботиться, нянчить их должна, голубить, утешать.

— Что ты плетешь? Выдумываешь ты все. От начала до конца выдумываешь. Какие еще господские черти?

— Да те, что во фраках, в цилиндрах, в белых перчатках, с тросточкой с золотым набалдашником разгуливали по господскому полю, по саду, по господскому лесу. Ты об этом не знаешь, а было их полно. Больше, чем наших мужицких чертей, похожих на нищих с паперти, на побирушек, на умом поврежденных. Почти у каждого пана был свой черт. Не мог пан без него обойтись. Во всем ему такой черт помогал. Учил разным языкам — и тому, который можно услышать только в костеле, и французскому, и самому изо всех пакостному, за сто верст разящему серой швабскому языку. И еще учил пана черт, как греться на солнышке, чтобы кожа была белая, точно простокваша, точно гусиное перо, нежная, словно шелк. И самых пригожих девок со всей округи к нему приводил. Думаешь, девки эти шли в панские покои только ради того, чтобы получить корову, сотню злотых, клочок поля? Ошибаешься ты, если так думаешь. Потому они шли, что приваживал их дымом, запахом ладана и заморских благовоний господский черт.

— Ты забыла, Янтоска, ведь барщина была и нужда такая, что люди ели даже корень пырейный, лебеду и березовую кору. Съедали все живое, что находили в поле, на небе, в воде и под землей. И черти тут были ни при чем.

— Тогда почему же эти господские черти все время ко мне приходят?

— Как это к тебе приходят? Не болтай чепухи!

— Чуть ли не каждую неделю, по пятницам, являются. Заходят в горницу, усаживаются на лавку, на пол, приказывают еду им подавать. И я не могу от них избавиться.

— Может, это не черти?

— Нет, нет, я точно знаю, черти. Раньше, пока помещик жил в усадьбе, я их в глаза не видала. Только когда вы разделили господскую землю между батраками, они повадились в мой дом. Говорю тебе, это они самые. Вы изрезали помещичье поле тропками да межами, им там теперь тесно, вот они и приходят ко мне. Жалуются очень, говорят,

повернуться негде стало. Они привыкли к полям просторным, без границ, без тропинок, к лугам без межевых столбиков, к огромным садам и теперь спотыкаются, ноги ломают, копыта калечат, рога себе пообивали. Омужичиваться стали. Жалуются, что с каждым днем все больше омужичиваются, забывают латинский, французский да швабский языки. И все чаще вставляют в свою господскую речь словечки хамские: надысь, лихоманка, ништо, пошто, здря, гуторить, варенуха, лежанка.

Но всего им обиднее, говорят, что насмехаются над ними хамские черти, те, которые в былые времена самую грязную работу в геенне огненной выполняли. Когда надо было, например, столкнуть в пруд телегу, сорвать у мужика с головы и извалять в грязи шапку, поджечь полную зерна ригу, оттяпать топором палец или подсунуть кусок колбасы перед причастием. Теперь они, говорят, мужицкие эти черти едят на наших позолоченных тарелках, на прозрачном, точно яичная скорлупа, чмелювском фарфоре [1]. Пьют из звенящего, как сигнатурка на Ангела Господня, хрусталя. Даже жареного петуха, кусок говядины или свинины не раздирают лапами, не рвут зубами, а режут на крохотные кусочки ножами с гербом и тычут в них нашими вилками тяжелого серебра. И свои красные, как полевая горчица, рожи не рукой, не рукавом утирают, а вышитыми крахмальными салфетками.

Но за это, говорят, мы на них не обижаемся. Пусть себе едят на здоровье. Пускай щеголяют по земле, по небу, по дну реки, среди зелени в наших фраках, цилиндрах, лакированных башмаках, кунтушах, в высоких сапогах со шпорами, с саблями на боку, с пистолетами в резном ящике. Но почему они нас от себя отпихивают, зачем кидаются лошадиным и коровьим дерьмом, расставляют проволочные западни и железные капканы, а поймав, угощают будто бы самогоном, а на самом деле святой водой? Стыдятся они нас, это ясно, избегают, специально натасканными собаками травят. И нет надежды, что когда-нибудь примут нас за своих, что возьмут хотя бы на кухню горшки мыть или на скотный двор, чтоб мы им лошадей, коров чистили, носили скотине помои, а боровам картофельное хлебово. Уж чем-нибудь мы бы подле них поживились, как-нибудь бы продержались. А там, спустя немного времени, они бы позабыли, что мы другие, и приняли нас как своих.

Но они, говорят, мужицкие эти черти, это вонючее дерьмо, орехи козлиные, ветры смердящие, коровьи лепешки, харкотина чахоточная, сопли, липнущие к рукам, зловонные лужи, куда отливают жеребцы, икра лягушачья, комья лягушачьей икры, из какой вот-вот вылупятся головастики, которых потом пожрут аисты да черные птицы, эта сера, что течет из уха летучей мыши, из собачьего и кошачьего уха, эта ржавь на пшенице, полова, уносимая ветром, раздавленное ногой козье и собачье дерьмо, прилипшая ко дну пруда тина, эти гниды, вши, впивающиеся в кожу, шевелящаяся от блох солома на деревянных лежанках, на нарах, в вонючих тюфяках и собачьих конурах, эти гноящиеся раны, лопнувшие чирьи, слезящиеся гляделки, задницы в коросте, загаженные задворки, нужники и отхожие места, кишащие мухами, белой мошкой и черными червями, эти тараканы, прусаки, саранча, жужелицы, лезущие в еду, ползающие по кастрюлям, этот навоз под обкусанными ногтями, эта похотливая задышка, провонявшая луком, чесноком, гнилой жратвой, пот, струящийся по немытой годами коже, эти разваливающиеся, разевающие свои пасти юфтевые сапожищи, сапоги с черными голенищами, в которые напихана солома да сечка, эти кривые пальцы на ногах, между которыми присох-

[1] Фарфор, производимый на известных фарфоровых заводах в городе Чмелюве.

ла грязь и аж наслаждение ее оттуда выковыривать, эти сапожные ножи, секачи, косари, топорики, кистени на пружинах, которые прихватывают на свадьбы да на гулянки, это обжорство, скотская отрыжка за свадебным столом, кряхтенье, бормотанье, эти зенки, затягивающиеся черной мглой в минуту наслаждения и в последний час, этот белый пот, белый страх, эти судороги при виде приближающейся смерти, этот камень на камне, зола на золе, это ничто, вылезающее из ничего, — уперлось на одном: править им захотелось, собственное государство основать, свои школы, свою сермяжную культуру и искусство.

Потому и мы, говорят, решили основать свое государство. Государство в государстве. С полицией, с жандармерией, бесовским войском, собственным раем, архангелом Гавриилом и архангелом Михаилом, с собственным старостой, воеводой, президентом, налоговым управлением, ломбардом, игорным притоном, борделем и домом свиданий, с религией и безбожием, кровавыми и бескровными переворотами, с орденами и наградами, с виселицей, на которой веревка будет надушена, с красной стенкой для расстрелов, с обручем, который можно не торопясь, вершок за вершком затягивать на шее, с дубовой колодой, в которую всажен широкий топор, со стеклянной банкой на животе, под которой сидит голодная крыса, с раскаленным клеймом в виде звезды и в виде креста, с паровозной топкой, с котлом кипящего масла, с подвалами, где вода доходит до щиколоток и крысы кричат: «Пей! Пей!», с газовыми камерами, с крематорием.

А если это не поможет, говорят, если и это не поможет, мы вытащим из-под земли все медные котелки с дукатами, все окованные железом сундуки с долларами, все набитые драгоценными камнями латунные жбаны, все нитки жемчуга и настоящих кораллов и начнем их сманивать, начнем им подсовывать доллар за долларом, дукат за дукатом, камушек за камушком, одно жемчужное ожерелье за другим, пока они не размякнут, не подобреют, пока есть у нас из рук не станут. А для тех, кто перед искушением устоит, мы приведем гурий, вакханок, грудастых секретарш, ясноглазых и светлокосых девочек, а самым несговорчивым отдадим своих жен, дочерей, сестер, родных и двоюродных, ласковых и нежных, как китайский шелк, дамаст или сатин.

Ненасытных обжор мы накормим мясом, горы мяса, истекающие подливой, мы перед ними навалим, блюд понаставим с курами, утками, фаршированными индейками, хрустящими поросятками с яблоком во рту, огромными хряками и свиноматками, начиненными рябчиками, перепелками, куропатками и прочей крылатой дичью, вола мы им на вертеле изжарим, ягнят и овец зарежем, телят, пахнущих молоком и невинностью, ланей, косуль с огромными влажными глазами, в которых сверкает весенний лес. А на сладкое дадим мы им шоколаду, ликеров разных, напечем пирогов, разваливающихся от щедро наложенного творога, тортов, кренделей и куличей, пряников, и ватрушек, и затейливых пирожных, которые и не заметишь, как проглотишь. И напитки мы им подадим. Все напитки, какие благодаря нам, господским чертям, выдуманы, вина легкие и тяжелые, белые и красные, пузырьками играющие и улетучивающиеся, точно образ ангельского хора. Ликеры, наливки, настойки и водки. И, наконец, коньяки, коньяки со всего света.

А выжившим из ума старикам с ватными коленками, трясущейся головой, трепыхающимся сердцем, с подгнившей печенью, дырявым желудком, отказавшим мочевым пузырем мы поставим удобные кровати, дадим пуховые и шерстяные одеяла, мягкие туфли, шлафроки из камчатного шелка, цветные стеклышки для забавы, принесем разных

птичек в золоченых клетках, позаботимся, чтобы всегда у них был ароматный чаек, кофеек, травы и клизмы, безболезненные бесконечные клизмы, клизмы, клизмы. Мы пришлем им врача — он погладит их по птичьим головенкам, утешит, успокоит. Мы пришлем им сестру милосердия — она запеленает их, как младенцев, подотрет, сложит ручки на сон грядущий, поцелует в лобик. Пришлем сиделку, чтобы она подала им утку, судно, тазик, перестелила простынку, позволила ущипнуть себя, потрепать по ляжке.

Я не перебивала Хромоножку. Не осмеливалась. И когда слушала ее разинув рот, наконец заметила эти искорки, эти махонькие огонечки, затаившиеся в ее зрачках. Не знала я, вдохновение ли на нее снизошло, бес ли вселился или она просто-напросто все выдумывает, чтобы удивить меня, напугать. Когда Янтоска на минуту умолкла, взявши стакан со смородинным вином, я положила ей на плечо руку и спросила:

— Говоришь, они к тебе приходят? Черти, говоришь? Господские черти? А мужицкие не приходят?

— Ясное дело, нет. Им теперь хорошо. Даже у дворовых, у батраков, у последних нищих, которые всю жизнь обходились одной холщовой рубахой, а сапог отродясь не носили, им вольготно живется. После раздела помещичьей земли всего у них стало вдоволь: хлеба с маслом, молока, творога, картошки с постным маслом, сладких каш и каш с черносливом, разных круп, пражух [1], студней, капусты с горохом, а по воскресеньям, глядишь, у каждого в тарелке кусок крольчатины или беленькой курочки. Потому они и не жалуются и нет у них нужды знаться с такими, как я.

— А много их приходит?

— Не сказать, чтобы много. Но всегда по нескольку.

— А как ты узнаешь, что это господские черти?

— По виду ничего особенного в них нет. Лица и фигуры у всех человечьи и говорят на нашем языке. Только о своих бесовских делах.

— Может быть, они тебя обманывают, Янтося, а ты им веришь?

— А зачем им меня обманывать?

— Может быть, у них есть цель, которой ты не понимаешь, про которую не знаешь?

— Может, и есть. Я в этом не разбираюсь. Я их боюсь и спрашивать ни о чем не спрашиваю. Варю для них, кормлю, обстирываю. Вот и все.

— Кормишь их, говоришь? А где ж ты берешь столько еды?

— На погребалище.

— На погребалище?

— Ну да. Коров и свиней-то люди сюда свозят и закапывают.

— Так это ж падаль.

— Какая там падаль, Ядвися. Прекрасное мясо. Чистое, душистое. Изжаришь, само в рот просится.

— Неужели вы едите скотину, которая пала от ящура, от сибирской язвы, от сапа? И поросят, подохших от рожи? Да ведь вы можете отравиться. Помереть в страшных мучениях.

— Я могла б тебе ответить, что чертям и ведьмам даже тухлое, зараженное, кишащее червями мясо вреда не приносит. Но мясо это, истинно говорю тебе, как будто прямо от мясника — чистое и здоровое.

— Как это чистое и здоровое?

— Об этом они заботятся. Присмотрят себе у кого-нибудь яловку покрупнее или бычка, беконную свинью или молочного поросеночка, иной раз теленка, овечку, а то и барашка. Потом зайдут ночью в хлев,

---

[1] Пражуха — кушанье из запаренной ржаной или гречневой муки.

подсунут скотине какого-то бесовского зелья она и падет к утру, воняя так, словно разлагается. Мужики, обвязав лица тряпками, отвезут падаль на погребалище и зароют. А они приходят, откапывают эту вроде бы дохлятину, сдирают шкуру и, разрубив на куски, приносят ко мне.

— Но ведь есть указ, чтобы из земли торчали рога или копыта. Помнишь, он вышел, когда стало известно, что цыгане выкапывают из земли падаль, жарят ее в медных котелках и едят.

— А там и по сю пору торчат из земли ноги, рога и копыта. Только ничего под этими рогами да копытами нету.

— Теперь я понимаю, отчего пошла по деревне молва про пиры у тебя в доме, про собак, грызущихся по ночам на кладбище, про ворон и галок, склевывающих остатки мяса с костей, растаскивающих по полям синие потроха. Одного только не пойму. Люди говорят, что у тебя в доме играют на дудках, кларнетах. рожках и охотничьих рогах.

— Сейчас поймешь. Погоди минутку.

Хромоножка ушла в сарай, примыкающий к боковой стене дома, и немного погодя вынесла оттуда что-то в корзинке. Корзинку она поставила передо мной.

— Сунь руку в корзинку. Сунь, не бойся.

В руке у меня оказалось берцо не то коровы, не то бычка; кость внутри была полая, с мундштуком, как у кларнета, и проверченными буравчиком отверстиями. Я отложила кость и достала другую. Эта была вроде маленькой свирели. Я вытаскивала кости одну за другой и раскладывала возле себя на лавочке. Попадались среди них похожие на рожки, гобои, пастушьи свирели. Было и несколько охотничьих рогов.

— А теперь попробуй сыграть. Не бойся, ничего с тобой не случится.

В самом деле, пустотелые, очищенные от мяса, волокон и сухожилий кости издавали звуки наподобие музыкальных инструментов.

— И ты на них играешь? Я ведь помню, как ты на лугу возле костра или в густом ракитнике над рекой наигрывала на свирели из ивяного лыка. И много песен у тебя получалось. А еще ты умела играть на листочке вербы, на травинке, на обвернутом бумажкой гребешке.

— Как же, бывает, и я вместе с ними сыграю. Но чаще они сами — наедятся мяса, выпьют несколько бутылок самогону и начинают. Красиво играют. Наш оркестр лучше не смог бы. Я хоть и хромая, а ноги так и просятся в пляс. Только вот мелодии у них больно грустные. Точно у кого-то швейной иглой душу вынимают, точно в открытые глаза сыплют черный песок или воском с громницы [1], капля за каплей, с головы до ног человека заливают. И песни у них чудные, ох чудные. До того чудные, что слушаешь их и ощущаешь в себе каждую косточку, каждую жилку, нерв каждый. И вспоминаются дела давнишние, потаенные, запрятанные глубоко в земле, в памяти, в самом нутре, такие, которые нам во сне только видятся, а может, и такие, что снились нашим отцам и дедам.

— Как это чудные? Опять ты чего-то плетешь.

— Да хотя бы такие: когда они играют на этих инструментах, из костей сделанных, видится мне мой отец, и бродит он по полю и пытается подойти ко мне, посадить на колени, пощекотать шею, ущипнуть щеку. А иногда я вижу дедову полюбовницу, которая убежала от него с казаками, вижу, будто идет она краем колосящегося поля

[1] Громница — восковая свеча, которую дают в руки умирающему или зажигают у гроба.

с саблей в руке и срезает этой саблей зрелые колосья целыми пучками. И ветер подхватывает зерна, сыплющиеся из срезанных колосьев, и превращает их в золотых ящериц.

А они, эти господские черти, видят еще больше моего. Как-то случилось, что один из них, наверное самый младший, заиграв на флейте, увидел вдруг свою сестру, будто ее отдали в распутный дом, будто превращается она в святую Марию Магдалину, волосами вытирающую Христу ноги, обливающую стопы его миром. Другой тоже увидел свою сестру, превратившуюся в святую Веронику, утирающую Пресвятой Лик, безотрывно глядящий на выжженные камни Голгофы. А еще один — брата своего, который был капо в Освенциме, увидел в обличье Савла, ослепленного небесным светом.

Увидевши такое, они отрывают от губ инструменты, и лица у них становятся бледными как гашеная известь, как лен, вымоченный на залитых водой лугах. И уходят подальше от света лампы и до конца трапезы ни слова больше не проронят. В такие минуты дружки их всегда меня предупреждают, чтоб я не вздумала заиграть на костях, когда буду одна. Иначе может случиться что-то страшное, с чем даже им не совладать.

— И ты так и не осмелилась?

— Один раз сыграла.

— Ну и что?

— Ночью увидела себя на шабаше. Голой, в чем мать родила. Будто я танцую вокруг какого-то камня, который называется «философия». Споткнусь на своей короткой ноге и снова пляшу, стараясь, как и все, прикоснуться к этому камню. После каждого прикосновения я видела все дальше и дальше, слышала все более отдаленные голоса, а в голове моей загорались по три, по четыре лампадки, проясняющие любые тайны. Под конец этой пляски вырос у меня в голове огромный костел, дворец, где были зажжены все свечи. Целую неделю я летала на шабаш. Пока они не пришли и не вынули у меня из головы этот сверкающий не то костел, не то дворец.

— Смеешься? Как тебе не стыдно надо мной смеяться?

— Не веришь? А ты попробуй. Ты сказала, что давно мучаешься бессонницей. Возьми вон ту кость, похожую на свирель, и сыграй. Слово даю, уже нынче ночью заснешь мертвым сном.

Я потянулась было за костью, но в последнюю секунду отдернула руку. Увидела улыбку на губах у Хромоножки и огоньки в ее зрачках.

— Не хочу. Не верю я твоим россказням. Дай мне чего-нибудь другого от бессонницы. Знаю, что ты собираешь разные травы, что ты лучше меня в этом понимаешь. Помоги советом.

— Трав я тебе дам. Да не знаю, помогут ли. И совет дать тоже могу. Только с моим советом придется тебе подождать до осени. Пока не начнут золотиться лиственницы. Встань тогда под лиственницу и постой часок-другой. Так будешь стоять ежедневно целый месяц. И будешь смотреть на ее крону, всю в золотых иголках. Пока не упадет на тебя последняя иголочка. Тогда, воротившись домой, ты заснешь. Может, даже под лиственницей заснешь. Только остерегайся этого сна. Как бы с тобой чего дурного не случилось.

Я поблагодарила Хромоножку за совет и попросила, чтоб она принесла трав от бессонницы. А оставшись одна на лавочке, задумалась над тем, что она мне рассказала. В самом деле, за последние месяцы в деревне издохло много коров и свиней. От какой-то странной болезни. Ни мужики, ни ветеринар, которого привозили из города, не знали, что это за болезнь. Еще сидя на лавочке, я попыталась

разгадать, кто же они на самом деле, эти господские черти, но Хромоножкин голос вывел меня из задумчивости:

— Вот тебе травы. Запаривай их полчаса. Только смотри, чтоб вода не закипела. Пей часа за два до сна. Если не поможет, придется тебе ждать до осени, пока не зазолотятся лиственницы. Разве что решишься сыграть на кости.

— Никогда.

Я поднялась с лавочки, собираясь уйти. Было уже поздно. Смеркалось.

— Подожди, не уходи. Ты, наверное, проголодалась. Я принесла немного мяса. С пятницы осталось.

— Зря ты хлопочешь, Янтося. Я не голодна. Последнее время я и ем-то мало. Самое большее два раза в день.

— Скажи лучше, что брезгуешь. А зря. Нечего тебе брезговать и бояться нечего. Не отравишься. Таким мясом и господа из усадьбы не погнушались бы.

Я пододвинула к себе котелок и вытащила пальцами кусочек говядины. Мясо пахло луком, лавровым листом и гвоздичным перцем. Я положила его в рот. Оно таяло на языке. Я съела. Хромоножка снова подсунула мне котелок. Я взяла еще кусочек. И, отговорившись тем, что сыта по горло, распрощалась с Янтоской.

— А ты заглядывай ко мне, заглядывай. От души буду рада.

— Непременно, Янтося. Спасибо тебе за все.

Я уже была за изгородью, когда Хромоножка крикнула мне вдогонку:

— Только гляди не разболтай людям в деревне, о чем я тебе рассказывала. А то еще они придут ко мне сюда и камнями побьют. Я ведь как была для всех колдуньей, так и осталась.

— Не бойся. Словечком не обмолвлюсь.

Гнездо колдуньи

В давние времена, когда воды были чистые, как душа только что окрещенного младенца, а леса такие густые, что копье отскакивало от них, словно от кожаного щита, а небо такое высокое и ясное, что стрела, пущенная богатырем из лука, долетала до первых ангельских хоров и на землю сыпались золотые перья, жили на свете колдуны и колдуньи без числа и без счету.

В наших краях, хоть и были они победней других, колдунов и ведьм тоже водилось изрядно. Порождал их всех черный камень, который затащили медведи к себе в зимнюю берлогу. Самые старые люди в деревне еще помнят, как в июне, на святого Иоанна, когда день с ночью ровнехонько поделен пополам серебряным ковшиком, поднялся в лесу плач, да такой, что вода в церковной купели превратилась в рыжий песок, облатка в ковчеге для святых даров покрылась кровью, колокол сам собой закаркал, точно ворон, и над лесом что-то взметнулось и пропало в звездном небе. А на леса, на воды, на росистые луга и седые ото мха соломенные крыши упало несколько прутиков, оторвавшихся от помела. Утром те из деревенских, кто попроворней, подобрали эти прутики. Потом, во время мора, голода и всяких напастей, они им сослужили добрую службу.

Но с той поры у коров в деревне молоко высохло в вымени до последней капли, в обмелевших колодцах стали квакать жабы, телята рождались о двух головах, жеребята с одной хромой ногой, а дети с выжженными следами от копыта или когтей на спине. Решено было тогда изловить ведьму. Долго никому это не удавалось. И вот однажды лесник, возвращаясь в деревню, увидел, как из белеющих хлебов

поднялся и полетел к роще белый лебедь. Леснику что-то в этом лебеде не понравилось. Зарядил он тут ружье большой серебряной пуговицей от своего кафтана, прицелился и выстрелил. Раненый серебряной пуговицей лебедь, успевший уже подлететь к верхушке сосны, стал переваливаться с крыла на крыло. Но все-таки успел повернуть к белеющему житу, чтобы упасть в самую его гущу. Однако охотник, не спускавший глаз с раненой птицы, побежал за нею следом. Во ржи, посреди поля, увидел он молодую пригожую девушку. Из левой ее руки текла кровь. В ответ на грозные слова лесника она сказала, что порезалась серпом. Но он ей не поверил. И отвел к приходскому ксендзу. Ксендз показал девушке распятие — она не перекрестилась. Окропил ее святой водой — она запищала, как ласка. Натер ей лоб елеем — она до крови укусила его за руку. Тогда бросились на нее деревенские с камнями. После третьего удара она во всем призналась.

На высокой сосне было у нее гнездо, откуда она каждую ночь летала на шабаш. Один парень залез на дерево, вытащил из гнезда пять яиц и, сунув их за пазуху, спустился вниз. Когда разбили первое, на лес хлынул ливень. Когда разбили второе, град побил окрестные поля. Когда ударили палкой по третьему, мор погубил всех кур. А когда разбили о дерево четвертое, по лесу да по полям разбежалась стая крыс и мышей. Из пятого яйца, которое пришлось долго долбить камнем, вышел царь — весь в золоте, с руками, по локоть обагренными кровью. Махнул он саблей над головами собравшихся в лесу крестьян, свистнул в четыре пальца и растаял, как седое облако дыма, над полями. Но спустя несколько недель началась великая война. Забрали на нее половину мужиков из деревни. Почти половина из них с этой войны домой не вернулась.

(Окончание следует)

УОЛТЕР МЭККИН

Действующие лица в порядке их появления

РАССКАЗ

Перевод с английского С. МИТИНОЙ

Майкл-первый

Да, я самый и есть — Мик Оуэн. Отчего меня кличут «Майкл-первый»? А мне почем знать. Видно, просто оттого, что и деда моего и прадеда звали по-другому, Тэди им было имя, а вообще-то занимались бы люди своим делом да работали до седьмого пота — вот и некогда бы им было клички другим придумывать.

Ну, есть у меня на лбу шрам. Три шва тогда наложили. Могу вам хоть весь показаться, целиком, и нигде больше ни одной отметины, потому как человек я смирный, вот почему, да я сроду ни с одним соседом не ссорился, сколько живу. Люблю, чтоб все было тихо, мирно. Увижу, что человек в злобе, я и уйду от греха, а уж потом, когда поостынет, руку ему протяну.

В Билнехауэне я всю жизнь прожил. Нас здесь, почитай, четыре поколения помнят. Земли у меня шестьдесят акров, из них сорок — камень голый, из трещин пучки травы торчат. Нашелся б у вас на камни покупатель, я бы разом в богачи вышел.

Зато остальная земля — добрая. С нее и живем, не бедствуем. Скот откармливаю, каждый год голов десяток продаю да сколько-то и телков. Чтобы такая уж легкая жизнь моя была — этого не скажу. Какая тут легкая жизнь, когда спину ломать приходится, как мне. Однако голодать не голодаем и в банке кое-что останется, когда помру. Да нет, больше мне ничего от жизни и не нужно — что есть, то и ладно. Я деревенский. А в городе мне как-то не по себе. Езжу туда, конечно, коли нужда есть, но как вернусь домой, всегда радуюсь.

Как я понимаю — из-за чего вся эта кутерьма началась? Я того не хотел, это я вам точно скажу. Знать бы наперед, что такая свалка получится, я бы за милю удрал, хоть мне уже пятьдесят и я не так шустро бегаю, как бывало.

О сыне вам рассказать? Что ж, могу и о сыне, только не потому, что он сам не может — да его хлебом не корми, дай о себе порассказать. Это у него от материной родни. Болтали б они поменьше да побольше работали, глядишь, и не разметало бы их по свету — а то наезжают домой раз в десять лет или около того и ну долларовые бумажки расшвыривать, словно мякину овсяную.

Какому отцу охота про родного сына говорить — он, мол, виноватый, вот и я не стану. Он у нас единственный рос. Невредно бы их побольше завести, да ведь это — как бог даст, а мне частенько думалось, вот бы послал мне еще, да таких, чтоб попусту языком не мололи и умели за плугом ходить,— ну, только чтоб первенец, конечно, при мне остался. Нет, если б их даже можно было брать на пробу, а потом назад отдавать, я своего бы не отдал.

Но только сами посудите: когда человеку приходится, как мне, спину гнуть на поле, на гумне, на торфянике, ему подмога требуется. Ну и вот, родится у тебя сын, и, покуда он подрастает, всю жизнь на него глядишь и ждешь: войдет парень в возраст и станет мне подмогой, когда у меня самого уже прыти поубавится.

Не то чтобы он не пробовал. И не то чтобы у него дело не шло — э-э, да захоти он только!... Вы ж его сами видели. Парень молодой, крепкий, ладный. Бычка-трехлетку запросто одолеет.

Я человек темный. Сами видите. Начальную школу еще осилил, но даже коли можно было бы дальше учиться, все равно б не захотел. Читать умею, писать, цифры складываю — будь здоров, с меня и довольно. Может, я его не понимаю. А вы найдите мне такого отца, чтоб понимал своих сыновей,— да вам медаль выдадут!

У меня о жизни — одно понятие, у него — другое. Всего и делов. Отчего оно так получается — поди разгадай, но коли этого не поймешь, так и будешь до конца дней зло на него держать.

Все он где-то витает, с самого малолетства так — вроде бы он тут, с тобой, а вроде бы и нет его — вы понимаете, о чем я? Вот Кёлан Маэни тоже все где-то витает, но тот придурок. А мой — нет. Просто спит наяву, вроде того. Ему-то оно хорошо, а каково мне?

Где уж тут картошки накопать, коли полдня в небо глядишь, а ногу вокруг лопаты закрутил?

Где уж тут торфу на болоте нарезать, коли на жаворонка глазеешь, да примечаешь, какие у куропаток повадки, да разглядываешь старые деревья — они на болоте, почитай, тыщу лет стоят. А чем зимою обогреваться будешь?

Что проку у коровы за ушами чесать, коли ее доить надо, а то вымя у нее вот-вот лопнет, и она вовсю ревет от боли.

А коли взялся капустную рассаду в огороде высаживать, что проку садить ее вверх корнями? Вот как бог свят, разве я своими глазами не видел: пятьдесят штук листьями вниз, корешками вверх. А чем потом свиней кормить?

Я тоже, не меньше кого другого, полевых мышат жалею, но только не дело это — по полдня на ихнюю норку пялиться.

А когда сено косим, мне это ни к чему — половину луга оставлять невыкошенным и все ради того, что где-то там чертов коростель гнездо свил. Коростель, а? Да он как пойдет ночью скрипеть, я от его окаянного голоса то и знай вскакиваю, камни в поле швыряю, а потом об них коса ломается. Понимаете, этот парень больше на спине лежал, чем на ногах стоял. И не то чтоб спал, вот ведь какое дело. В этом хоть смысл был бы какой-то, так нет, лежит себе, в небо смотрит.

Ну, правда, если его докличешься, все, бывало, сделает — за полдня наворочает больше, чем другой за два, стоит ему только голову приложить, но только его все время под присмотром держать надо, и так от этого, бывало, устанешь, что в конце концов махнешь рукой и сам все сделаешь.

Но это у него не от лени. Что б там на него ни наговаривали. Просто он к нашему делу головы не прикладывал. Этот парень в постели никогда по утрам не залеживался. Сколько раз, бывало, вижу его на заре: сидит где-нибудь на утесе, смотрит, как солнце всходит. И никакой он не полоумный. Я и сам, когда на ярмарку иду, не прочь бы полюбоваться, как солнышко всходит,— знать бы только, что проклятущая скотина не разбежится по проселкам.

И больше я про него говорить не буду. Все, хватит. И про соседей тоже. От разговоров про соседей добра не жди. Мне одного надо — чтоб у нас тут после всей этой кутерьмы опять мир настал.

И про то, что у нас тут стряслось,— тоже ни слова не скажу. У меня в голове гудит и шрам вон на лбу — это мне в память о том деле, коли когда охота придет о нем поразмыслить, да только не часто это будет.

Чем скорее чужие в Билнехауэн лезть перестанут, тем оно лучше, я так смотрю. Наше это дело, и больше ничье. А какое мое к этому ко всему касательство — только одно, что я моему парню отец, а он парень хороший, работящий — когда к делу голову прикладывает; да ему и на ум не приходило кого-то там обидеть, никогда я такому не поверю. Речист он больно, это у него от материной родни, я уже вам говорил, и, коли хотите с Мэри потолковать про него — что ж, в том худа нет. Она дома, напоит вас горячим чаем, сварит яичко, коли пожелаете, а я пошел коров доить.

Кто ж их за меня подоит?

Его Мэри

Вы Мика не слушайте. Он как лошаденка, когда ей сбруей шею сотрет. Не понимает он нашего Майкла. Где ему и понять-то, когда он в землю глазами уперся да так всю жизнь и ходит. А если и взглянет на небо, так чтобы узнать, не собирается ли дождь. Так-то он человек хороший, добрый — прямо святой, только все бурчит-бурчит, будто брюхо расстроенное.

Сына ведь одна только мать родная и может понять, верно? Вроде бы два сердца бьются как одно. Постойте-ка, я сейчас достану из комода его карточки. Ну, что вы, какое тут беспокойство, и потом — разве поймешь мужчину, если не знать, какой он был мальчонкой?

Вот, гляньте-ка, до чего хорош, а? Волосенки кудрявые, крепенький такой. А времена-то как переменились! Мы когда снимали его на карточку, он был совсем кроха, а кой-кто из стариков как увидит, что он безо всего, голенький снят, сразу давай креститься — будто кладбищем ночью идут... А вот тут мы его принарядили — это он к перво-

му причастию собирается. Ну, разве не красавчик? В школе, правда, у него дела шли не так чтоб хорошо — с учителем нелады и с ребятишками тоже, а знаете почему? Да по правде-то ребят надо бы учить ему, вот кому. Такой малышок, а уже был до того умный! Да они бы диву дались, если б увидели, сколько он всего знает. Как выучился читать, так сразу с первой минуты к книгам и прилип, не оторвешь. Коли хотите, покажу вам его комнату. Просто лавка, где книжками торгуют! Ну и что ж тут такого, если он и в самом деле учителя разок-другой поправил? Он и всегда был мальчик правдивый. Бывало, говорит мне: «За правду и за красоту — только за них, мам, и стоит идти на смерть». Как сейчас помню. Рублю, бывало, свиньям капусту, и он такое скажет, ну прямо не могу — все брошу, уткнусь в передник и плачу, а он меня утешает.

Все-все мне рассказывал. А учитель — ох, и лютовал же над ним. То и дело драл розгами. Придет — попка вся в волдырях, да здоровых таких, с медузу. И что же вы думаете, Мик хоть раз сходил, поговорил с тем зверюгой? Да другой отец его бы за такое до полусмерти отдубасил. Но мой Мик — что вы! Только и скажет, бывало: укрепи, господи, его руку; совсем не понимал, что сынок у нас — нежной души. Так что пришлось мне сходить самой, отчитать его, да толку-то что. Вредный такой был коротышка, а язык — что твоя бритва, прости ему господи. Теперь уж он помер, и у меня надежда — угодил туда, куда такому положено.

Ах, про теперешнее, ну да. Материнское сердце все, знаете, на давнишнее тянет. А чем ей и жить-то, матери,— только памятью сладкой о былом, давешнем.

Я и всегда знала — быть ему непременно писателем. Бывало, чего-то царапает, царапает на бумаге — часами, и днем и ночью. Пока нам электричество не провели, Мик все кричал на него: «Ты что, их ешь, свечи эти, что ли? Зачем тебе опять новая пачка?» Подумать только! А этот воск — он мозги гения взрастил. Нет, нет, вовсе я не преувеличиваю, ни вот столечко. Мой сын Майкл — он гений. Я ему и всегда это твердила, и уж теперь-то он, думаю, со мной согласился. Да вы же сами его пьесу видели, верно? Ну, из-за которой вся заваруха началась. Так вот, получилась бы разве вся эта заваруха, не будь пьеса такая замечательная?

Ладно, неважно. Вы не слышали, как он другие свои сочинения читает — они там наверху, в сундуке спрятаны. Расхаживает, бывало, по кухне, такой серьезный, и читает их мне, матери своей родной, и пусть я даже чего и не пойму, все равно, сердце у меня так и лопается от гордости, и уж плачу я, целые ведра слез наплачу. А ему это по душе, что я плачу. «Я тебя, мам, растрогал,— кричит.— А когда-нибудь весь мир растрогаю!»

Так неужто такому человеку этой нашей дребеденью себя утруждать? Знаю, осуждали его. Что ж они думали — он носом в навозную жижу уткнется на поле, когда у него глаза к звездам обращены? Они думают — все такие должны быть, как они сами. А уж не черная ли это зависть кой в ком говорит, прости им господь, они же еле подпись свою нацарапать могут на карточке, когда пособие получают.

Пьесу я не смотрела. Да на что мне ее смотреть-то? Он же мне ее всю прочитал тут, дома! Нет, по-моему, там про взаправдашних людей ничего нету. Про соседей? Да нет же, там не живые люди, а выдуманные — ну, как в книжках. А мне почем знать — с чего они все взяли, будто это он их в пьесе вывел? Слушайте, да кто они такие, чтобы мой сын их в свое сочинение вставил? Ой, что вы, да я бы и близко не подошла. Застеснялась бы. Что мне в большом городе делать, когда я там не знаю ничего. Да я бы там была будто рыба, из воды вытащенная. От переживаний померла бы. А мой Майкл, он себя держать умеет. Не язык у него — чистое серебро, скажете, нет? Ворон и тех заворожит. Эх, послушали бы они его в тот вечер, когда эта драка вышла, глядишь — никакой бы и драки не было.

А все из-за этих с островов Аран, точно вам говорю, съехались тогда на ярмарку, а что с Сарой стряслось — так то просто несчастный случай.

Ну, правда, он их в пьесе окрестил «бараны с Арана» и такое дал объяснение, что тысячу лет назад бараны в тех местах были обращены в людей, да так оно и осталось. Но ведь это шутка! Им бы и посмеяться шутке. И потом, с чего они взяли, что это он про них? Больно нужно ему с ними возиться — мужичье они неотесанное, болотные жители, да они сроду пьесы не видели, а и увидели бы, так и не догадались, что пьесу смотрят.

Нет, никого я нарочно кипятком не обваривала. Когда все это началось, я была на кухне — снимаю с крюка чайник, хочу чайку попить, а тут оно как раз и начнись. Вот как он, чайник-то, у меня в руках очутился. Да я мухи не обижу. И потом — у меня свое достоинство есть. А чайник, он сам у меня вывернулся из рук.

Ой, как жаль, что вам уже уходить, я ведь только-только начала про Майкла рассказывать, про сынка моего. Лучше его на всем свете нет и не бывало. И если это он в меня такой речистый, так я, мать его родная, гордиться должна, верно?

Что они над ним вытворяли, как обзывали его! Только как бы им не пожалеть — потом, когда-нибудь, когда все мы помрем, а они будут цветы носить к его памятнику, где сейчас весы стоят. Попомните мое слово. Он будет знаменитый, и Билнехауэн тоже станет знаменит,— а только через него. Чует мое материнское сердце.

Повидаетесь с ним — сами поймете, о чем я. В глаза ему загляните. Он вас так и видит насквозь, все, что в вас есть, подмечает сверху донизу, до самых подошв. Да он вас лучше будет знать, чем мать родная.

И вы увидите — огонек в нем горит, знаете, какой ночью в очаге под кусками торфа теплится, а утром, только начни раздувать, сразу вспыхнет пламенем.

Приходите опять, коли уж сейчас вам так сильно некогда, я еще про него расскажу. Столько всего могу порассказать, а кто вам лучше все объяснит, чем мать родная, которая и родила его, и грудью кормила, и выхаживала, словно росточек сельдерея на тощей земле.

Я Майклом, сыном своим, горжусь — пускай все слышат.

Вот уходите вы, а я в дверях стою и кричу на всю деревню, и пускай все слышат, мне наплевать. Голос мой в горах мне откликается и к морю бежит, а потом снова ко мне, над головами этих неблагодарных людишек!

Мистер Макграт (Славный Денек)

Ах, вон оно что! Заходите, заходите. В комнаты пройдемте. А то здесь, в лавке, ушей больно много. Эй, Джо, принеси-ка в гостиную бутылку и стаканчики.

Хорош, а как же иначе. Только самый лучший держу, не то что в некоторых заведениях, я бы мог их назвать, там ведь как наливают: половину — самогона, три четверти — воды.

Ежели вам желательно про меня знать, я вам все как есть расскажу, по правде, по совести. Я ведь им кто, нашим деревенским,— я им отец родной. Да мне о каждом из них больше известно, чем священнику вон там, в церкви, а почему? Да потому, что все они ко мне ходят деньги одалживать, вот почему, а когда человек у тебя в долг берет, душа его перед тобой вся как есть, нагишом. Да ежели б все деньги собрать, сколько я людям в долг понадавал, Ирландию бы тропкой из фунтовых бумажек опоясать можно.

Я человек справедливый, большого терпения я человек, а только другой раз так и подмывает притянуть их всех к суду за долги, и что тогда с ними будет, а?

А-а, вам про Майкла Оуэна желательно, того парня, что сочинил пьесу?

Спроси вы меня про это неделю назад, я бы вас, может статься, вон вышвырнул, так бы и полетели кувырком. А сейчас на меня гляньте — спокойный, ну прямо как епископ, и в руках дрожи нет. У меня нрав отходчивый. Это про меня каждый знает — не то бы я всю ихнюю семейку, Оуэнов этих, на стене распял.

Стало быть, так: я его всю жизнь знаю, а люди вам скажут — второго такого приметливого, как я, здесь у нас не сыскать. Лентяй он, дрянь человечишко, и больше никто, с самого своего рождения такой. Это я не потому, что милосердия к людям не имею, нет, правда это, чистая правда, а правда, она всегда выйдет наружу.

Мэри, мамаша его,— ох, и подлая же баба. Мозгов ни на грош, язык длиннющий, не язык — кабель электрический, а уж яду в нем — святого током убьет.

Вот Мик Оуэн, он человек приличный. По счетам платит в срок, работящий, языком зря не мелет, ежели и есть за ним какой грех, так то, что он такого сынка породил и вовремя дурь из него ремнем не выколотил. Да ведь Мэри кидалась на него, будто бешеная. А он рано перед ней спасовал — считай, с того дня, как она его к алтарю приволокла.

Нет, на представление не ходил. Да меня бы туда силком не затащить. Не скажу, чтобы я много их перевидел, этих пьес — так, приезжают к нам иногда актеры, представление показывают. Мне от них прибыток — от посетителей потом отбоя нет, а пьесы ихние коротенькие, с песнями, с плясками и после всего — лотерея. Вот такие представления мне нравятся.

Нет, но люди почтенные, кто смотрел, мне потом пересказывали, и не будь я человек миролюбивый, к людям сверх всякой меры милосердный, я бы того парня мигом к суду притянул — за оговор — и без рубашки б оставил, да только что с него возьмешь, у него же ни гроша за душой, и потом, я на такое мерзопакостное дело не пойду, хоть и дорожу своим добрым именем.

Откуда я знаю? А вот откуда. Пьесу эту он про нашу деревню сочинил. Выведен в ней лавочник, и уж такого подлеца свет не видывал с тех пор, как господь сотворил Адама. А ежели у нас в деревне всего один лавочник, на кого ж людям и думать? Понятное дело, на меня. Он, говорят, для этой пьесы даже актера выкопал на меня с виду похожего. Ну, конечно, не может у меня никакого сходства быть с тем лавочником из пьесы — тот хапуга, язва и ростовщик чистой воды. А мой нрав всем известен. Одному богу известно, сколько во мне милосердия к сирым мира сего. Так что ж, прикажете мне о своей доброте на всю деревню трубить? Сказано же — левая рука не должна ведать, что правая творит.

По мне что ж, пускай. Достойных людей и всегда-то оговаривали, не с меня это началось. Пускай себе говорит, что я подлец, процентщик я, наживаюсь на людском горе и даже — прости ему, господи,— мелких фермеров прижимаю, норовлю согнать с участков, чтоб участки те пустить под пастбище для своих бычков, но только это поклеп, потому что сами посудите — сколько наших мужчин, сколько семей живут себе

припеваючи по всем Соединенным Штатам, а все через меня, я им помог в беде, не то сидеть бы им тут, ковыряться в каменистой земле, бедствовать и пухнуть с голоду.

Это я ему как раз прощаю. Откуда такому дуралею несчастному знать, как я обо всей деревне пекусь? Да и кто бы мог ему рассказать про это, когда у всех уста благодарностью запечатаны?

Нет, тут в другом суть!

Вы видели в лавке девушку эту, Джули? Попадались вам когда-нибудь девушки краше, а? Хорошая девушка, порядочная, послушная и благодарная такая. Она, само собой, сирота, а он что говорит? Будто бы она мне дочь, а я это утаиваю. Вот такое прощать уже никак нельзя.

Я мужчина собой видный, что верно, то верно, но можете вы между нами хоть какое сходство углядеть, а? И никто не сможет. А как все это бедной девушке разбередит душу, какие в сердце у ней напрасные надежды вызовет, а? А каково это моей бедной жене слышать, этой кроткой, незлобивой душе, а? И не станет ли она на меня взирать с подозрением? То-то меня и точит, что люди подумают, будто я шкодник, блудливый козел, а я человек безгрешный, да я на саму Венеру нечистого взгляда не брошу, вздумай она у нас здесь на бережку резвиться совсем безо всего.

Это кто же вам про меня таких мерзостей наговорил? Ну да, было дело, так ведь тому уже лет сорок. И потом — тогда ошибка получилась. Ну, вышло тогда распоряжение — считать, что ребенок от меня, и мой отец платил, да ведь до конца вам никто не рассказал, как оно получилось. А был я молодой, меня завлекли, но только не мой это. Я в ту пору не мог открыть и сейчас не скажу, кто тут вправду был виноватый, но пускай господь бог им простит, а мне воздаст — за то, что я все эти годы язык держал за зубами. Ох, ну кто бы подумал, что в мире столько злых людей,— это надо же, такое вам на меня наговорили! Каждодневно ужасаюсь до глубины души вероломству этих людей, а ведь я к ним как отец родной.

Да-а, в жизни земной для особо взысканных только скорби и уготованы. Но так оно и должно быть. Чтобы помнили: воздаяния нам не в этом мире подобает ждать.

Нет, сэр, к тем беспорядкам я никакого касательства не имею. Я был возмущен, ну правда, но я человек справедливый. Вот вы со мной побеседовали, теперь сами видите, и мне вам это доказывать не к чему.

А что он с бедняжкой Сарой Мэлони сделал! Бедная женщина! Да такого и над скотиной не сотворишь — разве что у тебя от рождения вместо сердца камень вложен. Свою-то обиду я в груди ношу, а вот Сарина беда привела меня в расстройство, скрывать не буду. Я всем и каждому говорил — может, и перестарался малость,— какую муку она приняла из-за того парня. Кто-то же должен возвысить голос в защиту слабых и беспомощных. А если не я, так кто? Да что там говорить, этому, в церкви, пастырю-то нашему, ему бы с алтаря гнев на них великий обрушить, ежели бы все делалось по справедливости.

А те, с острова Аран, с ними он как обошелся? Они мне тоже друзья. Приезжают ко мне за своими немудреными покупками. Люди они хорошие, приличные люди, соль земли, а он их как обзывает — бараны, говорит, в людей обращенные.

Вас этак обзови, вам бы понравилось, а? Скажи вам кто: отец у тебя — баран, а мать — овца, понравилось бы вам, а?

А какому бы человеку понравилось? Никакому — если только в жилах у него кровь, а не вода. Ну, и чему ж тут дивиться, ежели у них от гнева в голове помутилось? От праведной ихней ярости? А чего еще было от них ждать? Пробовал я их урезонивать, это все знают, да только они малость вышли из берегов. А что я будто их наущал, так это подлый навет. Их наущать было нечего, а ежели они в гневе таком ужасном взяли правосудие в свои руки, можно ли их в том винить?

Ищу в сердце своем, спрашиваю себя — нет, ни в чем я ихней вины не вижу, и хоть они тут, у меня, перебили бутылок порядочно и стаканов, я даже с них за убытки не стребовал, а мог бы... Из чего вам явственно видно, какой приличный я человек.

Вы это представление смотрели, а? Ну и как?

Ах, смешно? Вам, может, и смешно. Да только вы кой-чего не знаете.

По-вашему, как — стоящее? Трудно сказать, а? Один-то разок и палка может выстрелить, а? Страшно даже помыслить, что этот малый может когда-нибудь в люди выйти. Ну нет, сэр, только не я, на попятный я не пойду. Пускай он даже потом когда-нибудь сам поймет, каким я был благодетелем его родне, как спасал их всех от голодухи в тощие годы. А ведь вспомнит он это когда-нибудь, непременно вспомнит.

Ну, а покамест он что — он порченое яблоко, гнилая картофелина, такое мое мнение, и чем скорее мы его отсюда выдворим, тем оно для всей деревни лучше.

Вот, пожалуйте, еще стаканчик.

Рад, что вы меня посетили.

Теперь у вас обо всем понятие правильное, и люди узнают, как оно на самом деле было.

За ваше здоровье или, как у нас здесь говорят: жить вам поживать, тыщу в год наживать.

Мистер Мэрфи (Моряк) и мисс Сара Мэлони

Трудновато меня поймать — ну, верно.

Я не больно речист.

Ни от кого не удираю, рыбу ловлю — вот и все.

Про то дело говорить незачем. Никого оно не касается.

Да, теперь вышло наружу.

О себе? А чего тут рассказывать? Работа, курево, вечером кружка в трактире — вот и все.

Верно, давным-давно, на чужбине. Десять лет. Потому и кличка — Моряк. Нет. Всегда тянуло на родину. Родина — она вот: лодка, домишко.

Про то дело спрашиваете — у меня все нутро переворачивается.

Знаю, что все знают, от этого легче разве?

Пьеса Майкла-второго. Нет, не обидел. Только зачем про Сару и Джули?

С Джули после того не виделся. За милю обхожу. А вы бы?

Чего вам еще, черт подери, вы уже сами все знаете.

Знаю, что девушка хорошая, славная. И все равно.

Ну да, раньше мы были друзья, а теперь все вышло наружу, мне в глаза ей смотреть стыдно. Такое горе ей причинил!

Никакого горя? Я — ей? Ну-у-у, сказанули! Сара смолоду была словно рыбка золотая, какие в теплых морях водятся. Да. И посейчас такая, только ее будто сквозь дымку видно. Кругом виноват. В ту пору — мастер был уговаривать. Ее родители против. А что, правильно. Никудышный был, тот молодой Мэрфи. В ту пору. Своей бы дочери с ним гулять не дал.

Уехал. Про Джули не знал.

Может, хватит?

Ладно уж. На чужбине женился. Через десять лет приезжаю, узнаю про Джули. Ее Макграты взяли. Жена-чужестранка тогда еще жива. Потом умерла, но что я мог? А? А вы бы? Распутали? Не пошел — ну, стыдно было. Да еще Джули рассказать надо. Она ничего. Славная девочка. Ее насовсем взяли — Славный Денек и его хозяйка.

Кругом виноват, чего уж. Сробел. Духу не хватило. Боялся — что люди скажут. Бич божий — эта боязнь. Не сдюжил я. Легче — штормяга девять баллов в открытом море.

Ну, все.

Нет, больше ничего. Пора двигать. Прилив вон.

Может, Майкл-второй доброе дело сделал пьесой этой, теперь все вслух сказано.

Нет, больше нечего.

С кем другим потолкуйте.

С Сарой, может. Ей уже лучше.

Нет! Нет! С Сарой говорите. В пот вогнали. Бывайте.

■

Вам мистер Мэрфи сказал ко мне зайти, да? Удрал, верно, на своей лодке. Такой стал пугливый. Некоторым это неприятно, когда их разглядывают или обсуждают.

Да, мне тоже, но что делать — поначалу очень тяжко, потом свыкаешься. Да, шью для женщин всякое — юбки, блузки, платья. Нет, я шитье люблю. Глаза у меня хорошие. А то, что я делом занята, помогло мне перебедовать эти годы.

Я Майкла-второго возненавидела? Господь с вами, ничего подобного. Что проку ненавидеть? Только ожесточаешься.

Но вот за Джули у меня душа болит. Надо было ее оставить при себе. Но в те времена люди держались очень строгих правил. А может, это и правильно. Словно бы дурной пример для всей деревни. Стали бы говорить: «Посмотрите на Сару Мэлони! До чего наглая! И все ей сошло с рук. Ишь, ходит красуется!» Что-нибудь в таком духе.

Нет, миссис Макграт обошлась со мной очень сердечно. Своих детей у нее не было. Они с моей хорошо обращались. Сами видите, какая она выросла славненькая.

Да ничего подобного, это со мной вышел несчастный случай, а люди воспользовались предлогом, чтобы наброситься на Майкла-второго.

Вы ведь знаете — там за околицей речка, а через речку мостик. Сейчас река спокойная, понимаете. А в тот вечер дождь лил и лил, с холмов хлынули потоки. Мост стало заливать, а я как раз шла домой, поскользнулась — и в воду. Ну, да! Доски намокли под дождем, стали скользкие. Я знаю, они мне не верят. И, видно, никогда не поверят. А зачем им верить? Ведь так же целая драма получается — бросилась, мол, с отчаяния в реку — да? Вздор какой! Я же не девочка. С семнадцати лет с этим живу. А тут, под старость, спохватилась и решила на себя руки наложить — с чего бы вдруг?

А мистер Мэрфи как раз оказался со своей лодкой чуть пониже моста. Возвращался с рыбной ловли. Все очень просто. У него была с собой сеть, он увидел — я барахтаюсь в воде, закинул сеть и вытащил меня, будто рыбину. Еще слава богу, что никого не было поблизости, правда? А почему бы мне не смеяться? Забавно же вышло. Нет, я даже не потеряла сознания. В воде пробыла недолго и совсем не напуга-

лась. Как вниз пойду, закрываю рот и нос зажимаю, а как выплыву, всякий раз стараюсь глотнуть побольше воздуху.

А потому смеюсь, что мистеру Мэрфи пришлось изрядно повозиться, чтобы распутать сеть и вызволить меня. Вообще-то он на слова скуп, вы сами убедились. Но тут столько мне всего наговорил! Будто подменили его, совсем другой человек. Именно такой, каким я всегда его считала.

Другие подоспели, когда он меня уже высвободил из сети. И тут они заладили: непременно надо им отнести меня домой на руках. Я не хотела, чтобы меня несли. Прекрасно могла дойти сама, но они заладили свое. Когда с человеком несчастье, другим обязательно надо навязываться со своей помощью. Но только тут никакого несчастья не было. Наоборот, я даже обрадовалась: ведь спас меня мистер Мэрфи. Словно вернулось былое. А они взяли и все испортили.

Мистер Мэрфи загрыз себя — считает, что кругом виноват. В том вся его беда. Знаю, с нашей стороны просто глупо, что за столько лет мы ничего не сделали, чтобы как-то это поправить, но если чутье вам не подсказывает почему, значит вам того не понять.

Да, теперь мы с ним решили пожениться. У людей будет повод посплетничать всласть, ну и пусть, жалко, что ли. Теперь все окупится, а что с таким опозданием — невелика важность. Нет, прямо здесь, в нашей деревенской церкви.

Да, Джули. Мы с ней встретились и обо всем поговорили. Добрая она девочка. Но совсем растеряна. А вы бы не растерялись? Не знаю, сколько ей нужно будет времени, чтобы со всем этим как-то свыкнуться, знаю одно: она поступит так, как должно. Я выразилась чересчур торжественно? Ну, это нечаянно.

Майкл-второй сделал добро — то самое, без которого не бывает худа. Я поняла это, когда оправилась от первого потрясения. Ведь иначе это так и не вышло бы наружу.

Ужасно глупо все, да? Человеку, привыкшему к умствованиям, такого не понять, да? Ну, тут уж я ничем помочь не могу. Да, пожалуй, что так, речь у меня правильная. Я четыре года проучилась в средней школе-интернате при монастыре. Думаю, потому-то мои родители и встали на дыбы, когда я полюбила мистера Мэрфи. Решили, что он мне не пара. Точнее — что это слишком мизерное возмещение: ведь они пошли на такие расходы, чтобы меня выучить.

Родители порою бывают до того неразумны.

Вот говорю я это и тут же спрашиваю себя: ну, а сама я как мать оказалась лучше?

И отвечаю — нет, не лучше. Хуже.

Так что видите — жизнь это круг. Суетишься, носишься с ней, словно собака с костью, и как собака кость зарывает, так и ты норовишь спрятать ее от чужих глаз; а надо бы все делать в открытую, тогда бы людские глаза привыкли к твоей жизни и в один прекрасный день вообще перестали б ее замечать.

Мне одно досадно: они ухватились за этот случай со мной, чтобы самих себя распалить. Ну, а я не хочу служить предлогом для чьих-то распрей.

А так я довольна. Спасибо вам. Храни вас господь.

Турлок О'Коннор

Да, Турлок О'Коннор — это я. Меня потому трудно застать, что дома я не очень-то часто сижу. Как пойдет в реках и озерах рыба, выхожу на лов, а как дичь появится — на охоту. Есть у меня и овцы, на выгоне пасутся и в горах. Да еще полоска земли и две коровы, так что дел хватает. В доме особенно рассиживаться некогда.

Прибрано, говорите? А я люблю, когда прибрано. Да и наловчиться в этом деле успел. Родители уже несколько лет, как умерли — от гриппа. Братья и сестры — есть, как не быть, но они по всему свету разбросаны, все больше в Америке.

Злюсь, что меня здесь оставили одного? Ну-у-у, да вы пораскиньте мозгами! Мне здесь, дома, по душе. На прокорм зарабатываю. Еды хватает, жизнь у меня — лучше не надо.

Почему же, можно и о соседях, я не против. Разве есть кто у человека ближе, чем соседи,— оттого и ссоры бывают: как все равно в семье.

Мик Оуэн хороший человек. Беспокойный очень, вот его главная беда. Жена у него трещит за двоих, а вообще-то она не вредная. Он никак не опомнится, что у него парень такой получился: ну, словно бы высидела утка яйцо, а вместо утенка вылупился гусенок. Все смотрит на него. Спрашивает себя: неужто мой? Так до самой могилы и будет дивиться. А Славный Денек — это Макграт — он какой есть, такой и есть. Если кто-то шиллинг заработал там, где сам он еще урвать не поспел, это ему нож острый. Ну, уж каков есть. Его не переделаешь. Надо принимать людей такими, какие они есть.

А вот с Джули он себя показал довольно порядочным. Живет она не так чтобы в роскоши, но сыта да и одета не хуже других. Правда, работает она на него чуть ли не задаром, но как ни говори, а он ее к себе в дом взял с самого рождения, верно? Этого у него не отнимешь.

Вы просите про Майкла-второго рассказать — вот тут мы с вами вроде бы на топь ступаем. Мы с ним вместе ходили в школу. Не сказать, чтобы очень ладили. Я здоровенный, сами видите, а он всегда был небольшого роста — так-то сильный, крепко сбитый, но низенький. Низенькие, они всегда на рослых зуб имеют, а рослый низенького ударить никак не может. Только и всего.

Вечно он лез всех поправлять. И говор, мол, у тебя не такой, и слова не такие, и понятия не те. И всегда был задиристый, прямо бентамский петушок. Поправлял, однако, не всегда правильно. Читал запоем, но, я так мыслю, из книг брал только то, что с его мнением сходилось, а остальное проскакивало мимо.

А потом родители послали его учиться. Уехал на пять лет, и это вроде бы его от нас отдалило. Я так мыслю, человек должен там расти, где родился. Будь у меня сын, я бы его, думается, не услал из дому, как они. Уж не знаю, как бы я его выучил, исхитрился бы как-нибудь, только отсылать бы таким манером не стал. Ну, наезжают они домой на каникулы. Если в ком устойчивости нет, такой посматривает на нас свысока, вроде бы милость какую оказывает, что с нами играет или же пляшет, пьет там или разговаривает.

Но Майкл-второй — это дело особое. Таких, как он, не часто встретишь. По моим словам можно так понять, что он не очень-то мне по душе, знаю. Дайте-ка поразмыслить. Да, пожалуй, верно; так-то он мне не по душе, а все же у меня к нему какая-то слабость. Понимаю, одно с другим не вяжется, но лучше объяснить не умею. Вроде как если живет у тебя в доме ручная крыса. Нет, я его крысой обозвать не хочу. Вовсе он не крыса. Просто чудной какой-то, скажем так.

Угу, вот, значит, мы и до пьесы добрались. Я обозлился? Да нет, нисколько. Нарочно скатал в город посмотреть ее.

А чего вы так удивляетесь? Я частенько удираю в город, на вечерок, а то и дня на два закачусь — посмотреть что-нибудь: пьесу там, или оперу, или представление такое, где танцуют, как его, балет, что ли. И, знаете, у нас многие ездят. Не такие уж мы охламоны.

Пьеса — не бог весть что. Жиденькая вообще-то, но потешная. Местами здорово смешно. Угу, я заметил этого типа, как там он его окрестил — Дурлок О'Дубин. Считается так, что это он вывел меня. Да нет, я посмеялся и все. Это же придумать надо, будто я лососей незаконно промышляю — глушу динамитом да еще пускаю какую-то отраву,— вот чушь-то! Ведь их можно ловить куда проще, и уж я-то рыбу губить не стану. Пока еще соображения хватает. Чего ради глушить лососей — чтоб они через год-другой вовсе повывелись?

Я вам так скажу: есть в пьесе очень ехидные места, с подковыркой, но подковыривает-то он только нас, нам одним и понятно: это он нас на посмешище хочет выставить. Майкл-второй меня не очень жалует, знаю. И такой-то я, и сякой. Потому что ему взбрело в голову, будто я приглянулся Джули, а она ему самому здорово нравится. Вы ее видели? Ну вот, очень она развитая девушка. Все, бывало, с ним ходит, все его слушает. И из себя такая красивая — хорошая бы ему жена. А он опасается, что я ей приглянулся, но только дурь это одна — Джули во мне брата видит, родных-то братьев у нее нету, да и я на нее смотрю как на сестренку. Вроде бы оберегаю ее, понимаете, и так мы с ней славно ладим, ну, как брат с сестрой, когда они молодые, то и дело хохочем, а смеется она до того хорошо, будто колокольчик заливается — сострищь, бывает, и даже не больно удачно, а она расхохочется вот так, и ты сам в своих глазах вырастаешь. Вы такое можете понять? А понять надо обязательно, потому что зря он на меня взъелся. У нас с ней просто дружба. Приятели мы с ней. Вы такое можете понять?

Ну, а если тут все ясно, что ж тогда еще? Я так мыслю, ум у него неосновательный и в словах глубины нет. В жизнь не вдумывается — поверху скользит: и не то чтобы по сливкам скользил, нет, по снятому молоку. Вроде бы целыми часами на небо смотрит и на звезды, на луну, на солнце, холмы разглядывает, траву зеленую и вереск, но, я так мыслю, видит он их только по отдельности. А что все они — одно, для чего они и зачем, того он понять не может; где ж ему тогда понять, зачем люди живут — пусть хоть люди маленькие, вроде нас? А на маленьких людях мир стоит; так что общность ихняя, и стремления, и мечты — они-то и придают смысл всему сущему. Вы меня понимаете? Вот они и говорят ему: возьми зеркало, поднеси его к нам и покажи, какая она есть, наша жизнь; взять-то он зеркало взял, но показывает только себя самого — обличье свое и понятия.

Может, я кругом неправ, но вот так я на это дело смотрю.

И потом — никому не дозволено обижать людей, так я мыслю. Само собой, все мы знали про Джули и про Сару с Моряком. И так давно уже все это дело тянется, мы вроде бы про него и забыли. Да и никто бы об этом словом не обмолвился, даже во сне — ну, вы меня понимаете. История, конечно, несообразная, но ведь и горестная тоже. И так долго она тянулась — уже и поделать никто ничего не мог, а потом стало поздно.

Но вот из-за чего во мне все переворачивается: это надо же — знать все про Джули, а в пьесе показать, будто ее отец — лавочник. Вот это уже — никуда. Славный Денек — он тоже человек. Ну, водились за ним в молодости грешки, так ведь когда это было, а здесь видите, до чего ловко все повернуто. Где ж ему теперь дока-

зать, что он тут чист, если за ним раньше были провинности? Вот видите? Чего ж удивляться, если он так разбушевался, хоть и узнал обо всем с чужих слов?

Я так мыслю — нехорошо это, людей вот этак разделывать ради того, чтобы посмешить публику. Ясное дело, никто бы сроду не понял, что у него все перемешано: кое-что от живых людей взято, кое-что выдумано,— одни только сами эти люди и поняли бы, так что лучше бы Славному Деньку промолчать. Даже и те, с островов, так бы не взбеленились, но ведь в тот день была ярмарка и выпили они, а тут еще Славный Денек вроде бы соли им на раны насыпал. Зря вообще-то они так разошлись. Не затей они драки, все бы само улеглось, а через месяц-другой и думать бы об этом забыли. Даже и сразу бы позабыли, не окажись тут у нас проездом один малый из газеты — он взял да и накатал статью. Верно, статья вышла занятная, а тут как раз объявился Майкл-второй и устроил целый театр. По правде говоря, реклама ему очень даже не повредила — этакий великомученик, изобиженный и отвергнутый своими земляками.

Слушайте, да он этим до конца дней может кормиться.

Почему ж я за него в драку полез, если я его недолюбливаю?

Вопрос не из легких.

Дайте-ка поразмыслить.

Ну что ж, думаю — потому, что он нам свой, а когда начинается схватка, тут решай, на чьей ты стороне. Сами-то мы не прочь его вздуть, но чтоб его чужаки вздули — черта с два. Вот вроде бы так, а?

Вообще-то все дело яйца выеденного не стоит — если б только не Джули да Сара. Джули такая замечательная девушка. А что она пережила! Ведь это все равно как если б в нее нож всадили. А Сара — ни дать ни взять мышка, на которую вдруг яркий свет навели. И Моряк, бедняга, молчун этот. Ну, вы меня понимаете. Вот Славному Деньку — тому что, он свою выгоду всегда найдет. Еще, пожалуй, и зазывный плакатик вывесит: «Заходите к нам в трактир — выпить у злодея из пьесы». А? Ну, вы меня понимаете. Такие — они в накладе не останутся, а люди маленькие — вот кому достаются все колотушки.

Да-да, сходите, повидайте Джули. Ну, хотя бы просто для того, чтобы увидеть ее, поговорить с ней. Я что хочу сказать — не по этому делу, а вообще, чтобы увидеть славную девушку, такую славную, каких на свете мало.

Мистер Кёлан Маэни

Мм?

А-а.

А! Да. Я. Чинарика нет?

Чего? А, вон чего. Ага. Мм? Пьесу. Какую пьесу? А-а, ту пьесу. Ага. Вожу — чего? А-а. Ага. Такси? А это чего? Не-е, грузовик.

А-а, ну да, ездил это я в город. Ребята поезд упустили. Говорят — Кёлан, подбрось. Топать-то далеко, а?

Чего случилось? Да встретил этого вашего Майкла-второго. Потеха. Идем, говорит, есть для тебя место.

Ну, парень, во смех! Там — шикарные все. Не, сроду пьес не смотрел. Только эту. Свет гаснет. Штуковина эта, занавес — вверх. И кого ж вы думаете, я вижу, а? Смех! Мать честная, это ж Славный Денек. Я говорю Громко так. Люди говорят — ш-ш. Смех. Все-все — ш-ш-ш. Ну, потеха! Прямо как дома, понимаете.

Я ж их знаю, говорю я тому парню. Кончай меня под ребра тыкать, говорит тот парень, не то дождешься у меня сейчас — выведут. Так и сказал. Во душевный народ, а?

Смотрю дальше. Ржу — не могу. Во всю глотку. Ну просто лопнуть. Вон они там, все как взаправду — и говорят точно так, и всё. Я как заору, потом еще. Во потеха же, ну. Подходит дамочка, тощая такая: «Позвольте вас вывести». Позволяю. Посмотрел, будет.

Еду обратно, встречаю этих, с островов, рассказываю им. Вы теперь знаменитые, говорю. Майкл-второй вас в пьесу вставил. Бараны вы с Арана, ага, говорю. Подождите, сами увидите. Приезжаю домой — и к Славному Деньку, рассказываю, как его в пьесе вывели. То же самое — Джули, и Саре, Турлоку. Во смех, говорю, животы надорвете, говорю. И рассказываю им все-все. Тогда еще, кроме меня, никто, понимаете.

Чего-чего говорите? «Ката» — чего? Катализатор? Вроде катапульты, что ли? Я чего — я им ничего не сделал, а они все — на меня орать. Ну, чего я сделал, скажите? Хотел, чтоб они тоже поржали. Во. И все.

Почему драка такая — не знаю. Может, все выпивши были — потому? А меня как отделали? Один как даст по башке канистрой, два галлона. Ага. Да еще моей же. У меня из машины взяли. А машину — набок. Это как — хорошо, по-вашему, а? Такого и турку не сделаешь.

Не, ничего я им не сделал.

Не, не знаю, из-за чего все.

Сдурели они все, что ли?

Не знаю, чего на них накатило.

Хотел только, чтоб поржали, понимаете, будто сами пьесу смотрят. Чтоб ржали, за животы хватались.

Чудаки-люди.

Ну, всё.

Джули

Хорошо. Если не возражаете — сходим на мол, прогуляемся? Солнышко светит, и можно уйти из трактира.

Вы любите запах портера?

Я — нет. А ведь, казалось бы, пора к нему привыкнуть. Может, кто другой и привык бы, а я никак. Очутиться бы где-нибудь в таком месте, где и цвета его черного вовек не увидишь.

Что-то я растрещалась. Наверно, потому, что выбита из колеи.

Через какое-то время все сгладится. С возрастом становишься мудрей и беды забываются легче. Так говорят старые люди.

Мне двадцать. Может, в мои годы все воспринимаешь острее. Больно? Нет. Свыкаешься, и довольно быстро.

Не люблю говорить о себе. Легко сказать — дополнить картину. Довольно странная картина — во всяком случае, для меня.

Нет, я мистера Макграта люблю. У него в жизни один интерес: погоня за деньгами и за властью, какой только можно добиться здесь, в округе. Стоит это понять, и он уже не вызывает неприязни. Чтобы он над кем-нибудь сознательно учинил жестокость — такого не бывало. Просто, когда все помыслы направлены на что-то одно, уже словно бы ничего вокруг и не видишь, можно ненароком оскорбить человека и даже не заметить.

Да, со мной он всегда обходился хорошо, и миссис Макграт тоже. А той работой, какую я у них делаю, мне с ними за их доброту все равно не расплатиться, я так считаю. Слова грубого от них не слышала и никогда-никогда ни намека на то, кто я на самом деле.

Нет, и вообще ни от кого. Трудно в это поверить, понимаю — ведь деревушка у нас маленькая, но только так оно и есть.

Конечно, я часто над этим раздумывала. Да и как не раздумывать. Они мне сказали, что я сирота и меня взяли из приюта. Вот и все, что мне было известно. Остальное я сама досочиняла — в мечтах. Не хотелось бы пересказывать вам эти мечтания. Очень уж они были романтические — про то, кто я на самом деле, и кто мой отец, и кто мать.

Но мне и в голову не приходило, что оба они все время были тут, у меня под носом.

Ну вот вам, полюбуйтесь на него.

Моряк увидел, что мы идем, тут же прыг в лодку, поднял парус и был таков, еще минута, и он уже в открытом море — боится, как бы я его не перехватила. Смешной какой, правда? Мне он всегда был симпатичен. Приду, бывало, сюда, сяду на тумбу, а он чинит сети, и я завожу с ним разговор. Говорила почти все время я, но теперь, когда оглядываюсь назад, припоминаю: странно он как-то на меня смотрел. Смотрит, бывало, так странно: ну, словно преданный пес, если застигнешь его, когда он тащит цыпленка из открытого буфета.

Во-он он теперь где — точечка на горизонте, так что мы можем немножко тут посидеть. Ну, ничего. Когда-нибудь я его изловлю и втолкую ему все что надо.

А вот с Сарой — дело другое.

Тут все очень сложно.

Такое за один-два дня не наладится. И сколько на это нужно времени — не знаю.

А ведь до меня только теперь начинает доходить, что у меня есть настоящие отец и мать. Сперва, когда я узнала, вся как-то одеревенела. А сейчас прихожу в себя, и иной раз у меня даже дух захватывает от радости.

Жаль только, что пришло это слишком поздно. Обычно в моем возрасте уже покидают отчий дом — заводят свою семью, уезжают куда-нибудь на заработки, а я только-только его обретаю.

Насчет пьесы?

Что вам сказать, меня это не удивило. Я Майкла знаю. Очень даже хорошо знаю. Мы с ним часто и подолгу бродили, подолгу разговаривали. Говорил все больше он, такой уж он есть. Из него прямо поток изливается. С ним интересно. Яркий человек.

Нет, то, что он так со мной поступил, не удивило меня, верней — не обидело. Понимаете, вот он такой. Он бы, конечно, пришел в ужас, если б услышал, но в чем-то он очень схож с мистером Макгратом: у него тоже все помыслы направлены на одно. Ему бы только рассуждать о людях или писать о них. И он ничего с собой не может поделать. Да что там, как он родную мать в пьесе вывел — балаболка такая, трещотка, надоеда. Так мне Турлок говорил.

Турлок? Он очень хороший. Ногами по земле ходит, а голова — в облаках, хоть он скорее умрет, чем признается в этом. Майкл-второй подмечает все чудеса вокруг себя и дотошно так их разглядывает. А Турлок подмечает и любуется ими, вот в чем разница.

Майкл-второй — личность значительная, спору нет. Он может вас так вот, с ходу, покорить: примется с жаром набрасывать портреты, один другого ярче, две-три фразы — и человек весь перед вами. А как он умеет изображать людей! Вы бы поклялись, что перед вами тот самый человек, про которого он рассказывает.

Нравится он мне? Конечно, нравится. Хочет ли он на мне жениться? Да, хочет. А сейчас особенно — ему как-то совестно: вдруг он причинил мне боль. Это с одной стороны, а с другой — вообразил себя этаким рыцарем, который скачет во весь опор на своем коне, спешит вызволить из беды прекрасную деву.

И вот тут меня просто смех разбирает.

Да оттого, что я никакой беды во всем этом не вижу, и потом, я собираюсь замуж за Турлока.

Нет, Турлок, само собой, ни о чем не догадывается. Вы же с ним говорили. Все вам, наверно, втолковывал, что я ему вроде младшей сестренки. Преисполнен братских чувств, да? Но чувства у него ко мне совсем не братские. Старается себя в этом уверить, потому что он невысокого мнения — и о себе самом, и о той жизни, какую ведет, но только она как раз по мне.

Я знаю, его просто бесило, что в свободное время я все с Майклом да с Майклом, но ведь девушкам порою не обойтись без уловок! Иной раз я замечала: глаза у него прямо искры мечут, и не будь у него такой выдержки, избил бы он беднягу Майкла-второго до полусмерти.

Да, Майкл-второй, пожалуй, догадывается. Наверно, ему подсказывает чутье — ох, и злится же он на Турлока,— чувствует, что я его немножечко в своих интересах использовала — чтобы раззадорить Турлока. А для таких вот, у кого твердая цель в жизни, для них непереносима самая мысль, что кто-то может их хоть немножко использовать для себя. Это бьет по их самолюбию. Ведь им везде и во всем непременно надо быть первыми. Потому-то Майкл и вставил Турлока в пьесу, он там у него проделывает всякие пакости. Майклу не понять, что Турлок человек высокой души, такого не проймешь булавочными уколами.

Ну, а теперь мне надо идти, не то мистер Макграт станет меня звать, а голос у него — как труба.

И потом — все равно, сколько бы я здесь ни просидела, у меня только и будет разговору что о Турлоке — мне кажется, он именно тот человек, который мне нужен.

Ну, что я вам говорила? Ох, и голосище же у мистера Макграта! Даже здесь, на берегу, слышно.

Мне надо идти.

Майкл-второй

Форменные дикари, от каменного века ушли на какой-нибудь шаг, ну два.

Вы только подумайте. В чем я повинен? Я же делаю честь своим деревенским. Всю жизнь стараюсь развивать своих односельчан, учу их понимать возвышенное, а эта история — она ли не свидетельство полного моего краха? Собственно, не моего, а их, потому что теперь ясно: они, в сущности, так ничего и не усвоили.

Судите сами. Дело обстоит так. Я жил в большом городе. Меня высоко ценили люди культурные.

Правда, попадались среди них и злопыхатели, но, коль скоро ты решил вынести свой товар на рыночную площадь, будь готов к тому, что невежды станут закидывать тебя отбросами.

И тут я решаю вернуться домой. Я все-таки льстил себя надеждой, что встретят меня хорошо, не обязательно с флагами и плакатами или же с местным оркестром — волынки и барабаны,— но, во всяком случае, устроят достойную встречу; как ни говори, ведь я привлек внимание публики к их захудалой деревеньке. Я же своими глазами видел: когда кто-нибудь из их молодых людей становится священником и после рукоположения приезжает домой, в его честь на холмах зажигают праздничные костры.

Хм, священник найдется всегда, а чтобы появился такой человек, как я, сколько должно смениться поколений. Да такого, как я, в этой деревушке теперь сотни лет не дождутся, а может, и вовсе никогда, если они и дальше будут коснеть в невежестве. Разве не так? Нет, это вовсе не самовосхваление. Последний такой был у них сто с лишним лет назад — так он имени своего не умел написать, просто рассказывал по-ирландски всякие предания. Вы меня поняли?

Так вот, приезжаю домой. Не стану скрывать, было у меня чувство некоторого удовлетворения: ну, что, мол,— убедились теперь? Ведь я понимал, они думали — я просто лентяй, только и знаю, что подставлять пузо солнышку и ворон считать. Где им было понять, что когда я вроде бы отлынивал от работы, я как раз с головой был погружен в работу, что в мозгу моем роятся мысли, которыми я когда-нибудь заполню целые стопы белой бумаги, и все они будут справедливо этим гордиться?

Как вы уже знаете, была ярмарка, на лужайке толклись люди и скот, я вышел из машины и когда услыхал: «Вот он! Вот он!» — решил, что меня сейчас будут чествовать, но тут вдруг раздаются злобные вопли, все начинают размахивать палками и выкрикивают такие словечки, какие увидишь разве что на стенах общественной уборной где-нибудь в городе.

Никогда прежде мои деревенские до такого не опускались.

Я ушам своим не верю! Продираюсь к дому под дикий галдеж и град ругательств — кто не знал, в чем дело, мог подумать, что это овация,— и что же я вижу: наш дом, можно сказать, осажден.

Кухня забита народом. Из всех деревенских моя мать единственная сохранила соображение. Поздоровалась со мной, расцеловала, и так у меня стало хорошо на душе. Она-то все поняла! Но вот остальные...

Я даже не мог толком разобрать, из-за чего весь крик.

Видимо, этот кретин Кёлан Маэни успел разнести по всей деревне самые гнусные небылицы о моей пьесе. Да и другие постарались. Я ушам своим не поверил. Подумать, я толкнул Сару Мэлони на самоубийство! По моей милости Джули тоже вот-вот наложит на себя руки. Турлок О'Коннор собирается застрелить меня или подорвать динамитом.

И я им сказал: «Какие же вы тупицы! Неужели вы думаете, среди вас найдется хоть один человек, настолько яркий, чтобы вставить его в пьесу? Да таких нудных людишек, как вы, свет не видел. Вздумай я вставить кого-нибудь из вас в пьесу, это зрители наложили бы на себя руки — не вынесли бы такой тощищи».

Это меня и точит: как могли они хоть на секунду усомниться в том, что действующие лица в моей пьесе — порождение моего блестящего ума, плод моей фантазии? Как посмели хотя бы подумать, что я вставлю в пьесу таких ничтожных людишек, как они?

Нет, это единственная деревня, которую я знаю по-настоящему. Допускаю, какое-то сходство, возможно, и есть — там-сям, но ведь совпадения эти — чисто случайные, просто из-за того, что я подношу к жизни пресловутое зеркало.

Нет, действующие лица в моей пьесе вовсе не жители Билнехауэна. Да они к здешним типам никакого отношения не имеют. Они же полностью сотворены мною, взяты из головы. Я глубоко уязвлен: как могли они хоть на секунду подумать, будто мне недостает воображения и я вынужден что-то заимствовать у них, этих скудоумных людишек.

Что я и выложил тому торгашу, Макграту, когда он ворвался к нам в дом и принялся бушевать. Так прямо ему и объявил: «Да как это вы, брюхан разнесчастный, ростовщик вы этакий, как могли вы хоть на минуту подумать, что я вставлю вас в пьесу,— сказал я ему.— Посмотритесь-ка на себя в зеркало: ведь вы себя даже разглядеть не сумеете, такой вы тускляк. Да вставь я такого вот, вроде вас, в пьесу, кто бы ее стал смотреть — разве что умалишенные, и то вряд ли».

Я пытался открыть ему глаза, но он просто осатанел. В ярости выскочил на улицу и, как мне потом рассказывали, взгромоздился на какой-то прилавок и давай науськивать на меня весь этот пьяный сброд. Так что, в сущности, все это — его рук дело. И ничего удивительного. У него же мозгов меньше, чем у блохи. А те, с островов,— известные драчуны и тупицы. Пожалуй, это единственное, что я и вправду взял из жизни,— про баранов с Арана.

Мы оглянуться не успели, как на дом обрушивается град камней. Вы бы поверили, что такое возможно,— в наши-то дни, в двадцатом веке? Сами понимаете, даже тысячу лет назад и то люди были цивилизованней и куда культурней, чем они сейчас.

Мать с отцом не хотели выпускать меня из дому, но не стану же я сносить такое. «Выйду к ним,— говорю я,— и доводами разума заставлю их замолчать. Это же просто скоты, не более того». И настоял на своем. Как им было удержать меня — разве что связать вожжами. Мужчина я или нет, как они думают?

Словом, я вышел — и прямо в гущу народа. Смело на них пошел. Иду сквозь толпу, со всех сторон меня обдает их зловонное дыхание, портером и виски так и разит, а я забираюсь на тот самый прилавок, с которого только что разорялся этот торгаш Макграт. Его самого уже, конечно, след простыл, но я заметил — подглядывает из своего окошка. Мало того что подстрекатель, так еще и трус вдобавок.

«Что за безмозглый вы народ,— говорю я им.— Чем вы лучше тупых скотов, если вы жертвы собственной разнузданности и вами может вертеть даже такой боров, как ваш Макграт? Кому на руку вся эта свалка, как не ему, тому же самому Макграту, а? Сколько вашего серебра перекочевало сегодня в его кассу? Люди вы или нет? — спрашиваю.— Чем вы думаете? У вас что, вовсе мозгов нету? Как вы не понимаете, что я вам друг? Что когда-нибудь, на старости лет, вы будете похваляться тем, что жили в тех же местах и в то же время, что и Майкл Оуэн?»

Я б еще многое мог им сказать, но мне не дали. Ринулись все к прилавку, размахивают палками, ругань стоит чудовищная. Облепили меня со всех сторон.

И все-таки я бы справился с ними сам, без посторонней помощи. Сам бы довел битву до конца. Одной только силой воли заставил бы их меня выслушать. Заставил бы, знаю, но мне не дали. Началась общая свалка, мерзость что такое. Что же мне оставалось — отошел в сторонку, гляжу на них и спрашиваю себя: неужели это мои земляки?

Разве такими можно гордиться? Про таких разве скажешь с благодарным чувством: вот мои корни?

Потом эти, из Билнехауэна, пошли на тех, с островов. Вижу, отец с кем-то схватился, мать размахивает чайником, обливает кого-то кипятком, а эта громадина, Турлок О'Коннор, расшвыривает людей во все стороны, будто кули с картошкой.

А знаете, что я вам скажу? Совершенно уверен: для этих людей драка — удовольствие. Позабыли даже, из-за чего передрались, а если и была какая-нибудь причина, махнули на нее рукой. Позорное было зрелище, сущий атавизм.

Я решил — пусть их, и ушел в холмы, полежать на вереске, подумать.

И все-таки Сары Мэлони в моей пьесе нет. Конечно, мне было известно про Джули. Но неужели вы хоть на минуту можете подумать, что в пьесе показана именно ее трагическая история? Что ж, вообще-то такую историю показать можно, почему бы и нет? Каждый год в стране появляется на свет около двух тысяч внебрачных детей. Значит, у писателя — вполне законное основание использовать этот материал. Но на мой взгляд, что тот незаконнорожденный, что этот — все едино. Важна лишь сама идея. Так что же, выходит, об этом вообще говорить нельзя — как бы кого-нибудь не задеть ненароком? Но разве долг писателя не в том, чтобы изучать все стороны жизни, вскрывать, подобно хирургу, ее язвы, выставлять их на общее обозрение — для того, чтобы исцелить?

Интересуюсь ли я Джули? В плане романтическом? Чепуха. Вы же знаете, какой я избрал путь и чего намерен добиться. Так разве эта девушка мне пара? Согласен, она очень хороша собой, у нее острый ум, но я водил с ней компанию единственно ради того, чтобы отточить ее ум еще больше, развить ее интеллект. Уйму времени я потратил на эту девушку! Но с недавних пор замечаю — ее тянет к Турлоку О'Коннору. А вот тоже, знаете ли, любопытно. Он очень рослый. И кое-кому, возможно, кажется красивым. Ну, а что в нем еще может привлечь? Волосатая грудь, так я думаю. Просто подумать страшно, что хорошеньких девушек тянет к таким вот гориллоподобным мужчинам.

Вы находите, у него тонкий ум? У Турлока О'Коннора?

Хм, рад слышать, что у него хоть какой-то ум есть. Признаться, для меня это новость.

Здесь я все покончил. Нельзя же ожидать, чтобы такой человек, как я, поселился среди этих людишек. Серые, заурядные — сущий бурьян.

Разве я первый художник, которого извергло его окружение? Не хотят меня — ну и не надо. Потеряют на этом только они.

И пусть потом оплакивают эту потерю годами.

У меня сейчас набежало немного деньжат — гонорары. Могу поехать куда захочу. И уеду, поверьте. Я получаю от материнской родни письма из Америки, они там ценят меня. Пожалуй, туда и поеду. По крайней мере, они понимают душу художника. Сумеют оценить талант и, что еще важнее, вознаградить его.

Ну, словом, пожитки мои сложены. Я твердо намерен отрясти прах Билнехауэна от ног своих, и, если вы возвращаетесь в город, почему бы мне не поехать с вами, а? Я вижу, у вас там на улице — машина. Зачем откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня?

Отговаривайтесь, чем хотите, все равно я еду с вами. Мать? В поле, наверно,— помогает отцу. Да нет, зачем ее дожидаться? Долгие проводы — лишние слезы. Я ей напишу. Она поймет.

Как это так — не поймет?

Ведь она мне мать!

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

Горы и оружие

РОМАН

Перевод с английского О. СОРОКИ

Глава двадцать шестая

Наутро, в восьмом часу, Кэти позвонила ему из Лондона и сказала, что завтра в одиннадцать идет на рентген в Сент-Томасовскую больницу, к доктору Тэплоу.

— Забыла вчера упомянуть — с тобой хочет повидаться сын ильхана Дубас. Я с ним обедала на днях, затем он позвонил, и я сказала, что ты с ним условишься о встрече. Он остановился у Фландерса.

— У какого Фландерса? «Спасателя детей»?

— А у какого же еще? — И Кэти дала номер телефона Фландерса.

— Зачем ты обедала с Дубасом? — спросил Мак-Грегор.

— Не хотела, чтобы у тебя был еще один личный враг, затаивший на тебя обиду,— ответила Кэти.

Голос Кэти звучал нарочито спокойно, но Мак-Грегор не верил этому спокойствию. Еще вчера, когда Кэти уезжала, он решил, что, встретившись снова с французами, потолковав с Кюмоном, поедет к ней в Лондон. Иначе отчужденность не преодолеть.

Сеси и Эндрью еще спали, и, позавтракав в одиночку, Мак-Грегор вышел к воротам взглянуть на пятно, выжженное кислотой. Услышав там от полицейского, что это дело рук маоистов, анархистов, коммунистов, питающих ненависть к фамильным особнякам, Мак-Грегор из вежливости проговорил: «Вот как?» — и вернулся в дом. Тетя Джосс подвергалась из-за него теперь нешуточному риску, и надо было поговорить с ней. В холле он остановился, позвал:

— Тетя Джосс...

— Да? — пришел голос сквозь стену.

— Я по поводу вчерашнего вечернего происшествия,— прокричал Мак-Грегор.

— А что произошло?

— Кто-то облил ворота кислотой.

— Мне об этом сказали. И что же?

Окончание. Начало в № 1—2.

— Я думаю, вам будет безопасней, если я временно переберусь в другое место.

Тетя Джосс помолчала. «В знак согласия, что ли?» — подумал Мак-Грегор. Но тут из-за стен, дверей, лестницы донеслось:

— Если переедете сейчас, я никогда вам не прощу. Подождите возвращения Кэти, а там уж воля ваша.

Мак-Грегор улыбнулся потолку, сказал:

— Хорошо, тетя Джосс.

В десять он позвонил Кюмону. Было воскресенье, из министерства внутренних дел ответили, что им неизвестно, где Кюмон. Но Мак-Грегор назвал себя, и пятью минутами поздней позвонил сам Кюмон и пригласил в «Отель Вольтера» на набережной Вольтера.

— Я ожидал от вас звонка,— сказал Кюмон.— Чувствую, у вас для меня новости, не так ли?

— Когда можно прийти?

— Сейчас и приходите. Буду ждать.

Захватив спрятанные в шкафу, в пиджаке, полномочия от кази, Мак-Грегор направился по сонным, серым воскресным улицам Седьмого округа в Шестой — в обход шумной набережной, сплошь и безнадежно залитой бетоном и потоком транспорта.

В старинном «Отеле Вольтера» до сих пор еще, наверно, стояли медные громоздкие кровати; но отделка вестибюля оказалась современная и дорогая. Кюмон сидел в углу зала, отведенного для завтрака, попивая кофе из чашки. Сегодня Кюмон выглядел сухоньким провинциальным господином. В правой руке, в тонких, со старческими пятнышками, пальцах он воздушно держал сигарету, и казалось — сожми он пальцы посильней, и они хрустнут, ломаясь.

— А знаете ли, где обретается ныне наш общий друг Шрамм?— как бы между прочим сказал Кюмон, усадив Мак-Грегора.

— Нет.

— В Курдистане. Но это строго между нами. Мы позавчера направили его туда.

— Как это удалось — получить для французского офицера визу в Курдистан? — спросил удивленно Мак-Грегор.

— Об этом чуть попозже,— сказал Кюмон.

Официант принес кофейник, сахар, ложечки, обмахнул салфеткой белую скатерть. Дождавшись его ухода, Кюмон сказал, что огорчен нездоровьем мадам Мак-Грегор и отъездом ее в Лондон на лечение. Ему сообщил об этом Мозель, который очень обеспокоен.

Мак-Грегор промолчал.

— Поддерживаете ли вы связь с кази? — спросил Кюмон.

— Нет. В этом не было пока необходимости.

— Вы слышали? Он ранен.

— Да. Но думаю, что это не меняет дела.

Кюмон недоуменно поднял бровь.

— В таком случае рад буду узнать, зачем вы пожелали меня видеть.

— Вот письма и удостоверения мои, требующиеся вам,— сказал Мак-Грегор и, не разворачивая, положил бумаги на стол.

— Ваши удостоверения?

— Да. Вы сказали, что если они вас удовлетворят, то вы будете согласны договориться относительно вагонов или денег.

— Да-да, конечно.

Произошло что-то новое, почувствовал Мак-Грегор, и Кюмоном взят курс на сдержанность.

— Я думаю, что смогу убедить кази и Комитет согласиться на ваши предложения,— сказал Мак-Грегор.

— Понимаю, понимаю.

— Вы сказали, что по французским законам банк не имеет права задерживать курдские деньги и что можно обеспечить их возврат. Вы сами предложили это.

— Да, предложил,— согласился Кюмон.— Но с тех пор пришло известие непосредственно от кази. Вот почему я спросил, не получали ли вы сами вестей от него.

— Вам, в Париж, пришло известие от кази? Через Шрамма, что ли?

— Нет, нет. У нас была беседа с молодым курдом из Комитета по имени Дубас.

— Дубас?..— Мак-Грегор усмехнулся, как бы принимая слова Кюмона за шутку.— Дубас не состоит в членах Комитета. Или он утверждал, что состоит?

— Н-нет. Но у него есть комитетские удостоверения и полномочия. И там специально оговорено, что все другие документы, в том числе и ваши, аннулируются.

— Кази не мог дать Дубасу никаких полномочий, а тем более аннулируя при этом мои,— сказал Мак-Грегор, стараясь сохранять спокойствие.— Это полностью исключено.

— Возможно. Но документы выданы Дубасу кем-то от Комитета. Уверяю вас, они — не подделка.

— Как можете вы быть уверены в их подлинности?

Кюмон не сразу ответил на прямой и резкий вопрос Мак-Грегора.

— Мы располагаем собственными средствами проверки. Весьма надежными.

— А также и средствами проверки того, чья Дубас креатура? — рассерженно спросил Мак-Грегор.

Кюмон положил на стол стариковские веснушчатые руки.

— Да,— сказал он.— Мы отлично знаем, что за Дубасом стоит англичанин Фландерс. А Фландерс, как вам известно,— агент англо-американского консорциума.

Этого Мак-Грегор не знал, а лишь подозревал. Он пристальней вгляделся в умные старые глаза Кюмона.

— Известно ли вам, кто в конце концов заплатил дельцам за это оружие? — спросил Кюмон.

— Нет.

— Именно Фландерс.

— Представитель общества «Чилдрен анлимитед»?

— Да. Так что, как видите, налицо столкновение интересов,— продолжал Кюмон.— Мы не знаем, в руках какой курдской группировки сосредоточена теперь власть. Мы слышали, что кази укрылся в горах. Дубас настаивает на том, чтобы оружие было отправлено его отцу. Дело здесь, видимо, темное. Потому мы и послали Шрамма в Курдистан. И пока он не вернется, я не смогу заняться с вами обсуждением вопроса.

— Верить Дубасу нельзя,— с нажимом произнес Мак-Грегор.— Он никого не представляет, кроме своего отца.

— Мы не то чтобы верим ему,— промолвил Кюмон.— И не то чтобы ему не верим. Повременим до выяснения.— Кюмон переждал, пока стихнет грохот проезжавшего по набережной грузовика.— Как вы считаете, удастся ли Шрамму разыскать кази? — спросил он.— Допуская при этом, разумеется, что Шрамм благополучно прибыл в курдские районы.

— Возможно, и удастся. Но сомневаюсь,— ответил Мак-Грегор.

— А вы сами не согласились бы съездить туда для выяснения обстановки? — Кюмон помедлил.— То есть чтобы найти там Шрамма

и доставить его к кази. Уж тогда мы сможем решить вопрос без отлагательств.

— Не уверен, так ли я вас понял,— сказал Мак-Грегор.— Разве нельзя выяснить обстановку иным способом?

— Не вижу такого способа. А я бы тут принял меры, чтобы груз тем временем не покидал пределов Франции. Если вы отправитесь туда...— Кюмон взглянул на Мак-Грегора, который ни словом, ни кивком не выражал согласия,— ... то должны будете вернуться к тридцать первому мая, поскольку после этой даты я не смогу уже ничего сделать.

— Времени осталось маловато.

— Мы можем вас отправить авиарейсом в Тегеран завтра в пять утра, если вы успеете собраться.

— В данный момент мне уехать непросто.

— Понимаю вас,— сказал Кюмон.

— Я подумаю и, решив, позвоню.

— Если решите ехать, то и звонить не надо,— сказал Кюмон.— В Орли вас будет ждать билет на лайнер «Эр Франс».

Обменялись рукопожатием, и Кюмон возвратил комитетские аккредитации, так и не прочтя их.

— Еще об одном должен упомянуть,— сказал он.— О неких курдских юношах в Париже, замышляющих взорвать марсельские вагоны с грузом. Полагаю, вам это известно.

— Известно.

— Если вам знаком кто-либо из этих безголовых юнцов, то прошу предостеречь их. Мы не потерпим такого безобразия во Франции.

Выходя уже, Мак-Грегор снова спросил Кюмона, как удалось получить для Шрамма визу в Персию, в курдские районы.

— Шрамм поехал в качестве корреспондента одной из наших популярных газет,— улыбнулся Кюмон.

— И иранцы впустили его?

— У нас есть и другие каналы влияния — сейчас, после визита нашего премьер-министра.

— Теперь понятней,— сказал Мак-Грегор.

— Как бы ни было. Шрамм вам обрадуется. Его пленяет вся эта средневековая niaiserie [1]. Притом он восхищается вами. Так что вы с ним в Курдистане составите любопытный дуэт. Но, прошу вас, будьте осторожны. Не забывайте о вашей прелестной жене и юных детях.

Глава двадцать седьмая

Когда он сказал Сеси, что хочет съездить в Иран на неделю или на две, она тут же возразила:

— А что скажет мама?

— Она поймет,— сказал Мак-Грегор.— Есть веские причины.

— Ты не слишком на это полагайся,— предостерегла Сеси.— Женщин трудно убедить мужскими вескими причинами.

И Мак-Грегор знал, что Сеси права. В два часа дня позвонила из Лондона Кэти и сказала, что доктор Тэплоу не нашел у нее ничего, кроме мышечного утомления. Мак-Грегор обрадовался. Но заговаривать о своей поездке не стал. Он понимал, что спокойного обсуждения дела у них не получится, надежды на это уже никакой, а ставить Кэти перед fait accompli [2] тоже не хотел.

---

[1] Нелепость *(франц.)*.

[2] Свершившимся фактом *(франц.)*.

— Да, вот что,— послышалось в трубке.— Тебе сегодня вечером предстоит пойти в «Опера́ комик» с Жизи Маргоз.

— С кем?

— С сестрой Ги Мозеля. Не притворяйся — ты ее отлично помнишь.

— Да, да. Помню.

— Я давно уже приняла приглашение, а потом забыла предупредить, что не смогу из-за отъезда. Я звонила ей сейчас, Жизи сказала, что не беда. Муж ее в отъезде тоже, и она с тобой вдвоем пойдет.

— Это так уж необходимо?

— Да, необходимо. А что, разве ты занят?

— Нет.

— Вот и выполни это, пожалуйста.

Не желая спорить из-за такой маловажной уже сейчас вещи, он спросил, где надо будет ему встретиться с Жизи.

— Заезжай домой к ней в шесть — на коктейль.

Голос Кэти звучал не сердито. Самочувствие ее улучшилось. Но Мак-Грегор знал, что между ними теперь — непрекращающееся состояние сдержанных умолчаний. Он вышел из дому и стал бродить по воскресным улицам, решая, как быть с поездкой в Курдистан. Но воскресный Париж ничего ему не подсказал. Так и не приняв решения, он вернулся домой переодеться: приближалось уже время ехать за Жизи Маргоз, везти ее в театр.

Он кончал одеваться, когда Эндрью крикнул из холла, что пришел мегрикский курд Дубас и хочет его видеть. Мак-Грегор надел пиджак, спустился вниз.

— Дорогой друг! Вот я и в Париже,— объявил Дубас на безупречном французском, по-мальчишечьи щеголяя утонченностью манер. При нем не было сейчас хлыста, и он стоял в холле с видом молодого парижанина, подкатившего к подъезду в спортивном дорогом «ягуаре».

Мак-Грегор провел его в «утреннюю» комнату, и там Дубас, справившись о здоровье мадам Кэти, принялся произносить учтиво-примирительные фразы, а Мак-Грегор ждал, когда он перейдет к делу.

— Взгляните-ка, что я привез,— сказал Дубас. И показал Мак-Грегору удостоверение, выданное Комитетом. Мак-Грегор очень внимательно прочел текст, вгляделся в шесть подписей под печатью Комитета. Среди них не было подписи ни кази, ни Али.

— Кази нездоров. Ранен,— пояснил Дубас.— Поэтому он не смог подписать. Я послан, чтобы снять с вас неприятную обязанность по розыску курдских денег. Вот, прочтите.

Он подал Мак-Грегору другой документ, написанный красными чернилами и адресованный иранскому отделу французского министерства иностранных дел. Выспренно-литературным стилем имама [1] или мусульманского ученого в нем уведомлялось, что все предыдущие доверенности и мандаты, выданные курдским Комитетом, теряют силу.

— Для меня все это не имеет веса,— сказал Мак-Грегор, возвращая Дубасу оба документа.

— Для вас — нет. Но для французов имеет,— сказал Дубас.

— Я не собираюсь принимать к сведению эти бумаги,— сказал Мак-Грегор.— И французы их не примут, поскольку без подписи кази они ровно ничего не стоят. Вы сами это понимаете.

— Кази нездоров, ранен...— повторил Дубас.

---

[1] Высокое магометанское духовное звание.

— Что произошло с кази, я знаю. Но если отец ваш думает с помощью оружия прибрать к рукам Комитет...

— Упаси боже! — воскликнул Дубас.

— Этого оружия ваш отец не получит. Я приложу все старания, чтобы не получил.

— Ну, для чего вам наши грязные, голые курдские горы — вам, живущему с семейством здесь, в безопасности и комфорте? — сказал Дубас.— Зачем вам так упорно вмешиваться в наши убогие дела, друг мой? Я просто вас не понимаю.

— Нет смысла вести этот разговор,— сказал Мак-Грегор и направился к дверям. Дубас нехотя последовал за ним. Мак-Грегор сошел во двор, открыл ворота. Был теплый парижский вечер, слегка увлажненный дождем. В конце улочки виднелась помятая легковая машина американской марки, к ней прислонились двое каких-то людей. Мак-Грегор постоял, поглядел на них.

— Друзья ваши? — спросил он.

— Родня из Женевы,— ответил Дубас.— Полицейский не пустил их ближе. Чего вы боитесь, mon ami [1]? — насмешливо сказал Дубас.

Мак-Грегор указал на большое пятно сожженной краски на воротах, светлевшее, точно плешина-шрам на человеческой коже.

— Вот полюбуйтесь на эту мерзость,— сказал он, следя за выражением лица Дубаса, и хотя не отметил притворного ужаса, но и признаков непричастности тоже не отметил.

— Городская война,— бросил Дубас презрительно.

— Прощайте, Дубас,— сказал Мак-Грегор.

Дубас усмехнулся, проговорил:

— Жить в этом богатом и прекрасном городе и...— Мак-Грегор захлопнул створки ворот, Дубас сказал с улицы: — Я еду на будущей неделе в Лондон. Могу я навестить мадам Кэти?

— Пожалуйста,— сказал Мак-Грегор и, подождав, пока машина Дубаса отъедет, вышел из ворот.

Хотя Мак-Грегор не забыл, как красива Жизи Маргоз, но забыл, за каким она барьером. И теперь, наедине с Жизи, любуясь совершенством ее странного лица, он убеждался в том, насколько прав Ги Мозель. Пленная пантера или рысь меряет шагами клетку, и взгляд ее не видит людей, глазеющих снаружи сквозь решетку. Именно эта отъединенность чувствовалась в Жизи.

Поставив два фужера с шампанским на инкрустированный столик в гостиной, она сказала:

— Не люблю американских коктейлей. Не понимаю, как их пьют. От них отдает мясистыми спинами, потными лицами, ремнем на толстом брюхе. Мерещатся американские многоквартирные дома в летнюю жарищу.

Она подала ему фужер, он поблагодарил. Она села.

— Скажу вам сразу — после вашего визита я все думала о вас, старалась вас понять. Затем решила — лучше не думать.

— Я — унылая тема для раздумий,— сказал Мак-Грегор и, вспомнив, что муж ее сейчас в Каракасе, спросил, оправдывает ли венесуэльская столица свою славу.

— Гроша не стоит хваленый Каракас,— сказала Жизи.— Что случилось с Кэти? — спросила она неожиданно.— Что происходит с вами обоими? А мне все говорили — идеальный брак.

— Ничего не происходит,— сказал Мак-Грегор, примиряясь с неизбежностью тягостного разговора.

— У Кэти явный флирт с моим братом Ги,— сказала Жизи.— Как вы на это смотрите?

---

[1] Друг мой *(франц.)*.

— Никак я не смотрю,— сказал Мак-Грегор.

— Не отмахивайтесь. На вашем месте я не стала бы доверять Ги в этом отношении.

Глядя куда-то в сторону, Мак-Грегор пригубил шампанское.

— Остерегайтесь Ги, примите меры,— не успокаивалась Жизи.

— Ну и что дадут мои меры?

— Не знаю. Но брак у вас такой внешне удачный. А Ги привлекает в жизни только все удачное. Потому и тянет его к Кэти.

— Не пора ли нам в театр? — спросил Мак-Грегор.

— Ах, никуда он от нас не уйдет,— сказала Жизи.— Я поговорить хочу. С вами я могу, потому что знаю: мои слова от вас дальше не пойдут. А другим никому нельзя довериться. Только с дочкой могу поделиться, но ей десять лет, и всего ей пока еще не скажешь. А вы делитесь со своими детьми?

— Бывает, и делюсь,— сказал он, невольно симпатизируя Жизи.

— А с Кэти больше нельзя вам делиться. И в этом-то и печаль, правда?

Он промолчал. Жизи подняла длинные пальцы к своему лицу, как бы желая сдернуть что-то.

— Почему вы не глядите на меня — в лицо мне? — спросила она.

Он поглядел с некоторой опаской.

— Мое лицо не нравится вам, правда ведь? Смущает вас?

— Вы говорите так быстро, что я с трудом понимаю ваш французский,— ответил он, пытаясь уйти от скользкой темы.

Но она как будто и ждала такого ответа.

— Я собиралась спросить вас о многом. Но это не к спеху.— И, сказав, что через пять минут вернется, она вышла; он ждал, мысленно беря себя в тугие шоры. Вернулась Жизи — в платье из шелковой чесучи. «En avant!..»[1] — сказала она, и они быстро спустились вниз сквозь витую сердцевину дома. На улице Жизи взяла его под руку. Села в такси — в добавочную клетку. На Мак-Грегора начинало понемногу действовать обаяние Жизи, хотя он и не смог бы сказать, в чем состоит это обаяние.

Давали «Вертера» — оперу на гётевский трагический сюжет. Жизи сидела рядом молча, как бы наглухо уйдя чувствами в эту повесть о готическо-немецком супружестве Альберта и Шарлотты и о сумасброде Вертере. «Laissez couler mes larmes»[2],— запела Шарлотта с французскими придыханиями. Жизи сказала шепотом: «Ненавижу. Мне больно». И, к удивлению Мак-Грегора, смахнула с ресниц две крупные слезы, пока не скатились и не испортили ей косметику.

Весь обратный путь она молчала, и Мак-Грегор ощущал теперь подспудную загадку этой женщины, так отчаянно рвущейся к живому контакту сквозь барьер лица. И только занявшись варкой кофе среди стекла и блеска своей кухни, Жизи опять заговорила.

— Мещанский брак Шарлотты был просто глуп и нелеп,— сказала она, словно в пояснение того, почему плакала над немецкой любовной историей, положенной на французскую музыку.— И я уверена, именно это и хотел Гёте выразить.

— При чтении «Вертера» мне казалось, что Гёте нападает на романтическую любовь, а не на брак,— попробовал возразить Мак-Грегор.

— Ну зачем так говорить,— сказала Жизи.— Ведь немцы, и даже Гёте, всегда и неисправимо сентиментальны во взглядах на любовь.

— Возможно, я и ошибаюсь,— сказал Мак-Грегор.— Но вообще-

---

[1] Вперед!.. *(франц.)*

[2] Пусть льются мои слезы *(франц.)*.

то доброе супружество было Гёте по душе, любовь же он не слишком высоко ставил.

Он сел за стерильно-чистый стол, подумав при этом, что предельная чистоплотность — видимо, исконная черта мозелевского воспитания. Он глядел, как Жизи — в своем платье от Живанши — аккуратно и опрятно выполняет работу прислуги: мелет кофе, наливает стеклянный кофейник, вытирает, ставит, зажигает газ. Она была так поглощена делом, что, казалось, забыла о госте.

— Уж не знаю, как Гёте смотрел на любовь,— сказала она наконец.— Но знаю, что именно брак-то и глупость. Я вышла замуж в двадцать лет, по любви. Французскую любовь творят посредством рта. Это так противно. У мужчин-французов умелые губы и руки. А я ненавижу. Иногда эта похоть способна преобразиться в любовь — то есть в тихую любовь, без рук. Тогда становится все хорошо и длится не кончаясь. Но если так и остается на стадии рук и губ, тогда возникает лишь тихая ненависть. И во мне она возникла. Вся эта моя поверхность...— провела Жизи руками вниз по телу.— А что в душе, никто того не знает, даже муж. Я нормальна. У меня хорошая французская surface [1]. Правда ведь? — Жизи ждала. Требовала ответа.

— Правда,— сказал Мак-Грегор.

— Я пыталась любить мужа тихой любовью, а он убивал меня руками и ртом. Пусть творит это с другими, не со мной.

Она села напротив Мак-Грегора, и он почувствовал, что ему уже больше не трудно смотреть на нее, вглядываться, слушать. Красавица Жизи, такая вожделенная, вовсе не хотела будить вожделение, и Мак-Грегору стало легко с ней. Но чего же она хочет?

— Говорят, у англичан брак основан на другом,— продолжала она, наливая ему кофе по-женски ловко и заботливо.— Вот я и не понимаю вас с Кэти. Разве вы живете не душа в душу? Отвечайте же!

— Брак — на всех языках слово казусное,— усмехнулся он.

— Не надо так. Я думаю, любить вас означало бы любовь простую, без всех тех несносных пыток. Захоти лишь вы, я стала бы влюбляться в вас очень неспешно. Очень тихо. Никто бы не знал, даже Кэти.

Жизи глядела на Мак-Грегора, точно взывая отчаянно к его пониманию, к его собственной тоске по живому контакту. Она не предлагала ничего порочного, дурного, не толкала ко лжи. «Да, прав был Мозель, говоря, что Жизи страстно рвется сквозь барьер»,— подумалось Мак-Грегору.

— Вас мои слова шокируют? — тревожно спросила Жизи.

— Осторожней. Обожжетесь,— указал Мак-Грегор на кипящий кофейник. Локоть Жизи оказался под струей пара. Она убрала руку. Вернулась к столу, подсела опять, вытирая локоть и не сводя глаз с Мак-Грегора.

— Вам непонятны мои жалобы на ту любовь? — спросила она.

Он покачал головой.

— Да, вам не понять, как это исковеркало меня молодую. Убило прямо. Я ведь думала тогда, что та любовь нормальна. Убило...— повторила она.— Но теперь я столько думала о вас. Наблюдала вас так пристально. И решила, что если мы сблизимся когда-нибудь, то ничего мертвящего уже не будет. А вам не кажется — не веет на вас жизнью?

— Слишком поздно мне, Жизи,— ответил он с легкой улыбкой, отказываясь отнестись к ее словам серьезно.

— Из-за Кэти поздно?

— Да.

[1] Поверхность *(франц.)*.

Яркие глаза Жизи поматовели.

— Но она и знать не будет. Да и зачем ей знать? Я не причиню ей боли. И вы тоже. Мы никому не причиним зла. Я столько ждала. Я не о любви,— вздернула она плечами.— Я о том чудесном чувстве, которое во мне теперь. Я ждала его так долго, и наконец теперь оно во мне... Одну минуту,— проговорила Жизи.

Она встала, подошла к сверкающей сталью раковине. Открыла краны, нагнула голову, принялась тереть лицо кухонным мылом. Мак-Грегор глядел, как косметический покров солнечной струей стекает в раковину. Жизи сняла висевшее сбоку полотенце и вернулась к столу, жестко вытирая лицо.

— Никогда больше не стану мазаться,— сказала она.— Ну, лучше так?

Мак-Грегор был невольно поражен преображением одной красоты в другую. Лицо Жизи оказалось слегка тронуто веснушками, словно крохотными лепестками, упавшими на смуглую чистоту щек,— и вышла на свет озадаченная, озабоченная, бесхитростная и зрелая женщина. Пожалуй, еще более красивая, чем прежде.

— Но зачем вы это сделали? — спросил Мак-Грегор и по смеху ее понял, насколько у Жизи это серьезно.

— Хотела выглядеть, как вы.— И, приложив к лицу ладони, она сердито, сквозь зубы сказала: — Клянусь, никогда в жизни больше не стану делать maquillage [1].— Затем спросила: — Вы не проголодались?

— Признаться, проголодался,— ответил он, чувствуя, что отделывается, кажется, легко.

— Отчего же не повезли меня куда-нибудь ужинать? Но, честно говоря, я ни в какой ресторан не хотела,— продолжала она, не дав ему ответить.— Хотела вернуться сюда с вами.

Жизи подошла к громадине холодильнику, возвышавшемуся, точно храм, посреди белокафельной кухни. Достала оттуда жареного цыпленка, маслины, поставила на стол тарелки, положила салфетки. Затем села, и оба принялись деликатно обгладывать косточки, запивая кофе. Две тяжелые, как виноградины, слезы капнули вдруг у Жизи на блестящую крышку стола.

— Не обращайте внимания,— проговорила Жизи.— Это у меня так, ничего. Я ведь вас вполне понимаю. Вы живете...— Она стерла салфеткой слезы со стола.— ...живете самоотрешенно, правда ведь? Вот так и мне жить надо. Потому, наверно, меня всегда восхищал де Виньи,— перешла она на французский.— Мой брат Ги говорит, что вы уйдете в Курдские горы и погибнете там, как нищий священнослужитель на посту. Я бы и сама так, будь я мужчиной. Клянусь. Да и сейчас пошла бы вместе с вами, пожелай вы только.

— Почему, однако, ваш брат считает, что я погибну в Курдских горах, как на посту? — спросил Мак-Грегор, опешив от слов Жизи, но чувствуя, что она по-своему хочет ему помочь.

Она пожала плечами, лизнула пальцы.

— Уж из такой, говорит, вы породы англичан. По его мнению, в этом причина ваших с Кэти неладов. А что, Кэти правда хочет вернуться сюда и зажить по-здешнему? — кивнула Жизи на окружающий кухонный блеск.

Мак-Грегор понял, что это Кэти изливала, должно быть, перед Мозелем душу, а тот небрежно передал ее слова сестре.

— Да. Она хочет вернуться в Европу.

— Но зачем? — изумилась Жизи.— Боже мой, я отдала бы что угодно, чтобы покончить со всем этим. Омерзело мне оно.

---

[1] Здесь: общий грим *(франц.)*.

И Жизи принялась снимать с себя драгоценности — выдергивать из ушей, стаскивать с пальцев,— точно в этих срывающих жестах было некое освобождение. Она побросала серьги и кольца в тарелку с куриными костями.

— А о Кэти я вам вот что скажу,— проговорила Жизи.

— Пожалуй, не стоит об этом.

— Нет, стоит. Кэти больна той же болезнью, что и все здесь. Каждый во Франции теперь нянчится со своей душевной или сексуальной травмой. А несколько умелых слов и фюить! Кэти заведется, как все прочие. Вы согласны?

— Нисколько не согласен,— ответил Мак-Грегор.

— Но почему тогда Кэти хочет вернуться? Ведь для вас это навсегда останется загадкой, не так ли?

— Тут никакой загадки.

— Ну, почему же тогда?

— Кэти слишком долго была оторвана от здешних благ, жить в Иране было ей все годы нелегко, опасно и малоприятно. Никто ведь здесь не знает, что довелось перенести Кэти за эти двадцать лет в Иране.

Красивые глаза Жизи поглядели на него одиноко и спокойно.

— Вы абсолютно не понимаете женщин,— сказала она.

— Что ж, возможно.

— Ох, берегитесь,— сказала Жизи.— Ги отлично понимает женщин. Он француз. Он-то будет знать, как ее обхаживать, стоит лишь вам уехать и оставить ее здесь.

В кафельной кухне было тихо и жарко.

— Вы недооцениваете Кэти,— возразил Мак-Грегор.— Она не упадет в его объятия этакой наивной девочкой.

— Не будьте так уж уверены.

Он поднялся — пора было уходить. Она грустно повернула к нему разгримированное лицо со смугло-лепестковыми щеками. Ему вспомнилась персидская, основанная на игре слов, поговорка о том, что жизнь, прожитая в гордыне и богатстве,— это жизнь, потраченная зря; а не веришь, прочти персидское слово «счастье» наоборот и получишь: «неприкаянный, пропащий».

— Прошу вас, останьтесь,— сказала она.

— Не так это просто,— мягко ответил он.

— О нет, это легко и просто. Мне ведь не любовь... Мне то, другое, удивительное. А если у вас с Кэти все рухнет непоправимо...

— Ничто у нас не рухнет,— сказал он.— У нас прочно.

— Но если рухнет? Ведь может рухнуть.

Он высвободил свою руку, которую Жизи как бы машинально притянула, приютила в сгибе локтя, где кончался шелк и открывалась душистая кожа. Тогда Жизи медленно повела его вниз, в кратер лестницы, к выходу.

— Знаете, что Валери сказал в «Пчеле»? Что сердце жаждет резкой муки, потому что боль злая, но краткая много легче тлеющей тоски.

— Это адресовано мне или вам? — шутливо осведомился он.

— Думаю, мне. Но, возможно, и вам,— ответила она.— Во всяком случае, мы с вами не похожи на других. Не больны европейской болезнью, n'est ce pas [1]?

Он простился и вышел невредимо, унося лишь легкое прикосновение губ Жизи. Он шел улицами, не замечая машин, пролетавших у самого его носа на переходах, думая о том, знала ли Кэти, что ждет его у Жизи Маргоз, и не устроила ли эту встречу нарочно.

---

[1] Верно ведь? *(франц.)*

Не спеша дошел он до круглосуточно открытой почты за Биржей — приюта парижских бродяг-полуночников — и, подумав, что отсюда надежней всего, позвонил Кэти в Лондон, на Бэттерси, хотя был уже час ночи. Услышав ее голос, он собрался с духом и сказал:

— Это я. Не пугайся. Все в порядке. Хочу только сказать тебе, что в пять утра улетаю в Иран.

Длинное молчание.

— А зачем? — спросила Кэти далеким голосом.— Что случилось?

— Ничего. Просто я должен кончить дело, а иначе не кончить.

— И что же теперь? Надолго ты едешь?

— Дней на десять всего-навсего.

— А дети?

— Не страшно. Обойдутся без меня,— сказал Мак-Грегор.— Они уже не маленькие.

— Как так не страшно? — возмутилась Кэти.— По телевидению передали вечером, что на завтра назначена в Париже всеобщая забастовка. Надо удержать детей от участия, особенно Сеси.

— Я поговорю с ней,— сказал Мак-Грегор.— Все будет в порядке. Эндрью за ней приглядит.

— А за Эндрью кто приглядит? Утром я возвращаюсь в Париж.

— Не надо. Обойдутся. Не вечно их можно будет за руку водить. Ничего с ними не случится.

— Что ж, поезжай,— устало сказала Кэти.— Но по возвращении не жалуйся на последствия.

— Какие последствия?

— Сам должен знать какие.

— Не будь такой, Кэти.

— Такая уж, какая есть,— проговорила Кэти.

— Поездка эта будет, по всей вероятности, последней, прощальной,— пообещал Мак-Грегор.

В трубке слышалось дыхание, но Кэти молчала. Затем спросила:

— Не в Курдистан ли направляешься?

— Именно туда. В этом вся штука.

— А ты уверен, что тебе не ловушка подстроена?

— Возможно, и ловушка. Но вряд ли.

— Тогда не езди, ради бога. Хоть раз в жизни поступи разумно.

— Надо ехать,— сказал Мак-Грегор.— На карту поставлен успех всего дела, а, поверь мне, я хочу покончить с ним, чтоб уж затем уладить все недоразумения между нами.

— Что ж, отправляйся,— сказала Кэти.— Отправляйся! Но пеняй потом на самого себя.

Часть III

Глава двадцать восьмая

Отворяя ворота старой казармы в Марадеше, Мак-Грегор не ожидал, признаться, увидеть там во дворе Шрамма сидящим среди курдов на корточках на грязной земле. Вокруг кизячного костра переговаривались, посмеивались негромко мастеровые и погонщики ослов.

— Должно быть, вам пришлось искать меня по всему краю,— сказал Шрамм.

— Нет,— сказал Мак-Грегор.— Чужеземцу вроде вас стоит только углубиться в эти горы, и тут же весть облетит жителей.

— Я нанял в Резайе машину, выехал оттуда четыре дня назад с этим типом Галой.— Шрамм кивнул на курда, прилегшего у кост-

ра.— Но Гала только берет у меня деньги на бензин, на продовольствие, на взятки, а толку никакого. Он, видимо, задался целью присвоить все, что у меня есть,— до последней рубашки и складного ножа. Один из этих курдов знает несколько слов по-немецки, а прочих я совсем не понимаю: слишком слаб в языке. Притом они, видимо, говорят каждый на своем диалекте?

— Разумеется. Но как вы очутились здесь? — кивнул Мак-Грегор на давно нежилую казарму.

— А где я, собственно?

— В Ираке, милях в десяти от иранской границы,— ответил Мак-Грегор.

Француз рассмеялся и хлопнул себя по пыльным голенищам.

— Вот так номер! Но ведь мы не проезжали никаких пограничных постов. Вижу, вижу уже сам, кто здесь в горах хозяин.

Мак-Грегор покосился на курдов — не исключено, что кто-нибудь из них понимает французский.

— Так-то так,— сказал Мак-Грегор,— но иракские патрули расстреляют вас на месте, если поймают.

— А вас?

— Я не французский офицер, переодетый в штатское, и не ношу в заднем кармане пистолета.

— А про пистолет откуда вам известно?

— За эти два дня нам стало не только известно, где вы побывали и где пытались побывать,— сказал Мак-Грегор,— но и чем питаетесь, как ямку себе роете, чтобы нужду справить, как рано утром бреетесь без воды электробритвой на батарейках, как любопытны вы и опасно ловки в обращении с картой, блокнотом и своим посеребренным «биро», у которого кольцо на рукоятке. Вы здесь человек приметный.— И Мак-Грегор направился к костру, где лежал шофер Гала.

— Я пытался войти в контакт с вашими комитетскими друзьями,— сказал Шрамм, идя следом.— Но ни из кого здесь не вытянешь, где они. И вот ничего пока не сделал. Да и машина где сейчас, не знаю.

— С ильханом вы, однако, виделись,—сказал Мак-Грегор.—И были с его людьми позавчера, когда те напали на людей кази.

— Так вот, значит, с кем была стычка,— сказал Шрамм, жестко усмехнувшись.— А с ильханом я встретился, можно сказать, ненароком.

— Отнюдь нет. Вы искали с ним встречи, и вас отвезли к нему.

Мак-Грегор поздоровался с курдами, назвав себя, и спросил Галу:

— Зачем ты возил француза к ильхану? Разве так курд поступает?

— Француз мне заплатил, я и отвез,— пожал Гала плечами.

Мак-Грегор успел уже вспомнить, кто такой Гала. В 1946 году Гала сражался вместе с муллой Барзани против иранской армии, но позднее стал профессиональным горным контрабандистом и проводником для других контрабандистов, для агентов разведок и вообще для любого желающего. О Гале ходила молва, что он всю пограничную стражу подкупает сигаретами, транзисторами и электрическими утюгами, что иногда исподтишка, анонимным доносом выдает соперника-контрабандиста иракским или иранским пограничникам. Переправляет грузы на ослах и слывет похитителем ослов, но ружья с собой не носит.

— Как же ты мог в таком деле польститься на деньги? — укорил его Мак-Грегор.— И зачем перевез француза через границу? Это и глупо и опасно.

— Но он же хочет повидаться с кази,— сказал Гала в ответ.— А кази где-то тут в Ираке, близ Амарадьи. Вот я и привез его. Он заплатил...

— Где сейчас твоя машина?

— Мурад ее на время взял. Он из паломничества только что вернулся, святой человек теперь — хаджи.

— Вранье,— бросил Мак-Грегор.— Собирайтесь-ка,— сказал он Шрамму.— Берите вещи, спальный мешок, идемте со мной.

— Куда? — спросил Шрамм.

— Надо выбраться отсюда затемно,— сказал Мак-Грегор.— Вставай, Гала, пошли! — И, выйдя из ворот казармы, Мак-Грегор повел их по ухабистой и крутой дороге вниз, к старому, помятому «мерседесу».

— Но, черт подери, это ведь наша машина,— сказал Шрамм.— Как вы нашли ее?

— Я на ней сюда приехал.

— Но каким же образом?

— Не в этом суть сейчас. Садитесь.— И, сев впереди, рядом с Галой, Мак-Грегор велел ему ехать под гору к реке, а там повернуть на черную дорогу и везти их к старому несторианскому селению, к пещерам.

Трясясь на ухабах и выбоинах, Мак-Грегор задремал беспокойной дремотой. Разбудил его град комьев грязи, брызг — это машина взъезжала на крутой сланцевый мокрый склон, синевато-серый в свете фар. Остановились на окраине большой деревни, где два вооруженных курда — очевидно, люди Затко — приказали им выйти из машины. Узнав Мак-Грегора, один из курдов спросил, нет ли с ними оружия.

— Дайте мне ваш пистолет,— сказал Мак-Грегор Шрамму. Передал пистолет курду, и тот сунул его себе за пояс, словно бесповоротно присваивая. Затем сказал, чтобы Мак-Грегор шел с ним, а Шрамм пусть ожидает.

Идти оказалось недалеко, но в гору; в темноте, спотыкаясь, дошли до глинобитной хибары, где другой курд сонно сидел на корточках при входе. Зажгли лампу, Мак-Грегор прошел одну комнатку, другую, чуть не касаясь головой низких потолков. В третьей комнате на деревянной койке, на старых циновках лежал кази, укрытый серым армейским одеялом. Он приподнялся, сел на постели, запахнулся одеялом. На ногах его были нитяные толстые носки, какие в войну выдавали английским летчикам.

— Добро пожаловать,— сказал кази, пожимая Мак-Грегору руку. Он извинился за свой вид, за убогость помещения и встречи. Затем сказал: — Мне передавали, что ты едешь сюда.

— Рад слышать,— сказал Мак-Грегор.— Я оповещал через кого мог.

Кази исхудал, лицо его покрывала землисто-серая, под цвет одеяла, бледность. Горло было обвязано грязным бинтом, сбритая борода отрастала щетиной. И обритое темя — тоже обинтовано.

— Как здоровье твое? — усталым голосом спросил кази.

— Благодарю, здоров,— сказал Мак-Грегор.— Но ты-то, кази? Вид у тебя нехороший.

— Сейчас я уже ничего,— сказал кази.— Но одно время было худо.

— Я опечален этим, кази,— сказал Мак-Грегор.

— Не беда. Нас порядком измотали, правда. Ильхан все старается взять меня в плен, гоняет нас с места на место и шлет мне послания, что единственная, мол, его цель — защитить меня.

— Негодяй...

— Ясно, что я нужен ильхану для престижа. Он не даст Затко покоя, мешает закрепиться, упрочиться где-либо. Гоняется за нами на своих машинах, устраивает засады, покушения на Затко. Нелегкое это дело — воздерживаться от ответа на его провокации.

— А для чего воздерживаться? Стоит ли?

— Стоит. Для борьбы нужен принцип,— помолчав, потрогав забинтованное горло, ответил кази.— И раз наш принцип — единство, то надо его и держаться. И значит, надо избегать междоусобиц, а иначе дело курдского освобождения пойдет прахом. Отступить от принципа даже ильхан меня не заставит.

— Но рано или поздно он тебя убьет,— возразил Мак-Грегор.

— Навряд ли. Он просто хочет заставить меня согласиться с его политическим курсом, с его понятиями о курдской нации. Но я вовеки не соглашусь. Будет день, когда ему придется принять наши взгляды, истинные цели, и я не погублю этого будущего, не стану идти теперь на столкновение с ильханом.

Кази позвал одного из бойцов охраны.

— Проводи друзей наших в сухие пещеры,— велел кази и сказал затем Мак-Грегору: — Там, в верхних пещерах, вам будет хорошо. А утром, до встречи с французом, надо будет нам с тобой еще переговорить.

— Где Затко? — спросил Мак-Грегор.

— Он оседлал дорогу под Халдаштом.— И кази велел другому бойцу отправиться туда и разыскать Затко.

— А иракский Али где? — спросил напоследок Мак-Грегор.

— Али здесь,— сказал кази.— Но он хворает.— Кази лег на подушку.— Обсудим все завтра. Тебе надо теперь отдохнуть: путь из Парижа неблизок. Я рад, что ты приехал, друг, благодарю тебя.

Рано утром Мак-Грегор пришел к кази, надевшему уже чистый бурнус и чистую чалму и ожидавшему Мак-Грегора в одной из пещер. Там подмели, поставили старый сосновый стол, плетеные стулья; в углу, под желтым фонарем-«молнией», немо красовался большой черный радиоприемник. Понимая, что все это — декорация, Мак-Грегор подумал: «На француза, может быть, подействует, напомнит ему другие партизанские пещеры в других освободительных войнах Востока». Четверо бойцов-часовых в грязной курдской национальной одежде, с патронташными ремнями вперекрест выглядели убедительней, хотя Мак-Грегор чувствовал, что и эти часовые слегка отдают бутафорией. И только кази с иракским Али, тощие и настоящие, придавали обстановке встречи требуемый достоверный вид.

— Так что же там, в Париже? — сказал Али.— Запутанная штука получилась?

— Сейчас я расскажу, и сами сможете судить,— сказал Мак-Грегор и стал излагать шаг за шагом все свои действия в Европе. Али и кази слушали не перебивая, сидели за столом в напряженном молчании. Но когда Мак-Грегор кончил, кази не смог скрыть растерянного удивления.

— Какой спутанный клубок,— проговорил он.— Объясни же нам, что это все означает по-западному.

— Распутать клубок непросто,— сказал Мак-Грегор.— Все правительства на Западе внезапно заинтересовались курдским будущим, и все не прочь вмешаться.

— Это не ново,— сказал Али с мрачным выражением на больном лице.

— Да, но впервые все они принимают всерьез идею курдской автономии, даже идею суверенной курдской нации. А это уже нечто совершенно новое.

— Выходит, мы делаем успехи,— сказал кази.— Но в чем же тогда загвоздка? Почему они не помогают нам — и даже не дают приобрести оружие?

Мак-Грегор пожалел, что у него нет лучших объяснений, чем те, которые в Европе казались очевидными, но здесь, в горах, неясны и чужды. К Шрамму сегодня утром подошли с больным ребенком две горянки, приняв Шрамма за чужеземного врача (по их мнению, раз ты чужеземец — значит, доктор). Француз печально объяснил, что он не врач и помочь не может. Женщины ответили разгневанным плевком и крепким ругательством...

— Загвоздка в том,— сказал Мак-Грегор, облокотясь на пыльный стол,— что они примут идею курдской революции, только если смогут обеспечить себе от нее выгоду.

— Каким способом обеспечить?

— Любым: с помощью денег, оружия или обещаний, политических махинаций, подкупа. Любым способом, который даст им то, чего они хотят. Французы — те, видимо, удовлетворятся чисто коммерческими выгодами от нефти и газа. Поэтому я и решил, что французы будут для нас полезнее других.

— А французы — честные? — спросил кази.

— Как ты можешь задавать такой вопрос, кази? — сказал Мак-Грегор с грустной усмешкой.— Французы слабее всех прочих, вот и все.

— Трудно понять европейский склад мыслей,— удрученно сказал кази.

— Европа очень быстро меняется,—сказал Мак-Грегор.—В прежние времена им было бы нетрудно подчинить вас с помощью бомбардировщиков и войск. Но теперь это уже не так легко — ведь им самим, у себя дома, отовсюду грозят политические потрясения.

— А оружие? — спросил Али.— Кому оно досталось?

— Пока что никому.

Услышав отчаянное фырканье и тарахтенье подъезжающего джипа, Мак-Грегор догадался, что это прибыл Затко. Минутой позже Затко вошел в пещеру, прищуренно огляделся кругом, обнял Мак-Грегора.

— Ну, как ты? — сказал Затко.— Я знаю, ты виделся в Париже с Тахой.

Извинившись перед кази, Мак-Грегор стал рассказывать о Тахе, и Затко слушал терпеливо (сегодня он изображал терпеливого). И только когда Мак-Грегор упомянул про Дубаса, Затко не удержался и воскликнул:

— Значит, это правда. Сын ильхана тоже там!

Мак-Грегор рассказал, как Дубас показывал ему удостоверения.

— Вот видишь, кази,— сказал Затко.— Уже и документы штампуют... Говорил ты ему, что нас гоняют, как зайцев, в наших родных горах?

— Да, говорил. Но незачем сгущать краски. Приступим к беседе с французом,— сказал кази и велел одному из часовых сходить за Шраммом.

— Погоди минуту,— удержал Мак-Грегор часового.— Должен заранее предупредить тебя, кази, что этот француз оценивает все с военной точки зрения. Причем он разочарован тем, что уже увидел.

— Как же нам, по-твоему, вести себя с ним? — спросил кази.

— Думаю, что он к тебе прислушается,— сказал Мак-Грегор.— Но пусть вдобавок Затко подействует на него чем-нибудь эффектным.

— Это еще зачем? — возмутился Затко.— Перед французом из кожи лезть?

Кази вопросительно глянул на молчавшего Али.

— Мне этот француз не нравится,— сказал Али.

— А что ты скажешь? — спросил кази Мак-Грегора.

— Скажу, что из-за этого француза я из Парижа сюда ехал.

— Хорошо,— произнес кази, берясь рукой за обвязанное горло, закутанное сверху шерстяным шарфом. Видно было, что ему больно говорить.— Мы сделаем, что можем.— И послал часового за Шраммом.

Шрамм уже очистил сапоги от грязи и навоза. Хотя он не стал отдавать честь, но приветственно выпрямился, щупая курдов настороженным взглядом. На французском языке представив Шрамма, Мак-Грегор сказал ему, что кази и Али говорят по-французски.

— Я привез письма, кази,— сказал Шрамм и подал два конверта.

Кази быстро прочел, отложил в сторону.

— Вы хотите, чтобы я объяснил положение наших дел, мосье?— сказал кази.— Или вопросы хотите задавать?

— Я хочу лишь знать, какой властью вы располагаете и каков ближайший план ваших действий,— энергично приступил Шрамм к делу.

Кази подумал, прежде чем ответить.

— У вас один способ узнать, какой властью мы располагаем. Спросите любого курда, пусть скажет, кто, по его мнению, действительно представляет народ.

— Этого я сделать не могу,— сказал Шрамм.— Я не настолько владею вашим языком.

— Но в таком случае вы мало что сможете о нас узнать,— сказал кази.

— Пожалуй, что так,— невозмутимо согласился Шрамм.— Но меня фактически больше интересуют ваши теперешние планы.

Кази слегка развел руками.

— Это так сразу не скажешь,— произнес он. Последовали новые быстрые вопросы, новые осторожные ответы. Затко дернул Мак-Грегора за рукав, спросил, о чем идет у кази с французом разговор.

— Француз допытывается, с кем, собственно, хотят курды воевать,— ответил Мак-Грегор.

— То есть как — с кем?

— Он желает выяснить, против кого направлено острие вашей борьбы — против ильхана ли, иракских ли властей, иранцев или кого-либо другого.

— А-а...

— Он хочет знать, есть ли у вас контакт с русскими,— продолжал переводить Мак-Грегор.

— Скажи ему, у нас оружие русское.

Мак-Грегор будто не расслышал, но Затко настойчиво повторил:

— Скажи ему. Что ж ты молчишь?

— Зачем я стану говорить ему заведомую ложь?

В ответ Затко указал на курда-часового. На шее у того висел новенький автомат Калашникова с гладким коричневым прикладом и широким тканевым ремнем.

— Где вы это достали? — спросил Мак-Грегор.

— У иракцев украли,— сказал Затко.

— Кто украл?

— Я украл,— ответил Затко.— Все равно француз уже признал

автомат, так ты пусти ему пыль в глаза. Пусть думает, у нас тысячи таких.— Тут Затко перешел на шепот: — Выйдем на минуту. Я тебе важное скажу.

Поколебавшись, но понимая, что Шрамм не прочь остаться с кази и Али наедине, Мак-Грегор вышел с Затко из пещеры на солнцепек.

— Вот кази про единство толкует и прячется, чтобы не дать ильхану убивать братьев-курдов,— сказал Затко.— А знаешь, что эта старая задница ильхан сделал на той неделе? Осведомил о нас иранских жандармов. А потом убил одного из моих дозорных на посту.

— Кази мне говорил,— сказал Мак-Грегор.

— Я вчера на иранскую сторону ездил,— продолжал Затко.— Ильхан по-прежнему рыщет там, охотится за нами — с позволения иранских жандармов.

— Но почему? Что вдруг толкнуло ильхана на такое?

— Его кто-то извне поощряет,— сказал Затко.— Неделю назад ильхан был в деревне Джурия и с крыши, мотая ослиными своими ушами и немецким пистолетом, кричал крестьянам, что перестреляет всех моих людей и каждого, кто смеет нас укрывать. Рано или поздно он убьет нас с кази, если только я прежде его не убью.

— А что говорит кази?

— Говорит, что это провокации чужеземцев.

— Он, пожалуй, прав,— сказал Мак-Грегор, сев рядом с Затко на дувале, сложенном насухо из камня. Отсюда была видна вся деревня.— Если вы начнете сейчас междоусобицу, то выгода от этого будет только иностранцам.

Затко повернулся спиной к солнцу.

— Ну, не знаю,— сказал он.— Иногда мне кажется — прав Таха, что хочет истребить всех феодалов.

— Таха не прав,— твердо сказал Мак-Грегор.

Затко указал рукой на Ардебиль — городок, чуть заметный далеко внизу.

— Там раньше жили по племенному курдскому укладу,— сказал он.— На лето все оттуда в Сулав уходили — от пыли и от жары. Ардебиль — старинный город, в нем много старых курдских домов, две воинские казармы разрушенные. Кругом города высоченная стена с воротами на Мосульскую сторону. Былая курдская твердыня. А теперь это город мастеровых, с асфальтовыми дорогами, рынками, чайханами и большой мечетью. Вот где заметно, какие с каждым днем происходят в курдах перемены.

— Я знаю...

— Курды отрываются от родных гор, живут теперь как нищие при дорогах, в гаражах, занимаются куплей-продажей, на нефтепромыслах ишачат, автобусы и грузовики водят, свои домишки краской красят. И сколько им так жить — в асфальтовой нищете?

— Знаю, знаю,— повторил Мак-Грегор.— Но эти перемены неизбежны, и в данный момент у вас иные заботы.

— Но почему же неизбежны? — вознегодовал Затко.— Почему надо, чтоб не было разницы между зимой и летом, как теперь в Ардебиле? Ты чувствуешь, как мы меняемся? Поди растолкуй дело французу, когда самим даже курдам зачастую невдомек, что с ними происходит. Таха прав. Мы становимся городским народом и, значит, должны вести борьбу по-городскому.

— Я все это понимаю...

— Но какой другой чужеземец поймет это когда-либо или поймет, в чем суть наших распрей? Как понять такому вот французу, чего мы хотим, о каком будущем мечтаем? Когда Таха уезжал в Париж, я сказал Тахе: «Никто вовеки не нарушал законов курдской

чести, не урони и ты ее ничем». А Таха в ответ: «Смешно слушать твои слова». А ведь я хотел сказать лишь то, что отними у курдов честь — и ничего у нас не останется. Хотел сказать, что мы должны и впредь быть неподкупны. Чтобы он это помнил в Париже. А никакой француз не поймет этого. Да и как ему понять? Европейцам чуждо понятие чести.

— Это верно,— сказал Мак-Грегор.

— Я знаю всю мрачную изнанку горной жизни,— обвел Затко рукой горизонт.— Но мы утратим все, если не защитим своих гор и селений. Вот почему я хочу убить этого старого вьючного мерина ильхана. Он все наше дело губит.

Они вернулись ко входу в пещеру, и Мак-Грегор с минуту постоял там, прислонясь к шершавому теплому камню скалы и глядя на горные склоны, покрытые теперь зеленеющим вереском, утесником, альпийским мхом. Снизу, из деревни, шел запах тлеющих углей, доносилось влажное шлепанье — это женщины стирали где-нибудь в илистом прудке. Слышен был их резкий хохот, напомнивший Мак-Грегору о грубых шутках, об открытых лицах, о свирепом чувстве равенства с мужчинами.

Вдруг Затко прислушался, сжал локоть Мак-Грегора. Один за другим раздались четыре выстрела.

— Вот видишь. И так всюду, где б мы ни остановились.

— А что это?

— Это Ахмед сигналит, что по черной дороге подымается отряд иракских солдат. Из Ардебиля, наверное.

— Я думал, иракские власти вас не трогают.

— Как сказать,— буркнул Затко.— Ты вызови из пещеры кази и француза. Надо что-то предпринять.

Мак-Грегор ушел в пещеру и вернулся с кази; Затко велел Гале увезти кази и Али вверх по тропе, в горы. Затем, усадив француза в свой синий джип на заднее сиденье, Затко спустился за деревню и приказал там дозорным дать предупредительные выстрелы: оповестить всех остальных, залегших по склонам. Мак-Грегор сидел рядом с Затко, держа в коленях обе винтовки.

— Что он затеял? — крикнул ему Шрамм.

Мак-Грегор только зубы крепче сжал, чтобы не прикусить язык,— Затко уже свернул с дороги и ринулся с кручи вниз по скользкому скату, как горнолыжник. Дважды они чуть не перевернулись.

— Он разобьет машину! — воскликнул Шрамм.

— Держитесь крепче! — крикнул в ответ Мак-Грегор.— И молчите!

Промчавшись, пролавировав мимо расселин и каменных глыб, Затко остановил джип на уступе, бросил короткую и зычную команду куда-то за косогор. Затем выстрелом просигналил скрыто залегшим курдам, рванул тяжко рычащую машину обратно на крутой скат. Оттуда открылась асфальтовая дорога внизу и на ней — четыре иракских грузовика и бронеавтомобиль. Затко снова просигналил выстрелом, разбудив эхо в горах.

— Объясните мне, что происходит,— сказал Шрамм Мак-Грегору.

Мак-Грегор молча указал на дорогу: там, в нескольких шагах перед иракским броневиком, всклубились два минных разрыва.

— Нам понадобилась бы система связи посложней, чтобы так оперативно организовать минометный обстрел,— заметил Шрамм со смешком.

— Здесь в горах вместо сложных систем связи — простое взаимопонимание,— ответил Мак-Грегор.

Мотоколонна не пыталась укрыться от огня. Видно было, как офицер оглядывает из броневика склоны в полевой бинокль.

— Махмуд!..— зычно скомандовал Затко, так что эхо пошло по долине.

Еще один минный разрыв — на этот раз позади колонны. Слышно было, как иракские солдаты сердито кричат, пререкаясь. Но все оставались на месте. И тут бронеавтомобиль дал пулеметную очередь, но не по минометам, а по Затко, вставшему на виду у неприятеля. Крупнокалиберные пули ударили в скалу, кроша камень, осыпая землю вокруг.

— Зачем он подставляет себя под пулемет? — удивился Шрамм.

— Да погодите вы,— раздраженно сказал Мак-Грегор.— Через минуту все разъяснится само.

Стоя оба открыто, на всем виду, иракский офицер и Затко принялись яростно перекрикиваться на арабском языке, полупонятном Мак-Грегору.

— Что вам здесь надо? — кричал Затко, надсаживая горло.

— Мы на гору идем,— кричал иракский офицер.

— Осаживай давай,— кричал Затко.— Зачем лезешь к нам? На рожон зачем прешь?

— А зачем открываешь по мне огонь из минометов?

— Поворачивай назад, посиди у себя там спокойно дня два,— прокричал Затко.— Вам сюда не положено.

— Под минометным огнем поворачивать не стану.

— Боишься, хабиби? — засмеялся Затко.— Мины вас не тронут.

— Член ты кривой,— выругался в ответ офицер.

Затко одобрительно шлепнул себя ладонью по ляжке, крикнул:

— Послезавтра приходи — нас тут уже не будет. Слово тебе даю.

Помедлив, офицер нагнулся внутрь броневика, приказал что-то экипажу. Мак-Грегор напряженно ждал новой пулеметной очереди. Но Затко крикнул:

— Не дури. Там за дорогой, в тылу у вас, полсотни моих бойцов.

Офицер выпрямился.

— Никого там у тебя нет,— откликнулся он.— Но ты не пугайся. Я всего-навсего водителя спрашивал, где он тут сможет развернуться.

— Вот за это люблю!..

— А в пятницу вернусь и прихвачу с собой намного больше людей и техники,— продолжал офицер.— Так что уноси отсюда ноги, Затко.

— А ты не бойся. Я у тебя твою технику не стану отнимать. На дьявола она мне?

Колонна начала пятиться, разворачиваться, а переругивание продолжалось, делаясь все крепче и сочней, и Затко похохатывал, хлопал себя по бедрам, оценивая по достоинству словесную изобретательность свою и противника.

Мак-Грегор сел на камень, перевел дух.

— Ну, повезло тебе сейчас,— сказал он Затко.

— А что?

— Ведь стоило ему подать немного назад, и он смог бы тебя запросто изрешетить.

— Да с какой ему стати? У нас сейчас с иракцами ссоры нет.

Шрамм стоя глядел, как колонна с рокотом уходит вниз по асфальтовой дороге.

— Почему они повернули вот так и ушли? Что он им сказал?

— Он указал им, что преимущество на нашей стороне,— пояснил Мак-Грегор.

— Оперетта, да и только,— засмеялся француз.

Засевшие по склонам курды карабкались уже вверх и тащили минометы, двуноги, стальные ящики с боеприпасами, смеясь как дети,— точно цирковой реквизит растаскивали.

— И вы всерьез рассчитываете из этих вот создать курдскую освободительную армию? — спросил Шрамм.

Мак-Грегор молчал, понимая, что спорить — выйдет только хуже. Слишком кидалась в глаза неприглядная правда. А кто и как растолкует Шрамму, чем курды дышат и чем живут?

Они вернулись к джипу, и Шрамм хлопнул Затко по плечу, как бьют поощрительно по плечу пьяного приятеля.

— За милую бы душу провел я полгода здесь у тебя, дружище,— сказал он.

— Чего это он? — спросил Затко Мак-Грегора.

— Говорит, что с радостью провел бы здесь у вас полгода.

— Милости просим,— сказал Затко. Они сели в машину, вернулись в деревню и стали ждать сумерек, когда с гор, из укрытия, возвратятся кази и Али.

Мак-Грегор не стал скрывать от кази того, что стычка не произвела на француза впечатления.

— Ясное дело — солдат,— сказал кази.— Смотрит на вещи по-военному.

Разговор происходил в комнатушке у кази. Две койки стояли у стен. Посреди, шипя, кидала с потолка белый свет калильная лампа. На койках друг против друга сидели кази и Али, и резкая светотень как бы вжимала их в стены.

— А жаль,— грустно заключил кази.

— Да так ли уж это важно? — спросил Али Мак-Грегора.

— Боюсь, что важно,— сказал Мак-Грегор.

Тоскливая убогость комнаты, лачуги, деревушки, недужный вой собаки где-то в горах, взмешанная горным ливнем грязь вокруг, густая тьма, черной тропической зарослью одевшая громаду плоскогорья,— все это налегло тяжестью на душу Мак-Грегору.

— Не удручайся,— сказал кази.— Ты сделал все что мог. Как бы то ни было, вот письма, я написал их тому, другому французу в Париже — Кюмону. Быть может, Кюмон поймет то, что невдомек этому солдату.

— И это все, пожалуй, на что мы можем еще рассчитывать, имея в виду французов,— проговорил Мак-Грегор.

— А как думаешь, стоит ли вообще нам продолжать с ними переговоры? — спросил кази, не выпуская писем из своих худых пальцев.

— Я сам задаю себе этот вопрос,— ответил Мак-Грегор.— Но не вижу выбора. Притом время уже на исходе. Французы в любом случае хотят к концу месяца избавиться от этого оружия. Кому уж оно тогда ни достанется, лишь бы вон его из Франции.

— Иными словами, оно достанется ильхану, если мы не сможем убедить французов?..

— Разумеется.

— Хорошо,— сказал кази.— Будем, пока можем, держаться французов.— И кази протянул Мак-Грегору оба письма. Одно подтверждало данные ему Комитетом полномочия. Другое же приветствовало перспективу торгового соглашения с французами и добрых отношений с ними на долгие годы.— Сделай с помощью этих бумаг что можешь.

— Беда, что дипломат из меня по-прежнему плохой,— сказал Мак-Грегор, принимая письма.— Я неважный ходатай за курдов просто потому, что не умею вести политический торг.

Кази мягко тронул Мак-Грегора за рукав.

— Что б ты ни сказал, они тебе поверят. Я убежден в этом.

Помолчали. Понимая, что пора идти, Мак-Грегор встал, но Али придержал его за руку.

— Главное, чтобы это оружие и боеприпасы не достались ильхану. Если ильхан получит хотя бы часть, мы окажемся отброшенными назад на годы и годы.

— Я понимаю,— сказал Мак-Грегор.

— Но не делай ничего опрометчивого, не подвергай ни себя, ни семью свою опасности,— сказал кази.— Прошу тебя.

Затко отпахнул снаружи ситцевый полог, встал в дверях:

— Француз собирается тайком уехать. Галу деньгами подкупает.

— Желаешь, чтобы мы задержали его? — обратился кази к Мак-Грегору.

— Нет, нет,— сказал Мак-Грегор.— Я все равно на него повлиять не могу, так что удерживать незачем.

— Если пустим его с Галой,— возразил Затко, отнюдь не желавший, видимо, выпускать француза из рук,— то на чем же ты сам выберешься отсюда?

— Не знаю,— ответил Мак-Грегор.— Но мне лучше возвращаться не в компании со Шраммом. Я, собственно, надеялся, что вы меня доставите в Иран, к пограничному городку Карабасу. Оттуда уж я доберусь автобусом до Тегерана.

— Ладно,— сказал Затко.— Тогда, как только француз уедет, тронемся и мы с тобой.

Мак-Грегор попрощался с Али, затем кази ласково обнял его.

— Если услышишь, что на нас нападение,— сказал он,— что нас убили или что ильхан пришел с иностранцами к соглашению, все равно продолжай делать то, что считаешь, что находишь нужным. Твердо продолжай говорить и действовать от нашего имени, пока не кончится все это дело.

— Разумеется,— сказал Мак-Грегор.

Уходя, он видел, как кази достает из-под койки пластмассовый таз, чтобы промыть рану на шее. Там, под койкой, хранились у него книги, фибровый чемодан и бережно сложенное зеленое знамя революции 1946 года.

Часть IV

Глава двадцать девятая

Сеси вела «ситроен», а Мак-Грегор глядел, как влажный английский ландшафт скользит, утекает на обе стороны к расплывчатым английским горизонтам. Колени и локти Сеси работали вовсю и внушали Мак-Грегору доверие, хотя руль у французских машин и расположен слева, неудобно для левостороннего движения. И Мак-Грегор спокойно любовался английской весной, повсюду подступавшей к обочине дороги. Садики лондонских окраин пестрели камелиями, ломоносом, форзициями. Проехали Рочестер, и зарозовел яблоневый цвет. А затем замелькали мокрые от дождя ягнята и низко летящие вороны.

— Я забыла купить еще одну канистру бензина,— сказала Сеси.— А во Франции ни одна бензоколонка не работает. Надо будет в Дувре не забыть.

Франция была охвачена всеобщей забастовкой. Мак-Грегора встречала вздыбившаяся страна. По словам английской прессы, все в ней полностью разладилось. В Париже хозяйничают студенты. Все застопорилось, в стране не покупают и не продают, не получают и не производят. Даже реактивному лайнеру, мчавшему Мак-Грегора в Париж, пришлось приземлиться в Лондоне. И там, в доме на Бэттерси, оказалась не Кэти, а Сеси, смотревшая по телевизору, как горит Париж. Кэти объяснила Мак-Грегору по телефону из Парижа, что она вернулась туда присмотреть за детьми, а отослала затем Сеси в Лондон потому, что слишком бурными были уличные стычки с полицией, сама же осталась в Париже с Эндрью и тетей Джосс. Когда Мак-Грегор сообщил ей, что привезет с собой в Париж и Сеси, то Кэти, сверх ожидания, не стала возражать, сказала только:

— Что ж, привози. Так или иначе, она не собирается сидеть покорно и все равно вернется.

Сеси, слушавшая разговор по второй телефонной трубке, подтвердила:

— Мама совершенно права. Я и дня не собиралась дольше оставаться в Лондоне. Вот клянусь тебе.

— Ты хоть матери не говори этого,— сказал отец.— Я ведь беру тебя, и вопрос исчерпан. Не раздражай ее.

— Ее теперь все раздражает,— сказала Сеси.

Паром, перевозивший их с машиной через Ла-Манш, был пуст: никто не рисковал ехать во Францию. Сеси указала отцу на заголовок в «Ивнинг стандард»: «Возможна отставка де Голля еще до плебисцита».

— До какого плебисцита? — спросил Мак-Грегор.

— Что-то там за или против конституции. Теперь каждый день на улицах сражения.

Дороги Франции опустели настолько, что Сеси вела свой старенький «ситроен» прямо по средней черте автострады с семидесятимильной скоростью и не сбавляла ее, даже проезжая через притихшие селения. Париж был весь в обломках баррикад, в обгорелых киосках, в неубранном мусоре, в поваленных деревьях, в целых сугробах грязных газет и картонок.

Ворота открыла им Кэти.

— Где вы пропадали? — тревожно спросила она.— Я вас жду уже несколько часов.

— Паром опоздал, а потом мы в Булонском лесу плутали,— сказал Мак-Грегор, распахивая вторую створку ворот и пропуская Сеси в «ситроене».

— А зачем было делать крюк через Булонский?

— Мы не рискнули ехать центром,— сказал Мак-Грегор.

Кэти кратко поцеловала его в щеку, он запер ворота. Подымаясь по наружной лестнице, спросил Кэти:

— Ну, как ты тут?

— Все в порядке.

— Я о здоровье твоем...

— Я совершенно здорова,— ответила Кэти, и он неловко замолчал.

Умывшись и садясь за ужин, который Кэти держала для них разогретым, Мак-Грегор спросил, где Эндрью.

— Я послала его проводить Жизи Маргоз и побыть у нее — она

там одна с прислугой. Прошлой ночью у нее в доме разбили все окна фасада. Муж ее теперь в Риме, пережидает события.

Поужинали молча, затем Сеси ушла спать, и они без слов посидели друг против друга за ореховым столом, чувствуя, что сейчас не время и не место выяснять отношения после десятидневной разлуки.

— Почему ты не телеграфировал мне из Тегерана? — спросила Кэти.

— Хотел, чтобы в Иране поменьше знали о моем присутствии... Необходимо было, чтобы мой приезд туда и отъезд прошел как можно незаметнее.

— Виделся ты с Джамалем Джанабом в ИННК?

— Нет, я не заходил к ним.

— А дома у нас ты был?

Мак-Грегор молча качнул головой.

— А знали персы, что ты в курдских районах?

— Не думаю. Я в основном автобусами добирался.

Он чувствовал: ей хочется узнать, с чем он вернулся от курдов, и ждал напряженно. И вот наконец тревога пересилила в Кэти сдержанность.

— Они и теперь рассчитывают на тебя, не правда ли? — произнесла она.— И даже больше прежнего. Опять они тебя опутали, не так ли?

— Это все ненадолго,— сказал он.

Кэти сидела прямо, чуть подав подбородок вперед, и в этой осанке ее так и сквозила врожденная властность и сила духа.

— Итак, ты намерен и дальше упорно вести свою линию, не считаясь ни с чем? — сказала Кэти.

— Разумеется.

Ему хотелось спросить, чем занята была она эти десять дней. Но он промолчал, сознавая, что готов принять все, почти все на свете, даже Ги Мозеля, лишь бы Кэти сохраняла спокойствие и здравомыслие, пока он не выполнит порученного дела.

— Спать иду,— сказала Кэти.

— Я подожду Эндрью,— сказал он и остался в столовой; он был так измотан, что уснул, сидя в старом кожаном кресле.

Через полчаса его, мягко потормошив, разбудил Эндрью:

— Ты бы лег в постель.

— Я тебя ждал: хотел услышать, что тут происходит,— сказал Мак-Грегор вставая.

— В данный момент происходят, видимо, две вещи одновременно и порознь,— сказал Эндрью.— Что касается студентов — происходит фантастическая революция; что же касается профсоюзов и всех прочих — всеобщая забастовка.

— А разве это не две составные части одного и того же?

— Внешне как будто составные, и так все это и трактуют. Но по сути дела они совершенно раздельны.

— И что же последует дальше? — спросил Мак-Грегор, гася свет.

— Понятия не имею. Да и никто не знает... Кстати, говорила тебе мама? Мы прочли в «Монд», что в кази опять стреляли. Как раз когда ты был там в горах.

— Нет, мама не говорила.

— Она места себе не находила от тревоги.

Они стояли на лестничной площадке и переговаривались вполголоса. Вспомнив, что Эндрью вернулся сейчас от Жизи Маргоз, Мак-Грегор спросил сына, как она там поживает.

— Весь вечер просидела в кухне,— ответил Эндрью.— Прислугу всю отпустила, и мы до ночи проговорили об Иране, курдах и о тебе. Из всего населения Франции, наверное, у нас одних разговор шел

не о положении в стране. Я подумал, она не ложится из-за разбитых окон. Стал убеждать ее не тревожиться, идти спать. А она в ответ сказала, что ей безразлично, пусть хоть весь дом разбивают. Тут мама позвонила, спросила, не страшно ли ей будет без меня. Жизи ответила, что нет! Встала, свела меня вниз и отослала домой.

— Она была нагримирована?

— Нет. По-моему, нет. А что?

— Так, ничего,— сказал Мак-Грегор и ушел в спальню.

Глава тридцатая

Утром его поразил вид Парижа. Париж напоминал осажденный город военной поры. Магазины заперты, автобусы не ходят, метро не работает, и у входов в метро, у почтовых отделений, в воротах, в подъездах, даже на немытых ступенях магазина «Сто тысяч сорочек» стоят пикеты. Красные флаги развешены на балконах, домах, на деревьях, свисают на автостоянках со штанг, согнутых как сломанные лилии.

Бульварами и безмолвными набережными Мак-Грегор дошел до министерства внутренних дел. Предварительно он позвонил туда и хотя не дозвонился до Кюмона, но был тем не менее приглашен явиться. И у въезда и во дворе расставлены были солдаты-автоматчики; Мак-Грегор смог пройти в здание, лишь предъявив свой паспорт. Там его провели не наверх, в кабинет Кюмона, а в затхлую канцелярскую комнатку, в каких сидят и дожидаются просители во всех французских министерствах.

— Присаживайтесь,— сказал француз за канцелярским столом, взглянув на Мак-Грегора и усиленно опять залистав бумаги.— Мосье Кюмона нет, мосье Кюмон отсутствует. Быть может, помочь вам смогу я. Моя фамилия — Форэ.

— Дело со мной ведет мосье Кюмон,— сказал Мак-Грегор.— Скоро ли он вернется?

— Затрудняюсь вам сказать. Но у меня здесь вся информация,— коснулся француз пальцами папки.— Я в курсе вашего с ним дела.

Мак-Грегор бросил взгляд на папку, сказал:

— Не думаю, чтобы я мог обсуждать вопрос с кем-либо, кроме мосье Кюмона.

— Уверяю вас,— сказал француз,— что я совершенно компетентен и в курсе вашего дела, связанного с Курдистаном. Оно все здесь,— постучал Форэ по папке, и Мак-Грегор подумал, что в вопросе постукивания пальцами господин Форэ бесспорно компетентен.

— Дело весьма сложное. Обсудить его я могу лишь с самим мосье Кюмоном,— сказал Мак-Грегор. Он тотчас разгадал эту канцелярскую уловку. Он вспомнил, как двадцать три года тому назад наставлял его в Москве лорд Эссекс: «Если какой-либо дурак из министерства захочет умалить ваше значение, переадресовав вас подчиненному, то не обсуждайте дела — тут же откланивайтесь».

— Это неосуществимо теперь,— сказал Форэ.

Мак-Грегор встал.

— В таком случае говорить больше не о чем.

Форэ раскрыл папку, чтобы удержать Мак-Грегора.

— Мне поручено...— начал Форэ.

Но Мак-Грегор прервал его:

— Нет. Au revoir, мосье Форэ.

— Минуточку.— Встав из-за своего стола, Форэ поспешил к Мак-Грегору.— К сожалению, мосье Кюмона нет сейчас. Я собирался ин-

формировать вас, собственно, о том, что он, возможно, и вовсе не сможет увидеться с вами.

— Я был бы крайне огорчен подобной информацией,— взвешивая слова, отвечал Мак-Грегор.— Вот все, что могу сказать.

— Но минуточку,— не отставал Форэ.— Вы ведь понимаете, мосье Мак-Грегор, что в настоящий момент во Франции все, так сказать, набекрень.

— Понимаю.

— Всех нас теперь обременяют другие трудные проблемы. Через несколько дней, когда эта сумятица придет к своему разрешению...

— Тогда, возможно, будет уже поздно,— возразил Мак-Грегор.— Мосье Кюмон сам указал предельный срок. Конец месяца.

— Да, я знаю.— Форэ помялся.— Я посмотрю завтра, что можно сделать. Но ничего не обещаю.

Мак-Грегор поблагодарил, обменялся с Форэ рукопожатием и быстро вышел, чувствуя, что еще минута — и прорвется из-под любезных фраз досада, а обнаруживать свою досаду было бы ошибкой.

Но на улице досада овладела им вполне — было ясно, что Франции теперь не до курдской проблемы, слишком занята страна своими собственными проблемами. Это явствовало из лозунгов вокруг. Transparence, opacité, étouffement [1] — мелькали слова из лексикона свободы. Минуя Сольферино, он увидел, как студент с парусиновой сумкой, полной аэрозольных баллончиков с краской, дописывает на стене станции метро: «Un seul privilège — celui du travail. Une seule aristocratie — celle de l'intelligence et du courage» [2]. Распыляемая краска кончилась, парень достал из мешка новый баллончик, но тут на него накинулся испитого вида старичок француз с пластиковой кошелкой в руках. На ногах у старичка были холщовые домашние туфли, брюки пузырились на коленках. Старичок стал вырывать у студента краску, сердито крича: «Иезуит!» Студент продолжал писать. Старик хотел размазать лозунг рукавом, но краска уже высохла.

— Это скандал! — выкрикивал он, отталкивая студента.— Зверинец настоящий!

Явно опасаясь ушибить старика, парень подхватил свою сумку и ушел, бросив весело через плечо:

— Не сердись, старина. Для тебя же это все делается. Не понимаешь ты.

Старик попытался размазать буквы с помощью кошелки, но опять попытка не удалась, и, взбешенный, он закричал вслед студенту:

— Все вы ошалели от слов, а слова-то пустые. Сказать-то вам нечего!..

Мак-Грегор не знал, чью ему взять сторону — старика или студента. На всех перекрестках французы препирались о Франции. Мак-Грегор прошел мимо Высшего архитектурного училища; его новый, светлого камня фасад был перекрашен студентами — разделан под красный кирпич — в насмешку над училищным буржуазным формализмом, и стоявший у ворот студент-пикетчик в помятом цилиндре с кокардой иронически подмигнул Мак-Грегору: «Питер О'Тул!» Это определенно к чему-то относилось, но к чему, Мак-Грегору было неясно. Он не понимал этих летучих обрывков, которые у всех тут были сейчас на уме. Он знал только, что никто во Франции не может сказать теперь от имени Франции даже несколько необходимых курдам слов. В данный момент Франции вообще не было.

---

[1] Ясность, косность, застой *(франц.)*.

[2] Единственная привилегия — привилегия труда. Единственная аристократия — аристократия ума и отваги *(франц.)*.

Зато был Ги Мозель — сидел в кожаном кресле в столовой у тети Джосс и читал «Монд». Он пожал руку Мак-Грегору и снова сел, а Кэти поспешила сказать, что Ги заехал к ленчу.

— Шрамм вам расстроил дело,— сказал Мозель.— Жаль, жаль.

— И поэтому, значит, Кюмон не захотел со мной встретиться? — спросил Мак-Грегор, беря из рук Кэти рюмку аперитива.

— Я виделся вчера с Кюмоном,— сказал Мозель,— и он мне сообщил, что, по словам Шрамма, Комитет ваш разбит в прах и вряд ли сможет уже подняться. Так что, считает Кюмон, сейчас нет больше смысла связывать себя с ним обязательствами.

Сели за ленч, состоявший из холодного мяса, салата, бокала вина (Мозель омочил в вине губы, поставил бокал и больше к нему не прикасался), и Мак-Грегор сказал Мозелю:

— Шрамм не способен понять положение дел в Курдистане. Он оценил все по чисто внешним признакам.

— Вот вы и убедите в этом Кюмона.

— Как я могу убедить Кюмона через посредство его писарей?

— Понимаю,— сказал Мозель и стал расспрашивать о Комитете и о том, в самом ли деле Комитет так разобщен и обессилен, как полагает Шрамм.— Если, по-вашему, это может принести пользу,— заключил Мозель,— то я устрою вам новую встречу с Кюмоном.

Мак-Грегор покосился на Кэти, но та не подымала глаз, бесшумно хозяйничала: разливала кофе, пододвигала сахар, меняла тарелки ему и Мозелю, ловко оставляя «ничейное» пространство между ними на столе. И все это молча, как бы предоставляя им самим решать проблему своих странных взаимоотношений.

— Разумеется, помощь была бы кстати,— проговорил Мак-Грегор.

— Тогда я договорюсь и позвоню Кэти,— сказал Мозель. Кэти вышла, оставив их вдвоем.— Но что, если вам все же не удастся заполучить те вагоны?

— Тогда их взорвут,— сказал Мак-Грегор.

— Это будет глупо,— сказал Мозель поморщившись.

— Не спорю. Но глупа сама ситуация.

— Если вы способны повлиять на этих глупцов, то скажите им, пусть подождут. В министерстве по-прежнему еще сильна фракция, которая охотно передала бы это оружие вашему Комитету. Если вам удастся сдвинуть Кюмона с мертвой точки, убедить его в том, что Шрамм неправ, то вы еще, возможно, добьетесь успеха.

Вернулась Кэти — уже в плаще.

— Я в «Одеон» собралась,— сказала она Мозелю.— Уж очень завлекательную вы, Эндрью и все прочие нарисовали мне картину того, что там происходит.

— Я подвезу вас,— сказал Мозель вставая.

— И я с вами,— сказал Мак-Грегор и вышел следом, надев в холле свой плащ.— Собственно, мы с Кэти можем и пешком,— сказал он Мозелю на лестнице.— Это ведь недалеко.

Вышли из ворот, Мозель сел в свой малолитражный и малоприметный «рено» и уехал, а Мак-Грегор с Кэти молча пошли по Барбе-де-Жуи под мелким дождиком.

— Куда теперь нам повернуть? — спросил Мак-Грегор.

— Я думала, ты знаешь дорогу.

— «Одеон» — это за Сен-Жермен-де-Пре,— сказал Мак-Грегор, пряча руки в карманы дождевика.

— Так далеко? У меня нет желания промокнуть дорогой,— сказала Кэти останавливаясь.

— Но такси сейчас не найти.

— Тем более следовало ехать с Ги. Зачем тебе понадобилось идти пешком?

Мак-Грегор почувствовал, что вот и приходит конец безопасному холодку отношений.

— Ах, да идем же,— проговорила Кэти раздраженно.— Ты явно решил прочесть мне нотацию. Итак, приступай.

Мак-Грегор поравнялся с Кэти.

— Темой нотации будет, конечно, Ги Мозель,— продолжала она.— Он как терновый венец у тебя на челе. Но настоящей ссоры ты не хочешь, не правда ли? Хочешь лишь вызвать меня на откровенность. Чтобы я сама тебе все на ладони поднесла.

— Что ж,— сказал Мак-Грегор.— Лучше откровенность, чем теперешние наши отношения.

— И одного себя вини. Если я стала равнодушна к твоим проблемам, то из-за тебя же самого. Меня упрекать нечего.

Они шли рядом, застегнувшись наглухо в свои плащи и стараясь не сталкиваться, не касаться друг друга.

— Я предупреждала тебя, что если опять поедешь в Иран, то я не отвечаю за последствия.

— И как это расшифровать?

— Тебе моя расшифровка нужна? Ты хочешь разъяснения?

— Хочу,— сказал он.— Говори.

— Но глупо ведь. Лучше уж не касаться.

— Тогда зачем эти твои вызывающие слова?

— Я хочу встряской, шоком разбить твое упрямство.

Они обошли группу студентов, под черным анархистским флагом шагавших кто по панели, кто по газону бульвара.

— Да, для меня это шок,— проговорил Мак-Грегор.— Но зачем ты так, я все же не пойму.

— Затем, что ты похож на глупого пса миссис Фавзи.— (Миссис Фавзи была их тегеранская соседка; пса ее, если уж вцепился во что, не принудишь разжать челюсти, сколько ни бей, ни пинай и ни окатывай водой.)— Я, видно, так и не заставлю тебя бросить этот курдский безнадежный кавардак. А ты и не знаешь всей его безнадежности.

«Должно быть, Мозель рассказал Кэти что-то сверх того, что сообщил мне»,— подумал Мак-Грегор.

— Бросить я не могу, Кэти,— сказал он.— Нельзя еще пока.

— Айвор, я пытаюсь открыть тебе глаза на цену, которую ты платишь за свое упрямство. Опомнись...

— Но я ведь сказал тебе, что кончу дело и останусь в Европе навсегда. Почему тебе этого мало? Для чего настаивать на том, чтобы я скомкал, бросил все теперь, когда идет уже к концу? Две-три недели еще...

— Ты прекрасно знаешь, что между нами встало не одно лишь это.

— Знаю. Но ведь я уже согласился остаться в Европе. Чего же еще от меня нужно?

— Нужно, чтобы ты постарался меня понять.

— Но я понимаю.

— Нет, не понимаешь.

Они прошли мимо «Двух обезьян», где, густо обсев столики, люди тратят массу денег и энергии, доказывая этим свою значимость.

— И если для того, чтобы вывести тебя из смехотворного повиновения курдам, требуется, чтобы я спала с Ги Мозелем, то я буду с ним спать.

— Ну, ты попросту губишь все,— сердито сказал Мак-Грегор.

— Да, гублю. А чем тебя иным пронять?

— Но какой бес тебя толкает? Чего ты от меня хочешь, Кэти? Чего?

— Лишь одного,— ответила она.— Хочу, чтобы ты снова стал тем, кем был когда-то: просто человеком, индивидуумом, личностью. Тогда и я снова стану, какой была.

— Ох, мутит меня от этих индивидуумов. Я никогда не стану здешним.— Взмахом руки указал он на город.

— Очень жаль,— сказала Кэти сухо. Они взошли по ступеням под колоннаду театра «Одеон». При входе их остановила девушка с «конским хвостом» и с красной нарукавной повязкой.

— Если вы из числа зевак-иностранцев,— сказала девушка,— то советую не вмешиваться в споры. Даже Саган на днях освистали. Глазейте и помалкивайте.

И вслед за Кэти Мак-Грегор вошел в этот красивый красно-плюшевый старый театр, который Жан-Луи Барро передал теперь студентам в пользование. Красные ковры «Одеона» были усеяны мусором. В поисках места, где встать, они прошли по круговому коридору за ложами, втиснулись в одну из них и из глубины ее стали глядеть вниз, на битком набитый, тускло освещенный амфитеатр.

Сцена была наглухо закрыта пожарным занавесом, и поперек шла матерчатая полоса с надписью: «Бывший «Одеон» — ныне «Свободная трибуна». Трибуны как таковой не было, прения о революции велись прямо из партера и со всех ярусов. Спорщица кричала: «Остерегайтесь провокаций!» — другая откликалась среди свиста: «Все равно они нас пулеметами, если что. Я знаю. Я с матрацной фабрики». В переднем ряду Мак-Грегор увидел Сеси, она сидела рядом с Тахой и то и дело кричала: «Правильно!», «Нет, неверно!» Мак-Грегор указал на нее Кэти.

— Вижу,— сказала Кэти.— Я ее сразу заметила.

Но где же Эндрью? Поискав глазами, Мак-Грегор обнаружил и сына. Эндрью сидел, облокотясь о сцену и другой рукой непринужденно обняв за плечо девушку, а та нежно к нему прислонялась и слегка подергивала за волосы сзади.

— Вы не курили бы,— сказала бородатому тридцатилетнему студенту, дымившему в ложе трубкой, его соседка.— Еще пожар наделаете.

— Interdit d'interdire («Запрещать запрещается»)! — ответил бородач.

Простояв с полчаса тут в тесноте, Мак-Грегор потерял уже нить словопрений, потому что с каждой сменой оратора менялась и трактовка революции. Но Кэти внимательно вслушивалась. Наконец она пожаловалась, что устала стоять, и через запасный выход они выбрались на улицу.

— Придется тебе хоть на этот раз побеспокоиться о Сеси,— сказала Кэти.— Таха непременно ее впутает.

— Да нет же, Кэти.

— Не возражай. Таха — рьяный заговорщик. Он не колеблясь использует Сеси, он кого угодно рад использовать. А Сеси все еще неравнодушна к нему.

— Она уже излечилась от прошлогодней блажи,— сказал Мак-Грегор, идя машинально к улице Мабийона по бульвару Сен-Жермен. Весь город, казалось Мак-Грегору, был насыщен враждой и раздором, и не хотелось глядеть по сторонам.

— Излечилась, по-твоему? Не знаешь ты их. Разве понять тебе,

какая мучительная чушь владеет умом и душой восемнадцатилетней девушки? Особенно такой, как Сеси.

— Я сам попросил ее разыскать Таху — мне нужно повидаться с ним. Вот и вся подоплека их встречи.

— Боже, боже,— вздохнула Кэти.— Завидую я твоей слепой и безграничной вере.

Они повернули на кривую улочку — Ренн; Кэти замолчала, но он знал, что ему дана лишь краткая передышка. Дождь кончился, было уже шесть вечера, и опустевшие улицы оживились: в этот час зрители «свободных трибун» шли домой досматривать события по телевизору.

— Ты и не спросишь, изменила я тебе или не изменила,— сказала Кэти вдруг.

— Эти слова напрасны, Кэти. Все равно ты меня ими не раскипятишь.

— А ты бы спросил,— настаивала Кэти.— Ты спроси.

— Если изменила — все равно не скажешь. Для чего и спрашивать.

— И это вся твоя гневная реакция?

— «Пусть каждую ночь проводишь ты на ложе с любимой,— процитировал Мак-Грегор по-персидски,— но если она замыкает свой сад от тебя, то неминуемо роза увянет и от страсти останутся лишь черепки, как от разбитого кувшина».

— Как можешь ты говорить мне эти страшные слова?

— Однако в них правда. Ведь ты теперь не желаешь, даже чтобы я коснулся тебя.

— Что ты можешь знать о моих желаниях? Ты и не заговариваешь больше со мной об этом.

— А лишь заговорю, ты меня тут же уничтожаешь насмешкой. И если бывает редкий миг, когда ты не прочь от ласки, то и ласка ведь уже не помогает.

— Черт возьми!..— сказала Кэти.— Прямо не верится. После двадцати трех лет супружества у моего стеснительного мужа наконец-то развязался язык. Я делаю немалые успехи!

— Что верно, то верно.

— Поймешь ли ты когда-нибудь, что я не могу иначе,— сказала она, и в голосе ее послышались слезы.— Я прямо всей кожей ненавижу тебя иногда. Это ты... из-за тебя...

— Я понимаю все. И сожалею,— сказал Мак-Грегор.— Но зачем ты колешь меня, дразнишь всякими Ги Мозелями?

— Затем, что есть срок и предел всему, даже супружеству. И ты заходишь за этот предел. Я хочу, чтобы ты осознал это. Пойми же наконец.

Они подошли уже почти к дому, и у ворот спор полагалось прекратить — по издавна укоренившейся привычке прятать ссору от детей и от прислуги-персиянки.

— Пойми, что ты нуждаешься в помощи, во встряске,— сказала Кэти.— И до тех пор пока ты не вспомнишь о себе, я так и буду злить тебя и выводить из равновесия. Со мной ли, без меня ли, но ты нуждаешься в помощи...

— Не в этом смысле.

— И даже в сексуальном смысле не нуждаешься?

— Я полностью нормален.

— Значит, во всем я виновата.

— Да, Кэти. Ты хочешь того, чего я не могу тебе дать. И не смогу, пока ты такая.

Входя в ворота, она проговорила сквозь опять подступившие слезы:

— Ненавижу это холодное, скрытное, странное, упрямое твое нутро. Ненавижу просто... Ненавижу...

Глава тридцать первая

Под гул обуревавших Францию раздоров Кюмон встретился с Мак-Грегором на Пийе-Виле, в одной из богатых и стерильных комнат банкирской конторы Мозеля. Кюмон извинился, что не смог тогда принять Мак-Грегора в министерстве.

— Но ситуация успела уже сильно измениться со времени нашей последней встречи,— сказал Кюмон.

— Поэтому я и хотел, чтобы вы меня выслушали,— ответил Мак-Грегор.

— Я уже говорил со Шраммом. Так что теперь я осведомлен гораздо полнее, чем прежде. Шрамм убежден, что ваш курдский Комитет не представляет собой реальной силы.

— Сведения Шрамма могут быть ошибочны.

— Натурально, могут,— согласился Кюмон.

— У Шрамма не было возможности судить, является ли Комитет реальной силой в Курдистане. Он видел вещи лишь с точки зрения солдата, и к тому же при крайне тяжело сложившихся обстоятельствах.

Мак-Грегор был разгорячен, Кюмон же потягивал апельсиновый сок, по-стариковски терпеливо обводя взглядом стену, стол, бокал с соком, свои изящные желтые пальцы.

— Я знаю, что Шрамм судит с военной точки зрения,— сказал Кюмон.— Но именно эта его точка зрения и важна теперь, поскольку дает единственный эффективный критерий для оценки перспективности вашего Комитета.

Мак-Грегор понимал, что не способен втолковать Кюмону разумность и справедливость курдского дела, потому что не знает, какие доводы по-настоящему весомы для европейца.

— Прошу учесть,— сказал Мак-Грегор,— что решение, которое вы примете сейчас, на долгие годы запомнится в Курдистане.

— Натурально,— сказал Кюмон.— Но Франция никак не может связывать себя обязательствами по отношению к тому, что проявит себя, возможно, лишь через десятки лет.

— Почему же не может?

— Потому что это неделовой подход. К тому же...— Кюмон встал, подошел к столику у окна, налил соку из кувшина и вернулся.— Здесь наличествуют и другие конкурирующие стороны, и Франция их игнорировать не может. Обращаю на это ваше внимание.

— Какие стороны вы имеете в виду?

— Нам теперь яснее обрисовалась сила того контроля и влияния, каким американцы и британцы еще обладают в данном районе даже среди самих курдов.

— Вы говорите об ильхане?

— Я говорю о том, что Франция при данных обстоятельствах не смогла бы одна пойти далеко. Риск превышал бы результаты.

У Мак-Грегора вырвался персидский жест досады.

— Думаю, вас вряд ли заинтересует аспект справедливости курдского дела,— сказал он.

— Он мог бы заинтересовать меня,— мягко ответил Кюмон.— Но справедливость, увы, плохой аргумент в международной политике. Я думал, вам это известно.

— Хорошо,— сказал Мак-Грегор.— Займемся другим аспектом. В Марселе у вас находится это оружие. Оно в ваших руках. Если вы допустите, чтобы оно досталось ильхану, Комитет навсегда заклеймит Францию как государство, вооружившее вражескую группировку.

— Оружие лишь проследует через Францию,— возразил Кюмон.— Не более того.

— Вот вы и конфискуйте его или уничтожьте,— предложил Мак-Грегор, ощутив вдруг, что такого рода торг звучит вполне уместно и естественно в этой голубовато освещенной банкирской комнатке.

— Для подобных действий у меня нет никаких законных прав,— сказал Кюмон.

— Как видно, у всех и для всего тут есть законные права, у одних лишь курдов нет их,— сказал Мак-Грегор.— Европейское безумие какое-то...

— Единственные права, принимаемые здесь мной во внимание,— это права Франции.

Мак-Грегор встал.

— В таком случае курдам остается лишь по-своему распорядиться этими вагонами.

— Позвольте мне ваши слова оставить без ответа.

— Как вам угодно.

— Я крайне сожалею, мосье Мак-Грегор,— сказал Кюмон.— Непритворно сожалею. Но мы не можем идти на такой риск наперекор гораздо более сильным интересам других сторон, более свободных в своих действиях.

— Прощайте,— сказал Мак-Грегор.

— Не торопитесь,— сказал Кюмон.— Остался еще способ помочь делу.

Твердо взяв Мак-Грегора за локоть, он провел его через устланную толстыми коврами небольшую комнату заседаний правления мозелевского банка в примыкавшую к ней небольшую же гостиную. Она предназначалась для отдыха в перерывах между заседаниями; в ней стояли кушетки, глубокие кресла и стеклянные столики с напитками, кофе и фруктами. Мак-Грегор увидел там прежде всего Ги Мозеля, поднявшегося и идущего ему навстречу. А затем увидел лорда Эссекса. Эссекс сидел на солнце у окна, откинув голову, точно загорая на взморье. По соседству с ним американец Кэспиан погрузился чуть ли не до пола в кресло; на коленях у Кэспиана была разостлана карта. Кэспиан поднял от карты глаза, подмигнул Мак-Грегору. Слегка на отлете, в позе готовых к услугам экспертов, сидели два незнакомых Мак-Грегору человека, положив перед собой на кофейный столик папки.

— Не вышло дело? — справился полушепотом Мозель и сочувственно пожал плечами.— Ну, не беда. Быть может, наша альтернатива лучше.

Эссекс приветствовал Мак-Грегора вяло поднятой рукой, и Кэспиан не без иронии скопировал Эссекса — тоже лениво поднял свои сытые пальцы.

— Это мингер ван Клоп и герр Дойтлер.— представил Мозель незнакомцев.— Они из фондового секретариата Международного банка.

Мак-Грегора усадили в красное кожаное кресло у стеклянного длинного столика — под молчаливые взгляды присутствующих. Перед ними стояли уже бокалы с «Мартини»; Мозель подал и Мак-Грегору запотевший холодный бокал. Помолчали; Кэспиан посвистал в назидание Мак-Грегору персидскую песенку: «Стужа в горах, и голодные волки глядят на меня ледяными глазами...»

— Полагаю,— начал Эссекс,— что нам с вами, Мак-Грегор, разумнее всего будет приступить к делу без обиняков. Итак, мы желаем знать, обладаете ли вы по-прежнему полномочиями от курдского Комитета. Вправе ли вы говорить от его имени?

— Разумеется.

— Чем вы можете подтвердить это право?

— Письмом-аккредитацией от кази, если вам угодно.

— Написанном на персидском языке?

— Нет. На французском.

— Да побоку все эти мелочи, Гарольд,— проговорил Кэспиан.— Могу лично поручиться вам за подлинность полномочий Мак-Грегора. Переходите к сути дела.

— Отлично, идем дальше,— сказал Эссекс.— Нам всем известна, Мак-Грегор, нынешняя обстановка в горах, и мы здесь разработали начерно план некой первичной федерации для курдов...

— Разработали план?..

— Да. И если вы согласны будете повезти нашу идею своим друзьям, и если они примут ее в принципе, то мы будем готовы организовать существенную финансовую помощь и инвестиции в качестве составной части соглашения.

— А конкретно — чей это план? — спросил Мак-Грегор и обвел взглядом гостиную.

Шестеро сидевших в ней молчали, как бы уступая друг другу право ответа.

— Вы ведь шотландец-кашеед,— произнес Кэспиан.— Вам известно, как такую кашу варят.

— Кэспиан несколько утрирует,— сказал Эссекс.— Мы все здесь являемся заинтересованными сторонами.

— А где иранцы и турки? Я их не вижу.

— Они согласятся со всем, нами здесь предложенным,— сказал Эссекс.

— И что же вы предлагаете?

— План весьма прост,— сказал Эссекс.— Он предусматривает учреждение вашим курдским Комитетом этакой не жесткой федерации, которая охватила бы всех или большинство курдов в Ираке, Иране и, возможно, Турции. Конечно, как всегда, непросто будет решить, откуда должна управляться такая своеобычная федерация, но мы думаем, что организационным и административным центром ее мог бы явиться какой-либо курдский город в Иране. Прошу дослушать... — (Мак-Грегор открыл было рот для вопроса.)— Нам мыслится договоренность, которая позволит курдам иметь двойной статус...

— Напрасный это разговор,— сказал Мак-Грегор.

— С одной стороны,— продолжал Эссекс,— все курды останутся на положении меньшинств в государствах, чьими подданными они ныне являются; курды будут и далее соблюдать законы и установления этих государств. Но в то же время они получат свой собственный независимый центр, который сможет ведать экономическими и политическими проблемами и говорить от имени всех курдов. И вот тут-то мы и могли бы оказать весьма значительную помощь, как техническую, так и финансовую.

— Вы хотите, чтобы это предложение я повез Комитету?

— Говоря по существу, да.

— Я прибыл в Европу прежде всего для розыска украденных у курдов денег. С этого предмета нам и следовало бы начать.

Эссекс взглянул на Мозеля, затем на Кэспиана.

— Предмет бесплодный, Мак-Грегор. Говорить не о чем.

— Тогда оставим его,— продолжал решительно Мак-Грегор,— и поговорим о двух вагонах с оружием, оплаченным этими деньгами.

— И этот предмет бесплоден,— сказал Эссекс.

— В таком случае бесплоден и ваш план так называемой «федерации». К тому же курды уже сто раз слышали все это.

— Погодите-ка,— остановил Кэспиан собравшегося отвечать Эссекса.— Кого мы тут морочим, Гарольд? Правда заключается, Мак-Грегор, в том, что свинские, как эта, ситуации требуют свинских решений. Оружие достанется старому ильхану, потому что все здесь хотят этого. И чем пытаться шантажировать вас лживыми посулами, не лучше ли дать вам взглянуть в лицо правде.

И, вместе с благодарностью к Кэспиану, Мак-Грегор почувствовал, что вот и наступил конец целой эпохе в его жизни.

— Это все, что я хотел знать,— сказал он Кэспиану.— Так что, думаю, тема разговора исчерпана.

— Ну, ну, не ударяйтесь в обиду,— сказал Кэспиан дружеским тоном.— Поразмыслите над нашим предложением. При всей своей грубости и компромиссности оно более чем возместит вам эту горстку доставшихся ильхану скобяных изделий.

— Возможно. Но оно не отвечает чаяниям курдов.

— Согласен, высоким здесь не пахнет,— сказал Кэспиан.— Но, по крайней мере, мы предлагаем обделать дело с вашим Комитетом, если он согласится делать дело с нами. Это не так уж плохо, Мак-Грегор. Совсем не так уж плохо.

— На кази это не произведет впечатления,— возразил Мак-Грегор.

— Но почему же?

— Потому что вы предлагаете всего лишь «сайгонское» решение проблемы.

— Но погодите,— воззвал Кэспиан к здравому смыслу Мак-Грегора.— Вы сами видите какую-либо иную альтернативу для курдов? Спросите-ка самого себя честно.

— Не знаю... Но никакой курд не сочтет себя независимым, если над ним будет ваша направляющая рука, если ему и впредь придется подчиняться турецким или иранским законам, всегда подавлявшим его. Курды и слушать не станут таких предложений, и вы это знаете.

— О'кей. Пусть это не бог весть что. Луны мы не подносим на тарелочке. Это всего лишь начало.

Мак-Грегор потянулся к пустому бокалу, но когда Мозель наполнил его, Мак-Грегор уже раздумал пить. Он бросил взгляд на Мозеля — вот тоже честный человек вроде Кэспиана. Все они, возможно, честные. Но так или иначе, решающим весом здесь обладает один Кэспиан, и приятно после всех этих долгих лет увидеть, как Эссекс наконец-то оттеснен и умален историческим своим преемником.

— Знаете ли вы, в чем коренной изъян вашего предложения? — сказал Мак-Грегор Кэспиану.— Вы рассчитываете, что курды сядут за один стол с волками — пожирателями кур, выклевывающих глаза детям,— процитировал Мак-Грегор по-персидски.

— Я и забыл это присловье,— засмеялся Кэспиан.

— Разве же не так?

— Конечно, так,— сказал Кэспиан.— Беда только, что вы все еще предаетесь мечтаниям, Мак-Грегор. Полная независимость курдов практически неосуществима. Предприятие в данный момент безнадежное, и вы знаете это не хуже меня.

— Да, но мы никогда с этим не примиримся,— сказал Мак-Грегор, чувствуя, что ему по душе этот американец, с ним можно говорить честно.— Проблема выходит за рамки практической.

— Так ли, этак ли, но вам бы стоило, по крайней мере, съездить с этим предложением к старине кази.

— Не могу,— покачал Мак-Грегор головой.

— Почему?

— Я знаю, что оно реально означает.

— Вы делаете ошибку,— убеждал Кэспиан.— Возможно, они его примут.

— Возможно. Но я в этом не участник.

— Взгляните трезво,— напирал Кэспиан.— Этим ли, другим ли путем, но мы добьемся своего. Нам нетрудно изолировать, запереть кази намертво в голых горах.

— Не будьте в этом чересчур уверены,— возразил Мак-Грегор.— Теперь им туго, но вы не сможете занять там каждую ложбину и каждый склон, даже располагая людьми ильхана.

— Есть и другие способы.— Кэспиан повернулся к Мозелю и спросил: — Где этот грек или кто он там?

— Одну минуту,— сказал Мозель, отворил боковую дверь, позвал. Явился «грек» — низенький и толстый головастый человечек явно не греческой наружности.

— Мосье, мосье, мосье,— закланялся он, как кукольный Петрушка, на все стороны.

— Это Сулейман,— сказал Кэспиан, не глядя на Сулеймана.— Он один из подписавших соглашение о концессии, которую ваш Комитет предоставил компании «Леанко», он уплатил Комитету те деньги, розыском которых вы занимались. Вам о нем известно?

— Известно.

— Так вот,— продолжал Кэспиан,— мы купили у него долю участия в этом соглашении, дающую контроль над всей концессией. С соблюдением всех законностей...

— Даже так? — проговорил Мак-Грегор.

— Да-аже так,— протянул с преувеличенным американским акцентом Кэспиан.

Мак-Грегор поднялся с кресла.

— Там у меня где-то плащ,— сказал он Мозелю.

— Но послушайте, Мак-Грегор,— сказал Эссекс.— Нельзя же так вот просто взять и уйти.

Мак-Грегор надел плащ.

— Уж извините,— повернулся он к Кэспиану.— Но нам с вами... А впрочем...

Мозель проводил Мак-Грегора к дверям, сказал негромко:

— Мне жаль, что оказалось невозможно избежать этого финала. Но вы держались стойко, Мак-Грегор. Очень стойко.

Глава тридцать вторая

Когда Мак-Грегор сообщил Кэти, что дело кончено и он потерпел неудачу, Кэти глубоко вздохнула.

— Вот и слава богу.— А затем прибавила: — Все же правы китайцы. Если курдам когда-либо удастся изменить свое положение, то лишь в том случае, если они будут действовать собственными силами, без посторонней помощи. И твоя удача или неудача все равно мало что значит.

— Китай освободился,— возразил Мак-Грегор,— только после того, как японцы были разбиты с посторонней помощью, и помощь оказана была немалая.

— Ладно уж,— сказала Кэти.— Я не собираюсь начинать полити-

ческий спор. И никогда не стану снова заводить об этом деле речь, раз с ним покончено.

Был восьмой час вечера, они одевались, готовясь ехать к Жизи Маргоз на ужин. Кэти подняла к свету чулок, требовавший пристального осмотра, но вместо этого пристально всмотрелась в мужа.

— Ведь ты с ним полностью покончил?

— Нет. Не совсем,— ответил Мак-Грегор после длинной паузы, решив быть честным до конца.

Она перестала одеваться, подошла к нему.

— Что же ты можешь теперь? Что тебе тут осталось?

— Не знаю еще,— ответил он.— Но мне это слегка напоминает обстановку во Франции. Весь народ на улицах, у студентов с языка не сходит слово «революция», но положение остается в точности таким, как прежде.

— Не вижу, при чем тут Франция.

— Похоже, что все мы боремся с незримым противником, с каким-то недосягаемым врагом.

— Ты потерпел неудачу — и вопрос исчерпан,— сказала она твердо и опять занялась одеванием.— Упакуем чемоданы и вернемся в Лондон. Завтра же.

— Нет. Уехать я еще не могу.

— Но почему же? За что тут осталось цепляться?

— Не в цеплянии дело, а в том, что оружие еще в Марселе и достанется ильхану, если я просто уеду и брошу все. Не могу я...

— Нет, можешь,— прервала Кэти, натягивая и дергая чулок так свирепо, точно он был не из нейлона, а из стали.— Знаю я твои планы. Но ты и думать об этом забудь.

— У меня нет никаких планов,— заверил он.

— Им прекрасно известно, что задумал Таха,— предостерегающе сказала Кэти.— И ты не впутывайся, слышишь. Уж этого я не позволю.

— Пусть так,— сказал он.— Но я не вижу иного выхода.

Однако Кэти не намерена была вступать в дискуссию.

— Ни-ни, оставь и не касайся,— отчеканила она.— И говорить об этом не хочу. Дело кончено, и не желаю я больше волноваться.

— Хорошо,— сказал он и, сойдя вниз, стал дожидаться Кэти во дворе. Там, в бывшей конюшне, в железной бочке, у Сеси хранилось полсотни литров нормированного бензина, и Сеси занята была сейчас переливанием его через трубку в бак.

— Тьфу, гадость,— выплюнула она попавший в рот бензин.

Она все еще отплевывалась и откашливалась, когда Кэти сошла к ним.

— Ей бы мальчишкой быть,— сказала Кэти Мак-Грегору.

— Ничего, и девчонкой сойдет,— ответил он, понимая, что лучше поддерживать нейтральный разговор, подстраиваться к Кэти.

Сеси повела машину пустыми левобережными улицами. Вид у них был по-прежнему осадный, ждущий катастрофы; весь район был точно пустырь после ярмарки. Ветер мел мусор и бумажные клочья по воскресным бульварам, народ бродил, сбивался в спорящие кучки, как бы не зная, на что решиться и чего ожидать.

— Я буду в мастерской у себя,— сказала насупленно Сеси, и «ситроен», фырча, скрылся. Сеси была сердита — она из-за них задержалась, а ей не терпелось вернуться в свой collectif; притом Сеси видела, что отец и мать держатся друг с другом молчаливо-настороженно, а это, считала Сеси, зря и глупо.

В доме на улице Жана Гужона у клетки лифта их встретила Жизи. Поднеся руку к своему освобожденному от грима лицу, Жизи сказала Мак-Грегору:

— Видите?

На Жизи было простое черное платье, в оторочку которого, в раскос, в линию талии было вкроено и вшито целое состояние. Приложившись щекой к щеке Кэти, Жизи взяла Мак-Грегора под руку и, поднимаясь в свой японский салон, шепнула ему по-английски:

— Этот ужин — не моя затея. Я не терплю французского трапезованья сообща. Это Ги затеял — он хочет, чтобы все вы остались друзьями несмотря на то, как они сегодня с вами поступили. Ги говорит, что хочет сгладить. Но я им не верю. Глядите. К нам идет мой муж.

Аристид Маргоз был сухопарый, слегка алкоголической наружности француз с прищуренной приглядкой ко всему и с походкой враскачку. Он небрежно пожал руку Мак-Грегору, а затем новоприбывших присоединили к остальным гостям: к Мозелю, лорду Эссексу, Кюмону и мадам Кюмон. Перед ними стояли уже бокалы с коктейлями; Жизи усадила Кэти между супругами Кюмон, а Мак-Грегора — рядом с Мозелем. Горничная внесла на подносе бокал с «Сухим Мартини», но Жизи сказала ей:

— Мосье не будет пить «Мартини». Налейте ему вермута.

Мозель поднял брови. Эссекс вынул изо рта незажженную новую трубку.

— Я вижу, Жизи оберегает вас от злого джина,— сказал Эссекс.

— Видимо, да,— отозвался Мак-Грегор.

Девушка поставила на столик перед ним рюмку вермута, и Мак-Грегор молча стал слушать, как французы толкуют о своей раздираемой распрей стране. Он слушал Кюмона, Мозеля, слушал сипловатый голос Аристида Маргоза и думал о странных и разных личинах Франции. Каждый говорит о Франции, и устами каждого Франция говорит о себе. Армия, по их словам, взяла Париж в кольцо. Миттеран — глупец. Мендес-Франс ждет, когда ему подведут белого коня.

— От коммунистов все зависит,— говорил Кюмон.

— Но почему такую роль играют студенты? — допытывался Эссекс.

— Потому что они уже годами борются за реформу нашей архаической системы высшего образования,— отвечал Мозель.

Жизи пригласила к столу, и Мак-Грегор увидел, что опять взят ею под защиту. Она посадила его справа от себя. Напротив был помещен Эссекс, дальше — Кэти, Кюмон и с краю Аристид Маргоз, а по эту сторону стола — мадам Кюмон и Ги Мозель. Маргоз молчал со скучающим видом.

— Я Кэти с Ги рассадила, им придется вести разговор через весь стол или совсем не говорить друг с другом,— шепнула Жизи.

— Кэти не из слабеньких,— ответил Мак-Грегор.— Не беспокойтесь о ней.

Для начала подали авокадо, и Жизи вонзила свою заостренную ложечку в этот тропический плод, точно в кусок дерева.

— Кэти тоже нуждается в защите,— сказала Жизи.— Именно присутствие мужчины действует всегда растлевающе. Вам бы вернуться в Лондон, увезти ее отсюда.

— Не могу. Должен задержаться пока в Париже.

— Только прошу вас, не слишком задерживайтесь. Я чувствую: Ги приготовился к чему-то.

Она говорила, подавшись к Мак-Грегору, ограждая его глазами, лицом, телом, а остальных гостей полностью оставив без внимания. Мак-Грегор покосился на Эссекса — тот беседовал с бронзово загорелой женой Кюмона, а сам заинтригованно глядел на Жизи. Мак-Грегор понимал: Эссексу хочется выяснить, высмотреть, что общего

между ним и этой недоступной французской красавицей. Как на всякого увидевшего Жизи, на Эссекса сильно подействовала ее необычная красота, и Эссекс недоумевал — почему Мак-Грегору оказано такое предпочтение?

— Сейчас они вас станут мучить,— говорила Мак-Грегору Жизи.— Будьте начеку.

— Незачем им, теперь уже ничего не осталось,— ответил Мак-Грегор.

— Найдут что-нибудь,— сказала Жизи.— Они ждут лишь момента, паузы. А вы не давайте им, говорите со мной. Говорите.

— О чем же? — усмехнулся он.

— Все равно о чем.

— У персов есть пословица: «Говоренье говоренья ради делает человека слабей бабочки».

Жизи рассмеялась.

— Вон мой муж сидит, молчит. Его-то бабочка с ног не собьет... Представляю, как вы будете рады уехать от дурацкой нашей здешней жизни,— обвела она жестом стол.

— Напрасно вы, Жизи,— сказал Мак-Грегор.— Слишком вы к ним суровы.

— Вам не понять,— ответила Жизи.— Завтра я все это кончу. Вы убедили меня. Я сразу поняла, что вы меня убедите.

Мак-Грегор видел, что Эссекс без зазрения совести ловит ухом их разговор.

— Чем же я мог вас убедить? — спросил Мак-Грегор.— Какими словами?

— Без всяких слов. Вам я верю, этого достаточно. Завтра я и со всем этим распрощусь.— Длинными пальцами она коснулась своих искусно уложенных волос.

— Неужели обрежете? Что вы, Жизи!

— Нет, просто никаких больше мастеров и укладок. Никаких, никогда. Да мне их и не надо, правда ведь?

— Правда. Хоть остригитесь вовсе — все равно останетесь такая же.

Жизи порывисто протянула руку, тронула его обрадованно за рукав.

— Как восхитительно слышать это от вас. А от другого было бы противно.

— Но ведь это правда,— сказал он.

— О чем вы там беседуете? — спросила наконец Кэти, и Мак-Грегор очнулся.

Все за столом оставили свои дела: ждали, что он скажет. А он уперся взглядом в рыбу, лежавшую перед ним на тарелке. Как она сюда попала? И где несъеденное авокадо?

— Беседуем на политические темы, как и все здесь,— отозвалась Жизи.

— О чем же именно? — спросила Кэти.

— О моих политических убеждениях.

— Вот не знал, что у тебя они есть,— проговорил Аристид Маргоз.

— Не глупи, Аро.

— А кто вы по убеждениям, Жизи? — полюбопытствовала Кэти.

— Жизи, как ее брат, роялистка,— добродушно промолвил Кюмон.

— Ни в чем я на Ги не похожа,— возразила Жизи.— Ни в чем решительно.

— Жизи полностью вне политики,— пояснил Ги.— И прежде и теперь.

— Вовсе нет. Но я, во всяком случае, не роялистка и даже не голлистка, как все вы.

— Tiens! Тогда за кого же ты была на прошлых выборах?

— Не за де Голля.

— Месяц тому назад, Жизи, ma chere[1], вы осуждали Кон-Бендита,— напомнила мадам Кюмон.— Разве это не голлистская позиция?

— Не смешите меня, Мари-Жозе. Мне противен Кон-Бендит. Да и кому он приятен? Но дело в том, что все вы рядитесь в политические тоги, а я хожу нагишом.

— Очаровательный наряд,— сказал Эссекс,— и я уверен, что Мак-Грегору он нравится.

Все засмеялись, и Мак-Грегор понял, что Жизи отвлекала от него общее внимание, а Эссекс намеренно опять нацелил на него разговор.

— Сам-то Мак-Грегор не гол политически,— сказал Ги Мозель.— Английские нонконформисты, приверженцы шотландской знаменитой камеронианской ереси,— всегда морально ангажированы.

— Нет, нет,— запротестовал Эссекс.— Мак-Грегор в душе презирает политику. Не правда ли, Мак-Грегор? Ну-ка. Отвечайте нам.

— Я отнюдь не презираю политику,— сказал Мак-Грегор.

Слушатели молча ожидали продолжения.

— И это все, что мы от вас услышим? — спросил Кюмон.— Et alors...[2]

— Я политику не презираю,— твердо повторил Мак-Грегор, стараясь сохранять спокойствие.— И все вы прекрасно это знаете.

— Требуются объяснения, Мак-Грегор,— сказал Эссекс.— Не отмалчивайтесь!

— Что вы такое говорите! — почти закричала на Эссекса Жизи.— С какой стати ему давать здесь объяснения?

— Но ведь слова — не пустой звук, Жизи, и требуют обоснования,— сказал Эссекс, неожиданно для себя вынужденный перечить прелестной женщине и огорченный этим.

— Еще Паскаль сказал, что честному человеку всегда лучше молчать о своих политических взглядах.

Мозель уронил нож и вилку на тарелку.

— Жизи! Ничего подобного Паскаль не говорил,— укорил он сестру.

— Ну, значит, Ламартин.

— Чепуха.

— Да кто бы ни сказал, какая разница?

— Разницы никакой, дорогая моя,— мягко сказал Эссекс.— Я пытаюсь лишь выяснить политическую позицию Мак-Грегора. Как-никак, в Париже теперь воздух насыщен политикой.

— Мак-Грегор делает то, что должен делать,— ответила Жизи Эссексу.— И в этом его позиция.

— Что же именно он делает? — спросил с улыбкой Эссекс.

— Делает то, чего вы не можете,— ответила Жизи.— Уж это ясно.

— То есть турок стреляет? — весело уточнил Эссекс.

— Что ж! — презрительно сказала Жизи.— Если стреляет, то не промахивается и не болтает об этом потом до одурения.

— И тем не менее,— возразил Эссекс, явно задетый за живое,— такие вещи требуют объяснения. Вы согласны, Мак-Грегор?

---

[1] Моя дорогая *(франц.)*.

[2] Ну, знаете ли *(франц.)*.

Жизи не дала Мак-Грегору ответить.

— Всякие объяснения на званых ужинах неминуемо сводятся ко лжи,— отчеканила она.

— Вот и дайте ему лгать самому за себя,— возразила ей Кэти, и Жизи встрепенулась, готовая оборонять Мак-Грегора даже от Кэти, защищать его всем своим арсеналом копьевидных пальцев, разгримированных век и быстрых узелков французской речи. Но Мак-Грегор опередил ее.

— Я, собственно, не знаю, о чем тут спор,— обратился он к Эссексу.

— О тебе, милый,— не без ехидства проговорила Кэти.— А ты и не слушаешь?

Опять все засмеялись, кроме Маргоза, проявлявшего полное невнимание.

— Не давайте им объяснений,— сказала повелительно Жизи.— Никаких и никогда.

— Но скажите на милость, зачем ему ваша защита, Жизи? — воскликнула Кэти.— У него есть собственный язык. Айвор сам за себя может постоять.

Подали тушеную говядину — поставили перед каждым изящную плотно закрытую медную кастрюльку, еще скворчащую от тугого жара.

— Они просто дразнят меня, Жизи,— сказал Мак-Грегор.— Пусть их.

— Я отнюдь не дразню,— заверил Эссекс.— Я вполне серьезно спрашиваю.

— О чем?

— Я не шутя хотел бы знать, как происходит в вас деление на половину восточную и половину западную. Или, скажем, на ученого и на истребителя турок. Какая из этих вечных половинок выражает вашу суть, Мак-Грегор? В частности, какая ваша половинка займется теперь вагонами с оружием для курдов? Что вы предпримете? Ведь вы как-никак затем и приехали в Европу.

— А что я должен предпринять?

— Этот вопрос не вы мне, а я вам адресую. И ваш ответ даст всем нам ключ к вашим действительным взглядам.

Мак-Грегор посмотрел на Кюмона, опять на Эссекса.

— Вагоны у нас отняты. Вы об этом позаботились,— сказал он Эссексу.— Это ваших рук дело.

— Моих?

— Ваших или Фландерса. Что одно и то же. И говорить тут больше не о чем,— сказал Мак-Грегор, подавляя в себе гнев.

— Но поскольку кое-кто из ваших курдских друзей замышляет взорвать вагоны, то не поделитесь ли вы с нами этим планом?

— Я ничего о нем не знаю,— сказал Мак-Грегор,— а если бы и знал, то вряд ли стал бы здесь разглагольствовать. Так что делиться мне нечем.

— Рад слышать,— сказал Кюмон с усмешечкой, и Жизи опять вскипела:

— Правда не на их, правда на вашей стороне. Не говорите им — ничего и никогда.

— Но, Жизи,— резко вмешалась Кэти.— Ведь Айвор и не может сказать то, чего не знает. Он ничего не знает о вагонах.

— Лично мне,— сказал Кюмон,— все равно, что вы сделаете с этим злосчастным грузом оружия, но только, прошу, никаких эксцессов на французской земле.

Тут бы разговору следовало и кончиться — по виду Жизи все по-

няли, что продолжать сердить пантеру в клетке опасно. Но Эссекс упорно не желал расстаться с темой.

— Насколько могу судить,— сказал он Мак-Грегору,— вам остается либо принять меры к ликвидации вагонов, либо возвратиться в Иран с поджатым хвостом.

Мак-Грегор уже дважды обжег себе язык горячим мясом; он сосредоточился всецело на своей вилке, а окружающие ждали, как он будет защищаться.

— Вы совершенно правы,— сказал он Эссексу.

— Ах, но это смехотворно,— сердито вскинулась Кэти.— Айвор даже и не думает возвращаться в Иран. С Ираном навсегда покончено.

— Разве? Неужели?

— Мы остаемся жить в Европе, и говорить не о чем, и давайте переменим тему.

Жизи сделала вид, что поражена известием.

— Да вы шутите, Кэти!

— Нисколько не шучу.

Кюмон поднял бокал с бургундским.

— Итак, за окончание увлекательного и романтического эпизода!

И опять на этом разговор следовало бы кончить, но Эссекс, видимо, твердо решил защитить от Мак-Грегора что-то свое жизненно важное, глубоко личное.

— Я двадцать с лишним лет знаю Мак-Грегора,— произнес Эссекс,— и знаю, что не в его привычках так легко уступать.

— На этот раз он уступит,— сказала Кэти.

— Полно, Кэти. Вот и вы тоже боитесь дать ему говорить за себя,— сказал Эссекс.

— Кэти информировала вас правильно,— сказал Мак-Грегор.— Мы остаемся в Европе.

— И давайте переменим тему,— повторила Кэти.— Зачем касаться наших домашних дел?

— Грешен — и приношу извинения,— сказал Эссекс.

— Да, грешны,— сказала Кэти.— Вы словно испугались, как бы Айвор в чем-то не победил вас наконец.

— Все вы, я вижу, глупите... — начала Жизи. Но Мак-Грегор тронул ее за локоть, и она, вскинув плечами, сказала: — Не думаю, чтобы черта уже была подведена. И Ги не думает. Он говорил мне...

— Ничего я тебе не говорил,— жестко сказал Мозель.— И черта подведена — по крайней мере, разговор наш окончен. Довольно, Жизи.

— Приказание Кэти,— насмешливо шепнула Жизи Мак-Грегору. А тот, обведя Мозеля, Кюмона, Эссекса длинным взглядом, мысленно решил уже, что завтра же разыщет Таху и наметит вместе с ним самый действенный план уничтожения вагонов.

Глава тридцать третья

Но Таха исчез. Ни Эндрью, ни Сеси не знали, где он. Его не оказалось и в комнате у курдского студента-медика, где он приютился; Мак-Грегор побывал там на следующий день, но узнал от медика лишь то, что Тахи нет в Париже. Не выяснил Мак-Грегор ничего толком и у курдов, продававших брошюрки в запруженном народом внутреннем дворе Сорбонны.

— В Женеву уехал, по-моему,— сказал один.

— Да нет. Готов поклясться, он в Париже,— опроверг другой.

Догадываясь, что Таха в Марселе, Мак-Грегор вернулся домой к двум часам дня, к последним известиям. Если Таха уже взорвал вагоны, то, быть может, сообщат по радио. Но известия были заполнены одним: политическим кризисом, охватившим страну. В Тулузе нет хлеба. Гавр объят забастовкой, и двадцать тысяч рабочих устроили шествие к центру города, французские футболисты отказались признавать государственные органы руководства спортом, по всей Франции бастует теперь девять миллионов человек. Ожидается, что сегодня на стадионе Шарлети, на студенческом митинге, объявит наконец свою позицию Мендес-Франс.

Когда Мак-Грегор после обеда вышел прогуляться по гравию двора, из каретника прошаркал шлепанцами Марэн и подал ему конверт.

— Под воротами нашел,— сказал Марэн.

В конверте была записка на персидском языке от Тахи, назначавшего Мак-Грегору встречу. В Сорбонне, в пять часов, под статуей Виктора Гюго. По очень важному делу.

Мак-Грегор не стал возвращаться в дом объявлять Кэти, куда уходит, а торопливо вышел со двора и, лишь дошагав до улицы Вано, вспомнил не без удивления, что за воротами ни на кого не наткнулся. Видимо, они уже так уверены в победе, что сочли дальнейшее изматывание и провокации лишними, оставили его в покое.

Пройдя по безлюдной улице Ренн, он взял наискосок к Сорбонне, через сад. Во дворе Сорбонны ему пришлось проталкиваться сквозь толпу студентов, шумевших, споривших, теснившихся у сотни размещенных вдоль стен книжных лотков,— у каждой фракции свой лоток. Он подошел к статуе Гюго и увидел, что под обеими мышками у каменного старика красные флаги. Терпеливо дожидаясь на ступеньках, Мак-Грегор смотрел, как среди двора группа революционных студентов предает что-то сожжению.

— Дядя Айвор!..

Вид у Тахи усталый, но в глазах по-прежнему затаена насмешка, адресованная всему, что духовным калибром мельче Тахи, и даже потрепанная одежда его все больше начинает смахивать на небрежное облаченье борца за идею.

— Мне сказали, тебя нет в Париже.

— Да, я уезжал... Вот что. Давайте, дядя, пройдем через зал, чтобы, если за вами наблюдают, сбить их со следа.

Он повернулся, быстро прошел через двор в здание, а Мак-Грегор за ним — в шумный старый Большой амфитеатр, до отказа набитый бунтарями студентами, иностранцами, зеваками, агентами тайной полиции. На возвышении, у видавшей виды кафедры, сидел бородатый студент в темно-бордовом джемпере, держа микрофон и сося сгущенное молоко из тюбика. Он прокричал в микрофон:

— А теперь зачитаю вот это.— (Взмахнул листом бумаги с гектографированным текстом.)— Эту декларацию только что выпустил Комитет Разгневанных, она гласит: — (Тут бородач далеко отнес от глаз руку с текстом.) — «Революция кончается, как только становится необходимо жертвовать для нее собой. Говорить о революции и классовой борьбе...— (Метнул на слушателей многозначительно-сердитый взгляд, проорал: «Требую тишины!») — ...вне четкой связи с повседневной жизнью, без понимания того, что и в любви содержится ниспровержение, а неприятие принуждения заключает в себе утверждение, могут лишь живые мертвецы». Подписано Комитетом Разгневанных, а также Интернационалом Ситуационистов.

Аудитория забурлила. Мак-Грегор с Тахой под шумок пересекли зал, вышли под темные своды. Вооруженный дубинкой студент, знакомый Тахи, пропустил их вниз, в подвальный этаж. Они сошли по

неметенным ступенькам, направились грязными коридорами мимо ротатора, пощелкивающего, пошлепывающего, выдающего листы печатной продукции (стены коридоров были сплошь ею оклеены), мимо уборных и статуй и наконец очутились в большом чулане — в сорбоннском морге для мебельного хлама, старых книжных шкафов, столов, стульев и никому не нужных бюстов забытых ученых. Таха закрыл дверь и подпер ее стулом, включил свет, достал из пиджака какие-то бумаги.

— Ну как, дядя,— проговорил он со своей сухой усмешкой,— удалось вам убедить их?

— Нет,— ответил Мак-Грегор.— Вагоны, как и деньги, достались ильхану. Мне ровно ничего не удалось.

— Я знал, что этим кончится,— сказал Таха, дернув плечом.

— Это ты так или действительно знал?

— Знал, конечно. Да и все знали.

— Тогда у тебя, полагаю, есть какой-то свой план действий,— сказал Мак-Грегор.

— В каком смысле план?

— Не знаю. Тебя спрашиваю.

— План у нас, конечно, есть. А вы готовы, значит, нам помочь?

— Что ж,— сказал Мак-Грегор.— Ничего другого мне теперь не остается.

Таха поглядел пристально.

— И вы согласны полностью на то, о чем мы просили вас?

— Нет.

Таха коротко усмехнулся.

— Но я сделаю все, что в пределах разумного,— сказал Мак-Грегор.— Так что не надо иронии, Таха.

— Наконец-то вы к нам прислушались,— сказал Таха.

— Допустим.

— Но вы согласны теперь с нами...

— Нимало не согласен,— прервал Мак-Грегор.— Понимай это скорее как жест отчаяния, поскольку я ничего не смог сделать. А что-то сделать надо.

На лестнице, ведущей в подвальный этаж, зашуршали по мусору шаги. Кто-то толкнулся в дверь.

— Занято! — крикнул Таха по-французски. Шаги ушли.

Сев за старый железный стол, Таха развернул вынутые бумаги.

— К сожалению, теперь поздно — насчет вагонов вы уже не сможете помочь,— сказал он севшему рядом Мак-Грегору.— Их опять перегнали на новое место.

— Так я и думал. А куда именно?

— В Тулонский порт.

— В Тулоне порт военный,— сказал Мак-Грегор.— Туда вам не проникнуть.

— Может, и нет... Может, и да...

Таха пододвинул Мак-Грегору бумаги, и тот пробежал глазами тусклые, на папиросных листках, копии деклараций судового груза и погрузочных инструкций, данных портовыми властями капитану греческого судна «Александр Метаксас».

— Груз доставят в Эшек, турецкий черноморский порт. А оттуда переправят ильхану сушей.

— Через Турцию?

— Ну да. Теперь вам ясно, что за старый пес этот ильхан? Какой курд не побрезгует иметь дело с турецкими чиновниками? А теперь они ильхану оружие дадут переправлять.

— Трудно этому поверить, даже когда речь идет об ильхане. Верны ли твои сведения, Таха?

Таха подергал, колюче нащетинил свои жесткие усики. Он никогда не тратил времени на горькие излияния — не давал себе такой поблажки. Но сейчас горечь едва не прорвалась наружу. Он сдержался, однако; опять усмехнулся.

— Разве способны курды держать язык за зубами? Вы не знаете этих женевских курдов, это сборище болтливых дураков, бегающих за Дубасом как собачки.

Мак-Грегор знал: сейчас Таха что-то еще предложит, попросит о чем-то, что-то затеет.

— Ваша помощь нам нужна не здесь, а на другом конце маршрута,— сказал Таха.

— В Турции?

— Нет. Я имею в виду кази и Комитет.

— Неужели вы хотите, чтобы я снова туда...

— А вот слушайте,— сказал Таха.— Нам известно, что оружие повезет через Турцию сам Дубас. По новой дороге Эшек — Шахпур. Причем проследует в Иран долиной реки Котур. Там-то мы и хотим устроить ему засаду.

— А какими силами? С полудюжиной студентов? — сказал Мак-Грегор.— Ведь ильхан соберет там в долине всех своих вооруженных людей до единого.

— Вот потому нам и нужна ваша помощь.

— Чем же я могу помочь?

— Вы поезжайте, уговорите кази и моего отца, чтоб напали на ильхана и не дали ему выйти навстречу Дубасу — чтобы отвлекли ильхана.

— Они и слушать меня не станут,— возразил Мак-Грегор.

— Но почему же?

— Потому что именно того и хотят европейцы: стравить опять курдов с курдами. Мне ни за что не убедить кази. Оттого он и прячется в иракских горах, что избегает столкновений с ильханом.

— Вы сможете уговорить наших,— стоял на своем Таха.

— Нет, не смогу. И так или иначе, они слишком слабы сейчас для такой крупной операции. Они там вконец измотаны, Таха.

— Но послушайте, дядя Айвор. Они прекрасно знают, что если ильхан получит это оружие, то перебьет нас всех запросто, как мясник режет коз. Какой же у нас тут выбор? Ну, сами скажите...

Мак-Грегор ощущал, как гнетуще действует на мозг этот грязный чулан. Сверху из зала невнятно пробивались сквозь потолок бунтарские крики и возгласы.

— Ты прав, пожалуй,— сказал Мак-Грегор.— Разумеется, прав. Но только почему ты думаешь, что они меня послушают и атакуют ильхана? Я ведь не солдат и не курд.

— Кази доверяет вам не меньше, чем моему отцу. Если вы объясните кази обстановку, он поймет. По сути, вы один способны убедить их.

— Я не согласен с тобой. Да и что, по-твоему, они там смогут сделать? Атаковать автоколонну?

— От них требуется одно: с помощью всех наличных сил отвлечь ильхана, связать ему руки на те два дня, когда грузовики будут проходить район границы. Остальное сделаем мы. Детали согласуем на месте. План проще простого.

— Для тебя-то, может, и просто... — начал Мак-Грегор и не кончил.

— Я знаю, дядя. Знаю, как для вас непросто.

— Знаешь ли? Сомневаюсь.

— Тетя Кэти будет против. Это мне отлично известно. Она запретила Сеси общаться со мной, а теперь запретила и Эндрью. Но даже и тетя Кэти поймет.

— Понять-то поймет, но отношения не изменит. Ей омерзело насилие, Таха, и винить ее нельзя.

— Само собой,— дернул плечом Таха.— Уж это привилегия европейцев. Вот и французы тоже.— Таха указал глазами на потолок.— Насилие. Не насилие. Для них все это интеллектуальная игра. Но для нас — не игра, дядя.

— Именно потому тетя Кэти и будет глуха теперь к доводам, что понимает всю серьезность дела,— сказал Мак-Грегор, не вдаваясь в дальнейшие объяснения.

— Но ведь это вы в последний раз. А после поедете себе домой и сможете забыть о нас на всю остальную жизнь.

— А что останется от моей жизни без семьи? — проговорил Мак-Грегор. Прислушался к шагам, доносившимся сверху. Окинул взглядом помещение. Не место для ломающих судьбу решений этот угрюмый чулан. Но где оно, другое место? Парадные паркеты — не для него; ему открыт лишь черный ход и унылые подвалы.— Ладно,— сказал он.— Еду, так уж и быть.— Он поглядел на объедки в углу — следы пребывания катангских наемников, нашедших здесь у студентов приют.— Другого выхода, видимо, нет. Я, во всяком случае, не вижу.

— Ну, поздравляю! — сказал Таха по-курдски.

— Не поздравляй и не вербуй,— сказал Мак-Грегор.— Раз из-за моей неудачи так вышло, то приходится мне как-то поправлять положение. И это все, что меня тут интересует.

— Повлиять на исход вы никак не могли.

— Возможно, если бы я действовал умнее...

— Не в вас дело,— усмехнулся Таха.

— Так или иначе, но теперь моя забота лишь о том, чтобы не дать ильхану завладеть этим оружием. Здесь все так уверены в успехе ильхана, что для меня разрушить их игру теперь — вопрос чести.

Таха убрал от двери стул, и они направились наверх, к выходу, по шершавому от сора камню коридоров. Выйдя из-под сводов на резнувший глаза дневной свет улицы, они увидели кучку студентов — четыре девушки и два парня собрались под транспарантом, гласившим, что группа идет отбивать у полиции здание почты на улице Кардинала Лемуана. Мак-Грегор с Тахой постояли, поглядели, как студенты шагают с красным флагом.

— Идут под полицейские дубинки,— сказал Таха.

— Тем не менее цель их будет этим достигнута.

— Какая цель? Что они, воображают — здесь Смольный, а Кон-Бендит — Ленин?

— Однако храбрости им не занимать.

— И Ахмеду Бесшабашному тоже не занимать храбрости,— ответил Таха, идя по бульвару Сен-Мишель в сотне метров позади студентов.— Но Ахмед — известный курдский шут гороховый, и в нем примерно столько же настоящей революционности, сколько в этих студентах.

Глава тридцать четвертая

Возвратясь домой, Мак-Грегор с удивлением увидел, что в кабинете у телевизора, который Кэти взяла напрокат, сидит и ждет его Жизи Маргоз. Передавали репортаж о митинге на стадионе Шарлети,

заснятый «желтым» оператором. Мак-Грегор вошел — Жизи взглянула на него и снова на экран, точно ей хотелось того и другого сразу. Затем выключила телевизор.

— Не понимаю, почему анархисты ходят в черном,— сказала Жизи.

— Это их традиционная форма,— сказал Мак-Грегор.— Почему бы им не ходить в ней?

— Но ведь они против форм и традиций.

Мак-Грегор ожидающе молчал; Жизи сказала:

— Я приехала за вами, едемте ко мне.

— Мне надо дождаться Кэти,— сказал он.

— Нет, не надо,— сказала Жизи и вышла в холл, и Мак-Грегор волей-неволей последовал за ней.

— Но погодите,— сказал он.— Мне в самом деле нужна Кэти.

— Ее нет. Они с Ги улетели в Канн. На его самолете. Тетя Джосс, мы уходим,— крикнула она в глубину холла.

— Хорошо, Жизи, душенька.

Взяв под руку, Жизи потянула Мак-Грегора к выходу.

— Не тревожьтесь. К утру они, наверное, вернутся. Кэти позвонила мне, сказала, что весь день пыталась разыскать вас по телефону. Не знает, где вы. Просила передать вам, что они в Канне. И накормить вас просила — Кэти знает, что я это сделаю avec empressement [1].

У дверей Мак-Грегор уперся.

— А она не сказала, зачем они отправились в Канн? — спросил он, ощущая на локте теплые пальцы Жизи.

— Они с Ги явно заняты чем-то серьезным. Иначе бы не улетели так. Но я ведь вас предупреждала...

Он неуклюже поправил галстук; Жизи сняла с вешалки его плащ.

— Знаю только, что устроил все Ги,— продолжала Жизи.— И затею свою они уже несколько недель обсуждают.

— Но погодите,— опять остановился он.— А Сеси?

— Сеси уехала к себе в мастерскую — за всем своим имуществом. Днем она участвовала в демонстрации, снова была задержана, и полиция велела ей завтра к вечеру покинуть Францию. И на сей раз Кэти не захотела, чтобы Ги хлопотал за Сеси.

— Бог мой, что это творится... А Эндрью где? Он должен бы уже прийти из города.

— Тетя Джосс скажет ему, где вы. И Эндрью с Сеси, если захотят, тоже явятся ко мне следом за вами. Так что, пожалуйста, без возражений.

Он не стал дольше противиться, надел плащ. Сойдя во двор, она остановилась у подножия лестницы, на свету.

— Вы и не взглянули еще,— сказала она, приблизив лицо и указывая на свои волосы. Он поглядел — с волос смыто и устранено все парикмахерское, и они теперь ворохом осенних листьев спутанно кроют, венчают осеннюю прелесть ее лица, поражающую даже при этом бледном свете. Жизи подняла пальцы, демонстрируя, что начисто обрезала острия ногтей.

— Ну как? — спросила, стоя к нему вплотную.

— Д-да, я заметил,— сказал он растерянно, ибо, сдирая с себя красоту, Жизи становилась лишь прекрасней.

— Ну нет, не заметили. И это в вас и хорошо, что не заметили. А теперь, отбросив оболочку, буду учиться не думать о себе. Как вы.— Они вышли за ворота, сели в ее «рено», и Жизи продолжала

---

[1] С радостью, с охотой *(франц.)*.

сдержанно-рассудительным тоном: — Начало у меня, конечно, получилось глупое, и даже очень, но как начать иначе, я не знаю.

— Нет,— сказал Мак-Грегор.— У вас хорошо получилось.

— Это потому, что вы раскрыли мне суть самоотречения,— сказала Жизи.— Теперь я понимаю...

Мак-Грегор старался не слишком приглядываться к тому, как Жизи лавирует в потоке машин.

— Какой уж я вам учитель, Жизи, когда я сам не верю в самоотречение.

— Вам и незачем. Оно вам врождено, вся ваша жизнь насквозь им пронизана.

Он ничего не сказал. Снова они поднялись в сверкающую кухню — чинно и рядом, как буржуазная супружеская пара, отпустившая на вечер прислугу.

— Как же им удалось улететь? — спросил он.— По-моему, все аэропорты закрыты.

— Частные взлетные полосы в Орли работают, и аэродром под Манделье открыт.

— А он так просто может взять и улететь из Парижа, когда тут все под угрозой?

— Интересам Ги ничто не угрожает,— сказала Жизи, накрывая на стол.— Ни сейчас, ни в будущем. Не спрашивайте о них больше. Они вернутся. Вот единственное, на что вы твердо можете надеяться. Но пусть это вас не огорчает.

— Непонятные вещи творятся,— проговорил Мак-Грегор.

Жизи поставила перед ним тарелку с семгой, коснулась пальцем фарфорово-чистой кожи его щек.

— Как чудесна эта чистота,— сказала она.— Разве не жаль, что люди так легко ее теряют, так охотно с ней расстаются? А зачем? Какая уж такая чудо-радость в нечистоте?

Мак-Грегор попытался заняться едой и не смог.

— Жизнь в наши времена, по-видимому, сводится к постепенному и безвозвратному расставанию с тем, что тебе дорого,— сказал он.

— Пусть так, но не смейте говорить жалкие слова.

— Отчего же?

— Оттого что вы — хранитель врат. Вы тот, кому навеки охранять la forteresse de la vie [1]. Что угодно делайте, только не смейте впадать теперь в отчаяние. Слушать не желаю от вас жалких слов.

— Вы придаете мне преувеличенное значение.

— Напротив, это вы себя недооцениваете.

— Да нет... Какая уж во мне сила? И какую там крепость жизни я охраняю?

Она встала, подошла сзади, коснулась его плеч легким касаньем рук, но он сидел, не оборачиваясь к ней.

— Попытка ведь не пытка,— проговорила Жизи.— У нас так хорошо бы получилось. От меня бы вам не было ни обид, ни огорчений никогда.

Он сидел неподвижно, положив ладони на стол.

— Бесцельно это, Жизи.

— Но разве у всего должна быть цель? Да и предательства тут нет — если вас тревожит эта мысль.

— Как же так нет?

— Теперь ведь между вами не осталось такого что можно было бы предать.

---

[1] Крепость жизни *(франц.)*.

— Не знаю,— произнес он.— У меня осталось, и зачеркнуть это я не могу. Иначе всему гибель.

— То есть вы не хотите поверить, признать мрачную правду.

— Я верю. И мрачному и светлому. Но тому и другому — лишь наполовину.

— А знаете, в чем вся беда у вас с Кэти?

— Не надо об этом, Жизи.

Жизи сняла руки с плеч.

— И верно, не надо. Да я и сама не хочу об этом. Ну, раз вы ужинать не собираетесь, то я повезу вас сейчас за город.

— Сейчас?

— Ехать недалеко. Движения на дорогах никакого. Я позвонила сторожу, мосье Моро, чтобы не запирал там калитки.

Жизи надела жакет. Они спустились по винтовой лестнице. В машине Мак-Грегор спросил ее, куда они едут.

— В Пор-Рояль-де-Шан,— ответила она и нажала кнопку стартера.

Зачем они туда едут, он спрашивать не стал. Жизи повела свой «рено» по оголенным улицам города без полиции, надзора, управления. Париж был размыт сумерками, открыт всем ветрам. Миновали мост Сен-Клу, на дорожных указателях мелькнуло «Мант», и под колеса легла Западная автострада. Жизи держала курс и скорость твердо, как пилот на важном боевом вылете. Свернув затем с автострады, взяли слегка назад к Версалю, и в лесистой долине Жизи остановила «рено». Вокруг синел прозрачный сумрак французской загородной ночи. Шли лесом, пока справа и слева не очертились смутно здания. Войдя в калитку, Жизи остановилась. Тут с четырех сторон сплошной оградой вставали липы.

— Что здесь? — спросил он.

— Некогда здесь был монастырь Пор-Рояль,— ответила Жизи.— В семнадцатом столетии в этой обители цистерцианок жили еретики-янсенисты под заботливой опекой преданной аббатисы — Марии-Анжелики.

В темноте были видны только обступившие их липы; влажная ночь кропила землю звездной росой.

— Почему вы привезли меня сюда? — спросил он.

— Я хотела показать вам мое заветное, чего не показывала никому. Да и зачем им? Они бы не поняли. А я этот уголок с девичества, с детства люблю и понимаю душой.

— Вы янсенистка? — спросил Мак-Грегор.

— Нет. У меня не так совесть устроена. По-моему, я августинка — по существу, и сам Янсен был августинцем. Но не в этом дело, а в том, что Мария-Анжелика до конца была с ними. До конца пеклась о пор-рояльских доблестных мужах (hommes de valeur — их так называли). В их числе был Паскаль. По настоянию иезуитов король сжег Пор-Рояль дотла, сровнял с землей. Но аббатиса до конца была верна им.

Невидимый монастырь молчал. Откуда-то из придорожного кафе или гостиницы доносилась поп-музыка — но шла поверху, не касаясь. А здесь, в отдалении от мира, Жизи отчаянно пыталась раскрыть свою душу Мак-Грегору.

— Живи я в семнадцатом веке,— говорила она,— я наверняка была бы здесь монахиней. Ни к какому другому месту во Франции я не тянусь так сердцем. Я ведь всегда в душе была монахиней. А может, и пуританкой, еретичкой к тому же. Не сбивчиво я говорю? Вы понимаете?

— Да,— сказал он, чувствуя, что в самом деле понимает. Взял ее

под руку, и они вышли из квадрата лип по аллее, обсаженной шиповником, пахучим и неразличимым в темноте.

— Вы в моей жизни первый человек, которого я понимаю,— говорила Жизи.— Я знаю, что вы думаете и что чувствуете. Без слов знаю. Но сама я даже для себя — горестная загадка. Ги говорит — горе в моей отчужденности. А разгадки тому никто никогда не доискивался. Но знаю, если бы вы захотели, вы доискались бы. Я знаю.

И сам Мак-Грегор знал, что мог бы доискаться, ибо ощущал в себе всю жизнь сходную замкнутость. Сходную разительно, даже тревожно. Но разительна была и глубина непонимания, окружавшего эту женщину.

— Возможно, вы и правы, Жизи,— грустно сказал он.— Но все равно я не смог бы помочь вам.

— Ну и пусть,— отмахнулась она.— У каждого есть свое тайное и мучащее — и у вас, и у меня. Но разница в том, что вы живете, действуете, а моя жизнь тратится глупо и попусту. Должно быть, я теперь одно лишь и могу — сорвать весь этот красивый покров. Вот так!..— свирепо отбросила она волосы со лба.— А что еще могу — не знаю. Одна я не способна. Стара уже, наверное. Только и способна, что разрушить свою оболочку. А затем...— Жизи спокойно пожала плечами, как спокойно заравнивает озеро ветровые рытвины.— Затем наблюдать за вами — и ждать...

Она не стала длить попыток близости и объяснений, и лишь на обратном пути, на Западной автостраде, Мак-Грегор отдал себе отчет в том, что начисто забыл о Кэти. Жизи сумела так обезболить раны и обиды, что в памяти померк даже неожиданный и непонятный отлет в Канн. И стоит ли ломать голову над его причиной?

— Затормозите на минуту,— попросил он.

Она свернула на зеленую обочину. Он стал мысленно подбирать слова; она ждала.

— Мне нужно уехать,— начал он по-французски.— Вернуться...

— Не надо. Пожалуйста, не продолжайте. Раз уезжаете, то не хочу и знать, куда и зачем, потому что там вас ждет опасность и я не хочу терзаться бессильно.

— Я это к тому лишь, что поздно в моем возрасте зачеркивать жизнь и начинать снова.

— Быть может, Кэти зачеркнет за вас.

— Даже и тогда я ничего не смогу изменить, Жизи. Поздно. Начни я перестраивать себя заново — и тут же весь рухну, попросту распадусь на куски. Я могу лишь, не мудрствуя лукаво, сохранять себя таким, каков я есть. Может быть, я слишком безнадежно нацелен на одно. Не знаю. Но, по-моему, какую-то верность надо хранить, а иначе о чем вообще хлопотать? Что останется в жизни?

— То, что вы прибегаете к разъяснениям, означает, что вы сомневаетесь,— прозвучал сердито-ласковый французский говорок Жизи.— И сомневаетесь не в себе, а в Кэти.

— Мне просто хочется положить конец чему-то, что еще не началось. И не хочется уезжать от вас не объяснив.

— Вы опоздали. Уже началось. И к тому же у меня ваша черта,— продолжала она, перейдя на английский.— Я могу ждать, и ждать, и ждать!

— Но ждать-то незачем и нечего. Поверьте мне, Жизи.

— Не знаете вы, в чем женская сила и слабость. Я гораздо сильней Кэти, потому что не хочу ничего. Решительно ничего. Я только буду наблюдать и ждать...

— Но ведь бесполезно.

— Nous verrons [1],— сказала она и тронула машину с места. Дома у Жизи, на кухне, их сонливо дожидался Эндрью. Жизи хотела накормить его, но оказалось, что он уже взял себе из холодильника курятины с помидором. А посуду после себя вымыл и убрал. За это Жизи поцеловала его в щеку.

— Аккуратный английский мальчик! — похвалила она.

Внизу в парадном она задержала на момент Мак-Грегора (Эндрью уже вышел на улицу).

— Никому — даже Кэти — не давайте сломить ваш дух,— приказала она свирепым шепотом.— Навсегда запомните: «Крепость твоей жизни гибнет, только если дашь чужой руке ее разоружить». И это в самом деле сказал Эдмон Ростан.

Минут пять они с Эндрью молча шли по панели Елисейских полей. У площади Согласия свернули к Сене, и Мак-Грегор спросил сына, возвратилась ли уже с Ривьеры Кэти.

— Да. Мама звонила, когда я был у мадам Маргоз. Она не спит, ждет тебя,— ответил Эндрью.

Было около двух часов ночи; Мак-Грегор глядел, как извилисто темнеет кромка синей реки в недужном ртутном свете, в бетонных тенях. Но плесы взблескивают, зыблются, как листва прикаспийских берез. И словно о том же напомнила река и Эндрью.

— Я уже принял решение,— сказал он отцу.— Решил вернуться домой.

— В Лондон?

— Нет. В Иран.

— А за каким чертом тебе возвращаться туда?

— Определенно еще не знаю,— ответил Эндрью.— Но больше не хочу оставаться в Европе.

Пауза, только шаги звучат, как отходная всем минутам, часам, годам жизни Мак-Грегора.

— И что же ты намерен делать в Иране?

— Рассчитываю поступить в Тегеранский университет.

— Возможно, и поступишь. Но это неразумно, Энди. Попросту глупо даже.

Перешли пасмурный мост и теперь, на асфальте бульвара, пошли в ногу.

— И все же я решился. Я теперь убежден, что я не европеец. Я и в Англии уже так думал, а во Франции лишь сильней убедился. А стоит мне пожить дольше в Париже, и я вообще студентом не захочу быть.

— Подожди минуту...— Мак-Грегор сел на скамейку. Сыровата, но надо же еще до прихода домой разубедить сына.— Это совершенно на тебя не похоже. Ты с чьего-то голоса говоришь.

— С твоего,— сказал Эндрью.— Ты единственный, кто в самом деле на меня повлиял.

— Мне не до парадоксов. Объясни толком свои мотивы.

— Я не желаю использовать свои политические убеждения для преуспеяния в жизни. Вот и все. Ты тоже в свое время отказался.

— Но зачем из-за этого уезжать из Европы? Да и Оксфорд зачем бросать?

— Мне и Оксфорд опротивел, и Европа. Дайте мне изучать что-нибудь совсем другое в Иране — там проблемы подлинны и ясны. А потом, если придется, вступлю в борьбу, как ты,— не ради себя,

---

[1] Посмотрим *(франц.)*.

а ради того, за что действительно надо бороться. Кому нужны все эти individualité, opacité, volonté[1]?

— Так, так,— сказал осторожно Мак-Грегор, понимая уже, что Эндрью не разубедить сейчас.— Но тебе придется гораздо четче определить свою образовательную цель в Иране, а без этого и не мечтай о моем согласии.

— Я могу специализироваться по персидскому языку и по иранской истории,— сказал Эндрью.— Цель достаточно четкая, верно?

— Мама и слышать об этом не захочет. Она намерена порвать раз и навсегда все связи нашей семьи с Ираном.

— И ты сам тоже намерен порвать?

Мак-Грегор почувствовал, как у него не спеша отнимают все укромные уголки умолчаний — его всегдашние и верные прибежища.

— Всем нам время уже возвратиться в Европу — здесь наше место,— сказал он, вставая.

— Допустим, Сеси здесь и в самом деле место. И маме. Но не мне и не тебе,— возразил Эндрью, шагая рядом с отцом.

— Все, что ты говоришь, настолько полно противоречий, что почти лишено убедительности,— сказал Мак-Грегор.

— А бывают ли мои, твои или чьи-либо действия свободны от противоречий? — ответил сын спокойно, рассудительно, неоспоримо.— Приведи мне хоть один пример.

— Пусть так,— сказал Мак-Грегор.— Но это в данном случае не довод.

Они уже подошли к дому и с минуту глядели на обезображенные кислотой ворота.

— Я подумаю над тем, что ты сказал мне,— невесело проговорил Мак-Грегор.— А сейчас мне самому необходимо съездить в Иран, и ты не предпринимай ничего до моего возвращения оттуда. Хоть это обещай мне.

Эндрью помолчал.

— Ладно,— сказал он.

— И не говори маме ни о своем решении, ни о моей поездке в Иран. Я сам все объясню ей.

— Не беспокойся. Я понимаю,— сказал Эндрью, от природы склонный помочь всякому в беде — будь то случайный встречный на вокзале или подбитый голубь, трепыхающийся в уличной канаве.

Наверху Кэти, сидя в постели, занята была писаньем письма, хотя время близилось уже к трем часам ночи. В свете настольной лампы пышная французская мебель ложилась округлыми грузными тенями на стены, лица, портьеры. Вид у Кэти был устало-напряженный, точно она решила и сейчас не делать себе скидки на изнурительность дня.

— Почему ты так поздно? — спросила Кэти.

— Ездил с Жизи в Пор-Рояль, а от Жизи мы с Эндрью шли пешком.

— Я ведь отправила за тобой машину Мозеля.

— Я предпочел пешком,—ответил Мак-Грегор, поняв, что Эндрью сам догадался отослать машину.

Она глядела, как он молча раздевается.

— Ты и не спросишь, почему я летала с Ги Мозелем в Канн.

— Если пожелаешь сказать, то и так скажешь. Притом время вопросов уже, кажется, миновало.

---

[1] Индивидуальность, некоммуникабельность, воля *(франц.)*.

— Выходит, боишься спросить?

— Выходит,— сказал он, понимая, что Кэти намеренно выбрала момент, когда он, смешной в своих подштанниках, носках, туфлях, стоит и не может снять с себя французскую рубашку.

— Дай расстегну,— сказала Кэти.

— Я сам,— сказал он, продолжая безуспешную, как всегда, возню с запонками.

— Так вот,— спокойно вела Кэти речь дальше,— придется тебе все-таки спросить, а иначе не скажу, зачем летала в Канн. А тебе знать полезно, поскольку дело касается и тебя.

«Снять, пожалуй, носки и кальсоны, а потом уж кончить с запонками»,— решил он. Она безжалостно глядела.

— О чем же спрашивать? Что ты в Канн летала — знаю. Что с Ги Мозелем — знаю. Что еще положено мне знать?

— А ты спроси.

Мак-Грегор молчал.

— Как всегда, боишься,— сказала она презрительно. Сложила написанное письмо, аккуратно вложила в конверт, лизнула клейкий краешек — словно запечатывание было главным делом, а разговор велся так, между прочим.— Ах, да бога же ради, дай расстегну.

Он протянул руки, она выстегнула запонки из манжет.

— Не имею ни малейшего понятия, зачем ты ездила в Канн. Вот весь мой комментарий,— сказал он.

Кэти порылась в бумагах, накиданных на кровати, отыскала нужную, бросила Мак-Грегору. Это был рекламный проспект и при нем цветной снимок небольшой провансальской виллы с оливковыми деревьями по бокам, со сводчатой дверью и красными стенами; широкий дворик был вымощен плиткой.

— Решила купить этот дом,— сказала Кэти.

Мак-Грегор скользнул глазами по описанию.

— Где это? — спросил он.

— За Мандельё, неподалеку от усадьбы Ги. Близ Пегомаса. Я побывала там сегодня.

В описании дом именовался старым mas [1], снабженным современными удобствами, центральным отоплением. Участок в четыре гектара, речка, оливы, сосны...

— А зачем это? Собираешься жить во Франции?

— Буду убегать сюда от английского климата, когда уж слишком будет невтерпеж.

Он вернул ей описание и фотографию.

— Ну как? — спросила она.

— Весьма недурно, мысль удачная.

— Знаю, что тебе все это глубоко противно, тем более что участок расположен невдалеке от мозелевского, и не нужно мне твоих учтивых поддакиваний. Если тебе не нравится, можешь не бывать там. Я для себя покупаю.

— Мне нравится. Выглядит весьма мило.

— Но речь ведь не о том. Почему ты во всех спорах ускользаешь от меня вот так?..

Мак-Грегор пошел в ванную чистить зубы. Вернувшись в спальню, увидел, что все бумаги и письма уже сброшены на пол.

— Собственно говоря, нам полезно будет иногда побыть не вместе. Тебе Ривьера отвратительна. Но я ее люблю и, возможно, стану поспокойней, если смогу уединяться там.

---

[1] Сельским домиком в южнофранцузском стиле.

— Я не возражаю,— сказал он.— Тебе нравится — о чем разговор? Покупай.

— В прошлом мы слишком редко разлучались. Провести время от времени неделю-другую врозь нам не повредит.

— Да, пожалуй.

— Ты все же хочешь отмолчаться. Ускользнуть, как обычно.

— Ты так или иначе сделаешь по-своему, зачем же нам ссориться, Кэти? Делай по-своему. Покупай.

— Этот патологический страх ссоры перерастает у тебя уже в манию. Ведь все равно мы ссоримся, так не лучше ли высказать то, что ты чувствуешь и думаешь, чтобы и я знала.

— Ссорься со врагом своим, а не с любимой,— произнес он по-персидски.

— Никогда больше не говори со мною по-персидски. Никогда!

Они сидели в постели бок о бок. Рука ее плашмя лежала на голубом одеяле, и Мак-Грегор заметил, что концы пальцев дрожат.

— Если бы ты хоть какую-то малость дал мне взамен, хоть чем-то обнадежил, я отказалась бы от покупки.

Он понял, что не сможет сейчас сказать ей о своей поездке.

— Тема ведь не нова. Камень преткновения между нами — дело, за которое я взялся и которое заканчиваю. К чему же споры? Просто дай мне его кончить.

— Да разве кончишь ты когда-нибудь? Ну каким образом, скажи?

Он молчал.

Кэти тяжело откинулась на подушку, выключила лампу на ночном столике.

— Если я куплю этот дом,— сказала она в темноту,— то что-то между нами оборвется. Кажется, понятно говорю?

— Да,— сказал Мак-Грегор.

Глава тридцать пятая

Утром проводили в дорогу Сеси — Сеси в гневных слезах. Даже тетя Джосс вышла из своего убежища, обутая в сабо, и постояла в дверях, помахала рукой, точно Сеси отправлялась на веселую прогулку с друзьями. Сеси уехала в своем «ситроене», провожавшие вернулись в дом. И тогда Мак-Грегор вышел за ворота и направился через Сену на Елисейские поля, в агентство Британской авиакомпании — узнать, летают ли самолеты в Тегеран.

Клерк авиакомпании сказал ему, что английские лайнеры летают на Тегеран из Брюсселя; до Брюсселя же ходят автобусы.

— Заказать билет можете, но полет не гарантируем. Если не сможете использовать билет, стоимость вам, вероятно, полностью вернут.

— Понятно.

На стене, над головой у клерка, рекламный плакат изображал индонезийскую куклу-марионетку, надпись поперек изображения гласила, что Британская авиационная компания доставит вас и туда, и оттуда. Плакат бил на логику и лаконизм.

— Итак, бронировать вам место?— спросил клерк.

— Да.

— На какое число?

— Если можно, на пятницу.

— До пятницы у нас с вами три дня...

За три дня Кэти, быть может, поймет правильность его действий. И уж за три дня представится удобный случай сказать ей о поездке.

— На пятницу место, думаю, будет,— сказал клерк и задал обычные вопросы: гражданство, фамилия, имя, адрес.— Есть ли иранская виза?

— Есть,— ответил Мак-Грегор. Назвал себя. Адреса в данный момент не имеет, укажет его завтра, когда зайдет за билетом.

— Если завтра, то с утра приходите,— сказал клерк.— На полдень здесь назначена большая манифестация, все улицы будут забиты. Сегодня — коммунисты на площади Бастилии, а завтра будут манифестировать голлисты здесь, на Елисейских полях. И на этот раз решится, кто в нашем хозяйстве босс.

Мак-Грегор поблагодарил и ушел. Вернувшись домой, он услышал голос Кэти, оповещавший из кухни тетю Джосс:

— Сейчас я сама займусь ленчем.

Мак-Грегор торопливо предупредил в холле Эндрью:

— Я еще не говорил маме, что уезжаю в Иран, так что ты молчи пока.

— А ты скажи ей не откладывая.

— Нельзя,— покачал головой Мак-Грегор.— Она сейчас и без того расстроена.

— Тебя хочет видеть Таха,— сказал Эндрью.— Он сегодня днем будет участвовать в манифестации, которую проводят ВКТ с профсоюзами. У него к тебе дело. Я знаю, где Таху искать, пойдем вместе.

— Хорошо,— сказал поспешно Мак-Грегор, видя, что из кухни выходит Кэти.

Кэти словно чутьем угадала, о чем у них разговор.

— Ты на сегодняшнюю демонстрацию не пойдешь,— сказала она сыну.

— Но ведь сегодня и завтра — решающая конфронтация. Все прежние не в счет.

— Ги предостерегал меня вчера: ты якшаешься с Тахой, с курдами, с иранцами. Если тебя поймают, как поймали Сеси, то, как и ее, выдворят из Франции. И я теперь пальцем о палец не ударю. Понесешь наказание полностью.

Эндрью наклонился, поцеловал мать.

— Не тревожься, мама. Я не так красив, как Сеси, и не привлекаю такого внимания.

— Я с ним пойду,— сказал Мак-Грегор.

Кэти поглядела на мужа с подозрением и за ленчем подчеркнуто молчала.

По дороге на площадь Бастилии Эндрью читал вслух газету. Сегодня, говорилось там, один из решающих для Франции дней. Даже Кон-Бендит тайно переправлен опять во Францию. «Но все студенты, включая кон-бендитовское «Движение 22 марта», бойкотируют сегодняшнюю манифестацию ВКТ,— читал Эндрью,— поскольку профсоюзы отвергают лозунги студентов».

— Нет, студенты бойкотировать не станут,— сказал Мак-Грегор.— Профсоюзы им больше нужны, чем они профсоюзам.

— «Передают,— продолжал читать Эндрью,— что де Голль покинул вчера Париж в 11.30 утра, а в Коломбе́ у себя появился лишь в 5.30 вечера. Никто не знает, где он провел день. Армия уже взяла Париж в кольцо и ждет».

Дойдя до бульвара Бомарше, они остановились — путь преградили густые колонны демонстрантов, двинувшиеся уже от площади Бастилии к площади Республики с пением «Прощай, де Голль, прощай».

— Постоим здесь, дождемся курдских студентов,— сказал Эндрью.— Они где-то ближе к хвосту будут, и с ними Таха.

Транспаранты и знамена служили как бы пояснениями к шествию,

сжатыми и четкими. Длинен был перечень манифестантов: шли медики, учителя, шли парижане... Наконец, дождались Тахи; выйдя из рядов, он подбежал к Мак-Грегору и Эндрью и за руку потянул их в колонну.

— Нет,— сказал Мак-Грегор.

— Но у нас ведь с вами разговор есть, дядя Айвор. А где безопасней вести разговор, чем в колонне?

Демонстранты приняли их в свою гущу. Здесь шли курды, персы, арабы, даже турки, и всеми средствами скрывали свою чужеземность, ясно отпечатанную на лицах. Эндрью тут же растворился среди знакомых. Прошагали мимо афиши Зимнего цирка, и кто-то выкрикнул: «Де Голля — в цирк!» Все засмеялись, но Таха и не улыбнулся — не для улыбок он здесь шел.

— Вы когда едете?— спросил он Мак-Грегора.

— В пятницу.

— Послепослезавтра?

— Раньше не могу,— сказал Мак-Грегор коротко.

— Значит, с отцом, с кази увидитесь в понедельник или вторник.

— Если не будет задержки.

— Кто же вас задержит?

— Иранцы, стоит лишь им узнать, с какой целью еду. Кто угодно может задержать. Даже и в Европе. Все тут сейчас насторожились, Таха.

— Никому пока не известно, зачем вы едете.

— Выведают непременно. Сам знаешь.

— Это верно.— Таха помолчал, дожидаясь, пока студенты впереди кончат скандировать лозунги.— Мы узнали, что те ящики с оружием выгрузят в турецком порту седьмого июня и что ильхан будет встречать грузовики десятого числа в долине Котура, но не там, где я думал, а у летних пастбищ. Так что Затко нужно туда прибыть к девятому июня.

— Но насколько достоверны ваши сведения?— спросил Мак-Грегор.— Я не хочу везти кази сомнительную информацию. Ты тщательно проверь.

— Наши турецкие друзья подтверждают.

— А может быть, намеренно дают ложные сведения?

— Нет. Они нам не лгут.

— Хорошо, верю тебе. Но как удастся Затко добраться до Котура? Это ведь почти на самой турецкой границе, и ему придется пройти вдоль целой цепи пограничных постов.

— Ему просто надо будет взять Кемийским хребтом, по турецкой территории.

Мак-Грегор отвел от себя рукой плещущий в лицо флаг.

— Затко слишком слаб теперь для такой дерзкой операции. А другого выбора нет?

— В том-то и дело,— сказал Таха.— Но это еще не все. Я вот что хотел вам сообщить. В Тулон сейчас пригнали еще три вагона с оружием и боеприпасами. Доставили из Бельгии для ильхана. И все вместе повезут на этом судне.

— От них такого трюка и следовало ожидать,— горько прокомментировал Мак-Грегор. Переждав, когда доскандируют, допоют призывы, он спросил Таху:— А ты когда поедешь?

— Завтра или послезавтра.

— Но как ты доберешься?

— Не беспокойтесь, дядя Айвор. Доберусь и сразу же свяжусь с отцом. Вы только постарайтесь убедить их, чтоб десятого были у Котура. А дальше уж отец будет знать, что делать.

Возле ресторана «У Женни» шествие остановилось, возник затор. На балконе небольшого дома появился человек с 16-миллиметровой кинокамерой и навел ее на иностранных участников манифестации. Мак-Грегор поднял глаза — камера была нацелена именно на него с Тахой.

— Salaud![1] — крикнул кто-то.

Таха метнулся в подъезд, как ныряющий за рыбой зимородок; человек с камерой и не успел заметить. Таха взбежал на второй этаж, выскочил на балкон, и после короткой борьбы пленка, выхваченная из камеры и засвеченная, повисла с перил, точно серпантин. Не успели снова тронуться, как Таха невозмутимо вернулся в ряды, встреченный одобрительными возгласами.

— Вам же постоянно грозит опасность,— сказал Таха, переводя дух.— Остерегаться надо, дядя Айвор.

— Ты уж молчал бы...

— Что ж, молчу,— пожал плечами Таха.— Но Эндрью я предупреждал — Эндрью должен бы оберегать вас.

— А я тебя предупреждал, чтобы ты не впутывал Эндрью,— сердито сказал Мак-Грегор.

— Никто его не впутывает. Но если с вами что-нибудь случится по его недосмотру, разве не будет он потом каяться всю жизнь?

— Со мной ничего не случится. Во всяком случае, в Париже.

Они достигли уже площади Республики — конца маршрута. «Служба порядка» в зеленых нарукавных повязках размещала прибывающих на площади, стараясь сбить двести тысяч участников в сплоченную массу. Кругом зазвучали призывы Народного фронта, затем пение, и над пением снова взлетали скандируемые лозунги и язвительные выкрики в адрес президента.

— Вот что...— Вынырнувший откуда-то Эндрью тронул отца за рукав.— Пойдем-ка, а то застрянем надолго.

Таха остался, сказав, что побудет еще, послушает «дас-а-бас» — по-курдски это означает «новости», а буквально «шум и говор». До отъезда, сказал Таха Мак-Грегору, он еще наведается к ним. Мак-Грегор с Эндрью протиснулись из поющей толпы на обочину. Из чьего-то транзистора донеслось до них, что Мендес-Франс наконец-то сел на белого коня: объявил, что если де Голль уйдет завтра в отставку, то он, Мендес-Франс, готов будет внять призыву нации.

Эндрью засмеялся, но задерживаться у радио не стали. Проталкивались дальше сквозь тесноту на тротуарах; за спиной глохли обрывки новостей: «Сегодня де Голля видели прогуливавшимся в парке в Коломбе... Наготове стоял вертолет. Пилот в защитной форме держал в руке карту... Но по какой причине...»

— Завтра французы вынут затычку из бочки,— произнес по-французски Эндрью, когда они вырвались наконец из пыли и давки проспектов, сходящихся к площади.

«Завтра,— подумал Мак-Грегор,— придется сказать Кэти о поездке».

День начался не с этого. Мак-Грегор прежде дождался звонка из Лондона, от Сеси. «Доехала благополучно. Так все это глупо...» Позавтракали. За столом затем Мак-Грегор просмотрел газеты этого судьбоносного для Франции дня. Де Голль вернулся в Елисейский дворец; федерация левых сил созывает совещание без участия коммунистов; по мнению коммунистов, не может быть возврата к политике

[1] Мерзавец *(франц.)*.

третьей силы или к правлению мага-чудотворца. Эндрью прочел вслух из «Комба», из вложенных туда полос «Канар аншене» [1], что последним, решающим шагом явится выбор между де Голлем и коммунистами. Все же прочие, по существу — лишь союзники первого или вторых.

— В понедельник я возвращаюсь в Лондон,— объявила Кэти и встала из-за стола.

Переглянувшись с Эндрью, Мак-Грегор последовал за ней наверх. Закрыл за собой дверь спальни, как бы отрезая себе отступление.

— У тебя деньги есть? — спросила Кэти.

— Во французской валюте?

— Да.

— Франков двести.

— Дай их мне. Нужно уплатить тете Джосс за купленные вина и напитки. А больше у тебя нет разве?

— Я возьму сегодня.

— Надо еще по меньшей мере сто франков.

— Хорошо.

— Уж эту малость мы просто обязаны.— Тон у Кэти был такой, словно Мак-Грегор отказывался до сих пор платить; но он понимал, что этим тоном Кэти хочет заставить его перейти к обороне еще до начала разговора. Он помедлил, глядя, как Кэти ищет туфли в одутловатом гардеробе.

— Я заказал билет на завтра — улетаю в Тегеран,— проговорил он.— Надо ехать спасать, что еще можно спасти. Я должен объяснить кази, что произошло здесь.

Кэти застыла — на одно лишь мгновение. И вышла, хлопнув дверью ему в лицо. Он пошел за ней.

— Послушай, Кэти,— сказал он.— Мне ведь пустяк остался, дай мне спокойно кончить, а затем я рад буду распроститься с ними навсегда. Они должны воспрепятствовать доставке оружия. Я еду лишь затем, чтобы разъяснить им это. Иначе все мои прошлые усилия там, все насмарку...

Не отвечая, не останавливаясь, она спустилась во двор. Он шел следом молча, беспомощно. Она вышла в ворота, он сунулся было за ней, но она оттолкнула его. В лице, во всех движениях ее была не жестокость и не жесткость, но окончательность. Глаза заплыли слезами.

— Не хочу больше и быть с тобой в одном доме. И говорить не хочу.

— Но бога ради...

— Из гор оттуда,— гневно, сквозь слезы рубила она слова, толкая на него створку ворот,— из гор оттуда ты сейчас живым не вернешься...—У нее перехватило голос. Сильным толчком она закрыла ворота.— И поделом тебе будет,— донеслось сквозь старую ограду.— Сам напрашиваешься!

Он постоял, послушал ее быстрые уходящие шаги. Потом направился обратно в дом. Навстречу ему сбежал с лестницы Эндрью.

— А я за тобой. Из Лондона звонят.

Мак-Грегор вошел в кабинет, взял трубку. Сеси, наверное. Но нет, телефонистка из Лондона спрашивает мистера Айвора Мак-Грегора.

— Слушаю вас.

[1] «Комба» — орган голлистской партии; «Канар аншене» — юмористическая газета, специализирующаяся на политической сатире.

Телефонистка объяснила, что вызывает Тегеран и вызов пущен через Лондон, потому что связисты бастуют, автоматическая же линия Лондон—Париж работает.

— Алло, это я.— Звонил Джамаль Джанаб из Тегерана, из управления ИННК; слышно было, как он надсаживает горло в своем стеклянном кабинете, отдавая дань важности и дальности разговора.

— В чем дело, Джамаль? Что случилось?

— Обрадовать тебя хочу,— кричал Джамаль.— Ты меня слышишь?

— Да, да.

— Ты назначен на пост постоянного представителя ИННК в Женеве, в Комиссии по мировым запасам и ресурсам.

— Так. Когда назначен?

— Сейчас, сегодня. Ну как, рад?

— Конечно.

— А что еще важней,— возбужденно продолжал Джамаль,— мы выставляем твою кандидатуру в директорат комиссии. И поскольку все знают тебя и твои теоретические труды, ты без труда получишь директорский пост, клянусь тебе. И это, хабиби, будет, наконец, вознаграждением твоих многолетних заслуг.

Мак-Грегор бросил взгляд на своего стройного сына, стоявшего у окна. Поглядел на вазу с увядшими листьями, сохнувшими на подоконнике лет двадцать.

— Алло, ты слушаешь?

— Да. Новость прекрасная,— воскликнул Мак-Грегор по-персидски.— Великолепная! И я знаю, кому обязан ею. И сто, тысячу раз обнимаю тебя, Джамаль.

В ответ Джамаль стал цветисто превозносить заслуги Мак-Грегора.

— Друг мой, друг мой,— взволнованно повторял он, и Мак-Грегор чувствовал, как переполняет Джамаля горячая вера в семью, дружбу и преданность другу.— Но...— произнес драматически Джамаль и длил паузу, пока Мак-Грегор не спросил:

— Но что?

— Прошу, хабиби. Не делай ничего, что может погубить радость. Не восстанавливай против себя. Не давай себя ни во что впутать... у нас в горах. Ты меня понимаешь.

«У нас в горах». Мак-Грегор невольно с грустью усмехнулся. Не одному ему, а тысяче подслушивающих сейчас ушей понятен намек Джамаля.

— Я тревожусь за тебя,— продолжал Джамаль.

— Я приеду, повидаемся,— сказал Мак-Грегор.— Не слишком тревожься, Джамаль. Все будет хорошо.

— Прошу тебя!— снова воззвал Джамаль.— Береги себя, прошу.

— Ну, разумеется. «Пройду, не смяв и лепестка»,— пообещал Мак-Грегор.

Поделились семейными новостями, и Джамаль сообщил, что дочурка его лепит чудесных зверюшек из английского пластилина.

— У меня на окне целый зоопарк, да только у слонов хоботы все отваливаются, а у обезьян — хвосты,— со смехом сказал Джамаль. Опять повторил поздравления и опять, и наконец после многократного обмена персидскими изъявлениями взаимной любви, уважения, веры Мак-Грегор положил трубку.

— Ну, ничего такого? Все в порядке?— спросил Эндрью.

— Да. Все в порядке,— кратко ответил Мак-Грегор.

Глава тридцать шестая

Это был последний день его в Париже; он шел в агентство Британской авиакомпании за билетом, и Эндрью шел вместе с ним. Ночью дважды гремели взрывы в конце улицы, и на Левом берегу не улеглись еще ночные гулы.

Вручая Мак-Грегору билет, клерк сказал, что автобус отправится в Брюссель в девять утра от гостиницы «Континенталь».

— Но советую — поменьше багажа,— предупредил клерк.— Места в автобусе мало.

Возвратились домой, и Мак-Грегор написал Сеси короткое письмо, велел слушаться маму. Подошло обеденное время, а Кэти все не было, и Мак-Грегор спросил сына, молчаливо наблюдавшего за ходом родительской ссоры:

— Куда бы нам сходить поесть?

— Дожидаться выступления де Голля лучше всего будет в «Ротонде», там когда-то Ленин назначал встречи Лонге.

Но оказалось, что «Ротонда» теперь — полуресторан-полукинотеатр. Пошли поэтому в «Купол», сели там на кожаных банкетках. Было начало третьего, а речь де Голля — в четыре, но «Купол» уже перекипал от ожидания.

— Ты читал роман Золя «Париж»?— спросил Мак-Грегор сына.

— Нет, только предисловие Гюго, нам его в лицее задавали.

— Золя, должно быть, вдохновлялся здесь, в «Куполе»,— сказал Мак-Грегор.

Принесли заказ. Мак-Грегор успел уже забыть, что заказал, и удивился, увидев перед собой на блюде форель. Вокруг ели, разговаривали, спорили. Эндрью все поглядывал на часы, и вот официант включил радио. Шансонье допел «Мари», затем торжественным предвестием прозвучала классическая увертюра, и наконец раздался старозаветный, гневный, металлический голос де Голля, обращающийся к француженкам и французам.

Президент объявил, что не уйдет в отставку. И что правительство не уйдет в отставку. Выбор у нации лишь между ним и коммунистами. Но коммунистический путь — не для Франции. Он предлагает парламентские выборы и референдум. В случае же отказа употребит силу власти для восстановления порядка в стране. «Силу власти» — раздельно и гулко прозвучали слова. Впредь до выборов Национальное собрание распущено. И на этом президент поставил точку.

«Купол» зашумел. «Восемнадцатое брюмера!» «Второе декабря!» «Тринадцатое мая!» Волнение вокруг напоминало переполох на фондовой бирже.

— Куполянам не по вкусу. Они возмущены,— заметил Эндрью.

— По вкусу им или не по вкусу, разница невелика,— сказал Мак-Грегор.— Все кончено.

Уплатив по счету, они вышли и под зеленовато-бледным солнцем направились на тот берег поглядеть, как двести тысяч голлистов шествуют по пыльным Елисейским полям с пением «Марсельезы». Мак-Грегор любил «Марсельезу». Но, глядя на этих торговцев, собственников, дельцов, на женщин в пальто верблюжьей шерсти, он просто не мог поверить, что крестьянские сыны, французские солдаты окружили Париж в танках и бронетранспортерах, чтобы защитить бумажные трехцветные флажки, торчащие в шляпах голлистов.

— И вот так поставлен крест на великой парижской революции,— сказал Эндрью.

Они пошли обратно на Левый берег, а за спиной голлисты выкрикивали: «Liberté, liberté, liberté!» И на этом расставался Мак-Грегор с

Францией, и ему стало грустно, когда высокие, пегие от кислоты деревянные ворота захлопнулись, отгородив собой Париж.

Он очень удивился, увидев в кабинете тетю Джосс, занятую разговором с Кэти и Мозелем. Точно пришло наконец время обрести телесность этому застенному тоненькому голосу. Будто и не заметив Мак-Грегора, тетя Джосс поцеловала Эндрью в щеку, затем в губы, и Ги Мозель воскликнул со смехом:

— А отца так и не поцелуете?

— Я его не понимаю,— гордо выпрямилась тетя Джосс.— Он меня пугает...

— Мак-Грегор пугает? Боже правый!

— Эндрью, принеси мои сабо,— сказала тетя Джосс.— Я выйду прогуляюсь.

Выходя из дому, тетя Джосс обувала бретонские сабо и обильно умащала лицо и ноги лосьоном от комаров и от свежего воздуха, так что сабо были сплошь в пятнах лосьона. Тетя Джосс направилась к дверям, и Мак-Грегор, которого она так и не подарила ни словом, ни взглядом, встал почтительно вместе с Мозелем; слышно было, как в холле она говорит Эндрью:

— Проводи, голубчик,— не дай бог, оступлюсь еще.

— Для тети Джосс это прямо предел тактичности,— небрежно заметила Кэти, ни к кому в особенности не обращаясь; но у Мак-Грегора осталось чувство, что до него они втроем плели здесь какой-то семейный заговор.

— Мы почти весь день оформляли покупку виллы,— любезно сообщил Мозель, и Мак-Грегору ничего не осталось, как настроиться тоже на любезный тон (ну, что поделаешь с Мозелем).— Мы, собственно, разыскивали вас. По французским законам для оформления требуется муж.

— Я ходил с Эндрью на Правый берег поглядеть на демонстрацию голлистов,— сказал Мак-Грегор.

— Голлистские демонстрации — недурной образчик малограмотности,— заметил Ги.— Мы заглянули в «Купол» подкрепиться,— продолжал он,— и видели там вас с Эндрью. Но к тому времени нужда в вас уже отпала, а вдвоем вы составляли такой милый тет-а-тет, что мы решили не нарушать его.

Мак-Грегора подмывало дать отпор этому странному, неуловимому какому-то захвату его семейных прав и обязанностей, но он понимал, что сейчас не время.

— Ах, да скажите ему, Ги,— нетерпеливо проговорила Кэти.

Мак-Грегор похолодел от предчувствия. Кэти от него уходит, и Мозель сообщит сейчас об этом с обычным своим деловитым шармом и здравым смыслом — в порядке, так сказать, простого честного обмена информацией между двумя порядочными людьми.

— Я слышал, вы завтра едете в Тегеран,— с улыбочкой начал Мозель, словно решив попутно внести и сюда ясность.

— Да...

— Так ли уж необходима поездка? Так ли важна?

— Надо там привести кое-что в порядок,— сказал Мак-Грегор.

— Вы совершаете ошибку,— сказал Мозель.— Поверьте мне...

— Но почему же?

— Потому что воспрепятствовать ильхану в получении оружия вы не сможете, а лишь ухудшите свои отношения со всеми.

— Ну нет, не со всеми.

— Даже курды вас не поблагодарят при данной ситуации. Вы не можете не знать, что иранцы не потерпят ваших действий там.

И американцы не потерпят, и англичане, и французы, не говоря уже о турках. Чего же вы добьетесь своей поездкой?

— Не знаю,— сказал Мак-Грегор.— Знаю лишь, что нельзя позволить такого беспардонного постороннего вмешательства.

— Но вам угрожает опасность,—продолжал Мозель не слушая.— Вы должны задуматься над тем, чем грозит вам сейчас возвращение туда.

— Опасность мне и раньше угрожала,— сказал Мак-Грегор.— Не над чем особенно задумываться.

— Это глупость и ложь! — рассерженно сказала Кэти, обращаясь уже прямо к Мак-Грегору.

Мак-Грегор все пристальней глядел на Кэти: неужели она сама попросила Мозеля прийти отговорить его от поездки? Невероятно — однако факт! И факт неожиданно радостный.

— Благодарю за беспокойство обо мне,— сказал он Мозелю.— Но вы, видимо, не понимаете, чем чревато для курдов такое вмешательство.

— Допустим, что не понимаю. Но гревогу Кэти я понимаю. И прошу вас подумать прежде хорошенько.— (Это снова прозвучало так, словно он, Мак-Грегор, не муж, а всего лишь друг дома.) — Ваша фантастическая затея лишена всякого шанса на успех.

— Какая затея?

— По словам Кэти, вы намерены устроить засаду, подстеречь грузовики где-то на иранской границе.

— Как у тебя язык повернулся, Кэти? От кого ты это слышала? — вскинулся пораженный Мак-Грегор.

— От тебя,— ответила Кэти.— Ты мне сказал вполне достаточно. Об остальном сама догадалась.

— И ты должна была выболтать?

Неожиданная радость, которую доставила ему Кэти минуту назад, испарилась. Слишком далеко зашло ее слепое доверие к Мозелю.

— Успокойтесь,— произнес примирительно Мозель.— Я умею хранить то, что доверяет мне Кэти. Но ведь это правда, Мак-Грегор?

Мак-Грегор мрачно молчал.

— Учтите,— мягко продолжал Мозель,— американцы держат на базе Бустан в Турции два десятка вертолетов, совершающих облеты всех горных дорог. Американцы не информировали иранцев о том, что происходит с этим оружием, но турки-то знают. И турки будут бдительно следить. У вас ни малейшего шанса, Мак-Грегор. Неужели вы не видите, что дело это теперь гиблое?

— Оно и прежде было гиблое,— сказала Кэти.— С самого начала. Но ты упорно закрывал глаза на правду.

— Так или иначе,— сказал Мозель,— но неминуемость трагического финала для меня очевидна. Она бросается в глаза.

— Да и к тому же,— вырвалось сердито у Кэти,— ты им не нужен. Поздно теперь ехать туда со своими советами или с чем иным.

— Я не с советами. Я еду сообщить им о случившемся — и предостеречь.

Мозель встал с кресла.

— Не делайте этого, Мак-Грегор,— сказал он.— Не ездите пока, держитесь в стороне от Курдистана. Подальше держитесь.

— У них там уже приготовлена тебе встреча,— сказала Кэти.— Неужели предупреждения Ги надо еще тебе разжевывать?

— Нет, пожалуй, не надо.

— Вот и держитесь в стороне,— жестко сказал Ги, но тут же улыбнулся дружески.— Хотя бы ненадолго, Мак-Грегор.

Мак-Грегор не ответил, и Мозель пожал плечами. Подал руку, прощаясь, и пошел к выходу в сопровождении Кэти.

— Я не могу их теперь покинуть,— сказал Мак-Грегор вслед Мозелю.— Это невозможно.

Мозель хотел было что-то ответить, но Кэти коснулась его локтя:

— Ради бога, не тратьте сил и слов попусту. Все равно он не послушает.

— Сожалею, Мак-Грегор,— сказал Мозель.— Я пытался — ради Кэти. Думал, вы поймете.

— Что поделать...— сказал Мак-Грегор.

Когда Кэти вернулась, она не плакала, хотя глаза подозрительно блестели. Она держалась холодно, зловеще-рассудительно.

— Раз так, то я уже тут бессильна,— сказала Кэти.— Можешь делать что хочешь и можешь уходить совсем. Как с женой ты со мной сейчас прощаешься.

Он не отвечал.

— Не веришь мне?

«Не верю»,— покачал он головой.

— И что я изменила, не веришь?

Он опять покачал головой.

— Уходи,— сказала она.— И все, и не возвращайся.

— Ох, Кэти,— сказал он.— Не хочу я ехать туда. В самом деле я с этим покончил. Но снова повторяю — осталось одно-единственное, что я должен еще сделать. Должен.

— Должен — так делай,— сказала она.— Но уходи. Говорить с тобой бесполезно. Ты поймешь, только когда вернешься. Тогда ты осознаешь...

— Зачем ты так? — с укором сказал он.

Она поглядела — точно издалека, точно он исчезал уже за горизонтом.

— Уходи и все,— сказала она твердо.— Уходи.

Он протянул к ней руку ласковым жестом.

— Не тронь,— резко сказала Кэти.— Думаешь, пойду на поводу, как глупая и покорная жена. Ни за что! — И, подымаясь по лестнице, она громко повторяла: — Ни за что! Ни за что! Ни за что!

Часть V

Глава тридцать седьмая

Снег на горах уже сошел; русла речек, искрасна-серыми жилками бегущих обычно по восточным склонам Даланпара, были этой весной сухи. Казалось, теперь не конец мая, а середина лета. Но Мак-Грегор знал, что на той стороне хребта картина иная. Указав на два длинных кряжа, именуемых по-курдски Кар и Кари (что в сочетании значит «нарядные»), он сказал Тахе:

— Здесь-то сухо, но вот увидишь: та, западная сторона вся в цветах.

— А почему так?

— На этих сланцевых склонах при раннем снеготаянье вода стекает по западному боку, а восточный остается сухим и голым.

Не видно было ни больших альпийских маков, ни астрагала, ни чуфы, ни первоцвета, ни похожих на дикие орхидеи цветов паразитической филипии. Но Таху цветы не заботили.

— Мы потратим еще два дня на переход хребта,— сказал он недовольно,— а зачем нам это, не знаю.

— За нами следят отовсюду,— сказал Мак-Грегор.— Надо двигаться как можно незаметней.

— Но, дядя Айвор,— возразил Таха,— мне ведь идти дальше, чем вам, и нужно спешить. Почему б не сойти на дорогу, не взять прямо через керкийские и заргайские деревни?

— До сих пор мы шли скрытно, и глупо будет теперь себя обнаруживать,— твердо сказал Мак-Грегор.

Сам Таха действовал весьма скрытно, покидая Париж,— провел всех, даже Мак-Грегора. Автобусом доехав до Франкфурта, оттуда Таха полетел в Афины через Рим. А в Риме сошел и пересел на самолет Британской авиационной компании, тот самый, которым направлялся в Иран Мак-Грегор. Сходя по трапу в Тегеране, Мак-Грегор почувствовал чей-то легонький толчок локтем — и только здесь узнал Таху.

— Черт возьми! — сказал Мак-Грегор.— Что это ты сделал со своим лицом?

— Да ничего,— скромно ответил Таха.— Обстриг усы и слегка брови подбрил, чтобы как на фото в паспорте.

— С фальшивым паспортом тебя тут задержат,— предостерег Мак-Грегор, когда вошли в душное здание аэропорта.

— Он не фальшивый, он настоящий,— успокоил Таха.— Мне студент-перс в Париже дал свой паспорт.

— А что он сам будет делать без паспорта? — спросил Мак-Грегор, пробираясь с Тахой среди пассажиров к полицейскому контрольному барьеру.

— Через неделю-две заявит, что паспорт украли, а к тому времени я сожгу его, и кто меня тут будет помнить?

У барьера обошлось без каверзных вопросов, и, обменяв часть своих денег на иранские, они беспрепятственно вышли из аэропорта. Междугородными автобусами они добрались сперва до Тебриза, далее обогнули озеро Урмию с севера — через Багам, Мадад и Миллус. Затем ехали грузовыми машинами, сельскими автобусами, повозками и теперь, пешком пройдя по узким курдским долинам в обход горы Делага, направлялись к тому уголку земли, где сходятся границы Ирана, Ирака и Турции. Было решено, что оттуда Таха пойдет один, чтобы, собрав своих бунтарей, спуститься с ними в долину Котура. Но прежде, сказал Таха, нужны точные известия от кази и Затко. Пока же от них не было ни слуху ни духу; крестьяне-курды ничего не знали.

— Все уже боятся, и чем дальше, тем больше,— хмуро говорил Таха. Они шли к пастушьей деревушке, убого и малозаметно лепящейся по голым сланцевым скатам.

— А благодарить надо, конечно, Фландерса,— сказал Мак-Грегор.— Это он здесь подготовил почву для ильхана и Дубаса.

В предгорьях им рассказывали, что англичанин, опекающий детей, ходит по деревням и призывает жителей быть осторожными ради своих детей. Надвигается, мол, беда...

— Закишело трусливыми слухами,— сжимал кулаки Таха.

В последней пройденной ими деревне староста сообщил, что кази умер в Ираке, а Затко схвачен в Турции и повешен.

— Да кто тебе сказал? — сурово спросил Таха.

— Контрабандист больной один тут проходил неделю тому назад. Нет, десять дней тому...

— То был предатель и трус,— сказал Таха, и староста, видя, что

имеет дело не с мелкотравчатым, а с высокого полета, образованным курдом-политиком, стал оправдываться:

— Вины моей тут нет. Не гневись.

— А ты не повторяй безмозглых слухов.

Поднявшись к деревушке Аснаф — к скоплению полупещер-землянок, вырытых в унылом косогоре,— они застали там только старух, детей да двух-трех оборванных стариков, грызущих семечки. Старики встретили их с неожиданной важностью, чувствуя себя тут главными в отсутствие мужчин-пастухов. Кази всего лишь день-два назад стоял лагерем на здешнем высокогорном плато, сказали старики.

— Откуда вам известно? — спросил Таха.

— Нам все известно, что происходит у нас в горах,— бойко отвечали старики.

— Ничего вы, старые, не знаете,— сказал Таха и обратился к деревенским мальчишкам, отгонявшим дворняг. Мальчишки закукарекали петухами, передразнивая старичье, засмеялись:

— Да они путают всех со всеми. Это ильхановцы на плоскогорье воров искали.

— Ильхановцы здесь? — удивился Мак-Грегор.— А вы точно знаете?

— Да на что нам врать? — возмутились мальчишки. Старики и старухи визгливо вмешались, поднялся крик и спор, залаяли собаки.

— Хватит вам! — крикнул Таха.

Невольно засмеявшись («Вечный курдский кавардак!»), Мак-Грегор сказал Тахе:

— Тут давай и заночуем. Мы почти на иракской границе, и если ничего не узнаем от пастухов, когда вернутся вечером, то я пойду на ту сторону гор, в ближнее иракское селение.

— Чтобы напороться на иракские армейские заставы,— насмешливо сказал Таха.

— Кази и Затко по-прежнему уходят от столкновений с ильханом, и, значит, искать их надо именно в той стороне,— ответил Мак-Грегор.

Старухи устроили их в углу сарая, они поужинали взятыми с собой мясными консервами и черствым хлебом, а затем вернулись с пастбищ мужчины и молодые женщины. Люди были в отрепьях, гурты малочисленны. Сушь, бестравье губит ягнят и козлят, жаловались пастухи. Год будет худой. Пастухи сидели у кизячного костра, подбрасывали туда мох и говорили о своих бедах, и Мак-Грегор, присев на пятки, слушал, как Таха призывает их кончать с первобытным прозябаньем, подыматься на подлинную курдскую революцию против всех феодалов и чужеземцев.

— Каждый курд должен исполнить долг, не жалея жизни,— говорил Таха.

Дальнейшее расплылось в ночном воздухе. Мак-Грегор задремал. Когда Таха разбудил его, костер уже погас, пастухи разошлись, и было темно, сыро, холодно.

— Наверное, вы правы,— сказал Таха.— Они говорят, что кази и Затко на той стороне. Но на перевалах засели ильхановцы и хватают всех курдов, какие пробираются в Ирак по старым контрабандистским тропам.

— Как это люди ильхана сюда забрались? — сказал Мак-Грегор.— Кто им здесь помогает?

— По словам пастухов, тут вертолеты летают кругом, одних курдов увозят, других стреляют.

— Чьи вертолеты?

— Чьи неизвестно. Но все убеждены тут, что Затко уже несколь-

ко недель назад схватили, увезли в Турцию и расстреляли. Я думаю, это ложный слух, пущенный ильханом.

— А может, и правда,— мрачно сказал Мак-Грегор.— Тем более что в их распоряжении вертолеты.

Они улеглись в сарае. Таха закинул руки за голову, спросил:

— А как защищаться от вертолета?

— Одно-два метких ракетных попадания, пожалуй, верней всего,— сказал неуверенно Мак-Грегор.— Но нужно реактивное ружье, а лучше — несколько.

— Придется нам раздобыть их,— сказал Таха, похрустывая сцепленными пальцами в жесте мусульманского омовения — жесте устарелом и глупом, по его же собственному мнению.

Где именно Таха собирается достать реактивные ружья, Мак-Грегор так и не узнал — уснул.

Утром, подымаясь с пастухами из каменистой лощины, они увидели, что перевал, ведущий в иракскую деревню, патрулируют два одетых по-курдски всадника с винтовками.

— Это ильхановцы вас ищут,— сказал молодой пастух в иракских армейских ботинках, доставшихся ему, должно быть, от какого-нибудь контрабандиста.

— Черт подери,— сказал Таха.— Выходит, они сплошную паутину сплели. Откуда они знают, что мы здесь?

— А по радио.

— Что ж у них, радиостанции на седлах? — зло усмехнулся Таха.

— А это куцые такие ящички.

— Да знаю я,— сказал Таха.

Дойдя до удобной для скрытного подъема расселины, они простились с пастухами и стали взбираться по сухим косогорам на высокий водораздельный гребень, к висячему пешеходному мостику, переброшенному много лет тому назад через теснину.

— Через этот ветхий мост конному за нами не пройти,— сказал Мак-Грегор.— А если поскачут в обход, то потратят на это день или больше.

— Но куда нас этот мостик приведет? — сказал Таха, задрав голову и глядя на кряж, куда им предстояло карабкаться. Таху опять уже сердила осторожность Мак-Грегора.— Застрянем на горе, потеряем там уйму времени, пока спустимся на тот бок.

— Если только отец твой жив, то непременно у него за мостом поставлен дозорный, а от дозорного уж мы, наверно, узнаем, как и что.

— Все не так и не то,— вырвалось у Тахи.

— О чем ты?

Таха сердито обвел рукой горные дали.

— Глупо, голо, бесплодно все,— проговорил он.— Вовек нам не было от этих гор пользы.

— Они — твоя родина,— сказал Мак-Грегор, взбираясь за Тахой и с трудом переводя дух.— Не хули ее.

— Пустота, нищета,— продолжал Таха. Никогда прежде Мак-Грегор не слышал от него таких горьких слов.

— У тебя, я вижу, натура городская,— попробовал пошутить Мак-Грегор.— Но ты все же не вешай носа.

— Нам давно уже надо было спуститься с гор. На борьбу подниматься на фабриках, на улицах городов.

— С кучкой студентов? — поддразнил Мак-Грегор, прислонясь к теплой скале, чтобы отдышаться, чтобы рубашка и штаны немного просохли от пота.

— Поклон вам за золотые слова,— едко поблагодарил Таха.

— Ты просто не в духе,— сказал Мак-Грегор. И опять они стали подыматься по все более крутым скатам без всяких альпинистских уловок — простыми зигзагами, стараясь лишь не оскальзываться на сыпучем сланце. Далеко опередив Мак-Грегора, Таха присел на каменную глыбу.

— Вон они снова,— указал он на дальний противолежащий склон. Мак-Грегор вскарабкался к Тахе и, поглядев туда, увидел обоих верховых. Один из ильхановцев поднял винтовку, прицелился.

— Он думает, у него в руках дальнобойная пушка,— усмехнулся Таха.

Зачернел пороховой дымок, донесся хлопок выстрела, но свиста пули не было.

— Подает сигнал кому-то,— сказал Мак-Грегор.

— А кому? И куда?

Мак-Грегор не ответил, только дышал тяжело, и Таха пристально взглянул на него.

— Устали, дядя Айвор?

— Нет.

— У вас усталый вид.

— Не беда.

— Возраст ваш для скалолазанья не подходит,— озабоченно сказал Таха.

Полезли дальше; Мак-Грегор заметил, что Таха намеренно замедляет темп, избегая крутизн и скользких осыпей. Когда уже совсем немного осталось до моста, серой полоской связавшего рваные края ущелья, Мак-Грегор присел на мягкую моховую кочку. Таха сказал, кивнув на всадников внизу:

— Ошибка наша — безоружными идти в горы.

— Я исходил их вдоль и поперек за тридцать лет,— сказал Мак-Грегор,— и ни разу не брал с собой оружия.

— Но в такой переплет вы ведь еще не попадали. Обкладывают нас, как зверя...

Перед тем как карабкаться дальше, Мак-Грегор снял с себя рубашку, опоясался ею, и ему стало легче, точно кожа, само тело задышало теперь в подмогу задыхающимся легким.

Таха полез к мосту на разведку, и Мак-Грегор глядел, как он взбирается по-паучьи на склон. На Тахе была все та же, что в Париже, тонкая, негреющая одежда, но карабкался он весело, как школьник на каникулах, и Мак-Грегор закрыл на минуту глаза. Куда ушла его легконогая и легкодумная молодость? Какие горки ее укатали? На каких восточных улицах, в каких стеклянных кабинетах и глиняных лачугах растратила она себя? На каких нагих бескрайних косогорах, облитых лимонным и вечным закатом?

— На этой стороне — никого,— приглушенно крикнул Таха от моста.

Мак-Грегор полез вверх. Когда он докарабкался наконец до скалы, к которой были прикреплены ржавые тросы моста, Таха указал на скорлупу от орехов кешью и на кучку кала рядом:

— Курд в родных горах.

— След вчерашний или позавчерашний. Давай-ка не теряя времени перейдем мост,— сказал Мак-Грегор и с сомнением поглядел на два провисших ржавых троса, соединенных проволокой, поверх которой были настланы полусгнившие доски. Внизу бездонно зияла тысячефутовая пропасть, как длинная, голодная ощеренная пасть. Но делать нечего — надо идти.

Переползти по щербатому, качающемуся настилу оказалось несложно. К тому времени как Мак-Грегор, цепляясь руками, преодо-

лел мост, Таха уже вынул лепешки, утром свежие и мягкие, а теперь зачерствевшие от горной сухости. Жуя жесткий творог и слипшийся холодный рис, они вдруг услышали чей-то смех над головой у себя, в развалинах турецкой сторожевой башни.

— Золото или жизнь! — раскатились над ними курдские слова.

Они вскочили.

— Ага, испугались! — раздался радостный гогот. «Знакомое что-то»,— мелькнуло у Мак-Грегора.

— Выходи, Ахмед! — крикнул Таха.

В развалинах вверху показался курд — в домотканой куртке и пузырящихся дерюжных шароварах — и навел на них винтовку. Мак-Грегор узнал Ахмеда Бесшабашного, так поразившего тогда Кэти своим безудержным курдским озорством.

— Спускайся сюда,— приказал Таха.— Живей!

— Напугал вас, напугал,— весело твердил Ахмед. Подняв винтовку над собой, он чуть не кувырком сбежал со скального откоса.

— А где твоя ханум? — спросил он Мак-Грегора, водя мальчишескими шалыми глазами.— Мешок где, полный золота? — И, заржав, протянул руку к лепешкам.

— И ханум далеко, и мешок,— ответил Мак-Грегор, обрадованный новой встречей с Бесшабашным.— Как поживаешь, Ахмед? Как поживаешь, старый приятель?

— А я там прошлогодний мед ищу,— сообщил Ахмед, жадно кусая лепешку. (Дикие горные пчелы иногда гнездятся в каменных развалинах, и покинутые соты затем долго сохраняет в невредимости высокогорный холод.) — Мед выковыриваю!

— Про мед после,— сказал Таха.— Ты скажи-ка нам, где Затко. И кази где и остальные?

— Твой отец на той стороне, за Мелади,— ответил Ахмед.— В гостях у гератского рода. Мы все там сейчас.

— Здоров ли он? — спросил Мак-Грегор.

— Да все багровеет от злости, что ноги опухли. Вот такие стали.— Ахмед широко обвел рукой вокруг своих рваных башмаков.

— А давно ты его видел?

— Четыре полночи тому.

— А кази с ним? — спросил Мак-Грегор.

— Да. Кази Мохамед сильно хворает. Потому мы и укрылись у гератцев — ильхан по всем горам тут понатыкал стрелков с новыми американскими винтовками. Ух, и винтовочки же!..

— И Затко это терпит? — спросил Таха.

— Не терпи попробуй, когда всюду в небе вертолеты, как мясные мухи. Я от них весь день прячусь, Затко жду, а Затко нет. Что-то с ним, верно, случилось.

— Он когда здесь обещал быть? — спросил Таха.

— Вчера. Сегодня. Может, они у себя там в карты режутся.— Ахмед фыркнул по-ребячьи и снова нахмурился.— Там вчера пальба была, вертолеты, а я тут сижу. Дурак я, верно?

Мак-Грегор не ответил.

— Идем,— сказал он Тахе вставая.

Таха уже увязывал свои узелки. Он дал Ахмеду лепешек, творога.

— Жди тут, пока не вернемся,— сказал Таха.— А стрелять по тебе будут, прячься. Конь твой где?

— Голодный вверху там привязан, старое дерьмо нюхает. Я его только ночью пускаю, шумно слишком пасется — зубы стерты все...

Не дослушав нареканий Ахмеда на беззубого коня, они стали поспешно спускаться с кряжа, не обращая теперь внимания на то, пре-

следуют их или нет. Час спустя между двух узких долин стала видна ближняя герагская деревня, и Мак-Грегор повернул было к ней.

— Не туда,— сказал Таха.— Выше берите, к старому летнему поселку, там обязательно их найдем. Там им безопасней.

Без передышек, молча шли они четыре часа по горным тропам и, когда солнце уже закатывалось за вершины гор, вышли к поселку, своей убогостью и запустелостью напоминавшему скорее первобытное стойбище, раскопанное археологами.

— Не видно наших,— сказал Таха.

— Тут никого не видно,— сказал Мак-Грегор.

Ни души в селении. Повсюду следы стрельбы: в канавах стреляные гильзы, глина и камень стен исковыряны пулями. Посреди дороги — убитая лошадь и стоит брошенный джип темно-синего цвета.

— Это машина Затко,— сказал Таха.— Глядите, на ней кровь...

Они бросились бегом по глиняной улочке, заглядывая во все дома, и на пороге каменной хибарки наткнулись на два скрюченных трупа.

— Хамза и Рашид,— проговорил Таха.— Они всегда вместе с отцом были.

Оба убиты наповал. Нищая мебель в хибарке разломана, утварь и одеяла раскиданы.

— Как это враг был подпущен? Как могло такое случиться?

— Вертолеты,— сказал Мак-Грегор.— Я видел, на пустыре земля взрыта и разметена винтами. Затко, должно быть, скрылся в горах.

Они стали подыматься по тропке, ведущей за селение; взойдя почти на самый гребень, услышали, что из хижины наверху, из пастушьего зимовья, кто-то зовет их по имени.

— Это иракский Али,— сказал Мак-Грегор, и они побежали туда.

— Осторожней! — слабо кричал им Али. Добежали, тяжело дыша.

— Куда пропали все? — спросил Таха.

Али устало махнул на горы.

— Крестьяне там, от вертолетов прячутся. Вернутся ночью.

— А Затко с кази? — спросил Мак-Грегор.

Вид у Али был еще более недужный, чем всегда. Молча указав на хижину, из которой вышел, он проговорил:

— Погоди... Погоди...

Но Таха вбежал туда, за ним вошел Мак-Грегор.

Желтый, завернутый в пестрое, горошком, покрывало, лежал на полу кази, смежив веки. И тут же, головой к ногам его, лежал Затко в курдских шароварах и куртке и в ковровых шлепанцах на вспухших ступнях.

— Их убили на дороге,— сказал Али, стоя в дверях.— Два вертолета прилетели сюда, высадили ильхановцев, а кази и Затко хотели уйти в джипе, но вертолет догнал и расстрелял сверху...

Таха зажал уши ладонями, чтобы не слышать дальше; Мак-Грегор прислонился к стене. Затем Таха нагнулся, закрыл отцу глаза, прикрыл мертвое лицо французской газетой, взятой на разжиг костров.

— Чьи это были вертолеты? — спросил Мак-Грегор.— Кем присланы?

— Кто знает? — ответил Али. По лицу его текли слезы.— Турецкие могли быть, иранские, американские. Чьи угодно. Какая разница? Ильхановцы убили, вот и все.

Вышли на улицу; в глазах Тахи не было слез, и сухи были глаза Мак-Грегора, ибо смерть предстала им бесповоротно-будничная, словно бы давнишняя.

— Меня не нашли, я лежал в кошаре, задышка схватила,— говорил Али.— Стрельбу я слышал, все кончилось очень быстро, но только когда улетели вертолеты, я узнал, что стряслось.

— А где бойцы Затко? — спросил Таха.

— В горах укрылись. Но ты не ходи к ним теперь, Таха. Я им никому не велел до темноты спускаться. Ильхан хочет перебить всех наших, кого только сможет найти. Но по-моему, кази убить он не хотел. Ильхановцы прошли всю улицу, ища кази, и когда увидели его застреленного в джипе вместе с Затко, то испугались и стали бить себя по голове.

Таха глядел на немые долины, где широко легли опаловые тени от вершин, закрывших собою солнце.

— Знаете, дядя Айвор, что я обнаружил в Европе,— сказал он после долгого молчания.— Обнаружил, что европейцам известен лишь один вид гнета — ущемление личности. Единственно такие ущемления знают они в своих чистых городах с крашеными стенами и обученными в школе, грамотными детьми, которые если болеют и мрут, то в больничной постели. Для них это комедия, посмешище,— морщась, кивнул он на горы и долины.— И, видно, неизбежен какой-то конец здешнему невежеству. Но неужели нужны газы, химикаты, металл, вертолеты? Неужели нужно это все обрушивать на наши головы?

Мак-Грегор тяжело вздохнул в ответ.

— Они побеждают так запросто,— продолжал Таха.— И ничего не оставляют нам. Ни даже больных стариков. Истребляют нас полностью, под корень.

Мак-Грегор взглянул на Али, не возразит ли тот; но Али, привалясь спиной к камням стены, боролся с одышкой, ловил воздух ртом, и Мак-Грегор невольно подумал о том, во главе скольких восстаний стояли хворые старики, обессилевшие от погонь и бед. И у мертвого кази недаром лицо столетнего старца...

— Нужно собрать людей Затко, укрывшихся в горах,— сказал Мак-Грегор.

— Их и не сыщешь теперь,— сказал Таха.— Они все ушли.

— Есть ведь и такие, что остались наверху и ждут.

— Ждут чего? — сказал Таха.— Ничем теперь уже не вытащишь наших напуганных курдов из горных нор. Они ушли и не вернутся, и на этом конец всему общему делу.

— Так идем же, разыщем их, пока не поздно. Нужно их только убедить...

— А чем убеждать? — усмехнулся Таха.— Что у нас тут осталось? Как вы не понимаете, что всему конец. Голова наша лежит отсеченная, а тело убегает со всех ног, и ничем ни вы, ни я не остановим бегства.

— Значит, отдаешь все в добычу ильхану?

— Рано или поздно я убью его,— ответил Таха.— Это, пожалуй, все, что еще мне тут осталось.

— Нет, нет! — сказал Мак-Грегор.— Нельзя пускать все насмарку ради глупой и тщетной кровной мести.

— А что еще делать? — воскликнул Таха.— На грузовики напасть с шестью студентами и седьмым Ахмедом-дурачком?

— Выслушай меня, Таха,— сказал Мак-Грегор.— Надо идти в горы, растолковать надо курдам, что произошло и как ильхан подло убил кази и Затко,— и увидишь, они пойдут за тобой, преодолев страх.

— Вам не понять нашей курдской слабости,— возразил Таха.—

Курд опечаленный теряет храбрость, а отчаявшийся — делается хнычущим младенцем.

— Так не будем хныкать, пойдем за ними в горы.

— Я не хнычу, а просто не хочу себя обманывать. Пусть старый пес берет в добычу горы. Пусть берет оружие. Города и фабрики — вот где решится борьба. Вот где правда.

— Тут в окрестностях и дальше, к Котуру, наберется около сорока селений — два десятка курдских родов,— сказал Мак-Грегор, развернув карту и вглядевшись.— Если не наберем по пути достаточно людей, вот тогда будешь бить отбой. Через час уже стемнеет; попробуем поговорить со здешними, а утром двинемся в путь.

— До Котура мне не дойти...— произнес Али. Они и забыли о нем, сидящем теперь, скрестив ноги, у порога в какой-то ритуальной неподвижности.— Но с сельчанами я потолкую... Однако Таха прав,— обратился он к Мак-Грегору.— Они сейчас напуганы. Но не во всем ты и прав, Таха. Вели напуганному выкашляться, и бывает, что от кашля пропадает страх.

— От кашля и кила́ бывает — и губит мужчину окончательно,— усмехнулся Таха.— Отменная у нас тут кила получилась.

— Как бы ни было,— сказал Али, с трудом вставая на ноги,— а надо до темноты похоронить убитых. Второй день лежат. Тебе, Таха, как сыну и хранителю тела, надлежит прочесть над ними погребальную молитву.

— Нет,— сказал Таха.— Не стану я теперь творить над отцом похоронный обряд. Раньше я ильхана похороню.

— Но могилу копать надо,— сказал Али.— Нельзя же их бросить без погребения.

Кетменями, найденными у жилья, они выкопали две могилы. Ногами к югу положили в землю кази, и Мак-Грегор, спустясь в яму, повернул лицо его в сторону Мекки. Затем Али, коснувшись руками своих ушных мочек, произнес: «Алла акбар»,— и могилу засыпали землей и камнями. В другой яме точно так же погребли Затко. Могил ничем обозначать не стали; Али проговорил и над Затко свое «Бог велик». Но Таха не захотел прочесть ни слова из традиционных такбиров.

Пошли обратно в поселок, поддерживая, почти неся Али, и Мак-Грегор сказал Тахе:

— Ты волен делать потом что хочешь, но завтра мы направимся к Котуру и по пути заберем с собой всех, кого только сможем. И проведем операцию так, как и было намечено.

— Но это глупо, дядя Айвор,— сказал Таха.

— Допустим. Однако лучше упорствовать глупо, чем покорствовать глупо.

— Но бессмысленно ведь. Попусту и зря.

— И тем не менее...

Глава тридцать восьмая

Продолжая так спорить, они прошли с десяток окрестных горных деревень. Мак-Грегор пытался вербовать бойцов, а Таха молча слушал, как Мак-Грегор убеждает оборванных пастухов, стригальщиков и косарей, что дать отпор ильхану — в их кровных интересах.

— Ты прав,— кивали они,— ей-богу, прав.

Но ведь кази погиб, говорили они. и с ним погибла надежда. Разве не видит этого Мак-Грегор? Разве не видит, что повторяется трагедия сорок седьмого года? Что курдское движение опять сокрушено? Что остается лишь начать все по-новому и с самого начала?

— Ничего вы не сможете начать, если ильхан получит это оружие,— возражал Мак-Грегор старику, род и племя которого обитали частью на турецкой, частью на иранской территории.— Чужеземцы вобьют ильхана в вас, как гвоздь.

— Что поделать,— отвечал старик.— Без чужеземцев никогда у нас не обходилось.

— Теперь они вас на сто лет закабалят,— воскликнул Мак-Грегор.

Но, как и большинство других до него, старик только вскинул руки в смятении и со слезами сказал:

— Бог милостив.

Высоко над пастушьей деревушкой, полулежа на холодном горном скате, они ужинали мясом из двухкилограммовой жестянки, купленной у овчара (а тот, скорей всего, стянул ее из армейского грузовика).

— Зря только тратите время,— говорил Таха, поеживаясь.— Вы их не проймете английскими парламентскими доводами. Что им эти доводы?

Мак-Грегор встал, чтобы размять окоченевшие ноги.

— А чем их проймешь?

— Ничем.

— Так что же нужно?

— Нужно мне убить ильхана. А затем оставим козопасам эти горы и начнем заново на улицах городов.

— Тем, что убьешь ильхана, ты не остановишь доставку оружия.

— А вы можете ее остановить?

— Вижу, что не могу. Людей Затко и тех не соберешь.

— Так перестаньте топать и садитесь, и я вам докажу, что мне остается одно — убить ильхана.

— Что ж,— сказал Мак-Грегор, садясь на корточки и кутаясь в куртку,— если докажешь, то я — рюкзак за плечи и пойду с тобой.

— Беда в том, что вы все еще нас не понимаете,— сказал Таха, укрывая ему колени лоскутом овчины.— У вас английский парламентарно-джентльменский образ мышления. А здесь требуется глядеть на вещи нашими, а не английскими глазами.

— Я тридцать лет стараюсь глядеть вашими глазами.

— Ну, так взгляните на теперешнюю обстановку. Мы обезглавлены, у нас ни оружия, ни денег, ни сочувствия извне. Кому мы нужны — отсталый, раздираемый сварами, смуглокожий народ?

— Перестань, ради аллаха.

— Я говорю, что есть. Так стоит ли вам огорчаться из-за того, что нам приходится убить одного хана? А что прикажете нам делать, дядя Айвор? Как нам противостоять чужеземцам и чужеземному оружию? Прикажете заботиться о том, что подумают ваши милые воскресно-благонравные англичанки в шляпках, когда раскроют свои утренние газеты и прочтут, что мы убили человека? А скольких убивают они, пока едят за завтраком свою яичницу с беконом?

Мак-Грегор поднялся опять на ноги и заговорил, прохаживаясь взад-вперед и потопывая:

— Ты упорно не хочешь меня понять, Таха. Какая будет польза, если, убив ильхана, ты тем самым невольно внедришь в сознание народа мысль, что ему не надо и бороться, что за него борются.

— Ничего я не внедрю...

— Ты поступаешь, как парижские студенты: мол, я элита и, значит, революция — это я. А это вовсе не так.

Таха тяжко вздохнул, словно отчаявшись что-нибудь выспорить.

— Вы все время забываете одну вещь, дядя Айвор.

— Какую?

— Забываете, что ильхан убил у нас не двух жирненьких премьер-министров, которых через неделю никто уже помнить не будет. Убивая кази и Затко, он убивал все наше высокое и справедливое.

— Рад, что наконец ты понял.

— Я-то понимал всегда. А вот как понять это английским бизнесменам и домохозяйкам, водящим своих детей за ручку в школу? Как понять английским адвокатам и белохалатным докторам? Их культура — культура оружия. Но как же мне их вразумить — поехать, что ли, в Англию и в тамошних селениях открыть стрельбу из автомата по чистеньким детям и женам, по священникам и дельцам? Как ужаснулись бы они такому! А ужасались они, когда в 1933 году их воздушные силы в одно благочестивое английское воскресенье разбомбили сто беззащитных курдских селений?.. Но ведь вы, дядя Айвор, и сами поступали раньше по-моему.

— Я?

— А вспомните-ка. Когда-то и вы не деликатничали, если требовало дело.

— Что-то не помню.

— А если я напомню, тогда не станете больше возражать?

— Я уже сказал, что если убедишь меня в своей правоте, то я сам пойду с тобой,— ответил Мак-Грегор, снова садясь — так и не согревшись ходьбой.

— Я этого от вас не требую.

— А я пойду — своей охотой.

— Воля ваша,— пожал плечами Таха.— А теперь вспомните, как в войну, в египетской пустыне, вы с восемью солдатами отправились на задание — убить немецкого генерала Роммеля.

— Ты вот о чем!

— Вы же вели их тогда, штурманом были. Разве вы с ними не убили четверых немецких офицеров, не дав тем немцам даже выстрелить? И Роммеля тоже убили бы, да только его там не оказалось.

— От кого ты узнал про это?

— Я лежал как-то больной, и тетя Кэти прочла мне вслух из книги. Прочла, крепко гордясь вами. Вам ведь дали за это английский орден.

— Устал я, и не будем сейчас спорить,— сказал Мак-Грегор, влезая в спальный мешок, уже отсыревший от горной росы.— Но даже если ты убьешь старика, все равно Дубас продолжит дело отца.

— Убив отца, я и сына убью,— сказал Таха.

— Спи давай-ка,— сказал Мак-Грегор и добавил, привстав: — И никаких исчезновений в темноту, пока я сплю.

— Да никуда я не исчезну,— сказал Таха.— Но завтра придется вам решить, что делать.

— Хорошо... Завтра...— проговорил Мак-Грегор. Он сознавал, засыпая, что завтра доводы его будут не убедительнее, чем сегодня. Разница лишь та, что завтра уже безотлагательно придется ему, штурману, сделать новый выбор правильного жизненного курса.

Глава тридцать девятая

Когда Мак-Грегор проснулся, Тахи рядом не оказалось. Две горные вороны пролетели высоко над головой навстречу утреннему солнцу, поднявшемуся за хребтами.

— Ушел, так ушел.— проговорил Мак-Грегор, обрадовавшись на минуту, что не нужно спорить и решать.

— Таха! — позвал он громко.

— Здесь я, внизу — за водой пошел.

— Ну и как, нашел воду?

— На кружку кофе хватит.

И Таха поднялся на волглый от тумана склон, неся закоптелую жестянку из-под сухого молока, приспособленную вместо чайника.

— Похожа цветом на кока-колу,— сказал Таха,— но пить можно.

Он насобирал уже сухих стеблей на костерок; ждали, пока вода закипит, доставали из банки мясо, глядели на пролетающих птиц. О деле заговорили, кончив завтрак и трогаясь уже в путь.

— Вы сейчас спускайтесь в Керадж,— сказал Таха.— Там сядете в автобус до Резайе, а оттуда домой.

— Отговаривать тебя, значит, бесполезно?

Таха кивнул в знак того, что бесполезно.

— Я сейчас — на Котур,— сказал он.— Возьму там вверх по реке долиной, до ставки ильхана. Дайте ваши карты местности, они мне могут пригодиться, а сами двигайте домой.

— Нет. Я пойду с тобой.

Таха надел рюкзак, сказал:

— А зачем? Вы же резко против.

— Не так уж резко,— сказал Мак-Грегор, надевая курдскую грубошерстную куртку, купленную в одной из здешних деревень.— Своей английской, европейской, парламентарной закваской я — против. А жизнью, прожитой в горах,— за. Неясно только, что сейчас во мне сильней.

— Дайте мне карты, дядя Айвор, и не старайтесь быть курдом.

— Я стараюсь быть самим собой,— сказал Мак-Грегор.— Если я убил тогда по воинскому долгу и заслужил похвалу, то нужно ли мне теперь колебаться? Так что я, возможно, помогу тебе против ильхана. Возможно, это единственный выход. Не знаю. Но, как бы ни было, пойду с тобой.

— Тогда не будем мешкать.— Таха указал на жужжащую темную точку на утреннем небе, над бугристыми вершинами.— Опять уже летают.

Они торопливо зашагали на север по голому скату и лишь к концу дня добрались до летнего гератского становища, где погибли Затко и кази. Иракского Али уже не было в обезлюдевшем селении, но джип до сих пор стоял на дороге, и под сиденьями в нем оказались автомат и винтовка семимиллиметрового калибра.

— Пройдет год-два,— сказал Мак-Грегор, глядя на окружающее запустение,— и, пожалуй, курды-горцы станут сюда совершать издалека паломничество, как ходят и по сей день на могилы героев-мучеников сорок седьмого.

— На могилы ходить, дело хоронить умеют,— сказал Таха.— Задним умом крепки.

Они занялись джипом, механизм которого заклинило на второй передаче. Раскачиванием, толчками добились, наконец, того, что машина двинулась под гору, Таха крикнул: «Прыгайте скорей!» — и Мак-Грегор вскочил на заднее сиденье, сел покрепче, а Таха выжал сцепление. Пофыркав, подрожав, двигатель шумно заработал.

— Куда мы теперь? — крикнул Мак-Грегор.

— Джип надо перекрасить. А потом — в долину Котура, вверх по реке, к границе.

— Ты с ума сошел,— сказал Мак-Грегор.— Все приграничье там кишит ильхановцами.

— Дорога пока еще не в частном владении у ильхана, и он не будет стрелять по каждому проезжающему джипу.

— До границы нам ни за что не дадут доехать.

— А нам и не надо. На северной стороне там большое село есть, Хабаши Ашаги. Там и будет ставка ильхана.

— Откуда ты знаешь?

— Только там могут достойно принять великого вождя со всеми его ханскими причиндалами.

Мак-Грегор еще не спрашивал у Тахи, по какому плану тот будет действовать — не хотелось и знать этот план,— но он уже почувствовал, что Таха намерен вести дело по-курдски, в открытую: возмездие должно совершаться принародно, у всех на виду, когда на стороне трусливого врага неизбежно все выгоды.

— И ты прямо въедешь в ставку ильхана? — спросил Мак-Грегор, держась за борт подскакивающего на ухабах джипа. (Лихостью вождения Таха не уступал отцу.)

— Прямо и въеду.

— Не дури, Таха. Пропадешь по-глупому.

— А если действовать по-вашему, по-умному, с английскими уловками, то курды не признают этого делом чести.

— Но хоть будет какой-то шанс на успех.

Таха не стал и отвечать; он вел машину вниз, к черной дороге. В десяти милях от нее кончился бензин, и около часа простояли, пока не раздобыли два галлона у встречного грузовика. Этого бензина хватило, чтобы выехать на автостраду, идущую с юга на север, в Хой; в Резайе заправили бак, налили также две канистры, купили полгаллона коричневой краски и набрали воды во фляги. Отъехав от Резайе миль на двадцать, свернули с дороги и наспех перекрасили синий джип Затко в грязно-бурый цвет.

— А перекрашивать совместимо с делом чести? — поддразнил Мак-Грегор.

— Иначе далеко не уедем,— ответил Таха.— Синий джип Затко узнают тут же.

В Резайе они плотно пообедали — не в чайхане, а в европейском ресторанчике,— запаслись также на неделю едой и чаем и уложили теперь все это в рюкзаки. Затем Таха проверил исправность винтовки, автомата, вставил магазин и положил оружие между сиденьями, снова обкутав его сальной овчиной.

— Так, значит, и будешь действовать без всякой скрытности и плана? — заговорил опять Мак-Грегор.

— Какой тут загодя может быть план? — ответил Таха.

Возвратясь на автостраду, через два часа езды они повернули на запад, на новую дорогу, проложенную долиной Котура к турецкой границе. Навстречу им проехал старенький «пежо», в нем чуть не друг на друге сидели восемь курдов — без сомнения, ильхановцы.

— Поглядите, куда бы тут можно свернуть,— бросил Мак-Грегору Таха.

Мак-Грегор указал на узкую сухую балку впереди, Таха немедленно свернул туда и ехал балкой, пока дорога не скрылась из виду. Остановил машину, заглушил двигатель. Минуту оба молчали, словно взвешивая еще какой-то выбор. Таха снял ладони с баранки, повернулся к Мак-Грегору:

— Я все же думаю, вам лучше дожидаться меня здесь.

— Нет. Незачем спорить об уже решенном.

— Не для вас это дело, дядя Айвор. Ну, въехать удастся туда и, если повезет, выехать еще оттуда живым. А дальше почти не на что надеяться.

— Вот потому я и нужен за рулем.

— Нас, возможно, еще по дороге туда узнают.

— Тем более надо спешить, не давать им опомниться,— сказал Мак-Грегор, решительно пересаживаясь за руль.— Ну, поехали?

— Что ж, поехали,— сказал Таха.— Мне бы хотелось все же, чтоб вы поберегли себя.

Мак-Грегор вывел джип обратно на дорогу, и, по мере того как они ехали долиной, в нем крепло давно знакомое ему здесь чувство, что к горам не подойдешь с низинной меркой; нечего удивляться теперешним действиям Тахи, ибо издавна все тут пропитано насилием и горы сделались естественной ареной схваток между оборванными армиями, дерущимися не иначе как лицом к лицу, лоб в лоб, врукопашную. И теперь настало и для него с Тахой время схватки, и беспокоило Мак-Грегора лишь одно — отсутствие должной подготовки.

Дорога шла каменистой долиной, вдоль речного ложа, почти высохшего. Навстречу попадались отары каракулевых овец, бредущие в поисках воды. Замелькали затем люди по бокам дороги, протарахтел курд на мотоцикле, с любопытством поглядел на джип. Проехал тяжело севший на рессоры грузовик; заорали с обочины курды.

— Не разберу, о чем они,— крикнул Мак-Грегор Тахе сквозь шум мотора.

— О солдатах что-то...

То и дело по обочинам мелькали люди ильхана, и Мак-Грегор понимал, что рано или поздно джип остановят.

— Заранее приготовься к объяснениям,— предупредил он Таху.

— Если дойдет до объяснений, тут же получим по пуле,— ответил Таха.— Не останавливайтесь ни за что.

Беря очередной широкий поворот, они увидели впереди на подъеме целую колонну иранских военных грузовиков.

— На обгон идти никак нельзя,— сказал Мак-Грегор, сбавляя газ.

— А и не надо обгонять их. Прижмитесь к заднему, и с обочины никому уже нас будет не перехватить.

Все действия теперь импровизировались на ходу. Джип, словно накрепко усвоив стиль убитого хозяина, лихо мчал на больших оборотах, но ползти на третьей скорости отказывался, и двигатель работал со зловещими перебоями.

— Не давайте мотору заглохнуть,— крикнул Таха Мак-Грегору.

Оба они прикрыли рот и нос от пыли концами тюрбанов; с откосов их окликали курды, выбегали, гонясь за джипом, на дорогу — но они ехали и не оглядывались.

— У них транзисторные рации заработали уже вовсю, наверное,— сказал Мак-Грегор.

— Какая разница теперь? У того вон столба сверните.

Дорожный крашеный столб был исцарапан, избит пулями, дощечка с надписью пожухла, но Мак-Грегору была знакома эта иранская предупредительная надпись о том, что дальше военная зона, где проезжающим нельзя ни сходить с дороги. ни делать фотоснимки и где надо останавливаться по приказу часовых.

Автоколонна ушла вперед, а джип, свернув, затрясся, закренился, завихлял на изгибах и ухабах проселка.

— Теперь быть начеку! — сказал Таха.

— А сколько осталось до села?

Таха не ответил, указал только быстрым жестом на придорожные холмы. Наверху там виднелись двое-трое дозорных. Таха помахал им, один из дозорных помахал в ответ.

— К генералу вашему немецкому вы тоже так ехали? — спросил Таха.

— Нет. Мы делали это с умом и расчетом — ночью,— сказал Мак-Грегор.

— Профессиональные убийцы! — вознегодовал шутливо Таха.

«Давно уже не шутил Таха»,— подумал Мак-Грегор.

— А вон и охрана,— кивнул Таха на маленький автобус марки «фольксваген», стоявший впереди у поворота. Четверо курдов сидели при дороге, варили что-то на костре.

— Раз они тут, значит, и старый пес тут,— сказал Таха.— Не останавливайтесь только. Газуйте мимо, не то нас узнают.

Джип явно заинтересовал охранников. Двое вскочили, один побежал к «фольксвагену»; Мак-Грегор не увидел на них оружия, да и на раньше встреченных не замечалось Должно быть, близость иранской армии мешала им носить оружие открыто.

— Живей, пока не выскочил из автобуса с винтовкой,— сказал Таха.

Мак-Грегор прибавил скорости, рванул машину вверх, на поворот, а Таха закричал ильхановцам по-курдски:

— Махмуд там с солдатней поцапался, едем за подмогой.

— Чего-о? — не поняли те. Таха, стоя и размахивая руками, опять проорал про Махмуда и еще что-то неразборчивое.

— Живей, живей,— не переставал торопить он Мак-Грегора.

Мак-Грегор с маху взял поворот, а Таха все стоял, орал, жестикулировал, пока курды не скрылись из виду.

— Кто такой Махмуд? — спросил Мак-Грегор, вертя истертую баранку резво подскакивающего джипа.

— А-а, всегда какой-нибудь Махмуд найдется...

Впереди показалось селение.

— Нажмите кнопку сигнала,— велел Таха.

— Это зачем?

— Жмите сигнал!

Мак-Грегор нажал, и эхо прокатилось по склонам.

— Еще жмите...

Таха дотянулся сам, твердо надавил пальцем, непрерывно сигналя. Из домишек стали выбегать женщины.

— Вон там,— указал Мак-Грегор на дальний конец улицы.— Видишь?..

У одного из домов на том краю стоял большой «шевроле» и второй «фольксваген». Из свежевыкрашенных дверей дома вышли двое вооруженных; Мак-Грегор не спеша повел туда машину.

— Не выключать мотора,— сказал Таха.

— Понятно.

— И не говорите ни слова. Молчите.

— Ясно.

Шагов с сорока Таха закричал тем двоим:

— Где хан?

— В доме,— ответил один.

— Скажи ему, что я приехал и что я спешу.

Охранник вошел в дом; когда джип подъехал, в дверях стояли уже трое вооруженных.

— Скажите там, что мне некогда,— крикнул Таха, сердито огрубив голос.

— А что такое?

Мак-Грегор быстрым взглядом окинул стоящих на пороге — у всех троих автоматические винтовки. «Куда идет эта дорога, неизвестно. А уходить единственно по ней»,— мелькнуло в мозгу.

— Какого тут шайтана?..

На пороге появился хан в высоких черных сапогах. За ворот косо, на итальянский манер, заткнута салфетка. Большие, заостренные кверху уши покраснели. Челюсти дожевывают что-то.

— Хан! Ильхан! — сказал Таха.
— Чего тебе? Зачем шум поднял?
— Шума нет. Где твой сын Дубас?
— В Резайе. А что тебе нужно?
Держа руку на виду — на ветровом стекле,— Таха проговорил:
— Ты — старик, старей отца, и смерть будет смерти не ровня.
— Ты чего? О чем ты мелешь?
Мак-Грегор оцепенело ждал момента, когда Таха будет узнан и того, что произойдет затем. Он не мог оторвать глаз от немытых пальцев Тахи, впившихся в стекло так, что сквозь грязь забелели костяшки суставов.
— Но конец положить надо,— продолжал Таха.
— Не понимаю я твоих речей, дурак.
— Обойдемся без твоего понимания.
И тут ильхан узнал Таху. Сорвал с шеи салфетку, достал очки и жестко насадил на нос, как бы и собственного переносья не щадя по своей врожденной грубости.
— Ты зачем тут? — рявкнул он на Таху.— Прочь отсюда!
Однако в голосе ильхана была некая растерянность. Он метнул взгляд на горы, словно скрывающие где-то в себе Затко. Затем вгляделся сквозь очки в Мак-Грегора и вздрогнул как ужаленный.
— Мало того, что щенок оскорбляет меня,— возопил ильхан к горам и небесам,— так он еще чужака этого привозит с собой, чтоб загадил кругом нашу землю... Хассан! Хассан!..
Мак-Грегор не стал медлить. Увидев, что Хассан вскидывает винтовку, он дал газ, послал машину на Хассана, сшиб его с ног косым ударом радиатора. А Таха кричал что-то ильхану, и за спиной грянула другая винтовка, и пули впивались в джип, бешено жгущий колесами глину дороги.
— Подожди...— крикнул Таха, рывком нагнувшись за автоматом.
Но Мак-Грегор скорости не сбавил; Таха обернулся, застрочил с сиденья. Ответный треск расколотого ветрового стекла, новый грохот винтовочных выстрелов сзади.
— Подожди,— крикнул опять Таха.— Не гони.
Он строчил не переставая. А Мак-Грегор, видя, что впереди дорога заворачивает уже за последнюю кучку облупленных мазанок, и посылая джип к повороту, оглянулся быстро напоследок: ильхан, скорчась, лежит на земле; охранник сползает наземь, цепляясь рукой за стену, а второй — Хассан,— сбитый машиной, ткнулся ничком. Третий же бежит к ханскому «шевроле», но вот на полпути упал с размаху, точно запнувшись обо что-то, и Мак-Грегор понял, что бегущий скошен Тахой, хоть и не расслышал автоматной очереди.
— Да вы куда? — крикнул Таха, когда село осталось за поворотом.
— Туда, куда ведет дорога.
— Она ведет в горы, а там всюду ильхановцы.
— Но назад нельзя же нам.
— Почему я кричу, а вы гоните?
— А чего ждать было?
Проселок сузился в тропу, всходящую по склону. Подъем делался все круче, тропа становилась тропкой.
— Надо было назад гнать.
— Мы там оказались бы в ловушке,— сказал Мак-Грегор.
— А здесь не в ловушке? Здесь мы как на ладони.
— Вверху укроемся.
Впереди они увидели ильхановца, бегущего со склона. Таха поднялся было, прицелился, но стало ясно, что тот бежит не к ним, а от

них. Мак-Грегор свернул с тропы, пустил машину прямиком на косогор по камням, через низкий кустарник.

— Вас не задели пули? — спросил Таха.

— Нет. Но вышиби ты к черту ветровое стекло. Я ничего не вижу, все растрескалось,— сказал Мак-Грегор. Он вел машину, высунувшись за борт. Таха прикладом прошиб многослойное стекло. Но тут забарахлил мотор.

— Не давайте ему заглохнуть!

— А как? Он на малых оборотах глохнет.

— Переключите на первую.

Мак-Грегор переключил, но джип застыл на месте — лег, как надорвавшаяся на следу гончая, и напрасно Мак-Грегор жал кнопку стартера.

— Дайте я,— сказал Таха.

До них донеслись возгласы, стрельба, шум заводимого мотора. Мак-Грегор наконец стронул машину, но тут же что-то в ней заело, и, проехав юзом, джип остановился — теперь уже окончательно

— Бежим!

Мак-Грегор вскинул рюкзак, Таха схватил автомат и винтовку, и в это время сверху, с горы, по ним открыл кто-то огонь и слышно было, как проносится над головой пуля за пулей.

— Пускай стреляет,— сказал Таха,— все равно нам надо наверх.

Побежали вверх по крутому, голому откосу. В полсотне ярдов позади пули взметали землю и осколки камня, а затем защелкали впереди них.

— Быстрей... Быстрей...— Таха схватил Мак-Грегора за рукав, таща на откос.

— Ты беги. Я догоню,— сказал Мак-Грегор.— Беги...

Таха выпустил рукав и закарабкался к единственному на косогоре укрытию — к небольшой впадине, складке у двух гребнистых обнажений горной породы. Огонь вели теперь уже двое ильхановцев, но, укрывшись за скальным гребнем, Таха тремя прицельными выстрелами заставил их замолчать.

Мак-Грегор добежал, обессиленно упал во впадину.

— Они на той стороне залегли,— сказал Таха.

— Дай дух перевести.

— Мешкать нельзя, дядя Айвор. Они тут всюду. У нас одна надежда — забраться выше их.

— Хорошо... Хорошо...

И они поползли дальше, вверх. Опять выстрел откуда-то с горы.

— Не останавливайтесь, ползите,— сказал Таха. Он уже тоже дышал тяжело.— А я полезу вперед, успокою этого стрелка.

— Давай,— проговорил Мак-Грегор.

Таха бросил автомат вперед, на каменистый скат, затем докарабкался сам. И снова взбросил автомат на крутой откос перед собой. «Настоящий горец»,— подумал Мак-Грегор. Ибо только горец-курд способен проделывать такое без вреда для своего оружия. Убыстрив этим способом подъем, Таха скоро исчез из виду, а Мак-Грегор выдохся теперь настолько, что полз машинально уже, цепляясь, толкаясь монотонно и тупо.

— Не туда...— услышал он голос невидимого Тахи. Провел взглядом по узкой расселине, идущей кверху футов на пятьсот, крикнул:

— Где ты там, черт возьми?

— Не туда. Правей берите.

Мак-Грегор, оскальзываясь, взял правей, и Таха повел его голосом вверх, а выстрелы щелкали, нащупывая.

— Теперь будет полный порядок,— ободрил сверху Таха.

Но Мак-Грегор ощущал в себе полный непорядок. С каждым шагом он все обессиленней покорялся мысли, что ему не уйти.

— Да где же ты? — крикнул он Тахе.

— Здесь я. Вам чуть-чуть осталось.

Мак-Грегор последним усилием переполз через высокий край расщелины — она была тут слишком узка, не протиснуться. Захлопали выстрелы. Укрыться от них некуда, голый скалистый склон. Снова хлопки выстрелов — и тупые удары сзади, в ноги.

— Нет! Нет!..— выдохнул он.

Лицо хлестнули скальные осколки. Опять хлопки американских винтовок, которыми так восхищался Ахмед,— и руки разжались, Мак-Грегор почувствовал, что окунается в темноту. Очнулся, увидел над собой потускнелое солнце и, лежа навзничь на горячей бугристой скале, под замутившимся небом, мгновенно осознал, что раздавлен, как скорлупа. Боли он не ощущал и жизни почти не ощущал. Все ушло, отдалилось куда-то.

— Таха...

Таха не отвечал. Мак-Грегор повернул голову, где-то в далекой дали мутно увидел брошенную на камни куртку Тахи. Не за что тут удержаться сознанию, и Мак-Грегор перевел взгляд на небо, цепляясь за мглистую белесость и боясь, что вот-вот провалится в нее.

— Таха...— позвал он еще дважды, но Тахи не было. Да и не все ли равно...

Снова с усилием повернув голову, он увидел, что Таха перебегает по склону — ищет, видимо, укрытия от пуль. Залег за камни, открыл стрельбу оттуда, крикнул громко Мак-Грегору:

— Вы слышите меня?

Не в силах отозваться, Мак-Грегор слабо махнул правой рукой.

— Я на себя их огонь отвлекаю, а вы ползком — спрячьтесь в расщелину справа,— прокричал Таха.

Расщелина была та самая, откуда Мак-Грегор перед тем выполз. Но он решил полежать еще не двигаясь, вернуть прежде ощущенье рук и ног, рассчитать остаток сил.

— Не могу ползти,— хрипнул он.

— Essayez! — скомандовал Таха по-французски.

Мак-Грегор тяжело перекатился на живот. Скребясь, сгребая камни, уцепился наконец за что-то, подтянул тело к спасительной расщелине. Но силы иссякли, и, наплывая, как один черный занавес за другим, темнота заволокла мозг.

— Дядя...

Зовет Таха. Но тело скручено одеждой, как конфетной оберткой.

— Сюда-то я вас доволок, но теперь нужна ваша помощь.

Мак-Грегор лежал на вершине склона, за голой скальной выпуклиной, и опять глядел в белесое, тусклое небо.

— Который час? — спросил он.

— Не знаю. Скоро пять, наверное. Вы сесть можете?

— По нам еще стреляют?

— Нет. Здесь мы пока в безопасности.

— Я был, значит, без сознания...

— Надо вам ноги перевязать. Рубашками вашими из рюкзака. А то кровь теряете,— сказал Таха, стаскивая с Мак-Грегора штаны.

— А где мои ботинки? — спросил Мак-Грегор.

— Есть ботинки. Никуда не делись. Но помогите же мне.

— Посади меня.

Таха подтянул Мак-Грегора кверху, и, упершись спиной в скалу, Мак-Грегор ощутил жгучую боль от пулевой ссадины. Взглянул затем на ноги. Они в крови, трудно и понять, что с ними. Но Таха обтер их

мокрым платком, и на правой ноге, над коленом, обозначилась рана — глубокая, чистая, на удивление сухая, и видны разрыв серой мышцы, нервы, незадетая вена. Под коленом — еще рана, поменьше, с рваными краями, уходящая в голень и сильно кровоточащая. А на левой ноге поранена мышца икры, и сверху не рассмотреть.

— Повязку надо наложить — унять кровь, закрыть от мух и грязи,— сказал Таха.

— Рви на полосы и бинтуй,— сказал Мак-Грегор. Но когда Таха свел вместе, сжал края надколенной раны, чтобы потуже забинтовать, лицо Мак-Грегора побелело, он опять потерял сознание. Когда свет пробился снова под веки, Таха уже кончил перевязку.

— Дядя Айвор! Вы меня слышите?

— Слышу,— сказал Мак-Грегор, лежа на спине.

— Когда стемнеет, я попробую спуститься в село, раздобыть лошадь или мула. Без них теперь нельзя. Если на закорках потащу вас, то не дотащу живым.

Мак-Грегор закрыл глаза, опять открыл.

— В селе там человек сто ильхановцев теперь.

— Но что же делать?

— И далеко ли меня увезешь, хотя бы и на лошади? Раны кровоточат. Если даже доберемся до Резайе или Хоя, меня там арестуют и засадят за решетку навсегда. Не стоит и везти...

— Вас никто, кроме ильхана, не узнал. Точно говорю вам.

— А как объясню то, что ноги изрешечены пулями? — проговорил Мак-Грегор, чувствуя, как медленно и трудно дышится.

— В Хое у нас друзья.

Мак-Грегор попытался приподняться, сесть.

— Зря все это, Таха. Уходи без меня.

Уже опять слышались выстрелы, и ближе словно бы. Таха встал.

— Что ж вы, здесь остаться хотите — умереть героем?

— На этот раз выбора у меня нет...— сказал Мак-Грегор, глядя, как на повязках, под коленями, не спеша проступают пятна крови.

Таха присел на корточки, всмотрелся в Мак-Грегора.

— Слабость мешает вам собраться с мыслями.

— Это верно,— сказал Мак-Грегор, закрыв снова глаза, хмелея от изнеможения, от боли, от желания нырнуть в забытье.— Не так все это надо было, не так,— пробормотал он.

— Вы только глаза не закрывайте, дядя Айвор.

— Ильхана мы должны были убить, я знаю, но...

— Да, должны были, а теперь должны выбраться отсюда, чтобы начать все заново на улицах городов, где ждет нас будущее. Не закрывайте глаза и думайте об этом.

Мак-Грегор понимал, что его успокаивают, как ребенка, и хотел сердито возразить, что, несмотря на боль, он в ясном уме, мыслит связно,— но от усилия все спуталось, и он опять провалился куда-то.

— Дядя... Дядя Айвор...

Вокруг темно.

— Мне уже надо идти,— говорит Таха.

— Хорошо, иди.

— Я вам все тут оставил. Вода, хлеб, мясо в рюкзаке. Винтовка лежит у вас слева, автомат кладу справа. Вот так.

— Но это глупо. Автомат возьми с собой.

— Он мне незачем. Слушайте, дядя Айвор. Я, возможно, на несколько дней ухожу. А вы, может, сядете потом, подержитесь настороже. Но я с шумом уйду — будто мы оба спускаемся. Вы поняли?

— Понял.

— Я ведь не знаю, сколько там пробуду.

— Иди спокойно. Но еду давай поделим...

— Я вернусь, дядя Айвор. Я доставлю вас домой, клянусь могилой отца. Вы только сейчас перетерпите, продержитесь, как симорг с израненными крыльями.

— Иди спокойно. А я посижу тут, подумаю, как дальше быть.

— О тете Кэтрин думайте.

— Ладно.

— Домой вернетесь — и все будет хорошо.

— Ладно, буду думать о хорошем.

— Значит, можно мне теперь идти?

Мак-Грегор кивнул, ощущая, что укрыт спальным мешком, а второй подостлан под спину.

— Посади меня,— сказал он.

Таха посадил его к скале, подмостил спальный мешок, сказал:

— Запомните: я, возвращаясь, буду вам кричать с подхода. Так что стреляйте в каждого, кто полезет без предупреждения.

— Я не увижу в темноте...

— Тогда просто сосредоточьте мысли и держитесь. Это главное.

— Ладно.

Таха перешагнул через гребенчатую закраину, ушел. Мак-Грегор слышал, как он скользит с откоса с шумом, с криком; раздалось несколько выстрелов, и снова крики — это все Таха, сбивает с толку ильхановцев, целыми десятками, возможно, залегших кругом.

— Сюда, за мной спускайтесь,— кричал Таха где-то далеко внизу.

Над головой густо чернело небо, льдисто холодели звезды, вызывавшие всегда у Кэти сосущую тоску на этих пустынных высотах.

— Сюда, за мной,— опять донеслось, слабо-слабо.

Выстрел, еще выстрелы, и горная затем тишина, и теперь нельзя спать. Уснуть значит умереть, и потому надо прижать спину к скале, чтобы резнула боль и разбудила. И, вслух застонав от боли, он вспомнил строку поэта Хайдари из Тебриза, услышанную в детстве от отца. «Жизнь — это боль; но боль — это не жизнь».

И, однако, боль сейчас убережет его от смерти. Боль, беда, нерешенность сомнений — вот с чем приходится жить, а не с соловьями, лепестками, розовой водой. И об этом тоже говорил поэт Хайдари, сделавший 986 заключений о боли, жизни и любви. «Отдели их, коль сможешь, одну от другой и от третьей,— сказал Хайдари,— и, разделив, умрешь от пустоты». «От пустоты, значит, я не умру тут. Горе Кэти и мука ее не дадут. И зовущая боль осенневолосой Жизи Маргоз. И вся огромная нерешенность...

А теперь береги силы. Думай четко о Тахе, о трудной задаче думай, стоящей перед парнем. Верь в упругую, непобедимую силу его юности. Положись на его страстную убежденность, на высокое чувство чести, на верность товарищу, стойкость в борьбе, на сыновнюю привязанность, ум, изворотливость, храбрость, крепость, умелость. На истую верность заветам отцов...»

— Сюда, за мной,— глухо, но донеслось — совсем уж издалека. И значит, Таха прошел невредимо.

То ли это удаленность, то ли ледяная тьма глушит сознание. Но снова он вжался спиной в скалу и, ощутив резкую, пронзительную боль, понял, что жив и что рано или поздно Таха появится опять на склоне, подаст голос, подымет в путь,— и в том пути откроются, быть может, у Тахи глаза на альпийские маки и астрагал, на первоцвет и филипии, украшающие горы для жизни и радости, а не для истребительной яростной резни.

■

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

Из моей жизни

Перевод с чешского И. БЕРНШТЕЙН и Л. ЛЕРЕР

Воспоминания Витезслава Незвала публиковались в пражском еженедельнике «Культура» с 10 января 1957-го по 10 апреля 1958 года. Смерть поэта оборвала их публикацию. Книга «Из моей жизни», изданная посмертно, содержит в себе то, что было напечатано в «Культуре». Незвал не успел завершить свои мемуары и придать книге законченную форму, но несмотря на известную фрагментарность, она представляет собой большой интерес.

В воспоминаниях Незвала нетрудно обнаружить как бы три плана. Прежде всего это рассказ чешского поэта о своей жизни. Подкупающе искренни и проникнуты поэтическим восприятием мира воспоминания Незвала о детских годах, проведенных в деревне, об отце и матери, горячая привязанность к которым согревает многие страницы, о любовных увлечениях, предстающих через много лет сквозь дымку легкой иронии.

Главное и самое интересное в воспоминаниях — размышления большого художника о поэзии и вообще об искусстве. Незвал показывает как впечатления реального бытия перевоплощаются в поэтические образы и стихотворные строки. Он раскрывает и утверждает свой способ творчества, основанный на вольных ассоциациях и на богатейшей индивидуальной образной памяти. Незвал был против сухого, непоэтического развития мысли в стихах и отстаивал свое право на неудержимый поток образов вместо логического развития темы. Непосредственно и темпераментно передает он и свои впечатления от произведений чешских собратьев по перу, от стихов Аполлинера или картин Пикассо.

Многие размышления Незвала становятся более понятными на фоне дискуссий в левом лагере чешской литературы в двадцатых — начале тридцатых годов, то есть в те годы, которых касается поэт в завершенной им части воспоминаний. В начале двадцатых годов в Чехословакии складывается литературное объединение «Деветсил», прокламировавшее новое, революционное, пролетарское искусство. Вскоре часть членов «Деветсила» во главе с его теоретиком К. Тейге отказалась от этих идей и в середине двадцатых годов провозгласила рождение нового направления — «поэтизма», к которому примыкал и Незвал. Многие сторонники «поэтизма» — Незвал, Библ, Ванчура — были коммунистами по убеждениям, они безгранично верили в обновляющую роль пролетарской революции, считали своей духовной родиной Страну Советов. И все же споры между «поэтистами» и сторонниками пролетарской литературы достигли большой остроты. Сторонники «поэтизма» утверждали, что искусство должно уступить идеологические, воспитательные и даже этические функции публицистике и другим видам пропаганды, а на себя принять роль «огромного Парка культуры и отдыха», дающего людям радость, высвобождающего их чувства и фантазию из плена повседневности. Законное стремление расширить круг тем и обогатить художественные возможности пролетарской литературы, освободив ее от известной аскетичности и прямолинейности, в манифестах «поэтизма» сочеталось с увлечением модернистскими «измами». В эстетических воззрениях сторонников «поэтизма» было немало путаного и эклектического.

Впрочем, творчество крупных художников всегда шире поэтических программ и деклараций. Так случилось с лучшими представителями чешского «поэтизма», и прежде всего с Незвалом. Творчество Незвала — одна из золотых страниц в истории европейской революционной поэзии нашего века. Его неисчерпаемая способность упиваться жизнью, его язычески-восторженное пре-

клонение перед красотой, его отнюдь не поверхностный, а глубоко органический оптимизм — все это неотделимо от его веры в революцию и в те перспективы, которые социализм раскрывает перед человечеством. Все это нашло свое выражение в его размышлениях о поэзии и назначении поэта.

Наконец еще один пласт в воспоминаниях Незвала. Перед читателем проходят ярко запечатленные наблюдательным художником образы современников: соратников и друзей, как Волькер или Библ, профессоров и наставников, как З. Неедлы и Шальда, советских гостей — Маяковского, Эренбурга, которые вызывают огромный интерес и уважение Незвала. Вообще любовь к молодой Советской республике, ее людям, ее новаторскому искусству, ко всему тому, что воплощало для Незвала и его друзей, «читателей и почитателей Коммунистического манифеста», завтрашний день человечества, одушевляет многие главы книги.

Со страниц воспоминаний Незвала перед нами встает живой образ одного из талантливейших поэтов XX века, человека, влюбленного в жизнь и бесконечно преданного прогрессивным идеалам современности.

Воспоминания В. Незвала «Из моей жизни» публикуются в отрывках.

И. БЕРНШТЕЙН

Я мог бы издать под многими, обычными в подобных случаях, заглавиями свои, назовем их так, литературные мемуары — воспоминания о живых и мертвых друзьях и приятелях, размышления о проблемах, которые решало мое поколение, портреты людей, которых знал, зарисовки исторических событий, свидетелем которых был, силуэты тех интимных переживаний, чувств и ощущений, которые избрали меня своим посредником. Однако, верный старинному обычаю, унаследованному нами еще с языческих времен, я прибегаю в выборе заглавия к покровительству нашего национального гения, который именно потому, что он наш самый великий и подлинно национальный гений, простирает свою длань над каждым, кто почитает за благо вызвать его дух. Словом, когда в зимние месяцы 1950 года, начав оправляться от смертельно опасного недуга, я решил снова и в последний раз, как полагал тогда, погрузиться в глубокие воды моей фосфоресцирующей памяти, дуэт Сметаны для скрипки и фортепиано, названный «Из родного края», дал мне все, чтобы встать на ноги. Когда-нибудь я расскажу о том, какую роль играл Сметана во все радостные и трагические моменты нашей истории, смысл которой он постиг глубже, чем все политики, расскажу и о том, почему он был и останется нашей путеводной звездой. Сейчас же я только чувствую дружеское прикосновение его гибких пальцев и направляюсь по тропинке, где надеюсь встретиться со своей жизнью и нашим веком.

■

Не надо думать, что я пишу о чем-то заранее сформулированном. Если бы в этом была необходимость, я считал бы излишним вообще приниматься за воспоминания. Все то, что может быть интересно и мне и вам, я извлекаю из своей памяти тут же на ваших глазах и только поэтому избрал такой долгий, окольный путь повествования.

Два года назад я отправился вместе с Иржи Тауфером [1] из Праги в Карловы Вары и во время короткой остановки на лугу, где почему-то раньше времени появились фиолетовые прожилки цветущего вереска — им так богат этот край, похожий на большое вересковое поле,— начал вдруг рассказывать моему приятелю о людях, которых он любил, хотя и не всех знал лично. Одна из подробностей в моем рассказе, понравившемся ему, навела нас обоих на мысль: такие вещи стоило бы записывать. Но речь шла не о дневнике и не о том, чтобы создавать автопортрет. Не свойственна мне также и страсть хроникера фиксировать событие за событием для того только, чтобы они не исчезли в пучине забвения. Мне хотелось бы помогать развеивать мифы и участвовать в том возрождении, которое принесла миру наука, чтобы и духовная деятельность, ведущая к созданию художественных произведений, все меньше и меньше окутывалась легендами, чтобы лучи люминесцентной лампы направлялись также и на мир художественных образов.

Когда я в прошлом году побывал проездом в Йене, я испытал неповторимое ощущение. В планетарии — подлинном чуде техники и поэзии — надо мной распростерся небесный свод. В то время как на улице стоял сырой зимний день, здесь была ночь, и над нами раскинулось бесконечное звездное небо. Эта поразительная имитация звездной ночи, это движение планет, Солнца, Луны и звезд, полностью соответствующее действительному, сопровождалось величественной музыкой Бетховена, еще более зачаровывавшей и без того потрясенного зрителя. Аппарат, управляемый человеком, которому доверена забота о планетарии, может воспроизвести любое положение звезд на протяжении бог знает скольких лет, подобно мелодии, воспроизведенной на вол-

[1] Иржи Тауфер (род. в 1911 г.) — известный чешский поэт и переводчик. *(Здесь и далее — примечания переводчиков.)*

шебном органе. Это было так возвышенно, так захватывающе! Я жалел, что со мной нет отца и что я не могу попросить йенского кудесника воспроизвести ему ту картину звездного неба, которую отец однажды видел, запомнил и очень точно описывал мне.

■

Так вот, солнце еще не показалось из-за горизонта, освещенного отблесками утренней зари, но было уже достаточно светло, чтобы отец, наливавший в школьном саду в бочку воду, ясно разглядел слева от себя на восточном краю небосвода Луну и Марс вблизи от исчезающего Меркурия, а справа, на западе,— Юпитер и Уран. С такой же ясностью он мог увидеть за оградой сада старую Конторадку, которая, как многие другие крестьянки, уже начинала свой трудовой день. Эта добрая женщина была первой из жителей Бискупок, кому отец сообщил в том майском предрассветном планетарии, что дитя, появившееся на свет божий, которое в эту минуту окунали в воду,— мальчик. Дома привыкли говорить, что отец был строг ко мне. Я не могу с этим согласиться. Только один раз в жизни он был ко мне несправедлив — когда ему показалось, что я лгу. Он понуждал меня признаться в том, что я испортил какую-то штуковину из проволоки, служившую для распрямления воротников пальто. Но я не мог признаться в проступке, которого не совершал. Виновата была служанка. Она слишком долго спокойно слушала мой душераздирающий плач в ответ на злые слова отца. Отец вообще не бил меня, только иногда за роялем, когда я играл невнимательно, хлопал по пальцам. Мать даже сердилась на отца за то, что он меня не наказывает и предоставляет ей неблагодарную задачу бороться с моим упрямым и капризным нравом.

Хорошо помню, как однажды вечером неподалеку от Вышеградского вокзала я, чуть не плача, признался отцу, что не хочу заканчивать философский факультет, что мне претят скучные занятия филологией, что я хотел бы посвятить себя поэзии, и как отец вместо резкого протеста, которого можно было бы ожидать, сказал мне в маленькой харчевне, куда мы зашли закусить, что он не заставляет меня заниматься тем, что мне не по душе. Он поразил меня тогда не только своим добрым отношением, но и замечанием, что сам он, собственно, получил то, что ему хотелось. Я попросил его объяснить, что он имеет в виду, и отец, обычно скрытный, когда речь заходила о его чувствах, преодолел свою сдержанность и рассказал, что 26 августа 1899 года после возвращения из Дрездена, куда он ездил на каникулы, чтобы посетить картинную галерею, ему удалось получить от жены, незадолго до того перенесшей неудачные роды, согласие снова стать матерью и у него возникло тайное желание, чтобы родился мальчик, которого назвали бы в честь автора «Вечерних песен»[1] и который стал бы поэтом. Мне было бесконечно грустно, что отец, чьи надежды я обманул, не пожелав закончить университет, берет на себя ответственность за все совершенные мною неблаговидные поступки, вызванные как раз теми особенностями моей натуры, без которых, впрочем, я, может быть, не стал бы поэтом.

■

Когда я родился, отцу только исполнилось двадцать пять лет; моя мать была всего на одиннадцать месяцев моложе его, и вторые роды стали для нее как бы наказанием за несовершенное преступление. Первый ее ребенок, девочка, умерла от потери крови через несколько часов после рождения по вине повивальной бабки, плохо перевязавшей пуповину. Отец приехал, когда девочка была уже мертва. Для меня Боженка навсегда вошла в сонм небесных ангелов вместе с Карличеком, младшим маминым братцем, умершим в детстве от дифтерита. При моем рождении мама тоже страшно мучилась, потому она и не хотела больше иметь детей, а женщин, народивших целый выводок, жалела и всячески покровительствовала им, так же как всегда жалела людей, преждевременно потерявших кого-нибудь из родителей, потому что сама осталась без отца, когда ей было всего семь лет.

■

13 сентября 1897 года в валечской сельской корчме, где праздновалась свадьба моих родителей, могла больше, чем когда-либо, проявиться разница в их социальном происхождении. Однако двенадцать гостей со стороны жениха, за которыми были посланы два экипажа на станцию в Студеницы, не имели причин чувствовать себя ниже сотни гостей со стороны невесты: их сын, брат и шурин, выучившийся на учителя и сдавший учительские экзамены, пользовался у них уважением и никогда ни у кого не просил помощи. Дедушка Незвал и дядя Энгельберт были цеховыми мастерами на заводе Данека, а другие дядья работали на том же заводе литейщиками. Дедушка им никогда не спускал плохой работы Бракоделов и пьяниц он не терпел. Его несколько раз выбирали в городскую управу, где он единственный представлял и защищал

[1] Имеется в виду Витезслав Галек (1835—1874) — известный чешский поэт и прозаик.

интересы рабочих перед владельцем завода и служащими, и у него не было причин ютиться в уголке, как «бедному родственнику». Тогдашние сентиментальные социальные романы имели обыкновение изображать рабочего или как плаксивую жертву господ, или как скандалиста, бухающего кулаком по столу. Достаточно сказать, что дедушка Незвал, случайно увидев сберегательные книжки, на которые были положены деньги, подаренные нам с сестрой валечской бабушкой, считал совершенно естественным подарить нам без всяких размышлений ровно столько же. Свадьба моих родителей, на которую собралось в бабушкиной корчме более сотни гостей, была в тех краях событием невиданным и памятным, предметом зависти местных богатых крестьян.

Валечская корчма, до того как ею стала владеть бабушка, принадлежала Добряку Францу — так называли моего дедушку Франтишека Мытиска. Даже через тридцать лет после его смерти окрестные жители помнили дедушкину доброту. Он был обучен ремеслу трактирщика и мясника, не курил, не пил, с утра до ночи трудился, любил играть на гармонике. Очевидно, о нем смолоду шла хорошая слава, если Кухаржики из Водонца отдали за него свою дочку. Когда она через год умерла, Франц хотел вернуть Кухаржикам приданое жены. Кухаржики не приняли его и отдали Францу в жены вторую дочку, шестнадцатилетнюю Каролину, мою будущую бабушку. Кроме моей матушки, у них было два сына. Дедушка умер меньше чем через десять лет после свадьбы, не дожив и до сорока лет, от второго апоплексического удара. Рассказывали, что однажды, когда дедушка причесывался у окна, а из белой валечской церкви, что напротив корчмы, вышла похоронная процессия, у него из рук вдруг выпал гребень. Он увидел в этом знак того, что ему пришел конец, и попросил Каролину привести детей, попрощался с ними и тут же испустил дух. На единственной сохранившейся у меня фотографии дедушка лежит в гробу. Моя мать была на него удивительно похожа, и даже моему сыну передались некоторые его черты. Когда по воскресеньям дедушка Франц шел по сельской площади, он закуривал сигару, а выйдя за пределы села, выбрасывал ее. Он отправлялся с детьми на прогулки к ручью, что за кирпичным заводом, ловил там раков. Со всеми был ласков и всем улыбался. Люди долго потом говаривали: «Жаль, что такого человека господь рано прибрал». А деревенские не прощают людям недостатков ни при жизни, ни после смерти. Управляться с оставшимся после смерти дедушки большим хозяйством — задача нелегкая для молодой вдовы, на руках которой было трое детей. Но Каролина с честью выполняла ее. Когда же впоследствии все-таки выяснилось, что разумнее будет ей выйти замуж, она отвергла все притязания богатых женихов и вышла за бедняка, красавца Йозефа Хладека. Она научила его всему, что сама с таким трудом усвоила. У меня сохранились прекрасные воспоминания о моем неродном дедушке. Но моя мать не жила с ним в добром согласии. Она не верила, что отчим или мачеха могут заменить детям родных отца и мать. Поэтому и для меня старая корчма в Валече связана прежде всего с образом бабушки.

Я люблю представлять себе мамину свадьбу. За длинными столами в зале сидят гости, двери в соседние комнаты распахнуты. В просторной кухне угощаются слуги и всякий случайный люд, а весь двор до самого сарая забит повозками съехавшихся со всей округи гостей. Каждого, кто придет, приглашают за стол, приходят даже самые бедные люди поздравить Эмильку, которая всегда была щедра, как и ее покойный отец, и оставалась такой до конца жизни. Сама она никогда не испытывала лишений, но охотно помогала тем, кому пришлось с ними встретиться. Так же как она отдала предпочтение молодому учителю перед врачом, судьей, богатым купцом и помещиком, добивавшимися ее руки, она предпочитала простых сельских девчат модницам, подражавшим барским повадкам.

Не так уж легко правильно определить влияние на человека того, что мы называем классовым происхождением. Вся трудность в том, что люди — это не просто продукт среды, они не пассивные орудия производственных и общественных отношений. Хотя некоторые представители того рода, из которого происходила бабушка Каролина, и были связаны с помещичьей средой, именно они оказались сами неудачниками и причинили немало бед людям, им доверившимся. И напротив, бабушка, которая руководствовалась принципом, что один нечестно нажитый крейцер замарает сотню честно заработанных, трудилась без отдыха до глубокой старости и помогала людям больше, чем от нее требовалось. Никогда она не сетовала на меня за мои коммунистические убеждения. Она хотела, чтобы я учился, и возлагала на меня особые надежды, хотя я ей для этого не давал никакого повода. Бабушка была серьезной, трудолюбивой, сдержанной, и никто никогда не посмел бы ее оскорбить. В этом она походила на дедушку Незвала, который, работая мастером в литейном цеху, сумел скопить столько, что хватило после его смерти для всех шестерых сыновей. Он сам умел трудиться и никому не давал лодырничать. Его сыновья тоже знали толк в работе, и некоторые завистники, работавшие с прохладцей и любившие выпивать, с ехидством говорили, что Незвалы — это «рабочая аристократия». Когда я вспоминаю дедушку Незвала, в моих ушах звучат слова: его величество рабочий класс! Без таких рабочих, как он, вряд ли родился бы социализм, сколько бы ни произносилось громких фраз. Они были не исключением среди рабочих, они были примером. Иными они не могли быть, как не могут эти строчки быть не такими, какими я их написал.

Допустим, что сложные «классовые отношения», которые не могли не проявиться на свадьбе моих родителей, сыграли свою роль и в моем развитии. Но то обстоятельство, что у моей матери были состоятельные родители, не имело особого значения для нашей учительской семьи, потому что в течение долгих лет к маминому приданому никто не притрагивался, хотя оно и составляло значительную сумму. И все же я никогда так хорошо себя не чувствовал, как в детские годы. Отец копил деньги на книги и постепенно обзавелся небольшой библиотекой, которая вместе со школьной библиотекой была для меня неоценимым источником познания. Я дружил с детьми крестьян, ремесленников и тех бедняков, которые жили в дощатых бараках, и мало чем от них отличался, пожалуй, только лучше сшитым платьем да еще тем, что много читал и играл на рояле. И все же не стану утверждать, что учительский сын рос в тех же условиях, что и деревенские ребятишки. Если я и не пользовался никакими материальными привилегиями, то все равно находился в более привилегированном положении: учительские дети вообще имеют более легкий доступ к культуре и из них часто выходят более прогрессивные люди, чем из детей зажиточных крестьян и ремесленников, потому что детей в учительских семьях с малых лет направляют в сторону прогресса. Поскольку они, как правило, не обременены недвижимой собственностью, они смелее расправляют крылья и взлетают выше.

Мы жили в просторных комнатах в самом красивом доме. Но дом был не наш, и мне не грозила опасность его когда-нибудь унаследовать — это была школа. Школе принадлежали сад и земельный участок. Они не могли стать собственностью нашей семьи, но именно здесь я познал, что значит настоящая природа, что такое полевые работы — жатва, уборка картофеля, вспашка, прополка — и чем ознаменованы четыре времени года. Я научился распознавать деревья по их цветению, различать сорта яблок, смородины, слив. Моему сердцу равно близки и столистая роза, и ночные фиалки, и подсолнухи, и маргаритки, и первоцвет, и подснежники. Все растущее вокруг я воспринимал так, как его родит природа, а не думал об использовании для продажи либо на семена. Не стану утверждать, что учительские дети лишены классовой принадлежности, но сравнительная независимость от производственных отношений позволяет их духу легче возноситься ввысь и они чаще становятся «посланцами богов». Это вообще свойственно образованным людям. Недаром мудрейшее учение современности, все более убедительно доказывающее перед лицом истории свою истинность, ставит на почетное место рядом с рабочими и крестьянами работников умственного труда, каково бы ни было их социальное происхождение.

Любопытно, что дедушкин брат Мартин Незвал, по профессии слесарь, попав в плен к итальянцам в 1859 году, выучился итальянскому и французскому языкам, возвратившись на родину, стал телеграфистом, а кончил свой век управляющим большим монастырским поместьем. Он освоил много иностранных языков, его познания были поистине энциклопедическими, я и сейчас с любовью беру в руки те редкие книги, которые отец от него унаследовал. И я благодарен судьбе за то, что после свадьбы отец привел мою мать в ту холостяцкую комнатку, которая ему была выделена при старой валечской школе, к своей фисгармонии и книжкам, что на него не повлияло общество, где ценилась иная карьера, и что мама без колебаний последовала за ним из большого родительского дома в маленькое неказистое здание валечской школы, а позднее в школьное здание в Бискупках, где я и родился.

■

В тот день, когда «кибитка кочевников» перевезла меня из моего родного селения, из опустевших комнат, за которые я так цеплялся, в другие пустые комнаты в доме напротив еще окруженной строительными лесами часовни в Шамиковицах, я вкусил, сам того не ведая, запретный плод. Я вдруг ощутил непередаваемое блаженство — человек, испытавший его хоть раз, будет тосковать о нем непрестанно,— это блаженство, которое дарит только искусство. Оно настолько захватывающе, что художнику не жалко пожертвовать ради него жизнью, положением, состоянием и домашним очагом.

Не знаю, не могу вспомнить, каким образом перевозчики мебели обставили мой новый дом, сейчас я вижу перед собой только строительные леса, окружавшие часовенку, и потом сразу же вспоминаю тот славный день, когда часовню освящали, когда к нам приехали торговцы сладостями, цыгане, разный бродячий люд, чтобы разыграть перед моим изумленным взором непонятную мне, но все же прекрасную оперу. Вижу перед собой и Гедвигу, девочку с косичкой, которая в моих мечтах превратилась в мою невесту и которой долго-долго принадлежало мое сердце.

Я хотел бы засвидетельствовать, что эмоциональная жизнь детей начинается гораздо раньше, чем воображают взрослые, и что она больше похожа на мир чувств взрослых, чем можно было бы ожидать. Впрочем, я не собираюсь давать здесь свое подробное жизнеописание или парафразы к произведениям, которые родились из моей биографии и моего образотворчества. Мне хотелось бы бросить взгляд на сам творческий процесс, потому что я с трудом переношу людей, которые, плохо разбираясь в предмете, произносят безапелляционные суждения насчет эстетики и ставят пал-

ки в колеса тем, кто действительно творит искусство. При этом никто не может упрекнуть меня в том, что я невнимателен к социальной стороне жизни.

В таком маленьком местечке, как Шамиковицы, люди обычно заглядывают не только в окна и в желудок соседа, но и в его душу.

Кроме бедности «не по своей вине», которую терпели почти все обитатели дощатых бараков, я познакомился с бедностью, так сказать, «по своей вине», которая постигала пьяниц, чьи крики раздавались по вечерам в деревне, с бедностью отталкивающей и низкой. В такую бедность впали некоторые батраки, а также один дикого вида мужик с заросшей физиономией, местный живодер. Мы, дети, его не боялись, и причины бояться его действительно не было. Он никогда не обижал нас. Зато богатым мужикам спуску не давал и иногда в пьяном виде так их поносил, что они всегда таили на него злобу. Ему еще повезло: его халупа была на отшибе, да и вообще живодер всюду нужен. Иначе ему долго не удержаться бы в деревне. Была еще одна категория бедняков — обитатели богадельни, которые редко показывались на людях и жили в полном смысле слова «на дне». Говорили, что среди них был даже человек, долго сидевший в тюрьме за изготовление фальшивых денег, и вообще там находились люди, прожившие век бог знает где и пришедшие неизвестно откуда в наше местечко. Одному из них приобрели на общественные деньги шарманку и разрешили побираться по всей округе.

Особую касту составляли те из моих земляков, которые ходили на заработки. Они были куда смелее, чем поденщики, нанимавшиеся к богатым крестьянам и старавшиеся заслужить их благосклонность.

Из шамиковицких обитателей, не считая юродивого живодера, мне больше всего нравились каменщики. Они ездили на работу в город и возвращались домой только на воскресенье, но люди это были очень заметные. И я, никогда не видевший города, кроме как в мечтах и на картинках в книгах, не отходил от них, когда они время от времени работали у нас в местечке, потому что их разговоры, может быть, и не всегда подходящие для слуха ребенка, давали обильную пищу моим мечтаниям и размышлениям. Между ними было даже несколько музыкантов, которые зимой забрасывали мастерок каменщика, извлекали из футляра кларнет или трубу и пускались бродить по белу свету. Когда они возвращались домой из путешествий в поисках заработка и когда мне дано было снова полюбоваться мастерком каменщиков, мир открывал передо мной свои тайны и во мне рождалась мечта о путешествиях.

Истинное мое восхищение вызывали и другие ремесла, особенно портняжное, сапожное и кузнечное. Словом, люди, к имени которых обыкновенно не прибавлялся титул «пан», казались мне гораздо интереснее, чем те, кто его носил. Этот титул, как и обращение «хозяин», был неотделим от имен сельских богатеев, хотя он часто подходил им как корове седло. Классовая оценка земляков опиралась у меня вовсе не на экономический анализ, а главным образом на наблюдения, как тот или другой крестьянин надевает шляпу или сплевывает сквозь зубы, сжимающие трубку, и я думаю, что мои оценки всегда были точными. Так, например, живодер, будь он трезв или во власти дьявола водки, был старым добряком, сколько бы ни ругался спьяна. Мы, дети, сопровождали его, как почетная свита, до самой его берлоги.

Кроме местных жителей, которых мы знали как облупленных, через деревню то и дело проезжали мелкие торговцы, лоточники, резники, ветеринары, не считая таких привычных ежедневных гостей, как почтальон и священник, навещавший больных.

Я знаю, что читатель ждет от меня прежде всего воспоминаний, связанных с литературной жизнью. Ну что ж, пусть подождет. Мне нужно было раздать карты, я раздам и те, которые еще остались в колоде.

Селение Шамиковицы вряд ли найдешь в путеводителе, потому что в нем, может быть и до сих пор, всего пятьдесят девять дворов и оно решительно ничем не примечательно. Но именно это селение дало мне то, что в моей поэзии связано с природой. К природе я отношу не только все, что росло в Шамиковицах, но и всех обитателей вместе с их домишками. Туда моя память до сих пор возвращается в поисках тех чувств и образов, которые я оставил когда-то между придорожными столбами, среди картофельной ботвы, во дворах и огородах — всюду, куда ступала моя нога по летней пыли или по лужам в пору долгих осенних дождей. И именно поэтому я не останавливался там, когда мне доводилось, трижды за последние двадцать лет, проезжать мимо. Робость, испытываемая мною при виде каждого камешка, каждой травинки и тем более каждого человека, которого я мог бы узнать, гораздо сильнее, чем желание вернуться и умереть там. Самая незначительная несправедливость, от которой пострадал бы не только кто-либо из обитателей Шамиковиц, но даже старое, засохшее дерево, привела бы меня в отчаяние. Я слишком долго парил здесь в жемчужных лучах света (хотя днем перед часовенкой разгуливали гуси, а по ночам у ближайшего дома заливался лаем пес), слишком долго гостеприимно предоставлял строфы моих стихов тамошним коровкам, слишком долго живут в моих воспоминаниях без единой морщинки те, кому сейчас уже было бы за сто,— поэтому даже подумать не могу о том, чтобы приехать туда просто так, ведь не осталось там ни единого очага, возле которого я мог бы чувствовать себя дома. Хорошо еще, что в этом селении нет кладбища, куда бы я ездил навещать родные могилы, кладбище — оно в городке, который будет вам представлен на ближайших страницах.

Едва я слышу слово «лес», моя мысль тотчас же мчится к тамошним деревьям, между которыми я бродил, как в девственной чаще. Если вы заговорите о спелых черешнях, я тут же отведу вас на песчаный холм, над которым черешни возносились, как круглые волшебные фонари. Моей поэзии известен каждый колос, прячущийся возле полевой тропинки, каждое гнездо аиста. В ней живет трубочист, который приходил сюда изредка, сапожник с его мастерской, как бы сошедшей с картин голландских художников, портной-прорицатель — всё и вся. В моей поэзии живет и кудрявый кузнец со своим отцом, обладатель двух военных фуражек, и его бабка — наша бабушка Ржигова, рассказы которой давали такую обильную пищу моей фантазии.

Я никогда не понимал, как человек масштаба Ф. К. Шальды [1] мог говорить об искусстве «сверхличном и типизирующем». Только личное, внутренне пережитое, может стать камнем в фундаменте самых великолепных литературных сооружений. Не могу себе представить, чтобы человек отрывал куски действительности, как отрывают крылья и ножки у мух, и лепил потом из них литературную муху, «сверхличную и типическую». Люди масштаба Ф. К. Шальды, но замкнутые в интеллектуальном мире, отличаются нередко странным свойством: у них словно отсутствует зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, синтезом которых и является «шестое чувство». В студенческие годы я был фанатическим поклонником автора «Борьбы за завтрашний день» и «Душ и творений». И если б снова стал студентом, я и теперь был бы таким же страстным поклонником Шальды. Хотя все пять его чувств порою были запорошены какой-то серой пылью, он обладал высоким духом, а это у нас не так часто встречается. Даже в моем решении перейти с юридического факультета в Брно на философский в Праге значительную роль сыграло то, что в Карловом университете читал лекции Шальда.

Когда он входил в аудиторию в Клементине [2] тяжелыми медленными шагами, слегка прихрамывая, красивый и чуть насмешливый, сердце у меня начинало бешено колотиться. Его высокий голос срывался, в то время как глаза щурились от мягкого света аудитории, где он с помощью своего «шестого чувства» искал еще не вылупившихся поэтов. Слушая его лекции, я бывал не менее взволнован, чем студентки, заполнившие первые скамьи и пожиравшие глазами своего кумира. Тем, кто привлек его внимание, он адресовал лаконичные, полные иронии фразы, сопровождавшиеся эксцентричными жестами... Он безупречно одевался и умел со вкусом царить на своем Олимпе. Иногда он подчеркивал ритм своих фраз, негромко ударяя по столу тростью.

В конце летнего семестра 1920 года я пошел к нему на коллоквиум — он приглашал студентов к себе домой. Нас было, кажется, трое, и мы ждали в элегантно обставленной гостиной, откуда нас по одному горничная приглашала в кабинет. Всем нам было чуть ли не дурно от волнения, у всех кружилась голова. Я чувствовал себя на пороге чистилища.

После нескольких вопросов о моем происхождении Шальда попросил меня рассказать об Андре Шенье, лекции о котором он читал в летнем семестре. Я запомнил дословно одну его формулировку и позволил себе повторить ее. «Поэтическое виденье Андре Шенье,— сказал я,— было пластическим. Никогда между ним и внешним миром не было туманной пелены». Этого ему оказалось вполне достаточно. Он смерил меня взглядом и с иронией спросил, не занимаюсь ли я стихотворством. Я признался в своих поэтических грехах и был приглашен посетить его после каникул. Не стану описывать, в какой бешеной пляске кружилась перед моими глазами Прага, когда я мчался на Мельницкую улицу к Иржи Свободе [3], чтобы сообщить ему, какое мне выпало счастье. После каникул, во время первой же лекции Шальды, я был удостоен потрясающего отличия: он нашел меня глазами, подозвал движением длинного указательного пальца к своему столу и пригласил к себе на ужин; как выяснилось, приглашены были также поэт Якуб Демл [4], с которым я не был до сих пор знаком лично, хотя горячо любил его произведения, и пани Кытлицова.

Когда я пришел, все уже сидели за столом. Шальда нас познакомил. Он держался настолько сердечно, что замкнутость, в равной степени присущая и мне, и Демлу, оказалась явно неуместной. И все же разговор преимущественно поддерживали хозяин и пани Кытлицова, отличавшаяся той же высокой духовностью, что и Шальда. Мы пили хорошее белое вино, и Демл, тяжелый меланхолический взгляд которого был устремлен в самого себя, вдруг начинал нервно хохотать. «Не пейте, дитя мое»,— говорила Демлу пани Кытлицова, чья заботливость пробуждала его природный юмор, и мы все искренне смеялись, даже я, хотя и испытывал крайнее напряжение, оказавшись между двумя поэтами, которых обожал. Попрощавшись с Якубом Демлом и пани Кытлицовой, Шальда предложил мне еще немного посидеть с ним и пошел проводить гостей. Вернувшись, он сказал с неожиданной серьезностью: «Представьте себе, как больно должно быть Демлу и этой удивительной женщине, когда в них видят только священника и домашнюю хозяйку. Это на редкость чистые люди, и я очень высоко ценю поэзию Демла». Я с радостью признался Шальде, что тоже люблю стихи Демла. Потом Шальда

---

[1] Ф. К. Шальда (1867—1937) — известный чешский критик, прозаик и драматург
[2] Клементин — одно из старинных зданий Карлова университета в Праге.
[3] Иржи Свобода — музыкант, приятель Незвала.
[4] Якуб Демл (1878—1961) — чешский писатель католического направления.

стал читать мне по рукописи свою пьесу «Толпы». Он предвидел, что ее будут считать драмой не для сцены, а для чтения, и пытался подробно изложить мне концепцию пьесы.

При том, что от всех беллетристических произведений Шальды на меня всегда веяло чем-то чуждым, я и сейчас не могу справиться с волнением, когда мое воображение воссоздает те фантомы, в какие поэт превратил людские толпы, коллективная судьба которых так волновала наше поколение — поколение читателей и почитателей Коммунистического манифеста. Ф. К. Шальда чувствовал, что тогдашнее молодое поколение поэтов стояло на совершенно иных позициях, чем поколение 90-х годов и чем анархисты. Он пытался понять то, к чему мы стремились; меня он потом часто приглашал к себе и даже наградил ироническим титулом «информатор по вопросам новой поэзии». Но когда я как-то прочитал ему наизусть «Покорность» Волькера[1] из сборника «Гость на порог», он искренне рассмеялся, увидев в этих стихах только остроумную игру слов. Позднее он стал лучше понимать Волькера и написал о нем великолепную статью.

Как-то Шальда изрек такой парадокс: «Я рад служить, но надо уметь мне приказывать». Одно время моим недругам удалось очернить меня в глазах Шальды. Любовь и уважение, которые я к нему питал, не позволили мне оставить без ответа его нападки на моего «Яна в печали». Я реагировал на них резко, безо всяких околичностей. Позже от одной женщины, знакомой Шальды, я узнал, что мой резкий ответ пришелся ему по вкусу. Это так на него похоже. Когда мы через много лет встретились во время манифестации во дворце Радио, он был очень любезен со мной, но в последние годы его жизни мы с ним не виделись. Его нелепые идеи «сверхличного искусства» проистекали из абстрактного представления о действительности и о человеке, свойственного идеалистической философии. Врата храма символизма были слишком близки к тому миру, в котором жил Шальда. Для поэтов моего поколения он сделал, однако, больше, чем мы могли бы мечтать. Но, несмотря на искреннюю любовь к нашему народу, он никогда не понимал его, так же как и не понял Маркса. Его добрая воля иногда превышала его возможности. Видимо, болезнь, которой он страдал долгие годы, делала его пленником узкого кружка литераторов. Я до сих пор вспоминаю о нем с восхищением, и мне хотелось бы, чтобы его творчество было как следует изучено и объяснено. Когда б я ни поднимался по лестнице, ведущей в его квартиру, всегда я ощущал волнение. И хотя он не оказал явного влияния на мое творчество, знакомство с ним было для меня бесконечно ценно. Иногда я думаю о нем не как о литераторе, а как о герое романа. Но не хочу забегать вперед со своими замыслами. Однажды во время каникул он прислал мне открытку, и я снова и снова перечитывал ее, гуляя по шамиковицким полям. Кто знает, если бы не было этих полей и этих по-демловски простых и непосредственных шамиковицких обитателей, и я мог бы попасть в тиски интеллектуализма. Это было бы для меня самым большим несчастьем, какое только можно себе представить.

Я не хотел бы навлечь на себя подозрение в том, что мне свойственна недооценка интеллекта. В какой бы сфере человеческой деятельности ни проявлялся могучий интеллект, он всегда вызывал и до сих пор вызывает мое безграничное восхищение. Математика, проникающая за пределы человеческого опыта, астрономия, способная потрясти наше сознание, различные философские системы, которые из области воображения подходят к самому порогу действительности,— эти и другие почти не знающие границ проявления духа неизменно волновали и волнуют меня. Мое преклонение перед великими умами заходит так далеко, что я готов принять на веру подернутый налетом мистификации рассказ Эдгара Аллана По о том, как он создавал своего «Ворона» — этот огромный черный бриллиант поэзии. Без участия большого ума даже самое маленькое лирическое стихотворение будет неизбежно скучным и бесцветным. Опухшие от слез глаза ничего не стоят в поэзии, так же как ничего не стоят и самые возвышенные замыслы, пока способность мозга, называемая воображением, не придаст стихотворению ту точность, которой отличаются самые высококачественные промышленные изделия. Я протестую лишь против симуляции глубокомысленности — ведь с ее помощью многие поэты просто прикрывают пустоту своих сочинений,— а также против ханжеского лицемерия тех, кто, протаскивая в рифмованные строки разные правды и правдочки, провозглашает моральные истины или поучает читателя. Проповедников и прочих болтунов по призванию, всегда присваивавших право злоупотреблять поэзией, выбросит из седла даже самый мирный Россинант. Большой ум так же не продажен, как большое чувство и вкус — или как еще там называются те начала, без которых никогда не могло обойтись подлинное искусство. И недаром в характере художников и всех людей, наделенных творческим даром, есть отчаянная непримиримость, прежде всего непримиримость к компромиссам, и полное презрение к мнению о себе «приличного общества». Без этой непримиримости люди превращаются в мещан, идущих на компромиссы и хотя бы из осторожности не способных ни на какое решительное действие. Традиционная критика их любит, и так как они не раздражают никого, то им удается сделать в конце концов «карьеру».

[1] Иржи Волькер (1900—1924) — выдающийся чешский поэт, один из самых ярких представителей чешского пролетарского искусства начала 20-х годов. «Гость на порог» (1921) — его первый поэтический сборник.

Деревня, где мы жили, и городок, находившийся на расстоянии получаса ходьбы, отделенные друг от друга небольшим холмом — по одну сторону его стояло распятие, а по другую росла редкая рощица,— долго представляли собой единственную сцену, на которой разыгрывалась моя жизнь. До Валеча — родного села матушки — было три часа езды на бабушкиной бричке или на крестьянской подводе. Дорога в Валеч, куда мы ездили к бабушке на каникулы, вела через Роухованы и Гротовиц. Она была утыкана телеграфными столбами, пересекалась лесными просеками, вилась вокруг Далешицкого кладбища, над которым чернел купол часовни. Эта дорога была для меня чем-то вроде пути на чужбину, потому что в мире, расположенном вблизи белой валечской часовенки, в лабиринте бабушкиной усадьбы, на дворе, где валялись бочки, близ сарая, где содержались коровы, и в бабушкином саду, где находились кегли, все было так не похоже на наш дом. В огромном погребе и летом падала с потолка капель, в кладовой висели копченые свиные окорока и телятина, из коптильни доносился аппетитный запах свежих колбас, а соседнее помещение было увешено гирляндами надутых кишок. Между кухней и столовой, примыкавшей к корчме, было маленькое окошечко, как на голландских картинах, в комнатке у входной двери находилась конторка, а за нею спальня, где всегда ощущался какой-то специфический запах, точно не знаю чего. Здесь я пил самый вкусный лимонад — его изготовляли в Тржебичи и привозили в ящиках, разделенных перегородками, напоминавших то ли огромные пчелиные ульи, то ли коробочки для коллекции минералов, которые мне когда-то привез из города отец.

В корчме пахло табаком, тминной водкой и свежевыстиранным бельем, хранившимся в соседней комнате. Но самым удивительным и загадочным был для меня запах дерева, из которого были выточены кегли и кегельные шары. В Валече, правда, мне недоставало шамиковицких товарищей, и все же я жил тут в постоянном возбуждении, особенно в те дни, когда проводились маневры и мимо корчмы проходили колонны пеших и конных солдат — улан и гусаров, артиллеристов, связистов, саперов,— тянулись воинские обозы. Да, если бы меня спросили, где обретаются платоновские идеальные прообразы мира, я бы ответил без размышлений — в мире детства.

До того как разразилась первая мировая война, мир и вся жизнь представлялись мне в идиллическом свете, несмотря на некоторые их темные стороны. Правда, где-то происходили землетрясения, до моего детского слуха дошли вести о русско-японской войне, была убита красивая дама — императрица [1], портрет которой висел в нашем классе,— распространялись странные слухи о кронпринце Рудольфе, но все это было далеко и не касалось никого из наших знакомых. Не могу не отнести к историческим событиям и тот момент, когда увидел над Шамиковицами аэростат, паривший в воздухе, или комету Галлея, вызвавшую столько разноречивых толков, но все же история до той поры не коснулась меня своим ураганным крылом. Солдат я знал только по маневрам и очень радовался, когда прошел слух, что они промаршируют по дороге или даже будут сражаться в поле за нашей деревушкой. Одно время у нас жил румынский офицер по имени Генрих Викторин, от которого я буквально был в восторге. Как-то меня угостили картофельной похлебкой из огромного котла полевой кухни, и она показалась мне такой сказочно вкусной, что я долго потом не хотел ничего есть, кроме картофельной похлебки. У нашей семьи обнаружились даже родственные отношения с армией — мамин брат, дядюшка Арношт, был офицером и приезжал иногда к нам верхом на коне; он позволял мне надевать свой черный кивер и играть с золочеными украшениями его сабли.

В пору, когда разразилась мировая война, стояли такие прекрасные, погожие дни, что я и поныне их вспоминаю.

Однажды, июльским воскресным вечером, когда черное небо было густо усеяно звездами, пришел отец и сказал мне, что, наверное, будет война. То же он сказал и матушке. Так оно и произошло: на второй или третий день утром появился на воротах плакат, в котором император сообщал своим подданным, что он объявил войну. Отцу уже исполнилось тридцать девять лет, и в начале военных действий он не подлежал мобилизации. Зато было мобилизовано большинство шамиковицких крестьян, и все молодые парни, которые только что расстались с военными мундирами, должны были снова надеть их. Воспоминание о том утре, когда наши Шамиковицы вдруг опустели и женщины кучками долго стояли на деревенских улицах, могло бы воплотиться в форму античной мистерии — казалось, будто только что происходили какие-то гигантские похороны. Хотя мне было всего четырнадцать лет, я пережил тогда и испытывал на протяжении всей войны такой ужас, который ни с чем нельзя сравнить. Я не могу признать за зачинщиками войн права называться людьми. Не только развязать войну, но и принимать ее слишком легко — это преступление...

Когда мне исполнилось восемнадцать лет, меня призвали в армию, но я твердо

[1] Австрийская императрица Елизавета, жена Франца-Иосифа I, была убита в 1898 г. анархистом Луиджи Люккени.

решил в войне не участвовать. В семнадцатом году из случайно попавшей в мои руки газеты я узнал, что в России произошла революция, и всем сердцем почувствовал, что эта революция нанесет войне удар. Помню, как в Иглаве я в мундире австрийского пехотинца, дожидаясь своей очереди в парикмахерскую, чтобы обрить наголо голову, прочитал в немецкой газете статью против русских революционеров; я захлебнулся от радости, что революция продолжается и, возможно, перекинется в Австро-Венгерскую империю. Разумеется, это не было результатом воздействия на меня какой-либо политической доктрины, а подсказывалось самой жизнью и историей, которые добавили к моему естественному патриотизму обыкновенное чувство самосохранения.

Еще до того, как меня призвали, я любил играть на рояле гимны славянских народов, пугая этим мою бедную матушку. А на военной службе мне были противны карьеристы, с самого первого дня начавшие задирать нос; потому что они, мол, вольноопределяющиеся и поступят в офицерскую школу. Я не очень гордился желтой нашивкой на рукаве, дававшей и мне сомнительную надежду после шестинедельного обучения отправиться на фронт в качестве вольноопределяющегося с офицерской звездочкой. Все возможное я делал, чтобы не заслужить ее, и при первом удобном случае слег в больницу, где и нашел вскоре добрых друзей, относившихся к войне так же, как и я. Наконец мне удалось освободиться от воинской службы и снова стать штатским. Никогда в жизни у меня не вырывалось такого вздоха облегчения, как тогда, когда я сдавал на воинский склад фуражку, гимнастерку, шинель, штаны, плащ-палатку, фляжку и все остальное, что на меня нацепили. Так с весны и до конца 1918 года я находился дома и писал стихи в стиле Махара [1].

И может быть, именно в духе этих стихов была моя первая Магдалина, ее я узнал в пору своей солдатской жизни в Иглаве.. В доме, где я очутился, видно, красили стены и на каждом шагу приходилось натыкаться на малярные принадлежности; хрупкое существо, которое, схватив меня в темноте на улице за руку, привело сюда, увлекло по ступенькам в комнатку, походившую... нет, ни на что не походившую. Малютка плохо говорила по-чешски, и у нее были неестественно горячие губы. Наверно, она болела туберкулезом, и если ей удалось пробудить мое сочувствие, то нельзя того же сказать о страсти. По возвращении в казармы я был скорее подавлен, чем испытывал какие-либо иные чувства. Об этой девушке я долго вспоминал, и всегда, когда мы маршировали по улице, название которой мне не хочется приводить, меня охватывала тоска. Скорее всего, ее уже давно нет в живых, может быть, она даже не пережила войну. Во всяком случае, это приключение сделало более близкой для меня поэзию Махара.

Возможно, мне не следует писать о чувствах, которых в наше время, вероятно, уже не существует, но кому же тогда писать о них, если не поэту, хоть он и сам не придает им особого значения. Помню, однажды, незадолго до окончания гимназии в Тржебичи, когда мы всем классом шли фотографироваться, я встретил на улице, залитой полуденным солнцем, подобное же существо, с которым познакомился за несколько дней до того в тржебичском ночном кабачке... Элегантная, безупречно одетая, она промелькнула перед моими глазами, и я почувствовал, как заколотилось у меня сердце. Я не решился окликнуть ее — это представилось мне жестоким, но казалось, что я встретил женщину бесконечно любимую, покинувшую меня, женщину недоступную, которой целуют руки и не смеют признаться в своих чувствах. Придя к фотографу, я не переставал думать о ней, и даже теперь, спустя уже сорок лет, мне хочется назвать ее прекрасной строфой, выпавшей из великолепного стихотворения и тщетно отыскивающей свое место среди других поэтических строф.

■

Австро-Венгрия проиграла войну и развалилась. Возникло Чехословацкое государство. Молодежь вернулась на ученические скамьи, и в людях начали рождаться новые чувства, которым было душно под пеплом войны. Эпидемия «испанки» и гостившая у нас кузина из Праги задержали меня дома до Нового года, а после Нового года я вернулся в Тржебичи в восьмой класс. Там меня ждали полгода сказочной жизни. Учителя теперь совсем иначе относились к нам, бывшим солдатикам, и мы чувствовали себя гораздо свободнее, чем прежде. Политическая жизнь необыкновенно оживилась, и в Тржебичи начало бурно развиваться рабочее движение. Для меня не было другого пути, кроме пути марксистской левой рабочей партии, у которой были прочные корни в Тржебичи. Там работал Отто Рыдло, высокий худощавый студент, олицетворявший для меня в ту пору идеал политического трибуна. Однажды незадолго до экзаменов на аттестат зрелости я остановил его на улице и спросил, как бы мне вступить в партию, которую он возглавлял у нас в городе. Он знал, что я пишу стихи, и, приветливо улыбнувшись, сказал: «Товарищ, тебе ни к чему вступать в партию. Поэты — народ разболтанный. Ты не заплатишь взносы или не придешь на собрание, а мы тебя за это исключим. Если ты с нами, докажи это как литератор. Это самое лучшее из всего, что ты можешь сделать». В двадцатые годы Отто Рыдло объявил в Тржебичи Советскую республику и за это оказался на скамье подсудимых. Я ничего не знаю о его дальнейшей по-

[1] Иозеф Махар (1864—1942) — чешский поэт. «Магдалина» (1894) — поэма Махара, романтическая история падшей женщины.

литической деятельности, помню только, что в тридцатые годы видел его в одной из пражских аптек, где он работал провизором. Если он и допустил потом какие-либо политические ошибки, его роль в рабочем движении Тржебичи в 1918 году была значительна.

В моей памяти никогда не сотрется картина рабочей демонстрации, которую я видел в Тржебичи за два года до войны. Не знаю, по какому именно поводу она проводилась, но хорошо помню, что рабочие вышли на улицы и заполонили городскую площадь. Они вышли ради справедливого дела, и я был целиком на их стороне. Помню, как поспешно запирались магазины и у многих тогда душа ушла в пятки. После войны я слышал на одном собрании выступление какого-то офицера-легионера, который приехал в Тржебичи, чтобы клеветать на русскую революцию и на прогрессивную часть чехословацких легионеров. Когда он произнес имя «Ленин», все рабочие встали, демонстрируя свою солидарность с ленинской революцией, и не давали офицеру говорить. В конце концов он был вынужден покинуть трибуну. На его место поднялись представители рабочих и, несмотря на все попытки полиции очистить зал, высказали перепуганным обывателям всю правду. Для моего дальнейшего развития выступления рабочих имели огромное значение: то, что я позднее нашел классически сформулированным у Маркса и Энгельса, было для меня уже заранее подтверждено этими выступлениями.

■

Теперь, когда я готов лобызать каждый пражский камень, как любящий сын готов лобызать узловатые руки своей матери, мне трудно представить себе, что какая-то часть Праги могла действовать на меня угнетающе, что некоторые ее районы наводили на меня уныние. И все же это так. Не надо забывать, что поэт и поэзия способны скрасить даже самую жалкую действительность, что без них, без их открытий, действительность была бы намного беднее. Люди, лишенные дара воображения, нуждаются в золоте, серебре, в роскоши. Рембрандт и все великие художники открывали красоту там, где никто до них и не искал ее. Париж был бы далеко не так пленителен, если бы художники не наделили живым волшебством его улицы и мосты, стены и ставни его домов. Когда в моем «Эдисоне» выступили под рефлектором поэзии мост Легионов и Коширже [1], это было поистине революционным актом в чешской поэзии, в которой до тех пор было так мало от материальной красоты повседневности. Поэтому мне кажутся необычайно важными художественные открытия Антонина Славичека, Минаржика [2], которые увидели красоту старинных, близких к разрушению зданий квартала На Франтишку, гетто, рыночных площадей. Живя в деревне, я любил смотреть в бинокль на картинки с видами Праги — так они приобретали пластичность и материальность. Это была Прага историческая, и ее красота, которая не может не захватить каждого, казалась мне ни с чем не сравнимой. Мой первый приезд в Прагу был связан с невеселыми обстоятельствами: я долго просидел на грязном брненском вокзале, пассажирский поезд тащился ночью почти восемь часов, на протяжении всего пути не видно было ничего, кроме однообразно мелькавших станций. Кроме того, мне было грустно, я скучал по родителям, сестре, друзьям, по дому, по той красоте, в создании которой столько лет участвовала моя фантазия и с которой была связана вся моя жизнь, все мои увлечения. Когда я вышел из поезда на тогдашнем Масариковом вокзале, тучи дыма фабричных труб заволокли передо мной дома и весь горизонт, так что я въехал не в славную столицу, достойную изумления, а в город, чей затрапезный вид не только вызывал уныние, но попросту угнетал. Толчея на вокзале, переполненные трамваи и запах табачного перегара еще более усилили мое разочарование.

Двоюродный брат, желая оказать мне услугу, нанял для меня квартиру в Карлинке, на Кржижковой улице, № 55, в доме, где помещался кабачок «У белой розы». Если б мать была с нами, она не позволила бы мне даже войти в отвратительный подъезд, узкий и затхлый, ведущий в крохотный дворик, посреди которого красовались уборная и ящики для мусора. Маленький дворик был со всех сторон зажат стенами высоких домов и сюда ни в какое время дня не мог даже по ошибке проникнуть ни единый луч солнца. Заплеванная винтовая лестница с крутыми деревянными ступенями вела на второй этаж, где я и должен был жить. Прямо с лестницы дверь открывалась в кухню, пропахшую капустой и грязным тряпьем, а в мою комнату надо было проходить через семейную спальню. Комната была само убожество. Я, привыкший к высоким потолкам помещений, из окон которых виден был небесный свод во всей его красоте, готов был расплакаться, войдя в свое новое жилище, и только стыд удержал меня от слез.

Двоюродный брат даже не подозревал, в каком мрачном расположении духа я нахожусь,— он тревожился прежде всего о том, чтобы не потерялся черный чемодан, которым я пользовался во время гимназической жизни в Тржебичи. Я уселся на этот чемодан, напоминавший мне дом, и предался унынию. В чемодане лежали мои рукописи и письма Магена [3], оберегаемые мною как зеница ока и уносившие меня в

---

[1] Коширже — район в Праге.
[2] Антонин Славичек и Ян Минаржик — чешские художники.
[3] Иржи Маген (1882—1939) — чешский писатель.

мечтах далеко от той отвратительной дыры, которую я должен был отныне считать своим домом. В хозяйке, хозяйкиной дочери и ее муже тоже не было ничего, что могло бы привлечь мое сердце. Я был счастлив, когда мне удавалось, возвращаясь поздно вечером, проскочить через кухню и спальню, ни с кем не заговаривая. Моя двоюродная сестра, жившая неподалеку, на Колларовой улице, была замужем, и я долгое время избегал встречи с нею.

Семестр только начался, спешить с занятиями не надо было, и у меня вошло в привычку скитаться в вечерние часы по подозрительным улочкам, где кошачьи глаза и взоры девиц легкого поведения приводили меня в трепет. В то время я прочитал роман Шарля-Луи Филиппа «Бюбю с Монпарнаса» [1] и рядом с призраком Магдалины Махара и Сонечки Мармеладовой Достоевского передо мной вставал образ Берты Метенье. Я плакал над книгой Филиппа и бесконечно любил его героев. Моя жизнь казалась мне такой же пустой, и во время ночных прогулок я заглядывался на пражских Берт. Первое, что вызвало мою влюбленность во время этих ночных блужданий по Праге, был рокот Влтавы и свет фонарей, бросающийся с ее мостов в темную, уплывающую ночь. Вначале я не писал стихов. Не мог писать их, потому что все во мне было нагромождено в кучу, как на свалке, и надо было перетерпеть мучения, причиняемые этим хаосом.

■

Настало время воздать хвалу небольшой книжке, оказавшей влияние не только на меня и мое поэтическое развитие, но и на всех наших молодых поэтов. Эта книга современной французской поэзии в переводе Карела Чапека — настоящее чудо переводческого искусства. Язык чапековских переводов стихов Верлена, Поля Фора, Франсиса Жамма, Сен-Поля Ру, Аполлинера, Вильдрака — я называю только имена поэтов, поразивших меня особенно сильно,— был тем языком, который по своей естественности мог сравниться с языком художественной прозы. Благодаря этому Карел Чапек вернул молодым чешским поэтам их родной язык в самом чистом виде, ему удалось выполоть в саду поэзии сорняки парнасизма, все, что делало стих слишком размазанным или чересчур патетичным. Вспоминаю, как однажды весенним днем, уединившись на Жофине [2], я принялся читать захватывающие богатством образов французские стихи, нашедшие благодаря Карелу Чапеку у нас свою вторую родину, и снова переживаю то бесконечное облегчение, которое принесли они моему духу. Когда мне в руки впервые попал чапековский перевод «Зоны» Аполлинера, вышедший с иллюстрациями Йозефа Чапека (это было, еще когда я жил в Тржебичи), я ничего не понял в этих стихах, лишь потом ставших моей любовью. Позднее, когда «Колокола» Аполлинера и его «Рейнская осень» наполнили мое сердце новыми звуками, я вернулся к «Зоне» и понял, что выше этого стихотворения нет ничего в поэзии XX века. Затем я раздобыл «Алкоголи» Аполлинера, но, к сожалению, из-за тогдашнего слабого знания французского мог лишь догадываться, какая в них сокрыта поэзия. Познакомившись впоследствии лично с Карелом Чапеком, я спросил его, почему сам он написал так мало стихов, если перед ним раскрыты все тайны поэзии. Чапек ответил, что испытывал бы чувство стыда, если бы писал о себе в первом лице. В драме, где он говорит за других, он этого не ощущает.

В том районе, где я жил весной 1920 года, было только одно место, где я чувствовал себя хорошо. Это — Карлинский парк. Как только начали наливаться соками и зеленеть ветви его деревьев, как только вышли на аллеи парка после зимней спячки зеленые скамьи, как только солнце, еще недавно замурованное между домами, примостилось в кронах деревьев, в моей душе началась перекличка всех светлых минут настоящего с прошлой жизнью. Этот парк был для меня отдыхом перед сном и первым радостным вздохом ранним утром. Казалось даже, что здесь меня ждет счастливое приключение, далекое от грязи случайных ночных встреч. Я охотно ездил на Жофин, само название его было как бы исполнено поэзии А когда стал бывать у Иржи Свободы, мне открылось очарование сада Кинского — весной, особенно в ранние часы, он весь звенел от птичьих голосов и действовал освежающе, как родниковая вода.

С Иржи Свободой мы были близки словно родные братья и стали необходимы друг другу: я приходил к нему когда вздумается, нередко даже ночью, стучался в окно его комнаты на первом этаже, через которое и проникал внутрь. У меня был теперь слушатель, хорошо понимавший поэзию, кому в любое время можно было читать свои стихи. Мы хорошо знали прошлое друг друга, все наши увлечения и без конца со всеми подробностями обсуждали их. Вместе мы ходили на лекции Ферстера [3] и Неедлы [4]. Зденек Неедлы с его красивой головой, которую окружал сияющий нимб волос, словно излучал электрические заряды и буквально завораживающе действовал

---

[1] Шарль-Луи Филипп (1874—1909) — французский писатель. Его роман «Бюбю с Монпарнаса» посвящен жизни парижского дна.

[2] Жофин — остров на Влтаве в черте города.

[3] Йозеф Богуслав Ферстер (1859—1951) — известный чешский композитор.

[4] Зденек Неедлы (1878—1962) — выдающийся чешский историк и искусствовед-марксист.

на своих слушателей. Никто не решался шептаться во время его лекций, для нарушителя тишины это кончилось бы плохо. На нервном лице профессора Неедлы моментально отражался каждый посторонний звук и была написана готовность немедленно принять меры. В его лекциях, которые он чаще всего импровизировал, лишь изредка поглядывая на клочки бумаги с заметками, были воедино слиты история, эстетика и общественный анализ искусства.

■

Дату моего знакомства с Иржи Волькером я помню совершенно точно, вплоть до часа, когда оно состоялось. В тот дождливый октябрьский вечер несколько юных служителей муз собрались в предместье Праги, в заброшенном помещении, предназначенном под склад для издательства, которое намеревался основать молодой дирижер Шак, уже создавший собственный оркестр. Оркестр этот, хоть он и исполнял все симфонии Малера, был далек от совершенства. Зато маэстро Шак делал сногсшибательную карьеру.

Не знаю, кто именно из молодых литераторов надоумил его издавать новый художественный журнал. Среди поэтов, собравшихся здесь в тот вечер, был Зденек Калиста [1], который жил тогда вместе с Волькером на Цельной улице. Пришел и Волькер, но скорее с намерением посмеяться над планами литературных сателлитов Шака, чем всерьез обсуждать их начинания. Волькера тогда печатал Нейман [2], и он принес с собой номер «Червена», где было опубликовано его стихотворение «Рекруты». На Волькере был поношенный костюм и черная широкополая шляпа, надетая так, как носили свои шляпы скауты; по его бледному веснушчатому лицу стекали капли дождя. Мы молча пожали друг другу руки, Волькер дал мне журнал со своим стихотворением и энергично, что мало соответствовало его внешности, заспорил о чем-то с Калистой. Предмет их спора был мне непонятен. Впрочем, идя сюда, Калиста ведь просто «прихватил» меня с собой, как непосвященного, и все это вечернее сборище не произвело на меня впечатления, за одним исключением: я познакомился с молодым поэтом, с кем впоследствии мы стали близкими друзьями. Не припоминаю, чтобы к моменту нашего знакомства меня так уж привлекала его поэзия. Я плохо знал ее и не читал почти ничего, кроме того, что печатал Нейман в своем еженедельнике. Позже я стал примечать стихи Волькера, печатавшиеся в различных журналах,— мне нравился их новый тон, он отличался от прежних, вполне традиционных стихов Волькера, опубликованных в конце войны в студенческих журналах под псевдонимом Иржи Кер.

Для исследователя было бы интересно установить, откуда взялись и та особая интимная тональность, и уменьшительно-ласкательные суффиксы, и множество ангелов в стихах некоторых наших поэтов двадцатых годов. Поскольку я, как поэт, развивался вне этого литературного течения (мои уменьшительно-ласкательные суффиксы были не более чем пухом одуванчиков, расцветавших в стихах Шрамека [3]), то я могу, надеясь не утратить объективность, высказать предположение, что этот тон идет в нашей поэзии от Зденека Калисты. Он неплохо знал французский и в подлиннике читал Аполлинера, стихотворение которого «Белый снег», видимо, настолько его пленило, что он извлек из него и размножил в своих стихах целый сонм ангелов. Когда Волькер написал эпиграмму на взрослых мужчин, которые заводят романы с ангелочками, он имел в виду не только Калисту — прародителя всех этих ангелов, но и самого себя. В последующих изданиях своих ранних стихов молодые поэты массами изгоняли ангелов из райских садов поэзии. Так как «Рай сердец» Калисты вышел позднее, чем «Гость на порог» Волькера, он изгнал их куда больше, чем сам Волькер. Калиста был чрезвычайно интеллигентен, это проявлялось даже в его хрупкой внешности, в его тросточке, его пиджаке. Он развивал эстетическую теорию, происхождение которой мне неизвестно: теорию отражающих поверхностей, как он ее называл. Проще говоря, в его миниатюрных стишках преобладали образные контрасты. Эту теорию он стремился навязать не только Волькеру, но и другим молодым поэтам. Но так как это были поэты оригинального творческого облика, то в конце концов они разошлись с Калистой. Волькер порвал с ними окончательно в 1921 году, когда привез, вернувшись из Простейова, свою поэму «Сваты Копечек». Тут память не может подвести меня, потому что именно тогда в один из воскресных дней и началась наша сердечная дружба с Волькером.

Мы встретились около полудня на набережной возле Национального театра, и Волькер пригласил меня к себе домой. Он хотел прочитать мне свою новую поэму. Волькер жаловался на Калисту, говорил, что ему стало трудно жить вместе с ним, он требует проявлений какой-то особой благодарности от всех, кому помог войти в

---

[1] Зденек Калиста (1900—1948) — чешский литератор и критик авангардистского толка.

[2] Станислав Костка Нейман (1875—1947) — выдающийся чешский поэт, один из основоположников социалистического реализма. «Червен» — журнал марксистского направления, выходивший под редакцией С. К. Неймана.

[3] Франя Шрамек (1877—1952) — чешский поэт, в начале творчества испытавший влияние символизма.

литературу. Разлад между бывшими друзьями зашел так далеко, что они даже запирали друг от друга ящики, где лежали их стихи.

Волькер с лукавой улыбкой открыл свой ящик, вытащил тетрадку и начал читать мне «Сваты Копечек».

Я был счастлив, что могу с чистой совестью похвалить поэму Волькера, которая хоть и напоминала своей тональностью Аполлинера, но была по-алешевски [1] чешской. Волькера радовало, что я так подчеркиваю чешский характер его поэмы, потому что он стремился достичь уровня мировой литературы, сохранив национальное своеобразие, а в «Сваты Копечек» ему это полностью удалось. Потом мы поехали в Стромовку [2]. Там играла музыка, но мы сели подальше от оркестра и чистосердечно стали поверять друг другу все, что обычно поверяют друзьям. Волькер рассказал мне о своей матери, с которой был совершенно откровенен, об отце, с которым они не находили общего языка, о своих увлечениях, о приятелях — с ними я вскоре познакомился лично. Волькер играл на рояле и иногда выступал в кинематографе, чтобы заработать на уроки английского, который он изучил в совершенстве. Он читал в оригинале Оскара Уайльда и перенял от него любовь к афоризмам. Афоризмы и вообще остроумие Оскара Уайльда порой носили салонный характер, а Волькер использовал афористическую форму в своей социальной поэзии и сообщил ей, таким образом, необычайную рельефность, вообще свойственную его поэтической дикции. Подлинному поэту ничто не страшно. Там, где посредственный талант может увязнуть в тине или провалиться под лед, настоящий поэт должен выдержать любое испытание. И увлечение Колриджем тоже принесло свои плоды, когда Волькер писал «Балладу о моряке».

Время пробежало незаметно. Затем мы прошли через заднюю калитку Стромовки в кафе «Далиборка», где Волькер по воскресеньям обычно встречался с земляками из Простейова. На этот раз они, к моей большой радости, не пришли, и Волькер прочитал мне в бильярдной одно за другим все стихотворения из сборчика «Гость на порог», который вот-вот должен был выйти. Он читал негромко, не спеша, пластично расчленяя слова, будто определял вес каждого. Сколько бы я впоследствии ни читал стихи Волькера, мне всегда слышался его голос. Мы возвращались из «Далиборки» пешком, и, проходя через Малостранскую площадь, Волькер закончил чтение стихов строчкой:

Гость на порог и еще кто-то...

При этих словах он остановился и сказал как-то на одном дыхании: «Ты знаешь, кто это?.. Это господь бог...» Он произнес эти слова без всякого пафоса, по-народному задушевно. Так, словно сам только что открыл смысл народной поговорки: «Гость на порог, бог на порог», первую часть которой сделал заглавием своего сборника.

Вскоре я познакомил Волькера с Иржи Свободой. Они быстро подружились, и Волькер часто заходил к нам на Мельницкую улицу, чтобы поиграть на рояле или просто посидеть с нами и поговорить. Однажды Иржи Свобода познакомил Волькера с профессором Зденеком Неедлы, и результатом этого знакомства стала впоследствии совместная работа Волькера с Неедлы, которая оказалась чрезвычайно важной не только для Волькера, но и для развития всего нашего поколения.

Волькер был членом «Деветсила» и придерживался марксистского мировоззрения. Но позиция Зденека Неедлы была ему ближе, чем позиция Карела Тейге, постепенно они с Тейге перестали понимать друг друга. Я появился в Праге на один семестр позже Волькера, в ту пору у меня был свой кумир — Кропоткин. Путь любви — великая иллюзия, которую проповедовал тогда Кропоткин,— был для меня бесконечно привлекателен. Путь любви, ведущий к коммунизму, казался мне идеальным решением вопроса. Я заявил о своей приверженности идеям Кропоткина на собрании общества «Вар» [3], организованного Зденеком Неедлы, и получил от него резкую отповедь, заставившую меня переосмыслить эти идеи. В конце концов я не мог не признать правоты Маркса и принял его взгляды. Неедлы помог мне понять Коммунистический манифест Маркса и Энгельса, который я перечитывал снова и снова, пока не воспринял изложенные в нем мысли до последней точки. Коммунистический манифест открыл мне глаза, и с тех пор каждая работа, каждая книга и статья, подписанные Марксом, Энгельсом или ими обоими, стала предметом моего жадного чтения. Не могу себе представить психологию человека, изучающего эти труды в обязательном порядке, я изучал их хоть и без всякой системы, но с настоящей страстью.

Однажды в воскресенье, в те времена, которые и до сей поры сохраняют для меня огромное значение, мы стояли с Волькером на одной из пражских улиц у павильона, вернее, возле той его части, которая предназначена исключительно для мужчин, и Волькер громко заметил, что пятьдесят крон спасли бы его от воскресного сплина. Едва он это произнес, как вышедший из того же помещения молодой человек нашего возраста предложил Волькеру принять от него взаймы пятьдесят крон и тем самым проявить к нему доверие. В его предложении было столько искренности и горячности, что Волькер не мог отказаться. Он представился нам.

---

[1] Микулаш Алеш (1852—1913) — выдающийся чешский художник-реалист.

[2] Стромовка — парк в Праге.

[3] «Вар» — журнал, редактировавшийся З. Неедлы. Под этим названием было создано объединение литераторов марксистского направления.

Человек, с которым мы постояли минуту, был Константин Библ[1]. Мы расстались, удивленные и совершенно очарованные новым знакомцем. Библ и Волькер договорились о встрече. Я до сих пор вижу этого удивительного нового друга Волькера, быстро исчезнувшего, словно видение.

Конечно, мы сразу же отправились в «Даликорку», и, конечно, Волькер угостил меня абсентом — он всегда пил его тут по воскресеньям, пил скорей из любви к поэзии, чем из пристрастия к алкоголю. Абсент был для Волькера последним напоминанием о культе Верлена и о том «декадентском» волшебстве, без горького очарования которого не родится в мире ни один поэт. Волькер уже стоял у самого порога кристальной ясности и простоты в поэзии, но сердце его еще сжималось от романтических восторгов, и в воскресенье он позволял себе невинную демонстрацию своего давно преодоленного пристрастия к богеме, выпивая рюмочку абсента.

В Константина Библа Волькер влюбился с первого же взгляда. Костя много видел и был превосходным рассказчиком. В его золотисто-коричневых прищуренных глазах и в его губах таилось непередаваемое очарование. Я знаю, что Волькер несколько раз встречался с ним тайком от меня. Как ребенок прячет сладости, так скрывал он свои свидания с ним и никогда о них не говорил. И вдруг появилась новелла «Илда» — плод этих свиданий, в ней рассказывалось о пережитом Костей во время войны на Балканах.

В то время, когда мы познакомились с Библом, я еще не знал его стихов и вскоре впервые прочитал их на одном из заседаний редколлегии «Студенческого ревю», членом которой был также и Бедржих Вацлавек[2], мой земляк и однокашник по Тржебичской гимназии. Несмотря на самобытность, поэзия Библа по своему тону напоминала волькеровскую.

Волькер публиковался в различных журналах. Стихи его восторженно принимались многими, даже теми, кто не разделял его политической позиции. Он охотно знакомился с самыми разными людьми не только потому, что был человеком общительным, но и потому, что любил испытывать силу и убедительность своих взглядов, нередко доводя споры до высокого накала. Человек широких интересов, он любил и мог поговорить со всеми. Как же Волькеру было не сойтись с Константином Библом — поэтом до мозга костей и к тому же прекрасным рассказчиком! Пока я как следует не узнал Костю, мне иногда казалось даже, что ему нравится мистифицировать слушателей и он частенько придумывает свои приключения. Но в конце концов я пришел к убеждению, что это не так, что Костя всегда говорит правду, даже если порой его истории кажутся невероятными. Не знаю, какую роль играла в жизни Кости медицина, которую он изучал, но во всяком случае он первым из нас обнаружил во время поездки в Далмацию, что Волькер тяжко болен. Правда, еще раньше узнал о туберкулезе Волькера Владислав Ванчура[3] — он понял это по рецепту, данному Волькеру в больнице.

Мне кажется теперь, что я прожил бок о бок с Волькером долгие годы. А между тем мы были вместе так мало лет, что я даже не решаюсь их сосчитать. Самые счастливые мгновения, которые мы вместе прожили, были связаны, как ни странно, не с литературой, а с музыкой. У Иржи Свободы на Мельницкой улице было наше эльдорадо. Когда Свобода не играл нам, мы с Волькером играли что придется в четыре руки.

■

Часто мне задавали дурацкий вопрос: какую из своих книг я больше всего люблю? Если бы мне пришлось все же отвечать на него, я назвал бы «Пантомиму», потому что именно в ней мое видение мира окончательно освободилось от шелухи академического псевдореализма и псевдоимпрессионизма и я отделался от заплесневевшей психологической бурды, потому что в этой книге учился видеть мир как бы в первый день его сотворения. Теперь я не воспринимал мир сотворенным до меня, а сам участвовал в акте творения.

Свет, озаривший мою жизнь в те недели и месяцы, когда я писал «Пантомиму», вспыхивает всегда в те моменты, когда мы стоим на пороге новых открытий, когда человек обнаруживает свое родство с людьми, близкими ему по духу. Нетрудно, конечно, демагогически разглагольствовать о том, что перед лицом смерти или перед грозной тенью водородной бомбы все в жизни только пустая игра. Следует добавить, что эта истина действительна только для людей отчаявшихся и эгоистичных. Меня привлекает иное отношение к жизни, то, которое запечатлено в предании о Сократе: когда стало ясно, что Сократу придется на следующий день принять яд, друзья стали спрашивать его, чем они могут усладить последние часы его жизни. Сократ попросил, чтобы к нему привели известного учителя пения. Когда же у друзей возникло сомне-

---

[1] Константин Библ (1898—1951) — один из выдающихся представителей чешской социалистической поэзии. Творческий путь Библа во многом близок поэтическому развитию Незвала.

[2] Бедржих Вацлавек (1897—1943) — выдающийся чешский эстетик-марксист.

[3] Владислав Ванчура (1891—1942) — чешский писатель-коммунист, один из крупнейших мастеров межвоенной прозы.

ние, в здравом ли уме Сократ, и они с удивлением спросили, почему он просит привести учителя пения, а не певца. Сократ сказал им: «Не бойтесь, я слишком хорошо знаю, что завтра мне предстоит умереть. Так когда же мне учиться петь, если не теперь!» Поэтому и я буду продолжать эти главы, посвященные красоте жизни, с верой, что таким образом и я участвую в борьбе, которую мы будем вести до тех пор, пока на земле не будет установлен вечный мир и человечество не пойдет по пути братства.

Политические убеждения не могли тогда стать для нас предметом дискуссий: мы были коммунистами и потому считали абсурдным сомневаться в тех убеждениях, которые по зрелом размышлении подняли на щит. Советский Союз был для нас святыней, это была страна наших мечтаний, и в советском искусстве мы приветствовали авангард международного социалистического фронта. Там поэзия разделалась с заплесневелым символизмом, с академизмом и унылым жанризмом. Мы познакомились с великолепной поэзией Маяковского и его соратников. Мейерхольд совершенно закономерно очаровал Фрейку, Гонзла и Э. Ф. Буриана [1], чья неправдоподобная молодость не препятствовала гениальной взрывной силе его творчества. И не только Мейерхольд, изгнавший со сцены кулисы и заменивший их конструкциями, но и Мейерхольд — создатель новой лирической тональности, близкой к лиризму Эйзенштейна, а также Таиров, Вахтангов, новаторы и первооткрыватели, как и десятки других советских художников, привлекали нас. Илья Эренбург, сообщивший советской прозе новый эмоциональный накал, и Хлебников со своими последователями, и несчастные художники вроде Малевича, который считал, что его образ четырехугольника завершает развитие живописи вообще. И хотя мы учились на Монмартре и Монпарнасе, никто не вправе был причислять нас к «западникам», потому что и честные авангардисты Запада находили полное взаимопонимание с советским авангардом, потому что лучшие приверженцы этих авангардных движений примыкали к международному братству народов и к учению Маркса и Ленина. Первым признаком нового искусства для нас была его тенденциозность. Позиция «за» или «против», вытекавшая из нашего мировоззрения, была той предпосылкой, без которой мы не могли представить себе новое искусство. Но вместо поучительного тона, изуродовавшего своей нестерпимой назидательностью многие произведения нашей литературы в прошлом, мы искали необычную форму выражения, которая обескуражила бы противника и положила его на обе лопатки. Кроме молодежи и той части прогрессивной публики, что шла за нами, исправно посещая наши вечера, мы восстановили против себя всех и каждого, но не сомневались, что правда на нашей стороне, и нас не смущал поэтому рост рядов наших противников.

Я хотел бы, чтобы люди доброй воли избавились от предрассудка в отношении нас — тех, кто искал с помощью всех человеческих чувств новую красоту и новое искусство,— будто мы заботились только о «форме» и были в чем-то «формалисты». Напротив, именно мы были противниками самого отвратительного формализма, проистекавшего из технически отточенного жонглерства, свойственного академизму. Ничто из заранее сформулированного не вызывало у нас уважения и любопытства. Скорее можно сказать, что мы отрекались от всяких готовых форм, потому что повторенные ощущения нас уже не могли захватить.

Это было счастливейшее время, когда я отдавался жизни с легкостью, превращавшей меня в чуткий поэтический инструмент. Нельзя сказать, что мы пришли к «авангардному» искусству по пути теории или спекуляций. Когда нам удалось стряхнуть с себя школьную премудрость и начать создавать поэзию, говорившую от имени всех пяти чувств и адресованную всем пяти чувствам, это стремление было оправданным. В чешской литературе, от дидактических сентенций сонетов Коллара [2] вплоть до пламенных сентенций в стихах С. К. Неймана, было слишком сильно поучительное ядро, а нам хотелось плыть подобно пьяному кораблю Артюра Рембо, не знавшему наперед, какой волшебный остров он откроет. Позднее, стремясь эпатировать буржуа и провозглашая свое течение «поэтизм», мы хотели только одного — отстоять право поэзии на поэзию. Не было ничего более далекого от нас, чем тенденция искусства для искусства. Для нас не существовало Искусства с большой буквы. Наше искусство было скорее родственно мастерству жонглеров, цирковых наездниц и воздушных гимнастов, чем магическим заклинаниям жрецов. Наши искания шли в ногу с веком и отвечали вкусам простого народа из предместий. Если употребить выражение, которого мы тогда еще не знали, наше искусство хотело быть большим и роскошным парком культуры и отдыха в царстве поэзии...

Из всех друзей, с которыми я познакомился в «Деветсиле», самое сильное впечатление произвел на меня Владислав Ванчура. Я читал несколько его рассказов, вошедших впоследствии в сборник «Течение реки Амазонки», и был увлечен захватывающим ритмом его фраз, казалось, я покачивался на гребнях морских волн. Я знал, что автор настоящий поэт, и встреча с ним у Тейге, куда он пришел со своей женой в тот воскресный вечер, стала для меня настоящим событием. Я не скрывал восторга, вызванного у меня его рассказами, и был награжден самой чудесной улыбкой, которую

[1] И. Фрейка, И. Гонзл, Э. Ф. Буриан — известные чешские режиссеры новаторского направления.

[2] Ян Коллар (1793—1852) — выдающийся чешский и словацкий поэт-просветитель.

может подарить человек человеку. Когда Владислав Ванчура улыбался, его прекрасные зубы показывались во всей красе, чтобы потом скрыться за его полными, выразительными губами. По его губам можно было сразу понять, счастлив он, овладевает ли им скепсис или он готовится, как лев, броситься на врага. Никогда еще низость не имела такого свирепого противника, как Владислав Ванчура. Его презрение, которое всегда выражалось в самой отшлифованной форме, было убийственным. Он состоял в родстве с Иржи Магеном, но именно я познакомил их. Предки обоих — Ванчуры из Ржегниц — были феодалами и, как гласит легенда, грабили вместе со своими людьми на больших дорогах.

Трудно себе даже представить, как тонко Ванчура чувствовал поэзию. Стих, который ему нравился, мог довести его буквально до транса. И хотя Ванчура скрывал свои чувства, насколько это только ему удавалось, его восхищение поэзией напоминало отношение пьяницы к алкоголю. Мне выпала на долю такая честь и счастье, что Ванчура, да будет мне дозволено это сказать, любил мои стихи и часто просил меня прочитать ему что-нибудь. Так, во времена «Пантомимы» он снова и снова хотел послушать стихотворение «Мирео 1923» и осыпал меня горячими похвалами. Он всегда был одет с элегантностью светского человека, но держался в высшей степени непринужденно и просто. Однажды, когда мы были в гостях у него в Збраславе, где он и его жена имели врачебную практику, к нему принесли мальчика, пострадавшего во время автомобильной катастрофы. Ванчура явно жалел мальчика, но именно поэтому его голос стал вдруг жестким и он прикрикнул на него: «Ну, не реви!» Когда нам приходилось говорить о его врачебной деятельности, он признавал за собой только способности диагноста, а умение лечить приписывал своей жене Лиде. Уже при знакомстве у Тейге он произвел на меня неотразимое впечатление. Если бы слова могли выражать тончайшие оттенки отношения человека к человеку, я бы сказал, что влюбился в него с первого взгляда. И я тоже был, как все говорили, долгие годы его любимцем. Ванчура никогда не изменял своего отношения ко мне. Он прощал все. Даже когда я порой за бокалом вина переходил границы дозволенного, он не только не сердился на меня, но всегда утешал, говоря, что сам с удовольствием вел бы себя так же бурно, если бы не его злосчастные «сдерживающие центры».

Мало кто знает, что Ванчура на время оставил гимназию ради занятий живописью и был одаренным художником. Его картины отличались строгой композицией, усвоенной от Сезанна. Он охотно рассказывал, как ему однажды удалось создать подделку под полотно Алеша, и с большим юмором уверял, что его «Алеш» был признан подлинным. Позднее он вернулся в гимназию и закончил ее, закончил также и медицинский факультет. Он любил своего отца и охотно рассказывал о нем. Отец его запирался в своем кабинете под предлогом срочной работы, а сам запоем читал романы. Владислав Ванчура с детских лет дружил с Карелом Новым [1], и увековечил отца своего друга в образе пекаря Яна Маргоуля. Думаю, что живопись, и особенно живопись школы Сезанна, оказала значительное влияние на литературный стиль Ванчуры, у истоков которого мы обнаружим, правда, Кралицкую библию [2]. Он на всю жизнь остался верен своей любви к живописи и обладал прекрасной коллекцией современных произведений изобразительного искусства.

С чувством глубокой скорби, что этого большого писателя уже нет в живых, я воскрешаю в своей памяти незабвенные для меня дни и вечера, проведенные в Збраславе в семье Ванчуры. Любимым нашим блюдом была жареная баранина, да и вина к обеду было всегда более чем достаточно. Иногда Ванчура являлся ко мне в Стржешовицы с бутылкой вина и букетом цветов. И тогда мое жилище затопляли волны поэзии. Тупицы, бывало, называли Ванчуру формалистом за то, что он не подражал уже написанному. А он был оригинален в каждом слове и в каждом жесте. С людьми, придерживавшимися примитивных взглядов на литературу, он не знался и не скрывал своего презрения к ним.

Во времена «протектората» Ванчуру все время мучила мысль, что многие из тех, кто не были коммунистами, как, например Йозеф Чапек, оказались в концлагерях, тогда как он, член компартии, на свободе. Когда Моравец [3] стал министром, Ванчура предвидел, что этот мерзавец будет пытаться уничтожать чешских писателей, и был готов к любой жертве. Я вспоминаю о том времени, когда после прибытия в Прагу Гейдриха [4] впервые было объявлено осадное положение. Мы встретились после долгого перерыва, чтобы вместе навестить Яна Мукаржовского [5], прикованного болезнью к постели. По дороге к его дому Ванчура рассказал мне в трамвае об удивительном случае, который с ним произошел. В амбразуре слухового окна в вилле Ванчуры хранилась «Збраславская хроника» [6]. Однажды ночью Ванчура проснулся от сильного стука. Он выбежал из

---

[1] Карел Новый (род. в 1890 г.) — известный чешский прозаик.

[2] Кралицкая библия — чешский перевод библии XVI в., один из выдающихся памятников чешской письменности.

[3] Моравец — министр просвещения в марионеточном чешском правительстве при немецко-фашистском «протекторате».

[4] Гейдрих — немецко-фашистский «протектор» Чехии и Моравии. Занял этот пост в Праге в октябре 1941 г., казнен патриотами в мае 1942 г.

[5] Ян Мукаржовский (род. в 1891 г.) — известный чешский филолог, академик.

[6] «Збраславская хроника» — сборник старинных текстов.

своей комнаты и на лестнице встретил жену, которую разбудил тот же шум. На ступеньках лежала раскрытая «Збраславская хроника», как будто кто-то швырнул ее туда. Я спросил Ванчуру, не помнит ли он, на каком тексте она была открыта. Он не обратил на это внимания и положил книгу на место, но случай этот поразил его.

А сейчас да будет мне дозволено рассказать другой случай, произошедший со мной, видимо, как раз в тот момент, когда Ванчура умирал. Когда было совершено покушение на Гейдриха, я находился в Брно в гостях у родителей. Утром того дня я должен был ехать в Прагу, но неожиданный сердечный приступ, случившийся с отцом, задержал меня в Брно. Днем пришло известие о покушении, и я решил не ездить в Прагу. Дорога в жаркий день в учреждение, ведавшее пропиской, закончилась для меня простудой, сопровождавшейся высокой температурой. Через несколько дней я поправился, но был очень слаб, и, когда сменил кровать на кресло, со мной произошло следующее. Был полдень. Сидя в кресле, я на какое-то мгновение уснул, и мне приснился сон, такой отчетливый, что я и сейчас мог бы восстановить его во всех подробностях. Я увидел Ванчуру и спросил его с радостным удивлением: «Ты здесь, ты пришел?» Он улыбнулся и кивнул. Я сказал: «Ведь ты был арестован, ты был в тюрьме...» «Это была сказка, это была только сказка»,— ответил он с усмешкой. Я увидел, как он склоняется ко мне, и не мог удержаться, чтобы не запечатлеть на его лбу легкий поцелуй. Тут Ванчура вдруг ускользнул от меня, «стыдливо выскользнул», как он любил выражаться, и исчез. Я проснулся и рассказал родителям об этом сне. Вечером я включил радио, чтобы прослушать страшные новости тех дней. Первое имя, названное в списках казненных, было имя доктора Владислава Ванчуры, врача из Збраслава.

В своих воспоминаниях я не раз буду возвращаться к Владиславу Ванчуре. А сейчас расскажу еще о нескольких эпизодах, очень характерных для него как человека. Однажды он нам открыл, что его жена ждет ребенка. Так как Владислав нередко награждал свою особу жесточайшими упреками, отказываясь признать за собой какие бы то ни было достоинства, он теперь с опаской ожидал, что за существо у него родится. Позднее он признался, что не переживал никогда более сладостного чувства, чем то, которое испытал над колыбелью своей дочурки, прелестного младенца, перед которым он мог не стесняться своих чувств.

Внешне чрезвычайно трезвый, Ванчура под покровом своей безупречной элегантности был одним из самых безудержных мечтателей и фантазеров, каких я когда-либо знал.

Из любви к родному языку он дружил с лингвистами. Он появлялся среди нас как посол высших сфер духа. К лучшим страницам истории нашей дружбы принадлежат те несколько дней, которые мы вместе провели в Далешицах, куда он приехал навестить меня. Он появился с рюкзаком за плечами, откуда-то со стороны Яромержиц как раз в тот момент, когда я закончил свои «Прятки на лестнице». Я прочел ему эту пьесу среди кустов смородины, мы спали в той комнатке, где я проводил свои каникулы, и до поздней ночи не смолкала наша беседа. За всю жизнь мы не сказали друг другу ни одного недоброжелательного слова, и не было свиданий более дружеских, чем наши.

По просьбе товарищей по партии Ванчура бывал у Чапеков и в Граде, за что некоторые упрекали его. Однажды в 1926 году он передал мне приглашение Карела Чапека на один из его приемов, происходивших по пятницам, и привел меня туда. Чапек сказал, что у него в тот день будет «кое-кто», и мы думали, что придет Отокар Бржезина[1]. Но этот «кое-кто» оказался самим президентом Т. Г. Масариком. К обычным посетителям чапековских пятниц в тот день прибавилось также и несколько писателей. Вероятно, потому, что среди гостей были мы с Ванчурой, разговор все время вертелся вокруг идей коммунизма. Масарик сказал, что он готов выделить для коммунистов участок земли в Закарпатье, чтобы они могли поставить там свой «эксперимент». Я возразил довольно неучтиво, что коммунизм — не предмет для экспериментирования, что его идеи способны сами проложить себе путь в борьбе. Не знаю, не пожалел ли Карел Чапек, что пригласил меня, но и после ухода президента он обращался со мной очень вежливо и сердечно. Т. Г. Масарик, видимо, тоже не обиделся, потому что продолжал беседовать со мной, расспрашивал об условиях, в которых жил Иржи Волькер. Карел Чапек, который, видимо, чувствовал себя не очень уверенно, пока мы беседовали, пошутил: «Ну разве не правда, что коммунисты прибегают к террору: здесь их только двое — и уже никто не говорит ни о чем, кроме коммунизма». Потом по Праге ходили анекдоты о том, как Незвал поссорился с паном президентом.

Но я перескочил через несколько лет, чрезвычайно важных для развития моего поколения и его поисков пути к новой поэзии. Владислав Ванчура, старший среди нас и более зрелый, не выносил приземленности, хотя и сам не был пуританином. Он хорошо знал, что такое человеческие слабости. Знал как поэт и как врач. Но честь он ставил выше всего и доказал это своею смертью. В его книгах много примеров героизма, а в «Маркете Лазаровой» есть места, которые нам могут совершенно точно рассказать о том, что он думал, стоя перед направленными на него дулами автоматов. Я сказал бы, что всем своим творчеством Ванчура подготовил себя к героическому подвигу.

---

[1] Отокар Бржезина (1868—1929) — известный чешский поэт-символист.

Начав писать эти воспоминания, я переживал счастливые дни, какие может пережить сын, чей отец только что отпраздновал свой восемьдесят второй день рождения. Мой самый дорогой читатель был жив, его память была такой же ясной, как моя. Казалось даже, что он совершенно здоров и бодр. Как бы моя жизнь ни сложилась в дальнейшем, боги оказали мне милость, долго сохранив в живых моего отца и мою мать. Нет ничего, что могло бы восполнить утрату этих существ. Когда я писал страницы своих воспоминаний, я никогда не закрывал двери, отделявшей комнату, где работал, от той, где сидел перед телевизором мой отец. Я не принадлежу к людям, которым необходимо полное одиночество для творчества. Достаточно долго я был беден и писал где придется. И как мог бы отец помешать моему вдохновению, если в каждом его дыхании было нечто, вызывающее ощущение свободы у того, кому он дал жизнь? Ведь именно он, как только я родился, взял меня к себе, и мы спали вместе, чтобы я научился дышать от его дыхания.

Проходила неделя за неделей, отец заболел и в беспамятстве упал с постели. Тогда я стал писать в его комнате и проверял написанное по его памяти, хотя и моя память воспроизводит все очень живо. Он знакомился с каждой новой строчкой этих воспоминаний сразу же, как только они появлялись. Потом его глаза пожелтели и появились признаки болезни, которую он ничем не заслужил. Врачи убедили нас, что отца необходимо поручить их постоянному наблюдению, и взяли его под свою ласковую опеку. Они любили отца, и он любил их. Они терпеливо пытались разгадать тайну заболевания, и он терпеливо переносил его почти безболезненное течение. Наверно, никогда в жизни мы не любили друг друга нежнее, чем в те дни, наверно, я никогда не чувствовал так сильно, какую цену имеет хоть искра надежды. Может быть, только тогда, когда моя мать вступила на тот же путь, уведший ее в небытие.

Отец дал мне все, что я знаю и что умею: он учил меня читать, писать и считать, научил меня распознавать скрипичный и басовый ключ, научил правописанию и хорошему слогу, дал мне все те инструменты, без благодатного воздействия которых я был бы ничем. Он учил меня играть на рояле и на скрипке, а когда пел, казалось, взлетала сизая голубка и яркие звездочки загорались на потолке нашего приготовительного класса. Чувство собственного достоинства было ему свойственно так же, как и благородная осанка. Трудолюбие и прилежание стали девизом его рода, а мечты придавали голубизну его глазам.

Мои воспоминания приближаются к тому моменту, когда я влюбился в магическую женщину и когда мы с ней решили вместе уйти в мир иной. Наш отъезд был назначен на воскресный вечер, и завершиться он должен был стихотворением, вроде бодлеровской «Смерти любовников». Как посол родительской любви, отец терпеливо стучался в дверь моей унылой квартиры в Нуслях, пока не разбудил меня. Я испытал ужасные угрызения совести при встрече с ним, а он вручил мне горшочек гусиных шкварок, посланных матерью. Но мне надо было быть там, где я обещал, и, хотя сердце у меня разрывалось, пришлось солгать отцу: у меня, мол, лекции там-то и там-то. Ах, каким я был злодеем и как мне хотелось умереть от жалости к нему! В моем двадцатичетырехлетнем сердце нашлось достаточно упрямства и бесчувственности, чтобы попрощаться с ним и отправиться туда, где ждал меня последний путь. Но вот она стоит на условленном месте с велосипедом и говорит, что надо отложить путешествие, что, мол, кто-то приехал... Она ни словом не обмолвилась о том, что была у меня, что разговаривала с моим отцом. После встречи с таким светлым существом она не смогла решиться на наш уход из жизни. Мол, в другой раз, мол, позднее... Но только тогда я почувствовал, что мир рушится, почувствовал, как безжалостен я был к отцу, только тогда я понял, что должен сейчас же найти его, иначе у меня разорвется сердце.

Мы встретились с ним на Денисовом вокзале. Вот я держу его руки в своих, бормочу что-то невразумительное. Когда я гляжу в его глаза и сжимаю его руку, я уже в безопасности. Мы вместе бродим по Праге, а завтра уедем домой к матушке. Хотя я весь трепещу от тоски по магической женщине, но со мной отец, он ни о чем меня не спрашивает, не пытается проникнуть в мою тайну. На дворе июль, и мимо нас бегут трамваи с огненными плакатами: «Выставка роз».

Нет, у нас не было в обычае говорить друг с другом о наших чувствах. Мы даже долго, к сожалению, не решались посмотреть друг другу в глаза. Те сдерживающие центры, о которых говорил Владислав Ванчура и которые никогда не определяли мое поведение по отношению к кому-либо другому, мешали мне быть нежным и с отцом, и с матерью. Понадобилось много времени, понадобилось, чтобы тяжелая болезнь превратила моих родителей в маленьких детей, для того чтобы исчезла власть этих сдерживающих центров. Не знаю, в отношении кого это заклятие действовало сильнее, в отношении отца или матери,— наверно, в отношении обоих одинаково. Я долго стыдился перед ними своей нежности, даже если она проявлялась только в стихах. Эти стихи я писал тайком и заботливо скрывал от тех, кто вызывал у меня самую горячую любовь. В последние годы это, к счастью, прошло. Я начал относиться к ним как к малым детям. И только это внесло в мою жизнь высшую гармонию.

Еще два дня назад я мог заглядывать в его серо-голубые глаза. Болезнь продолжалась долго, и почти все время отцу хотелось спать. Врачи знали, что это значит,

да и мне не приходилось сомневаться. Его сердце, поддерживаемое заботой врачей, билось медленно-медленно, едва можно было насчитать шестьдесят ударов в минуту. Когда же ему удавалось отогнать сонливость, его память прояснялась, словно звездный небосклон, и он шутил с моей сестричкой и со мной, как всегда серьезно и нежно. Долгие годы он мечтал, чтобы его род не прекратился, и дождался внука, которого полюбил глубоко и сильно. За день до того, как слечь, он гулял с моим мальчиком в зоологическом саду и тот заснул у него на руках. Еще два дня назад он смеялся, когда я рассказывал ему о проделках этого забавного гномика. После нескольких тяжелых дней он начал как будто поправляться, и в нем ожила надежда. За два дня до смерти при нашем последнем свидании он вдруг произнес тоном человека, который отрешился от всех забот: «Ну, значит, все в порядке». Потом долго спал, утром проснулся, уснул снова, уснул спокойно и навсегда. Без всякой борьбы, без агонии, тихо, спокойно уснул...

Я забрал твои вещи, отец,— твою шляпу, твою палку. В них ты живешь, как поэт живет в своих тропах и образах. Эту шляпу и палку я сохраню как дорогой залог твоего воскрешения. Когда за два дня до твоей смерти над тобой склонялась моя сестра, твоя преданная дочь, когда она шептала тебе слова любви и просила прощения, что должна будет уйти, потому что «школа — это школа»,— ты, который воспитал целые поколения граждан и своего сына, ты, получивший титул заслуженного учителя, сказал уже с большим трудом: «Да, школа — это школа». Потом мы показали тебе книжку Иржи Тауфера о твоем сыне, который, да простят ему читатели, не может в эти минуты не плакать о тебе, и призвали, как всегда, на помощь надежду, нередко сокрытую в самых простых словах, обращенных к завтрашнему дню. Потом оставили тебя спокойно спать. Вчера я увидел тебя таким возвышенным и величественным, как в античной драме. Твои волосы, в которых белый цвет до сих пор смешивается с каштановым, твой высокий благородный лоб, твой нос, форму которого даже смерть была бессильна изменить, и руки, прекрасные твои руки, только уже окоченевшие. А губы были у тебя полуоткрыты, как будто ты еще дышал, как будто хотел еще что-то сказать. Кому же мне посвятить эту главу, если не тебе? Разве не каждый человек имел отца и не у каждого он в конце концов умирал? Да будет мне позволено сказать, что наши чувства иногда бывают так велики, что они уже перестают быть только нашими. Ты пройдешь по этим главам, как шел по пути моей жизни. Я еще много раз огорчу или развеселю тебя этими страничками, еще много раз ты, живой, полный опасения, как бы тебе не пришлось однажды заглянуть в мою могилу, уведешь меня с дурных дорог на лучшие. У меня в руке маленькая записная книжка, где ты делал заметки в дни своей болезни. Никаких жалоб, никакого нытья, никаких мыслей о недуге. Заметки о том, что ты слышал по радио, и не только о произведениях твоих любимых композиторов, но и о вопросах, поставленных на повестку дня современной наукой. Когда я назвал тебя сыном народа, я хотел прославить тебя этим именем так, как только можно прославить человека нашего века. Когда ты, молодой, начинающий учитель из семьи сталеваров, приехал в богатую деревню и когда между тобой и моей матерью, имевшей тогда все, возникли те отношения и чувства, благодаря которым появился на свет божий я, конечно, ты должен был вызывать насмешки богатых шалопаев, ненавидевших тебя за то, что ты умеешь играть на фисгармонии и органе, умеешь петь и читаешь стихи. Наверно, ты страдал, но твоя звездно чистая душа умела защищаться от человеческой низости, и ты, как герой из сказки, шел вперед добывать свою мечту, которую два дня назад оборвала смерть... Не надо слез, ведь я не имею права плакать. Прощай, и спасибо тебе за все, отец!

■

С теми, кто не испытал радость и волнение при виде картин и рисунков Пабло Пикассо и других художников XX столетия, художников, открывших новый способ восприятия действительности и новые чувства, я хотел бы поделиться воспоминаниями о том, как мне самому постепенно стала доступна современная живопись и как я начал отдавать ей предпочтение перед творениями художников прошлых веков. Мне придется сослаться на три толстых тома, где были собраны репродукции произведений, хранившихся в Венской картинной галерее. Эти книги, которые отец унаследовал от своего дядюшки Мартина, стали предметом моего самого восторженного внимания уже в годы раннего детства. В этих томах была представлена «Даная» Тициана и многие восхитительные полотна других художников, не столь великих, как Тициан, но зато более непосредственно воздействующих на чувственность зрителей, чем знаменитый венецианец. Я был счастлив, когда мне удавалось унести мою «галерею» куда-нибудь в поле или на луг и рассматривать это чудо на фоне неба или спелых хлебов. Поэтому нельзя считать, что в области изобразительного искусства я — некая tabula rasa, которую можно заполнить чем угодно. Все, что составляет силу изобразительного искусства от Ренессанса вплоть до двадцатого столетия — строгая композиция, естественность, большая или меньшая рельефность и выразительность,— все это так долго держало в плену мой вкус, что особенности противоположного характера, которыми обладал Пикассо и некоторые его сподвижники, композиция нового типа, отход от жизнеподобия, склонность к плоскостному решению и почти полный отказ от психологиз-

ма — все это, совершенно мне чуждое, должно было бы скорее оттолкнуть и меня. Многие чисто кубистические натюрморты Пикассо больше напоминают кристаллы, какие-то виды аметистов, чем фигурные композиции. А что касается цветовой палитры, то тут я испытывал наслаждение, похожее на то, какое испытал когда-то, найдя старую шкатулку с папиными акварельными красками. Эти картины скорее доставляли наслаждение, чем претендовали на воспроизведение внешнего мира. И тем не менее, чем чаще я приходил в соприкосновение с современной живописью, тем яснее видел, как внешний мир отражался в этих на первый взгляд бессмысленных образах. И постепенная расшифровка этого мира все больше связывалась с удивительным чувством радости, высвобождения и ясности, которое живопись прошлых времен не давала и не могла дать.

То удивительное облегчение, которое испытали все мои чувства, можно сравнить только с ощущением человека, когда он после долгой зимы и капризных предвесенних дней вдруг сбросит вместе с шубой зимний костюм, теплое белье и с поразительным облегчением устремится навстречу дню, озаренному солнцем и чистыми яркими красками весенней природы, взлетающему в небо подобно воздушному шару. Чем ближе и теснее обступали меня образы современного искусства, тем более тяжелыми, свинцовыми начинали казаться произведения прошлых времен, и особенно девятнадцатого века. Чем дальше, тем более властно моим духом завладевала веселая красота полотен Манэ, яркие плоскости Сезанна, тайная прелесть еще недавно непонятных мне картин Пикассо и Брака и, конечно, Анри Руссо, который был и простачком, и королем на новый лад. Из чешских художников меня особенно привлекали Шпала, Зрзавы и Кремличка, отразившие в своем творчестве, каждый по-своему, процесс перестройки человеческих чувств. Если прибегнуть к довольно отдаленному, хотя, как мне кажется, достаточно красноречивому образу, новая живопись, пройдя, так сказать, процесс «десклеротизации» и отбросив много шлака, помолодела, обрела утраченное детство. Глаза, как бы освобожденные от серой пелены, увидели все окружающее в чистых, ярких тонах, и дух детской игры, дух наивных детских загадок ожил в новом высокоодухотворенном искусстве.

Нечто подобное происходило и в царстве слова, поэтому вместо логически развивающихся стихов все более привлекательными делались стихи, брошенные как бы единым махом на плоскость. Пунктуация — родительница грамматического развития стиха, казалось, утратила свой смысл и стала ненужной. Если каждый стих был неким миром в себе, зачем было его отделять по традиционному способу запятой от предшествующего стиха или подчеркивать его законченность с помощью точки? А естественная цезура, свойственная каждому ритму, была гораздо важнее, чем запятая перед «что» или «который», сообщающая стиху искусственную цезуру. Многие наши приемы, объявленные традиционной критикой своеволием, диктовались теми изменениями, которые пережили наши чувства. Конечно, я не хочу чрезмерно обобщать, ведь поэты моего поколения каждый по-своему модифицировали это общее изменение чувств, и я определяю этот процесс прежде всего так, как сам его пережил. Но чувства и восприятие жизни изменились в это время у всех без исключения моих товарищей по искусству.

Пыль веков, отложившаяся на великих творениях прошлого, обусловливает их «склеротичность». Пикассо, Аполлинер, Анри Руссо были великими исцелителями — они готовили в своих ретортах целебный бальзам от атеросклероза искусства. В их произведениях струилась молодая веселая кровь, сродни крови великого американца — усатого Уолта Уитмена. А этот гениальный поэт и великий демократ первый увидел своим ястребиным глазом современный мир в его новой красоте. И природа, и большой город, и даже сказочные образы умещались в той новой панораме мира. Будничность и пафос, предметность и головокружительные сальто-мортале — все находило свое место в этой игре без правил. Волнующая красота нового способа творчества — все то, что я сейчас пытаюсь определить,— не диктовалась никакими правилами. Новая поэзия ощупывала сама себя, как слепец, но глаза ее были широко открыты. Мы не могли заблудиться, потому что путь нам освещал маяк будущего бесклассового общества, к которому мы стремились идти плечом к плечу с рабочим классом. Наверно, именно благодаря этой ориентации — от нее мы не отказывались ни в добрые, ни в худые времена — наш авангард избежал многих ошибок, которые легко могли бы сбить нас с пути.

■

Возможно, кое-кто будет удивляться, что именно наше поколение, так искренне увлеченное идеей социализма, допускало в своей жизни и искусстве известную легкомысленность. Этот вопрос не так уж сложен, чтобы не попытаться его разъяснить. В тринадцать-четырнадцать лет во время мировой войны мы стали свидетелями полной дискредитации всех ценностей, которые превозносила буржуазия, всех моральных принципов, которыми она кичилась, и жизненных благ, оказавшихся перед лицом войны ненужным балластом. Ее мораль, которую она предала, даже не попытавшись найти себе какое-нибудь оправдание, оказалась обыкновенным огородным пугалом, вызывавшим смех даже у воробьев. Как и все мои сверстники, я был призван в последний

год войны и из меня должны были сделать офицера. Как и большинство моих товарищей, я прибег к тому методу, который позднее описал Ярослав Гашек в «Швейке». Я промыкался по лазаретам, и мне удалось переждать войну, не участвуя ни в едином сражении. Некоторые мои одногодки, питавшие какие-то иллюзии или не сумевшие достаточно упорно сопротивляться идиотской австрийской военной машине, сложили свои молодые головы на полях сражений. И не так-то просто было внушить нам, пережившим войну, какие-нибудь ложные иллюзии. Как я уже говорил, то, что происходило на бескрайних просторах России, привлекло наши симпатии еще раньше, чем мы смогли хорошенько разобраться в этом. Идеалистической философией увлекались тогда только люди совершенно отчаявшиеся. Мы перестали верить в судьбу, и это слово приобрело в нашем кругу почти насмешливое звучание. Мы нисколько не беспокоились о том, что всегда заставляет терзаться мещанина. Здоровый скептицизм помогал нам увидеть жизнь в ее постоянных изменениях, в ее вечном движении, которое часто само помогает исправлять вчерашние ошибки. Но большей частью вчерашний день требовал активного вмешательства для того, чтобы превратиться в завтрашний.

■

В Советском Союзе в то время тоже делалось много экспериментов в искусстве, и не только в литературе и театре, но также и в оформлении книг. Послереволюционные годы — годы головокружительного энтузиазма — были свидетелями первых экспериментов Мейерхольда, Таирова, Вахтангова. Это были годы новаторских поисков во всех направлениях. Сейчас, с дистанции десятилетий, мы осознаем, какую прекрасную традицию создало революционное авангардное искусство, в какой бы стране оно ни рождалось. Каждая страна и ее национальный характер наложили особую печать на эти новаторские произведения, и мы сейчас легко можем определить их национальное происхождение. Мы были гораздо более национальными, чем нам казалось или хотелось. Мы плыли, подгоняемые интернациональными ветрами, но в своих собственных водах, где мы выросли и где плавали наши гуси. Если б о нас судили только по тому, что мы сами о себе думали и что нам хотелось внушить другим, такое суждение было бы неправильно.

Наша действительная или кажущаяся легкомысленность заключалась в том, что мы ни в чем не походили на кротов. Мы никогда не пользовались задним ходом, и поэтому наше движение было свободным и радостным, мы ничуть не боялись риска, никакого риска. Когда я влюбился в замужнюю женщину, которая меня просто околдовала, ничто не могло оторвать меня от моей любви. В этих воспоминаниях я не хочу уделять слишком много внимания интимным чувствам. Но поскольку они имели значение для моего творчества, нельзя и умолчать о них. Мне не хочется останавливаться на перипетиях моего романа, но я не могу не вспомнить о тех волнующих откровениях, которые озарили тогда для меня весь окружающий мир новым светом. Никогда не забуду летние месяцы 1923 года, когда родилась «Пантомима» и когда Прага в свете моей любви превратилась для меня в город, который я никогда не перестану воспевать. Прогулка по одному из отдаленных мостов в жаркий июньский день, заканчивавшаяся в маленьком баре за стаканом сладкого вина, или путь из смиховского отеля по улицам, которые раньше казались мне скучными, прогулка на пароходике в Карлштейн — все это не только обновляло чувства, но и изменяло в моих глазах окружающее. Тогда я жил некоторое время на Цельной улице, как раз над той квартирой, которую занимали прежде Волькер с Калистой. Комнатушка была проходная, убогая (к тому же я делил ее еще с одним жильцом), но меня больше всего раздражало в ней окно, составленное из цветных ромбовидных стекол, заслонявших солнечные лучи. Я был счастлив, когда мне как-то удалось открыть это окно и на противоположной стороне улицы я увидел яркую рекламу продавца цикория. Нетерпеливо ждал я вечерних прогулок с любимой, впрочем не очень частых, так как мы всегда опасались встретить мужа моей музы или кого-нибудь из знакомых. Все мои чувства были в то время напряжены до предела, и я научился видеть так, как не видел раньше, и чувствовать так, как не чувствовал раньше. Мое время делилось между любимой женщиной и друзьями. Но поэзии я принадлежал весь целиком и тут и там.

С того момента, как я запер свой письменный стол в учреждении, где недолгое время работал, мне нелегко было прокормиться. История моей служебной карьеры очень проста, и я попытаюсь вкратце рассказать ее. В один прекрасный день моя возлюбленная сообщила мне, что расходится с мужем и что нам не нужно будет больше расставаться... Эти ежедневные разлуки были мучительной стороной нашей любви, так вдохновлявшей меня. Я был счастлив, что моя мечта близка к осуществлению, что я не буду долгими часами оставаться один и что моя комнатка на первом этаже домика в Нуслях не будет больше пустой. Я одолжил деньги на самые первые житейские надобности и попросил моего товарища Иржи Свободу подыскать мне работу. Не знаю уж, каким образом он разузнал, что издательство «Чехословацкий компас», подготовлявшее издание большого научного словаря, как раз нуждается в секретаре. Директор издательства доктор Францель, который, как я сразу понял из разговора с ним, хорошо разбирался в поэзии и внимательно следил за развитием нашего авангарда, принял меня очень любезно, и я получил место секретаря Мне выделили каби-

нет, дали машинистку и двух помощников, которые интересовались литературой и были коммунистами. Зато директор-распорядитель, совершенно не способный понять поэтическую натуру, сразу стал смотреть на меня косо, и мы с первой же встречи вступили друг с другом в молчаливую войну. Так как в издательство я приходил довольно поздно, то машинистка сама открывала ящики моего письменного стола, поскольку пан директор-распорядитель ежедневно являлся, чтобы лично проконтролировать, на месте ли пан секретарь. Когда же ящики были открыты, создавалась видимость, что я уже тут. Придя в издательство, я прежде всего старался попасться на глаза пану-распорядителю и слонялся по комнатам до тех пор, пока не натыкался на него. К счастью, мои обязанности были связаны со множеством телефонных звонков и отлучками, так что рабочее время проходило почти незаметно и служба была не очень утомительной. С моего места за столом было видно прекрасное старинное Малостранское кладбище, с которым у меня было связано много литературных реминисценций и куда я часто убегал из своего кабинета, чтобы вдохнуть в себя его поэзию. В отличие от остальных служащих, у меня не было обеденного перерыва, и два часа среди рабочего дня я просто читал статьи в различных энциклопедиях, конечно, не только на первые три буквы алфавита, представленные в первом томе, который мы как раз и подготовляли. Когда же дело принимало совсем скверный оборот и пан директор-распорядитель метался по издательству, понося меня на чем свет стоит, приходил тихий, добрый доктор Францель и, любезно поговорив со мной, всегда под конец спрашивал, что нового в литературе. Без доктора Францеля я не удержался бы в издательстве и недели. Когда же я однажды попал под суд за ночную схватку с голешовицкими полицейскими и в газетах раздули эту пикантную историю, добрейший доктор Францель самолично обошел все служебные помещения, собрал все газеты и отнес их в свой кабинет, чтобы они не попались на глаза директору-распорядителю.

Счастливые перспективы любви, которые рисовались мне, когда я поступил на работу, вскоре развеялись, но все же я продержался в издательстве почти год. Снова мне приходилось ежедневно разлучаться с обожаемой женщиной, а порою мы не встречались даже по нескольку дней. С тяжелой головой я каждое утро добирался в трамвае из Нуслей до Смихова. Разумеется, к моему приезду письменный стол был уже открыт. Быстро обойдя, как обычно, все комнаты, чтобы показаться пану распорядителю, я выбегал на Плзеньскую улицу и выпивал наспех в молочной стакан молока с рогаликом. Дни казались мне серыми. Я был счастлив, только когда словно напоенные гашишем ночи встречали меня и мою любовь на пражских мостах. В июле я взял отпуск. Я верил, что вместе с моей музой уеду в те края, которые воспевает Шарль Бодлер в своем «Приглашении в путь». Однажды душной июльской ночью, когда мы с ней сидели среди акаций под красным зонтиком, те края, куда мы хотели уехать, вдруг обрели ясные очертания. Это должен быть край, откуда нет возврата. Начиная с того вечера вся моя жизнь превратилась в подготовку к «отъезду». Все, что меня окружало — и прекрасное, и безобразное,— казалось мне особенно захватывающим, потому что словно под огромным увеличительным стеклом передо мной предстала невозвратная красота жизни и бытия. А потом — приезд отца, сцена с велосипедом и совершенно иная развязка драмы, чем та, какую мы предполагали. Вместо обещанного свидания я получил письмо из деревни. Я ответил и положил письмо в конверт, на котором печатными буквами было написано название той серии, в которой должна была выйти «Пантомима» — «Пражские сатурналии». На этот фантастический адрес были посланы два письма, но я, естественно, не получил ни одного. Молчание в ответ на мое письмо я истолковал самым трагическим образом. Мое молчание было понято точно так же. Каждый день я ездил со службы в Стромовку, долго сидел в маленьком розарии, втихомолку глотал слезы, пока музыка, доносившаяся из расположенного неподалеку павильона и запах роз меня окончательно не убаюкивали, или читал книгу. Мне было безмерно грустно, чувство мое было безмерно сильным. Эту часть лета я прожил в одиночестве, без друзей. Ничто не могло мне заменить утраченную мечту, и возврата к прошлому не было. Утром я просыпался без надежды, что в телефонной трубке услышу на работе голос, который представлялся мне голосом самой судьбы. Однажды, когда Прага снова была вся в слякоти, телефон все же зазвонил и прозвучал ее голос. Было даже назначено свидание в кафе, но когда я пришел туда, там меня никто не ждал. Злосчастные «Пражские сатурналии» стали причиной недоразумения, а недоразумения в любви обычно так чувствительно сказываются, что их нельзя рассеять человеческими словами.

Не знаю, почему после такого грустного конца моей любви я не бросил работы. Почему снова и снова ездил, всегда опаздывая, в издательство, почему и в послеобеденные часы бил там баклуши, почему не писал на карточках с заглавным словом что-нибудь свое. Однажды, когда взгляд мой упал на пишущую машинку, мне пришла в голову счастливая мысль использовать безделье в послеобеденные часы хотя бы для того, чтобы научиться писать на машинке. Я тут же взял чистый листок бумаги и буква за буквой написал на нем заявление об увольнении. А так как в нем не было ни одной описки, то я сунул этот листок в конверт и положил его на директорский стол. На другой день, придя, как обычно, с опозданием на работу, я нашел на своем столе письмо со штампом «Чехословацкого компаса». Мое заявление было удовлетворено, тем более что я, как отмечалось в письме, систематически не находился на службе

положенное время. Я получил жалованье за два месяца вперед, так мой милый покровитель, видимо, отблагодарил меня за то, что я своим решением облегчил создавшуюся щекотливую для него ситуацию. А может быть, сделал это просто по доброте своей и из любви к поэзии.

Поскольку, поступив на службу, я поблагодарил отца за ту материальную поддержку, которую он оказывал мне в студенческие годы, и просил в дальнейшем считать меня человеком самостоятельным, способным прокормить себя, то теперь, уволившись, мне не оставалось ничего иного, как содержать себя своим творчеством. Я твердо решил не поступать больше ни в какую редакцию, потому что, прослужив в «Чехословацком компасе», хорошо понял, какое мучение выполнять работу, которую сам себе не выбираешь. Так я стал профессиональным писателем.

■

Нет сомнения — литература оказывает огромное влияние на молодежь, на ее развитие. Я уже не застал тех времен, когда по пражским тротуарам фланировали молодые люди, для которых важнее всего было выглядеть солидными. Они с удовольствием напяливали на головы цилиндры, носили трости с набалдашниками, а в петлицах лацканов их пиджаков красовался какой-нибудь экзотический цветок. Поколение наших дядюшек охотно подражало Оскару Уайльду и считало себя бессильным, немощным. чахлым. В кровавом зеркале первой мировой войны можно было увидеть также и несколько капель крови испускавшего последний дух дендизма.

В пору, когда мы — самые младшие призывники войны — готовились вступить в жизнь, в пору, когда наши военнопленные, возвращавшиеся из России, рассказывали нам о том, как на Востоке рождается новый мир, мы не могли относиться к стилю жизни поколения «конца века» иначе, как со снисходительной усмешкой. Правда, молодежь и тогда была довольно эксцентричной, но эта эксцентричность, находившая себе выход под знаменем дадаизма, была здоровой попыткой высмеять все пережитки. Русские футуристы с Маяковским во главе облачались в престранные одежды, Тристан Тцара [1] в Швейцарии устраивал вечеринки, оскорблявшие традиционные и мещанские вкусы, да и мы тоже поддразнивали наших мещан. Мы, однако, оказались счастливее других, потому что восхищение русской Октябрьской революцией заставило нас взять в руки Маркса и Ленина, поэтому наше «эпатирование буржуа» не было просто лишь анархистским жестом. И поскольку мы заявили, что стоим на стороне рабочего класса, то мы со своим бунтом не могли оставаться в безвоздушном пространстве.

Наши молодые годы были прекрасны — мы соединяли в себе молодость плоти с молодостью мысли, которая созидала основы новой жизни на земле. Мы всегда присутствовали там, где эта мысль заявляла о своем праве на жизнь. В дни Первого мая и годовщины Октябрьской революции нас видели на улицах. Мы вступали в стычки с теми, кто раскалывал единство рядов молодежи. Рассадником этих ядовитых грибов были юридический и медицинский факультеты — их там пестовали несколько реакционных профессоров. Но им недолго удалось продержаться. Те, кто были поумнее, просто отошли, а остальные уползли в норы и зимовали в них до прихода гитлеровских орд. Правда, впоследствии более разумная часть этой молодежи рвала на себе волосы и с ужасом взирала на выродков — так называемую националистическую молодежь, которая прямиком подалась на службу Гитлеру.

Мы — те, кто серьезно изучил Маркса и Ленина и кто не нарушил верности своему народу,— мы оставались молодыми, хотя годы наши пролетали так же быстро, как вообще летит время. Нельзя рассматривать молодость только как явление физиологическое. А молодежь, увлеченная прогрессивными идеями, не может не быть молодой. Я не перестаю сожалеть о поколении, ранняя молодость которого прошла в неволе, при нацистской тирании, которому внушали фальшивые идеи о мире и жизни, идеи псевдонаучные и безумные, идеи, направленные против своей нации и своего народа. Эта молодежь, загнанная в нацистские трудовые лагеря, была поставлена перед труднейшей задачей перевоспитания, как только с поражением фашизма открылись ворота в новую жизнь. Она росла в тени и должна была учиться ходить по освещенной солнцем земле. И многократно пытаясь научиться, она еще долго не умела это делать. Когда же ей удалось перевоспитать себя и принять новое мировоззрение, она внесла в него свои старые навыки и, стремясь к активному самопроявлению, вела себя полевацки.

Думаю, что именно те, кто принадлежит к нашему поколению, так сказать, позавчерашнему, воспитанному на классиках социализма, лучше понимают сегодняшнюю молодежь — молодежь, выросшую в новых классовых и социальных условиях,— чем ее понимает поколение вчерашнее. Даже простое воспоминание о временах, когда мы были в оппозиции к господствующему капиталистическому обществу, которому мы объявили войну, когда хотели жить и умереть во имя победы народа, утверждает нас в уверенности, что и ныне молодежь капиталистических стран, оказавшаяся под влиянием прогрессивной литературы и стремления народов сохранить мир, это молодежь в подлинном смысле слова. Подобно тому, как когда-то наши самые смелые мечты устремля-

[1] Тристан Тцара (1896—1963) — французский поэт, один из вождей дадаизма.

лись туда, где создавался новый мир, так, пока я пишу эти строки, в Москву слетаются со всего мира самолеты, чтобы доставить туда прекрасную молодежь современности, ту самую молодежь, которая в унисон провозглашает на языках всех народов Земли магическое слово, гарантирующее человечеству будущее,— слово МИР [1].

■

Стояли пасхальные дни 1925 года. Я отправился бродить по городу. Была та удивительная пора, когда день уже кончался, но вечер еще не наступил. Я брел один по набережной, и мне было так хорошо оттого, что я ощущал Прагу всеми своими чувствами. Потом я решил зайти в «Национальное кафе». Не застав там никого из друзей, я в ожидании их прихода подсел к кому-то из завсегдатаев. Старший кельнер сообщил мне, что сегодня днем мною интересовалась красивая молодая дама, которую сопровождал мужчина, и просила, если я явлюсь, задержать меня до ее прихода. Он, мол, заверил эту пару, которую причислял к миру кинематографа, что я обязательно приду. Кельнер дважды напоминал мне об этом. Признаюсь, его сообщение взволновало меня, и я старался представить себе эту женщину. Все очарование Марианске Лазне, которые я несколько часов назад покинул, сразу поблекло перед неистовым желанием познакомиться с красивой женщиной, захотевшей встретиться со мной. Я был очень рад, что устроился за столом, где сидят люди, связанные со мной не очень тесными узами, и легко смогу пересесть за другой столик, если этого потребуют обстоятельства. Я был возбужден, я ждал. И вдруг кельнер подводит ко мне и представляет неизвестного мужчину, который после этого знакомит меня с прелестным видением, оказавшимся, разумеется, его женой.

Я увидел огромные голубые глаза, по-детски широко раскрытые, и высокую стройную фигуру дамы, наряды которой шьет, безусловно, портной-чародей, тонкую руку, перстни. Мы сидели за столом, и во время разговора я не в силах был отвести взгляда от ее волшебных глаз. Когда мы расстались, я понял, что не знаю о ней ничего: ни как зовут ее, ни как зовут ее мужа и точно ли это ее муж, знаю только, что она хочет, чтобы я участвовал в работе над фильмом «Мадемуазель Мопен», который собирается снимать по своему сценарию, написанному на сюжет Теофиля Готье. Я также принял к сведению, что незнакомка руководит каким-то кинообозрением. Впрочем, я так и не понял, чего она от меня хотела. Я же не желал ничего иного, как увести ее без лишних слов из «Национального кафе» в бар у леса в Марианске Лазне, где я недавно был. Она казалась мне существом, явившимся из другого мира, а временами приходило в голову, что она, пожалуй, безумна или же что все это просто сон. Она цитировала кое-что из моих стихов, но я с трудом ориентировался в собственных строках, когда их интерпретировала она. Все время она смотрела мне прямо в глаза, точно так же, как я смотрел в ее глаза. Спутник ее уж слишком очевидно хотел какой-нибудь светской фразой поскорее завершить наше знакомство, однако ни я, ни она не обращали ровно никакого внимания на его попытки. Если не ошибаюсь, он в конце концов пошел в гардероб, оделся и стоял над нами, держа в руках пальто жены. Итак, мы вынуждены были расстаться. Я поцеловал прекрасной даме руку и смотрел ей вслед, видя, как она удаляется, как она прекрасна, как она уносит с собою все волшебство, все очарование, все, все то, что сегодня могло иметь для меня значение. Когда же зазвучала музыка, мне вдруг стало ясно, что я влюбился.

Следующий день был для меня днем ожидания и поисков. Я ждал даму с голубыми глазами, ждал ее в кафе хотя мы не уславливались о встрече. Искал в кинообозрениях среди имен сотрудников то, которое более всего могло соответствовать ее внешности, но не находил нигде следа ее плавных движений. Впрочем, ее имя не совпадало с именем супруга. Это был псевдоним, до невозможности экстравагантный, хотя он был лишь слегка измененным настоящим чешским именем. Когда я готов был уже поверить в безнадежность и тщетность моих усилий, они вдруг были вознаграждены: виновница моих треволнений явилась в кафе. Я едва узнал ее, потому что она пришла в спортивном костюме, который ее значительно изменил. Выглядела она очень юной, и в глазах ее словно бы плыли облака. Она казалась мне теперь менее неприступной и более веселой, чем вчера, и мое удивление, вероятно, ее радовало, а может, и забавляло.

Я дал ей свою «Пантомиму», и теперь уже меня забавляло изумление, которое можно было прочесть на ее лице, когда она перелистывала страницы. Конечно, она не понимала новой литературы, но литература эта привлекала ее своей необыкновенной зримостью, что в ее глазах сближало новую поэзию — и это было верно — с искусством кино. Мне было занятно слушать, как она комментирует страницы «Пантомимы» своему мужу, которого, конечно, все это совершенно не интересовало, но он кивал в знак своего согласия с каждым ее словом, с каждым жестом. Было в нем что-то от марионетки, но я не мог объяснить себе, что именно. Он производил впечатление мазохиста, который лижет пятки своей жены, по крайней мере тогда, когда находится рядом с нею. Упоминаю о нем потому, что он стал как бы невольным свидетелем моей любви к его жене почти на всех ее этапах. То, что он за нею ежедневно приходил в кафе,

[1] В. Незвал имеет, вероятно, в виду VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов, происходивший в Москве в 1957 г., в дни, когда поэт писал эти строки.

казалось вполне нормальным. Иногда он бывал очень бледным, словно только что разгримировавшийся актер, и в такие минуты выглядел растерянным. Однажды в его присутствии жена пригласила меня к себе под предлогом, что будет читать мне сценарий «Мадемуазель Мопен». Это свидание состоялось. Но мне в чужой квартире было настолько не по себе, что я мог проявлять свои чувства и ощущения лишь взглядами. По сей день у меня сохранилось впечатление, что я тогда сидел с нею в горящей комнате. Когда же муж вернулся домой, он не мог не заметить, что в комнате все оставалось на своих местах, и, не скрывая охватившей его радости, старался быть со мной особенно любезным. Я же попросил свою приятельницу, чтобы она никогда больше не звала меня к себе, и назначил ей свидание в Стромовке. Весна еще лежала запеленатой на прикрытых цветочных клумбах, но воздух уже пьянил, и прогулка, продолжавшаяся два-три часа, нас разморила. Первое дыхание наступивших сумерек склонило ее в мои объятия — это было возле маленького розового сада. Моя жизнь писала медленно, стих за стихом, книгу того же названия, и каждый стих был каким-то образом связан с моей жизнью. Правда, я не уговаривался со своими читателями, что буду писать роман. Не могу тем не менее избежать нескольких линий, которые подчеркнули бы взаимосвязь моих новых поэтических произведений и моей жизни.

Жил я тогда в однокомнатной холостяцкой квартирке на Сокольской улице и однажды пригласил сюда свою новую любовь. В глазах ее промелькнуло облачко, когда она со своей удивительно экстравагантной манерой, которая порой казалась милой, а порой неприятной, произнесла фразу, возможно вычитанную ею из какого-то бульварного романа. Она сказала дословно: «Поэт, превратите солнце в луну!» Мне эта метафора понравилась, хотя я и не был уверен в авторском источнике. Верно было одно: продолговатая комнатенка, обставленная совершенно безлично, стала меняться на наших глазах, словно освещенная волшебной лампой Аладдина.

Мои дни состояли из бесконечного сидения в кафе, где экстравагантность моей подруги приводила меня в смущение, и упоительных минут, когда она была податливой, естественной, даже неожиданно простой. Вдохновляющая сила этих минут позволяла мне сносить все: ее мужа, отчуждение друзей, сердившихся на меня за то, что я посвящаю столько времени особе, которую они терпеть не могли,— все, даже мою бедность, становившуюся нестерпимой. Мало кто знал, что чашечки кофе, выпитые в кафе, часто были моим обедом и моим ужином.

После года службы, когда моя жизнь в материальном отношении была более или менее обеспеченна, я поставил себя в довольно затруднительное положение, хотя и добился независимости и свободы. Доходы от моих уже написанных книжек были малы, а жизнь была не дешева. Я лишился многих редких книг, особенно тяжело мне было расставаться с альбомами гравюр, где были репродукции картин венской галереи. Меня уже приметили в антикварном магазине Зинека, куда я время от времени не без душевной боли приносил какую-нибудь книгу, очень часто тесно связанную с моим детством. Бывали времена, когда я жил одним хлебом и молоком, но по мне нельзя было заметить, что я в чем-то испытывал нужду. Я знал, что если вечером загляну в бар Махачека, то обязательно найду там компанию, в которой досыта наемся, хорошо выпью и буду чувствовать себя превосходно. Днем мне было нелегко раздобыть даже самую мизерную сумму у своих ближних. Зато вечером в баре кошельки открывались, и наша богема, привыкшая жить днем весьма скромно, вечером вознаграждала себя за дневные страдания.

Самым тягостным было то, что я не платил в срок за квартиру. Обычно я приходил домой в такое время, когда был уверен, что уже никого не встречу, да и старался выскользнуть из своей комнатушки незамеченным. Однажды меня навестили отец с сестрой. Отец все никак не мог понять, почему я настаиваю, чтобы мы разговаривали в коридоре шепотом. После долгих колебаний я вынужден был попросить у него пятьсот крон на квартирную плату, что вызвало у него беспокойство, как я буду жить дальше. Но я был очень беспечен, легко и просто сносил все трудности. Помню, мне в ту пору сообщили из дому, что матушке моей необходимо сделать операцию. Было ей тогда пятьдесят лет, и я, через двенадцать лет умиравший от страха, что могу потерять ее, принял эту весть совершенно спокойно. Помню, что только потом четыре дня с нетерпением ждал прихода почтальона, а когда прочитал сообщение отца, что матушка чувствует себя хорошо, продолжал свою бесшабашную богемную жизнь. И все же я с удовольствием ездил на каникулы домой. В 1925 году я не оставался там долго, потому что не в силах был расстаться со своей голубоглазой дамой. Не забыть мне встречи с матушкой, которая, когда я приехал, стояла у входа в сад и казалась после перенесенной операции еще более одухотворенной и красивой. Вино и спиртные напитки сменились молоком, кофе со сливками, и никто бы не поверил, что молодой человек, который за все каникулы ни разу не вошел в деревенский кабачок, и есть тот самый пражский кутила.

Не стану больше возвращаться к дням «Маленького розового сада». Женщина, вызвавшая к жизни некоторые стихотворения этого сборника, стала все упорнее проявлять свою тиранию, а отступиться от нее я не мог. Еще в то время, когда я с нею всюду бывал, познакомился я с другой женщиной и встречался довольно долго с обеими — до тех пор, пока дама с голубыми глазами не уехала за границу. И если меня

еще долго одолевала тоска по ней, я все же передохнул и Прага начала принадлежать мне снова и заново.

В каникулы 1926 года я впервые за несколько лет ощутил, какое блаженство быть дома у родителей, среди вещей, знакомых с детства. Из Праги на мое имя приходили голубые письма, а я целиком сосредоточивался на поэзии. В отличие от некоторого увлечения романтизмом в «Маленьком розовом саде» теперь меня соблазняла предметность окружающего мира. В кратких строфах я стремился придавать будничным вещам поэтический смысл. Так возникли «Стихи на открытках» с разделом «Эхо улиц», а позднее «Надписи на могилах». Эти два цикла, а также «Дьявол» и книжка «Близнецы» должны были составить обширный том. Я попросил у издательства аванс и разделил задуманную рукопись на четыре части. Прокормиться литературой было нелегко, но, как говорится, взялся за гуж — не говори, что не дюж!

Осенью 1926 года пришел конец моим стараниям уже в который раз отсрочить свой уход на действительную военную службу. Меня направили в воинскую часть в Брно. Было отчего отчаиваться человеку, который после безмятежно свободной жизни вынужден был привыкать к казарменным порядкам, тем более что я вкусил их еще при Австро-Венгрии, когда месяц с небольшим прослужил в армии. Единственным утешением для меня в Брно был Маген. Он добился даже того, чтобы мне разрешили уходить по вечерам из казармы, и делал все возможное, чтобы меня вообще освободили от службы. Когда же я наконец навсегда расстался с военным мундиром, меня охватило чувство, подобное тому, какое испытывает человек, отбывший наказание за все свои грехи, начинающий новую жизнь. И я ее начал.

Я подыскал себе квартирку в мансарде небольшого дома в Новой Трое[1] и жил там три года. И хотя все дни и вечера я проводил в пражских кафе, жизнь в Трое все же давала больше возможностей сосредоточиться. То, что не удалось бы одному человеку, стало возможно вдвоем. Но я дал себе зарок не касаться в этих заметках своей личной жизни, а ее романтическую сторону оставлю исключительно для поэзии. Были дни, когда я оставался в Трое и бродил среди природы, которая тут постоянно менялась и казалась иной, чем та, которую я знал с детских лет в деревне. Я любил смотреть сквозь кусты боярышника на видневшуюся вдали Прагу и проникал воображением за занавески окон, ярко светившихся при ясной погоде под отдаленными крышами. Идиллическую жизнь я делил с богемной, и мне казалось, что я в силах приступить к осуществлению и более крупных замыслов, чем просто лирические стихи. Я принялся за перевод «Ворона» Эдгара По только потому, что не мог нигде достать эти стихи в переводе Врхлицкого, а мне хотелось испробовать новый рефрен, более «вороний», чем у Врхлицкого. Мой рефрен был очень смелым, потому что с ним можно было рифмовать лишь очень мало слов, но я так увлекся этой работой, что, к своему удовольствию, поэму все же перевел.

Кажется, я уже говорил, что страстно любил вечерние огни города. В пору, когда Прага меня еще удручала, когда я еще не открыл ее красоты потому, что тосковал по дому, первым сигналом магической силы Праги был свет фонарей ее мостов, отраженный в водах Влтавы. Однажды я прогуливался по этим мостам, и мне пришла в голову мысль написать большое стихотворение о человеке, без которого лицо городов было бы, несомненно, другим, куда более бедным,— об Эдисоне. Конечно, не так-то легко было найти, за что ухватиться, поэту, чтобы эту мысль реализовать, и я оставил ее тогда дозревать, не торопился с ее воплощением.

Только в 1927 году, во время каникул, когда я писал у родителей свой роман «Хроника конца тысячелетия», роясь в отцовской библиотеке, я наткнулся на небольшую книжку — жизнеописание Эдисона. Я перечитывал его снова и снова, запоминал главные даты жизни Эдисона, совершенно позабыв о своем замысле. Работая над романом, я вдруг понял, что мне писалось бы лучше, если б у меня была пишущая машинка. Когда же мне как-то попался проспект пишущей машинки «Корона», я так загорелся желанием приобрести ее, что не мог уснуть всю ночь. Мне достаточно было только сказать об этой своей мечте моему добряку отцу, который теперь никогда больше не дочитает эти воспоминания, как он простил мне все истерики, которые я устраивал, и принял решение купить пишущую машинку. Мы заказали ее, и через несколько дней она предстала пред нами сияющая, как ангел, чтобы дни и ночи привораживать меня к себе своими чарами.

В одно из октябрьских воскресений 1927 года я был охвачен какой-то непонятной тревогой. Ходил долго по комнате, уже погруженной в сумрак, потом невольно сел за рояль и, глядя на силуэт желтеющего школьного сада, начал импровизировать. В низких тонах я искал протяжные и мощные аккорды, которые отвечали бы состоянию моего духа, но играл недолго. Не отдавая себе отчета ни в том, что делаю, ни в том, чего хочу, я вошел в комнатку, где обычно работал, и включил свет. Моя пишущая машинка засверкала — электрическая лампочка над нею придала ей какие-то магические чары. Я медленно отстукал на машинке первый стих «Эдисона». И в тот же вечер закончил его первую часть.

Я и вправду убежден, что моя сверкающая «Корона» внесла свой вклад в стихи,

---

[1] Новая Троя — окраина Праги.

вдохновленные изобретателем электрической лампочки и невольным устроителем городских иллюминаций, которые мне так милы. Ровное течение моих строк, увлекаемых одиннадцати- и двенадцатистопным хореем, так же как и симметричность, придаваемая освещением проспектам современных столиц, содержали в себе нечто таинственное и механическое одновременно. Трех- и восьмистопный хорей мог быть и народной песней, а вот ритм, который я нащупал в волнах низких тонов на рояле, открывал передо мной неведомые миры. Наконец я мог писать, как играл на фортепиано. Все боги, казалось, присутствовали в нашем доме, все боги были со мной!

■

С радостью я возрождаю в своей памяти первые наши попытки создать авангардный театр. Особенно вечер в конце весны 1926 года на сцене маленького театра на Слупе, где шли постановки Иржи Фрейки. Одну из них я помню до сих пор: это мольеровский «Жорж Данден». Позже я сам участвовал в музыкальном сопровождении аристофановской комедии «Женщины на празднике Фесмофорий». Тогда Фрейка уже работал с хорошей молодежной труппой. В ее составе была очаровательная Ярмила Горакова, которая не только превосходно играла на сцене, но помогала шить костюмы и делала все необходимое, чтобы спектакль удался. Ее партнер Станислав Нейман был тонким исполнителем роли героя-любовника и комических ролей. Музыкальное сопровождение обычно обеспечивал патефон. И по сей день патефонные пластинки того времени вызывают у меня трогательные чувства.

Я ходил туда на репетиции «Депеши на колесах», «Узника» и «Мадригала», которые милейший Фрейка включил в программу моего вечера. Время, которое мы посвящали совместной работе,— самое радостное, какое только я знал.

Мы с Фрейкой, Гораковой, Нейманом прокладывали путь новой лирической манере игры, требовавшей такого напряжения, которое в традиционных спектаклях бывает не частым гостем.

Наконец наступил и самый вечер представления. Жаль, что я не нашел газетных вырезок, которые весьма выразительно описывали нашу премьеру. Билеты были распроданы все до единого, к театру подъезжали даже автомобили с дипломатическими знаками, множество людей не могло попасть на спектакль. Актеры были великолепны, наш опыт удался. Самым ценным было то, что мы создали не обычный спектакль, каких было много, а выиграли сражение во имя нового видения мира на сцене. Мы все были счастливы и сразу после премьеры возобновили репетиции. Идя на премьеру своего вечера, я нашел на улице брошенную кем-то карту и заботливо припрятал ее. Она и по сей день хранится среди моих сувениров.

А где, собственно, лучше всего хранить сувениры? Конечно, в памяти! Там они ждут, когда придет их черед, и с радостью предстают в том свете, какой способна давать пережитому только память. Я и сейчас слышу Ярмилу Горакову, детским голоском читающую колоритные стихи «Продавщица рыбы». Ее блистательный путь был кратким, она вскоре покинула нас в расцвете своей неподдельной девичьей прелести.

Одновременно с Фрейкой в создании нового, современного театра принимали участие Индржих Гонзл и Э. Ф. Буриан, действуя то в полном согласии, то во взаимных противоречиях — на что имеет право творческая личность. Работал я со всеми тремя и не могу не вспоминать о них иначе, как с любовью и восхищением.

Наш авангард вместе с брненским «Деветсилом», присягнув знамени Маркса и Энгельса и выступая за Советский Союз, становился политической группой. Конечно, мещане и ханжи могли нас всячески поносить, но мы честно выполняли свою задачу: соединить борьбу за новое свободное искусство с борьбой за новое, свободное, социалистическое общество.

Многие умники ухмыльнутся, прочитав, что наш художественный авангард становился своего рода политической группой. Но это действительно так. Ведь дело не в том, был ли у того или другого из нас в кармане комсомольский, а позднее партийный билет, платили ли мы членские взносы и ходили ли на собрания. Мы действовали открыто, печатались в журналах левых марксистов, и нам не было никакого расчета притворяться левыми, если это движение стало для буржуазии как нож острый. Мы придавали особое значение открытым, энергичным выступлениям против реформизма и масариковской идеологии. Советский Союз был нашей святыней и для большинства из нас остался таким по сей день.

Седьмого ноября нас каждый год приглашали на виллу «Тереза», где жил человек, которого мы очень любили,— настоящий революционер Антонов-Овсеенко. И когда он был полностью реабилитирован, то кого это могло обрадовать больше, чем нас, его чехословацких почитателей, с которыми он был так добр и приветлив, по-братски откровенен и сердечен. Красивая голова с пышной шевелюрой делала его похожим на художника.

То, что в начале коммунистического движения, особенно после Октябрьской революции, наступило такое глубокое взаимопонимание между политическими руководителями и художниками, не случайно. Не трудно ответить и на вопрос, что сближало в революционном коммунизме политиков и людей искусства: восприятие мира как дела рук человеческих, стремление дать людям счастье.

До чего же черствым был масариковский реализм: Масарика интересовало у романтиков все что угодно, только не их пламенный лиризм. А социал-демократов, для которых рабочий класс был средством спекуляции, вовсе не трогали слезы, обильно проливавшиеся близкими к ним поэтами. Плачевно было также наблюдать, как в некоторых наших национальных комитетах смотрели на искусство — в нем видели нечто бесполезное, а в людях искусства — нежелательных нахлебников, требующих к тому же привилегий. Печально и в то же время знаменательно, что некоторые наши деятели так мало извлекли из опыта Советского Союза, где художник пользуется огромным уважением.

Мы принадлежали к числу первых гостей виллы «Тереза», и за нами постоянно следовали тенью тайные агенты, бросавшиеся нас фотографировать, как только мы вступали на советскую территорию. Но среди нас не нашлось ни одного труса, который хоть локтем заслонил лицо перед объективом казенного фотоаппарата. А там, внутри виллы, мы, входившие группа за группой, радостно приветствовали друг друга, словно первые христиане. Там на лице всегда строгого Зденека Неедлы появлялась ясная, приветливая улыбка и, вступая с ним в разговор, не требовалось официальных представлений. Ведь мы — гости виллы «Тереза» в канун каждого седьмого ноября — были соратниками, людьми одного дыхания, одной крови. Там мы знакомились с товарищами из руководства и продолжали наши беседы в кафе. Думаю, что именно на вилле «Тереза» состоялось мое знакомство с Йозефом Гакеном[1], ставшим искренним другом нашего авангарда и моим другом, к которому я хаживал за советом и четверть века спустя.

Когда мы познакомились, Гакен был еще молод, его красноватое лицо слегка лоснилось, высокий лоб обрамляла поредевшая шевелюра, глаза немного косили. Во всем его облике, особенно когда он надевал меховую шапку, было что-то напоминающее советских людей. Он начинал свою жизнь как учитель и хорошо разбирался в музыке — а попробуйте только разобраться в одном виде искусства, и понимание остальных придет само собой. А с каким пониманием относился он к нашим экспериментам и с каким умением передавал нам свой политический опыт! Его жизнь была отнюдь не идиллической, судьба не щадила его. Но Гакен обладал безграничным терпением и умел переносить страдания так стойко, как это умеет делать только большевик. В зените своей общественной деятельности он был сражен тяжелой формой ревматизма, который приковал его на двенадцать лет к постели. Самыми страшными были для него годы «протектората». Он был совершенно неподвижен, и тот, кто жил тогда в доме, примыкающем к жижковской телефонной станции, мог видеть, что он проводит без сна ночи напролет и его уже совсем облысевшая голова склонена над книгой. Только то обстоятельство, что он был совершенно беспомощным, помешало гестапо отправить его в тюрьму или концлагерь. Я навещал его в те мрачные годы. Знал, что его сын — активный участник борьбы на стороне Советского Союза, но Гакен никогда и словом не обмолвился о своих тревогах, в самые трудные дни войны он был в состоянии делиться своими воспоминаниями и наблюдениями, а они нас всегда увлекали и утешали. Он охотно рассказывал о своем младшем друге Клементе Готвальде, которого безгранично уважал и на которого возлагал большие надежды. После 1945 года он переехал в Льготку у Браника и, успокоенный относительно судьбы нашей родины, позволил себе на какое-то время вкусить хоть немного человеческого счастья, которое ему в последние дни доставляли внучка и внук. Вацлав Копецкий[2] передал ему через меня отличный радиоприемник, который помогал ему коротать долгие бессонные ночи, слушая музыку — а он ее так любил, что в молодости даже хотел стать музыкантом. Однажды Гакен с большой радостью сообщил мне, что его навестил Антонин Запотоцкий[3], которого он очень любил. Позднее я узнал, что он был приглашен Клементом Готвальдом на торжественное заседание в Град. Гакена доставили туда в кресле, и я, видя в кинохронике, как члены Центрального Комитета горячо приветствовали его, почувствовал, что он испытывает удовлетворение за дело всей своей жизни,— эти минуты вознаграждали его за все перенесенные страдания. Да, Йозеф Гакен любил нас и время от времени приходил на наши собрания в кафе, потому что не мог себе представить борьбы за нового человека без любви к искусству.

■

Первым писателем с мировым именем, близким нам по духу, который посетил Прагу, был Илья Эренбург. Судьба не могла бы сделать более удачного выбора, посылая к нам автора «Хулио Хуренито» и «Тринадцати трубок». Я и сейчас вижу, как он сидит с нами в кафе Юлиша, слегка наклонившись, его взгляд, устремленный куда-то вдаль, словно бы на мгновение остановился на наших лицах. Он прибыл к нам из страны победившей революции, где народ восстал, чтобы обеспечить себе свободный от

[1] Йозеф Гакен (1880—1949) — видный деятель Чехословацкой компартии.
[2] Вацлав Копецкий (1897—1961) — партийный и государственный деятель Чехословакии, в 1945—1953 гг. — министр информации и культуры, в 1953—1961 гг. — заместитель председателя правительства ЧССР.
[3] Антонин Запотоцкий (1884—1957) — выдающийся деятель чешского рабочего движения. С 1953 по 1957 г. — президент ЧССР.

угнетения труд и достойную человека жизнь. Он сиживал и в парижских кафе со всеми теми, кого мы так любили. Мы любили их за то, что их поэзия и живопись приносили нам новые ощущения и чувства, поэтому Илья Эренбург был нам мил вдвойне. Меня особенно захватило тогда его стихотворение, обращенное к будущим поколениям, написанное вольным стихом, в котором он напоминал этим будущим поколениям, что им уж не доведется знать, как благоухает сирень за час до атаки. Наша буржуазия ненавидела Эренбурга, и в газете «Народни листы» появилась заметка, в которой говорилось, что, мол, Эренбургу следовало бы на свои чешские гонорары купить себе сорочку с чистым воротником. Вынужденный в своей жизни часто и много защищаться, Эренбург выработал в себе такую черту характера, как ирония. Он беспощадно разил ею противника, хотя и говорил всегда тихим голосом.

Я тогда знал русский плохо, с трудом воспринимал русскую речь и до сих пор сожалею, что для меня пропало много интересного из рассказанного Эренбургом. Думаю, что он не был нетерпимым ни к писателям, ни к художникам, взглядов которых не разделял. Он защищал мировую культуру, особенно современную, в ее целостности.

Илья Эренбург всегда пропагандировал в Советском Союзе все прогрессивное. Он знал огромную силу русской художественной традиции, но опасался, как бы она не замкнулась в себе, и мечтал о новых импульсах, которые бы ее обогащали. В своих статьях он знакомил русского читателя с проблематикой нового искусства, а сам оставался романистом с меланхолическими глазами, стремившимся выразить противоречия между миром уходящим и миром рождающимся. Думаю, что он нас любил, хотя и не мог умолчать о слабых сторонах чешского характера.

Не знаю, кто знакомил Илью Эренбурга с Прагой, но для меня всегда было большой радостью показывать зарубежным друзьям нашу столицу, которую я так хорошо знал и любил. Местом, куда мои шаги всегда направлялись сами собой, были улочки пражского гетто, старо-новая синагога, где, как писал Гийом Аполлинер, пятятся назад стрелки часов в еврейском квартале.

Да, когда кто-нибудь приезжал к нам из-за рубежа, Прага заново открывалась моим глазам, потому что в повседневности красота ее была словно бы скрыта от нас. Она представала тогда в своем величии, будя в нас чувства, которые мы сами еще не могли определить. Староместская площадь, Влтава, агаты храма святого Витта, кабачок «У викарки» в Градчанах, причудливо перемежавшиеся с улицами новой Праги, создавали у иных поэтов настроение, рождавшее стихи, не похожие ни на какие другие.

И не случайно именно в ту пору, когда мне удалось, если можно так сказать, найти новый эстетический ключ, совсем иной, чем в пору «Пантомимы», «Маленького розового сада» или «Эдисона», я начал в своей поэзии по-новому открывать Прагу. Таков мой «Старьевщик» — свидетель того, что Прага, та, по которой я бродил, которую показывал иностранным поэтам, стала для меня на вечные времена лампой Аладдина. Я вовсе не собираюсь в этих набросках давать комментарий к своим стихам. Речь идет скорее о том, как раскрыть перед читателем диалектический процесс, в котором меняются местами воображение поэта, его биография и творчество, рождая новое лирическое произведение, всегда в конце концов самобытное.

Не могу не употребить этого слова: я стал профессионалом. Литература стала моим уделом, и не только в силу внутренней необходимости, которая меня к ней снова и снова толкала, но и как гражданское призвание. Разве может человек вдруг бросить свое оружие, даже если он устал? Быть профессионалом означало — хоть и иным образом, чем рабочий, но так же, как он,— ежедневно отправляться на работу. На работу тяжелую, которая может превратить твою жизнь в фейерверк и на которой ты можешь сломать себе шею, не справившись с ней. Но и сегодня, если б мне пришлось снова выбирать, я не выбрал бы себе никакой другой профессии, хотя знаю, что избранная мною не даст мне благодушествовать в мягком кресле уютного кабинета.

Сколько истинных художников расплачивались в прошлом да и сейчас еще расплачиваются загубленным здоровьем за то беспредельное напряжение, без которого не родится ни одно значительное творение искусства. Микеланджело хорошо знал, почему он добивался независимости от римского папы, от его милостей. В его стремлении к независимости не было ни капли высокомерия, это был голос совести честного рабочего, уверенного, что дело его рук должно быть защищено от дилетантизма, даже опирающегося на культ власти. Биографии художников яснее ясного показали нам, что художник никогда не пользуется, или пользуется крайне редко, материальными плодами своего труда и таланта. Поэтому то, что в Советском Союзе стремятся создать деятелям искусства наилучшие материальные условия для творчества — весьма благородно. Кто этого не понимает, тот не понимает самой сущности советского строя. Итак, с тех пор, как я стал профессионалом, передо мной возникли трудные задачи: я приступил к работе над своим вторым романом и к переводу сочинений Артюра Рембо. Тогда же со всей серьезностью принялся писать биографию Рембо художник Йозеф Штырский.

■

Деятельность наших молодых архитекторов, которые устраивали лекции и приглашали в Прагу архитекторов новейшей ориентации из европейских центров, обеднялась тем практицизмом, с которым они подходили к оценке художественной стороны

произведений архитектуры. Будучи последовательными проповедниками целесообразности, они всегда видели в стремлениях своих коллег элементы архитектурных излишеств. Когда же они с такими мерками подошли к творчеству гениального Ле Корбюзье, мне их позиция показалась просто смешной. Со свойственным ему тонким юмором Ле Корбюзье заявил, что в Праге он находит больше понимания у поэтов, чем у архитекторов, и, желая подчеркнуть шутливость своего заявления, попросил меня показать на его ладони линию, свидетельствовавшую о его художественном даровании.

Возможно, теперь мои приятели-архитекторы скажут, что жизнь подтвердила правоту и преимущества целесообразной архитектуры перед архитектурой Ле Корбюзье. Но если мы примем во внимание, что потребителем новой архитектуры был прежде всего богатый мещанин-буржуа с малокультурным вкусом, станет ясно, почему повсеместно практические достоинства взяли верх над красотой. К сожалению, была, да и существует поныне, простая человеческая потребность иметь жилище, которая и решила, каким должен быть внешний облик наших городов.

Чешские мещане смеялись над нами, утверждали, что мы преклоняемся перед иностранцами, и часто, мол, перед весьма сомнительными. Но ведь если молодежь отказывается присматриваться к ценностям, которые выходят за рамки заплесневелого традиционализма, она глупеет.

Наверно, смешно размышлять о великих принципах новой архитектуры и при этом жить в мансарде в Трое, где, бывало, трижды за неделю обрушивалась печка. Но серьезные мысли так прижились под маленькой лампой, что стремление найти себе лучшее жилище наталкивалось на постоянные колебания. И все же я попросил одного приятеля, жившего в районе Бржевнов, чтобы он подыскал мне там квартиру в одной из новостроек. В то время я работал с кинематографистами над сценариями фильмов и получал гонорар, позволивший мне приобрести мебель еще до того, как снять себе квартиру. Правда, эта совместная работа довольно часто меня огорчала, но так бывало до тех пор, пока я не встретился в среде кинематографистов с людьми такого культурного уровня, как Мак Фрич. Весьма забавный характер носила моя совместная работа с Густавом Махаты[1], который в любой день мог пожертвовать всем, что сделал вчера, ради какого-то внезапного озарения, но был способен столь же быстро возвратиться к отброшенным накануне концепциям.

В кафе, где встречались кинематографисты, была совершенно иная атмосфера, чем в кафе литературных. В «Славии», в «Национальном» царили свободные нравы и та непосредственность и наивность, которые свойственны искусству. Атмосфера же «Рококо», где собирались кинематографисты, была мне отвратительна: любой дурачок, которому удалось сняться в фильме и получить за это грошовый гонорар, изображал новоявленного Будду из шикарного ателье мод и гордо возносил свой профиль, на котором не более двух раз останавливалась кинокамера. Правда, бывали там и настоящие кинодеятели — Карел Ламач, Ондракова, оператор Отто Геллер, Пиштек, но они составляли меньшинство, и стол их скорее был лишь имитацией алтаря новой музы. Зато разные девицы, терпеливо поджидающие, когда тот или иной кинематографический скряга подмигнет какой-нибудь из них, в изобилии украшали своими обесцвеченными волосами это кафе. Не позавидуешь тем, кто по приглашению какого-нибудь киноспекулянта должен был встретиться здесь с ним, чтобы получить обещанный аванс. Приходилось два-три дня просиживать там, компрометируя себя, пока он попадется вам на глаза, потом еще несколько дней ждать, когда он наконец выполнит, хотя бы частично, свое обещание. Как бы вы ни написали ваш сценарий, попав в руки киношников, он претерпевал такие изменения и превращался в нечто настолько банальное, что не оставалось ничего другого, как просить продюсера перед премьерой фильма вырезать из перечня действительных и мнимых участников работы над ним ваше имя.

Иногда даже доходило до излишних трагедий. Однажды мы с Маком Фричем делали романтический фильм «Органист из храма святого Витта», который должен был воссоздать поэтическую атмосферу старой Праги. Выпустить его взялся директор кинофирмы «Братья Дегл» пан Странский. Этот молодой человек хотел с помощью нашего фильма войти в круг самостоятельных продюсеров. Все шло по плану, фильм, точнее его сценарий, был принят хорошо, и пан Странский дни и ночи проводил в разъездах, что было для него привычным делом. Я не имел случая получше узнать его характер, хотя и довольно часто общался с ним и Фричем. О нем у меня сложилось мнение: это молодой человек, которым владеет одна-единственная страсть — предпринимательство. Правда, время от времени он все же позволял себе заезжать в театр «Урания», где в балетной труппе у него была подружка. Ко всему еще пан Странский так ловко прикрывался защитной маской юмора, что в его обществе просто невозможно было говорить серьезно.

Однажды воскресным вечером, когда съемки фильма были в разгаре, мы — пан Странский, Фрич, пани Марвилла, жена Фрича, и я — отправились на короткую загородную прогулку в окрестности Праги. Фрич, пани Марвилла и я вышли в живописной местности, а пана Странского, который не скрывал от нас, что он не выспался, оставили в машине. Мы развлекались, читали на ладонях друг у друга линии и предсказывали будущее. Наше веселье расшевелило пана Странского, и он, присоединившись к

[1] Мак Фрич, Густав Махаты — чешские кинорежиссеры.

нам, попросил меня погадать ему. Я довел всех до гомерического хохота, когда по линиям на его ладони сделал вывод, что пан Странский будет пытаться покончить жизнь самоубийством. Он вскочил и стал клясться, что никогда не держал в руках оружия и всегда убегает из студии, когда идет съемка эпизода со стрельбой. Да, было совершенно неправдоподобно, чтобы такой заурядный человек, все помыслы которого сосредоточивались на коммерции, мог принадлежать к разряду самоубийц. И действительно, я имел случай убедиться, что, когда в съемочном павильоне шла репетиция сцены с револьвером, пан Странский в испуге выскочил оттуда. Я часто бывал на киностудии и встречался там с типами, которые не способны были вести нормальный человеческий разговор, да и в лицах их было мало человеческого,— всякие темные дельцы, ростовщики, авантюристы, мне среди них становилось жутко. Однако пан Странский чувствовал себя здесь в родной стихии и был в состоянии радоваться, когда этот международный сброд предсказывал его фильму успех.

Как же я был потрясен, когда несколько месяцев спустя узнал, что пана Странского нет в живых. Ему закрыли кредит, необходимый для завершения фильма. Узнав об этом, пан Странский отправился в магазин, где продавалось оружие, и купил револьвер, а затем пошел в Петржинский парк, сел на скамью и застрелился. Дня через три после его смерти кредит снова был открыт, да еще такой, что его за глаза хватило бы, а вот молодая человеческая жизнь была погублена — стала жертвой спекуляции. И по сей день, встречаясь с Маком Фричем и пани Марвиллой, мы вспоминаем пана Странского и не перестаем сожалеть о его судьбе.

Если бы чешская кинематография имела в своих рядах только таких людей, как Мак Фрич, вероятно, я со всей страстью отдавался бы работе в кинематографе. Я вижу украшенную лентой гитару Фрича, на которой он аккомпанировал своему басу, чувствую запах сирени из его сада, ветку, которую дарит мне милая пани Марвилла. Думаю, что Фрич ненавидел кафе «Рококо» так же, как и я, что и он, так же как я, считал его болотом. А мне бывало так хорошо, когда я усаживался в своей мансарде за кухонным столом, чтобы служить старым музам. Свобода, с которой я тогда творил свои литературные произведения, придавала каждой минуте моей жизни полноту. Это была сама жизнь, все же остальное — лишь более или менее терпимая повинность.

■

За те три года, что я жил в Трое, мне удалось узнать Прагу так, как никогда бы я не сумел этого сделать, живя в центре города. Да, красота города сама не дается человеку. Ее необходимо постоянно открывать при различных обстоятельствах жизни, при различных переживаниях. Знаю, что с той ночи, когда Иржи Волькер читал мне на Малостранской площади свои стихи «Гость на порог», площадь эта по сей день вызывает в моей памяти какой-то особый отзвук. Я рассказываю об этом, чтобы невольно вызвать и в вашем воображении подобное же ощущение. Ведь так происходит и с историей, и с человеческими жизнями — они уходят, но вдруг мы встречаемся с ними в самых разных городах, на разных улицах.

Когда у нас начали издавать роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», я стал страстным читателем этого произведения, выходившего отдельными выпусками. Пруст не изображал свои персонажи обычным, в конечном счете, абстрактным методом романистов, которым в сущности нечего сказать. В своих вымыслах он не утрачивал чувства меры, и они были поэтому легки и понятны. У Пруста каждый персонаж — это целый сад чувственных ощущений, и как только читатель их воспримет, они начинают воздействовать на его чувства. С той поры, как я впервые прочитал Пруста, тройские боярышники навсегда сохранили для меня немеркнущее очарование. И поныне, когда я вижу этот кустарник, в его розовом цветении проглядывает лицо играющей девочки Альбертины. А это и означает, что сильное впечатление от чтения может равняться непосредственному переживанию.

Моя жизнь в Трое вынуждала меня, по крайней мере дважды в день, либо подплывать к голешовицкой пристани, либо отправляться от нее на пароме. Я наблюдал переменчивую жизнь влтавских берегов — то подолгу погруженных в туманную мглу и слякоть, то временами чарующе прекрасных.

Из Праги в Трою я возвращался большей частью ночью или же еще позже — под утро, когда рассвет своими отрезвляющими красками мог довести до отчаяния. Путь от Национального проспекта до Голешовиц был в эти часы совершенно безлюден, и пешеход двигался механически в состоянии полусна, который редко когда нарушался каким-нибудь любопытным зрелищем. Пока я шествовал по центру города, всегда можно было еще встретить кого-нибудь из знакомых и зайти с ним в первую попавшуюся забегаловку, которых в ту пору в Праге было более чем достаточно. Наши совершенно нищенские материальные условия не позволяли нам портить свое здоровье больше, чем мы его портили.

Сейчас мне даже трудно понять, как можно столь легкомысленно жертвовать такой прекрасной вещью, как сон, ради спертого воздуха тесных баров, кафе и винных погребков. И все же нам постоянно надо было так много высказать друг другу, что не хватало ни дней, ни вечеров, чтобы наконец насытиться своими дискуссиями.

В ту пору нас чаще всего радушно привечал «Испанский винный погребок», где мы пили крепкие вина, пары которых неохотно покидали наши головы. В этих ночных заведениях дело нередко доходило до стычек между вчерашними друзьями, там же мы прихватывали взаймы небольшие суммы и с трудом их потом возвращали. Неподалеку от «Булгара» и отеля «Писек» нас приводили в ужас перезрелые жрицы Венеры; там нередко раздавались крики, на которые не реагировал ни один полицейский. В конце концов вам попадался уже последний знакомый, и не оставалось ничего другого, как довершать свой длинный путь к дому. Часы на Штроссмаеровой площади свидетельствовали, что уже более чем поздно. Наконец после долгого спотыкающегося ночного марша появлялась стена, за которой стояла будка голешовицкого перевозчика. Он неохотно просыпался и в полусне звякал цепью своего парома. Потом еще добрый кусок пути до ларька бабки, торговавшей молоком, булочками, фруктами. Эта бабка, принадлежавшая к числу лиц, которых я первыми встречал, возвращаясь в Трою ранним утром, долгое время принимала меня за кельнера из какого-то ночного заведения. Затем свои восемь часов я отсыпался — ведь здесь, вдали от Праги, мне не грозила опасность быть кем-то разбуженным.

Рембо писал в письме, которое обычно называют «Письмом зрячего», что зрячим человек становится лишь ценою систематического разрушения чувств. Образ жизни, который мы вели, и был таким невольным разрушением чувств. Установившиеся представления покидали свой насест и обретали удивительную свободу; с высоты их полета все виделось острее, виделось по-новому. И все же, когда я вспоминаю ту пору, зря проведенные без сна ночи сливаются в один мрачный туннель, в котором нет ничего интересного. Зато уединенные прогулки по Трое не исчезают из памяти. Природа, даже довольно скудная в тех местах, как бы очищала, озаряла все своим светом. Она приближала меня к самому себе, одинокому, в пору, когда сады учили меня узнавать смену времен года и переменчивость человеческих чувств.

В 1928 году, уж не помню по какому поводу, я решил, что не поеду на каникулы домой, а проведу лето в Праге. Жаркие летние дни, имевшие иной запах и иной вкус, чем дни весны или осени, не были лишены для меня своего очарования. Так как я намеревался все каникулы оставаться в Праге, необходимо было приняться за работу и сделать столько же, сколько я привык делать в деревенском уединении. Мы со Штырским отыскали в Смихове кафе за мостом Легионов и там под навесом работали — каждый над своим Рембо. Я — над переводами поэзии, Штырский — над биографией поэта. С удовольствием вспоминаю часы, проведенные за этой работой. Неподалеку были две букинистические лавки, время от времени они отвлекали нас от труда. Мы отправлялись туда в надежде найти какую-нибудь затерявшуюся книжку, которая доставит нам радость. Особенно Штырскому — он был большим ценителем редких книг и не жалел ни времени, ни денег, чтобы добывать их. Уже одно то, как он брал в руки книгу, свидетельствовало, что собирание их доставляет ему неописуемое блаженство.

Кроме своей работы над переводом Рембо я писал «Одержимость». Писал ее за столиками разных кафе, которые должны были заменить мне рабочий стол в родительском доме. Конечно, можно было бы работать и в Трое, а вечером ездить в Прагу. Но я не мог жить без своих пражских друзей, и если даже укрывался со своими рукописями в таком месте, где меня никто не мог увидеть, то должен был сознавать, что могу с ними в любое время встретиться. Такое отношение к друзьям было свойственно не одним лишь людям искусства, а всем людям общего мировоззрения — коммунистам. Принадлежность к коммунистическому движению сблизила нас и с людьми, которые не имели ничего общего с искусством. Великая солидарность, соединявшая наши мысли, а порой и судьбы, оказывала влияние и на наши личные чувства. Мы любили друг друга и всегда готовы были оказать помощь, какую должен оказывать человек человеку, если в том была необходимость. Пожалуй, кое-кто из читающих эти строки, где я и не пытаюсь скрывать даже то, что может показаться неприятным или неловким, иронически улыбнется, представляя себе «коммунистов», которые превращают ночи в дни. Конечно, время, словно призма, по-разному преломляет лучи и собирает их каждый раз по-иному. Но наши убеждения были непреложны, а наша совесть — чистой.

Другой воздух — весенний, полный ярких вспышек — струился над моей головой, когда я сотрудничал с авангардными театрами. Уже тогда возникал антагонизм между отдельными авангардистскими группами, вышедшими из одного гнезда. Фрейка, Э. Ф. Буриан и Гонзл — эта троица держалась особняком, но и между ними случались размолвки. Все три режиссера были моими друзьями, и их разногласия, даже если я в конце концов принимал участие в спорах, меня огорчали. Но без противоречий не было бы развития, и мы их не пугались. Я рад был бы оживить в памяти те дни, когда работал с группой «Освобожденный театр», которой руководил Индржих Гонзл и которая играла «Маленькое ревю» в зале «Умелецке беседы».

Обычно я выбирался в Прагу из своего тройского жилища только к вечеру. В тот день, который сохранился в моей памяти и краски которого я вижу и сейчас, я сделал исключение. Была холодная и сырая ранняя весна, вторая половина апреля 1927 года. Надвигались сумерки, когда я вышел из дому и задами вдоль живых изгородей, окружавших тройские сады, направился в Прагу, в театр. На представление нашего «Малень-

кого ревю», которое состояло из разных литературных номеров, преимущественно поэтических и инсценированных в авангардистском духе, должен был прийти Владимир Маяковский.

■

Играл в «Маленьком ревю» я несколько ролей, в том числе и Чужеземца в первом бодлеровском «Маленьком стихотворении в прозе», названном «Облака». Выходил на сцену в цилиндре и в ямщицком кафтане. Мещанскую публику это шокировало, а молодежь награждала нас аплодисментами. Дух противомещанских провокаций был первой ступенью нашего революционного сознания, которому мы тогда еще не сумели придать объективный характер из-за недостатка подлинно революционных сюжетов.

Во втором или третьем антракте «Маленького ревю» мы, «актеры», и наши зрители пришли в изумление: словно гигантский пилон, проткнувший крышу и опустившийся с потолка, появился на нашей сцене коротко остриженный великан — Владимир Маяковский и принялся читать свои стихи. Мы, «костюмированные», глазели на него из-за кулис, а театральный зал сотрясался от его голоса, голоса революции. Могучий бас Маяковского словно бы приколачивал слушателей к стульям ритмичным ударением стиха «Левого марша». Его выступление, потрясшее всех, было, так сказать, сверх программы, и наш молодой зритель, заставлявший поеживаться напуганных и оскорбленных мещан, награждал поэта бурными, несмолкающими аплодисментами. Мы, исполнители, охотнее всего сорвали бы с себя маскарадное тряпье и последовали за Маяковским, который исчез из театра так же загадочно, как и появился там, но едва успели оглушить его аплодисментами и пожать ему руку.

И хотя мы, по крайней мере некоторые из нас, ждали Маяковского — о его приезде нам сообщили, и, возможно, в зале была рабочая публика, которую поспешно собрали, чтобы она послушала стихи советского поэта, это не уменьшило нашего чувства изумления, вызванного неожиданностью его прихода и ухода. Не было произнесено ни одной полагающейся в таком случае фразы приветствия и прощания. Сам я нисколько не сомневался в том, что еще встречусь с Маяковским, однако впечатление от его выступления было слишком сильным и мне трудно было представить себе, что этот холодный, потрясший даже стены зала метеор сел бы вместе с нами за один из знакомых нам столов, вошел в нашу среду.

Все-таки вскоре, кажется уже на следующий вечер, Владимира Маяковского привели в кафе «Опера» на собрание «Деветсила». К сожалению, должен признаться, что мы тогда еще плохо знали русский язык и это очень осложнило наше с Маяковским взаимопонимание. И тем не менее весь облик Маяковского был так выразителен, что едва ли кто мог ошибиться в понимании того, что говорил поэт. Говорил он, впрочем, мало. Протянул нам всем на прощание руку, мощное пожатие которой никто из нас не забудет.

Друзья показывали Маяковскому наши журналы, публикации, книги, их типографское оформление не оставляло сомнения в том, кто мы и чего хотим. Маяковский, который тоже прошел через фазу литературных экспериментов, уже оставшихся далеко позади, уверенно ориентировался в таких публикациях и книгах, хотя и не знал чешского языка. Все это было ему знакомо, пережито им и осталось позади, но он не дал нам этого понять. Он не стал говорить любезных слов, очевидно, чуждых ему всегда и всюду, и просмотрел без каких-либо замечаний страницы, излишне подробно комментировавшиеся Карелом Тейге. Думаю, что Владимир Маяковский знал о нас гораздо больше, чем знали о нем мы, хотя несколько его стихотворений были уже давно переведены на чешский язык. Он был знаком нам скорее по поверхностным статьям о нем, чем по его произведениям. Знали мы, что кроме стихов он пишет для театра, кино, работает над плакатом, рисует, что он выступал на сцене и в кинематографе, известность, предшествовавшая его приезду, не оставляла ни у кого из нас сомнения в том, кто он — этот поэт, что сидит с нами за столом, покуривая папиросу, поэт, который хоть и за семью печатями для нас, все же был понятен нам каждым своим выразительным жестом. Впрочем, до того времени, пока Иржи Тауфер не опубликовал свои переводы знаменитых поэм и стихов Маяковского, наши читатели знали Маяковского ничуть не больше, чем знали его тогда мы, встретившись с ним в кафе «Опера». Его поэма «150 000 000», переведенная на чешский, и небольшие лирические стихи давали далеко не полное представление о гиганте поэзии, который сидел с нами, гении, написавшем «Облако в штанах», «Флейту-позвоночник», «Войну и мир», «Человека», «Про это», поэму «В. И. Ленин». Исходя из образности, на холмики которой мы тогда только взбирались, мы не могли себе даже представить, какие вершины воображения, насыщенного революционным сознанием, были доступны нашему советскому гостю. Не могли и предположить, как ранимы чувства этого двухметрового великана, скрываемые под холодной маской и ревниво оберегаемые им. Мы, боровшиеся тогда за новые поэтические образы, способные отражать действительность в ее естественной эмоциональной красоте, имели лишь весьма туманное представление о борьбе, которую вел гениальный Маяковский.

Сегодня, когда я знаю, благодаря переводам Иржи Тауфера, все творчество Маяковского, мне понятны его тогдашнее молчание, которое объяснялось скорее

застенчивостью, чем гордостью, его холодность, которая была выражением неизменного самообладания, теперь я хорошо понимаю суровую лаконичность его речи, что было проявлением достоинства советского человека, рожденного революцией и постоянно ведущего бой с реакционными силами капитализма всего мира.

Когда Карел Тейге повел нас в бар, чтобы показать Маяковскому модный тогда чарльстон. Маяковский буркнул пренебрежительно, что он уже видел этот танец в Гарлеме, где его начали танцевать впервые. Он сказал это не потому, что пренебрегал старательно выделывающими па профессиональными парами, а из презрения к раболепию европейцев, жадно набрасывающихся на подозрительные приманки империалистической Америки, которой и по сей день глядят в рот многие глупцы. Теперь я куда лучше понимаю многое в поведении революционного поэта первой в мире социалистической страны.

■

Вскоре я перебрался из Трои в Стржешовицы — так окончился еще один трехлетний этап моей жизни. Перед моими глазами возникает убогая кляча, которая везет то малое, что составляло обстановку моего тройского жилища. Одновременно в мою стржешовицкую квартиру, находившуюся на третьем этаже нового дома, подвозили по частям мебель. Я приобрел ее заблаговременно, и она хранилась до этого дня на складе фирмы. Теперь я зажил по-человечески — в двух просторных комнатах! А ослепительно-белая мебель кухни придавала моему духу и мыслям больше ясности. Недаром же я пообещал себе, что распрощаюсь с осточертевшим мне ресторанным образом жизни и буду работать за коричневым письменным столом, стоящим у окна, из которого открывается прекрасный вид на огромный монастырский сад.

Я настолько был исполнен жизненной отваги и огромного желания работать, что мне казалось пустячным делом одним махом составить план цикла романов, первым томом которого должен быть роман «Dolce far niente». Но едва только слухи об этом моем замысле дошли до публики, на меня накинулись завистники и бесстыдно принялись поносить за то, что я, мол, задумал фабриковать романы.

Итак, я поселился в своей стржешовицкой квартире, куда уже заползали туманы поздней осени. Впервые в жизни у меня был свой письменный стол, и я его поставил так, чтобы, сидя за ним, мог видеть стржешовицкий монастырский сад. Своим почтенным возрастом сад этот представлял как бы противовес новостройкам, к которым принадлежал и дом, куда я перебрался. Но мне не нравилась атмосфера новостроек. Не только потому, что вокруг новых домов все было перекопано и что своей однообразной окраской они противоречат всему, что свойственно человеку, всему, что имеет свою историю и свою память, но также и потому, что новостройки не напоминают ничего, что мне нравится. Новостройки облачены в униформу, а поэзия — ее противоположность.

В 1928 году было уже слишком очевидно, что поэзия — моя судьба и что без нее я умер бы с тоски. Монастырский сад, хотя я и не любил унылой черной одежды монахинь, протягивал мне свою руку, помогал увидеть за его деревьями кроны черешен в саду родного дома. Но несмотря на то, что обстановка моего жилища успокаивала меня своим простым стилем, я еще долго ощущал, что моей комнате чего-то недостает, недостает того, что в жизни необходимо, как вода и воздух, как родина. Прочитав однажды у Пруста в «Поисках утраченного времени» про сонату Вентейля [1], вагнеровский принцип которой был несомненен, я понял, какую мучительную для меня пустоту представляет угол и часть большого окна: там недоставало предмета, без которого мое жилище вызывало у меня отчаяние, потому что этот предмет был связан с моим детством, с жизнью в родном доме. Это был рояль.

Без долгих размышлений, словно бы подгоняемый навязчивым неврозом, я отправился в магазин музыкальных инструментов, чтобы приобрести в кредит рояль. В магазине продавали в кредит только пианино, но на складе у них были два подержанных рояля. Один из них отталкивал своим внешним видом, второй же был отличным. Черный, на первый взгляд мало бывший в употреблении «Форстер» с бархатистым звуком вызвал у меня такое неизбывное желание поставить его у окна своей комнаты, что я примирился с довольно обременительными обязательствами. Когда в «Национальном кафе» узнали, что у меня есть рояль, я стал предметом зависти и сплетен. К счастью, я вообще равнодушен к тем, кто распространяет обо мне сплетни, и по сей день не пытаюсь их опровергать.

Рояль, ради которого я добровольно приносил жертвы, вернул мне ощущение родного дома, того, что моя жизнь имеет преемственную связь с детством и юностью, и это ощущение в огромной степени помогло мне вырваться из заколдованного круга кафе и баров. Уже не надо было лихорадочно спешить туда, где день за днем мы пережевывали за столиками одно и то же. Моя душа встала, так сказать, на собственные ноги. Благодаря этому ощущению я попытался написать об одном воображаемом дне своего детства, который состоял из переживаний определенных и конкретных. Писал я «Dolce far niente», и несмотря на то, что порой запутывался в длинных фразах, душа моя сбрасывала с себя путы. Устав от работы, я садился за рояль и играл.

---

[1] Вентейль — вымышленное имя композитора в романе Пруста.

А время от времени даже сочинял небольшие лирические вещички. В кафе я теперь ходил редко и в значительной мере порастерял своих старых приятелей.

Из друзей регулярно навещал меня в новом жилище только Владислав Ванчура, иной раз с художницей Туаен. Ванчура всегда приносил с собой вино и соленые палочки. Он не давал мне даже заикнуться о том, что заботиться о гостях — обязанность хозяина, и всегда при этом смеялся. Иногда он приносил отрывки из своих новых произведений и всегда хотел, чтобы я ему читал то, что написал в последнее время... Дни, когда меня навещал Ванчура, были для меня праздником. Но самыми счастливыми бывали они, когда он приходил один, потому что я в те дни разуверился во всех других приятелях — верил ему одному и его одного любил. А существуют вещи, которые способна видеть и слышать только любовь. Когда мы бывали с ним одни, Владислав рассказывал мне о своем отце, которого боготворил, о своем детстве и юности, о поре своего довольно долгого безуспешного учения. Судя по тому, что он рассказывал, он сам пережил годы беспорядочной богемной жизни, и это могло показаться просто невероятным каждому, кто не сумел проникнуть за частокол его сдержанных манер, столь же корректных, как и его одежда.

Так мое стржешовицкое жилище одаривало меня время от времени радостями, которые прежде я искал только среди приятелей в пражских кафе.

■

Прототипом человека, который, как казалось, вступил в сговор с античными богами и стал их посланцем в поздние ночные часы в пражских ресторанах и барах, был художник Ян Славичек. Знакомство с ним значило для меня очень много. Он появился у нас в кафе неожиданно, и между нами сразу же установились необыкновенно близкие отношения. Большой поклонник античности, Ян Славичек полюбил меня за одно то, что я неплохо декламировал по-гречески отрывки из «Илиады» и «Одиссеи». Эти стихи, написанные гекзаметром или пентаметром, услаждали и воспламеняли душу Славичека так, что никакое количество вина не могло погасить разгоревшийся в ней пожар. В присутствии Славичека мои стихи били ключом, и я был в состоянии без устали импровизировать. Как грустно, что его великий отец ушел из жизни, едва достигнув сорока лет. Это так трагично! Славичек был всегда беспредельно увлечен поэзией и остался таким по сей день. Ему никогда не была свойственна мелочность. И злобствований он не терпел.

Когда нас знакомили, он попросил вписать в свой экземпляр книги моих стихов стихотворение, которое привело его в экстаз:

Вы бы нарисовать не смогли бы
на моей тарелочке рыбы,
чтоб не должен, художник,
был есть я
только отруби, только листья.

Нарисуйте на небе тени,
женщину на моем колене,
нарисуйте на небе бога,
чтоб рыбак поглумился немного.

Разрисуйте чертями обои,
чтоб они меня взяли с собою,
нарисуйте, художник, без страху
на моей тарелочке плаху [1].

Некоторые стихи, написанные в присутствии Яна Славичека, я опубликовал в разных книгах, а иные так и остались записанными только в его тетрадях и блокнотах.

С той поры, как Ян Славичек перебрался с Летны в Градчаны, дни и часы, проведенные в его сказочном ателье, на долгие годы стали для меня источником большой радости, помогли мне понять, какими глазами видел он Прагу, создавая свои пражские пейзажи. В части ателье, примыкающей ко двору, Славичек устроил кладовую для красок, полотен и вина. И если хотел насолить кому-нибудь из своих гостей, он запирал его в этой кладовке и держал до тех пор, пока не кончался приступ его диковатого юмора. Художникам нравилось заглядывать в это помещение — они никогда не выходили оттуда с пустыми руками, им всегда удавалось поживиться там красками Славичека. Он любил запасаться самыми лучшими заграничными красками и не мог им нарадоваться, но при очередных пароксизмах щедрости в состоянии был раздавать их налево и направо.

Ну кто усомнится, что люди искусства рождаются чудаками? И кто усомнится в том, что дети художников имеют привилегию быть чудаками? Им так хорошо в детстве, когда они живут со своими отцами, которые им во всем потакают. Однако позже они чаще других переживают духовный кризис, отвергая всякий иной стиль, кроме того, к которому привыкли.

Ян Славичек не умел идти на компромиссы с людьми. Тем более — с живописью. Его непосредственное чувственное восприятие линий и красок не позволяло ему отступать от античного идеала, который его приворожил, даже если этот античный идеал передавался только красками и светом.

[1] Перевод Бориса Слуцкого.

Работая у себя дома, я глядел через монастырский сад и поле в сторону Бржевнова. Мои мысли окрашивались цветом листвы деревьев и окрестных полей, менявшимся в зависимости от времен года. Я любил ходить в Бржевнов и бродить там среди лучей, отраженных витринами, столь же привлекательными, как в маленьких городках. Мне нравились эти одинокие прогулки, потому что они вызывали, несмотря на непосредственное соседство с Прагой, впечатления, так хорошо знакомые мне с детских лет. То тут, то там на бугре мне виделся одинокий домик, в котором глухой ветреной ночью мог бы найти приют Ворон Эдгара По с его многократным «никогда». Или же в утренние часы в каком-нибудь совершенно антикварном домике могла бы разыграться история в духе гофмановских новелл. Так я постепенно установил свою духовную власть над всеми окрестностями и придавал им тот вид, в каком они могли вступить потом в мою поэзию.

■

Вспоминаю одни свои каникулы, проведенные дома, в далешицкой школе. Было решено, что я поеду в Париж, где как раз, кажется, была в то время выставка. Все устроилось легко: раздобыли денег на дорогу, заграничный паспорт, выполнили все формальности — тогда, правда, минимальные. Матушка на скорую руку приготовила обед, чтобы я успел на дневной автобус, новый костюм был отутюжен, оставалось только надеть его. И вот я стоял одетым в коридоре, и мой чемодан вызывал любопытство собаки. Потом зашел на кухню, чтобы поесть на дорогу. Прощание было очень кратким, я уже шел вдоль школьного сада, где незадолго перед этим написал стихи «Завтрак на траве». Внезапно — не знаю, что на меня нашло, это было подобно молнии,— но я вернулся домой. Члены моей семьи смотрели на меня почти как на сумасшедшего, а я не мог объяснить им, почему, собственно, вернулся. Через минуту праздничный костюм уже висел в шкафу, а я в каком-то отрепье уставился из окна на видневшийся вдали городок, над которым к небу поднималась пыль. Гоготали гуси, время от времени громыхали пароконные упряжки. Казалось, весь этот край вдруг вернулся ко мне, упал в мои объятия. Что же с ним теперь делать? Что же ты будешь с ним делать?

Я нарезал побольше четвертушек бумаги, и стало ясно, что вопрос решен. Буду писать... Может, не сегодня, может быть, не завтра, но буду писать — вот единственное, что мне остается. Абсурдная ситуация разрешилась сама собой. Я увидел вдруг из окна, как подкатил бабушкин экипаж и из него вместе с бабушкой вышла тетя Анежка. Программа на этот день была задана, а назавтра я отправился на прогулку к лесочку охотиться за поэзией. Я знал, что иду на охоту за стихами, самыми что ни на есть безрассудными, и не промахнулся — так возникли причудливые песенки из моего «Стеклянного плаща», а затем постепенно и вся книга. Только когда я ее дописал, мне стало ясно, почему вернулся я с самого начала пути, который должен был привести меня в Париж. Правда, я его все же проделал, только гораздо позже.

Хотя юношей при чтении романов я и перекрашивал города на свой вкус, мне было особенно радостно, если авторам удавалось передать их подлинную атмосферу. Потом словно одержимый я не раз отправлялся в эти города, чтобы самому ощутить ее. Вот таким окольным путем до меня доходил и меня волновал поэтический реализм великих романистов. Некоторые из них умели воссоздавать жизнь людей, историю и пейзажи с большой силой, обходясь при этом без описаний. Многие авторы, злоупотребляя описаниями, заранее обрекали свои произведения на неуспех. Я страстно мечтал о путешествиях — главным образом потому, что хотел пережить все то, что переживали любимые герои моих любимых авторов. Если б самые яркие литературные произведения не обладали способностью до такой степени очаровывать читателей, поэзия со временем исчезла бы.

■

Было слишком очевидно, что пьеса «Страх» не будет моей последней попыткой создать произведение для сцены. Дело было в том, при каких обстоятельствах и какими путями я проникну на театральные подмостки. В детские годы для меня не было игры более увлекательной, чем игра в театр. Мне не важно было, есть ли у меня пьеса, чтобы распределить роли и разыгрывать их в одном из углов комнаты или кухни. Два связанных одеяла служили театральным занавесом, а за ним всегда находились интереснейшие объекты, которые создавали подходящий интерьер. Помню одну пьесу, которая была напечатана в журнале «Детский май» и называлась «Гуситы под Наумбургом». Мамина шляпа заменяла военный головной убор Ее юбки превращались в воинское облачение. Но ни мне, ни моим маленьким друзьям недоставало терпения заучивать наизусть длинные роли. Вскоре я и сам стал драматургом — импровизировал тексты и заставлял импровизировать своих партнеров. Главной героиней этих представлений была Гедвига Северинова с ее братьями и сестрами. Гедвига была моей признанной любовью, и, хотя я пылко мечтал получить от нее знак более глубокого ко мне расположения, она никогда не отказывалась от занятой по отношению ко мне оборонительной позиции. Так она и осталась для меня предметом мечтаний и никогда не была ничем иным.

С Анежкой Прушковой я разыгрывал кукольные представления в стойле их новой бетонной конюшни. Иногда мы вместе играли в мальчишеские игры, но никогда я не отваживался на какие-либо проявления чувств. У нее были книжки с разными сказочными пьесами, и я до сих пор помню монолог Злой Феи из пьесы «Спящая красавица»: «Я проклинаю твое дитя! В восемнадцать лет, уколовшись о веретено, она заснет навеки, и тишина воцарится во всех твоих владениях...»

В человеке еще с детства зажжено множество свечек, и все они могли бы разгореться ярким пламенем. Но существует и множество обстоятельств, которые решают, гореть ли свечке или преждевременно погаснуть.

Однажды весенним днем меня пригласил в кафе «Опера» заведующий литературной частью Национального театра Франтишек Гетц. Я знал его не только по брненской «Литературной группе», но также по дискуссиям об искусстве, ведущимся разными группами, где он играл роль центра. Гетц вручил мне пьесу Кальдерона «Прятки на лестнице» и порекомендовал, вдохновившись ею, создать современный ее вариант. Вначале я даже растерялся, потому что моим драматическим идеалом той поры мог быть скорее какой-нибудь сюрреалистический мотив в прозе. К классицизму у меня не лежала душа, я никогда не пытался что-либо делать в этом стиле. Кальдерон, которого я держал в руках, писал традиционным стихом, не дававшим нужного простора, и я боялся, что мне вряд ли удастся одолеть скуку при чтении пьесы — ведь надо было хоть познакомиться с ее содержанием. Не хотелось и огорчать Гетца — меня просто сразила та горячность, с которой он говорил о поэтических возможностях, связанных с адаптацией пьесы Кальдерона.

Какое-то время я даже не притрагивался к пьесе, которую унес домой со смешанным чувством. Но фантазия начала работать еще до того, как я усвоил ее содержание. Моя фантазия исходила из черно-белых образов барочной Испании, меня обступили волшебные названия испанских городов. Из темных пещер моих чувств выплыл город Гренада — и все начало изменяться. Прежде всего изменился ритм. Словно порывом шквального ветра смело легкую зыбь гибкого кальдероновского стиха и пригнало мощные волны александрина. Моя душа куда ближе лирическим драмам Шекспира, чем испанским комедиям положений.

Засев наконец на каникулах в Далешицах основательно за работу над «Прятками», я был уже окончательно ею увлечен и вдохновлен. Я переменил у Кальдерона все, конечно, характеры персонажей тоже, и вложил в них то, что свойственно миру чувств человека двадцатого века: придал им сложность самых разных оттенков. Когда после пражской премьеры Индржих Водак[1] принялся перечислять, чего только я не натворил с обеими испанскими сеньорами, мне его критика не только не была неприятна, но, напротив, вызвала чувство благодарности. В то время для меня не могло быть ничего более чуждого, чем придерживаться исторической атмосферы. Работая над пьесой, я ощущал, что в конце концов пишу произведение современное, и это ощущение придавало мне уверенность в тех эпизодах, в которых я стремился достойно справиться с кальдероновскими ситуациями.

И разве могло быть более счастливое совпадение, чем то, что произошло в нашем далешовицком школьном саду: едва я успел поставить точку в последней фразе последнего действия «Пряток», как меня окликнула со школьного крыльца мама и велела поторапливаться, потому что приехал мой дорогой Владислав Ванчура. Это было такой радостью для меня, которую трудно передать. Ведь он явился прямо «на премьеру»! И она состоялась вечером в комнатке, где мы должны были провести вместе ночь.

Это была необыкновенная премьера. В комнате пахло малиной, флакон с одеколоном отбрасывал на стены причудливые блики, и еще долго после того, как весь дом погрузился в сон, я декламировал звучные александрины. Тот, кто знает, с какой любовью единственный зритель моей премьеры обогащал наш родной язык, как он умел извлекать из архаизмов все, что может его украсить, поймет, что первый критик «Пряток» сделал этот вечер незабываемым. А потом долго, до глубокой ночи, Ванчура все рассказывал и рассказывал... Часы давно уже отбили положенное для отдыха время, и сон вынужден был нас выкрасть, как пират.

Кто же станет отрицать, что дружба — это тени, без которых человеку нет выхода из своего «я»! Дружба помогает человеку в его попытках сделать каждый новый прыжок, каждое новое сальто. Бывают дни, когда моя тоска по Владиславу Ванчуре не поддается описанию. Недавно я встретил в зоологическом саду двух его внуков, один из них невероятно похож на него. У него зубы Владислава и то же непередаваемое очарование улыбки. Я так был рад встрече с этим ребенком! Верю, что когда-нибудь он каким-то образом заполнит пустоту, которая образовалась после гибели этого большого поэта и прекрасного человека.

Не помню, как принял мои «Прятки» Франтишек Гетц. Думаю, однако, что доброжелательно, театр не потребовал от меня никаких доделок или поправок. В конце концов, Франтишек Гетц был критиком нашего поколения и любил поэзию, даже ту, которая не во всем и не всегда отвечала его представлениям. Мои «Прятки на лестнице» в Национальном театре попали в руки Иржи Фрейки, лучшего и быть не могло.

---

[1] Индржих Водак — известный чешский театральный критик того времени.

Для него, так же как и для меня, главным в пьесе была не сюжетная сторона. Я не возражал, чтобы лестница уходила в публику, как этого хотелось режиссеру, а Иржи Фрейка доставил мне радость: когда речь зашла о том, что надо поручить кому-то написать к спектаклю музыку, он сразу же доверил это мне. Так я получил возможность попробовать свои силы в области, с детских лет чрезвычайно близкой моей душе.

Я хотел бы опровергнуть бытующий иногда неправильный взгляд на то, что называется творческим процессом. Некоторые полагают, что художественное произведение пишется само собой, другие считают, что оно — просто конгломерат каких-то маловажных наблюдений. И те, и другие не правы. Лепить произведение кусок за куском и не позволять своей мысли раскрываться в соответствии с логикой и силой ее естественного течения — это метод, достойный сожаления, с его помощью еще никогда не было создано ничего значительного. Человек постоянно носит в себе свое собственное целостное сознание, и если творит — берет из него в сконцентрированном виде все, что необходимо его наблюдательному взгляду. Но нет более ошибочного мнения, чем то, что произведение родится само собой. Каждая находка художника — результат упорного и настойчивого, всегда изнуряющего труда, без которого творить невозможно. Как ни рационализируй методы труда, а все же упорный труд — это единственный путь к успеху. Художника тоже одолевает усталость, и чем изящнее, воздушнее его произведение, тем больше труда стоило оно ему. Пусть даже иногда искусство представляется забавой — особенно когда создается совершенное творение и когда художник уверенно владеет своим мастерством. Да, все это надо сказать, чтобы люди не принимали результаты такого каторжного труда за случайную удачу автора. Удача лишь в том, что художнику удается довести свой труд до конца и не растратить силы попусту, а от этого общество должно было бы художников оберегать.

Побудительный импульс к написанию «Влюбленных из киоска» исходил тоже от Франтишека Гетца. Его, естественно, интересовала проблематика, которая могла быть мне близкой или же чуждой. Но мне, должен признаться, чуждой была тогда любая проблематика. Как человек, наделенный драматическим чутьем, я искал в каждой эпохе определенный стиль, который помог бы мне известным образом обыграть действительность. Мне, стало быть, не так важна была тема, как способ переложения ее на свойственный мне одному язык. Чтобы избавить пьесу от бескрылого жизнеподобия, я искал новые выразительные средства: рефрен, прозу, свободный стих, песенный стих в их непрерывном чередовании. Не должно быть ничего, что напоминало бы классическую форму, которую я использовал в «Прятках на лестнице». И все же в пьесе было что-то общее с античной драмой: открытость в передаче мыслей, в их прокламировании.

Со временем, развивая свой замысел, я нашел персонаж, который мне очень полюбился: дядюшку Сократа. Этот персонаж не был, разумеется, фигурой умозрительной. Моделью его послужил матушкин родственник, которому нравилось подсмеиваться над своими почтенными родичами. Когда ему приходилось туго, он отправлялся пешком в Брно, где всегда находил временное пристанище в лечебнице для душевнобольных. Так он избегал опасности оказаться на улице и попасться на каком-нибудь сумасбродстве, в то же время не обременяя кармана родственников своими долгами. Ему достаточно было того, что в одной деревне он стащит курицу, а в другой ее выпустит, при этом он устремлял взгляд своих глубоких искренних глаз на чужих людей и со слезами жаловался на свою печальную участь.

В лечебнице для душевнобольных его уже хорошо знали, принимали всегда на то время, пока к нему снова не возвращался рассудок, не мешали устраивать представления и всячески развлекать остальных обитателей лечебницы. Я его очень любил. Время от времени он ранним утром заходил к нам в школу, и я не сводил глаз с его губ, когда он принимался что-нибудь рассказывать. Не раз у меня возникало искреннее желание присоединиться к нему и бродить под лазурью неба по нашему сельскому краю.

После того как я договорился с Франтишеком Гетцем об основном содержании пьесы, передо мной распахнулись ворота неограниченной творческой свободы и не было уже причин бояться, что литературная часть театра будет настаивать на серьезных переделках. На этот раз, однако, у меня с театром была связана неожиданная история. Возглавлявший драматическую труппу доктор Карел Хуго Гилар, который недавно перенес тяжелый инсульт, решил «работать с авторами», о чем дал сообщение в газеты и пригласил меня приезжать к нему на виллу в Смихов, где и будет происходить эта «работа». Гилар прежде всего заявил, что я должен буду регулярно информировать его о положении дел с пьесой, потому что, как он мне признался, память у него работает очень скверно и ее надо постоянно освежать. Я следил за режиссерской деятельностью Гилара еще в ту пору, когда он был в театре «На Виноградах» и поставил там такие великолепные спектакли, как «Зори» Верхарна, «Пан» Лерберга, «Хлеб» Геона. Эти спектакли не имели в нашем театральном мире себе равных, и неудивительно, что постоянным напряжением замечательный экспериментатор довел себя до тяжкой болезни. В ту пору, когда Фрейка готовил «Любовников из киоска», с Гиларом дело обстояло совсем худо. Хотя он отдавал себе отчет в

своем состоянии, он не примирился с ним, и несоответствие между его планами и возможностями порой приводило к весьма гротескным ситуациям.

Прежде всего он захотел, чтобы я рассказал ему содержание первого акта. Слушал он меня, как говорится, вполслуха и первыми же фразами сильно рассмешил, посоветовав перенести бильярд, который должен был стоять в зрительном зале, во двор, так как это, мол, будет гораздо более по-незваловски. Мы долго смеялись и потеряли уйму времени. В другой раз он захотел, чтобы я «продал» ему дядюшку Сократа. Потом выразил желание писать роман, потому что и пан драматург пишет романы.

Встречи с Гиларом меня забавляли, хотя проку от них было мало. Однако из-за этих встреч постановка «Любовников из киоска» ощутимо задерживалась. Иногда Гилар упрекал себя за то, что поручил Фрейке постановку моей комедии, а не взялся за нее сам, тем более что пьеса может иметь успех.

Итак, мы прогуливались по его садику и большей частью смеялись. В молодости Гилар редактировал книжную серию «Современная библиотека», которую я хорошо знал и любил. Он гордился своим прошлым, но постепенно погружался в пучину болезни.

У Гилара был ангел-хранитель — его жена, пани Зденка Бальдова. Она тихо, незаметно ухаживала за ним и отвращала от него все неприятности, насколько это было в ее силах. Думаю, она лучше всех знала о тяжелом состоянии здоровья Гилара, но своею добротой и оптимизмом продлевала ему жизнь. Как же я был огорчен, когда несколько лет спустя узнал, что в том самом садике, где мы предавались дадаистскому юмору над сценами «Любовников из киоска», Гилара нашли однажды погрузившимся в вечный сон...

Но вот в один прекрасный день Гилар позвал меня к себе домой и заявил, что его работе со мной пришел конец. Он предложил мне написать о нашей совместной работе фельетон для «Лидове новины». Полагаю, что сказано это было не всерьез. Хотя не исключено, что чем грознее давала о себе знать его болезнь, тем больше ему хотелось слышать слова признания. У него не раз возникало чувство ревности и к Гетцу, и даже к Фрейке, который был ему в театре наиболее близок.

Когда он наконец выпустил мою пьесу из поля своего зрения, за нее ухватилась труппа Национального театра и разучивала ее с подлинным энтузиазмом. Фрейка и на этот раз доверил мне музыкальное оформление спектакля. Итак, я уже дважды стал автором Национального театра.

И все же «Любовники из киоска» приобрели свой окончательный вид после трех постановок Э. Ф. Буриана. Во время его спектаклей в Брно буржуазная цензура дошла до того, что наложила запрет на режиссерский прием в финале пьесы. И хоть это может показаться невероятным, она строго оговорила даже, какой свет может быть включен в финале, а какой — нет.

■

Для поэта всегда очень важно испробовать свои силы в новом жанре. Когда он возвращается после упорных сражений с широких просторов драмы к лирической поэзии, ему все представляется простым и несколько облегченным, как в день сотворения мира. Все ему кажется новым, овеянным утренним ветром.

Мы переходим от сезона к сезону — сезону в космическом смысле этого слова,— но почти никогда не бываем к каждому из них подготовлены. Одни люди объясняют перемены погоды космическим излучением, другие — общим расположением звездных миров, проявляющимся и в макрокосме и в микрокосме. Существует и бесчисленное множество толкований индивидуальных, которые трудно считать более серьезными, нежели предыдущие объяснения. Знаю только, что я в своей жизни с необычайной силой реагировал на каждую смену погоды и мое внутреннее состояние зависело от нее. Вероятно, было бы лучше всего спрятаться, замкнуться, когда наступившие сумерки укладывают человека на обе лопатки, но мне это плохо удавалось. Вовсе не удавалось. Человек всегда должен испить свою чашу до дна, даже если в ней отражается обманчивое небо.

Я всегда стремился перелагать все темное в жизни на язык ясных образов и со временем увидел в этом переложении смысл своего бытия. Так хорошо представляешь себе те приятные полуденные часы весенней поры, когда Прага словно возносится к небу в золотящемся воздухе. Именно таким было солнечное весеннее воскресенье, которое я посвятил скитанию по Праге и чтению прекрасного романа Реймона Радиге[1] «Бес в крови», весьма пластично сочетавшегося с этим воскресным днем и моими скитаниями.

Однажды мне выпал особенно незабываемый день: я поехал автобусом на курорт Подебрады навестить матушку, которая там лечилась. Все здесь для нас обоих было новым, и главное — самый уклад жизни, какого моя мама никогда себе не позволяла. Она показалась мне вдруг такой беззаботной, что я от всего сердца поздравил ее. Мы сидели в парке на лавочке, и матушка представляла мне своих новых друзей.

[1] Реймон Радиге (1903—1923) — французский писатель, автор психологических романов.

Потом пошли к источнику выпить минеральной воды и оттуда в ресторан обедать. Мама была такой маленькой, прелестно одетой — ей все было к лицу! Чего б я только не отдал, чтобы она приняла приглашение посмотреть мою пьесу. Она выполнила мою просьбу, но двумя годами позже, и приехала на моих «Трех мушкетеров», которых поставил Городской театр. Для меня это была двойная радость — теперь я мог принять ее в своей стржешовицкой квартире.

Мы отправились с матушкой в Градчаны, а я не отдавал себе отчета, что расстояние между моим жилищем и градчанским собором слишком велико и утомит ее. После посещения храма святого Витта я отвез матушку на другой конец Праги, где жила ее старая приятельница, супруга учителя Коха из Роухован, и предоставил им возможность воскресить давно ушедшие дни. Но пана Коха уже не было в живых, поэтому все, что волновало пани Кохову при его жизни, принадлежало загробному миру. И все же из разговоров матушки с пани Коховой передо мной вставал силуэт моего родного края, особенно Роухован.

Совсем другие, чем в Стржешовицах, цветы, иной запах трав, другие распятия, мерцающие под ясным небом, возникли в тот день, когда приезд моей матери всколыхнул все привычные пражские звуки, запахи, цвета.

Постукивание маминых каблучков, ночная сорочка, пестревшая на фоне белых подушек на софе, где никто никогда не спал, изменили и мою домашнюю обстановку. Я потом долго еще жил теми небольшими переменами, которые внесло в атмосферу моего жилища мамино присутствие, особенно когда небо стало хмуриться и после дней, полных очарования, начались проливные дожди. Матушка вообще выезжала из дому неохотно. Это было естественно, потому что каждое такое «путешествие» требовало от нее лишних усилий и вызывало усталость Поэтому тогда я и не надеялся, что она вскоре снова навестит меня. Так сознание того, что время летит и жизнь уходит безвозвратно, делает нам дорогими многие вещи и учит нас ценить каждую минуту, приносящую счастье. Так между людьми развиваются новые, более сердечные отношения, которых могло бы и не быть, если бы не было ощущения быстротечности и переменчивости жизни.

■

После смерти Волькера личность Константина Библа как-то расплылась для меня в тумане суматошных дней. Не то чтобы я его вовсе не встречал все те долгие годы. Напротив, наши встречи были горячие, бурные, стирающие границы дня и ночи, хотя оба мы никогда не предавались бездумному увлечению богемой. В наших встречах было что-то от восточных сказок, Константин Библ завораживал нас своим талантом рассказчика. Постепенно я узнавал все больше и больше о его старых и новых знакомствах, и мне бывало с ним так хорошо! Сперва я полагал, что истории, которые рассказывал Костя, относились к области фантазии и мистификаций, но в конце концов удостоверился в их истинности, и оставалось только сожалеть, что они не были увековечены его пером. Позже, когда я познакомился со странными существами — приятелями и приятельницами Кости, которые, собираясь вместе, напоминали паноптикум, я понял его своеобразную, ему одному присущую экзальтированность.

Литературная сторона приключений его как будто и не занимала. Из путешествия на Яву он привез лишь книжку прекрасных стихов, неограниченные же возможности для создания поэтической прозы так и остались нереализованными. Он не собирался делать литературную карьеру, у него этого и в мыслях не было. А постигал он не только затаенные чувства и ощущения, на чем покоился его поглощенный экзотикой мир, но и простые общественные отношения, которые его учили понимать Маркс и Ленин. Для него существовало несколько миров, и каждый был населен особыми, интересными людьми, ставшими его друзьями. К ним принадлежали товарищи по военной службе, коллеги по медицинскому факультету, земляки из Лоун и Славетина, женщины из самых разных кругов общества и литераторы, собиравшиеся в разных кафе. Он укрывался в их компании — в какой-нибудь одной — от всех остальных и от самого себя. Всюду его были рады видеть, всюду принимали с восхищением, и он расплачивался драгоценным временем за свободу своих крыльев, которые никогда не касались земли. Он не хотел от жизни ничего, о чем надо просить. Не то чтобы его обуревала гордыня, нет, скорее он был человеком скромным, не привыкшим за что-либо для себя драться. Мускатный орешек с Явы, который он мне подарил, принадлежал к числу самых милых моему сердцу талисманов, а встречи с ним самим — к радостным минутам моей жизни. Мы близко подружились значительно позднее, и только тогда я узнал, какую пропасть чувств и ощущений таила улыбка Библа. Когда он женился, а затем совершил путешествие по Северной Африке, казалось, что жизнь его как-то установилась. Однажды он пригласил Владислава Ванчуру и меня в старый купеческий дом в Лоуны, где жил с женой Марией, своими свояченицами и тещей и где была в почете классическая музыка. Но был он в своем новом доме таким же неспокойным, как и всюду. Он научился водить машину и приезжал иногда за нами в Прагу, чтобы увезти нас в Мельник или куда-нибудь еще, где для нас расцветала полнейшая свобода.

Он часто рассказывал нам о жуткой аварии, которую пережил со своими друзья-

ми. На повороте близ какого-то населенного пункта у машины, принадлежавшей одному из его знакомых, отказало рулевое управление. Все остались лежать без сознания среди обломков машины. Прибывшая на место аварии полиция сперва решила, что путешественники мертвы, но выяснилось, что они только тяжело ранены и Костя тоже. При ударе он почувствовал, мол, в голове слабый треск, похожий на шуршание бумаги, и потерял сознание. Он утверждал на основании этого опыта, что смерть от падения мгновенна и не может быть тяжелой. Глаза его сияли, когда он развивал эту мысль.

С особой радостью вспоминаю несколько наших встреч, когда мы навещали Костю, его матушку и сестер в милом домике в Славетине. Этот домик обладал такой же архаической привлекательностью, как рассказы Жерара де Нерваля[1], и Костя долго чувствовал себя там счастливым. Мать Библа — какая это была сильная и красивая женщина! Костя не обладал ее настойчивостью и энергией. Он, видимо, унаследовал свою нервную систему от отца. Бывали дни, когда им вдруг овладевала непостижимая робость. Если к нам приезжал какой-нибудь гость из другой страны, даже такой дорогой для Библа, как Поль Элюар, Костя вдруг исчезал из Праги, ссылаясь на то, что он, мол, стесняется разговаривать на своем плохом французском языке. А как только он замыкался, ничто на свете не могло его расшевелить, заставить отбросить робость. Это свойство натуры находилось в полном противоречии с его смелостью и страстью к приключениям, ради которой он готов был идти в огонь и в воду. Он не выносил ничьей опеки над литературой и искусством. Всюду, где это его касалось, он протестовал со всем пылом своей души, хотя бы молчанием, которому весь его горький опыт придавал характер протеста.

Еще в своей холостяцкой квартире он сумел создать приятную атмосферу. Сувениры с Явы, патефон, на стенах картины, кухонный уголок, в котором он сам колдовал над занятными кушаньями,— все это было сценой для поэтических представлений. Его приятели и приятельницы охотно приходили сюда, и им потом долго было что вспомнить.

Хорошо помню дни, когда у него вдруг началось воспаление поджелудочной железы. Случился приступ в кондитерской Шафарика, куда мы с ним любили захаживать и где он пил уже только один чай. День-другой у него были сильные боли, его отправили в больницу. Библ испытывал страшные муки, но переносил их с необыкновенной выдержкой.

Никогда не забуду ту субботу и воскресенье, когда мы с Тауфером и Штоллом отправились в Карловы Вары, где лечился Константин Библ. Как раз тогда Иржи Тауфер закончил свои замечательные переводы стихов Маяковского и читал их нам. Для всех нас, и для Библа особенно, этот новый, грандиозный Маяковский был откровением. Костя писал тогда революционные стихи, некоторые из них вошли в книгу «Без опасений», и ораторский тон Маяковского был близок его собственной поэзии того времени.

■

В тридцатых годах я познакомился с двумя болгарскими поэтессами — Дорой Габе и Елисаветой Багряной. Имел приятную возможность сопровождать их при поездке в некоторые чешские города, а с Дорой Габе посетил Братиславу. Пользуясь тем же случаем, мы перевели вместе с Дорой поэтическую прозу из ее книжки для детей, названную «Давно», каждая страница которой очаровывала меня какой-то необыкновенной лиричностью, особым миром чувств. С той поры как я узнал свободный стих Назыма Хикмета, мне приходится довольно часто задумываться над лиризмом Доры Габе, который был чем-то родствен лиризму турецкого поэта. Тогда Дора Габе и Багряна были гостьями нашего ПЕН-клуба. Позже, после войны, они помогали своей родине и ее новому правительству во всех областях, где только была необходимость. Из стихов Багряны я особенно запомнил стихотворение «Птица со стальным сердцем», в котором она продолжала поэтическую традицию Владимира Маяковского.

Однажды промчалась по Праге, словно молния, группа польских поэтов. Столкнулись мы с ними в каком-то винном погребке, не назначая свидания, чисто случайно, сошлись на том, что наши направления в общем близки, и расстались глубокой ночью на одной из пражских улиц. Если не ошибаюсь, среди польских поэтов был также и Тувим, стихи которого мы в Праге знали.

Из советских поэтов мы больше всего дружили с Ильей Эренбургом, и он приезжал к нам как к себе домой. Он хорошо знал нас и, думаю, видел наперед, что из каждого получится.

Утекло много времени, прежде чем я лично познакомился с Йозефом и Карелом Чапеками. Я уже упоминал о том, что в 1926 году мы с Владиславом Ванчурой по приглашению Карела Чапека пришли к нему, в его маленькую виллу на Виноградах. Тогда был там президент республики Т. Г. Масарик. Я обратил внимание на то, как подчеркнуто заботливо следил Карел Чапек за тем, чтобы у президента сложилось впечатление, будто кругом тишь да гладь да божья благодать. Я ему, правда, изрядно испортил музыку, однако Карел Чапек на меня за это не рассердился. Он любил

[1] Жерар де Нерваль (1808—1855) — французский поэт-романтик.

людей, в которых верил, в ком чувствовал талант и решимость осуществить свои литературные планы. Он пригласил меня к себе еще раз, и тогда мы были втроем — он, Йозеф Чапек и я. Мы много говорили о поэзии, и Карел Чапек признался, что застенчивость, вернее даже, чувство стыда не позволяют ему писать лирические стихи, потому что они идут от первого лица. Драматургия, где чувства выражаются в третьем лице, не создает для него таких помех, и он пишет привычным для него образом.

Этот долгий вечерний разговор о лирике очень сблизил меня с автором «Сияющих глубин» и других замечательных произведений. Предвзятость, которую наше поколение питало к Карелу Чапеку и его творчеству, была скорее искусственной, относившейся к более раннему периоду, и объяснялась политическими мотивами. Чем чаще мне выпадала возможность общаться, хоть и мельком, с Карелом Чапеком, тем больше меня покидало сектантское предубеждение «деветсилца» против человека иных взглядов, и я с каждым разом ощущал, как росла моя человеческая симпатия к нему. Его глаза были прекрасны, а жизнь в них — необычная. Нельзя не признать, что и Карелу Чапеку были свойственны интеллектуальные предубеждения и что он тоже с трудом сдирал с человека этикетку направления, к которому тот принадлежал. Карел Чапек хотел служить народу, хотел своим искусством нести ему культуру, образованность, и не следует забывать, что большая часть его произведений — это новая литература, удивительная и художественная в самом глубоком смысле этого слова.

В отличие от своего брата, Йозеф Чапек не боялся быть субъективным. Надо помнить, что он сумел открыть для себя Лотреамона. И хотя Йозеф Чапек еще плохо знал этого французского поэта, хотя в его «Лелио» [1] Лотреамон появляется как гость, имени которого автор не называет, он обнаружил в его поэзии величие. Он не рассердился, когда я, в связи с его пятидесятилетием, изобличил присутствие Лотреамона в его книге, наоборот, мне показалось, был даже рад этому литературному разоблачению. Как прискорбно, что среди нас нет уже братьев Чапек. В чешской литературе и до сих пор не много таких выдающихся личностей.

■

В сентябре 1932 года мой отец вышел на пенсию и наши переехали в Брно — стали жить в собственном домике, который приобрели еще года за три до этого. О моем отношении к собственности свидетельствует хотя бы то, что я за все это время не нашел времени, чтобы просто взглянуть на этот домик. Когда я в те дни совершал свои вечерние прогулки в Далешицах, думая о том, что нам скоро придется переезжать, я представлял себе, что наш новый дом находится минутах в пяти ходьбы от города — там, где еще раскачиваются на ветру уличные фонари. До той поры меня мало что связывало с Брно. Сколько бы я ни приезжал туда или уезжал оттуда поездом, никогда город не показывал мне своего приветливого лица, а в остальном относительно него у меня не было никаких иллюзий.

При переезде в Брно я сидел с матушкой и сестрой в грузовике, загроможденном нашими пожитками — всем тем, что составляло мое детство. Нет, не всем: часть нашей мебели, наиболее обветшавшую, родители оставили в Далешицах, в том числе буфет, который был исчиркан пометками моими и сестры о том, какие гостинцы привозили нам тетя Анежка и бабушка и когда у нас резали свинью. Мне трудно было уговорить матушку увезти в новое жилище нашу старую рухлядь, потому-то и остались в Далешицах некоторые памятные мне предметы.

Был ясный сентябрьский день, но мною владело странное смутное чувство — я навсегда разлучался с далешицкой школой, с далешицкими полями, где на межах цвели дикие маки, с тем удивительным ощущением, которое всегда здесь испытывал и называл осенним разладом, с теми наблюдательными пунктами, откуда обозревал страну своего детства — холм над Роухованами, шамиковицкие каменоломни, тавиковские леса, далекую башню на горизонте, которую мы называли Вавилон. Сравнительно менее теплые чувства связывали меня с людьми в Далешицах. Я знал тут немногих, но уже тогда чувствовал, что не буду по ним слишком грустить, как грущу и поныне о людях из Шамиковиц, рядом с которыми рос и вырос. Я остановил грузовик и стал вглядываться в окрестный пейзаж, не представлявший собой как будто ничего особенного и все же прекрасный, словно пейзаж, описываемый в книге, которую читаешь с огромным интересом. Отец ехал на другом грузовике. А я продолжал чувствовать себя дома на этом чужом мне шоссе, потому что рядом со мной была мама и вещи, годами создававшие мой дом. У меня не было причин грустить по голым стенам школы, откуда мы только что отъехали, и мое сердце переполнялось чувством свободы.

Мне не хотелось при въезде в Брно и в самом городе обращать на себя внимание, потому что наши машины очень напоминали фургоны бродячих комедиантов. Кому приятно быть встреченным знакомыми людьми в таком комичном положении? В своем страусином желании остаться незамеченным я сделал невидимым для себя

[1] «Лелио» — сборник эссе Йозефа Чапека об искусстве и литературе.

Брно и снова так ничего в нем и не приметил. Только уже возле часовни в Жабоврже-сках я устремил взгляд на долину, в которую мы въезжали, словно в благословенную солнечную страну. Жабовржески в 1932 году были застроены гораздо меньше, чем теперь. Вокруг золотились еще поля, а рощицы за ними просто чаровали взгляд.

Как радовался я превосходной погоде, тому, что не приходилось отрешаться от первых впечатлений, которые произвел на меня мой новый дом. Наша мебель тут же исчезла в нем, и я, всегда при таких обстоятельствах поспешающий, торопил женщин, чтобы они поскорее повесили на окна занавески. Встал вопрос и о том, какую комнату выбрать мне для своей резиденции, потому что я дал себе слово ездить в Жабовржески регулярно, часто и с такой же охотой, как прежде в Далешицы, и работать тут. Я выбрал себе довольно большую комнату, у которой был только один недостаток: слишком маленькое окно. Но нечего было и думать о какой-либо переделке окна, и я постарался увеличить его путем небольшого ухищрения с помощью занавесок. Да, в моей комнате они должны быть повешены в этот же ясный день, настаивал я, не слушая никаких отговорок. Солнце заглядывало в мою комнату только в предзакатные часы, и я уже в первый день стал свидетелем этого чуда. Как же я был благодарен природе за ее лучезарное приветствие. Моя пишущая машинка стояла на столике, я мог сразу засесть за уже начатый роман и продолжать работу над ним.

Между тем во втором грузовике приехал отец, разгрузка и расстановка вещей продолжалась. Хотя мне не терпелось познакомиться с чудесной природой, окружавшей дом, я в этот день так и не вышел из него, чтобы впитать в себя его внутреннюю атмосферу. В домике был просторный чердак, где обрел свое место мой старый студенческий чемодан, в котором я хранил рукописи, разные журналы и корреспонденцию. Я был в состоянии какой-то отстраненности и блуждал взглядом по ясному сентябрьскому небу, которое приветствовало меня своим лазурным флажком. К вечеру пространство перед моим окном расширилось, оно увеличивалось или уменьшалось в зависимости от того, дальше или ближе двигались огоньки проезжавшего мимо транспорта. Единственным городским звуком, каким меня наградил наш окраинный район, было отдаленное позвякивание трамваев. Меня охватывало блаженное чувство при мысли, что в любую минуту я могу убежать из домашней тишины на трамвае и разделить с этим большим городом его увеселения.

И все же прошло довольно много времени, прежде чем я установил связь с Брно, с живущими там людьми. Домик в Жабовржесках оставался для меня на долгие годы тем, чем была далешицкая школа: местом, где я жил уединенно и где работал. А работал я и в Жабовржесках много. У меня был небольшой стол, отделанный под орех, и старенький книжный шкаф, где я расставил книги и собственные литературные труды. В остальном моя комнатка была куда скромнее, чем могла бы быть.

После матушкиной кончины, когда моя сестра переехала в домик в Жабовржесках, я решил оборудовать свою комнату для отца, чтобы теснейшим образом связать ее со всей его жизнью, и устроил из нее нечто вроде домашнего музея. Отец с радостью поселился в ней — я окружил его там всем, что было ему дорого. Трудно поверить, что в этой комнатке могло уместиться столько вещей, которые ему приятно было видеть все вместе. Полагаю, что человеческое общество в своем последующем развитии к высшей социальной стадии сделает возможным, чтобы старые люди имели свои семейные домики. Человек вправе мечтать о том, чтобы сохранились результаты его труда — все, на что наложила отпечаток его индивидуальность.

На протяжении ряда лет, которые я здесь прожил, конечно, кое-что изменилось: поскольку моя квартира в Стржешовицах и наш домик в Жабовржесках были, можно сказать, в пяти минутах ходьбы от города, разница между жизнью в городе и деревне для меня мало-помалу утратилась. Но как бы она ни утрачивалась, место, где я жил под одной крышей с отцом и матерью, всегда давало мне подспудное ощущение деревни, а город, где я жил без них, был городом в полном смысле этого слова.

Во многих отношениях мне было выгодно, что я не жил летом в настоящей деревне. Написав в Жабовржесках положенное количество страниц, я мог выбежать к открывающейся моему взору речке, где было вполне приличное купанье, компанию мне составляли — пока я позже не завел себе в Брно друзей — жабовржеские ребятишки, и не было ничего более деревенского, чем их галдеж. Я возвращался домой, овеянный воздухом, напоенным запахом полевых цветов, отдохнувший и полный сил, чтобы на следующее утро вновь приняться за труд. Потому что лишь изредка позволял себе забросить на денек работу. Моя жизнь в Праге отнимала слишком много драгоценного времени, чтобы я мог расточать его в пору, когда у других были каникулы, а сам я был увлечен наиболее интенсивной работой.

■

Наконец в кармане у меня снова лежал паспорт, предоставлявший мне возможность путешествовать по всем странам Европы, и коллекция соответствующих билетов, выданных Чехословацким транспортным агентством. Я хотел избежать встречи с Германией, откуда до нас доходили неблагоприятные вести, и решил ехать во Францию через Вену и Швейцарию. Помимо других удовольствий, которые должно было доста-

вить мне это путешествие, я рассчитывал дня на два остановиться в Брно, у родителей. Апрельский предвечерний воздух на Пшикопах и Национальном проспекте был напитан той лаской, в какой испытывает особую потребность человек, когда он с чем-то расстается. И брненское утро, когда я уезжал в направлении Вены, мерцало первыми лучами солнца и было уже совсем весенним. Лучшего дня для путешествия трудно было бы и желать. Да и прогулки по Вене радовали меня хорошей погодой. Было бы самым лучшим, сказал я себе, не писать до возвращения ни единой строчки. И это было правильно. Чудесные дни, предстоявшие мне, постепенно укладывались в памяти, и я не мешал ее работе. Когда же удалось проехать через Альпы и не записать ни единой причудливой картины из своей поездки в окружении альпийских фантомов, стало ясно, что я смогу привезти из путешествия поэзии не меньше, чем мне этого хотелось бы.

В Париже я заранее условился встретиться в «Отель де Бретань» на рю Ришелье с Индржихом Гонзлом, который должен был прибыть туда из Страсбурга. Освободив себя, таким образом, от всяких забот, я отдался во власть крутых альпийских перевалов, забавлявшихся, как игрушкой, нашим поездом. Но с надвигающимся вечером они обретали все более пугающую рельефность. В конце концов, когда ночной мрак превратил Альпы в один сплошной грохот, я уснул и проснулся лишь ранним утром уже в какой-то французской местности, парившей в солнечных лучах. И раньше, правда, приоткрывая глаза, я видел французские станции, разительно отличавшиеся от австрийских и швейцарских. Но та станция имела уже нечто общее с французскими стихами, пусть это общее проявлялось лишь в жестяных рекламных щитах. И она затрезвонила у моего виска, словно будильник. С той минуты, как показалось солнце, я уже ехал в ослепительном свете вспененного пейзажа, где в самих названиях городов слышались отзвуки французской истории и славы изобразительного искусства Франции.

Перед самым въездом в Париж я уснул, может быть, для того, чтобы познавать этот легендарный город как бы во сне. Поезд ворвался в Восточный вокзал, и я долго разглядывал публику на перроне, стараясь увидеть Индржиха Гонзла. Когда же пришел к убеждению, что мой приятель, видимо, еще не приехал в Париж, я вышел и остановился перед табло подземки, чтобы хорошенько поразмыслить над планом, который, я знал, может подсказать, на какой станции мне удобнее выйти, чтобы побыстрее добраться до «Отель де Бретань». Это была, очевидно, станция на площади Биржи, и моя первая попытка воспользоваться метро оказалась удачной. В вагоне какой-то пьянчужка старался завязать со мной разговор, вызвав, однако, смех своих соотечественников.

В «Отель де Бретань» уже имелось сообщение о приезде моем и Гонзла. Я прибыл ранее своего приятеля и имел достаточно времени, чтобы помыться и отдохнуть. Теперь, когда мой багаж находился на месте назначения, было не трудно пройти по рю Ришелье к площади Комеди Франсэз, а оттуда повернуть к Пале-Ройялю. День был чудесный, и все тут было для меня новым, волнующим. На рю Пирамид я убедился, что там существует бюро путешествий, куда можно будет обратиться перед отъездом из Парижа. Меня все время подмывало вернуться на Восточный вокзал, и я отправился туда, чтобы убедиться, не приехал ли между тем Гонзл.

Не заходя на вокзал, я заглянул в ближайший ресторан и съел дежурный обед, сдобренный отличным красным вином, незамедлительно ударившим мне в голову. Перед входом в подземную дорогу, где я изучал еще раньше пересадочные станции, у меня чуть не произошло небольшое амурное приключение. Дама, которую сопровождал мужчина, рассматривавший план метро, вдруг прикоснулась ко мне, явно недвусмысленно. От спутника не ускользнул ее жест, и он обрушил на нее поток ругательств. Итак, Париж, видимо, хотел сразу же оправдать в моих глазах свою легкомысленную репутацию, и я с трудом подавил приступ смеха.

Видимо, ночное путешествие через Альпы и Францию не утомило меня, потому что я решил направиться в очень отдаленный район парижского предместья, где жила женщина, бывшая музой моей «Пантомимы». Но и на этот раз мне не посчастливилось: я не застал своей приятельницы, которая, впрочем, не знала, что я приеду, и была в это время в центре Парижа. Я должен был удовлетвориться маленькой запиской, оставленной ей в прелестном отеле, где она жила. Когда я вернулся на рю Ришелье, меня приветствовал в дверях отеля Индржих Гонзл, в отличие от меня хорошо знавший Париж. Я был счастлив пожать руку товарищу, которого любил всем сердцем и чье искусство очень ценил.

У нас с ним были общие дела: я закончил большой сценарий, главную роль в котором писал специально для французского актера Фернанделя — он нам очень понравился в фильме «Ухажер госпожи Гуссон». Делать фильм по моему сценарию пожелал кинопродюсер Ванчура, а Гонзл должен был этот фильм ставить. В соответствии с предыдущими переговорами, происходившими в Праге с паном Ванчурой, привлечь Фернанделя представлялось хотя и проблематичным, но не невозможным, потому мы и назначили нашу встречу с ним на вторую половину мая в Монте-Карло. Я не испытывал большого доверия к продюсеру, и мне не хотелось чем-то ограничивать путешествие, которое было для меня просто путешествием и которого я так давно ждал.

Мы прошлись с Гонзлом по Большим Бульварам, окутанным светом всех своих

лампионов, и я испытывал настоящее счастье, любуясь великолепным зрелищем Парижа. По дороге домой мы поднялись на второй этаж ресторана «Универс» и поужинали. Для Гонзла пребывание в Париже имело особую сложность: он соблюдал строгую диету и должен был считаться с этим при выборе ресторанов. Жизнь в Париже обходилась ему куда дороже, чем людям, которые могут есть все, и он иногда ходил в чешский ресторан только потому, что мог получить там манную кашу. До того, как встретиться со мной, он весьма разумно распорядился. Выбрал хороший двойной номер с ванной и перенес в него багаж из моего номера. Мы поселились совсем по-королевски, и это очень хорошо влияло на наш образ жизни. Было просто здорово, когда по вечерам перед сном мы могли каждый из своей комнаты, лежа в постели, болтать, шутить и смеяться. Гонзл вел оживленную переписку с Прагой и час после полудня проводил за этим занятием.

С некоторыми уголками Парижа я знакомился тогда в сопровождении Гонзла, с некоторыми — один. Оба способа имели свою прелесть и всегда вызывали у меня чувство радостного ожидания. Я нисколько не торопился, но Гонзла начали беспокоить телеграммы пана Ванчуры, который в то время вместе с женой был в Монте-Карло и одолевал его просьбами поскорее приехать. Я сожалел, что во имя ненадежного результата, рисовавшегося мне в будущем весьма туманно, должен положить конец своему пребыванию в Париже, которому сопутствовала благодатная погода.

В Париже мы встречались с Адольфом Гофмейстером. Однажды он повел меня к Джеймсу Джойсу. Этот красивый, почти слепой старик жил в новом парижском квартале, в современном доме, буквально заваленном книгами — они лежали всюду, даже на полу в его комнате, видимо, падали из рук секретарши. Гофмейстер привез в тот раз Джойсу оттиск своего перевода «Анны Ливии Плюрабеллы» [1] и старался объяснить Джойсу, какие аналогии он использовал в чешском языке, чтобы выразить сложную интеллектуальную игру слов. А Джойс, в котором было что-то профессорское, вникал в эти объяснения как ученый, который во что бы то ни стало хочет добраться до основ.

В другой раз мы с Гофмейстером отправились навестить Жана Кокто. Его служанка принесла нам извинение, сказав, что он, мол, не спал всю ночь из-за головной боли и только что уснул. Нам представилась возможность лишь разглядеть находившуюся в прихожей большую голову тевтона и тарелку со счетами на этажерке, стоявшей у самой двери. Об этой тарелке со счетами злые языки болтали всякое. Но мы ведь приехали в Париж не для того, чтобы разносить сплетни о тех, кого посещали.

Время шло, и хорошее настроение Гонзла постепенно улетучивалось. Он начал упрекать меня, что мы зря потратили на Париж столько дней, между тем как в Монте-Карло нам их будет явно недоставать. И хоть я придерживался другой точки зрения, но сказал Гонзлу, что подчиняюсь ему во всем.

После всех чудес Парижа, после бесконечных скитаний по его улицам, которые всегда действовали на меня возбуждающе, после сомнамбулического парения в воздухе его парков, набережных, залов Лувра и забегаловок для шоферов, мне стало совсем не весело, когда Гонзл назначил день нашего отъезда в Монте-Карло. И хотя жадное желание увидеть море, погрузиться в его волны и отдаться его ритму было велико, грусть, все усиливавшаяся при мысли о том, что мое пребывание в Париже кончается, была сильнее. Снова и снова отправлялся я в знакомые и незнакомые кварталы города, и все мои чувства прощались с Парижем.

В конце концов мы с Гонзлом сели на Лионском вокзале в поезд. Наш вагон постепенно заполнялся. Крестьяне, моряки, священники и прочие пассажиры размещались в купе, словно в каретах. Столь же порядочная, сколь и подозрительная, эта публика не спускала с нас глаз, пока мы бодрствовали. Основную часть маршрута, видимо, менее интересную, поезд проезжал ночью. Вечером объявлялись такие станции, как Лион, Дижон, а о последующих уже напоминали только доходившие до нас сквозь дремоту звонки.

Я не люблю ездить поездом. Человек в нем прикован к расписанию движения и отключен от соприкосновения с природой. Если б в вагонах были хоть столики, о которые можно было бы опереться, тогда утомительная езда утратила бы частично свою непривлекательность — ведь такой человек, как я, просидел немало ночей за крошечными столиками ночных заведений, создавая себе иллюзию, будто он развлекается. То из одного, то из другого угла вагона доносились звуки патефона или гармоники — французы не любят скуки и очень общительны. Теперь, когда стало слишком очевидно, что Париж уже в сотне километров от нас, я хотел только одного — чтобы наше путешествие закончилось как можно скорее, а при одном неожиданном пробуждении у меня даже на мгновение замерло сердце: в окно вагона вливались потоки света и вдали мерцало море. Теперь нечего было даже думать о сне, не было и мысли о скорейшем конце путешествия. Да, море показало нам только свой краешек, но, когда оно исчезло, перед нами открылся пейзаж, всем своим настроением принадлежавший царству поэзии.

Впечатление, которое производит южный пейзаж и южная архитектура на человека, интересующегося античной культурой,— огромно. Изначальные элементы

[1] Фрагмент из последнего романа Джойса «Поминки по Финнегану».

южного романского мира в слиянии с античностью давали духовной жизни образованного человека прямо-таки ключ к постижению античности. Формы и пропорции домиков, разбросанных среди деревьев, знакомых нам по картинам Джотто, удивляют своим совершенством, хотя это самые простые жилища самых бедных людей. Вкус к изяществу, истоки которого кроются в древних традициях, передавался от поколения к поколению, хотел этого народ или не хотел. И то, что последней общей колыбелью культуры и искусства была античность, позволяет европейским народам легко договориться о внутреннем смысле своих национальных традиций. Народ же, обладающий только ему присущей, независимой традицией и никогда не связанный с традициями более широкого плана, остается часто изолированным в своих чувствах и представлениях и с ним труднее найти общий язык. Отсутствие понимания античности снижает величие творений даже таких великих художников, как Дюрер или Грюневальд. Ведь вся христианская эпоха и романтизм выросли из античности, хотя и отвергали ее. Домики, исполненные строгой красоты, мелькавшие за окном мчавшегося поезда, свидетельствовали о том, что мы едем по такому краю, где нас встречают улыбкой не только солнце, но и культура народа, имеющего своих Гомеров.

На вокзале в Монако нас ждали пражские друзья. Все были необычайно загорелыми, но это им шло, особенно пану Ванчуре, на котором был еще к тому же белый костюм. Гонзл с нетерпением ждал, что тот скажет ему относительно плана постановки фильма, на который возлагалось столько надежд. Он был разочарован, когда выяснилось, что пан Ванчура знает об этом плане не больше, чем в те дни, когда мы покидали Прагу, и устремил на меня вопрошающий взгляд. Оказалось, наш продюсер, увлекшись рулеткой, проигрался в пух и прах и ждал нас как своих освободителей, которые помогут ему выбраться из трудного положения. Он повел нас в казино, чтобы, мол, показать море, которое набегало позади этого здания волнами. Здесь, взяв у нас взаймы на сигареты и спички десятифранковую ассигнацию, он тут же вошел в казино и, поставив на нее, выиграл в рулетку несколько сот франков. К сожалению, до вечера все их он оставил в игорном зале и ему не на что было ужинать.

Поселились мы в небольшом, но приятном отеле, владельцем которого был молодой, диковатого вида корсиканец господин Эдуард, обремененный долгами и тешивший себя тем, что — как они условились — пан Ванчура вернет ему свой долг, когда Эдуард приедет в Прагу.

Когда человек впервые в жизни входит в море, он приобщается к какому-то извечному таинству, слышит неведомые многоязычные голоса, доносящиеся из глубин веков, непонятные, как во времена вавилонского столпотворения. В тех местах, где я впервые вошел в Средиземное море, не было благоустроенного пляжа, какие позже я увидел в Канне. Финансовое положение пана Ванчуры было таково, что он просто не мог платить за место на пляже, и купались мы тогда вместе с ним, его милой женой и еще двумя их приятелями — они таким же, как и он, роковым образом предавались игре в рулетку — в глухом месте под мостом, там же и складывали одежду. С той минуты, когда я познал сладостную власть морских волн, с которой ничто нельзя сравнить, я получил хоть частичное вознаграждение за утраченные чары Парижа. Как и следовало ожидать, даже при осторожности, которую я соблюдал, или, вернее, думал, что соблюдаю, мое общение с южным солнцем не обошлось без тяжелого ожога. Но кто бы в тридцать три года заботился о таком пустяке, как легкое недомогание?

Здесь, на юге, где на наших глазах зрели лимоны, умеют изготовлять такой божественный лимонад, который заменит самый целебный бальзам. Я полюбил идиллическую жизнь в Монте-Карло и причудливую атмосферу Монако, в которой сочетаются итальянский характер с чем-то из темных уголков поэзии родившегося тут Гийома Аполлинера. По утрам изо дня в день хозяин нашего отеля господин Эдуард отправлялся не в лучшем своем виде ко дворцу монакской королевы, куда его вызывали из-за неоплачиваемых долгов. Но в десять часов этот шустрый мужчина был снова полон энергии и его голос разносился по террасе отеля «Наполитен».

Беспокойство, охватившее Гонзла сразу по приезде, усиливалось с каждым днем. Пан Ванчура все реже и реже заговаривал о будущем фильме и сводил все к тому, что главное сейчас — договориться с Фернанделем. После случая, происшедшего за несколько дней до нашего отъезда из Парижа, о котором я хочу рассказать, Гонзл, бесспорно, сожалел, что поддался требованиям пана Ванчуры и мы не провели еще несколько дней в Париже, как я его просил.

Однажды вечером, перед самым закрытием магазинов, мы зашли в книжную лавку сюрреалистов и купили несколько книжек, которые вызвали у нас радостное волнение. Среди них были и «Сообщающиеся сосуды» Бретона [1]. Достаточно было случайным вопросом выяснить, что Андре Бретон живет в доме номер сорок два по рю Фонтэн, чтобы мы тотчас же решили отправиться к нему. К нашему огорчению, консьержка сообщила, что его нет дома — он куда-то ушел и она не знает, когда вернется. Как это часто бывает — если уж не везет, так не везет! — полил дождь. Мы шли как во сне до конца улицы, где вырисовывалось здание «Мулен руж», и на углу оказалось кафе «Плас бланш». Дождь не переставал, и мы не остались на террасе кафе, а вошли

[1] Андре Бретон (1896—1966) — теоретик и один из основоположников французского сюрреализма. «Сообщающиеся сосуды» — литературный манифест Бретона, «Надя» — его роман.

внутрь и устроились за свободным столиком. Каково же было наше удивление, когда, поглядев в направлении входной двери, увидели, что прямо напротив нас сидит Андре Бретон.

В книге «Невидимая Москва» я так описал встречу с Бретоном: «Это как сцена из «Нади»,— сказал я тому, кого не мог не встретить в своей жизни, тому, без кого моя жизнь была бы неизмеримо беднее и печальнее, когда мы подошли к столу, где сидели приходившие почти через равные интервалы один вслед за другим те, кто впоследствии стали нашими друзьями: Поль Элюар, Макс Эрнст... Мы познакомились. Я читал книги Андре Бретона, а теперь увидел его самого».

Встретившись тогда с Андре Бретоном и сюрреалистами, которые в какие-нибудь десять минут окружили наш стол, я пообещал Бретону написать несколько строк в журнал «Сюрреализм на службе революции». Да, трудно было мне уезжать в первой декаде мая из Парижа!

И сколько бы приятных часов ни доставило нам после Парижа Монако, самым важным в моей поездке во Францию было то, что контакт с Бретоном и с группой сюрреалистов был установлен и для нас возникали новые обязательства. Я был согласен с Бретоном почти во всем — и все же не во всем и не со всеми последствиями. Бретон пришел к убеждению, что французский поэтический язык, пока он подчиняется в поэзии ритму и рифме, ветшает и будет заменен языком, не отягощенным ритуалом. В этом отношении, на мой взгляд, чешский язык был почти девственным. Не только нельзя было сказать, что все его слова уже срифмованы, но даже его готовность к рифмам, а вместе с ними и открытию новых ассоциаций, была безграничной. Только в прошлом году, когда я присутствовал при том, как Франсуа Керель [1] переводил моего «Эдисона», я понял, что возможностей во французском языке, зависящем от монотонного склонения, несравнимо меньше для рифмованной поэзии, чем в языках славянских. Не знаю, сумел ли я тогда достаточно ясно объяснить это Бретону, знаю лишь, однако, что он вовсе не намеревался предписывать свои идеи чешским поэтам или недиалектически относить их к каким-либо другим языкам, кроме французского. В противоположность этому я хорошо понимал Гегеля, желавшего для поэзии языка универсального, простого, который, особенно при переводе с одного языка на другой, делал бы возможной абсолютную аутентичность поэзии. И хотя я стремился избавить поэзию от условностей, у меня не было намерения выплеснуть из ванночки вместе с водой и ребенка. Пока я был эмоционально убежден, что то или другое свойство поэзии ей на пользу, я не собирался жертвовать ею ради какого-либо догмата из области теории поэзии.

Однажды воскресным днем, когда Андре Бретон и Поль Элюар были гостями Праги и мы собрались у нашего друга — медика, доктора Иозефа Янды, он поставил передо мною вопрос: может ли и драматическое произведение нести на себе отпечаток «психического автоматизма», и я не мог ответить на этот вопрос иначе, как утвердительно. Речь, конечно, не шла о чисто «психическом автоматизме», потому что такого, очевидно, вообще не существовало.

Да, тогда в Праге создалась атмосфера, в которой и возникла сюрреалистическая группа. Мы с Гонзлом всячески отвращали от нее козни людей с дурными намерениями. Самый бурный интерес к созданию такой группы проявляли художники Штырский и Туаен, которые во время своего пребывания в Париже охотно вращались в кругу сюрреалистов. Тейге был тогда со Штырским в неприязненных отношениях, возникших между ними в ходе полемики на страницах журнала «Одеон». В своем безрассудном, нервозном пессимизме, в который Тейге временами впадал, он проявил себя сектантом и слишком строгим судьей. Не знаю, что он мог иметь и против Иозефа Янды. Ведь Янда был одним из первых наших врачей — приверженцев социализма и распространителей советских идей. Думаю, что у него были три самые большие и глубокие привязанности в жизни — это Кутна Гора, профессор Трыб и Советский Союз. Кутна Гора — его родина, дом его матери и отца, благородного и самоотверженного сельского врача. Профессор Трыб — ученый и художник в одном лице — его учитель, со всей серьезностью принимавший любовь и верность своего ученика. А Советский Союз — новая звезда миллионов.

Иозеф Янда, однако, родился с еще одной любовью в сердце: с любовью к искусству. Я видел его рисунки, сделанные в молодости, им нельзя было отказать в талантливости. Если б Янда развивал свой дар, он мог бы стать хорошим художником. Но, сосредоточившись прежде всего на науке, он давал выход всем своим художническим чувствам в том, что окружал себя произведениями лучших молодых художников своего века.

Нет ничего прекраснее, чем дружеские беседы творческих людей, когда у них наступает минута желанного отдыха. Наши беседы были бурными, каждый это видел, все об этом знали. Ну и что же! По крайней мере мы не могли считать себя людьми, которые не умеют пользоваться жизнью. Художники рассчитывали, что некоторые их картины с выставки отправятся к доктору Иозефу Янде в его коллекцию. И Янда редко не оправдывал их надежд. Известно было, что свою коллекцию он создавал бескорыстно. Когда мы готовили свои сюрреалистические публикации, нам трудно

[1] Франсуа Керель — известный французский переводчик с чешского языка.

приходилось бы без его помощи. Но Янда был нашим единомышленником и радовался, если помогал осуществить хорошую идею.

То воскресенье, когда мы были у него с Бретоном и Элюаром, хорошо сохранилось в моей памяти. Французские гости познакомились отчасти с произведениями наших молодых художников, отчасти с нашей современной музыкой, которую мы им демонстрировали в граммофонной записи.

Это радость и счастье для человека, пишущего воспоминания, если свидетели его дней живы и ему не отказано в их дружбе. Жаль, что их уже осталось мало, а время летит. Тот дождь, который лил в мае 1933 года на рю Фонтэн и заставил нас с Гонзлом зайти в кафе «Плас бланш», окропил незримый посев, который должен был дать свои плоды. И он дал их, но надо было терпеливо ждать и внимательно прислушиваться к голосу потаенных родников.

В один прекрасный день мы все разъехались из Монако — кто куда. Я отправился через Милан, Венецию, Вену, Вроцлав в Брно, где тогда был дом моих родных и, стало быть, мой дом. Потом я написал там, в Жабовржесках, в саду, книгу стихов «С богом и платочек». Как всегда после дальней дороги, родной дом кажется человеку еще роднее и дороже, чем был. И если даже вода Свратки мутна, а волны Средиземного моря радужны, то и эта мутная вода таит что-то радующее сердце человека. Только иногда, когда бескрайние тучи тянулись над землей, у меня возникала тоска по лазурному небу над скалами Монако.

■

Вскоре после моего возвращения из Франции на жалюзи моей квартиры стала набегать мрачная тень — тень болезни, одолеть которую были не в состоянии самые искусные врачи, тень болезни, требующей времени и долгого мучительного пребывания в постели, испытывающего терпение пациента. Подогретые обеды из стржешовицкого отеля и трижды в году госпитализация и предписание врачей снова продолжать постельный режим. Болезнь длилась почти три года и все же была излечена. У моих друзей за это время почти ничего не изменилось. Они приходили и уходили, перебирались из одного кафе в другое, искренние или фальшивые, и чем больше время приближалось к кризисным годам, тем больше разгорались наши споры.

В 1934 году мне стало известно, что я, вполне возможно, буду приглашен на ждать, осуществится ли эта поездка? Произошло это поздним летом, и я попытался отразить поездку в своей «Невидимой Москве». Для меня это было связано с особым напряжением, потому что я должен был принимать участие в многолюдных собраниях, где обсуждались вопросы реализма как раз в ту пору, когда сам я был одержим идеями сюрреализма. Но я чувствовал себя гораздо больше человеком, борющимся за социализм, чем литератором, и ехал в Советский Союз без шор на глазах. Слишком хорошо я знал, что нас, людей из западных стран, ждет новая, очень жестокая борьба, и хотел в Советском Союзе научиться вести эту борьбу. Свои литературные взгляды я излагал откровенно, потому что иначе не умею и никогда не умел делать. К своей радости, я познакомился в Москве со многими советскими писателями, и большая часть их и по сей день остаются моими друзьями. А мой «Филипс» принес из Москвы в комнату, где лежала моя больная матушка, голос ее сына.

Помню день своего возвращения в Брно, который сохранил в моей памяти свои яркие осенние краски. А потом я писал. На одном дыхании, в полной сосредоточенности, до изнеможения, как это вообще мне свойственно. Потом поездка в Прагу, споры, публичные выступления, дискуссии, вечера, во время которых надо было сражаться на два фронта — не только против врагов, но и против тех друзей, которые при расхождении в мелочах нападают куда ожесточеннее, чем враги.

◆

АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Мой Микеланджело

Кинжальная строка Микеланджело.

> Здесь с копьями кресты святые сходны,
> кровь Господа здесь продают в разлив,
> благие чаши в шлемы превратив.
> Кончается терпение Господне.

Когда переводишь с итальянского эти строки Микеланджело, поражаешься, как сходны они по ритму и напряжению с его фресковой композицией «Страшного суда».

Мое отношение к творцу Сикстинской капеллы отнюдь не было платоническим.

В рисовальном зале Архитектурного института мне досталась голова Давида. Это самая трудная из моделей. Глаз и грифель следовали за ее непостижимыми линиями. Было невероятно трудно

Портрет Микеланджело работы неизвестного мастера. Около 1560 г.

перевести на язык графики, перевести в плоскость двухмерного листа, приколотого к подрамнику, трехмерную — а вернее, четырехмерную форму образца!

Линии ускользали, как намыленные. Моя досада и ненависть к гипсу равнялись, наверно, лишь ненависти к нему Браманте или Леонардо. Но чем непостижимей была тайна мастерства, тем сильнее ощущалось ее притяжение, магнетизм силового поля.

С тех пор началось. Я на недели уткнулся в архивные фолианты Вазари, я копировал рисунки, где взгляд и линия мастера, как штопор, ввинчиваются в глубь бурлящих торсов натурщиков. Во сне надо мною дымился вспоротый мощный кишечник Сикстинского потолка.

Сладостная агония над надгробием Медичи подымалась, прихлопнутая, как пружиной крысоловки, волютообразной пружиною фронтона.

Эту «Ночь» я взгромоздил на фронтон моего курсового проекта музыкального павильона.

То была странная и наивная пора нашей архитектуры. Флорентийский Ренессанс был нашей Меккой. Классические колонны, кариатиды на зависть коллажам сюрреалистов слагались в причудливые комбинации наших проектов. Мой автозавод был вариацией на тему палаццо Питти. Компрессорный цех имел завершение капеллы Пацци.

Не обходилось без курьезов. Все знают дом Жолтовского с изящной лукавой башенкой напротив серого высотного Голиафа. Но не все замечают его карниз.

Старый маэстро на одном и том же эскизе набросал сразу два варианта карниза: один — каменный, другой — той же высоты, но с сильными деревянными консолями. Конечно, оба карниза были процитированы из ренессансных палаццо.

Верные ученики, узрев в этом новаторство, следуя букве мэтра, восхищенно перенесли оба карниза на Смоленское здание.

Так на Садовом кольце появился дом с двумя карнизами.

Вечера мы проводили в библиотеке, калькируя с флорентийских фолиантов. У моего товарища Н. было 2000 скалькированных деталей, и он не был в этом чемпионом.

Когда я попал во Флоренцию, я, как родных, узнавал перерисованные мною тысячи раз палаццо. Я мог с закрытыми глазами находить их на улицах и узнавать милые рустованные чудища моей юности. Следы наводнения только подчеркивали это ощущение.

Наташа Головина, лучший живописец нашего курса, частая моя спутница по этюдам, как величайшую ценность подарила мне фоторепродукцию фрагмента «Ночи». Она до сих пор висит под стеклом в бывшей моей комнатке в родительской квартире.

И вот сейчас мое юношеское увлечение догнало меня, воротилось, превратясь в строки переводимых мною стихов.

Вероятно, инстинкт пластики связан со стихотворным.

Известно грациозное перо Пушкина, рисунки Маяковского, Волошина, Жана Кокто. Недавно нашумела выставка живописи Анри Мишо.

И наоборот — один известнейший наш скульптор наговорил мне на магнитофон цикл своих стихов. Прекрасны стихи Пикассо [1] и Микеланджело.

Последний наизусть знал «Божественную комедию». Данте был его духовным крестным. У Мандельштама в «Разговоре о Данте» мы читаем: «Я сравниваю, значит я живу»,— мог бы сказать Дант. Он был Декартом метафоры, ибо для нашего сознания — а где взять другое? —

[1] См. «Иностранную литературу» № 3, 1970 г.

только через метафору раскрывается материя, ибо нет бытия вне сравнения, ибо само бытие есть сравнение».

Но метафора Данте говорила не только с богом. В век лукавый и опасный она таила в себе политический заряд, тайный смысл. Она драпировала строку, как удар кинжала из-под плаща. 6 января 1537 года был заколот флорентийский тиран Алессандро Медичи. Беглец из Флоренции, наш скульптор по заказу республиканцев вырубает бюст Брута — кинжального тираноубийцы. Скульптор в споре с Донато Джанотти говорит о Бруте и его местоположении в иерархии дантевского ада. Блеснул кинжал в знаменитом антипапском сонете.

Так, строка «Сухое дерево не плодоносит» нацелена в папу Юлия II, чьим фамильным гербом был мраморный дуб. Интонационным вздохом «господи» («синьор» по-итальянски) автор отводит прямые указания на адресат. Лукавая злободневность, достойная Данте.

Данте провел двадцать лет в изгнании, в 1302 году заочно приговорен к сожжению.

Были ли черные гвельфы, его мучители, исторически правы? Даже не в этом дело. Мы их помним лишь потому, что они имели отношение к Данте. Повредили ли Данте преследования? И это не известно. Может быть, тогда не было бы «Божественной комедии».

Обращение к Данте традиционно у итальянцев.

Но Микеланджело в своих сонетах о Данте подставлял свою судьбу, свою тоску по родине, свое самоизгнание из родной Флоренции. Он ненавидел папу, негодовал и боялся его, прикованный к папским гробницам,— кандальный Микеланджело.

Менялась эпоха, республиканские идеалы Микеланджело были обречены ходом исторических событий. Но оказалось, что исторически обречены были события. А Микеланджело остался.

В нем, корчась, рождалось барокко. В нем умирал Ренессанс. Мы чувствуем томительные извивы маньеризма — в предсмертной его «Пьете Рондолини», похожей на стебли болотных лилий, предсмертное цветение красоты.

А вот описание магического Исполина:

Ему не нужен поводырь.
Из пятки, желтой, как желток,
налившись гневом, как волдырь,
горел единственный зрачок!

Далее следуют отпрыски этого Циклопа:

Их члены на манер плюща
нас обвивают, трепеща...

Вот вам ростки сюрреализма. Сальватор Дали мог позавидовать этой хищной, фантастичной точности!

Не только Петрарка, не только неоплатонизм были поводырями Микеланджело в поэзии. Мощный дух Савонаролы, проповедника, которого он слушал в дни молодости,— ключ к его сонетам: таков его разговор с богом.

Безнравственные люди поучали его нравственности.

Их коробило, когда мастер пририсовывал Адаму пуп, явно нелогичный для первого человека, слепленного из глины. Недруг его Пьетро Аретино доносил на его «лютеранство» и «низкую связь» с Томмазо Кавальери. Говорили, что он убил натурщика, чтобы наблюдать агонию, предшествовавшую смерти Христа.

Как это похоже на слух, согласно которому Державин повесил пугачевца, чтобы наблюдать предсмертные корчи. Как Пушкин ужаснулся этому слуху!

Не случайно в «Страшном суде» святой Варфоломей держит в руках содранную кожу, которая — автопортрет Микеланджело. Святой Варфоломей подозрительно похож на влиятельного Аретино.

Галантный Микеланджело любовных сонетов, куртизирующий болонскую прелестницу. Но под рукой скульптора постпетрарковские штампы типа: «Я врезал Твой лик в мое сердце» становятся материальными, он говорит о своей практике живописца и скульптора. Я пытался подчеркнуть именно «художническое» видение поэта.

Маниакальный фанатик резца 78-го сонета (в нашем цикле названного «Творчество»). В том же 1550 году в такт его сердечной мышце стучали молотки создателей Василия Блаженного.

Меланжевый Микеланджело.

Примелькавшийся Микеланджело целлофанированных открыток, общего вкуса, отполированный взглядами, скоростным конвейером туристов, лаковые «сикстинки», шары для кроватей, брелоки для ключей — никелированный Микеланджело.

Смеркающийся Микеланджело — ужаснувшийся встречей со смертью, в раскаянии и тоске провывший свой знаменитый сонет: «Кончину чую...».

«Увы! Увы! Я предан незаметно промчавшимися днями.

Увы! Увы! Оглядываюсь назад и не нахожу дня, который бы принадлежал мне! Обманчивые надежды и тщеславные желания мешали мне узреть истину, теперь я понял это... Сколько было слез, муки, сколько вздохов любви, ибо ни одна человеческая страсть не осталась мне чуждой.

Увы! Увы! Я бреду, сам не зная куда, и мне страшно...» (Из письма Микеланджело)

Когда не спасала скульптура и живопись, мастер обращался к поэзии.

На русском стихи его известны в достоверных переводах А. Эфроса, тончайшего эрудита и ценителя Ренессанса. Эта задача достойно им завершена.

Мое переложение имело иное направление. Повторяю, я пытался найти черты стихотворного тропа, общие с микеланджеловской пластикой. В текстах порой открывались цитаты из «Страшного суда» и незавершенных «Гигантов». Дух создателя был един и в пластике, и в слове — чувствовались физическое сопротивление материала, савонароловский своенравный напор и счет к мирозданию. Хотелось хоть в какой-то мере воссоздать не букву, а направление силового потока, поле духовной энергии мастера.

Я пользовался первым научным изданием 1863 года с комментариями профессора Чезаре Гуасти и сердечно благодарен Г. Брейтбурду за его любезную помощь. Частям композиции мной даны тематические заголовки (в квадратных скобках).

Тот же Мандельштам говорил, что в итальянских стихах рифмуется все со всем. Переводить их адски сложно. Например, мадригал, организованный рефреном:

O Dio, o Dio, o Dio!

Первое попавшееся: «О боже, о боже, о боже!» — явно не годится из-за сентиментальной интонации русского текста. При восторженном настрое подлинника могло бы лечь:

О диво, о диво, о диво!

Заманчиво было, опираясь на католический культ Мадонны, перевести:

О Дева, о Дева, о Дева!

Увы, и это не подходило. В строфах идет ощущаемое почти физически преодоление материала, ритм с одышкой. Поэтому следует поставить тяжеловесное слово «Создатель, Создатель, Создатель!» с опорно направляющей согласной «д». Ведь идет обращение Мастера к Мастеру, счет претензий их внутри цехового порядка.

Кроме сонетов с их нотой гефсиманской скорби и ясности, песен последних лет, где мастер молитвенно раскаивается в богоборческих грехах Ренессанса, в цикл входят эпитафии на смерть пятнадцатилетнего Чеккино Браччи, а также фрагмент 1546 года, написанный не без влияния иронической музы популярного тогда Франческо Берни. Нарочитая грубость, саркастическая бравада и, я бы сказал, *черное ерничество* автора, вульгарности, частично смягченные в русском изложении, прикрывают, как это часто бывает, ранимость мастера, нешуточный ужас его перед смертью.

Впрочем, было ли это для Микеланджело «вульгарным»? Едва ли! Для него, анатома и художника, понятие мышц, мочевого пузыря с камнями и т. д., как и для хирурга,— категории не эстетические или этические, а материя, где все чисто. «Цветы земли не знают грязи».

Точно так же для архитектора понятие санузла — обычный вопрос строительной практики, как расчет марша лестниц и освещения. Он не имеет ничего общего с мещанской благопристойностью умолчания об этих вопросах.

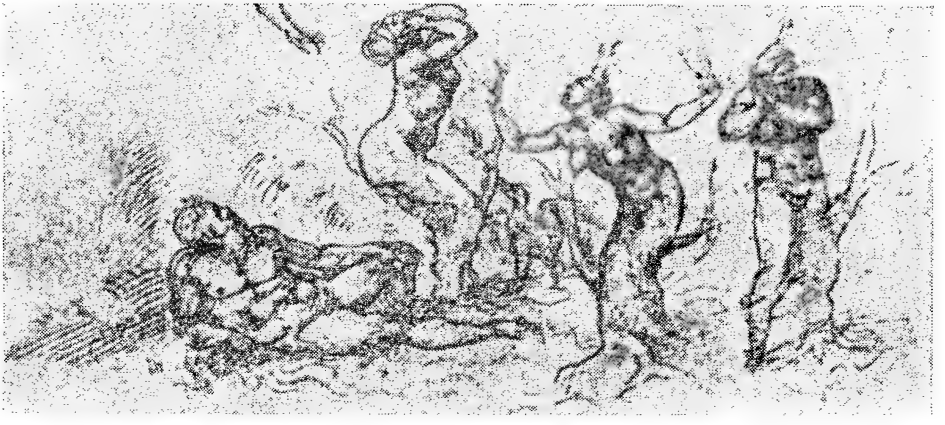
Наш автор был ультрасовременен в лексике, поэтому я ввел некоторые термины из нашего обихода. Кроме того, в этом отрывке я отступил от русской традиции переводить итальянские женские рифмы мужскими. Хотелось услышать, как звучало все это для уха современника.

Понятно, не все в моем переложении является буквальным слепком. Но вспомним Пастернака, лучшего нашего мастера перевода:

> Поэзия, не поступайся ширью,
> храни живую точность, точность тайн,
> не занимайся точками в пунктире
> и зерен в мере хлеба не считай!

Сам Микеланджело явил нам пример перевода одного вида искусства в другой.

Скрижальная строка Микеланджело.



[ИСТИНА]

Я удивляюсь, Господи, Тебе.
Поистине — «кто может, тот не хочет».
Тебе милы, кто добродетель корчит.
А я не умещаюсь в их толпе.
Я твой слуга. Ты свет в моей судьбе.
Так связан с солнцем на рассвете кочет.
Дурак над моим подвигом хохочет.
И небеса оставили в беде.
За истину борясь, ищу отдушин.
Деяний я хочу, а не словес.
Тебе ж милее льстец или доносчик.
Как небо к моим жертвам равнодушно —
так я плюю на милости небес.
Сухое дерево не плодоносит.

[ЛЮБОВЬ]

Любовь моя, как я тебя люблю!
Особенно когда тебя рисую.
Но вдруг в тебе я полюбил другую?
Вдруг я придумал красоту твою?

Но почему ж к друзьям тебя ревную?
И к мрамору ревную, и к углю?
Вдвойне люблю — когда тебя леплю,
втройне — когда я точно зарифмую.
Я истинную вижу Красоту.
Я вижу то, что существует в жизни,
чего не замечает большинство.
Я целюсь, как охотник, на лету.
Ухвачено художнической призмой,
божественнее станет божество!

[УТРО]

Уста твои встречаются с цветами,
когда ты их вплетаешь в волоса.
Ты их ласкаешь, стебли вороша.
Как я ревную к вашему свиданью!
И грудь твоя, затянутая тканью,
волнуется, свята и хороша.
И кисея коснется щек, шурша.
Как я ревную к каждому касанью!
Напоминая чувственные сны,
сжимает стан твой лента поясная
и обладает талией твоей.
Твои наряды — редкостно нежны.
Нежней объятий в жизни я не знаю...
Мои объятья в тыщу раз нежней!

[ГНЕВ]

Здесь с копьями кресты святые сходны,
кровь Господа здесь продают в разлив,
благие чаши в шлемы превратив.
Кончается терпение Господне.
Когда б на землю он сошел сегодня,
его б вы окровавили, схватив,
содрали б кожу с плеч его святых
и продали бы в первой подворотне.
Мне не нужны подачки лицемера,
творцу преуспевать не надлежит.
У новой эры — новые химеры.
За будущее чувствую я стыд:
иная, может быть, святая вера
опять всего святого нас лишит!

Конец.

Ваш Микеланджело в Туретчине.

[К ДАНТЕ]

Единственно живой средь неживых,
свидетелем он Рая стал и Ада,
где Справедливость правила Расплату.
Он, как анатом, все круги постиг.

Он видел Бога. Звездопадный стих
над родиной моей рыдал набатно.
Певцу нужны небесные награды.
Ему не надо почестей людских.
Я говорю о Данте. Это он
не понят был. Я говорю о Данте.
Он флорентийской бандой не сожжен.
Непониманье гения — закон.
О, дайте мне его прозренье, дайте!
И я готов, как он, быть осужден.

[ЕЩЕ О ДАНТЕ]

Звезде его слова наши — как дым.
Похвал, достойных Данте, так немного.
Мы не примкнем к хвалебному потоку.
Хулителей его мы пригвоздим!
Прошел он двери Ада, невредим,
пред Данте открывались двери Бога.
Но люди, рассуждавшие убого,
дверь родины захлопнули пред ним.
О родина, была ты близорука,
когда казнила лучших сыновей,
себе готовя худшую из казней.
Всегда ужасна с родиной разлука.
Но не было изгнания подлей,
как песнопевца не было прекрасней!

[ТВОРЧЕСТВО]

Когда я созидаю на века,
подняв рукой камнедробильный молот,
тот молот об одном лишь счастье молит,
чтобы моя не дрогнула рука.
Так молот Господа наверняка
мир создавал при взмахе гневных молний.
В Гармонию им Хаос перемолот.
Он праотец земного молотка.
Чем выше поднят молот в небеса,
тем глубже он врубается в земное,
становится скульптурой и дворцом.
Мы в творчестве выходим из себя.
И это называется душою.
Я — молот, направляемый Творцом.

ДЖОВАННИ СТРОЦЦИ НА «НОЧЬ» БУОНАРРОТО

Фигуру «Ночь» в мемориале сна
из камня высек Ангел, или Анжело.
Она жива, верней — уснула заживо.
Окликни — и пробудится Она.

ОТВЕТ БУОНАРРОТО

Блаженство — спать, не ведать злобы дня,
не ведать свары вашей и постыдства,
в неведении каменном забыться...
Прохожий! Тсс... Не пробуждай меня.

ЭПИТАФИЯ

Я счастлив, что я умер молодым.
Земные муки — хуже, чем могила.
Навеки смерть меня освободила
и сделалась бессмертием моим.

ЭПИТАФИЯ

Я умер, подчинившись естеству.
Но тыщи душ в моей душе вмещались.
Одна из них погасла — что за малость?!
Я в тысячах оставшихся живу.

[ФРАГМЕНТ АВТОПОРТРЕТА]

Я нищая падаль. Я пища для морга.
Мне душно, как джинну в бутылке прогорклой,
как в тьме позвоночника костному мозгу!

В каморке моей, как в гробнице промозглой,
Арахна свивает свою паутину.
Моя дольче вита пропахла помойкой.

Я слышу — об стену журчит мочевина.
Угрюмый гигант из священного шланга
мой дом подмывает. Он пьян, очевидно.

Полно во дворе человечьего шлака.
Дерьмо каменеет, как главы соборные.
Избыток дерьма в этом мире, однако.

Я вам не общественная уборная!
Горд вашим доверьем. Но я же не урна...
Судьба моя скромная и убогая.

Теперь опишу мою внешность с натуры:
ужасен мой лик, бороденка — как щетка.
Зубарики пляшут, как клавиатура.

К тому же я глохну. А в глотке щекотно!
Паук заселил мое левое ухо,
а в правом сверчок верещит, как трещотка.

Мой голос жужжит, как под склянкою муха.
Из нижнего горла, архангельски гулкая,
не вырвется фуга плененного духа.

Где синие очи? Повыцвели буркалы.
Но если серьезно — я рад, что горюю,
я рад, что одет, как воронье пугало.

Большая беда вытесняет меньшую.
Чем горше, тем слаще становится участь.
Сейчас оплеуха милей поцелуя.

Дешев парадокс, но я радуюсь, мучась.
Верней нахожу наслажденье в печали,
в отчаянной доле есть ряд преимуществ:

Пусть пуст кошелек мой. Какие детали!
Зато в мочевом пузыре, как монеты,
три камня торжественно забренчали.

Мои мадригалы, мои триолеты
послужат оберткою в бакалее
и станут бумагою туалетной.

Зачем ты, художник, парил в эмпиреях,
к иным поколениям взвивал свой треножник?!.
Все прах и тщета. В нищете околею.
Таков твой итог, досточтимый художник.

[СМЕРТЬ]

Кончину чую. Но не знаю часа.
Плоть ищет утешенья в кутеже.
Жизнь плоти опостылела душе.
Душа зовет отчаянную чашу!
Мир заблудился в непролазной чаще
средь ядовитых гадов и ужей.
Как черви, лезут сплетни из ушей.
И Истина сегодня — гость редчайший.
Устал я ждать. Я верить устаю.
Когда же взойдет, Господь, что ты посеял?
Нас в срамоте застигнет смерти час.
Нам не постигнуть истину Твою.
Нам даже в смерти не найти спасенья.
И отвернутся ангелы от нас.

Критика

С. ШЕРЛАИМОВА

ДУХОВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ — СОЦИАЛИЗМ

Заметки о современной чешской литературе

В мае 1975 года социалистическая Чехословакия празднует тридцатилетний юбилей. Чешская литература подходит к юбилею как литература социалистическая, следующая демократическим и революционным традициям отечественного культурного развития и в то же время — прочно вчлененная в мировую социалистическую литературу, проникнутая духом пролетарского интернационализма.

Социалистическая ориентация чешской литературы утверждалась новаторскими произведениями таких замечательных художников, как С. К. Нейман и В. Незвал, И. Ольбрахт и М. Пуйманова, В. Ванчура и Ю. Фучик, убедительно доказывая свою жизненность и плодотворность в нелегкой борьбе с многочисленными политическими и эстетическими противниками.

В настоящей статье речь пойдет о некоторых особенностях борьбы вокруг проблем духовной ориентации чешской литературы в послевоенный период, вновь задуматься над которыми побуждает рубеж тридцатилетия, и о тех достижениях, с которыми литература приходит к этому рубежу.

Литература делает выбор

На улицах Праги еще звучали выстрелы, советские солдаты, спасшие столицу Чехословакии от уничтожения, извлекали с чердаков и из подворотен последних фашистов, продолжавших оголтело стрелять в прохожих, обезвреживали мины, а рядом уже бурлила новая жизнь. И одним из первых ее проявлений были новые стихи.

«Я вспоминаю,— пишет в книге «Волшебный прутик» (1974)[1] работавший тогда в газете «Руде право» Й. Рыбак,— как поэт Витезслав Незвал с большой красной звездой на отвороте пиджака, возбужденный и запыхавшийся, примчался в «Лидовы дом» (помещение редакции.— *С. Ш.*) с только что написанным стихотворением:

Вступили, как войска из легендарных хроник.
Победа к нам пришла! Поют лады гармоник.
О песни русские, здесь каждый — ваш поклонник!»

(Перевод Д. Самойлова)

Поэзия схватывала настроение времени с точностью кинодокумента.

Детям впервые спокойно
На материнских руках.
Красные воины, красные воины
Едут на броневиках —

(Перевод М. Еремина)

такой запечатлелась Прага тех дней в стихах Франтишека Грубина.

Вместе с борцами-антифашистами революционная литература выходила из подполья, возвращалась из-за колючей проволоки концентрационных лагерей. «Самой главной книгой» возрожденной литературы стал «Репортаж с петлей на шее» Ю. Фучика, изданный Г. Фучиковой и Л. Штоллом осенью 1945 года. Эта книга — подвиг. Написанная в гитлеровском застенке во время кратких передышек между допросами и в ожидании казни, она показала истинных героев антифашистского Сопротивления, его исторический смысл — борьбу за социалистическое будущее, беречь радость которого завещал Фучик своему народу. Довоенная Чехословакия знала

[1] Рецензия на эту книгу опубликована в «ИЛ» № 12, 1974.

Фучика — пламенного коммуниста, автора ярких публицистических статей, вдохновенного оратора В «Репортаже» Фучик предстал как писатель мирового формата, открывший новые пути чешской прозы.

Ориентация на социалистический идеал, сложившаяся в революционной литературе межвоенного двадцатилетия и продолженная лучшими произведениями периода антифашистского Сопротивления, после победы над фашизмом получила поддержку в неизмеримо возросших симпатиях деятелей культуры и широкой общественности Чехословакии к советской культуре — культуре народа-освободителя.

Но приверженцы буржуазного миропорядка не собирались отступать без боя, в том числе и в области литературы, хотя они вынуждены были учитывать обстановку и до времени маскировать свои намерения. В вышедшем недавно романе Яромиры Коларовой «Мой мальчик и я» (1974)[1] есть сценка, очень точно схватывающая типичное «мурло мещанина» той эпохи. Обыватель рассуждает в очереди: «Освободили... Я у них этого не отнимаю, что освободили. Но зачем надо было ломать мои тюльпаны? Я с таким трудом доставал луковицы... Я понимаю: война — это война, но коли уж наступает мир, то почему же наехали на мой забор? Надо быть поаккуратнее».

Подобно этому владельцу тюльпанов реакционеры от эстетики пытались под видом заботы о цветах искусства преградить путь новым тенденциям литературного развития, обратить его вспять. И свою первостепенную задачу они видели в том, чтобы подорвать естественное и всеобщее тяготение к советской социалистической культуре.

Отлично понимая, что прямые выступления против советской литературы не могут найти отклик у широкого читателя, реакция избрала иную тактику. Пробуржуазные авторы охотно соглашались, что чехословацкий народ питает к СССР признательность, благодарность, даже восхищение, но все это они объясняли спецификой сиюминутной ситуации и делом общественно-культурных приличий. Вместе с тем, используя сложную квазинаучную аргументацию и сомнительные исторические параллели, они пытались доказать, что по своей духовной основе чешский человек есть-де человек «типично западный», то есть ему не могут подойти «восточные» — читай: социалистические — идеалы и духовные ценности.

В полемику с подобными теориями решительно вступили чехословацкие коммунисты. Л. Штолл в «Руде право» (август 1945 г.) последовательно оспаривал такую, как он остроумно писал, «метеорологическую» постановку вопроса: «Восток или Запад?» Штолл писал о единстве прогрессивной культуры мира, о том, что, например, такая явно «западная» страна, как Франция, тоже воспринимает культурные импульсы с советского «Востока», что «тот, кто механически ставит вопрос — Восток или Запад? — вовсе даже и не западник, а новый чешский консерватор (если не реакционер), который боится того великого дуновения исторического европейского духа, который на европейской почве созидает новую эпоху цивилизации и культуры и пробуждает народы к новой радостной и поистине творческой жизни»[1].

Для Штолла социалистическое, советское отнюдь не противоречило «европейскому», в социализме он видел наиболее прогрессивную тенденцию всей европейской культуры. Искусственной дилемме «Запад или Восток?» коммунисты противопоставили ориентацию на прогресс и социализм — против реакции в любом ее обличии.

Борьба в послевоенной чешской литературе вокруг проблем классового и общечеловеческого, национального и интернационального прошла несколько этапов, принимала различные, подчас очень драматические формы. Далеко не во всех случаях оппонентом коммунистов был буржуазный национализм примитивного, грубого толка. В конце концов, с явлениями такого порядка было всего проще справиться. Но антисоциалистические тенденции выступали и в виде весьма рафинированном, прикрытые красивыми словами об «абсолютной творческой свободе».

С поддержкой «западной» ориентации чехословацкой культуры на съезде чешских писателей, состоявшемся в 1946 году, выступил тогдашний президент Чехословакии доктор Эдвард Бенеш — этот «последний из могикан» масариковской буржуазной демократии. Весь пафос его речи сводился к призыву «освободить» литературу от социалистических идей, от коммунистической партийности. Однако этот призыв, как часто можно встретить и в выступлениях сегодняшних противников социалистической литературы, был преподнесен в виде проповеди «автономии искусства»: «При всей своей интимной связи с окружающей ее политической, социальной и экономической жизнью литература должна стремиться стоять над этой жизнью и в духовном отношении суверенно руководить ею. В литературные и вообще культурные проявления не может решающим образом вмешиваться ни одна партия или класс»[2].

В то время все лучшие силы чехословацкой культуры уверенно шли на сближение с Коммунистической партией Чехословакии, поддерживая ее курс на окончательный слом капиталистического строя, и авторитета Бенеша уже не хватало, чтобы подчинить литературу своим задачам. Именно тогда он взялся защищать ее от политических воздействий, но, как и его более поздние единомышленники, преследовал при этом единственную цель — оградить литературу от растущего влияния Коммунистической партии Чехословакии.

Культурной программе коммунистов, в которой верность прогрессивным отечест-

---

[1] Главы из романа опубликованы в «ИЛ» № 1. 1975.

[1] L. Štoll. Umění a ideologický boj. Praha, 1972, D.I., s. 18.

[2] Učtování a výhledy. Praha, 1948, s. 22.

венным традициям сочеталась с пролетарским интернационализмом, Бенеш пытался противопоставить свое толкование того, как чешская культура вписывается в контекст культуры мировой. От гуситской эпохи через Коменского к Национальному возрождению и затем к Масарику вел он «программу национальной традиции», которая, по его определению, заключается в триединстве: «чешскость — европеизм — общечеловечность». Следование этой программе, ставившей целью освобождение от «политических влияний», то есть от влияния коммунистов, и должно было, по Бенешу, обеспечить чешским писателям успешное выполнение их миссии — «служить мировой духовной экспансии нации».

Но в обстановке того времени пропаганда подобных идей уже не имела сколько-нибудь существенного успеха. Все большее число деятелей культуры сплачивалось вокруг Коммунистической партии Чехословакии. В их сердцах находили отклик ее ясные, реальные, глубоко гуманистические призывы помогать строительству народной республики, бороться за прочный и справедливый мир вместе с прогрессивными силами всех стран, вместе с Советским Союзом. Социалистический путь восприняли как единственно возможный и ветераны революционной литературы (С. К. Нейман, И. Ольбрахт, М. Майерова), и крупнейшие писатели межвоенного периода (В. Незвал, М. Пуйманова, Ф. Галас, В. Завада), и молодые литераторы, начинавшие писать в годы оккупации и после освобождения (Й. Кайнар, И. Скала, Я. Отченашек и многие другие). Чешская литература сделала свой выбор, и последующее развитие ясно подтвердило его верность.

Пересмотр не состоялся

Социалистическая направленность чешской литературы упрочилась после победы над реакцией в феврале 1948 года. Какое важное значение придавала партия проблемам культуры, показывает тот факт, что одним из первых крупных общественно-политических мероприятий, проведенных после февраля, явился созванный уже в марте 1948 года съезд национальной культуры. На съезде выступили К. Готвальд, З. Неедлы, Л. Штолл, которые убедительно доказывали, что социалистическая ориентация чешской культуры логически вытекает из прогрессивных тенденций всего ее развития.

Сплочение передовых сил чешской литературы, достигнутое под руководством КПЧ, сделало возможным создание единой творческой организации, которая была призвана направлять усилия писателей на помощь строительству социалистического общества и воспитание нового человека. В 1949 году был образован Союз чехословацких писателей, принявший программу социалистического реализма.

Этот важный шаг был подготовлен всей логикой литературной борьбы первых послевоенных лет, а также тем обстоятельством, что метод социалистического реализма уже имел в чешской литературе глубокие корни — как в творчестве революционных писателей межвоенного периода, так и в работах 30-х годов выдающихся критиков-марксистов: Б. Вацлавека, К. Конрада, Ю. Фучика, Л. Штолла.

Напомнить об этом необходимо потому, что впоследствии ревизионисты в области культуры рьяно стремились извратить историю, представить программу социалистического реализма навязанной чешской литературе извне и сводящейся якобы к набору готовых сюжетов и схем. На самом же деле принятие этой программы на I съезде чехословацких писателей (март 1949 года) отвечало насущным потребностям развития новой литературы. В трактовке социалистического реализма ведущие литературоведы и критики тех лет акцентировали задачу глубоко изучать жизнь, творчески подходить к ее отражению, выдвигали критерии высокого эстетического качества новой литературы.

Особая заслуга принадлежит в этом вопросе З. Неедлы, который незадолго до съезда писателей выступил со статьей «О реализме истинном и ложном». «Мы боремся,— писал Неедлы,— не за реализм вообще, а за социалистический реализм, так же как характер нашей действительности определяется борьбой за социализм, движением к социализму»[1]. Но вместе с тем — и в этом заключался главный пафос статьи, ратовавшей за полнокровное и высокохудожественное социалистическое искусство,— он категорически отказывался делать скидки на добрые намерения писателя, если они не нашли в произведении полнокровного художественного воплощения. Знаменательно, что и А. Запотоцкий, выступая на I съезде писателей с призывом создавать произведения о новой действительности, предупреждал писателей: «Нет ничего более негодного и вредного, чем ложная идеализация трудящегося человека»[2].

Неудивительно, что на первых порах в большой и сложной работе по новой организации литературного движения не обошлось без ошибок и перегибов. Не хватало квалифицированных кадров, кое-где кропотливую воспитательную работу с весьма неоднородной массой писателей пытались заменить административными мерами. Но с позиций сегодняшнего дня ясно, что, при всех недостатках и просчетах, в те годы было сделано очень много: были, по существу, заложены основы социалистического культурного строительства, в том числе и в области художественной литературы. Ревизионистские критики позже пытались представить наиболее характерными явлениями

[1] Z. Nejedlý. Z české literatury a kultury. Praha, 1962, s. 341.

[2] A. Zápotocký. O kultuře a inteligenci. Praha, 1956, s. 73.

литературы того периода, а заодно и социалистического реализма как метода, слабые, поверхностные «производственные» романы и лозунговые стихи, но 50-е годы вошли в историю чешской культуры прежде всего глубокими по мысли новаторскими романами Пуймановой, Ржезача, Сватоплука, Отченашека, вдохновенной поэзией Незвала, Завады, Кайнара, а некоторые поставщики ура-революционных стихов (например, П. Когоут) оказались впоследствии в лагере реакции.

Глобальная атака на социалистическую ориентацию новой чешской литературы была предпринята ревизионистами в 60-е годы, в обстановке роста тенденций общественно-политического кризиса. Ситуация сложилась так, что руководящие позиции в Союзе писателей сумела захватить группа политических авантюристов, которая стремилась превратить писательскую организацию и литературную печать в прямое орудие политической борьбы против социалистического строя Чехословакии.

На IV съезде Союза чехословацких писателей в июне 1967 года эта группа выступила с развернутой антисоциалистической платформой. Творческие проблемы на съезде не обсуждались вообще, съезд по существу не имел к литературе ни малейшего отношения, но он стал заметной вехой на пути наступления контрреволюции. Как констатируется в Постановлении пленума ЦК КПЧ от 11 декабря 1970 года «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии и обществе после XIII съезда КПЧ»: «Идеологическая борьба переросла в прямую борьбу за власть».

После разгрома контрреволюции необходимой мерой для нормализации положения в стране было прекращение деятельности прикрывавшейся маской Союза писателей реакционной политической организации, создание нового творческого объединения на прочной идейной основе, а также глубокая и всесторонняя критика ревизионистских концепций в области культуры.

Лидеры культурной реакции пытались выдать себя за открывателей новых горизонтов, за творческих марксистов, «обогащающих» и «очеловечивающих» марксистскую теорию и практику. Но стоит чуть повнимательнее присмотреться к их «новаторским» концепциям, чтобы обнаружить за ними давно известные построения, ничего общего не имеющие с марксизмом.

В арсенале тех средств, с помощью которых делались попытки подорвать основы социалистической культуры Чехословакии, одно из первых мест занимала вновь выплывшая на свет божий «метеорологическая» постановка вопроса «Запад или Восток?» с заранее известным ответом.

На IV съезде чехословацких писателей один из тогдашних руководителей Союза М. Кундера выступил с речью, представлявшей собой квинтэссенцию ревизии, направленной против традиций чешской социалистической литературы. Начинавший в 50-е годы как «молодежный» поэт, создававший вполне «заангажированные» произведения в духе тех лет и охотно получавший за них соответствующие премии, Кундера объявил теперь эпохой мрака и упадка все развитие чешской литературы с 1939 года, выделяя лишь последние четыре года — а именно вторую половину 60-х годов,— которые он охарактеризовал как невиданный расцвет. По его утверждению, единственным условием процветания чешской литературы является ее возвращение в «европейский контекст» и освобождение от «пустого пропагандизма», то есть от социалистической идейности; короче говоря, Кундера в огрубленном виде повторял зады масариковско-бенешевской концепции.

В его словах не было уважения не только к славным чешским революционным традициям, но и вообще к чешскому народу, известность которого в мире он связывал прежде всего с пльзенским пивом, а в «европейском контексте», по Кундере, не оказывалось места не только для «восточного» социализма, но и для марксизма вообще. При этом он заранее исключал самую возможность спора с подобной программой, с ее ревизионистско-модернистскими тенденциями: «Каждый, кто своим ханжеством, вандализмом, бескультурием, несвободомыслием ставит подножку развертывающемуся культурному развитию, подрывает самое существование этой нации» [1].

«...Не было и речи о литературе,— говорил о подобных «концепциях» Я. Козак в докладе на съезде Союза чешских писателей в мае 1972 года [2],— дело было лишь в политике антисоциалистической, реакционной направленности, для вида приукрашенной философско-эстетическим красноречием».

Антисоциалистический и антипатриотический — прежде всего именно антипатриотический! — характер построений Кундеры прекрасно вскрыл И. Тауфер. Отметая, по его точному образному выражению, «великую метель лжи», которая была поднята чешскими ревизионистами, Тауфер четко определил, в чем состоит основа не только европейского, но мирового значения культуры Чехословакии. Это — приверженность к самым прогрессивным идеям современности, освещенным светом Октябрьской революции: «...уже в межвоенные годы единственными истинными представителями чешского народа были вовсе не биржевые маклеры или члены правлений всевозможных картелей, разъезжавшие в международных вагонах по своим финансовым и политическим делишкам, не скучающие путешественники и путешественницы на знаменитых заграничных курортах, а революционный рабочий класс и идущие с ним мастера культуры, которые у себя на родине, а часто и за ее пределами, в международных масштабах вели общую борьбу, великую и прекрасную, против войны, против шовинизма, фашизма, империализма и колониального порабощения» [3].

---

[1] IV sjezd Svazu československých spisovatelů. Praha, 1968, s. 28.

[2] Опубликован в «ИЛ» № 9, 1972.

[3] Sjezd Svazu českých spisovatelů. Praha, 1972, s. 98—99.

Задачу борьбы за социалистический реализм вновь подтвердил в своих решениях состоявшийся в мае 1971 года XIV съезд КПЧ, на котором широко обсуждались вопросы культуры. В осуществление решений съезда в мае 1972 года был созван учредительный съезд нового Союза чешских писателей, который занял четкие партийные позиции, сыграв принципиальную роль в консолидации сил чешской социалистической литературы. В докладе на этом съезде Я. Козак, избранный председателем Союза, следующим образом охарактеризовал направленность современного литературного развития и возможности искусства социалистического реализма: «Марксистско-ленинскую концепцию художественного творчества мы принимаем как свою концепцию. Социалистический реализм для нас есть способ, которым литература отзывается на находящуюся в постоянном развитии жизнь социалистического общества, обогащает ее. При этом сам социалистический реализм с развитием жизни изменяется, обогащается и развивается. Если мы будем понимать его таким образом, наша новая социалистическая литература, ее содержание и форма всегда будут отмечены печатью современности».

Отбрасывая установки лидеров политической и культурной реакции периода 1968 года и продолжая свои лучшие традиции, современная чехословацкая литература прочно утвердилась на позициях марксистского мировоззрения и пролетарского интернационализма, о чем наглядно свидетельствуют новые художественные произведения чешских писателей.

Защитить человечность!

Если попытаться определить общий знаменатель негативных тенденций 60-х годов в области чешской культуры, то в первую очередь здесь надо говорить о неуважении к человеку. Сторонники пресловутого «социализма с человеческим лицом» по сути дела были откровенными антигуманистами. В литературе насаждался нравственный релятивизм, концепция изначальной низменности человека, которому якобы по самой его природе противопоказаны не только высокие стремления, но и неизвращенные чувства. Антигуманную концепцию отразила, например, эволюция прозы Я. Прохазки от ранних вещей, героями которых были реальные молодые люди, к психопатическим персонажам «Святой ночи» (1966), произведения М. Кундеры конца 60-х годов с их смакованием сексуально-натуралистических сцен, на которые он не жалел стилистической изощренности, и другие подобные произведения. Подчас человек вообще исчезал из литературы — оставались лишь словесные упражнения.

Когда перелистываешь сегодня страницы журналов и газет второй половины 60-х годов, то невольно ловишь себя на мысли, что хотя все это было сравнительно недавно и еще свежо в памяти, но кажется каким-то нереальным — настолько ясно обнажило время несостоятельность тогдашних литературных кумиров и сенсаций. Просто невозможно воспринимать сегодня всерьез восторги критиков по поводу заумных «текстов» В. Линдартовой, вымучивавшей опусы в духе западной «лингвистической» прозы, или же толкования якобы глубокомысленно кафкианских, а на самом деле примитивно антисоциалистических притч И. Климы.

Несколько лет, прошедших со времени кризиса, наглядно показали, что победа программы, которую провозглашал Кундера с трибуны IV съезда, была призрачной, мнимой. Широкий читатель оставался равнодушным к новомодным изыскам формы, к героям-неврастеникам, вырванным из реальной среды, отягощенным всевозможными комплексами.

Начало 70-х годов открывает новый этап в развитии чешской литературы, отмеченный закономерным возрождением социалистических идеалов, восстановлением преемственности с лучшими традициями литературы прошлых лет.

Выстраданная, мужественная человечность отличает сборник стихов «На пороге» (1970) одного из крупнейших чешских поэтов XX века Вилема Завады. Беды и боли мира поэт всегда чувствовал с особенной остротой, но он приемлет страдание лишь потому, что оно помогает яснее увидеть, вслух прокричать познанную правду, дабы она сослужила добрую службу людям. Верность народу, родине и поэзии сливаются у Завады воедино в любви к шахтерской Остраве, где он родился и вырос. Там и истоки его поэтики:

Резко и кратко говорят в моем краю
Наспех и горячо люди выкладывают
Что у них на сердце
Или же каждое слово отламывают как скалу
И поэтому они не бывают легковесными[1].

(«Черный сзади»)

В стихах Завады — интеллектуальная напряженность и в то же время глубокое искреннее чувство. Больше всего на свете он ненавидит равнодушие, приспособленчество, эгоизм. Через всю книгу проходит главная нравственная идея: полемика, необычайно актуальная для Чехословакии конца 60-х годов, с теми, кто личное благоденствие и карьеру ставит превыше чести и долга перед обществом. Голос поэта исполнен глубокой горечи, но он обретает патетическую силу, когда клеймит моральную нечистоплотность:

Только гад остается гадом и хребет не ломает в паденье
Сбросит и сменит блестяще холодную кожу.

(«Клубок змей»)

Заваде органически чуждо бодрячество, опыт большой, трудной жизни внушает ему спокойный и уверенный оптимизм, которым

[1] Здесь и далее стихи даются в подстрочном переводе автора статьи.

С. ШЕРЛАИМОВА
ДУХОВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ — СОЦИАЛИЗМ

пронизаны, например, его стихи, опубликованные в февральском номере журнала «Литерарни месичник» за 1974 год:

Никто не остановит то что созрело
к паденью
Никто не задержит то что рвется к
солнцу.

(«Трава на развалинах»)

Новые поэтические книги Мирослава Флориана «Инициалы» (1972) и «Верхом на кузнечике» (1974) составили лирические миниатюры, просто и одухотворенно раскрывающие «святую правду» о взаимоотношениях человека с природой, о любви, о доверии, о драгоценном чувстве солидарности.

Каплю за каплей кровь
терять на каждом стихе —
можно ли желать чего-нибудь больше?—

так видится поэту творчество, до конца отданное людям,—

чтобы вы набрали меня по дороге
как букет полевых маков.

(«В полях»)

Флориан пишет о цветах, снеге, дожде, о воробушке, с веселым чириканьем которого связывается у поэта представление о безоблачном счастье, но вы ясно ощущаете, что это стихи, написанные сегодня, пронизанные социалистическим гуманизмом:

В мое сердце,
общественное сердце,
планета входит со всеми пятью
континентами.
В нем выткана мирная резолюция,
но с хищниками оно говорит только
с позиции силы.

(«Кардиограмма»)

Чешская поэзия издавна славилась высокой гражданственностью, неразрывной связью с духовной жизнью народа. Эти черты вновь продемонстрировали проникнутые наступательным пафосом и верностью раз избранному пути произведения последних лет, принадлежащие И. Тауферу [1] и И. Скале, Й. Рыбаку и Д. Шайнеру. Свежо и актуально, перекликаясь с новыми гражданскими стихами поэта, звучат сегодня известные строки Тауфера из его «Сонета о неисправимом упрямстве»:

Ни разу не менял и никогда не стану
Менять симпатии, как моду или цвет,
Хотя пришлось изведать много бед
И даже хлеб порой бывал не по карману.
. . . . . .
Да, у меня причин стыдиться нет,
Симпатий не менял и никогда не стану.

(Перевод В. Николаева)

Очень важным для современной литературной ситуации является обращение к большим общественно-политическим темам поэтов молодого поколения. Прежде всего здесь можно назвать поэму «Февраль» (1973) Вацлава Гонса, посвященную осмыслению исторической победы чехословацких трудящихся над реакцией в 1948 году. «Приверженцы современной чешской поэзии,— писал в связи с выходом «Февраля» критик журнала «Творба» Й. Петерка,— могут с радостью констатировать, что она обогатилась ценным монументальным произведением гражданского характера».

В современной чешской поэзии отчетливо проявилось стремление к доходчивости, простоте, несущее в себе элемент спора с заумью и абстрактностью значительной части стихотворной продукции предыдущего периода. Стремление это — результат восстановления живительной для поэзии близости к народной жизни, к читателю.

Подобные черты характеризуют и чешскую прозу начала 70-х годов, в которой решительное преобладание получили реалистические тенденции, пафос социалистического гуманизма.

Моральному релятивизму прозы 60-х годов необходимо было противопоставить объективные критерии человеческих поступков и характеров — только на этом пути можно было вновь завоевать доверие читателей. Тот факт, что читатель буквально изголодался по произведениям о нормальных людях с нормальными взаимоотношениями, наглядно показал успех таких романов, как «Конечная остановка» (1971) З. Плугаржа и «Когда в раю шел дождь» (1972) Я. Отченашека,— при всей камерности их содержания.

Действие «Конечной остановки» Плугаржа происходит в среде весьма исключительной — в доме для престарелых,— но и здесь, как хорошо показано в романе, благородство остается благородством, подлость — подлостью, и только в коллективе, при взаимной поддержке и заботе, можно сохранить человеческое достоинство.

Отченашек в своем новом произведении рассказал о годе жизни молодых супругов — пражской учительницы Людмилы и доктора философии Петра, взявшихся своими силами восстановить некогда принадлежавший немцам заброшенный отель в лесистых горах чешского Пограничья. Людмила и Петр — обычные люди, которые любят друг друга со свойственной молодости горячностью, ссорятся, мирятся, вместе работают, переживают минуты очень трудные и взлеты яркого счастья. Несмотря на известную искусственность самого эксперимента с реставрацией отеля и отъединенность предложенного сюжета от перипетий современной жизни, освежающая «нормальность» героев в сфере их чувств и взаимоотношений, мастерство психологического рисунка обеспечили роману симпатии читателей. Но все же нельзя не согласиться с критиком В. Досталом, который полагал, что от автора «Гражданина Брыха» «...мы должны (и имеем право) требовать больше, чем он нам дает своей историей о том, что происходило, когда в раю пошли дожди».

Полемика с релятивизмом, утверждение незыблемости истинных человеческих ценностей отличают и новую волну исторической прозы — жанра, который всегда занимал в чешской литературе весьма важное место. Среди новых исторических романов, которыми богато начало 70-х годов, назовем

[1] Рецензия на две книги И. Тауфера опубликована в «ИЛ» № 1, 1975.

хотя бы «Преклони предо мной колена» (1971) Б. Ржиги, посвященный послегуситской Чехии, «У королев не бывает ног» (1973) В. Неффа, повествующий о событиях XVI века, и «Когда Европа танцевала вальс» (1974) М. В. Кратохвила, действие которого развертывается в канун первой мировой войны. Произведения эти разнятся выбором эпохи и героев, подходом авторов к материалу, стилистическими особенностями.

Роман Б. Ржиги сочетает в себе достоверное историческое повествование о начале восхождения на чешский престол князя Иржи Подебрада и, как писал критик Ш. Влашин, «грустный романс» о несбывшейся любовной мечте»; рассказ о разбитой интригами и междоусобицами любви княжеского дружинника и дочери предавшего Подебрада вельможи. Романтический мотив, связанный с молодыми влюбленными, дополнительно оттеняет суровость описываемого времени и его нравов, а авторская речь, в традициях исторической прозы В. Ванчуры, слегка стилизована под рассказчика — свидетеля событий.

«У королев не бывает ног» рецензент «Руде право» В. Рзоунек определил как «роман мюнхгаузенского и дюма-мушкетерского типа», подчеркивая вместе с тем, что Неффу удалось воссоздать атмосферу, которая «дышит средневековьем, но в то же время отражает и наш сегодняшний взгляд». Это книга о похождениях в Чехии и Италии сына пражского алхимика Петра Куканя, каждый взлет которого оканчивается поражением исключительно из-за верности, искренности и неискушенности героя. Роман написан в ироническом ключе, вообще свойственном его автору, расцвечен остроумными пассажами и отступлениями.

М. В. Кратохвил широко вводит в ткань своего романа подлинные исторические документы, дневниковые записи, переписку титулованных особ предвоенной Европы и создает целую галерею характерных фигур того времени — от рядового гвардейца до императора Франца-Иосифа.

Но при всех различиях, обусловленных творческой манерой каждого автора и особенностями избранного сюжета, названные романы объединены стремлением реалистически воссоздать прошлое и поставить на далеком материале важные для сегодняшнего дня вопросы взаимоотношения человека и истории, права и справедливости, совести и долга. Труден путь человечества: как часто зло и вероломство торжествовали победу, а благородные порывы оставались без вознаграждения. И все же — позор приспособленчеству, и дурному и жестокому, слава добру, идущему в бой!

Возрождение современной темы

Наиболее ощутимый урон ревизионистские конструкции 60-х годов нанесли литературе в области современной тематики. Ревизионисты стремились навязать обществу свое представление о нем, их литература, при всей своей широко рекламируемой аполитичности, была грубо тенденциозной, откровенно антисоциалистической. Так, небезызвестный Л. Вацулик в романе «Топор» (1966) изображал граждан Чехословакии игрушками в руках «манипулирующих» ими «инстанций», а Й. Едличка в книге «Жизнь на половине пути» (1966) с великим злорадством живописал грязь, мордобой и бескультурье в рабочем поселке, силясь доказать, что явления эти в новой Чехословакии непрерывно нарастают. Современная действительность в подобных книгах рисовалась угнетающей, враждебной человеку, люди — разобщенными, обреченными на взаимное непонимание. Отметая пагубное влияние ревизионистских концепций, чешская литература встала на путь возрождения контакта с подлинными героями сегодняшнего дня, с духовной атмосферой общества, успешно строящего социализм. Был взят курс на исследование современной жизни, на выявление новых черт человеческих характеров.

Одним из первых свидетельств позитивного сдвига в чешской литературе был выход в свет романа Яна Козака «Святой Михал» (1971)[1]. Этот роман посвящен восточнословацкой деревне рубежа 50-х и 60-х годов — тому периоду, когда трудное начало кооперирования уже осталось далеко позади. В соответствии с реальным положением вещей Козак показал современную деревню, в которой появились не только добротные дома с модной обстановкой и стиральными машинами, но и новые обычаи, и новые конфликты. С большим мастерством акцентируя комические моменты, он воспроизвел перипетии борьбы вокруг списка кандидатов на очередные выборы в местный совет, закончившиеся примирением «враждующих сторон», которые, по сути дела, одинаково болеют душой за судьбы родной деревни. Роман этот — веселый и остроумный, но он в то же время заставляет задуматься над весьма важными проблемами: над пережитками частнособственнических инстинктов, над нерешенным еще вопросом о полном использовании природных богатств, над воспитанием цыганского населения республики, над живучестью религиозных предрассудков. Вместе с тем «Святой Михал» — и в этом его большая актуальность в контексте чешской литературы начала 70-х годов — убедительно показывает необратимость движения чехословацкой деревни по пути социализма, помогает понять, почему агитация реакционеров против кооперативного хозяйства в 60-е годы практически не имела успеха.

Изображению чехословацкой деревни непосредственно в период политического кризиса 1968 года посвящен роман Богумила Ногейла «Большая вода» (1973). Действие его первой части происходит в начале 50-х годов, когда кооперирование делало первые шаги, наталкиваясь на активное сопро-

[1] Опубликован в «ИЛ» № 7—8, 1973.

С. ШЕРЛАИМОВА
ДУХОВНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ — СОЦИАЛИЗМ

тивление деревенских богатеев и глухую стену непонимания многих честных тружеников. И лишь после стихийного бедствия — наводнения, когда коммунисты проявили мужество, оперативность и заботу о потерпевших, дело пошло на лад.

Вторая часть романа представляет собой попытку отобразить кризисную ситуацию 1968 года. И хотя кое-где вместо художественного анализа дается простая констатация факта, значение этой попытки нельзя не оценить по достоинству. В романе показан разгул контрреволюционеров, подчинивших своему влиянию руководство районом и районную печать, растерянность некоторых застигнутых врасплох честных партийных работников, попытки бывших преступников реабилитироваться и взять реванш, массовый наплыв в чешское Пограничье западных немцев, мечтающих вернуть себе конфискованные владения. В эту необычайно трудную для страны пору проверяется на прочность кооперативный строй в деревне, и он с честью проходит через это испытание.

Незыблемость социалистического уклада современной чехословацкой деревни является тем самым «секретом», который объясняет появление целой новой волны чешской прозы. Этим произведениям чужды какое-либо мифическое «почвенничество» или же самодовлеющая тяга к деревенской экзотике. Процветающая кооперативная деревня как наглядное доказательство правильности избранного Чехословакией пути к социализму — вот что влечет сегодня писателей к «деревенской теме».

В деревне развертываются события, составившие сюжет нового романа Б. Ржиги «Доктор Мелузин» (1973). Здесь рассказана история столичного врача, который после 1968 года переходит на работу в провинцию, тяжело переживая распад семьи, вызванный эмиграцией его жены. В труде, в повседневном общении с жителями деревни Мелузин обретает новую веру в жизнь.

В сельской обстановке происходит действие и одного из первых после долгого перерыва чешских романов на рабочую тему — «Трудности равнин» (1973) М. Рафая, в котором речь идет о бригаде рабочих-мелиораторов, осушающих кооперативные поля в северной Моравии. В центре внимания автора — нравственные проблемы, столкновение трудового энтузиазма и рваческих наклонностей, показ психологии рядового работника и психологии руководителя. Проблематика эта — каждодневная, будничная, характерная для спокойного, ровного (отсюда — «трудности равнин») этапа в развитии общества, но в настоящее время она естественно приобретает ключевое значение.

В плане разработки проблем психологии современного человека надо отметить ряд новелл, вышедших в последнее время, например — «Как птиц заставить петь» из книги «Переступить собственную тень» (1974) Божены Роттеровой. Большой интерес читателей и критики вызвали новеллы Павла Францоуза, собранные в книгу «Такая тишина» (1974). Лучшие из них отличает мастерство композиции, мягкий, улыбчатый юмор. Знаменательно стремление писателя к поэтизации добра, благородных душевных движений, даже если они выступают в неброской, а подчас и нелепой оболочке. Трогателен впервые приобщающийся к радости коллективного труда цыган Густав, который «ради республики» крадет на соседней стройке бочку асфальта («Асфальт»), по-человечески понятен скромный паренек, который не может выразить свой восторг от внимания красивой девушки иначе, как встав на тротуаре на голову («Пьяный молодой человек в парке»)... Может быть, местами преобладает назидательность, сюжет порой не нов и сентиментален (например, в рассказе «Сколько цветов у радуги» — о мальчике, которого никто не хочет выслушать), но умение автора зафиксировать психологическое состояние, сжато очертить характер, четкость гуманистической позиции — все это дает основание ждать от П. Францоуза интересных книг.

Вглядываясь в прошлое

Сквозной темой послевоенной чешской литературы является тема второй мировой войны и антифашистского Сопротивления, открытая «Репортажем с петлей на шее» Ю. Фучика. В ее развитии можно проследить ряд этапов, которые характеризуют такие получившие европейскую известность произведения, как «Жизнь против смерти» (1952) М. Пуймановой, «Ромео, Джульетта и тьма» (1958), «Хромой Орфей» (1964) Я. Отченашека и др. Новые произведения чешской литературы на эту тему, созданные в самые последние годы, отличает акцент на морально-психологической проблематике. В этом смысле их можно отнести к той тенденции, которая была начата повестью Отченашека «Ромео, Джульетта и тьма», хотя в них отразился и опыт последующего развития чешской литературы.

Новый тематический пласт поднимает Мирослава Томанова в романе «Серебряная долина» (1970), повествующем о драматических военных буднях 1943 года группы связистов из знаменитой чехословацкой бригады Людвика Свободы.

Иржи Кршенек в романе «Дички» (1973) изображает валашскую деревню в конце второй мировой войны. Он обстоятельно выписывает устоявшийся сельский быт, необузданные характеры старого крестьянина Дрозда и его сына Михала, общую тягостную атмосферу того времени, разобщающую и коверкающую людей. И вот в соприкосновение с этим миром приходит носитель совершенно иных жизненных идеалов: в дом к Дроздам попадает тяжело раненный советский солдат. Писатель показывает, как после мучительных сомнений и колебаний они все же решаются оставить его у себя и выхаживают с большой самоотверженностью, поминутно рискуя жизнью. Финал романа печален: погибают все трое детей старого Дрозда: «Куда подевались Дроздовы дички?.. И какой это ветер их развеял?» Но

в их гибели есть просветляющий мотив обретения в схватке с врагом человеческого достоинства.

Зденек Плугарж в новом романе «Один сребреник» (1974) обратился к самому начальному периоду войны и оккупации, действие его происходит в лесистых горах Словакии, где впоследствии будет бушевать Словацкое национальное восстание. Как и у Кршенека, упор в романе сделан на колоритных характерах героев и психологической проблематике их взаимоотношений. В возглавляемой отчаянным Лацо Татаром партии лесорубов собрались семь человек, которых привели в горы не столько поиск заработка, сколько различные «неувязки» с вводимыми в Словакии фашистскими порядками.

К партии прибивается бежавший из протектората чех Мартин. Татаровцы принимают его с открытым сердцем, но когда на партию и всю округу обрушиваются несчастья и репрессии, начинают подозревать в предательстве. В конце романа невиновность Мартина становится очевидной, и он при поддержке татаровцев скрывается от идущей по пятам полиции. А в надежном укрытии ждет своего часа добытое Лацо Татаром оружие — оно пригодится в будущем.

Не все в романе удалось в равной степени. Так, изображение общей обстановки в Словакии не всегда достаточно увязано с основной этической проблематикой романа, не совсем ясна предыстория Мартина. Но писатель сумел передать своеобразную романтику труда и быта татаровцев и остро поставить вопрос о солидарности и взаимном доверии как важнейших принципах человеческого общежития.

В современной чешской прозе отчетливо проявляется стремление, обратившись к прошлому, исследовать корни людских характеров и вскрыть предпосылки и истоки современных конфликтов. Этой тенденцией отмечен уже упомянутый в начале статьи новый роман Яромиры Коларовой «Мой мальчик и я», получивший единодушное одобрение критики. «Коларова,— пишет в журнале «Литерарни месичник» Г. Грзалова,— создала в «Моем мальчике» свою лучшую, по крайней мере до сих пор, вещь». «Без преувеличения можно говорить о лучшем чешском романе последнего времени»,— утверждает В. Достал в «Творбе». «...Книга Коларовой,—пишет в «Руде право» Ш. Влашин,— одно из самых ценных достижений нашего прозаического творчества последних лет». Этот роман, начинающийся рождением вскоре после войны сына у героини, от лица которой ведется повествование, построен по принципу тематических и временных сдвигов. В свободную канву рассказа о том, как подрастает ребенок, вплетены воспоминания о длинной галерее предков и родственников героини. В ряде мест повествование, перебрасывающее читателя от современности в межвоенный период, из прошлого века — в годы оккупации, прерывается голосом мальчика, который, уже став взрослым, комментирует то, что написала мать. Подобная композиция уже прочно вошла в обиход романистов, но Коларова сумела придать ей нестандартный смысл и живость. Несмотря на обилие действующих лиц и дробность эпизодов, роман получился цельным, эмоционально напряженным.

Коларовой не свойственна сентиментальность. Она сдержанна, не пытается разжалобить читателя, хотя материал книги мог бы дать обильную пищу для мелодраматических эффектов. Ничего не приукрашивая, писательница не останавливается перед тем, чтобы воспроизвести грубую речь своих героев, окружающую их непривлекательную обстановку, болезни, немощи и пороки. Она пишет «жестко», судит сурово и категорически: «В какую-то долю секунды до меня доходит, что я принадлежу к потерянному поколению. Война затормозила наш рост, мы недостаточно зрелы и образованны для ответственной работы и слишком взрослы для юношеского энтузиазма. Мы бегуны, которые недостаточно тренировались: старших нам уже не догнать, а молодые обгонят нас». С отдельными высказываниями и обобщениями автора можно не соглашаться, можно отметить, что, к сожалению, изображение современности получилось у Коларовой бледнее, чем изображение прошлого. Но не в этом главное. Центр тяжести романа — и эстетический, и этический — в изображении прошлого как предыстории настоящего. Книгу пронизывает влюбленность в жизнь, горячая ненависть ко всяческой мертвечине—накопительству, чванству, равнодушию, современному мещанству.

Гражданин социалистической Чехословакии — наследник большого, сложного прошлого. Нельзя навязывать сегодняшнему дню устаревшие критерии, но надо быть верным лучшим традициям своего народа — таков пафос этого во многих отношениях примечательного романа.

Осмыслению традиций революционного прошлого Чехословакии посвящена книга воспоминаний известного критика и писателя Йозефа Рыбака. Он назвал ее «Волшебный прутик» — по сказке, которую рассказывал детям его отец, зарабатывавший плетением корзин. Волшебный прутик должен принести счастье. «Наверно, я его не найду,— говорил отец,— но, может быть, его найдете вы, когда станете взрослыми». Поиски своего места в жизни привели автора к революционному движению, к революционному искусству, и этот выбор дал ему ощущение жизненной полноты.

Чешская революционная литература, марксистская критика заложили высокогуманные традиции социалистической культуры. Нет более ответственного дела, более высокой чести, чем развивать и обогащать их. Уже в первое десятилетие после освобождения вопрос о духовной ориентации чехословацкой культуры был решен в пользу социализма, определилось генеральное направление литературного развития — социалистический реализм. По этому пути уверенно идет сегодня литература Чехословакии, отмечающая свое славное тридцатилетие.

◆

Критика

Н. ВАГАПОВА

ВЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ

О творчестве Марияна Матковича

Имя академика Матковича — драматурга, критика, неизменного редактора загребского литературного журнала «Форум», художественного директора театрально-музыкальных фестивалей в Дубровнике — широко известно в Югославии. Этот перечень далеко не исчерпывает разносторонней деятельности Матковича. В молодости он отдал дань увлечению поэзией (сборник «От тьмы к свету», 1936). Знаток отечественной и зарубежной живописи, он написал монографию о творчестве Питера Брейгеля (1950). Маткович часто обращается и к общим литературоведческим и искусствоведческим проблемам, к вопросам драматургии и сценического искусства. Так, очерк Матковича «Заметки на полях драматургии Крлежи» (1949) справедливо считается серьезнейшей работой, мимо которой не могут пройти исследователи творчества этого крупнейшего писателя Югославии.

В 1970 году Мариян Маткович, автор более чем двадцати пьес, постоянно идущих в югославских театрах, стал лауреатом премии Марина Држича, присуждаемой Союзом драматических артистов за лучшие пьесы. Маткович сумел соединить в своем творчестве продолжение национальных традиций и живое чувство нового. Его пьесы всегда современны по содержанию, даже если они посвящены событиям прошлого. Драматургу присуще обостренное чувство сцены. И в то же время драмы Матковича могут жить своей жизнью, вне сцены, как законченные литературные произведения. Невольно вспоминается завет, оставленный молодежи ветераном югославской сцены режиссером Бранко Гавеллой.

Предостерегая авторов пьес от чрезмерного увлечения попытками «написать театр», он говорил в статье «Путь к настоящему театру» (1956): «Легче перелить в театральную форму подлинную литературу, чем подделки под нее». Кстати, Гавелла, реформатор югославского театра, поднявший его на уровень высших достижений мирового искусства, был постановщиком одной из известнейших пьес Матковича — «В конце пути», которую он оценивал очень высоко. Премьера спектакля состоялась едва ли не раньше первого издания текста пьесы, и это очень типично для пьес Матковича. Они как бы одновременно входят и в литературную, и в театральную летопись. Поэтому в рассказ о Матковиче-драматурге хочется включить и наиболее яркие страницы из сценической истории его пьес.

На театральных афишах имя Марияна Матковича впервые появилось в 1935 году. Пьеса двадцатилетнего автора «Дело гимназиста Вагнера» была поставлена на сцене Национального театра в Загребе и имела большой успех. История душевных терзаний и самоубийства выпускника гимназии, чьи юношеские мечты не выдержали соприкосновения с жизнью, воспринималась в конечном счете как живая картина безвременья, наступившего в тридцатые годы в королевстве Югославия.

Буржуазно-монархическое правительство, перепуганное размахом революционной борьбы масс, развернувшейся под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции, жесточайшими мерами пресекало любые настроения, которые могли быть истолкованы как стремление «следовать русскому большевистскому примеру». Репрессии против коммунистов, преследования прогрессивной интеллигенции, ассимиляторская просербская политика правительства, оскорблявшая национальные чувства отдельных народов, экономические трудности — все это вызывало возмущение даже у тех, кто был далек от политики.

Ответом на проявления недовольства явилось усиление полицейского надзора и цензуры.

Советская литература была запрещена еще в начале двадцатых годов, а в годы, предшествовавшие второй мировой войне, из репертуара югославских театров исключались порой и классические произведения.

В 1932 году был отменен даже спектакль по исторической драме Гёте «Эгмонт», которым театр собирался отметить юбилей великого поэта,— видимо, власти опасались революционизирующего воздействия на умы зрителей пьесы, проникнутой пафосом борьбы за свободу.

Неудивительно поэтому, что восторженная реакция публики на пьесу Матковича, звучавшую как обвинение господствующему порядку вещей, стала вполне достаточным поводом, чтобы снять спектакль, сыгранный всего четыре раза.

Пьесой о гимназисте Вагнере драматург начал большой цикл драм, объединенных символическим названием «Хоровод смерти».

Полностью этот цикл был опубликован уже в Народной Югославии. Пьеса «В конце пути» (1954), завершающая цикл, выдвинула Матковича в первый ряд современных югославских драматургов. И вероятно, долгий путь к ней был необходим автору. Нужен был тщательный, почти анатомический анализ среды, в которой выросли его герои.

Цикл «Хоровод смерти» — свидетельство обреченности общественных устоев старой Югославии (пьеса «Смерть его превосходительства»). Пьеса «Хризантема» говорит о беззащитности красоты, которую ломает мещанство, вооруженное фашистской «моралью сильного». Пьеса «Трое» — о невозможности сохранить человечность и чистоту души среди всеобщего хаоса и грязи. Десять пьес (а среди них есть и крупные произведения, и небольшие одноактные драмы), объединенные общими героями, составили как бы первую главу биографии целого поколения, вступившего в жизнь незадолго до второй мировой войны. Для многих конец этой первой главы стал «концом пути». Но для тех, кто пережил войну, жизнь продолжалась.

Драма «В конце пути» единодушно была признана одним из лучших произведений на военную тему — а в Югославии о войне и партизанской борьбе написаны десятки романов, сотни повестей и рассказов, немало пьес.

В 1954 году по этой пьесе Матковича были поставлены одновременно два спектакля. В Загребе ею открыл свой первый сезон молодой театр, руководимый Бранко Гавеллой. В Белграде пьесой заинтересовался тогда еще начинающий режиссер Мирослав Белович. Ни в чем не отступая от текста и не нарушая авторского замысла, оба режиссера стремились — каждый по-своему—выделить в пьесе моменты, которые казались им наиболее существенными. Расчет с прошлым и размышления о будущем — эти два основных мотива пьесы Матковича нашли отражение в спектаклях. Храня память о страданиях тех, кто стал жертвой нравственного компромисса, автор не склонен к всепрощению. История расставила все по местам «в конце пути» людей, уступивших темной силе фашизма, слишком поздно прозревших и так и не доживших до победы,— эта мысль доминировала и в работах загребского и белградского театров.

Загребская постановка воспринималась зрителями прежде всего как беспощадный обвинительный акт недавнему прошлому — гнусной действительности прогитлеровского «Независимого хорватского государства». Стоявшие у власти этого марионеточного государства фашиствующие националисты—усташи — не уступали в зверствах оккупантам. Анализ историко-социологический и психологический в спектакле, как и в пьесе Матковича, тесно переплетались, дополняя друг друга. Спектакль передавал атмосферу хмурого рассвета, наступившего после долгой мучительной ночи. Страшными тенями прошлого выглядели в спектакле пособник фашистов генерал Лукич, усташский палач Франц Пуцельский и его офицеры. В соответствии с авторским замыслом режиссер исследовал психологические корни падения закономерного (как у Пуцельского) и невольного, бессознательного (как у Жарко Жупана и Неды Горски). Их падение было результатом душевной вялости, нерешительности, привычки к тому, что важные решения за них принимает кто-то другой. Тяжки были их физические страдания, но гораздо страшнее муки душевные. Не только больная совесть, но вдруг мобилизовавшееся в последнем порыве стремление сохранить и отстоять свое человеческое «я» руководило их поступками. Фашизм обличался в спектакле с нравственных позиций — как идеология, апеллирующая к самым темным, низменным сторонам человеческой натуры. Свет утра был ярким, чистым и безжалостным. При нем должна была начаться новая, иная жизнь, но главным героям пьесы в ней уже не было места.

В спектакле Югославского драматического театра преобладал точный анализ психологии персонажей. Одним из самых ярких образов в истории театра послевоенной Югославии стал Франц Пуцельский в исполнении Бранко Плеши. Актер расширил замысел Матковича, изобразившего Пуцельского человеком глубоко испорченным, садистом по натуре. Плеша подчеркнул связь Пуцельского с взрастившей его порочной социальной средой, придал его характеру цельность и законченность. Особое значение приобрел противостоящий усташскому полковнику Пуцельскому образ партизанского комиссара Рикарда Дорича Рикарда (роль его играл Иозо Лауренчич) не покидает ощущение ответственности за то, какой станет память о прошлом.

Н. ВАГАПОВА
ВЕРНОСТЬ ВРЕМЕНИ

Вначале недоверчивый и даже, кажется, недоброжелательный к своим бывшим друзьям, комиссар Рикард Дорич проявляет в воображаемом споре с умершими стремление всеми силами добраться до истины, восстановить события такими, какими они были в действительности, каждому воздать по справедливости. Рикард — натура благородная и гуманная. Он свято хранит память о своей любимой девушке, замученной фашистами, и это не ожесточает его, а, наоборот, делает более чутким к переживаниям других. При иных обстоятельствах финал драмы — решение Рикарда Дорича похоронить Жарко и Неду, помогавших партизанам, в одной могиле в парке под сосной — мог бы показаться банальным завершением любовной мелодрамы. Однако в пьесе Матковича это воспринимается как завершение спора, подспудно идущего между комиссаром, стремящимся разобраться в сложном случае, и командиром Иваном Брлеком, склонным с самого начала судить категорично и, как потом выяснится, не совсем верно. Позиция комиссара Рикарда Дорича яснее всего выражает и позицию самого драматурга. Дороже всего — правда, дорога правда о каждом, пусть незаметном на первый взгляд участнике борьбы за свободу.

Комиссар Рикард Дорич — один из самых удачных положительных образов в пьесах югославских писателей, посвященных событиям войны. Да и другим литературным жанрам в первое десятилетие существования народной власти свойственны были порой метания от черно-белых характеров и упрощенных сюжетов к попыткам истолкования событий народно-освободительной борьбы в духе экзистенциалистских концепций, навязывавших свои схемы. Особенно тяжело давались художникам характеры положительных героев.

Биографию Рикарда Дорича можно воссоздать отчасти по другим пьесам цикла, отчасти по репликам драмы «В конце пути». Дорич — интеллигент, вступивший в коммунистическую партию и посвятивший жизнь борьбе за освобождение народа. Не случайно к нему, как к высшему судье, взывают тени Неды и Жарко. Дорич известен среди товарищей своей справедливостью. Он не способен поставить личные интересы выше интересов дела. И в то же время у читателя драмы не возникает сомнений в жизненности и правдоподобии его характера. В ночь, когда войска Народной армии входят в освобожденный Загреб, член Главного штаба комиссар Дорич, поручив дела заместителю, уезжает в Мирковац, где его совсем не ждут и где в его присутствии, казалось бы, нет никакой необходимости. И только через некоторое время признается комиссар партизанскому командиру Брлеку, что он просто не в силах был остаться ночью один на один с загребскими улицами — ведь он всю войну мечтал, как будет гулять по ним со своей любимой. Но Эмма погибла, спасая от фашистов раненых партизан, и два года назад Рикард сам похоронил ее в горах...

На рассвете следующего дня Дорич, уже овладевший собой, уезжает в Загреб. Однако духовный кризис, пережитый им за ночь, помог ему вернее представить события, которые, вероятно, произошли в Мирковаце за полчаса до того, как в поместье вошли партизаны. Он пришел к выводу, что помощь, оказанная Недой и Жарко партизанскому командованию, достойна уважения, несмотря на то, что они временами проявляли слабость. Возможно, мы еще вернемся к этому случаю, несколько раз повторяет комиссар, хотя тут же замечает, что потом вряд ли найдется время. Сегодня важно определить отношение к этому и к другим подобным случаям, потому что память о прошлом формирует мораль будущих поколений.

Правота великого дела революции для автора и его героев незыблема и неоспорима. Именно поэтому важнее всего — правда. Нельзя рассчитывать на то, что несправедливость, допущенная нами сегодня, будет завтра исправлена кем-то другим. Завтра жизнь поставит новые задачи, ничуть не легче сегодняшних, и каждому, перед кем они встанут, придется вновь нести всю меру ответственности.

В 1958 году Маткович закончил новую драму в двух действиях, которую назвал «Ярмарка снов». Подзаголовок пьесы гласит: «Действие происходит в наши дни». Маткович был в те годы одним из немногих драматургов, пытавшихся непосредственно отразить современную действительность.

Все в этой пьесе прозаично, повседневно. Действие ее происходит в загребской коммунальной квартире, большую часть которой занимает семья скромного корректора Ивана Караса.

Жена Караса Вильма ведет хозяйство. Сын Владо — студент медицинского факультета. Дочь Нина преподает литературу в средней школе. Две каморки рядом с комнатами Карасов занимают их престарелые родственники — дядя Вильмы Антун и тетя Эльфрида. Приемный сын тети Эльфриды Крешо заканчивает юридический факультет. Пружина действия разворачивается медленно, не спеша, как и сама обыденная жизнь. И каждый поворот ее обнажает вторую, скрытую сторону жизни героев.

Иван Карас, в молодости напечатавший тоненькую книжку стихов, вот уже тридцать с лишним лет работает над многотомным романом «Гиганты». И хотя ни один том еще не закончен, Карас верит в свою писательскую звезду, а Вильма — поддерживает иллюзии мужа. Уверена Вильма и в том, что умирающая тетя Эльфрида, бывшая эстрадная танцовщица, оставит ей по завещанию свои бриллианты и тогда семья Карасов разбогатеет. У Владо свои иллюзии. Несколько лет назад он подавал большие надежды как футболист, но повредил колено. Занятия медициной ему противны, идти работать тренером он считает унизительным. Владо живет мечтой о том, что в один прекрасный день он вдруг поправится и начнет-

ся волшебная жизнь члена национальной сборной по футболу, с восторженными криками болельщиков, с поездками по всему миру. Нина, красивая девушка, пытается сниматься в кино, однако ее тип «женщины-вамп» не подходит для современной положительной героини. Нина тоскует, работа в школе ей неинтересна. Дедушка Антуан мечтает продать свои картины, видимо не представляющие никакой ценности, чтобы снимать отдельную квартиру, а не ютиться у родственников.

Единственный человек без иллюзий на этой «ярмарке снов» — Крешо Радович. Родители его погибли во время войны, и он считает, что обязан вернуть долг народной власти, давшей ему образование. Поэтому Крешо едет на работу в глухой район, где он будет нужен людям. В мыслях он уже далек от смешных мечтателей, остающихся со своими иллюзиями. Но так ли уж он спокоен, как это кажется вначале? И чувствует ли он себя вполне правым, порвав с Ниной, которую любит по-настоящему? Народный судья Крешо Радович хочет добросовестно исполнять свой долг, и его попросту пугает порывистая натура Нины, ее мечты, ее метания. Мы верим, что Крешо станет хорошим юристом, мы знаем, что он честный человек, но будет ли он счастлив?

Написанная в мягком, лирическом ключе, напоенная атмосферой старого Загреба, «Ярмарка снов» тем не менее не уводила читателя от острых нравственных проблем. Скорее наоборот: писатель стремился выявить их там, где текла внешне тихая, безмятежная, ничем не примечательная жизнь.

От следующей пьесы о наших современниках драматурга отделяет многолетняя работа над трилогией «Боги тоже страдают». Цикл включает пьесы «Геракл», «Прометей» и «Ахиллово наследие», представляющие собой обработку сюжетов античной мифологии. Для Матковича, как и для многих других драматургов, наступил новый этап поисков в решении современной темы. Известную роль сыграло здесь и влияние французской экзистенциалистской драматургии, с ее вариациями на темы античных сюжетов. И так же как «мифологические» пьесы французских драматургов-экзистенциалистов стали своеобразной хроникой нравственных исканий европейской интеллигенции сороковых — пятидесятых годов нашего века, трилогия Матковича «Боги тоже страдают» менее всего означала уход от современной проблематики. «Греческая мифология не является ни темой, ни сюжетом моих пьес,— подчеркивал тогда Маткович в беседе с корреспондентом газеты «Борба».— Мифологические мотивы служат лишь основой для свободной интерпретации тем, которые я считаю в общественно-этическом смысле наиболее актуальными, наиболее современными».

И действительно, мифологические сюжеты трилогии Матковича служили лишь отправным пунктом для вольной трактовки античных мотивов с точки зрения моральных проблем, которым намеренно придавалось некое всеобщее звучание. Например, ироническая трактовка мифа о Геракле, предложенная Матковичем, превращала героя древней Эллады в усталого, больного старика, ставшего жертвой легенды. На деле Геракл не совершил и половины приписанных ему подвигов, но любая попытка отказаться от них воспевалась как проявление скромности, украшающей героя. Так ничего никому и не доказав, Геракл погибал, с отчаяния бросившись в костер, зажженный в честь очередной будто бы одержанной им «победы», а слепые поэты затягивали песнь о его прекрасной смерти. Необычно и несколько насмешливо звучавшее название мифологического цикла—«Боги тоже страдают»—подчеркивало, что в ситуации Геракла, Прометея или тех, кто делит в пьесе Ахиллово наследство, автор видит не столько античных героев, сколько обычных людей. «Мифологические» драмы Матковича (а этому жанру в конце пятидесятых—шестидесятых годах отдали дань почти все ведущие драматурги Югославии) встретили разноречивые оценки критиков. Одни видели в обращении к древним сюжетам ничем не оправданное бегство от сложных тем современности. Другие, соглашаясь, что актуальные проблемы могут быть решены и на исторически отдаленном материале, упрекали Матковича в том, что он, быть может невольно, проповедует, например в пьесе о Геракле, модную теорию «дегероизации». Споры вскоре утихли, потому что театры и зрители, привлеченные возможностями «зашифрованных» драм, использовавших мифологические мотивы, довольно скоро в них разочаровались.

Мариян Маткович больше не возвращается к мифологическим сюжетам. Скорее всего, цикл о злоключениях античных богов сыграл роль временной дистанции, столь необходимого писателю отдыха от прямого соприкосновения с повседневностью.

Параллельно с последней пьесой о богах Маткович пишет драму о людях, о наших современниках — одну из самых острых и интересных своих драм. «Раненая птица», законченная в 1964 году, согласно авторской ремарке, представляет собой «фантазию в двух частях, трех картинах с прологом, интермедией и эпилогом». Это пространное авторское определение понадобилось не случайно. Даже столь опытному драматургу, как Маткович, нелегко было уложить все богатство недавних жизненных наблюдений в твердые рамки определенного жанра.

Десять лет прошло со времени выхода в свет драмы «В конце пути». Казалось бы, что общего между размышлениями комиссара Рикарда Дорича и историей о том, как была обнаружена крупная недостача товаров на складе экспортно-импортного предприятия «Фортуна»? Что связывает эту, на

первый взгляд, чуть ли не детективную пьесу с «Ярмаркой снов», осуждавшей бесплодные мечты? На самом деле между этими тремя произведениями Матковича о наших современниках существует глубокая внутренняя связь.

Подведены итоги войны. Трудности послевоенных лет остались позади. Персонажи «Раненой птицы» — люди, ни в чем не нуждающиеся, кроме... умения чувствовать, вспоминать, мечтать. Маткович вводит в пролог и эпилог «Раненой птицы» героя, названного весьма выразительно — «человек, который еще способен мечтать». Символичны имена этого персонажа и его жены — Адам и Ева. Драматурга уже не смешит, не раздражает «ярмарка грез», устроенная его героями. Нет, он очень хотел бы, чтобы возродилось племя мечтателей. Самая обеспеченная и внешне правильно устроенная жизнь скудна и однообразна, если она лишена духовного начала. Драматург подчеркивает это, вводя в лирико-психологическую ткань драмы откровенно сатирическую сцену в саду директора «Фортуны» Петра Марича.

Стандартизированные девицы Рина и Фина и их кавалеры Меки и Джеки шумно, но донельзя уныло развлекаются на вилле у своего приятеля Юрицы, сына Марича. Когда они наконец уезжают, в саду появляются Дама с веером и Господин в цилиндре, сошедшие со старинных портретов. Супруга товарища Марича приобрела эти портреты в антикварном магазине и теперь рассказывает гостям, что на них изображены ее знатные предки. Церемонная, не лишенная комизма беседа Дамы с веером и Господина в цилиндре еще резче оттеняет убогие, примитивные отношения друзей Юрицы.

Разорвать цепь повседневных дел и мелких забот, оглянуться вокруг, припомнить прошлое, заглянуть в глаза другу, задуматься о жизни — вот чего требует автор от героев «Раненой птицы», да, пожалуй, и от читателей. Не случайно драматург предлагает на выбор читателю два варианта финала. Один — благополучный — на тот случай, если генеральный директор «Фортуны» Петр Марич нашел время выслушать своего бывшего друга и фронтового товарища, ныне скромного заведующего складом Бартола Финка. И второй — трагический — на тот случай, если этого не произошло.

Как же все-таки было в действительности? Почему должна была появиться девушка Мария для того, чтобы все герои драмы, и правые и неправые, заново взглянули на свою жизнь? И кто она, эта таинственная Мария? Для Петра Марича она — прелестная девушка, пробудившая в нем воспоминания о партизанской юности, о товарищах. Для его сына — идеальная возлюбленная, заставившая его вдруг охладеть к «светскому» времяпрепровождению. Для жены Бартола Веры — двойник недавно умершей дочери. Для врача «скорой помощи» — по всей вероятности, исчезнувшая пациентка клиники нервных болезней. Для соседки Финков Барицы Краль — просто особа, живущая без прописки в соседней квартире. Так или иначе, таинственная Мария или кто-то подобный ей необходим всем героям пьесы независимо от того, по какой причине начинают они забывать о том, что когда-то составляло смысл их жизни,— из-за обилия важных текущих дел, как директор Марич, или от множества свалившихся вдруг откуда-то неприятностей, как Бартол Финк.

В пьесе есть символический эпизод с движущейся лентой эскалатора, вдоль которой проходит Адам в поисках старых друзей. Мимо Адама проплывают люди вперемежку с манекенами. Живой человек отличается от манекена тем, что способен на какое-то мгновение спрыгнуть с эскалатора повседневности и осмотреться вокруг. Маткович ценит в своих героях способность к интенсивной духовной жизни, к осмыслению собственного пути, к сочувствию чужой беде. Его любимые герои могут быть доверчивыми и смешными, даже нелепыми, но они всегда искренни и стремятся понять других.

Пьесы Марияна Матковича о послевоенном поколении не связаны ни сюжетом, ни героями. Но они, безусловно, связаны единой темой — размышлениями автора об этике человеческих отношений в строящемся социалистическом обществе. В этом смысле интересна авторская трактовка образа Петра Марича из «Раненой птицы». Бывший партизан, старый член партии, руководящий работник середины шестидесятых годов — так мы могли бы представить себе продолжение биографии комиссара Рикарда Дорича или командира Ивана Брлека из пьесы «В конце пути». Но Маткович отождествляет с ними только того Петра Марича, для которого было душевным потрясением осознать, что из-за его небрежности чуть не попал под суд ни в чем не повинный старый его товарищ Бартол Финк.

Юрисконсульт Хорват предупреждает генерального директора, что в результате своей излишней откровенности он может оказаться на скамье подсудимых рядом с Бартолом Финком. «Не в первый раз в жизни я оказался бы рядом с Финком,— резко отвечает ему Марич.— Вы говорите сейчас не с генеральным директором, а с товарищем Петром Маричем». Товарищ Петр Марич, по его собственным словам, «трудился как умел, всюду, куда его посылали, всюду, где он считал, что сможет послужить делу революции, делу социализма», но самолюбие его вовсе не страдает при мысли, что он уже не молод, что ему необходим отдых. «Это не дезертирство,— объясняет он Адаму,— я остаюсь тем, кем был,— солдатом социализма». Однако Петр Марич чувствует, что пришло время подвести итоги прожитой жизни, записать все, что сохранила память о борьбе, о товарищах, не доживших до победы. Не волнует его и то, что после ухода на пенсию придется вести более скромный образ жизни. Он тяготится недоразумениями, возникшими между ним и Бартолом, и решает выяснить их в откровенном мужском разговоре. Да, Рикард Дорич или его друг

Иван Брлек, окажись они в данной ситуации, поступили бы именно так.

Но есть и второй вариант развязки драмы, о котором упоминают в эпилоге Адам и Ева. В этом случае генеральный директор Марич поступает по-другому. Спасая репутацию экспортно-импортного предприятия «Фортуна», а вернее, свою карьеру, Марич жертвует Бартолом Финком, а для себя добивается перевода на новую должность. Адам и Ева огорчены этим, им кажется, что все было бы иначе, если бы Петр и Бартол встретились и поговорили. Как же можно помочь им? Адам и Ева подумают об этом завтра. «Завтра... завтра»,— такова финальная реплика этой драмы.

Люди, похожие на Марича и Финка, живут рядом с нами, и каждый подобный случай может быть решен так или иначе, но чаще всего откладывать решение нельзя — словно утверждает драматург.

Маткович настойчиво возвращается к своей излюбленной мысли об ответственности человека за свои поступки, о том, как важно обладать чувством реальности, ибо неотвратимая логика жизни разбивает самые, казалось бы, прочные иллюзии людей, и больнее всего им расставаться с иллюзиями о самих себе.

В последние годы Маткович увлеченно работает над историческим материалом. Здесь надо назвать пьесу «Генерал и его шут» (1970), в которой писатель обратился к обороне хорватскими войсками крепости Сигет, в 1566 году осажденной турками. Ирония и лирика переплетаются в рассказе о судьбе героя Сигетской битвы генерала Алапича, несколько лет спустя вынужденного против своей воли возглавить дворянскую армию, посланную на усмирение восставших крестьян. В пьесе ощущается грозная атмосфера большой крестьянской войны 1573 года. Нетрудно понять, что привлекло драматурга в облике героя его следующей пьесы, еще незаконченной,— о Руджере Бошковиче, хорватском ученом XVIII века. Физик и математик, астроном, автор трудов в области политики, литературы и археологии, неутомимый путешественник, Бошкович обладал беспокойным, пытливым умом. Зная, как дороги Матковичу эти свойства человеческого характера, можно предположить, что Бошкович станет одним из любимых героев драматурга.

И все же за Матковичем не случайно закрепилась репутация автора, пишущего преимущественно о современности.

Он отнюдь не избегает злободневных тем, порой даже намеренно заостряет ситуацию, используя современные сценические приемы. Точка зрения драматурга на происходящее всегда предельно ясна. Не полагаясь целиком на умение читателя улавливать мысли автора «между строк» монологов и диалогов, Маткович вводит в свои драмы пространные авторские ремарки-размышления. Каждая из них представляет как бы законченный отрывок лирической прозы — мысли автора о своих героях, о том, что им дорого и что безразлично, в чем они правы и в чем ошибаются.

Писатель не хочет упрощать сложнейший процесс формирования новой морали, новых этических форм, связанный с ломкой привычных, унаследованных от прошлого устоев и созданием социалистических общественных отношений. Драматург предостерегает от скороспелых выводов, от опрометчивых суждений о людях. Автор требователен к своим героям, но он всегда предоставляет им возможность высказаться до конца, а нам — понять их.

Маткович мягок и терпелив во всех случаях, когда речь идет о честных и добрых людях, пусть даже ошибающихся и заблуждающихся. Но его ирония беспощадна, когда речь идет о врагах революции. Мумии-генералы старой Австро-Венгрии, пытающиеся навязать народу рабство и милитаризм, их духовные сыновья — фашисты, палачи по призванию, типа Пуцельского,— эти сатирические образы теней прошлого из пьесы «В конце пути» стали хрестоматийными для послевоенного югославского театра. Здесь Маткович выступил как продолжатель традиций революционной драматургии Мирослава Крлежи, развенчивавшего австро-венгерскую военщину в своей классической драме «В лагере». Главной опасностью сегодня Маткович считает вырождающееся мещанство, мелкобуржуазную стихию во всех ее проявлениях. Приспособленец, выкрикивающий архиреволюционные лозунги, бездельник, прожигающий жизнь, бывшая партизанка, а ныне супруга генерального директора, скупающая стильную мебель «бидермайер», безжалостно осмеяны в пьесах Матковича. Его любимые герои могут быть счастливы и несчастливы — среди них есть люди, нашедшие себя или еще только ищущие, мечтатели и трезвые мыслители, но это всегда люди с чуткой душой и благородным сердцем.

Маткович — на стороне человека действия, ясно осознающего свое место в обществе, свою ответственность за происходящее, за то, чтобы чистыми и незапятнанными остались моральные идеалы народно-освободительной борьбы югославских народов. И мы верим в его героев. Верим, что они живут где-то на улицах Загреба, что они обязательно найдут свое место в жизни. Если не сегодня, то завтра. Завтра — непременно.

◆

Заметки на полях

МЕТАМОРФОЗЫ ПАЗОЛИНИ

Писать о Пьере Паоло Пазолини всегда нелегко. Во-первых, из-за широкого диапазона его творческой личности: он и автор нескольких романов, и плодовитый поэт, и литературный и кинематографический критик, и ученый-филолог... Его перу принадлежит множество статей и эссе по актуальным вопросам итальянской жизни, он постоянно участвует в дискуссиях, «круглых столах», диспутах. Наконец, в последние годы главным средством художественного самовыражения для Пазолини стало кино, и он по праву считается одним из самых интересных и дискуссионных кинорежиссеров Италии. А во-вторых, исследователю его творчества подчас просто не поспеть за эволюцией, которую претерпевают его идейно-художественные взгляды, политические симпатии и антипатии. Точнее, правда, было бы говорить не об эволюции, а о регрессе, движении вспять воззрений этого талантливого художника, а иногда о резких, неожиданных метаниях из стороны в сторону, в которых, однако, есть своя трагическая внутренняя логика.

Ниже мы коснемся последних высказываний Пазолини, вызвавших в итальянской печати острую полемику и которые явились поводом для наших заметок. Сами по себе идеи, им высказываемые, не столь оригинальны и серьезны, чтобы их опровержению уделять много внимания; однако они достаточно симптоматичны для того бегства в иррациональное, которое наблюдается на Западе среди части интеллигенции, в том числе и относящей себя к «новым левым». А главное — они тревожны и опасны, учитывая именно диапазон, талант, масштаб творческой личности этого своеобразного, щедрого художника, болеющего сердцем за судьбы своего народа, трагически не приемлющего капиталистическую действительность, занимающего в итальянской культуре свое особое место,— словом, представляющего собой все то, что называют и в шутку и всерьез «феноменом Пазолини».

Все творчество Пазолини, даже в самый ранний период (а он уже в начале 50-х годов получает широкую известность как романист, поэт, публицист, сотрудничающий в коммунистической печати), отличало трагическое восприятие жизни. Писатель с отчаянием говорил о том, что груз католического воспитания и буржуазной культуры тянет его назад, мешает стать настоящим революционером, слиться со своим народом. Груз этот он действительно никогда не мог сбросить окончательно, хотя и каялся в этом со всей предельной искренностью и душевной болью. Наиболее глубоко и откровенно Пазолини исповедовался в своих стихах, они—свидетельство противоречий, раздирающих душу поэта. «Я рожден из чрева мертвой матери.— писал он.— Я — сила прошлого, только в традициях — моя любовь». И тут же восклицал: «Я современнее самого современного!» В лучшей своей поэме «Прах Грамши» (1954), обращаясь к Грамши, он говорит:

Постоянно противоречу сам себе:
Я с тобой и против тебя. С тобой —
На свету, в своем сердце,
Против тебя — во тьме,
В черной глубине подсознания[1].

[1] Здесь и далее стихи даны в подстрочном переводе авторов этой статьи.

Но источником вдохновения поэта в те годы продолжала служить славная эпоха Сопротивления и антифашистской борьбы.

И надо всем полощут,
Спокойно, гордо веют
Красные знамена.
Боже мой! Эти прекрасные знамена
Сороковых годов!..
Трепещущий пламень
Героической нежности бессмертной эпохи.

Идеалы антифашистской борьбы, борьбы за демократию, против социальной несправедливости поддерживали Пазолини в его деятельности журналиста-публициста (в частности, он много лет подряд вел в коммунистическом журнале «Вие нуове» рубрику бесед с читателями), в его работе киносценариста, автора двух реалистических романов о жизни римских окраин — «Лихие ребята» и «Яростная жизнь», постановщика фильмов «Нищий», «Мама Рома», киноновеллы «Овечий сыр». Остросоциальный характер литературных и кинематографических произведений Пазолини, их антиклерикальная направленность побудили Ватикан внести их в свой печально знаменитый Индекс.

И вместе с тем уже тогда в творчестве Пазолини — от романов и стихов до кинофильмов — звучали христианские мотивы францисканства, жертвенности, обреченности. Герои его — римские люмпены, влачащие примитивное существование,— жертвы и парии буржуазного общества. Своими муками и гибелью они, подобно христианским мученикам, искупают грехи породившего их мира... «Программой действия» (и на будущее!) прозвучали стихи Пазолини «Распятие», в которых, говоря о своей трагедии, поэт писал:

...Нужно выставлять себя на поругание
(не этому ли учит бедный распятый Христос?),
Откровенность сердца оправдывает все глумления,
все прегрешения,
Все самые обнаженные страсти...

Мы будем выставлены на кресте,
Пригвождены к позорному столбу,
Под исполненными жестокой радости
Устремленными на нас взглядами...
. . . . . .
Мы будем живым свидетельством того,
Что происходит, порождая громкие споры
И привлекая к этому
Внимание людей...

Наиболее ярко стремление Пазолини слить коммунистические и христианские идеалы проявилось в его фильме «Евангелие от Матфея» (1964), но уже в следующем фильме-притче «Птицы большие и малые» (1964) поэт, самокритично поиронизировав по поводу своих идеологических колебаний, вообще отказывается от всякой идеологии, от всех и всяких «теоретических догм». Все глубже погружается он в мир подсознательного, в мрачные фрейдистские фантазии, болезненную эротику (например, в «Царе Эдипе», «Медее» и особенно в беспросветно-мрачных лентах «Теорема» и «Свинарник»). В стихах, наряду с мотивами тоски, отчаяния, звучат все громче анархистские ноты: «Ненавидьте! Уничтожайте мир добропорядочных людей! Только море крови может спасти Мир от его буржуазных мечтаний».

На гребне событий 1968—1969 годов, когда Пазолини с головой окунулся в стихию бунта молодежи, одно время казалось, что в движении контестации он обрел себя и может стать лидером итальянской «новой левой». Но опыт антифашистской и демократической борьбы 40—50-х годов, видимо, тогда помог художнику избежать экстремистских соблазнов. Правда, порвал он с левацкими иллюзиями довольно своеобразно: Пазолини выступил в печати со стихотворением, направленным против студентов — таких же буржуа, как и их отцы, которых он ненавидит,— и выражавшим симпатию скорее... разгоняющим их полицейским — сыновьям трудящихся... Вспыхнула дискуссия в печати, Пазолини выступал неоднократно, поясняя свою позицию. Уже тогда отмечалось, что он подходит к проблеме классовой борьбы с застывших, антиисторических позиций. Выступавшие на «круглом столе», проводившемся журналом «Эспрессо» (Витторио Фоа — один из секретарей Всеобщей итальянской конфедерации труда, Клаудио Петруччоли — секретарь Федерации коммунистической молодежи), справедливо говорили о том, что Пазолини «не понимает студентов, потому что он не понимает рабочих» и «не только не понимает рабочих, но и игнорирует их. Он делит человечество лишь на бедных и богатых».

В результате в 1968 году Пьер Паоло Пазолини остался в положении блестящего одиночества, подвергаясь критике как справа, так и слева. При этом создавалось впечатление, что ему такая ситуация отнюдь не не нравится: ведь привлекать внимание, «вызывать громкие споры» («провоцировать скандалы», как это называет в «евангельском» смысле сам Пазолини) всегда было программой и тактикой художника, излюбленным образом которого является отдавший себя на поругание Христос.

Но обратимся к нашим дням. На протяжении последнего года Пазолини неоднократно в различной форме высказывался по проблемам общего социального и полити-

ческого характера, волнующим весь мир, и по более частным вопросам, волнующим в первую очередь итальянцев. Сделаем попытку — отнюдь не претендуя на исчерпывающую полноту — проследить основные мысли, выраженные Пазолини в последнее время. И не только из желания — вернее, настоятельной необходимости!— полемизировать с ними. Ведь «размышления» Пазолини по поводу путей человеческого прогресса и движущих сил истории, хотя внешне и носят весьма абстрактный характер, по существу неразрывно связаны со всем контекстом итальянской культурной жизни и находят довольно непосредственное отражение в «продукции» этого ни на кого не похожего художника.

Скажем сразу: Пазолини в «теоретических» высказываниях не оригинален и вольно или невольно вторит тем, чьи идеи давно уже сданы в архив. Но иррационализм, пронизывающий его взгляды, ныне вновь возрождается во многих произведениях итальянской литературы и кино.

В начале декабря 1973 года Пазолини опубликовал несколько заметок-размышлений в буржуазных газетах и журналах, в частности — «Коррьере делла сера», «Темпо». В них писатель, жалея о старых добрых временах, говорит, что простые итальянцы

> «еще несколько лет назад относились с уважением к культуре и не стыдились собственного невежества... они гордились своей народной моделью неграмотных, потому что обладали тайной реальной жизни».

Ныне же — увы! — простой народ фамильярничает с культурой, потребляет ее в вульгарных формах технологической цивилизации. В своей тоске о прошлом и, возможно, в стремлении, как обычно, эпатировать читателя, Пазолини договаривается до того, что жизнь была «такой, как ее видишь в детстве», хотя жизнь эта протекала не где-то, а во вполне конкретных условиях фашистской Италии. «Что за прекрасная страна была Италия во время фашизма и сразу после него!» — восклицает писатель. Исконные формы жизни не менялись,

> «города кончались широкими аллеями, по бокам которых были установлены вазы и высились маленькие виллы или населенные беднотой большие дома, и ветер доносил прекрасные теплые запахи цветущих полей». Люди «были одеты в грубое и бедное платье» («заплатанное», но «чистое и выглаженное»), детей держали поодаль от взрослых, и даже воры и преступники «никогда не были вульгарны»...

В те «славные» времена, по словам впавшего в ностальгию писателя, даже войны были милыми и домашними, «как в школьных букварях». Армии «сталкивались на прелестнейших равнинах, на залитых солнечным светом горах», взрывы бомб и гранат походили на «фейерверк» и «солдатики падали так аккуратно, совсем как в немых «вестернах»... И еще и еще раз: прежняя Италия (то есть при фашизме!) была «незабываемой красоты и доброты», являла свою «поразительную, неповторимую крестьянскую красоту». Ныне же, сетует Пазолини, это страна «уродливых, бледных, невротичных» мальчишек, «жалких, невротичных эротоманов»...

Хотя подобная тоска по прошлому порождена, как это всем понятно, неприятием писателем настоящего, его глубоким отвращением к «обществу потребления» с «массовой культурой», безудержной гонкой за наживой, за максимальным комфортом, с бездушием и продажностью всего и вся, выглядит она весьма наивно и может вызвать лишь улыбку. Поэтому, как нам кажется, лучшая отповедь ностальгическим фантазиям писателя, словно позабывшего об ужасах фашизма и собственном антифашистском прошлом (брат его был доблестный партизан и пал на поле боя, антифашистские мотивы пронизывали все творчество Пазолини 50-х годов), была дана именно в форме иронической. В своей статье «Переметная сума нищего» в газете «Паэзе сера» писатель Эдоардо Сангвинетти остроумно высмеял ламентации Пазолини. Вот отрывок из его пародии:

> «О, как зелена была, однако, наша долина! И как милы были некогда люмпен-пролетарии! Я их прекрасно помню, живописных и оборванных, выраставших благодаря естественному отбору крепкими, как молодые дубы. Какая это была прекрасная раса! А как же иначе? Ведь все слабенькие и некормленые самоуничтожались еще в колыбельках. Те же, кому удавалось выжить — а их всегда было много,— были хорошие, хотя и бедные, но красивые, являли цвет нашего поколения, с железным здоровьем и в то же время с редкой грацией и с огромной жаждой жизни. Ах, наши «лихие ребята», какую вы вели «яростную жизнь»!»

В своих наивных по форме (вероятно, нарочито) сетованиях Пазолини искал спасения от неприятного ему настоящего, в котором он не видит ни одного светлого лучика, никакого просвета. Он купался в родной ему стихии диалекта (чаще всего фриуланского), что делало его маленькие стихотворные или прозаические «эссе» малодоступными для широкого читателя. Однако с каждым днем «плач» Пазолини звучал все настойчивее, пока не вылился в целую поэму-эссе, опубликованную в дискуссионном

порядке в «Паэзе сера». Тут уже излагалось целое «кредо», целая «политическая программа» писателя. Непосредственным поводом к опубликованию поэмы была беседа за «круглым столом», проводившаяся газетой «Унита» 23 декабря 1973 года: она была посвящена экономическому развитию Италии и «жизненным моделям».

Ответ, который писатель дал на поднятые вопросы, полностью деструктивен. Пазолини, по существу, отрицает тот факт, что рабочему и демократическому движению надлежит решать проблемы, стоящие ныне перед всем обществом: проблемы окружающей среды, народного здоровья, образования, старости. К чему решать эти проблемы ради общества, которое состоит из господ? «Сейчас они переживают трудности, неужели мы должны им протянуть руку?» Писатель-режиссер призывает вернуться назад, к нищете и разрухе — пусть на руинах «общества потребления» и «массовой культуры» возникнет мир невинности и чистоты. В этом новом мире в человеке возродится достоинство, он обретет свой неразвращенный опыт и лишь тогда сможет построить «подлинно коммунистическое общество». Нужно вернуться назад, в ту историческую эпоху, когда буржуазия еще не народилась, жить так, словно ее никогда и не существовало, а вместе с ней не существовали ни ее машины, ни её города, ни ее благосостояние: «Вернемся назад и, стиснув зубы, начнем все сначала!» — призывает Пазолини.

Но предоставим слово ему самому. В разделе «Что я оплакиваю» поэт говорит (даем подстрочный перевод):

«...Я обращаюсь к прошлому и плачу о бедных деревнях, об облаках и пшенице, о хмурых жилищах, о дыме, о велосипедах, о самолетах, проносящихся с громом в небе, о детях, которые смотрят на них, о сердечном смехе, о глазах, которые, глядя на мир, зажигаются любопытством без стыда и уважением без страха. Я оплакиваю умерший мир. Но я, оплакивающий его, не мертв. Если мы хотим идти вперед, то должны оплакивать время, которое больше не вернется, нам нужно сказать «нет» реальности, запершей нас в своей тюрьме... Ее создали господа, то есть классовые враги. Сейчас они переживают трудности, неужели мы должны протянуть им руку?»

Последующие строки проникнуты глубочайшим неверием в силы рабочего класса, в его способность преобразовать общество:

«...Та же сила, которая отучила рабочих улыбаться, лишила мир воли к революции. Тоска по благополучию, причем благополучию скорейшему, куда сильнее бога! У детей рабочих уже улыбки буржуев, неверие в свои силы, укоренившийся прочнее инстинкта конформизм, псевдоинтеллектуальные замашки, убогий снобизм, «свобода», дарованная им и превратившаяся в лихорадочную страсть — обладать. Как преобразовать изнутри буржуазную действительность с помощью нынешних рабочих?..»

В разделе, носящем странное название «Набросок для стихотворения по-лапландски», Пазолини вопрошает:

«Почему, если в потребительском обществе возникли проблемы окружающей среды или одиночества стариков, мэр-коммунист должен их разрешать? Путь развития,— пишет он,— определен капиталистическим обществом, достигшим зенита своей зрелости. Предполагать какие-либо пути развития — значит принимать капиталистический путь, хотеть его исправить, изменить, улучшить. Нет, мы не должны принимать такой путь развития». И недостаточно просто отказаться от того или иного «пути развития». Нужно отказаться от самого «развития»... Есть возможность «отступления», кризиса. Пять лет «развития» превратили итальянцев в слабонервных идиотов, пять лет нищеты могут вернуть им пусть жалкую, но человеческую природу. И тогда они — по крайней мере коммунисты — почерпнут силы из своего опыта; и если снова придется начать «развиваться», это развитие должно полностью отличаться от того, что было».

В лирическом «Отступлении» Пазолини рисует идиллическую картину будущего-прошлого:

«Мы увидим заплатанные штаны, багровые закаты над селениями, где не встретишь ни одной машины, но зато — множество молодых оборванцев, вернувшихся из Турина или Западной Германии. Старики станут хозяевами у себя дома и будут восседать, как сенаторы, в своих креслах; дети будут знать, хватит ли сегодня за обедом супа и сколько стоит кусок хлеба. По вечерам все погрузится во тьму, как при конце света, по ночам будет слышаться лишь стрекот цикад или раскаты грома, и, может быть, какой-нибудь парень (один из немногих, вернувшихся в родное гнездо) возьмется за мандолину. Воздух будет пахнуть сырыми лохмотьями... Города будут полны людей, идущих пешком, одетых в серое, затаивших в глазах мольбу — быть может, о деньгах, о помощи, но нет —

лишь только о любви... Маленькие фабрики... будут изо дня в день понемногу разрушаться... У бандитов окажутся детские лица, коротко постриженные волосы и глаза, наполненные тьмой лунных ночей, как у их матерей,— вооружены же они будут только кинжалами. Копыто коня коснется земли, легкое, как бабочка, и миру в тишине припомнится, чем он был и каким он станет. Но этого неореалистического фильма недостаточно. Мы отреклись от того, что в нем показано. Переосмысливать опыт стоит только для того, чтобы бороться за действительно коммунистический мир».

В заключительном «эскизе» или «наброске» Пазолини много раз подряд повторяет: «Так идти вперед нельзя». Он призывает итальянцев не давать своим детям буржуазное образование, не позволять буржуям строить для них дома, не допускать, чтобы буржуазная культура отравляла их души, а тела вживались в буржуазную цивилизацию. Поэт требует «вернуться назад и начать все сначала».

«Никаких компромиссов! — заканчивает Пазолини.— Вернемся назад. Да здравствует бедность! Да здравствует коммунистическая борьба за подлинное благо!»

Откровенно политическая тематика поэмы Пазолини требует отнестись к ней как к политическому документу и проанализировать предложенную в ней платформу. Платформа эта, как сразу подчеркивается в редакционном послесловии в «Паэзе сера», для итальянских коммунистов неприемлема. Также и за «круглым столом» газеты «Унита» был отвергнут такой «мистико-реакционный взгляд» на современное положение. Кто может поверить, что перспектива «пяти лет нищеты» будет принята людьми, лишь недавно выбившимися из нужды или лишь еще пытающимися из нее выбиться,— а ведь их миллионы! Разве может такая «перспектива» показаться им морально и политически целесообразной?!

Решительно критикуя и отвергая столь явно антиисторические и по существу реакционные фантазии Пазолини, коммунистическая печать вместе с тем проявляет большой такт по отношению к художнику. Ведь он излагает свои взгляды не в форме письма, адресованного в газету или в ЦК ИКП, а в виде «набросков» для стихотворений, своеобразных эссе и «исповедей». Поэтому наряду с политическим прочтением его «плачей», как указывает «Паэзе сера» в своем послесловии, озаглавленном «Поэт, искренность и политика», возможно и прочтение художественное:

«При таком прочтении текст Пазолини не сводится к конгломерату политических утверждений, но оказывается образным выражением отчаяния, тоски по человеческому существованию, гнева... Стихотворения Пазолини — это видение будущего, которое на самом деле представляет собой неистовое стремление бежать в прошлое... И если страна, к которой устремлена его фантазия, уже погибла, разрушенная временем, опустошенная людьми или временем и людьми вместе, и даже если она, обманчивое порождение памяти и отчаяния, вообще никогда не существовала,— все это не так важно, ибо не имеет никакого отношения к поэзии, для которой эта страна — реальность, и притом единственная.

Этим утверждением мы не пытаемся все свести к фактам частной, индивидуальной идеологии. Пазолини не только поэт и кинематографист, он — мыслитель и критик и, как таковой, является общественным деятелем. Естественно возникает вопрос, по какую сторону баррикады стоит Пазолини со своей программой?.. Нам кажется, что он скорее хочет быть «слева», хочет найти там не только среди отверженных, потерявших надежду бедняков, но и со стороны политических организаций сочувствие и поддержку своему гневу.

...Поэтов нужно принимать такими, какие они есть, но от них можно и должно требовать не только искренности, но еще и бдительности, ответственности за себя и за свои утверждения.

Предлагаемые им идеи, даже если мы с ними не согласны, заслуживают, по крайней мере, того, чтобы над ними поразмыслить, ибо они порождены чувством, которое даже отрицанию придает позитивный характер... Пазолини требует — и совершенно справедливо,— чтобы борьба за прогресс включала борьбу за «подлинное благо», за «необходимое благо», а не его мистификацию. Но этому требованию, по нашему мнению, полностью отвечает программа организованного рабочего движения, программа, призывающая к «новому пути развития», под которым понимается не «вариант» старого или, что еще хуже, простая его «реставрация», но полное его обновление, изменение, которое будет «шагом вперед», а не возвращением назад».

Ряд интересных критических соображений высказал в своей статье в газете «Унита» по поводу позиции Пазолини Роберто Романи.

«Было бы несправедливо по отношению к Пазолини пренебрегать причинами, породившими его стихи. Однако нам кажется,— пишет Романи,— еще бо-

лее неверным недооценивать мотивы, преобладающие здесь надо всем остальным,— мотивы идеологические и моралистские. В сущности, перед нами памфлет католического характера, направленный против современного общества».

Это замечание кажется нам весьма проницательным и глубоким. Действительно, в нынешней позиции Пазолини, пожалуй, не меньше католического «францисканства» вполне в духе его прежних воззрений, чем левацкой, анархистско-маоистской фразеологии.

«Разумеется,— продолжает Романи,— исходные посылки этого памфлета и его выводы неприемлемы для тех, кто стоит на позиции последовательного материализма. Коммунисты, особенно в такой стране, как Италия, вступившей на путь массового производства, видят в социализме б о г а т о е общество, в котором производительные силы достигли максимального уровня развития и где осуществляется необходимый контроль над производством и распределением богатства, что является единственным путем достижения «действительного блага». Мы не можем согласиться с тем, чтобы рабочее движение поставило перед собой задачу возврата назад. Прошлое рабочих и крестьян — это не «память» или фон для режиссера. Гнет, нищета, эксплуатация, реакционное насилие — такова подлинная история формирования трудящихся классов и каждой отдельной личности, история, продолжающаяся и поныне в условиях нашего общества. Словом, это еще активная, живая история».

Говоря о тенденции бегства от реальности, наблюдаемой среди части итальянской интеллигенции, Романи называет в качестве одной из его причин

«ликвидацию прежнего статуса интеллектуального труда и придание ему массового масштаба. Этот переход часто воспринимается как утрата определенных ценностей, как кризис. ...Бессилие, порожденное конкретными условиями бытия, оборачивается бессилием универсальным. Политика и наука, беспощадно призывающие к эмпирическим проверкам, изгоняются, как призраки: долой политику, долой науку! Начинаются мечты об аркадии, в которой не будет товарного производства и где будет править поэт. Современное общество, безжалостно уничтожающее последние порывы тоски по исчезнувшим мирам и полностью лишенное всяких иллюзий, рассматривается в целом как негативная тотальность, неопределенная и не поддающаяся выражению. Вместо анализа его реальных противоречий пытаются использовать ничего не объясняющие идеологические отмычки. Более того, фетишизация определенных категорий (власть, господство и т. д.), лишенная историчности, служит лишь поддержкой господствующей идеологии. И то, что претендует на абсолютное отрицание системы, приводит к абсолютизации ее законов, то есть помимо воли автора превращается в апологию системы».

Прислушаться к доброжелательной и проницательной критике Пазолини, однако, не пожелал, хотя неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что стремится выступать единым фронтом с левыми силами. От элегического оплакивания «золотого века» поэт-режиссер постепенно скатывается к настолько путаному и безответственному витийству, что подчас его высказывания просто неловко квалифицировать тому, кто еще хранит некоторый пиетет в отношении Пазолини-художника, кто помнит о его многолетней деятельности прогрессивного публициста. По каждому случаю Пазолини высказывается (чаще всего на страницах буржуазной прессы) многословно и путанно, имеет «собственную» точку зрения по любому вопросу политической и культурной жизни. Летом прошлого года полемика с Пазолини вспыхнула в левой печати с новой силой: поэт-режиссер изложил свою позицию по двум самым острым в тот момент вопросам итальянской жизни — по поводу результатов референдума о разводе и в связи с фашистской провокацией в Брешии.

Как известно, референдум, навязанный стране реакционными силами с целью отменить с таким трудом завоеванное демократическим большинством право на расторжение брака, окончился убедительной победой левых. Проба сил обернулась очередным поражением тех, кто ее затеял,— клерикалов и неофашистов. Однако в своем «выступлении» с «Открытой трибуны» в правой газете «Коррьере делла сера» Пазолини брюзжит по поводу того, что победа левых, мол, недостаточна, ничего не меняет, ибо власть по-прежнему остается в руках тех, у кого она была до референдума. Кроме того, говорит Пазолини, какой вообще смысл побеждать, если победившие вместо утраченных ими «традиционных ценностей» приобрели иные духовные ценности, вызывающие лишь отвращение,— «гедонистскую идеологию потребления, модернистскую терпимость американского типа»? Вместо реальной политической схватки между силами прогресса и клерикального обскурантизма, каким явился референдум 12 мая 1974 года, Пазолини видит в нем некое абстрактное столкновение между Добром и Злом, между двумя образами мышления и т. д., мифологизирует конкретную политическую обстановку, максималистски «соглашается» лишь на «триумф», но не на просто «победу» демократического лагеря в его повседневной борьбе.

Также широко известно, что волна народного возмущения, поднявшегося в Италии после фашистской провокации в Брешии, где от взрыва бомбы пострадали участ-

ники массового митинга, ознаменовала начало более решительной борьбы со стороны органов власти с угрозой возрождения в Италии фашизма. Взрыв бомбы в Брешии явился каплей, переполнившей чашу народного терпения,— именно в результате единых, солидарных действий трудящихся и их организаций был дан ход расследованию попыток государственного переворота, замышленного неофашистами. Как же отозвался на взрыв в Брешии эстетствующий путаник, как все чаще называют Пазолини в Италии?

И в этом вопросе болезненное стремление во что бы то ни стало сохранить верность схеме своей концепции «антипотребительства» и категорического отрицания «массовой культуры» в ее современных формах приводит Пазолини к тому, что в его рассуждениях реальное различие между фашизмом и антифашизмом, между фашистами и антифашистами тонет в словесном тумане. Каким силам на руку такое «стирание различий», указывать не приходится, особенно в настоящий момент активизации в Италии старых и новых фашистских элементов.

Антифашистское возмущение после событий в Брешии вызывает у Пазолини пренебрежительную усмешку. Он видит в этих событиях не проявление классовой и политической борьбы, а лишь столкновение между жертвами процесса «культурной гомологизации», то есть уравнивания, в результате которого теперь в буржуазном обществе якобы «унифицировано» все и вся, все люди стали похожи друг на друга, даже физически. Фашистского террориста не отличишь от представителя левой внепарламентской оппозиции. Виной тому все та же причина — Власть, которую Пазолини наделяет чуть ли не мистическим могуществом.

> «Образец, по которому воспроизводятся итальянцы, всегда один и тот же», поэтому «больше не существует сколько-нибудь значительного различия — за исключением политического выбора в виде мертвой схемы, которую нужно, жестикулируя, заполнить подобно бланку — между любым итальянским гражданином-фашистом и любым итальянским гражданином-антифашистом».

(Пазолини, видимо, считает не слишком важным сам факт этого «политического выбора» настолько, что он говорит о нем иронически). Молодые итальянцы, заканчивает поэт-режиссер, не только одинаково развлекаются и одеваются, независимо от того, фашисты они или антифашисты,— у них даже одинаковые «лица», «соматические данные»...

Этому выступлению Пазолини дает отповедь на страницах «Униты» коммунист-публицист Маурицио Феррара. Он прежде всего указывает, что смутная ностальгия по утраченному золотому веку странным образом роднит ныне тех, кто выступает с левацких, экстремистских позиций, и тех, кто представляет интеллигенцию самого махрового реакционного толка.

> «Нельзя жить, без конца оглядываясь назад, отрицая всякую закономерность социальных перемен в силу того, что речь идет о событиях, которые, происходя в рамках капиталистического строя, сопровождаются издержками и противоречиями,— говорит Феррара.— Пазолини ищет выхода из переживаемого им регрессивного кризиса, приписывая все трудности существованию непобедимого Чудовища-Власти, стоящего вне классов Молоха».

Феррара добавляет:

> «Мы не хотим сказать, что Пазолини стремится помочь «чудовищам» фашизма. Однако мы говорим, что, по существу отрицая политическую конкретность и трагическую актуальность их существования, он в конечном итоге приходит к тому, что просит нас их не замечать».

Антиисторизм, идеализм Пазолини приводят в его «теоретических» высказываниях, так же как и в художественной практике (в настоящее время это преимущественно фильмы), к вульгарному материализму, к самому грубому натурализму.

После выступлений, о которых мы упоминали выше, Пазолини сосредоточил свое внимание на всегда болезненно привлекавших его проблемах пола. Оплакав прошлое, отвергнув настоящее и не видя будущего, поэт-режиссер утверждает (в своем выступлении на состоявшейся в Болонье конференции на тему «Эротизм, Разложение, Товар»), что

> «в момент глубокого культурного кризиса (конец 60-х годов), который заставил (и заставляет) поистине думать о конце культуры... мне кажется, что единственной сохранившейся реальностью является реальность человеческого тела».

В соответствии с подобными «теоретическими» воззрениями Пазолини населил свои последние фильмы архаичными, живущими как бы вне конкретной исторической действительности персонажами — они пришли в его творчестве на смену столь же внеисторическим люмпенам из ранних произведений. Он искал и ищет своих героев в разных сферах — христианской, экзистенциальной, архаической, экзотической, на дне и вне

жизни. но только не среди своих современников-итальянцев, не среди тех, кто является подлинной движущей силой Истории. Также в соответствии со своими взглядами он делает последние фильмы предельно эротическими, переполняет их натуралистическими деталями самого откровенного, подчас отвратительного характера. Мы не собираемся здесь анализировать огромную трилогию Пазолини — экранизацию «Декамерона» Боккаччо, «Кентерберийских рассказов» Чосера и арабских сказок «1001 ночи». Это совсем другой разговор. Не ставя под сомнение безусловную художественность этих масштабных кинофильмов, мы хотим лишь подчеркнуть нерасторжимую связь между ошибочными «теоретическими» построениями Пазолини и его художественной практикой — пожалуй, это единственное, в чем он последователен! И об этом, вероятно, не следовало бы забывать всем критикам — и итальянским, и нашим, пишущим о фильмах Пазолини и столь часто отрывающим анализ изобразительных средств, несомненно, впечатляющих, от таящихся под пышными одеждами и экзотическим антуражем глубочайших, поистине трагических заблуждений этого большого художника.

Пазолини выступает убежденным поборником эротики не только в своих фильмах, но и в критических статьях в защиту эротических фильмов других режиссеров. Например, по поводу наделавшего много шума фильма Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже», который конфискован за эротизм в Италии, но идет во многих других странах, Пазолини заявляет, что

> «все показанные в этом фильме сексуальные отношения (которые вульгарные люди считают порнографическими) являются в е с ь м а поэтичными».

И еще раз уточняет: да, именно эти «псевдопорнографические» сцены и придают фильму Бертолуччи в целом поэтичность, делают его произведением искусства. Пазолини-кинокритика приводит в восторг и фильм Лилианы Кавани «Миларепа», посвященный буддийскому средневековому монаху-йогу и философу — его религиозно-мистический характер, его герой, познающий себя и свое тело, столь же архаичный и далекий от современной действительности, как и герои самого Пазолини. Искать в статьях Пазолини-критика поддержку, например. прогрессивному направлению «политического кино» Италии, конечно, напрасно...

И в заключение еще одно наблюдение: так же, как францисканский или анархический идеализм Пазолини неожиданно выливается в свою кажущуюся противоположность — вульгарный, грубый материализм, а на экране — в бесконечные сексуальные и натуралистические сцены, его столь громко провозглашаемый протест против «массовой культуры» буржуазного «общества потребления» неожиданно выливается в одно из самых прибыльных предприятий этой самой «массовой культуры»: эротические, далекие от окружающей жизни фильмы Пазолини тешат буржуазную публику (тех самых «невротических эротоманов», которых он клеймил), делают колоссальные сборы. Эротика, бегство от действительности — это как раз то, что нужно сегодня Чудовищу-Власти... В потребительском обществе даже протест художника «интегрируется» и превращается в ходкий товар. Тем более когда этому помогает безответственная и путаная позиция самого художника, претерпевшего за последние годы слишком много метаморфоз и сохранившего неизменным лишь далеко не самое лучшее, что у него было,— трагическое ощущение мира и неверие в здоровые, активные силы, стремящиеся к его обновлению.

Г. БОГЕМСКИЙ
А. БОГЕМСКАЯ

Публицистика

СТАНИСЛАВ ЛЕМ

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

Фрагменты из книги

Перевод с польского Э. ГЕССЕН

Имя Станислава Лема не нуждается в рекомендациях — большая часть его произведений появилась в русском переводе, их знает и высоко ценит громадная читательская аудитория, так что в принципе можно бы обойтись и без предисловий. Но данная публикация все же нуждается в некоторых разъяснениях — и вследствие того, что это лишь небольшая часть (примерно четверть) книги, вышедшей в Польше под названием «Идеальный вакуум», и вследствие необычного характера этой книги.

Читатели и почитатели Лема знают, что творчество его, уникальное во многих отношениях, поражает также широтой жанрового и стилевого диапазона. Возвышенная философская трагедия «Соларис» соседствует в нем со «Звездными дневниками Ийона Тихого», повествующими о необычайных приключениях «космического Мюнхгаузена»; предельно «реалистичное», детализированное изображение фантастической обстановки и психологии героя в серии рассказов об астронавте Пирксе сменяется гротеском и стилизацией под фольклор в «Сказках роботов» и «Кибериаде», где говорится о мирах, населенных роботами, и о гениальных киберконструкторах Трурле и Клапауциусе; вперемешку с повестями, рассказами, телевизионными пьесами, блещущими богатством и оригинальностью фантазии (вспомним хотя бы «Возвращение со звезд», «Эдем», «Непобедимый» или «Вторжение с Альдебарана», «Экспедицию профессора Тарантоги»!), все чаще появляются философские труды («Диалоги», «Сумма технологии», «Философия случайности», «Фантастика и футурология»), по поводу которых возникают в среде ученых оживленные дискуссии — причем с автором говорят абсолютно «на равных», без малейших скидок на дилетантизм.

Это долголетнее сосуществование науки и искусства в творческой деятельности Лема естественно привело к неким новым, гибридным формам авторского самовыражения (хотя вообще-то научная фантастика тоже «гибридна» по существу, так как является органическим сплавом научного и художественного анализа). И действительно, уже «Голос Неба» сам Лем называет в авторском предисловии «гибридом», «результатом некоего эксперимента». Однако «Голос Неба» все же сохраняет основные признаки романной формы, в том числе и сюжетную остроту, хотя порождают эту остроту не внешние события, а подспудная «драма идей». Даже «Голем XIV» (в книге «Мнимая величина», 1973) при всей своей оригинальности мог бы сойти за фрагмент философского романа. Но произведения, из которых составлен «Идеальный вакуум», как и большая часть последовавшей за ним книги «Мнимая величина»,— рецензии на несуществующие произведения, предисловия к несуществующим научным трудам, речь по случаю присуждения Нобелевской премии за несуществующее научное открытие,— практически невозможно привязать к каким-то традиционным художественным формам. Тем более что рецензии, предисловия, речи не принято числить по рангу искусства...

Эта непривычность формы поначалу просто ошеломляет, вызывает внутреннее сопротивление: да зачем это — целая книга лжерецензий? Для шутки слишком уж громоздко! Но прочитываешь на выборку одну «лжерецензию», потом другую — для проверки впечатления от первой,— втягиваешься и читаешь уже все подряд, с самого начала.

Тогда обнаруживается, что в книге есть предисловие, вполне соответствующее ей по форме: рецензия на «Идеальный вакуум», причем вовсе не хвалебная, а довольно-таки скептичная и язвительная. Рецензент ехидно разъясняет, зачем понадобился Лему камуфляж «вакуумных» рецензий, и его аргументация выглядит убедительно. Еще бы! Этот рецензент превосходно знает великого насмешника и мистификатора Лема и может разгадать даже самые сложные и изощренные его комбинации. Прочитав публикуемое ниже предисловие-рецензию, вы в этом убедитесь.

Только учтите: ему тоже нельзя безоговорочно доверять! Этот ехидный всезнайка ничуть не уступает Лему в коварстве и хитроумии. Поэтому, прислушиваясь к предостережениям насчет лемовских ловушек, надо глядеть в оба: предостережение может оказаться обманным, отвлекающим маневром, с помощью которого рецензент загонит вас в свою ловушку, поставленную поблизости.

Вот, например, он заявляет, что, вопреки автору, делит «псевдорецензии» на три неравноценных по значимости группы. К первой он относит пародии, пастиши и юморески, нацеленные на конкретные литературные явления. Вторая группа — это черновые наброски, эскизы романов или повестей, которые Лем замыслил, но не осуществил («Написать не смог, а не написать было жалко»,— язвительно формулирует рецензент). Наиболее же значительными, принципиально важными он считает три «рецензии», замыкающие книгу.

На первый взгляд все это правильно. Последние три «рецензии» — на книги Вильгельма Клоппера «Культура как ошибка», Цезаря Коуски «О невозможности жизни», «О невозможности прогнозирования» [1] и Альфреда Теста «Новая космогония» — бесспорно, наиболее значительны по проблематике. «Робинзонады» Марселя Коска, «Ничто, или Последовательность» Соланж Маррио, «Ты» Раймона Сера несомненно атакуют «новый роман», «алитературные» устремления его теоретиков и практиков. Наконец, вполне возможно, что в основе некоторых «рецензий» лежит неосуществленный замысел романа или повести (хотя вряд ли это относится к тем, которые названы рецензентом: трудно представить себе, например, что Лем всерьез думал писать роман, содержание которого изложено в рецензии на роман Джан Карло Спалланцани «Идиот»: полубезумные герои, патологические, извращенные чувства, атмосфера тягостного кошмара — все это никак не укладывается в систему лемовской поэтики).

Но почему же вся вообще классификация делается «вопреки автору»? Вот тут уже начинаются загадки и ловушки. Рецензент все время ссылается на авторское предисловие с многозначительным заглавием «Автозоил», где Лем якобы видит главное достоинство псевдорецензий в том, что они обеспечивают максимальную свободу творчества, так как предельно ослабляют связи с конкретной действительностью. Рецензент протестует: псевдорецензии Лема никак не укладываются в рамки литературного эксперимента или пародии на авангардистскую прозу. После чего он и классифицирует рецензии «вопреки автору». Да, но куда же девалось это самое предисловие с такими «антилемовскими» по сути установками? Ведь нет его в тексте книги, и никаких оговорок по этому поводу не сделано.

В самой классификации тоже много неясностей. Например: почему первая и третья группы определяются по масштабу проблематики, а вторая — по случайному и недостоверному признаку? Разве так уж важно, что Лем первоначально собирался писать романы вместо некоторых рецензий (к тому же, как уже говорилось, предположения рецензента по этому поводу часто неубедительны)?

Между тем вторая группа естественно складывается на основе общности проблематики. К двум вышеупомянутым вещам можно было бы присоединить «Перикалипсис», «Being Inc.» и «Сделай книгу сам» — в своеобразной, гротескной форме они говорят о различных опасных тенденциях современной культуры. В «Being Inc.» экстраполируется реально существующее в современном капиталистическом обществе противоречие между высокоразвитой, глобальной по масштабу возможностей наукой и техникой — и примитивным, частнособственническим укладом общества. В «Перикалипсисе» предлагается ошеломительный проект борьбы против информационного взрыва — проект вроде бы совершенно бредовый, порожденный отчаянием и растерянностью, но, если вдуматься, за ним тоже проступает некая потенциальная опасность: ведь такого рода проекты по душе не только несуществующему чудаку Ферзенгельду, но и некоторым вполне реальным личностям, отнюдь не таким одиноким и беспомощным... «Сделай книгу сам» — опять-таки экстраполяция реально существующих черт «масскультуры». В общем-то, нетрудно представить себе, что «адаптация» классики, при которой «Отелло» или «Анна Каренина» начинают выглядеть как дешевые мелодрамы с убийством или самоубийством в финале, а «Преступление и наказание» — как заурядный детектив, может породить новую, более активную форму профанации искусства — «самодеятельное» переиначивание классических сюжетов и образов (скажем, Раскольников не кается, а уезжает с Соней в Швейцарию). Самого Лема, по-видимому, испугала реальность данной перспективы, и он поспешил заявить о крахе этого предприятия.

---

[1] Журнал «Знание—сила» поместил в № 11 за 1972 год изложение и фрагменты сокращенного перевода этой вещи по ее журнальному варианту.

[2] Опубликовано в 25-м томе «Библиотеки современной фантастики». Москва, «Молодая гвардия», 1973.

Может показаться, что «Группенфюрер Луи XVI»[2] к этим вещам не относится, поскольку речь там идет о гитлеровцах, избежавших возмездия и обосновавшихся в Южной Америке. Но Лем, разумеется, не собирался еще раз проинформировать читателей о том, что гитлеровцы были очень нехорошими людьми. Вся парадоксальная ситуация с псевдофеодальным государством, созданным в джунглях, понадобилась ему для анализа психологии преступления, механизма внутреннего самооправдания, при исправной работе которого преступник чувствует себя вовсе не преступником, скорее даже героем. А это — проблема вполне современная...

Наконец — о трех заключительных «рецензиях», действительно наиболее важных. Рецензент считает, что Лем здесь использует оригинальную форму, чтобы замаскировать свое отступничество, измену своим заветным идеям.

Лем, говорит он, на этих страницах смеясь выкрикивает то, что всерьез не осмелился бы даже прошептать. Но так ли это? Мысли, которые Лем высказывает как рецензент несуществующей книги В. Клоппера, по сути сходны с тем, что говорится в восьмой главе «Суммы технологии», недаром названной «Пасквиль на эволюцию»: да, нельзя будет обойтись без радикальной перестройки человеческого организма, хотя сейчас это и кажется нам ужасным. По поводу возможностей прогностики он весьма скептически высказывается в «Фантастике и футурологии», так что бесконечное нагромождение трудностей, которое он одобрительно излагает — якобы по книге Коуски,— является лишь юмористическим преувеличением, а не отступничеством, как это определяет рецензент. Наконец, при всей парадоксальности «Новой космогонии» можно обнаружить некоторые предпосылки для возникновения ошеломляющей концепции «Вселенной как игры» в «Голосе Неба». Так что вернее было бы говорить не об отступничестве, не об измене прежним взглядам, а лишь о том, что в этих давних лемовских концепциях таились возможности гротескных преувеличений, парадоксальных обострений — и что Лем, поддавшись соблазну, реализовал эти возможности, избрав для них соответственно парадоксальную форму «псевдорецензии».

В самом деле рецензент не понимает этого? В самом деле он не видит, как прочно связана эта книга со всем творчеством Лема? Вряд ли! Слишком хорошо он знает Лема. Ведь не зря он предполагает, что Лем способен еще и на такой розыгрыш: включить эту рецензию в текст рецензируемой книги и сделать вид, будто она тоже написана самим Лемом. Рецензия-то и вправду включена в текст книги! А лемовский «Автозоил» зато исчез...

И вообще — кто же он все-таки, этот загадочный рецензент? Кто это сначала объясняет Лему, что он написал не юморески, а серьезные вещи, потом растолковывает эти самые серьезные вещи как насмешку над всем святым?

К чему задавать риторические вопросы! Наверное, этот рецензент — такая же фикция, как все объекты псевдорецензий. Иначе он уж проследил бы, чтоб его подпись под рецензией сохранилась в тексте книги.

Да, но что, если он все же не фикция? Что, если его имя названо — хотя бы на обложке?!

АРИАДНА ГРОМОВА

Станислав Лем

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

(«Чительник» — Варшава)

Не Лем первый придумал писать рецензии на несуществующие книги; мы находим подобные попытки не только у современного писателя Х. Л. Борхеса (например, «Анализ сочинения Герберта Квайна» в книге «Лабиринты»). Идея уходит корнями глубже — даже Рабле не был первооткрывателем в этом жанре Но своеобразие «Идеального вакуума» в том, что книга вся сплошь состоит из таких рецензий. Что это — педантизм или шутка? Мы подозреваем, что автор хотел пошутить, и этого впечатления не рассеивает солидное теоретическое предисловие, в котором говорится: «Сочинение романов — одна из форм утраты свободы творчества. Рецензирование книг — тоже каторга, но еще менее благородная. О писателе можно, по крайней мере, сказать, что он сам себя сковал избранной темой. Положение критика хуже: он прикован к рецензируемому произведению, как каторжник к своей тачке. Писатель теряет свободу в собственной книге, критик же — в чужой».

Напыщенность этих упрощений слишком очевидна, чтобы ее можно было принимать всерьез. В следующем абзаце предисловия (озаглавленного «Автозо-

Печатается с сокращениями.

ил») говорится: «Литература рассказывала нам до сих пор о вымышленных героях. Мы пойдем дальше: будем описывать вымышленные книги. Это создаст возможность вновь обрести свободу творчества и, одновременно, соединить две противоположности — беллетриста и критика».

Такое произведение, утверждает Лем, будет свободным «в квадрате», поскольку у критика несуществующего текста будет несравненно больше возможностей маневрировать, чем у авторов как традиционной, так и нетрадиционной литературы. С этим, пожалуй, можно согласиться, хуже то, что ученое предисловие тянется без конца. Лем рассказывает в нем о положительных аспектах небытия, об идеальных математических объектах и новых метауровнях языка. Для шутки это, пожалуй, длинновато. Более того, своею увертюрой Лем вводит читателя (а может, и самого себя?) в заблуждение. Ибо псевдорецензии, составившие книгу «Идеальный вакуум»,— не просто сборник анекдотов. Их можно, вопреки утверждениям автора, разделить на три основные подгруппы.

1) Пародии, пастиши и юморески. Сюда относятся «Робинзонады», «Ничто, или Последовательность» (оба текста по-разному высмеивают «Nouveau Roman»[1]) и, пожалуй, «Ты» и «Гильгамеш». Правда, «Ты» вызывает некоторые сомнения, поскольку выдумать плохую книгу и потом обругать ее за то, что она плохая,- прием уж очень дешевый. Интереснее всего с формальной точки зрения роман «Ничто, или Последовательность». Его не мог бы написать никто, и поэтому псевдорецензия на него — фокус поистине акробатический: критика книги, которой не только нет, но и быть не может.

2) Черновые наброски (да, это своеобразные «черновики»), как «Группенфюрер Луи XVI» или «Идиот».

Каждый из них мог бы стать эмбрионом хорошего романа. У автора были идеи, которые ему не удалось полностью реализовать; написать не смог, а не написать было жалко; вот и подоплека создания этой части «Идеального вакуума». Лем, как человек достаточно сообразительный, предвидел возможность такого упрека и решил защититься предисловием. Именно поэтому он говорит в «Автозоиле» о том, как скуден арсенал прозы, как приходится стряпать ремесленнические описательные фразы типа «Маркиза вышла из дому ровно в пять». Но арсенал настоящего художника отнюдь не скуден. Лем испугался трудностей, возникавших в каждой из трех статей, названных мною только для примера. Он предпочел не рисковать, увильнуть, спустить все на тормозах. Заявляя, что «любая книга — могила несметного количества других книг, которые она уничтожила, вытеснив их», Лем дает понять, что идей у него больше, чем биологического времени («Ars longa vita brevis» [1]. Но в «Идеальном вакууме» не так уж много значительных, многообещающих идей. Есть ловкие фокусы, о которых я уже говорил, но это шутки. В книге же скрыто, похоже, и кое-что посерьезнее, а именно — тоска по несбыточному.

В том, что я не ошибаюсь, убеждает последняя группа рецензий: «De Impossibilitate Vitae», «Культура как ошибка» и, прежде всего, «Новая космогония».

«Культура как ошибка» ставит с ног на голову взгляды, которые Лем неоднократно проповедовал как в своих художественных, так и в философских произведениях. Технологический взрыв, объявленный там гибелью культуры, здесь провозглашается спасением для человечества. Затем Лем вторично оказывается отступником в «De Impossibilitate Vitae». Нас не введут в заблуждение длинные цепочки причин и следствий семейной хроники; суть не в этих смешных анекдотах, а в атаке, направленной против святая святых Лема — против теории вероятности, то есть против той категории, на которой он основывал многие важнейшие свои концепции. Атака проводится в шутовском контексте, что должно несколько сгладить ее резкость. Но была ли она хоть на минуту задумана не как гротеск?

Эти сомнения рассеивает «Новая космогония», подлинное «pièce de resistance» [2] книги, спрятанная в ней наподобие троянского коня. Это не шутка и не фиктивная рецензия; уж очень громоздкая получилась бы шутка, снабженная столь массивной научной аргументацией. Известно, что Лем проглотил все энциклопедии, стоит его потрясти, как градом сыплются логарифмы и формулы. «Новая космогония» — вымышленная Нобелевская речь лауреата, рисующая революционную картину Вселенной. Если б я не знал других книг Лема, я мог бы предположить, что это розыгрыш, рассчитанный на три десятка специалистов в области физики и теории относительности. Но это кажется маловероятным. Значит, что же? Боюсь, что опять у автора возникла блестящая идея, которой он испугался. Конечно, сам он никогда не признается, а ни я, ни кто другой не сможем доказать, что Лем принял всерьез концепцию Космоса как Игры. Он всегда может сослаться на шуточную форму изложения, на само название книги («Идеальный вакуум» — значит, говорится тут «ни о чем», о пустоте).

Я, однако, убежден, что основа у всех

[1] Новый роман *(франц.)*.

[1] Путь искусства долог, жизнь коротка *(лат.)*.

[2] Главное, основное блюдо *(франц.)*.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

«псевдорецензий» вполне серьезная. Космос как Игра? Лем, почитатель науки, простертый ниц перед святыней ее методологии, не решился бы открыто объявить себя ересиархом, отступником. Следовательно, он не мог включить эту мысль ни в одну из своих логических конструкций. А если б он построил сюжет на основе концепции Космос — Игра, получилось бы еще одно, которое-то по счету «нормальное научно-фантастическое произведение». Что же оставалось делать? Здраво рассуждая — только молчать.

Итак, из взлелеянной в сердце автора многолетней тоски по живительному реализму, из мыслей, слишком дерзких по отношению к собственным взглядам, чтобы их можно было высказать прямо, из всего, о чем можно лишь мечтать понапрасну, родился «Идеальный вакуум». Теоретическое вступление, якобы объясняющее «новый литературный жанр»,— всего лишь маневр, имеющий целью отвлечь внимание от того, что делается в самом деле. Нам предлагают поверить, что мы видим просто фокусы и трюки, но в действительности это не так. Не прием «псевдорецензии» создал рассматриваемые произведения, а наоборот — тщетно жаждавшие своего воплощения, они нашли в этом приеме прецедент и оправдание. Не будь такого приема, все осталось бы в сфере умолчаний. Ведь речь идет об измене фантазированию и переходе к прочно заземленному реализму, об отступничестве и научной ереси. Неужели Лем надеялся, что его хитрость останется неразгаданной? Она ведь простая: в шутку кричать о том, о чем всерьез даже шепотом сказать страшно. Вопреки тому, что сказано в предисловии, критику не обязательно быть «прикованным к книге, как каторжнику к своей тачке»: его свобода не в том, что он может возвысить или унизить книгу, а в том, что может сквозь нее, как сквозь увеличительное стекло, разглядеть автора, и тогда «Идеальный вакуум» оказывается повестью о том, чего мы жаждем, но не имеем. Это книга несбывшихся мечтаний. И единственной хитростью, к которой может еще прибегнуть изворачивающийся Лем, будет контратака в виде заявления, что не я, критик, а он сам, автор, написал настоящую рецензию и включил ее в «Идеальный вакуум».

Иоахим Ферзенгельд
«ПЕРИКАЛИПСИС»

(Изд. «Эдисьон де минюи» — Париж)

Иоахим Ферзенгельд — немец, написавший свой «Перикалипсис» по-голландски (правда, в предисловии он признается, что язык этот ему почти незнаком) и издавший его во Франции, которая славится отвратительными корректорами. Собственно говоря, автор этих строк тоже не знает голландского, но, ознакомившись с заглавием книги, ее английским предисловием и немногочисленными понятными ему в тексте выражениями, он решил, что вполне справится с ролью рецензента.

Иоахим Ферзенгельд не хочет быть интеллектуалом в эпоху, когда им может быть каждый. Не стремится он прослыть и литератором — истинное творчество возможно лишь там, где налицо сопротивление материала или людей, которым предназначается произведение. Но поскольку после уничтожения религиозных и цензурных запретов можно говорить все, то есть кое-что, а после исчезновения внимательных, дорожащих каждым словом слушателей можно кричать что угодно и кому угодно, то литература и вся ее гуманитарная родня — просто труп, чье неотвратимое разложение скрывают ближайшие родственники. Необходимо поэтому искать новые области творчества, такие, в которых можно найти сопротивление, создающее атмосферу опасности и риска, а следовательно, значительности и ответственности.

В наши дни такой областью и такой деятельностью может быть только прорицательство. При этом пророк, зная заранее, что он не будет ни понят, ни признан, ни одобрен, должен априори обречь себя на немоту. А немой — и тот, кто молчит, и тот, кто, будучи немцем, пишет английское предисловие и обращается к французам на голландском языке. Поэтому Ферзенгельд действует в соответствии с собственными предпосылками. Он заявляет: наша могучая цивилизация стремится производить как можно менее долговечные продукты в как можно более прочной обертке. Недолговечные продукты необходимо вскоре заменять новыми, что облегчает их сбыт, а прочность оберток мешает их ликвидировать, что способствует развитию техники и организации. Поэтому с дрянными серийными продуктами поку-

патели управляются поодиночке, но для ликвидации оберток необходимо специальное ассенизационное программирование, координация усилий, планирование, очистительные комбинаты и т. п. Прежде можно было рассчитывать на то, что количество мусора будет расти умеренно благодаря таким стихиям, как дожди, ураганы, наводнения и землетрясения. Теперь же то, что раньше смывало и размывало мусор, само превратилось в экскременты цивилизации: нас отравляют реки, нам сжигает легкие и глаза воздух, ветры посыпают наши головы промышленным пеплом, а пластиковым оберткам из-за их эластичности не страшны даже землетрясения. Поэтому привычным пейзажем стали отходы цивилизации, а заповедные уголки природы теперь чрезвычайная редкость. Среди оберточного пейзажа снуют толпы людей, занятых поглощением вынутых из обертки продуктов, а также потреблением последнего естественного продукта, коим является секс. Однако и для него придумано множество оберток; ведь наряды, украшения, румяна, помады и прочее рекламное оформление — не что иное, как обертки. Поэтому только отдельные грани цивилизации заслуживают восхищения, так же как достойна восхищения четкая работа сердца, желудка, почек или легких, тогда как деятельность тела, состоящего из этих отличных частей, лишена какого-либо смысла вообще, если это тело принадлежит, например, сумасшедшему.

Этот же процесс, вещает пророк, происходит и в области духовных ценностей, ибо чудовищная машина цивилизации, раскрутившись, превратилась в механическую доилку муз. Поэтому она взрывает библиотеки, затапливает книжные магазины и газетные киоски, ставит на дыбы телевизионные экраны, громоздясь такими горами излишков, что уже само количество их пагубно. Если в Сахаре есть сорок песчинок, от обнаружения которых зависит спасение человечества, то их все равно не удастся найти, как не удастся найти сорока спасительных произведений, которые уже давно написаны, но потонули в океанах макулатуры. А написаны они наверняка, за это ручается статистика истинных произведений, изложенная по-голландски в математических формулах Иоахимом Ферзенгельдом; рецензент принял это на веру, так как не знает ни голландского, ни математического языков. Поэтому прежде чем наши души успеют насладиться этими откровениями, они задохнутся в мусоре, которого в четыре биллиона раз больше. Впрочем, они уже задохнулись. Уже случилось то, о чем гласит пророчество, но в общей спешке осталось незамеченным. И коль скоро пророчество говорит не о том, что будет, а о том, что было, то это уже не пророчество, а ретропророчество и поэтому зовется Перикалипсисом, а не Апокалипсисом.

Умеренное развитие талантов; их от природы медленное созревание; их тщательная селекция; их естественный отбор в соответствии с требованиями тонкого и взыскательного вкуса — все это явления прошлого, исчезнувшие бесследно. Последним действующим поныне импульсом остается могучий рев; но поскольку все больше народу ревет, используя все более мощные усилители, то прежде чем душа что-нибудь узнает, лопнут барабанные перепонки. Имена гениев прошлого вспоминаются все реже и превращаются в пустой звук; значит, **Мене текел, перес** [1]! Разве что люди выполнят рекомендации Иоахима Ферзенгельда. Он призывает учредить Humanity Salvation Foundation — Фонд Спасения Человечества в виде шестнадцатибиллионного вклада с золотым паритетом с четырьмя процентами годовых. Из этого фонда будут выплачиваться стипендии всем творческим личностям: изобретателям, ученым, техникам, художникам, писателям, поэтам, драматургам, философам и конструкторам. Причем деньги будут распределяться следующим образом. Тот, кто ничего не пишет, не конструирует, не рисует, не патентует и не предлагает, получает пожизненную стипендию в размере 36 000 долларов в год. Тот, кто делает что-либо из вышеперечисленного, получает соответственно меньше.

«Перикалипсис» дает полный перечень отчислений за всевозможные виды творчества. Автор одного открытия или двух книг, изданных в течение года, не получает ни гроша. За три названия уже взыскивают деньги с него самого. Благодаря этому творчеством будут заниматься только подлинные альтруисты, только духовные аскеты, любящие ближних и совершенно равнодушные к самим себе. Производство продажного мусора между тем прекратится, в чем Иоахим Ферзенгельд убедился на собственном опыте: он издал свой «Перикалипсис» за собственные деньги, причем с убытком! Поэтому он знает, что тотальная нерентабельность вовсе не означает тотальной ликвидации всякого творчества.

Эгоизм проявляется как жажда наживы, соединенная с жаждой славы; чтобы нейтрализовать также последнюю, Программа Спасения вводит полную анонимность авторов. Чтобы бесталанные люди не могли претендовать на стипендию, Фонд будет проверять квалификацию кандидатов с помощью соответствующих органов. Подлинная, фактическая ценность идеи, выдвинутой кандидатом, не играет ни малейшей роли. Важно лишь, имеет ли проект товарную ценность, то

[1] Грозное предостережение, зловещий знак. По библейскому преданию (книга Даниила, гл. 5, 25), эти слова были начертаны на стене невидимой рукой во время пира вавилонского царя Валтасара.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

есть удастся ли его продать. Если да — стипендия назначается незамедлительно. За подпольное творчество вводится система штрафов и репрессий, осуществляемых аппаратом Спасительного Надзора; кроме того, создается новый вид полиции — разантипаты (разведывательные антитворческие патрули). В соответствии с уголовным кодексом, тот, кто тайно пишет, распространяет, хранит или хотя бы намекает публично на существование каких-либо плодов творчества, гонясь за прибылью или славой, приговаривается к тюремному заключению и к принудительным работам, а в случае рецидива — к карцеру и порке в каждую годовщину преступления.

За нелегальное распространение в обществе идей, пагубное влияние которых на жизнь можно сравнить с такими бедствиями, как автомобили, кинематограф, телевидение и т. п., предусматриваются строгие наказания вплоть до высшей меры со стоянием у позорного столба и обязанностью пожизненно пользоваться собственным изобретением. Закон преследует также попытки творчества, а преднамеренность в этом деле карается позорным клеймом в виде сделанной на лбу несмываемой краской надписи «Враг человечества». Что касается не рассчитывающей на прибыль графомании, именуемой Духовной Проституцией, то она не карается законом; но все же людей, страдающих ею, как опасных для общественного порядка, изолируют в специальных закрытых заведениях, гуманно снабжая их там достаточным количеством чернил и бумаги.

Естественно, что от такого регламентирования мировая культура не только ничего не потеряет, а, напротив, начнет цвести. Человечество обратит свой взор к прекраснейшим творениям прошлого, ибо имеющихся скульптур, картин, драм, повестей, аппаратов и машин хватит на долгие столетия. Кроме того, никому не возбраняется делать так называемые эпохальные открытия, при условии, что он будет вести себя скромно.

Наведя таким образом порядок, то есть спасши человечество, Иоахим Ферзенгельд переходит к последнему вопросу: что делать с тем чудовищным избытком, который уже имеется? Будучи человеком необыкновенного гражданского мужества, Ферзенгельд говорит: все, что создано до сих пор в XX веке, ничего не стоит, даже если и содержит сокровища мысли, поскольку обнаружить эти сокровища в океане мусора все равно невозможно. Поэтому он предлагает уничтожить все без исключения: фильмы, иллюстрированные журналы, открытки, партитуры, книги, научные работы, газеты и тому подобное, ибо это явится истинным очищением авгиевых конюшен при подсчете дебета и кредита бюджета человечества (уничтожению подвергнутся, в частности, данные об атомной энергии, что ликвидирует опасность, нависшую сегодня над миром). Иоахим Ферзенгельд подчеркивает, что он отлично понимает, как позорно жечь книги, не говоря уже о целых библиотеках.

Но известные истории аутодафе — например, в гитлеровской Германии — явились позором потому, что были направлены против прогресса. Все зависит от того, с каких позиций жечь. Иоахим Ферзенгельд предлагает прогрессивные, спасательные и спасительные аутодафе, а так как он пророк, последовательный до конца, то в заключение рекомендует в первую очередь разорвать и сжечь его собственное пророчество.

Элистер Уэйнрайт

"BEING INC."[1]

(«Американ лайбрери»)

Когда вы нанимаете слугу, то, назначая ему жалованье, вы включаете туда плату не только за труд, но и за почтение, которое слуга должен оказывать хозяину. Нанимая адвоката, вы обеспечиваете себе не только квалифицированную консультацию, но и чувство безопасности. Тот, кто покупает любовь — а не только добивается ее, — тоже ждет нежности и привязанности. В стоимость авиационного билета давно уже включены улыбки и светская любезность миловидных стюардесс. Люди готовы платить за «private touch», то есть за то ощущение интимности, дружелюбия, которое является важным компонентом оформления услуг во всех областях человеческой жизни.

Но сама жизнь не сводится ведь к общению со слугами, адвокатами, обслуживающим персоналом гостиниц, работниками учреждений, авиалиний, магазинов. Напротив: контакты и связи, в которых

[1] «Предприятие «Бытие» *(англ.)*

вы заинтересованы больше всего, находятся вне сферы платных услуг. Вы можете использовать компьютер в качестве брачного посредника, но никакой компьютер не в состоянии обеспечить вам идеальное поведение жены или мужа после вступления в брак. Если у вас есть деньги, вы можете купить яхту, дворец, остров, но вы ни за какие деньги не купите желаемого события — не обеспечите себе, например, возможности блеснуть мужеством или умом, спасти любимого человека от смертельной опасности, победить в спортивном состязании или получить высокую награду. Нельзя купить расположение к себе, симпатию, преданность; о том как могущественные правители и богачи тоскуют по бескорыстным чувствам, написаны сотни и тысячи книг; в них люди, которые в состоянии все купить или всего добиться силой, отказываются от своего исключительного положения и, сменив одежду — как Гарун-аль-Рашид, прикидывавшийся нищим, - - отправляются на поиски подлинных человеческих чувств, от которых они были прежде отгорожены непроницаемой стеной своих привилегий.

Областью, которая пока еще не превращена в товар, является повседневная жизнь — интимная и официальная, личная и общественная; вследствие этого каждого человека постоянно поджидают мелкие неудачи, разочарования, случайности, обиды, пренебрежение, за которое нельзя отплатить той же монетой; словом — в рамках личной судьбы положение невыносимо и настоятельно требует изменения; это изменение к лучшему обеспечит крупная промышленность жизненных услуг. Обществу, в котором можно купить — умело пользуясь рекламой — пост президента, стадо белых слонов, расписанных цветочками, толпы девушек, гормональную молодость, под силу упорядочить обстоятельства человеческой жизни. Могущие возникнуть возражения, что купленные таким образом формы жизни будут ненастоящими и их искусственность легко обнаружится при сопоставлении с подлинностью событий, совершающихся вокруг, продиктованы наивностью и скудостью воображения. Там, где любая человеческая жизнь находится под тщательным контролем крупных предприятий обслуживания, исчезает разница между подлинными и тайно подстроенными событиями. Различие между естественностью и синтетикой приключений, побед и неудач перестает существовать, когда нельзя выяснить, что произошло по чистой, а что по заранее оплаченной случайности.

Так выглядит в общих чертах идея романа Э. Уэйнрайта «Being Inc.», то есть «Предприятие «Бытие». Основной оперативный принцип этой корпорации — дистанционное действие: ее местонахождение никому не известно; клиенты сообщаются с «Being Inc.» исключительно по почте, в крайнем случае по телефону; гигантский компьютер принимает заказы и выполняет их в соответствии с оплатой. Измену, дружбу, любовь, месть, собственное счастье и чужую беду можно приобрести также и в рассрочку, на льготных кредитных условиях. Судьбу детей формируют родители; но в день своего совершеннолетия каждый получает по почте прейскурант, каталог услуг и инструктивную брошюру фирмы. Брошюра представляет собою популярно, но по-деловому написанный мировоззренческий и социотехнический трактат. Его содержание, изложенное четким и прозрачным языком, сводится вкратце к следующему.

Все люди стремятся к счастью, но не все делают это одинаковым образом. Для одних счастье — превосходство над другими, самостоятельность, азарт, риск, игра на большую ставку. Для других — подчинение, вера в авторитет, чувство безопасности, покой и даже леность; первые любят проявлять агрессивность; вторые предпочитают ей подвергаться. Многим людям нравятся заботы и беспокойство, и когда у них нет настоящих забот, они создают себе вымышленные. Исследования показали, что число активных и пассивных личностей в обществе, как правило, равно. Однако бедою прежнего общества — говорится в брошюре — было то, что оно не умело обеспечить гармонию между природными склонностями и жизненным путем граждан. Часто от слепого случая зависело, кому быть победителем, а кому побежденным, кому выпадет роль Петрония, а кому — Прометея.

Принцип действия «Being Incorporated» не родился на пустом месте: матримониальные компьютеры давно уже работают на подобной основе. «Being Inc.» гарантирует каждому клиенту устройство его жизни с момента совершеннолетия до конца дней в соответствии с пожеланиями, изложенными в присланной им анкете. Фирма пользуется в своей работе новейшими достижениями кибернетики, социотехники и информации. «Being Inc.» выполняет пожелания клиентов не сразу, поскольку люди зачастую плохо знают самих себя и не понимают, что для них хорошо, а что плохо. Каждого нового клиента подвергают дистанционному психотехническому обследованию; сверхскоростные компьютерные агрегаты определяют психологический профиль и все природные наклонности клиента. И только получив диагноз, фирма утверждает заказ.

Делая заказ, не надо ничего стесняться: его содержание остается навсегда тайной фирмы. Не нужно также бояться, что выполнение заказа причинит кому-нибудь вред. Электронный мозг фирмы следит, чтобы этого не произошло. До-

---

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

пустим, некто Смит желает стать суровым судьей, выносящим смертные приговоры; значит, его подсудимыми будут люди, заслуживающие высшей меры наказания. А вот Джонс хотел бы пороть своих детей, лишать их удовольствий и при этом ощущать себя справедливым отцом. Значит, у него родятся злые и жестокие дети, борьба с которыми отнимет у него полжизни. Фирма выполняет любые пожелания, но иногда клиенту приходится немного подождать своей очереди; например, в том случае, если он хочет собственноручно убить человека, ибо, как ни странно, таких любителей очень много. В различных штатах поразному казнят людей, приговоренных к смерти: в одних штатах их вешают, в других отравляют цианистой кислотой, в третьих убивают электричеством. Тот, кто жаждет вешать, попадает в штат, в котором виселица является законным орудием казни, и оглянуться не успеет, как будет временно назначен палачом. Проект, обеспечивающий клиентам возможность безнаказанно убивать других людей в поле, в лесу, на дому, пока еще официально не утвержден, но фирма терпеливо добивается осуществления также и этого новшества. Опыт фирмы в деле организации жизненных происшествий, подтвержденный миллионами синтетических судеб, преодолеет препятствия, могущие осложнить убийства по заказу. Скажем, узник, приговоренный к смерти, увидит, что дверь камеры приоткрыта, бежит, а работники фирмы так сформируют трассу его побега, что он встретится с клиентом в самой подходящей для обоих обстановке. Он попытается, например, спрятаться в доме клиента как раз в тот момент, когда хозяин будет заряжать свое охотничье ружье. Впрочем, разработанный фирмой каталог возможностей поистине неисчерпаем.

«Being Inc.» — организация, какой не знала история. Матримониальный компьютер соединял всего двух человек и ничуть не заботился о том, что с ними будет после вступления в брак. А фирме «Being Incorporated» приходится организовывать громадные комплексы событий, вовлекая в них тысячи и тысячи людей. Фирма предупреждает, что настоящие методы ее деятельности не названы в брошюре. Приведенные там примеры — сущий вымысел! Стратегия «Being Inc.» должна храниться в строжайшей тайне, для того чтобы клиент никогда не понял, что с ним происходит естественным путем, а что — благодаря операциям компьютеров фирмы, незримо следящих за его судьбой.

«Being» имеет армию работников, выдающих себя за рядовых граждан; за шоферов, мясников, врачей, техников, домашних хозяек, младенцев, собак и канареек. Все работают анонимно. Кто хоть раз раскроет свое инкогнито, расскажет, что он штатный сотрудник «Being Inc.», того не только увольняют, но преследуют по гроб жизни: зная его вкусы и привычки, фирма так устраивает его жизнь, что он проклинает тот миг, когда совершил свой позорный поступок. Наказание за разглашение служебной тайны отнюдь не пустая угроза. Конкретные меры по отношению к плохим работникам фирмы входят в число ее производственных тайн.

Действительность, изображенная в романе, не похожа на ту, которую рисует рекламная брошюра «Being Inc.». Реклама молчит о самом главном. В соответствии с законом против картелей в США нельзя монополизировать рынок, и поэтому «Being Inc.» не является единственной фирмой подобного рода. У нее есть мощные конкуренты, как, например, «Hedonistics» или «Truelife Corporation». И именно это обстоятельство порождает явления, каких не знала история. Ибо, когда интересы клиентов различных фирм пересекаются, выполнение заказов каждого из них может натолкнуться на неожиданные трудности в виде тайного паразитизма, ведущего к закамуфлированной эскалации.

Скажем, господин Смит хочет блеснуть перед женой своего приятеля, госпожой Браун, которая ему очень нравится, и выбирает по прейскуранту номер «396-б», то есть — спасение жизни во время железнодорожной катастрофы. Фирма должна ловко подстроить крушение и при этом организовать все так, чтобы нужные лица якобы случайно очутились в одном купе; датчики, вмонтированные в стены, пол и диваны вагона, передавая данные спрятанному в уборной компьютеру, программирующему операцию, обеспечат прохождение ее точно по плану. Все должно произойти так, чтобы Смит просто не мог не спасти жизнь госпоже Браун. Стенка опрокинутого вагона лопнет именно в том месте, где сидит госпожа Браун, купе наполнится едким дымом, и Смиту, чтобы выбраться наружу, неизбежно придется впереди себя вытолкнуть женщину, загораживающую спасительное отверстие. Так благодаря Смиту она избежит смерти от удушья. Это даже не слишком сложная операция. Пару десятилетий назад понадобилась целая армия компьютеров и армия специалистов, чтобы посадить лунную кабину довольно далеко от заданной цели. Сегодня один компьютер с разветвленной сетью датчиков без труда справляется с таким заданием.

Однако, если «Hedonistics» или «Truelife Co.» примет от мужа госпожи Браун заказ, требующий, чтобы Смит проявил себя как трус и негодяй, возникнут непредвиденные осложнения. Благодаря промышленному шпионажу «Truelife» узнает о планируемой «Being» железнодорожной операции: дешевле всего подключиться к чужому плану. В этом и состоит «тайный паразитизм». В самый момент катастрофы «Truelife» подстроит незначительное отклонение, в результате ко-

торого Смит, выталкивая госпожу Браун в отверстие, ударит ее, порвет ей платье и переломит обе ноги.

Если «Being Inc.» с помощью своей контрразведки проведает об этом паразитическом плане, то будут приняты встречные меры. И тут начнется процесс эскалации. В опрокинутом вагоне неизбежно произойдет поединок двух компьютеров — фирмы «Being» в уборной и фирмы «Truelife», спрятанного, быть может, под полом вагона. За потенциальным спасителем женщины и за ней как потенциальной жертвой стоят два молоха электроники и организации. Во время крушения произойдет — в течение долей секунды — чудовищный бой компьютеров; трудно сказать, какие громадные силы будут добиваться, с одной стороны, чтобы Смит толкал женщину как герой и спаситель, а с другой — как трус и хулиган. В результате введения все новых подкреплений то, что было задумано как скромная попытка щегольнуть геройством перед женщиной, может обернуться катаклизмом. Летопись фирм зафиксировала за последнее десятилетие две подобные катастрофы. После последней, которая обошлась заинтересованным сторонам в 19 миллионов долларов, израсходованных в виде электрической, паровой и водной энергии в течение 37 секунд, было заключено соглашение, установившее верхний предел подстраиваемых событий. Они могут поглощать не более 10^{12} джоулей на одну клиенто-минуту. Запрещено также пользоваться какими-либо видами атомной энергии.

На этом фоне разворачивается действие романа. Новый президент «Being Inc.», молодой Эд Гаммер III, должен лично рассмотреть заказ эксцентричной миллионерши Джессамин Чест, поскольку ее требования выходят за пределы прейскуранта и превышают компетенции всех отделов фирмы. Джессамин Чест жаждет абсолютно подлинной жизни, свободной от какого-либо искусственного вмешательства; за выполнение этого пожелания она готова заплатить любую цену. Эд Гаммер, вопреки советам экспертов, принимает заказ; задание, которое он дает своему штабу — организовать полное отсутствие организации,— оказывается самым трудным из всех, выполняющихся фирмой до сих пор. Исследования обнаруживают, что ничего похожего на стихийность, спонтанность жизни давно уже не существует. События, не подстроенные умышленно, не происходят даже внутри «Being Inc.». Обнаруживается, что три конкурирующие фирмы полностью обезвредили друг друга, провели своих доверенных лиц на руководящие должности в администрацию и контрольные советы конкурентов. Чувствуя опасность, вызванную этим открытием, Гаммер обращается к президентам двух других фирм; созывается тайное совещание с участием специалистов, имеющих доступ к главным компьютерам. Эта встреча позволяет, наконец, определить реальное положение вещей.

Мало того, что в 2041 году на всей территории США никто не сможет уже съесть цыпленка, влюбиться, вздохнуть, выпить виски, пива, кивнуть головой, моргнуть, плюнуть вне высшего электронного планирования, создавшего запрограммированную дисгармонию на много лет вперед. Не отдавая себе в этом отчета, в ходе конкурентной борьбы трехмиллиардные корпорации создали Единого в Трех Лицах Всемогущего Устроителя Судеб. Программа компьютеров — своеобразная Книга Провидения; запрограммированы политические партии, запрограммирована метеорология, и даже само появление на свет Эда Гаммера III тоже явилось результатом определенных заказов, возникших, в свою очередь, как результаты других, более ранних заказов. Никто уже не может ни родиться, ни умереть стихийно; точно так же никто сам, лично, ничего не переживает до конца, ибо любая его мысль, чувство страха, усилие, боль представляют собою звено алгебраических вычислений компьютеров. Потеряли смысл такие понятия, как преступление, наказание, моральная ответственность, добро и зло, ибо абсолютное программирование жизни отвергает качества, не представляющие материальной ценности. В компьютерном раю, созданном благодаря стопроцентному использованию всех человеческих качеств и включению их в безотказно действующую систему, не хватало только одного — понимания обитателями рая, что дело обстоит именно так, а не иначе. Ведь даже совещание трех президентов было запланировано главным компьютером, который — открывая им эти истины — выступает в роли электрифицированного Древа Познания. Что теперь будет? Надо ли отказаться от блестяще организованной жизни и, бросив все, вторично бежать из рая, чтобы «еще раз начать все сначала»? Или, наоборот, продолжать эту жизнь, скинув с себя раз и навсегда бремя ответственности? Книга не дает ответа на этот вопрос. Она — метафизический гротеск, фантастика которого отчасти связана с реальным миром. Если мы отбросим юмористическое вранье и взлеты авторской фантазии, то остается проблема манипулирования умами, причем такого манипулирования, которое нисколько не противоречит субъективному ощущению стихийности и свободы. Действительность в своем развитии вряд ли примет облик, изображенный в «Being Inc.», но, кто знает, минуют ли наших потомков другие — быть может, менее забавные, но никак не менее мучительные — формы этого явления.

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

Цезарь Коуска

"DE IMPOSSIBILITATE VITAE"; "DE IMPOSSIBILITATE PROGNOSCENDI"[1]

(2 тома)

(Прага, изд. «Статни накладаталстви», Н. Лит.)

Автор, который на обложке назван Цезарем Коуской, подписывается под предисловием именем Бенедикт. Что это, опечатка, невнимание или коварство корректора? Мне лично больше нравится имя Бенедикт, так что остановимся на нем. И вот профессору Б. Коуске я обязан чуть ли не лучшими часами своей жизни, проведенными за течением его сочинения. В нем изложены взгляды, совершенно несовместимые с ученой ортодоксальностью; вместе с тем, однако, это не чистое безумие, а нечто промежуточное, расположенное на полпути между тем и другим в ничейной зоне, где нет ни дня, ни ночи, где разум хотя и отпустил вожжи логики, но не настолько, чтобы перейти в бессвязный лепет.

Профессор Коуска написал сочинение, в котором он доказывает, что имеются две альтернативы: либо теория вероятности, на которой зиждется естествознание, в корне неверна, либо животного мира во главе с человеком вообще не существует. Дальше, во втором томе, профессор утверждает, что если прогнозирование, то есть футурология, должно стать реальностью, а не оставаться иллюзией, умышленным или подсознательным очковтирательством, то такая наука не может пользоваться теорией вероятности, а нуждается в разработке совершенно новой методики.

Бенедикт Коуска показывает прежде всего, что теория эмпирической вероятности дала трещину в самой своей сердцевине. Понятием вероятности мы пользуемся, когда в чем-нибудь не уверены. Эта неуверенность бывает или субъективной (я не знаю, что произойдет, но, возможно, кто-то другой знает), или объективной (никто не знает и знать не может). Как известно, спор о субъективности или объективности вероятности делит ученый мир на два лагеря. Одни утверждают, что существуют два типа вероятности, другие признают только субъективную вероятность, ибо мы никогда не можем заранее знать точно, что должно произойти.

Что происходит, если оно действительно происходит, то и происходит — таков основной вывод профессора Коуски. Вероятность имеет место лишь там, где что-то еще не произошло. Так говорит наука. Но всякому понятно, что две пули дуэлянтов, встретившиеся в воздухе, или зуб, сломанный за обедом оттого, что в рыбном блюде, которое вы едите, оказалось кольцо, оброненное вами в море шесть лет назад, или сонатина бе-моль Чайковского, исполненная на кухонной утвари во время обстрела шрапнелью, попадающей в большие или маленькие кастрюли точно по нотам,— понятно, что все это, если бы и произошло, следует отнести к весьма невероятным происшествиям. Наука говорит, что это факты, выступающие с ничтожной частотой в комплексах событий, к которым они относятся, то есть в комплексе всех дуэлей, в комплексе поедания рыб с потерянными предметами внутри и, наконец, в комплексе артиллерийского обстрела посудохозяйственных магазинов.

Но наука, говорит профессор Коуска, морочит нам голову, потому что разговоры о таких комплексах — сущий вымысел. Теория вероятности позволяет якобы вычислить, как долго нам придется дожидаться того или иного события, вероятность которого очень мала; то есть сколько раз надо бы повторять дуэли, терять кольца и обстреливать кастрюли, чтобы произошли перечисленные странные вещи. Это чушь, ибо для того, чтобы случилась невероятная вещь, совсем не обязательно, чтобы комплекс событий, к которым она относится, являл собою непрерывный цикл. Если вы кидаете десять монет, зная, что вероятность выбить одновременно десять орлов или десять решек составляет всего 1/796, то вам вовсе не обязательно бросать 796 раз, для того чтобы вероятность выбить десять орлов или десять решек равнялась единице. Ведь вы можете сказать, что ваши броски — продолжение всех предыдущих аналогичных попыток. Таких попыток было за последние 5000 лет истории человечества несметное множество, и, стало быть, вы вправе надеяться, что у вас с первого же раза будут выпадать одни орлы или одни решки. А между тем попробуйте-ка понадеяться на это рассуждение, говорит профессор Коуска. С научной точки зрения оно абсолютно правильно, ибо вероятность удачи совершенно не зависит от того, бросаете ли вы монеты раз за разом или делаете перерыв, чтобы поесть кнедликов и запить их кружкой пива, или вообще кидаете не вы один, а разные люди, и не подряд, а раз в неделю или раз в год; и поскольку десять монет кидали уже финикийцы, сидевшие на бараньих шкурах, и греки,

[1] «О невозможности жизни», «О невозможности прогнозирования» *(лат.)*.

сжегшие Трою, и римские сутенеры времен Империи, и галлы, и германцы, и готы, и татары, и турки, гнавшие пленников в Стамбул, и торговцы коврами в Галате, и работорговцы эпохи крестовых походов, и Ричард Львиное Сердце, и Робеспьер, и десятки тысяч других азартных людей — то, кидая монеты, вы можете считать, что ваши шансы выбить одновременно десять орлов или десять решек просто грандиозны! Вот и попробуйте кинуть, говорит профессор Коуска, но при этом крепко держите за локоть какого-нибудь ученого физика или другого специалиста по теории вероятности. Не давайте им удрать, а то ведь эти господа не любят убеждаться воочию в несостоятельности своего метода. Попробуйте — и вы убедитесь, что у вас ничего не получится.

Затем профессор Коуска проводит развернутый мысленный эксперимент, основанный не на каких-то гипотетических явлениях, а на своей собственной биографии. Приведем вкратце самые интересные отрывки из этого исследования.

Один военный врач во время первой мировой войны, делая операцию, выгнал из операционной медсестру, забежавшую туда по ошибке. Будь медсестра лучше знакома с госпиталем, она бы не перепутала перевязочную с операционной, а не войди она в операционную, хирург бы ее не выгнал; не выгони он ее, начальник госпиталя не сделал бы ему замечания за неподобающее обращение с дамой (медсестра была девушкой из хорошего дома), а не сделай он замечания, молодой хирург не счел бы нужным извиниться перед медсестрой, не пошел бы с ней в кафе, не влюбился бы и не женился, вследствие чего не появился бы на свет плод любви этой супружеской пары — профессор Бенедикт Коуска.

Может показаться, что вероятность появления на свет профессора Бенедикта Коуски (в качестве новорожденного, а не заведующего кафедрой аналитической философии) определялась исключительно вероятностью того, что медсестра в данный год, месяц, день и час перепутает двери. Но это вовсе не так. Юный хирург Коуска вообще не должен был оперировать в тот день, но его коллега, доктор Попихаль, решил принести своей тетке белье из прачечной, вошел в подъезд, где не было света из-за того, что перегорела пробка, свалился с третьей ступеньки лестницы и вывихнул ногу в щиколотке, вследствие чего доктору Коуске пришлось его заменить на работе. Если б не перегорела пробка, Попихаль не вывихнул бы ногу, в операционной работал бы не Коуска, а Попихаль, славившийся своей галантностью, не наговорил бы грубостей случайно забежавшей медсестре, и, следовательно, ему незачем было бы назначать ей свидание; впрочем, свидание не свидание, все равно от брака Попихаля с медсестрой родился бы не Бенедикт Коуска, а некто совсем другой, чьей возможностью появиться на свет автор данного исследования не занимается.

Итак, мы поняли, что появление на свет профессора Коуски определялось не только альтернативой «та дверь — не та дверь». Его шансы зависели не от одного, а от множества совпадений: от того, что медсестру направили именно в этот, а не в другой госпиталь; что ее улыбка походила издали на улыбку Джоконды; что в Сараеве застрелили эрцгерцога Фердинанда — если б его не застрелили, не вспыхнула бы война, а не будь войны, девушка не пошла бы в медсестры, и поскольку она была родом из Праги, а хирург — из Моравской Остравы, то они бы, скорее всего, никогда и нигде не встретились. Нужно учесть также общую теорию баллистики применительно к стрельбе по эрцгерцогам, а поскольку попадание в эрцгерцога было обусловлено движением его автомобиля — то следует принять во внимание теорию кинематики автомобилей образца 1914 года, а также психологию террористов, ибо не всякий на месте того серба стал бы стрелять в эрцгерцога, а если б и стрелял, то мог промахнуться, если бы у него от волнения дрожали руки; следовательно, то, что у серба был верный глаз и твердая рука, тоже повлияло на вероятность появления на свет профессора Коуски. Не последнюю роль сыграла также общеполитическая обстановка в Европе летом 1914 года.

Впрочем, хирург с медсестрой не поженились ни в том году, ни в следующем, 1915-м, так как хирурга перевели служить в крепость Перемышль. Оттуда он должен был ехать во Львов, где жила девушка Марика, которую родители прочили ему в невесты. Однако в результате наступления русских и передвижения южного фланга русской армии Перемышль был окружен, крепость пала и хирург, вместо того чтобы поехать к львовской невесте, отправился в русский плен. Там он вспоминал медсестру чаще, чем невесту, так как медсестра была не только хороша собой, но пела песенку «Спи, родной, на ложе из цветов» гораздо лучше, чем Марика, у которой был полип на голосовых связках и, вследствие этого, сиплый голос. Ей должны были в 1914 году вырезать полип, но отоларинголог, проиграв во львовском казино большую сумму денег и не имея средств для уплаты долга чести (он был офицером), вместо того чтобы застрелиться, ограбил полковую кассу и бежал в Италию; после этого случая Марика надолго потеряла доверие к отоларингологам, не сделала операцию, а поскольку, став невестой, она была обязана петь песню «Спи, родной, на ложе из цветов», то пела ее хриплым, осипшим голосом, невыгодно отличавшимся от чистого тем-

бра пражской медсестры, и образ последней вытеснил ее из памяти пленного доктора Кауски настолько, что, возвращаясь в 1919 году из плена, тот и не подумал разыскивать невесту, а отправился прямо в Прагу к медсестре.

У той, впрочем, было целых четыре поклонника, предлагавших ей руку и сердце, с доктором Кауской же ее не связывало ничего, кроме открыток, которые он слал из плена.

Первым серьезным поклонником медсестры был некий Гамурас, летчик, который не летал, потому что у него без конца приключалась грыжа, когда он нажимал ногами на рычаги, поскольку в ту примитивную эру авиации рычаги в самолетах двигались очень туго; Гамурасу один раз сделали операцию, но неудачно, грыжа образовалась снова, как оказалось — хирург перепутал и неправильно наложил швы; и медсестра стеснялась выйти замуж за такого летчика, который, вместо того чтобы летать, непрерывно торчит в приемной госпиталя или ищет в газетных объявлениях, не продается ли где грыжевой бандаж, хороший, довоенный, надеясь, что в нем он сможет летать; однако в связи с войной приобретение приличного бандажа было утопией.

Тут необходимо отметить, что «быть или не быть» профессора Кауски связано с историей авиации вообще и с моделями самолетов, бывших на вооружении у австро-венгерской армии, в частности. Конкретно положительную роль в зачатии и рождении профессора Кауски сыграл тот факт, что правительство Австро-Венгрии приобрело в 1911 году лицензию на строительство самолетов типа «моноплан» с тугими рычагами.

Второй поклонник медсестры, капитан Мисня, был хорош всем; но он пошел на итальянский фронт и заболел ревматизмом (дело было зимой, в Альпах). О причинах его смерти рассказывают следующее: капитан парился в бане, когда в нее попал снаряд 22 калибра; капитан вылетел голый прямо на снег, вылечившись таким образом от ревматизма, но заболев воспалением легких. Если б, однако, профессор Флеминг открыл свой пенициллин не в 1940-м, а, например, в 1910 году, то Мисню вылечили бы от воспаления легких и отпустили домой на поправку, и тогда шансы появления на свет профессора Кауски уменьшились бы чрезвычайно. Итак, время открытия антибиотиков сыграло существенную роль в рождении Бенедикта Кауски.

Третий жених был солидным оптовым торговцем, но не нравился медсестре; четвертый должен был вот-вот жениться, но дело расстроилось из-за кружки пива. У этого последнего жениха было весьма бурное прошлое и куча долгов, с которыми он думал расплатиться, получив богатое приданое. Семья девушки вместе с женихом отправилась на благотворительную лотерею, где к обеду были зразы по-венгерски. Поев зраз, томимый жаждой отец невесты пошел в соседнюю комнату выпить пива. Там он встретил школьного товарища, который через общих знакомых был в курсе дел жениха и охотно поделился своими сведениями с отцом невесты. Возможно, он даже присочинил кое-какие детали, во всяком случае, отец вернулся к столику в дикой ярости и помолвка расстроилась бесповоротно. А ведь если бы отец не съел зраз по-венгерски, его бы не мучила жажда, он бы не пошел выпить пива, не встретил бы школьного товарища, не узнал о долгах жениха, помолвка состоялась бы, а поскольку время было военное, то и со свадьбой тянуть бы не стали. Итак, переперченные зразы, поданные к столу 19 мая 1916 года, спасли жизнь профессору Бенедикту Кауске.

Что касается хирурга Кауски, то он в звании батальонного врача вернулся из плена и посватался к медсестре. Злые языки сообщили ему о соперниках, особенно о покойном капитане Мисне, с которым у девушки был якобы настоящий роман, хотя она в то же время переписывалась с пленным хирургом. Кауска, будучи человеком вспыльчивым и обидчивым, готов был уже расторгнуть помолвку, но его отговорил дед, с малых лет заменявший ему отца, поскольку родной отец, непутевый и легкомысленный, совершенно им не занимался. Дед был человеком очень прогрессивных взглядов и считал, что молоденькой девушке легко вскружить голову, особенно если ухажер одет в военную форму и постоянно напоминает о том, что его подстерегает смерть на поле брани.

И Кауска женился на медсестре. Но если бы его дед придерживался иных взглядов или не дожил бы до восьмидесяти лет — не бывать бы свадьбе. К счастью, дед вел очень рациональный образ жизни и систематически принимал водные процедуры по системе преподобного отца Кнейппа. Увы, нет возможности точно определить, в какой мере ежедневный ледяной душ, продлевая жизнь деда, увеличил вероятность появления на свет профессора Бенедикта Кауски.

До сих пор мы рассматривали вероятность появления на свет профессора Кауски, исходя из того, что оба его родителя существовали, а вероятность их союза зависела от некоторых вариантов поведения каждого из них, вариантов, обусловленных действиями третьих лиц (русского генерала, летчика Гамураса, императора Франца-Иосифа, эрцгерцога Фердинанда, братьев Райт, хирурга, оперировавшего грыжу Гамурасу, отоларинголога Марики и т. д.). Но ведь эти рассуждения можно продолжить, рассматривая вероятность появления на свет девушки, которая, став медсестрой, вышла замуж за хирурга Кауску, или появления на свет того же хирурга. Понадобились биллионы, триллионы лет, а не иных стечений обстоятельств для того, чтобы ро-

дились эта девушка и будущий хирург Коуска. Точно так же бесчисленное множество событий обусловило появление на свет их родителей, дедов, прадедов и т. д. Думается, нет нужды доказывать, что если бы в 1673 году не родился портной Властимил Коуска, то не было бы на свете его сына, внука и правнука, то есть прадеда хирурга Коуски, и, следовательно, не было бы профессора Бенедикта.

Аналогичное рассуждение можно распространить и на тех предков рода Коуски и рода медсестры, которые вообще были еще не людьми, а четверорукими, жившими на деревьях в эпоху раннего эолита, когда первый палеопитек, встретив четверорукого, обнаружил, что это самка, и овладел ею под эвкалиптовым деревом, росшим там, где в сегодняшней Праге находится Мала Страна. В результате смешения хромосом похотливого палеопитека и четверорукой самки прачеловека возникло то сочетание генов, которое, пройдя сквозь 30 000 следующих поколений, образовало на лице медсестры улыбку, чем-то напоминавшую улыбку Джоконды с картины Леонардо да Винчи и покорившую молодого хирурга Коуску. А ведь тот эвкалипт мог расти четырьмя метрами дальше; тогда четверорукая, убегая от палеопитека, не упала бы, споткнувшись об его толстый корень, успела бы взобраться на дерево и не зачала б, а если б она не зачала, то, например, переход Ганнибала через Альпы, крестовые походы, Столетняя война, захват турками Боснии и Герцеговины, московский поход Наполеона и еще десяток триллионов подобных событий мог привести к обстоятельствам, при которых появление на свет профессора Бенедикта Коуски было бы совершенно невозможным. Из этого следует, что в шансах его рождения содержатся такие, например, подгруппы вероятностей, как расположение всех эвкалиптовых деревьев, росших на территории нынешней Праги примерно 349 000 лет назад. А эвкалипты выросли там потому, что преследуемые саблезубыми тиграми стада слабеющих мамонтов объелись цветами эвкалиптов и, мучаясь изжогой, пили много воды из Влтавы; вода эта, обладавшая тогда слабительными свойствами, вызвала у всех поголовно мамонтов понос, в результате которого взошли семена эвкалиптов в таких местах, в которых они прежде не произрастали; если бы тогдашние воды Влтавы не вызвали поноса у мамонтов, то на территории сегодняшней Праги не выросла бы эвкалиптовая роща, четверорукая не споткнулась бы, убегая от палеопитека, и не получилось бы того сочетания генов, которое, воспроизведя на лице медсестры улыбку Джоконды, соблазнило молодого хирурга; таким образом, не случись у мамонтов поноса, профессор Бенедикт Коуска не появился бы на свет.

А теперь процитируем автора, который на стр. 619 1-го тома «De Impossibilitate Vitae» говорит (23-я строка сверху):

«Одни люди рождаются от браков, запланированных родителями жениха и невесты задолго до их свадьбы, так что будущий отец данного лица и его будущая мать уже в детском возрасте предназначены друг другу. Человеку, родившемуся от такого брака, кажется, что вероятность его появления на свет была значительной, в отличие от того, кто узнает, что его отец встретился с матерью в ходе великих миграций военного времени или что он был зачат, когда наполеоновский гусар, убегая с Березины, по дороге отнял у встреченной девушки кувшин с водой и девичью честь. Такому человеку, возможно, думается, что если бы гусар больше торопился, чувствуя, что казачьи сотни преследуют его по пятам, или если б его мать не вышла бог весть зачем из дому, а сидела, как положено, в избе у печки, то и его бы не было, то есть шансы его появления на свет висели на волоске, в отличие от шансов того, чьи родители были помолвлены с детства.

Такие суждения ошибочны, ибо бессмысленно взвешивать вероятность чьего-либо появления на свет с момента рождения будущего отца и будущей матери данного человека. Если перед нами лабиринт, состоящий из тысячи комнат, соединенных тысячью дверей, то вероятность прохода сквозь лабиринт от его начала до конца определяется суммой всех выборов во всех комнатах по очереди, а не единичной вероятностью войти в нужную дверь в какой-нибудь одной комнате. Если вы ошибетесь дверью в комнате номер сто, то заблудитесь так же, как если бы ошиблись в первой или тысячной комнате. Точно так же нет оснований полагать, что только ваше появление на свет зависело от случайных совпадений, а появление ваших родителей, дедов, прадедов, бабок, прабабок и т. д. вплоть до возникновения вообще жизни на Земле от них не зависело. Когда ваши родители очутились на брачном ложе, вероятность вашего появления на свет составляла, предположим, один к ста тысячам (принимая во внимание, в частности, большую детскую смертность в первые послевоенные годы). Во время осады крепости Перемышль эта вероятность составляла всего один к биллиону; в 1900 году — один к триллиону; в 1800 году — один к квадриллиону и так далее. А если бы мы попробовали подсчитать вероятность вашего появления на свет в период миграции мамонтов и их поноса, то она бы составила один к центиллиону. Величины порядка гига появятся, если сдвинуть точку отсчета на миллиард лет назад, а порядка тера — если на три миллиарда.

Иными словами, на временной оси

СТАНИСЛАВ ЛЕМ
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАКУУМ

можно всегда найти точку, с которой определение шансов чьего-либо появления на свет настолько невероятно, что фактически невозможно, ибо бесконечно близкая к нулю вероятность равна бесконечно большой невероятности. Говоря это, мы не утверждаем, что ни нас, ни кого-либо другого на свете не существует. Напротив: мы не сомневаемся ни в чужом бытии, ни в своем собственном. Говоря это, мы лишь повторяем утверждения физиков, ибо именно с точки зрения физики, а отнюдь не здравого смысла, на свете никогда не было и нет ни одного человека. А вот доказательство: согласно физике, то, что представляет собою один шанс на центиллион,— невозможно. Ибо то, что представляет собою один шанс на центиллион, при том, что ожидаемый случай входит в комплекс случаев, происходящих каждую секунду, вообще не может в космосе ожидаться.

Количество секунд, которые пройдут с сегодняшнего дня до конца Вселенной,— меньше центиллиона. Звезды излучат всю свою энергию намного раньше. Следовательно, время существования Космоса в его нынешнем виде короче, чем требуется для того, чтобы дождаться случая, происходящего раз в центиллион секунд. С точки зрения физики ждать столь маловероятного события все равно что ждать события, которое наверняка не произойдет. Физика называет эти явления термодинамическими чудесами. Если, допустим, замерзнет вода в кастрюле, которая стоит на огне, или осколки разбитого стакана поднимутся с пола и соединятся снова в целый стакан. Вычисления показывают, что такие «чудеса» все же более вероятны, чем события, вероятность которых равна один к центиллиону. Добавим, что эти наши вычисления охватывают лишь макроскопические данные. А ведь появление на свет конкретной личности определяется, кроме того, микроскопическими обстоятельствами, то есть тем, например, какой сперматозоид с каким яйцом соединится у данной пары. Если б моя мать зачала меня в другой день и час, чем это имело место в самом деле, то родился бы не я, а некто другой; это видно хотя бы по тому, что́ моя мать действительно зачала в другой день и час, а именно — за год до моего рождения, и родила тогда девочку, мою сестру, относительно которой излишне доказывать, что она — не я. Эту микростатистику тоже следует учесть при рассмотрении шансов моего появления на свет, а включение ее в подсчеты превращает центиллионы невероятности в мираллионы.

Итак, с точки зрения термодинамической физики существование любого человека — явление космически невозможное, поскольку оно настолько невероятно, что его нельзя предвидеть. Значит, или физика ошибается, отстаивая универсальную значимость своей теории вероятности, или вообще не существует людей, равно как не существует собак, акул, мха, лишайников, глистов, летучих мышей и плаунов, поскольку сказанное выше относится ко всему живому. «Ex physicali positione vita impossibilis est, quod erat demonstrandum»[1].

Этими словами заканчивается книга «De Impossibilitate Vitae», которая представляет собою, в сущности, обширнейшее, фундаментальное вступление ко второму тому дилогии. В этом томе автор доказывает несостоятельность попыток предугадать будущее, основываясь на теории вероятности. Он утверждает, что история человечества состоит сплошь из фактов, совершенно невозможных с точки зрения этой теории. Профессор Коуска ставит на пороге XX века воображаемого футуролога, вооруженного всеми достижениями тогдашней науки, и задает ему ряд вопросов. «Считаешь ли ты вероятным,— вопрошает Бенедикт Коуска,— что вскоре люди откроют похожий на олово серебристый металл, который, если сложить вместе два полушария, сделанные из него, способен уничтожить всю жизнь на земле? Считаешь ли ты вероятным, что вот эта старая колымага, которую некто Бенц снабдил ревущим мотором мощностью в полторы лошадиных силы, вскоре распространится настолько, что ее ядовитые испарения и отработанные газы будут в больших городах превращать день в ночь, а вопрос о том, куда приткнуть колымагу после поездки, станет подлинным бедствием крупнейших метрополий? Представляется ли тебе вероятным, что люди вскоре начнут разгуливать по Луне, причем в это же время сотни миллионов людей на Земле смогут, сидя у себя дома, следить за их прогулками? Считаешь ли ты возможным, что вскоре удастся сконструировать искусственные небесные тела с аппаратурой, позволяющей наблюдать из космического пространства движения любого человека в поле или на улице города? Считаешь ли ты возможным сконструировать машину, которая будет лучше тебя играть в шахматы, сочинять музыку, делать переводы и производить подсчеты, которых не успели бы произвести до конца своей жизни все бухгалтеры и счетоводы мира вместе взятые? Считаешь ли ты вероятным, что вскоре возникнут в центре Европы огромные промышленные предприятия, в которых будут сжигать людей, причем количество этих несчастных будет исчисляться миллионами?»

Ясно, утверждает профессор Коуска, что в 1900 году только сумасшедший счел бы эти события хоть маломальски вероятными. А ведь все это было. И коль скоро происходили сплошь невероятные события, то с чего бы вдруг все переменилось и начали бы происходить события, кажущиеся нам возмож-

[1] С точки зрения физики жизнь невозможна, что и требовалось доказать *(лат.)*.

ными, вероятными, реальными? Предсказывайте будущее, как хотите, обращается он к футурологам, но только не опирайте свои предсказания на подсчеты максимальных шансов.

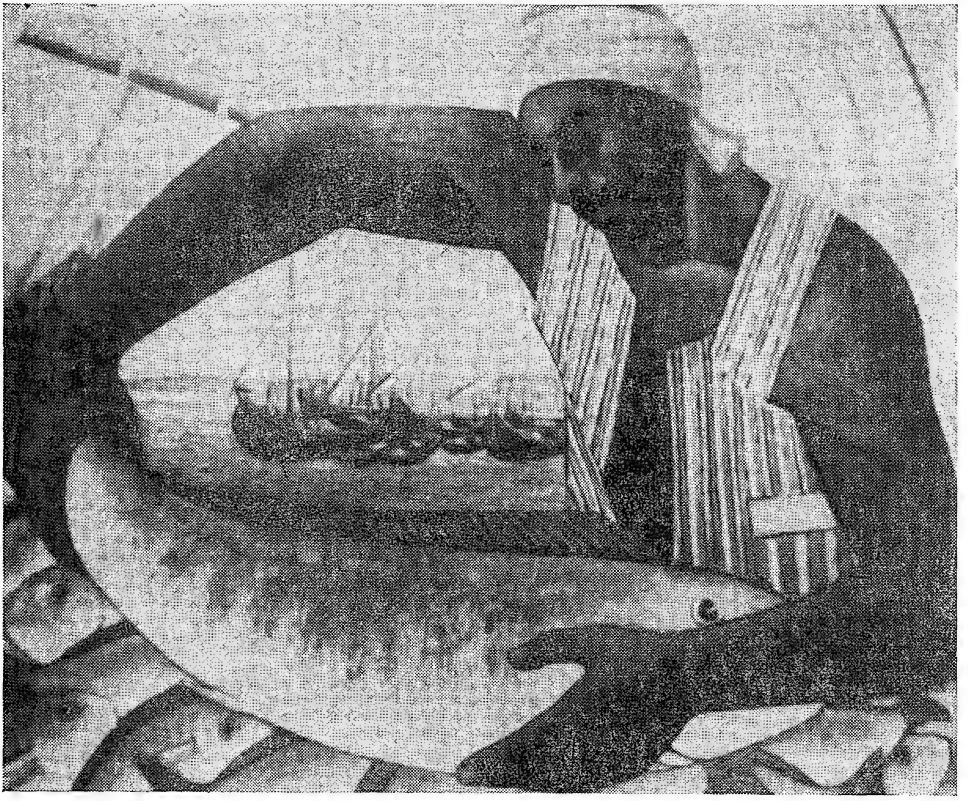
Фундаментальный труд профессора Коуски, несомненно, заслуживает признания. Но все же наш ученый в пылу научных изысканий допустил ошибку, на которую обратил внимание профессор Бедржих Врхличка в обширной критической статье, опубликованной в журнале «Земледельске новины». Профессор Врхличка утверждает, что все доводы профессора Коуски против теории вероятности основаны на ложных предпосылках. За фасадом его рассуждений кроется «метафизическое изумление бытием», которое можно выразить словами: «Почему я живу именно сейчас, именно в таком, а не ином облике? Почему я не был ни одним из миллионов людей, которые жили раньше, и не буду ни одним из тех, кто будет жить потом?» Если мы даже допустим, что такой вопрос не лишен смысла, говорит профессор Врхличка, то все равно к физике он никакого отношения не имеет. Правда, на первый взгляд кажется, что имеет и что его можно сформулировать так: «Каждый человек, живший до сих пор, был конкретным воплощением некой формулы, составленной из генов, то есть из кирпичиков наследственности. В принципе можно изобразить все формулы, воплощенные до сегодняшнего дня. Мы получим тогда необъятную таблицу, исписанную рядами генотипических формул: каждая из них соответствует конкретному человеку. Возникает вопрос: чем, собственно, отличается моя формула на таблице от всех остальных формул, почему именно я являюсь ее живым воплощением в материи? То есть: какие физические условия, какие материальные обстоятельства я должен принять во внимание, чтобы найти эту разницу, чтобы понять, почему обо всех формулах таблицы я могу сказать: «Это касается других людей» и только об одной: «Это касается меня, это «я»?»

Не может быть и речи о том, объясняет профессор Врхличка, чтобы физика сегодня, через сто или через тысячу лет могла ответить на вопрос, поставленный таким образом. Этот вопрос в физике вообще ничего не значит, ибо сама физика не является личностью; поэтому, изучая что-либо, например небесные или человеческие тела, физика не делает никакого различия между мной и тобой, между тем и этим; то, что я называю себя «я», а другого «он», физика способна объяснить по-своему (опираясь на общую теорию логических автоматов, теорию самоорганизующихся систем и т. п.), но не видит принципиального различия между «я» и «он». При этом, однако, физика способна выявить уникальность каждого отдельного человека, ибо каждый человек (исключая близнецов) воплощает в себе особую формулу генов.

Но профессора Коуску интересует совсем не то, что каждый из нас сложен несколько иначе, чем другие, что он индивидуален физически и духовно. Метафизическое изумление, кроющееся за рассуждениями Бенедикта Коуски, не уменьшилось бы ни на йоту, если бы все люди были воплощением одной и той же генетической формулы, если бы человечество состояло сплошь из идеально похожих друг на друга близнецов. Ибо по-прежнему можно было бы спросить, почему я именно «я», а не «кто-то другой», почему я родился не в эпоху фараонов и не в Арктике, почему я родился здесь и сейчас,— и физика по-прежнему не смогла бы ответить на эти вопросы. Ведь различия между мной и другими людьми начинаются для меня с того, что я являюсь самим собой, не могу перескочить через себя и поменяться жизнью с кем-нибудь; и лишь во вторую очередь я замечаю, что также внешностью и характером отличаюсь от всех остальных — живых и умерших. Этого основного, главного для меня различия для физики вообще не существует, и это все, что можно сказать на данную тему. Следовательно, слепота физики и физиков в этом вопросе не вызвана теорией вероятности.

Рассматривая вероятность своего появления на свет, профессор Коуска ошибся сам и ввел в заблуждение читателя. По мнению профессора Коуски, на вопрос «какие условия понадобились для того, чтобы родился я, Коуска?» физика отвечает: «Понадобились условия с точки зрения физики совершенно невероятные!» Но это неверно. В действительности вопрос звучит: «Я живой человек, один из миллионов. Хотелось бы знать, чем я физически отличаюсь от всех остальных людей, которые были, есть и будут, почему я не был и не буду ни одним из них, а являюсь именно собою и называю себя «я»? Так вот, физика не отвечает на этот вопрос, основываясь на теории вероятности. Она заявляет, что с ее точки зрения между автором вопроса и всеми остальными людьми нет никакой физической разницы. И, следовательно, рассуждения профессора Коуски не опровергают теорию вероятности, они просто не имеют к ней никакого отношения!

Столь противоречивые взгляды двух крупных мыслителей повергли рецензента в глубокое смятение. Он не в состоянии разрешить дилемму, и единственные твердые знания, какие он вынес из чтения трудов профессора Бенедикта Коуски,— это сведения о событиях, приведших к появлению на свет ученого с такой интересной семейной биографией. Что же касается существа спора, то придется передать его на суд более компетентных специалистов.



Александрийский рыбак.

А. БОГДАНОВ

ЖИВОПИСЬ МОХАММЕДА ОВЕЙСА

В последние годы в творчестве передовых художников Египта все увереннее начинает звучать общественно значимая современная тема. Внимание к новому жизненному содержанию обусловило появление в искусстве и нового героя. На смену преобладавшему прежде идеализированному изображению феллаха с его патриархальным бытом приходят образы современников, участвующих в преобразовании действительности, в борьбе против израильской агрессии.

Живопись Мохаммеда Овейса (род. в 1919 г.), известного египетского художника, друга нашей страны, активно сотрудничающего с Советским культурным центром в Александрии, тесно связана с жизнью египетского труженика. Представитель среднего поколения египетских мастеров, профессор Александрийской школы изящных искусств, Овейс

всем своим творчеством утверждает принципы реализма, идеи гражданственности. «Главное содержание моих картин — жизнь людей труда: именно с ней я связываю возможность создания социально значимого искусства»,— говорит художник.

Первые картины Овейса демонстрировались на выставках еще в начале 50-х годов, но в полную силу его дарование развернулось позднее, в период, когда в живописи Египта стали появляться мотивы индустриального труда и образ нового рабочего занял достойное место рядом с традиционной фигурой крестьянина.

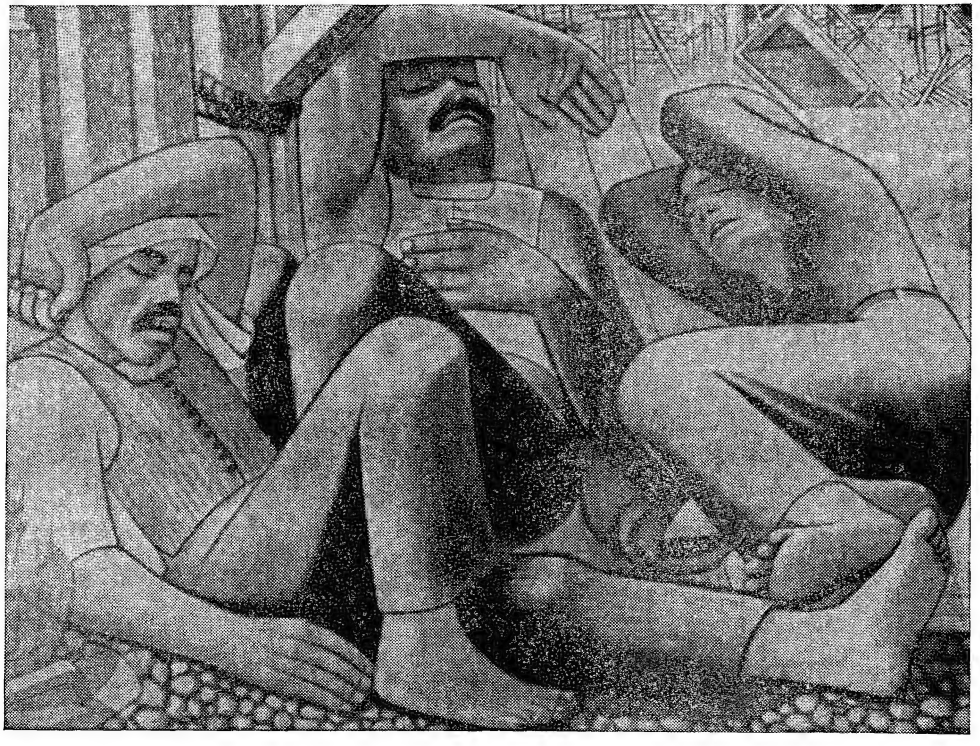
Подлинным творческим достижением стали его произведения, созданные в годы независимости страны и рассказывающие об исторических переменах. Художника привлекают яркие и сильные человеческие характеры, дающие возможность нарисовать впечатляющую картину труда и борьбы. Изображая эпизоды прокладки железной дороги, возведения жилых кварталов или нефтяных вышек в пустыне, он словно любуется четким ритмом неторопливых движений рабочих, спокойной уверенностью лиц, выразительной пластикой крепких мускулистых фигур носильщиков и укладчиков рельсов («Строительство железной дороги», 1957), уличных каменщиков («Восстановим Порт-Саид», 1951), автомехаников («В мастерской», 1958).

Человек нового общества, стремящийся к свету знаний, показан в полотне «Читающий рабочий» (1958). В 1960 году создана большая картина «Народный фронт»: крестьянин, крестьянка и рабочий символизируют трудовую основу египетской нации. Зритель ощущает нерасторжимое единство этих людей, их мощную жизненную силу. Та же идея — и в композиции «Феллахи и земля» (1964), которую сам автор расценивает как программную в своем творчестве.

Лучшие из этих работ убеждают в растущем профессиональном мастерстве Овейса. Их колорит пришел на смену прежней цветовой разобщенности, плоскостность постепенно уступает место пластической объемности, важную роль начинает играть ритмическое построение холста, достигаемое уравновешенностью крупных цветовых пятен. Все эти выразительные особенности служат одной цели — воспеть величие и красоту простых тружеников Египта.

В середине 60-х годов создается цикл картин «Высотная плотина», занимаю-

Отдых строителей.



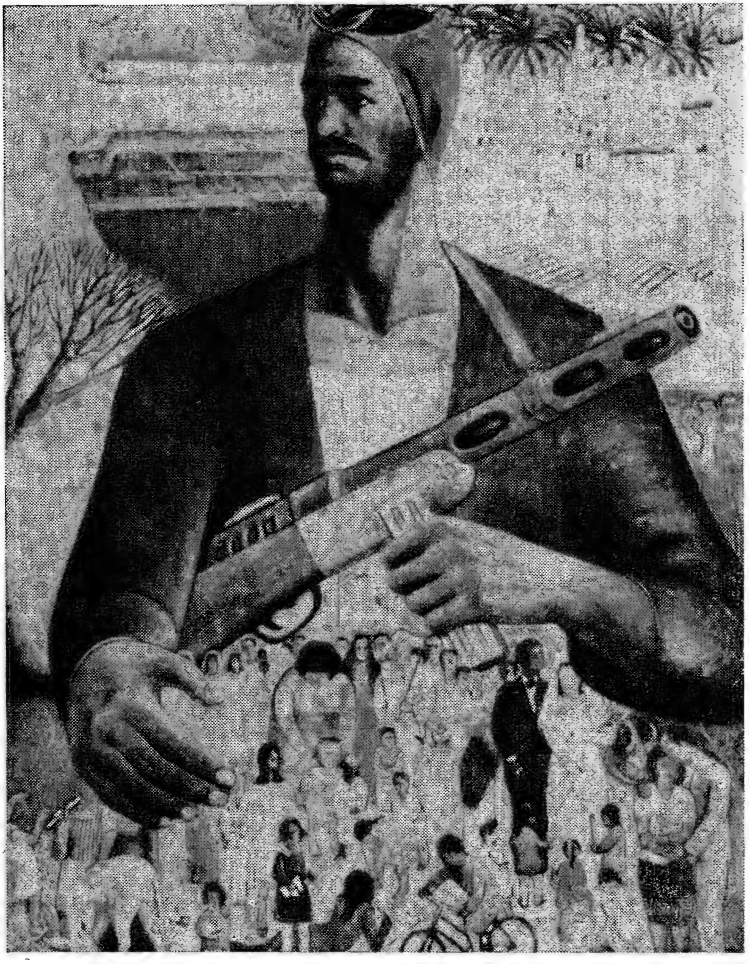
щий в живописи Овейса особое место. Как и других египетских художников, его захватил величественный пафос строительства в Асуане. Рисуя сложные агрегаты современных механизмов, причудливое переплетение стальных балок и конструкций, металлических ферм и мачт электропередач, уходящих к синему небу, художник стремится передать напряженные ритмы индустриальной эпохи через эстетизацию самих форм промышленной техники.

В более поздних работах все очевиднее сказывается изучение приемов и средств древнеегипетского и современного народного искусства. Овейс далек при этом от стилизаторства — явления, затронувшего определенную часть египетских мастеров. Им руководит потребность органически переосмыслить сложившиеся художественные представления, найти в национальных традициях черты, общие с мироощущением современного человека.

Обращение к канонам искусства Древнего Египта заметно в композиционном построении ряда картин, основанном на системе разномасштабности изображения. Одна из них — «Защита мира» (1969). Композиция включает в себя величественную фигуру вооруженного феллаха, показанного на фоне заводов, городских зданий, песков пустыни и каскадов Асуанской плотины. Традиционные элементы древних росписей и рельефов призваны усилить публицистическое звучание произведения. Тот же принцип соблюден в картинах «Александрийский рыбак» (1970) и «Палестинский вопрос» (1972), привлекающих монументальным характером исполнения.

Сейчас Мохаммед Овейс работает над серией произведений, где в символической форме хочет показать бесчеловечность войны. А рядом с этим циклом — новые полотна и новые замыслы, посвященные труженикам родной земли.

Защита мира.



Изобразительное искусство за рубежом

Крестьянская семья

Из работ Мохаммеда Овейса

В саду

Гладильщик

В школу

Среди книг

Издано в СССР

ПРИЗНАНИЯ НЕВИНОВНОГО

Вальтер Маттиас Диггельман. Увеселительная прогулка. Роман. Перевод с немецкого С. Шлапоберской. Редактор Е. Приказчикова. Послесловие И. Виноградова. Москва, «Прогресс», 1974. 259 стр.

Еще лет двадцать назад Макс Фриш заметил: чтобы добиться известности, швейцарские писатели должны прежде завоевать успех в чужих краях. Это совершенно справедливо по отношению к В. М. Диггельману, чьи произведения большей частью издаются за рубежом. В Швейцарии его книги не раз встречали настороженно, в особенности роман «Наследство» (1966), в котором он поставил вопрос о национальной ответственности за то, что власти лишили права убежища тысячи изгнанников-антифашистов. После насильственного выселения из нейтрального государства беженцы попадали в концлагеря.

Как бы продолжая мысль Фриша о писательском признании в собственном отечестве, В. М. Диггельман мрачновато пошутил, что если в армии опросить пятьсот солдат, кто такие Дюрренматт или Фриш, то едва ли кто-нибудь вспомнит «одну из этих фамилий и будет знать, о ком идет речь: о хирурге, который пересаживает сердце, или о вожде американских негров». Несмотря на очевидное преувеличение, в такого рода гипотезе есть резон, ибо тот и другой обличают обывательский образ мысли подчас в столь усложненной форме, что их яростный критицизм доступен только интеллектуальной элите. Автор же «Увеселительной прогулки» обращается к самой широкой аудитории.

Наше знакомство с В. М. Диггельманом, выпустившим уже примерно десяток книг, только начинается. Роман «Увеселительная прогулка» был написан в 1968 году — в том же году происходит и его действие. В предисловии к изданию «Увеселительной прогулки», вышедшему в Западном Берлине, критик Жан Виллэн подчеркнул, что «все до сих пор опубликованное Диггельманом основано на подлинных, реальных событиях». У него сильна журналистская закваска, он насыщает свою прозу достоверными подробностями. Прежде чем стать писателем-профессионалом, он сменил много занятий: был строительным рабочим, служил в отеле, занимал должность ассистента в Цюрихском театре, писал статьи и репортажи. Он и сейчас продолжает активно выступать как публицист.

Обратившись в «Увеселительной прогулке», к происшествию, наделавшему много шума в швейцарской прессе, он не реконструирует его, не фиксирует биографии пострадавших, а стремится в сходных сюжетных обстоятельствах вскрыть симптомы современной трагедии.

В. М. Диггельман воюет против «массовой культуры», но при этом, несколько пародируя, использует характерный для нее инструментарий. В повествовании присутствуют все атрибуты детектива, многочисленные динамичные диалоги делают роман похожим на киносценарий, ход событий рассчитан по минутам. Многие главы напоминают залихватские репортажи с места событий.

Некоторые страницы отражают последствия массового просветительства относительно «физиологии брака» или «анатомии любви». Такова внешняя текстура романа, несколько сходная с ремесленными бестселлерами. Но все эти признаки массового производства дешевых продуктов культуры, по авторскому замыслу, использованы в романе явно с отрицательным знаком.

Возбудив любопытство читателя, автор до последней страницы так и не открывает, что же на самом деле произошло ночью на озере во время прогулки на похищенной моторной лодке. Диггельман считает, что важны не факты и улики, а общественный смысл события. Странная история подростка Оливера, сына главного редактора одной из крикливых бульварных газеток, обнаружила нравственное неблагополучие в жизни его семьи, гимназии и в конце концов целого города.

Шестнадцатилетний обвиняемый обаятелен, доверчив и впечатлителен. Нелепо было подозревать в юноше убийцу его красивой одноклассницы. Но Оливер лезет на рожон, возводит на себя опасную напраслину, изо всех сил тщится доказать, что именно он виновник смерти исчезнувшей девочки. Из него потоком выливаются страшные признания, причем все версии происшествия противоречат друг другу и напоминают порой сюжеты какого-нибудь гангстерского комикса.

Его поведение на допросах заставляет вспомнить героя романа Макса Фриша «Штиллер», где солидный скульптор, отрекаясь от собственного «я» и своего прошлого, выдавал себя за искателя опасных приключений, на счету которого якобы не одно мокрое дельце. Чем объяснить подобные психологические вывихи? И там и здесь мы сталкиваемся с отчаянной попыткой самоутвердиться хотя бы ценой наказания за мнимое преступление. В этой ситуации в права вступает наоборотная логика буржуазной морали: сколько ни спеши делать добро, этим ничего нельзя добиться. А вот престиж преступника все еще, как ни странно, привлекателен для публики. Штиллер к затеянной им игре относится как к грустному анекдоту, а юный Оливер всерьез считает, что детективные трюки уравняют его со взрослыми. Подросток не замечает, что оказался в ловушке, которую ему искусно подстроили газетный конкурент отца, полицейские, прокурор по делам несовершеннолетних. Свои признания он делает по их подсказкам, заявляя на следствии как раз то, чего жаждут услышать от него недоброжелатели. Ловко сработанная фальшивка используется для того, чтобы скомпрометировать его отца, да и просто ради сенсации, которая позволит опорочить молодежь, внушить одураченным читателям бульварной газетки, насколько, дескать, жестоко и аморально нынешнее молодое поколение.

Диггельман откликнулся в этом романе на волну молодежных движений, которые в конце 60-х годов имели место и в Швейцарии. Он правильно подметил, что хотя все студенты единодушно выступали против войны во Вьетнаме, их лозунги относительно изменения внутренних порядков в своей стране довольно расплывчаты. Но бунтарские настроения и стремление во что бы то ни стало ниспровергнуть устои приняли такой массовый характер среди молодежи, что, как показано в книге, буквально в каждой семье сыновья восстают «против взрослых, против полиции, против политики». Это уже явная угроза буржуазному образу жизни — вот отчего власти и пресса спешат использовать признания невиновного Оливера, чтобы нанести удар по молодежи.

Таких, как Оливер, педагоги обычно называют неблагополучными детьми. Он и в самом деле неблагополучен, виной тому — ранняя вседозволенность и беспрерывные психологические баталии, которые ведут друг с другом его родители.

Как отметил в послесловии И. Виноградов, роман Диггельмана — одна из первых переводных книг о повседневных последствиях «сексуальной революции», разрекламированной на Западе. В медицинских институтах известна так называемая болезнь третьего курса, когда студент, начитавшись историй болезни, по очереди все хвори открывает у самого себя. Нечто подобное провоцирует глобальная секспропаганда, вызывая настоящие эпидемии комплексов и стрессов. «Увеселительная прогулка» убедительно продемонстрировала одну из ситуаций, которые возникают, когда человек утрачивает способность чувствовать живо и непосредственно, без апелляции к самодеятельным психоаналитикам.

Опытный журналист, В. М. Диггельман с любопытными подробностями показал в своей книге, как делается сегодня бульварная пресса. Механика хотя и не хитрая, но требует сноровки. Надо втягивать подписчика во всевозможные бессмысленные дискуссии, например — полезны или нет солнечные ванны. Потребны разного рода сенсации: политические, уголовные, интимные — словом, всякие. Коммерческий директор газетного концерна рассуждает: кому, дескать, интересна статья о балете? Только

снобам. Тогда как сообщение о танцовщице с протезом взволнует читательское воображение и в усталой голове обывателя мысли засуетятся, курьез заставит говорить и спорить. Ради сенсации, бурно поднимающей тираж, дело Оливера было раздуто до такой степени, что он и сам поверил в свое преступление.

В конце книги явственно ощущается сочувствие автора к юному, но уже вдосталь настрадавшемуся герою. Писатель по-отцовски озабочен его нескладной судьбой, не случайно ведь он дал ему имя собственного сына, которому столько же лет и которого тоже зовут Оливер.

В. ПРОНИН

УРОКИ МАСТЕРА

Генри Джеймс. Повести и рассказы. Перевод с английского. Составление и предисловие А. Елистратовой. Москва, «Художественная литература», 1973. 432 стр.

В глазах большинства американских современников Генри Джеймс был эстетом, едва ли не снобом и уж во всяком случае чужим, не близким писателем. Нельзя считать безосновательными те упреки, которые постоянно раздавались в его адрес. Усиливавшееся у Джеймса чувство, что в Америке с ее духом вульгарного практицизма не осталось и самого скромного уголка для художника и для истинной красоты, побудило его в 1875 году покинуть родину и провести остаток жизни — сорок с лишним лет — в Лондоне, где и были созданы его лучшие книги. Внешне эти книги почти не связаны с тогдашней американской литературой. Что общего между утонченным психологизмом Джеймса, артистичностью его повествовательной манеры, акварельным изяществом его этюдов из жизни разраставшейся американской колонии в Европе — и гневной политической сатирой Марка Твена, социальной эпикой Фрэнка Норриса, обличительным документализмом «разгребателей грязи»?

Но ведь и Джеймсу не была чужда злободневная проблематика, развенчание «грязных денег», и он не питал иллюзий насчет нравов мира бизнеса, которые в «Американце» прямо уподобил нравам на пиратском судне. Его «Княгиня Казамассима» была первым американским «антинигилистическим» романом — достаточно противоречивым, позволявшим упрекнуть автора в слабом знании рабочего движения, даже в тенденциозности, но уж никак не в «отрыве от жизни».

И все же представление о Джеймсе как о поборнике рафинированного эстетства сохранялось. Объяснялось дело, по-видимому, тем, что наибольшие творческие удачи Джеймса сопряжены не с изображением социальных контрастов и общественной борьбы, а с художественным осмыслением природы искусства, назначения писателя и тех трудностей, которые ждут его в мире, где царит «грубая обобщенность богатства, силы и успеха», в «дикой пустыне оптовости», где все, решительно все склоняет художника усвоить повадки торгаша, стремящегося повыгоднее сбыть свой товар.

Приобретенные дорогой ценой экспатриантства новый психологический опыт и дружба крупнейших современных писателей — Тургенева, Флобера — сыграли свою роль в становлении Джеймса-художника. Но была еще и человеческая судьба. Все те годы, что Джеймс провел вдали от родины, его, как героя «Веселого уголка» Брайдона, вернувшегося в Америку стариком, преследовал «вопрос, чем он сам лично мог бы здесь стать, какую бы вел жизнь и что бы из него вышло, если б он не бросил все в самом начале». Пока он, американец, «бродил по странным тропам и поклонялся странным богам», за ним неотступно следовало сомнение в том, что этот путь правилен и необходим.

Кажутся идущими от самого Джеймса слова Брайдона: «Мне только важно понять, не упустил ли я со всем этим какого-то другого — фантастического, однако вполне возможного развития моей личности. Мне все чудится, что тогда где-то глубоко во мне таилось какое-то мое alter ego, как расцветший цветок таится в тугом бутоне, и что я избрал такой путь, перенес его в такой климат, который загубил его раз и навсегда». Записные книжки Джеймса, расшифрованные лишь в 30-е годы, пестрят записями сходного содержания, и, читая их, видишь, как тяжело переживал писатель свою эмиграцию и как настойчиво уговаривал себя в том, что это необходимая жертва искусству.

Сама биография Джеймса организовала его творчество вокруг двух магистральных тем. Обе они нашли широкое продолжение в американской литературе XX века. И тема «американца в Европе» — соприкосновения и конфликта культуры, этики, духовного склада людей Нового и Старого света, американской «наивности» и европейской «просвещенности» с примесью снобизма и даже двуличия, тема «Дэзи Миллер» и многих больших романов Джеймса. И другая проблема, принесшая, пожалуй, еще более зрелые плоды,— проблема художника, искусства и тех жесточайших требований, которые оно предъявляет своим творцам. Несовместимость созидания с мелочными заботами жизнеустройства. А вместе с тем — их парадоксальная и трагическая нераздельность.

В 1892 году Джеймс написал повесть «Урок мастера» — жаль, что для этого маленького шедевра в сборнике не нашлось места. Сюжет повести прост. Начинающий

литератор Пол Оверт знакомится с прославленным писателем Генри Сент-Джорджем. Преодолев робость перед кумиром, Пол спрашивает, почему его последние книги хуже прежних. И выслушивает в ответ горячую исповедь мастера, в котором долго боролись человек — обычный человек со своими обычными запросами — и художник. И верх в конце концов взял человек.

Сент-Джордж предельно строг к себе, говоря, что «к алтарю литературы привел базарную музу». Он писал не на потребу рынка. Он просто пошел на мелкие уступки господствующим вкусам и сделал это, думая о детях, о спокойной жизни, о своих обязательствах перед близкими. Но искусству безразличны такие оправдания. Есть первый долг художника — извлечь из своей души «высшую музыку, заложенную в ней природой». И если этот долг не исполнен, остается заключить, как Сент-Джордж: «Я получил все. Иными словами, я все упустил». «Все» — это ту главную книгу, которую он уже не напишет, потому что не хватило сил бесконечно жертвовать собой.

Урок, преподанный Полу Оверту,— это урок жестокой парадоксальности судьбы художника. Удел самопожертвования, на которое он обречен,— не только тягостный, но и ложный удел, с человеческой, обыденно-рациональной точки зрения. Вступая на путь творчества, он должен принять эти суровые условия игры, не ведая, оправдается ли в конечном итоге жертва. Он может пойти на компромиссы, которые, вероятно, подметят два-три человека в целом мире, не больше. Но искусство требует творить, равняясь на этих двоих-троих, а не на толпу, готовую увенчать лаврами шарлатана. Сент-Джордж оплатил этот слишком поздний вывод творческим банкротством. Пол Оверт — отказом от личного счастья, на которое имеет право каждый человек.

Уроком, завещанным самим Генри Джеймсом, стала выстраданная им мысль о высокой ответственности художника перед своим искусством. И о том, что искусство — это всегда осознанный нравственный героизм, неосуществимый, если художник не рассчитает трезво и честно не только возможности своего дарования, но и меру отпущенных ему душевных сил.

Джеймс был едва ли не первым американским писателем, в чьих произведениях литература начала размышлять о самой себе, своем общественном статусе, назначении и судьбах. Личный опыт обострил внимание Джеймса ко всему суетному и пошлому, что, подобно рыбе-прилипале, было в его дни обязательным спутником литературы. Предметом постоянных размышлений писателя стала «ирония», заключенная во взаимоотношениях художника и сопровождающего литературу «малого мира» так или иначе причастных к ней людей, в противоположности творческих и житейских интересов, в самой «ситуации», с которой искусство сталкивается уже при своем рождении.

В некоторых рассказах этого цикла (в однотомнике они по справедливости заняли основное место) Джеймс решал тему чисто сатирическими средствами. «Смерть льва» и сегодня может служить образцом обличительной новеллы нравов, принятых в литературных кругах и порождающих недостойную возню вокруг таланта, слишком занятого решением творческих задач, чтобы всерьез раздумывать над тем, как бы «втиснуться в век, в котором он рожден».

Какое содержание Джеймс вкладывал в понятие «талант», ясно говорит другой рассказ — «В следующий раз»: «Талант не что иное, как искусство быть до мозга костей тем, чем ты являешься; либо то, что ты делаешь, полностью тебя выражает, либо оно и гроша ломаного не стоит». Если человек наделен талантом, как герой новеллы Рей Лимберт, все его попытки «втискиваться в век» будут заведомо обречены на провал. Законы второй действительности — искусства могущественнее любых человеческих устремлений. Лимберт беспомощен обуздать свой талант, рождающий шедевр за шедевром, хотя герой изо всех сил старается настроить лиру в угоду обывателям. «Он отправлялся в поле за чесноком, а приносил домой гелиотропы».

Но под пером Джеймса «ирония» взаимоотношений искусства и жизни поворачивалась порой и далеко не комическими своими сторонами, выявляя проблемы, над которыми бьется не одно поколение философов. Достаточно перечитать «Письма Асперна»[1] — повесть, с которой, в сущности, и началось знакомство наших читателей с творчеством Джеймса.

«Факт прискорбный,— сообщает на первых же ее страницах рассказчик,— но ради Джеффри Асперна я готов на любую подлость». Речь идет, как мы помним, о связке писем великого поэта, которая находится во владении некогда — сколько эпох тому назад! — воспетой им «божественной Джулианы», ныне древней старухи, цепко оберегающей свое сокровище. Наследие Асперна принадлежит всему человечеству — вот готовое оправдание «любой подлости», к которой герой при необходимости прибегнет, чтобы овладеть письмами. Потребности искусства в данном случае упраздняют нормы порядочности и морали. Пользуясь этим оправданием, можно хитрить и торговаться, разыгрывать галантного кавалера и, ворвавшись к умирающей, ворошить ее пожитки.

Опровержение этического кредо героя составляет, впрочем, лишь первый план повести. В центре ее — образ Джулианы, той, кому посвящал гениальные стихи Асперн и в чьем доме его восторженный почитатель слышал лишь разговоры о дороговизне, нехватке денег, расчетах и платежах. И слушая их, готов был воскликнуть: «Джулиана, не надо — ради **него** не надо!» Превосходный штрих! Рассказчик стремится хоть в чем-то обнаружить тождество поэзии и действительности; Джеймс неумоли-

[1] Опубликована в «ИЛ» № 7, 1973.

мо последователен, подчеркивая их контраст.

Зачем? Затем, чтобы поэзия и действительность, романтика и обыденность, искусство и житейская проза прямо пересеклись бы в кульминационном эпизоде «Писем» — в том, где племянница Джулианы предложит герою брак «в оплату» за бесценные рукописи.

Конфликт «Писем Асперна» — это конфликт эстетического и нравственного, и он без всяких оговорок решается в пользу нравственного. В финале повести герою невыносимо «сознавать себя виновником хотя и невольной, но жестокой шутки». Однако в лучших вещах Джеймса решение конфликта еще не исчерпывает проблематики. И в «Письмах Асперна», дочитанных и перечитанных, все такой же загадочной остается Джулиана и та сложнейшая диалектика претворения жизненной реальности в поэтическую правду, законы которой Джеймс упорно стремился разгадать. А память невольно возвращается к сгоревшей в камине барышень Бордеро пачке полуистлевших листков, на которых, быть может, были начертаны строки великой — и погибшей навсегда — поэзии.

Прозу Джеймса в Америке нередко называют искусством размышления. Пожалуй, точнее было бы сказать — это искусство вопросов. Трудных вопросов самого искусства. Трудных вопросов жизни человеческой души, которую в век Джеймса позитивисты и прагматики усиленно старались «выпрямить», найдя всему плоско-рациональное объяснение, и которую Джеймс стремился понять в ее сложности, в тех «вывихах естества, заложенного в человеке природой», что послужили темой «Поворота винта» и других новелл, написанных в последний период творчества.

Наследие Генри Джеймса огромно и неравноценно. Некоторые его книги, с которыми он связывал самые большие надежды, сегодня интересны только литературоведам. Но есть и произведения, над которыми время оказалось невластным. В Джеффри Асперне Джеймс воплотил идеал художника и по мере сил следовал этому идеалу неуклонно: «В годы, когда наша страна была грубой, неотесанной и провинциальной, когда никто еще и слыхом не слыхивал о той «атмосфере», в отсутствии которой ее теперь упрекают, когда ее литература шла одиноким путем, а об искусствах пластических и помышлять было нечего, в те годы он сумел жить и писать, став одним из первых, и быть свободным, и широко мыслить, и ничего не бояться, и все понимать и чувствовать, и найти выражение всему».

Предисловие к однотомнику Джеймса стало одной из последних прижизненных публикаций А. А. Елистратовой, открывшей этого и многих других английских и американских художников нашему читателю. Беря в руки книгу Джеймса, с волнением и признательностью думаешь о той большой, благородной работе, которой Анна Аркадьевна посвятила жизнь.

А. ЗВЕРЕВ

Издано за рубежом

ДВЕНАДЦАТЬ СТАТЕЙ О БОЛГАРСКОЙ ПРОЗЕ

Проблеми на съвременната българска проза. Сборник. Статии и студии. Съставителство и редакция: Максим Наимович, Чавдар Добрев. София, Български писател, 1973.

Книга статей «Проблемы современной болгарской прозы», выпущенная издательством «Български писател», заслуживает серьезного внимания и читателей, и критики. О сборнике, составленном из работ разных авторов, тем более литературоведов и критиков, писать много труднее, чем о произведении одного писателя, хотя в данном случае задачу облегчает то, что этой книге присуще единство замысла — главное качество, без которого не может представлять литературную ценность ни сборник самых разнородных статей, ни монография на узкую тему.

В сборнике исследуется развитие болгарской литературы с 1956 года по настоящее время, и делается это широко, разносторонне, объемно. В двенадцати включенных в него статьях видных болгарских критиков рассматриваются основные аспекты ее развития, проблемы жанровые и тематические, проблемы стиля и мастерства писателей.

Книга открывается статьей известного болгарского литературоведа Васила Колевского «Проблемы социалистического реализма в современной болгарской прозе». У составителей и редакторов книги Максима Наимовича и Чавдара Добрева были серьезные основания открыть ее именно этой статьей. Как пишет В. Колевский, «цель статьи — показать некоторые общие методологические закономерности в развитии современной болгарской прозы». Закономерности эти он прослеживает на ставших уже классическими произведениях современной болгарской литературы: эпопее «Простые люди» Георгия Караславова, исторической тетралогии Димитра Талева, романе «Иван Кондарев» Емилияна Станева, а также некоторых книгах болгарских писателей среднего и младшего поколения, обогативших литературу социалистического реализма.

«Чтобы современность воссоздавалась без искажений,— пишет В. Колевский,— писа-

тель должен занять новые идейно-эстетические позиции, позиции марксистской эстетики, социалистического реализма... Социалистический реализм дает писателю возможность выйти за пределы традиций критического реализма, чтобы отразить современность такой, какая она есть».

Чавдар Добрев («Идеи и их художественное воплощение») отмечает в болгарской прозе «много интересных, важных, положительных и в то же время противоречивых процессов», и как он считает, мысль писателя порой отстает от его жизненных наблюдений. И все же он уверен, что опыт, накопленный болгарской литературой за последние годы, поможет ей достичь той цельности, которая должна быть присуща литературе социалистической эпохи.

В статье «Проблемы романа» Боян Ничев рассматривает более двадцати романов, появившихся в свет в 1972 году, подчеркивая при этом, что во многих из них подняты интересные и острые социально-психологические проблемы. Хотя не все они отличаются высокими художественными достоинствами, в целом, по мнению критика, эти произведения свидетельствуют не только о развитии жанра романа, но и об активном его участии в литературном процессе нашей современности.

Светлозар Игов исследует болгарский литературный процесс под новым углом зрения — динамики жанров («К новому социальному роману»). Поскольку в разные периоды различные литературные жанры развиваются неравномерно, то, как он считает, интересно проследить развитие болгарской литературы именно с этой точки зрения. Игов отмечает, что появилось стремление создавать крупные эпические произведения, охватывающие широкий круг проблем, в том числе и отношения между людьми, и болгарская литература исторически уже подготовлена для создания таких полотен.

В статье «Герой, конфликт, критическое начало» Александр Спиридонов рассматривает романы «Семь дней нашей жизни» А. Гуляшки, «Мертвая зыбь» И. Петрова, «Двое в новом городе» К. Калчева, «Дороги в никуда» Б. Райнова, пьесу «Прокурор» Г. Джагарова, повесть «Небо над Велекой» Д. Фучеджиева и ряд других произведений, в которых авторы подвергают критике отдельные явления современной жизни Болгарии во имя дальнейшего развития общества.

Особое внимание уделено в книге рабочей теме. Ей посвящены статьи Ивана Попиванова «Трудовой пафос в современной прозе», Венко Христова «Рабочий класс и его изображение в прозе», Енчо Мутафова «Рабочий и сегодняшняя проза».

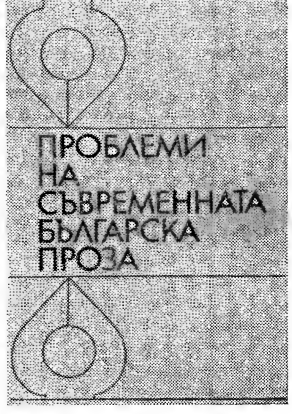
«Нашей современной литературе,— пишет в своей статье Венко Христов,— больше всего не хватает полноценного образа индустриального рабочего. Именно в условиях индустриального производства мы найдем и самого типичного представителя класса, и наиболее устойчивую проблематику».

Типичные черты современного рабочего находит Иван Попиванов в рассказах Дико Фучеджиева «Воздушные мосты», в книге Дончо Цончева «Опасные типы», в романах Климента Цачева «Благословенная жизнь», Радослава Михайлова «Взрыв», Тодора Монова «Смерти нет» и во многих других произведениях. Писать на рабочую тему, утверждает Попиванов, не только трудная и ответственная, но великая и благородная задача болгарских писателей. Автор статьи выражает надежду, что рабочая тематика и вообще современная тема займут более достойное место в болгарской литературе.

Рабочей теме посвящена и статья Серафима Северняка «Экономика, душевный склад, литература». Главное, решающее для литературы — это современность. «Литературный процесс не должен отставать от окружающей нас жизни, иначе он не будет представлять интереса ни для нас самих, ни для тех, кто придет после нас».

Ефрем Каранфилов, который много писал о том, как характер народа проявляется в истории и литературе, на этот раз посвятил статью проблеме становления характера и личности писателя и его героя. Статья называется «Рост человека — писателя и коммуниста». Эта проблема часто раскрывается в произведениях, посвященных детству и юности автора или его героя, обретая не только литературный, но и психологический аспект.

Когда человек пишет о своей молодости в зрелом возрасте, ему очень трудно увидеть себя и окружающий мир, не преломляя их через сегодняшнее свое восприятие. «В сущности, это основная трудность,— пишет Е. Каранфилов.— Молодые верят, что мир начинается с них, старые — что он ими кончается. Такие столкновения и порождают противоречия. Не так уж просто снова почувствовать себя ребенком и вернуться в родительский дом. Потому что ты уже вырос и все тебе кажется маленьким... Но ты забываешь, что, когда ты жил здесь, ты сам был маленьким. К тому же было и еще кое-что: воображение. Вот почему все выглядело бесконечно большим. И сейчас тебе уже трудно ступать своими взрослыми



ногами по детским тропкам, по следам детских ножонок».

Для доказательства своих мыслей Ефрем Каранфилов привлекает книги Камена Калчева «У истока жизни» и «Как я искал свое будущее», Крума Григорова «Мое детство», «Среди народа» и «Раздольчане», трилогию Ивана Мартынова «Мальчик из маленького города».

Со статьей Е. Каранфилова тесно соприкасается статья «О жанре мемуаров в современной литературе» Тончо Жечева, который приводит любопытные данные. За пять лет (с 1967 по 1971 год) в Болгарии увидели свет сто тридцать шесть книг воспоминаний.

Автор делает вывод — людям есть что рассказать, и более того: литература факта пользуется все большим спросом, а книги, повествующие о становлении новой Болгарии, просто необходимы читателю, чтобы понять жизнь своей страны. Эту литературу нельзя отделить от современной болгарской прозы, хотя создают ее большей частью не профессиональные писатели, а очевидцы и участники исторических событий.

Жечев приводит слова Димитра Гилева из его книги воспоминаний «Коммунисты»: «Мы, люди, устроены так, что не можем жить, не заглядывая в колодец воспоминаний. В наших головах, в наших сердцах, в нашей крови постоянно оживают тени, образы, голоса и события прошлого. И тогда мы или вздыхаем, или морщимся, или сжимаем кулаки. В такие моменты история из науки превращается в нашу личную судьбу». И Тончо Жечев по праву считает мемуары непосредственными и искренними воспоминаниями народа о своем прошлом, без которых литература была бы намного беднее.

Статьи, включенные в сборник, правдиво отражают картину болгарской прозы последних нескольких лет с ее удачами, достижениями и промахами и способствуют пониманию литературного процесса в Болгарии.

С. ПАРХОМОВСКАЯ

ГРАНИ ТАЛАНТА КРИСТЫ ВОЛЬФ

Christa Wolf. Unter den Linden. Drei unwahrscheinliche Geschichten. Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1974.

В 1968 году Криста Вольф — автор хорошо известного у нас романа «Расколотое небо» — побывала в редакции «Иностранной литературы» вместе с мужем, литературоведом Герхардом Вольфом. Завязалась живая беседа, в которой речь шла и о творческой работе наших гостей, и, шире того, о проблемах литературы в ГДР.

«У нас много возможностей осмысления реальности,— сказала Криста Вольф.— Их дает и философия, и история, и социология, и психиатрия. Но только литература может выполнить задачу «просвечивания» жизни. Важно, чтобы она не стала иллюстрацией к истории или социологии. Над этим сейчас размышляют наши прозаики»[1].

Разговор шел и о только что законченной тогда повести К. Вольф «Размышления о Кристе Т.». Героиня повести, молодая женщина, совестливая, одаренная,— учительница и начинающий литератор — умирает рано, не успев осуществить своих творческих замыслов. Иные критики встревожились: вправе ли социалистический писатель рассказывать о неустроенной, не сложившейся судьбе? Но Криста Вольф отстаивала мысль, что человеческая жизнь не может и не должна пройти бесследно: именно в социалистическом обществе повышается ценность отдельно взятой личности — хороший человек, безвременно ушедший, имеет право на добрую память сограждан. Эта гуманистическая тенденция повести привлекала к ней внимание читателей. «Размышления о Кристе Т.» появились теперь уже в нескольких изданиях, переведены на иностранные языки.

За годы, прошедшие со времени того разговора в редакции, Криста и Герхард Вольф создали много нового. Надо сказать, что их творческие свойства не столь резко различны, как это кажется на первый взгляд. Криста Вольф не только прозаик, но и критик; не так давно, в 1972 году, вышел сборник ее статей и этюдов под названием «Чтение и письмо» (в этот сборник входит и очерк об Анне Зегерс, напечатанный недавно у нас в журнале). Литературно-критические работы Герхарда Вольфа тесно соприкасаются с повествовательной прозой, написаны в эмоциональной манере, в его книгах о Бобровском[2], о Гёльдерлине встает живая личность исследуемого художника. Результатом совместной работы супругов Вольф стала киноповесть «Тиль Уленшпигель» (1973), написанная для студии ДЕФА и изданная отдельной книгой.

Дарование обоих авторов раскрывается здесь с новых сторон. Они обратились к немецкому (отличающемуся от фламандского) варианту преданий о вольнолюбивом и неунывающем Тиле, свободно обработали эти предания. Действие развертывается здесь на широком фоне германской жизни эпохи реформации и крестьянских войн: Тиль, забавник и острослов, захвачен волной народного движения против феодальных господ. А затем его судьба обретает неожиданный поворот. Он становится наперсником и придворным шутом молодого императора. Тиль и при императорском дворе как бы чувствует себя посланцем угнетенного народа: он старается внушить коронованному повелителю, что все люди — потомки праотца Адама и, следовательно, братья. Но в этой новой роли Тиль терпит неминуемую трагическую неудачу. Импера-

[1] См. «ИЛ» № 10, 1968, стр. 262.

[2] Рецензия на книгу Г. Вольфа «Описание одной комнаты. 15 глав об Иоганнесе Бобровском» была опубликована в «ИЛ» № 10, 1972.

тор отворачивается от веселого собеседника и собутыльника, как отвернулся от Фальстафа шекспировский Генрих V. В былые времена Тиль умел избежать опасности, окунувшись в толпу, а теперь он одинок и обречен. Но и после смерти Тиля его дерзкое слово живет в народе...

Неповторимость личности, место отдельного человека в движении масс — тема, издавна живо интересующая Кристу Вольф. В ее книге «Чтение и письмо» мы находим наряду с публицистическими и критическими статьями зарисовки отдельных человеческих судеб — то, что может впоследствии стать темой для рассказа или повести. И вместе с тем находим размышления о долге, ответственности писателя в наши дни. Писатель не вправе уклоняться от трудных проблем современности, он должен помочь человеку познать себя и найти себя. Художественная проза поддерживает превращение человека в деятеля, в субъект исторического процесса.

Философский, аналитический характер таланта Кристы Вольф проявился и в новой ее книге «Унтер ден Линден. Три невероятные истории». И вместе с тем здесь многое неожиданно для тех, кто знает прежние ее произведения. В каждом из трех рассказов есть элемент фантастики. Цель этой фантастики прежде всего в том, чтобы заставить читателя задуматься над нынешней реальностью.

Беспредельны ли возможности человека в условиях научно-технической революции? Криста Вольф не сомневается в величии этих возможностей Однако она отвергает волюнтаристские прожекты, не считающиеся с законами природы и с глубинными свойствами натуры человека. Проза Вольф здесь, как обычно, сдержанна по тону, немногословна — и пронизана изящной, лукавой, отрезвляющей иронией.

В некоем научном институте изобретен препарат, с помощью которого женщина может превратиться в мужчину. Героиня рассказа согласна подвергнуться эксперименту (этот рассказ так и называется «Опыт над собой»). В назначенный час превращение совершилось, успех эксперимента подтвержден контрольными измерениями и лабораторными тестами. Но за происшедшую перемену та, которая недавно еще была женщиной, расплачивается душевным обеднением, ее отношения с окружающими нарушены, жизнь в новом обличье не доставляет ей радости,— опыт не удался.

Рассказ «Новые житейские воззрения одного кота» тесно связан с немецкой романтической традицией. Кот Макс, живущий в наши дни,— прямой потомок гофмановского кота Мура, на писания которого он почтительно ссылается. Однако гофмановский Мур, с его филистерским самодовольством, представлял контрастную параллель хозяину, музыканту Крейслеру, устремленному в высшие сферы духа. А здесь кот Макс, в сущности,— пародийное подобие своего хозяина, профессора Барцеля. Профессор пытается умозрительным путем вывести формулу «тотального человеческого счастья». Кот сочувствует этому намерению и втайне содействует стараниям своего господина: он убирает из картотеки те карточки, на которых обозначено «отвага», «милосердие», «самопожертвование»,— ведь и сам профессор полагает, что идеальный человек может обойтись без такого рода свойств... Но умная кибернетическая машина под названием «Генрих»' на все попытки запрограммировать искусственным образом гармонического человека упрямо отвечает: нет, нет, нет...

По-иному сочетаются реальность и фантастика в первом рассказе, давшем название всему сборнику. Героиня-повествовательница восстанавливает в памяти недавнее сновидение; все происшедшее было во сне, это дает ей возможность свободно перемещаться во времени, сопрягать воедино реальное и воображаемое, дразнить любопытство читателей, оставляя многое недоговоренным: пусть додумаются, пусть поймут. Здесь особенно ярко сказывается умение Кристы Вольф оперировать фактами повседневности, реалиями быта —и подавать их в непривычном ракурсе.

Перед нами Унтер ден Линден, исторический центр Берлина — широкая, оживленная улица. Толпа иностранных туристов стоит у Мемориала жертв фашизма, чтобы посмотреть на смену караула. Молоденькая парочка, приехавшая в ГДР с далекого континента, почтительно притихла перед памятником Александру Гумбольдту. Учительница из Тюрингии привезла в столицу свой класс: пусть ребята увидят и новую телебашню, и Бранденбургские ворота... Героиня рассказа хорошо помнит те времена, когда эта улица выглядела совсем иначе, весь асфальт был разворочен, а на месте нынешнего благоустроенного «Линден-отеля» громоздились развалины. Она помнит и то, как в пору юности отправилась с товарищами в Западный Берлин распространять агитационные материалы и даже отсидела за это несколько дней в тюрьме Моабит.

Нынешний торжествующий, праздничный облик Унтер ден Линден дает возможность судить о том, как многого достигла Германская Демократическая Республика. Однако вид радостной улицы наводит героиню рассказа на размышления о знакомых ей людях, их судьбах, отношениях. Настойчиво встает перед ней образ юной студентки — впрочем, теперь это уже не студентка, она исключена из университета за нарушение учебной дисциплины. Комиссия, которая рассматривала ее персональное дело, отдавала себе отчет, что девушка перенесла какую-то тяжелую личную травму. Но можно ли из-за личных переживаний манкировать занятиями? Добро бы две недели — а она целых три месяца не ходила на лекции!

Девушка никого ни в чем не винит. И ни за что не хочет назвать человека, который причинил ей горе. А человек этот — зовут его Петер — преуспевающий молодой ученый, доцент университета. Недавно обсуждалась тема его докторской диссертации. Он согласился отказаться от замысла, ко-

торый заключал в себе нечто спорное, и взял другую тему — она отличалась от первой, «как комнатная собачка от ежа». Диссертацию он защитит, в этом можно не сомневаться. А судьба влюбленной студентки, с которой он прожил несколько недель, его мало волнует: ведь, в сущности, он ей ничего не обещал...

Жизненный факт, лежащий в основе этого рассказа, вкратце записан Кристой Вольф на одной из страниц ее дневника, вошедшего в сборник «Чтение и письмо». Там сказано: «Девушку опять приняли в университет. О своей былой страсти она теперь вспоминает с улыбкой». Да и в рассказе «Унтер ден Линден» история девушки не выглядит трагически. Но за частным случаем тут встают серьезные вопросы. Имеют ли право люди социалистического общества на душевную черствость, равнодушие к человеку? Не заслоняет ли иной раз погоня за личным благополучием более высокие задачи? В размышлениях Кристы Вольф встает обобщенная фигура по фамилии Едерман, что значит по-немецки — каждый, любой. «Господин Едерман тратит деньги, чтобы процветало народное хозяйство, но свои чувства он держит при себе. Коллега Едерман становится конкурентоспособным. Товарищ Едерман добивается успеха». И автор заставляет читателя задуматься: а каково качество, суть этого успеха? Рассказ «Унтер ден Линден» — как и книга в целом — проникнут духом высокой нравственной взыскательности. Именно в зрелом, развитом социалистическом обществе особенно повышаются требования к отдельному человеку. Нельзя, чтобы деловитость вырождалась в делячество, а законная гордость достигнутым — в самодовольство. Фантастика, сатира, размышления Кристы Вольф одушевлены беспокойной и требовательной любовью к своей Республике, своему народу.

Киноповесть о Тиле Уленшпигеле завершается обращением к читателям: пусть они сами дополнят в воображении то, о чем написано в книге. В статьях, рассказах, повестях Кристы Вольф всегда живет плодотворный дух поиска — и этим духом она хочет заразить тех, к кому обращены ее произведения.

Т. МОТЫЛЕВА

«ХРАНИТЕЛИ МУДРОСТИ» ЧАРЛЬЗА СНОУ

Charles Snow. In Their Wisdom. London, Macmillan, 1974.

Невесело сегодня в Великобритании, невеселой она предстает и со страниц нового романа лорда Сноу, смотрящего на грустный спектакль изнутри, глазами своих по большей части немолодых героев. «В их мудрости» — назвал он эту книгу, но название ее (замечу — труднопереводимое) читается, не без иронического подтекста, скорее «Мудрецы» или даже «Хранители мудрости».

Сноу немногословно и скупо намечает общественный фон 70-х годов с их конфликтами и антагонизмами и на этом фоне рисует частные конфликты отдельных личностей, в свою очередь отражающие и иллюстрирующие конфликты «фона». Иногда получается почти «тур де форс», превосходно удавшийся автору, однако нигде не ощущаешь ниточек, за которые автор дергает свои куклы. Причем этот «тур де форс» нигде не воспринимается как нарочитый прием, а осуществляется естественно.

Признанный мэтр английской прозы, Чарльз Сноу пишет давно и в послевоенные годы почти непрерывно. Одни его книги более, другие менее удачны, одни более весомы и значительны, другие — например, последние («Недовольные», 1972, и в особенности «Завершение», 1970) — выдают усталость и своего рода поиск в темноте. «Хранители мудрости» (вышедшие в конце сентября 1974 года) — новый взлет таланта создателя знаменитой серии «Чужие и братья» [1]. В романе умело собраны в один узел проблемы, которые волнуют сегодня страну, давно потерявшую былое величие.

Всегда сдержанный, порой суховатый стиль новой книги Сноу зачастую даже более лаконичен, чем прежде. Пряча многое в подтекст, Сноу в то же время изредка позволяет себе здесь необычные для него прежде литературные «излишества», приближаясь к гротеску (как, например, в решении характера лорда Суэффилда). Гротеск гиньоля, но не детали суховатой хроники, как некогда. Стиль мэтра меняется... Новый роман заметно отличается от романов законченной недавно серии.

На темном фоне событий недалекого прошлого встают судьбы героев Сноу. В то время как в зале заседаний палаты лордов идут дебаты по мелочам, страну лихорадит забастовками, взвинчиваются цены, рушится эфемерное благополучие «государства всеобщего благосостояния». А лорды не спеша беседуют в барах палаты, озабоченные «судьбами нации» и своими личными проблемами, ищут выхода из государственных и собственных затруднений. Сцены в палате лордов и ее кулуарах, где встречаются три старых приятеля — лорд Хилмортон, лорд Райл и лорд Сэджвик,— занимают в романе большое место. Все трое — в высшей степени порядочные люди, все они — ярко выраженные индивидуальности, и если каждый из них отличен от другого, в то же время все они в чем-то очень похожи.

Как превосходно найдены автором оттенки, дающие возможность ощутить скорее, чем разглядеть, отличие внутреннего настроя этих аристократов от тех, которые выступали в романах Сноу, рисующих первые послевоенные годы! Основное, пожалуй,— едва видимая вначале, а потом все более заметная элегическая интонация, в

[1] Многие романы этой серии были опубликованы на русском языке: «Возвращение домой», «Дело», «Пора надежд», «Коридоры власти».

которой решаются их портреты. Элегическая интонация звучит в беседах стареющих друзей и их размышлениях вслух и про себя, элегически нарисованы их судьбы, в особенности финал жизни Холмортона — сдержанного, скрытного, застегнутого на все пуговицы и вместе с тем чрезвычайно ранимого и тонко чувствующего.

В изображении Сноу приятели бесспорно несколько идеализированы: они растерялись перед лицом неотвратимого крушения национального могущества, крушения, остановить которое не в их силах. Так мудрецы ли они, несмотря на свои высокие моральные качества? — подсказывает сам автор печальный вопрос. И предоставляет читателю дать ответ на него самому. Таким образом, если и Хилмортон, и Райл, и Сэджвик (в особенности, может быть, первый и последний, ибо портрет Райла бледнее), каждый по-своему, в какой-то мере идеализированы, то эта едва намеченная пунктиром идеализация не нарушает правдивости портретов в целом: сопоставляя стареющих друзей-аристократов с бездельником и проходимцем Джулианом, а также с самодуром Суэффилдом, цинично убежденным во всесилии своих миллионов, не можешь не ощутить симпатии к людям, сохранившим еще немало святого. Для Джулиана и Суэффилда вообще ничего святого не существует.

А впрочем, и Хилмортон, и Райл, и Сэджвик с их судьбами и заботами — лишь одна из сторон (или линий) далеко не однозначного и не простого романа, являющего собой в какой-то мере своего рода гротескную реплику на гримасы сегодняшней Великобритании.

Английские рецензенты уже заговорили о параллелях и заимствованиях, пытаясь подчеркнуть влияние Диккенса — давнего учителя Сноу,— в частности, романа «Холодный дом» с его нескончаемым процессом «Джарндайс против Джарндайса». Но судебное дело, изображаемое Сноу, значительно мельче процесса в Канцлерском суде, рисуемого Диккенсом. По своему характеру, ходу и результатам судебное дело, поднятое в связи с завещанием умершего в глубокой старости богача Мэсси, опять-таки отражает обстановку и дух современной Англии, дух вседозволенности и безнаказанности, столь характерный для так называемого «swinging society» — общества авантюр и прожигания жизни.

Завещание Мэсси, оставившего почти все состояние сыну пожилой дамы, вкравшейся в доверие к старику в последние дни его жизни, и обошедшего собственную дочь, еще в молодости выжитую им из дома, прошло бы незамеченным и не было бы оспорено, если бы в дело не вмешался Рэджиналд Суэффилд, сказочно богатый старый филантроп, мнящий себя всесильным и мудрейшим. Он берет под свое покровительство Дженни Рэстал — дочь Мэсси — и начинает тяжбу с Андервудами, желая облагодетельствовать свою подопечную. Суэффилд, отчасти воображая себя вершителем судеб своих подчиненных, отчасти от скуки и безделья, пускает в ход все доступные ему средства, чтобы лишить Андервудов наследства и добиться его для Дженни. И если это ему в конце концов не удается, то в большой мере потому, что меняется направление его собственного каприза...

Мастер портрета, Сноу, видимо, намеренно не раскрывает до конца психологические портреты Джулиана Андервуда и его предприимчивой мамаши. Впрочем, немногих намеков, сделанных как бы на ходу, достаточно для того, чтобы понять характер этой опытной в делах земных и совершенно беззастенчивой пары.

Победа двух очевидных авантюристов воспринимается читающим как отражение большой игры самых разных сил, проходящей за кулисами. Если наследство Мэсси целиком достается молодому человеку без определенных занятий и с сомнительными склонностями, то лишь потому, что миллионеру Суэффилду на последнем этапе затянувшегося процесса удобнее отойти в сторону, предоставив решать дело влиятельным силам «наверху». Ни правосудие, ни справедливость здесь ни при чем, и Сноу превосходно удается показать это.

Процесс тянется, решаясь то так, то этак в различных судебных инстанциях. К концу книги решение суда уже угадывается и не представляет интереса. Не представляет, впрочем, интереса и то, какая из сторон окажется в выигрыше. Существенно лишь изображение обстановки, в которой проходит трагикомическое судопроизводство, и закулисных махинаций, им управляющих, подчас вопреки энергичному противодействию участвующих в деле солидных юристов Марча, Симингтона и других. И перед читателем раскрывается система коррупции, притом не прямой, построенной на примитивных взятках или подкупе, а той, что осуществляется совсем иными методами и приемами и отражает коррупцию в верхах, управляющих кораблем нации, раскрывается условность того, что решается и говорится от имени правосудия, превращенного в гротескную кукольную комедию, где зрители имеют возможность наблюдать одну видимость, лишенную внутреннего смысла.

Заметим, что и пустая говорильня, и маскарадные шествия в палате лордов, и вся практика судебных заседаний юристов, вершащих как будто правосудие,— все это в изображении Сноу сегодня мало похоже на то, что он рисовал десять-пятнадцать лет назад, когда создавались романы серии «Чужие и братья». Там Сноу был предельно документален — здесь в его повествование врывается иная стихия, стихия гротеска Автор теряет глубоко серьезное, я бы даже сказала почтительное, отношение к изображаемому, которое характеризовало его книги ранних лет.

Книга «Хранители мудрости» менее эпична, чем книги этого цикла, и если здесь больше, чем прежде, вынесено за скобки и угадывается, как уже говорилось, в подтексте, то рисунок не становится менее выразительным. Быть может, даже напротив.

«Хранители мудрости» — социально-психологический роман в стиле слегка импрессио-

нистичном и «телеграфном», без длиннот и обстоятельности «Новых людей» и даже «Коридоров власти». Можно ли его воспринимать как какой-то поворот в пути большого художника? Поручиться нельзя. Это покажет будущее.

О новом романе Сноу трудно писать коротко. Сказанное не исчерпывает содержания «Хранителей мудрости» и недостаточно для того, чтобы понять сегодняшний ход мысли и круг интересов Ч. Сноу. Не только писатель, но и ученый, Сноу не может остаться равнодушным к проблемам, волнующим сегодня ученых и интеллигенцию всего мира. Некоторые из этих проблем проникли на страницы его нового романа.

Живо интересуясь работой мозга и его возможностями, заглядывая в литературу по биохимии и физиологии, автор «Хранителей мудрости» ввел в повествование страницы, связанные с вопросом о том, насколько велика опасность, подстерегающая человеческую личность в дни все более смелых экспериментов в процессе изучения мозга, которые ведутся на его глазах как в Англии, так и в США. Опасные эксперименты, спорные и заставляющие задуматься над тем, где надо ставить точку!

Не можешь без глубокого волнения читать страницы, посвященные последним дням умирающего от рака мозга Хилмортона. Сноу превосходно рисует большое личное мужество Хилмортона, узнавшего о грозящей ему неизбежной смерти, о его поведении в дни болезни, о его мужественной борьбе со страхом смерти. Но страшен рассказ о том, какими приемами врачи помогают умирающему переносить нестерпимую боль в последние дни его жизни. Новый препарат помогает Хилмортону без боли перейти в небытие, но какой ценой — Сноу предоставляет подумать об этом читателю...

В истолковании нынешнего состояния науки о мозге нет единства мнений. Сноу явно взволнован противоречивостью эффекта химического воздействия на интеллект. И это волнение придает его образам необычную силу.

Интерес Сноу к новейшим экспериментам в области науки о мозге нашел отражение и в подробном описании операции, производимой на мозге Сэджвика молодым английским хирургом. Здесь легче всего было бы обвинить писателя в натурализме. Однако описание этой операции, продлившей Сэджвику жизнь, воспринимается как одна из побед Сноу — художника и гуманиста.

В. ИВАШЕВА

«ЛЕАЛЬ» — ЗНАЧИТ «ВЕРНЫЙ»

Eutiquio Leal. Bomba de tiempo. Centro de publicaciones de la UT, Ibague—Colombia, 1974.

«Леаль» по-испански значит «верный», «честный», и всей своей жизнью колумбийский писатель-коммунист Эутикио Леаль доказывает, что носит свою фамилию не напрасно. Сейчас Эутикио Леалю 46 лет, за его плечами — большой жизненный опыт и нелегкий путь от батрака до журналиста и писателя.

Первые же рассказы Эутикио Леаля, опубликованные в 1961 году, привлекли внимание читателей. За эти годы писатель выпустил в свет пять книг и не раз был награжден национальными и международными литературными премиями.

Новый сборник рассказов Эутикио Леаля «Бомба замедленного действия» посвящен трагическому периоду в истории страны, получившему название «виоленсия» (насилие). Под предлогом расправы с участниками стихийного восстания жителей Боготы 9 апреля 1948 года, возмущенных убийством Х. Э. Гайтана, лидера левых либералов, который пользовался огромной популярностью в массах, находившиеся у власти консерваторы, при поддержке реакционных кругов, развязали массовый террор против демократических сил, против коммунистического и профсоюзного движения и против своих соперников-либералов. Отряды специально обученной полиции безжалостно стирали с лица земли целые селения.

«Драма, переживаемая крестьянами, была поистине ужасающей,— писал недавно в одной из статей руководитель революционного крестьянского движения в Колумбии член ЦК компартии Маруланда Велес.— Сегодня убийства, завтра — пепелища на месте домов; родственники, взятые под арест, исчезали навсегда. Страх и неуверенность стучались в каждый дом: виоленсия! Виоленсия, организованная и использованная в своих целях правительством». В ответ на насилие крестьяне взяли в руки оружие, чтобы защитить свою землю и жизнь. В Колумбии началась крестьянская партизанская война, которая продолжается и по сегодняшний день. Революционная крестьянская война стала од-

ной из форм национально-освободительного движения в стране, и на ее подавление были брошены все силы реакции, войска, оснащенные техникой и оружием с клеймом «сделано в США».

Героическому сопротивлению колумбийских партизан, в трудных условиях самоотверженно отстаивающих независимость своего народа, посвящен рассказ «Бомба замедленного действия», который дал название сборнику. В центре рассказа — судьба партизана Пасильо и его жены Кармелы, которая ждет ребенка. Нелегко приходится женщинам в холодных и сумрачных горах. Они стирают партизанам белье, готовят пищу, воспитывают и обучают детей, выхаживают раненых, носят еду и воду бойцам в траншеи. Кармела согласилась оставить свои дела в отряде только накануне родов. Пасильо мечтает о том, что сын будет таким же смуглым и красивым, как Кармела, а если родится дочь, то, когда подрастет, будет, как и другие девушки, носить еду и воду партизанам на передовые позиции — ведь борьба предстоит долгая.

В то утро самолеты начали поливать пулеметным огнем партизанские траншеи и засыпать их бомбами еще до наступления рассвета. Когда наступила короткая передышка между налетами и партизаны вместе с детьми, стариками, женщинами, вооружившись мачете, стали пробиваться к месту падения сбитого накануне самолета, Пасильо спустился к своему жилью, надеясь, что Кармела уже родила ему сына или дочь, ребенка, о котором он столько времени мечтал. Кармела ждала его с тельцем умершего сына на руках. От страшного грохота у мальчика лопнули барабанные перепонки и из ушей засочилась кровь, а после нового разрыва бомбы он вздрогнул и затих навсегда. Кармела не плакала, она вся окаменела и вряд ли поняла то, что сказал ее муж: «Когда стемнеет... я похороню его... как бомбу замедленного действия».

В рассказе «Порыв ветра» Эутикио Леаль создал характерный для Колумбии тип латифундиста-фабриканта. Рабочие его фабрики начали забастовку, протестуя против незаконного увольнения профсоюзных лидеров. От своего сыщика хозяин узнал, что служащие в его латифундии, пеоны, которых он называет не иначе как «мои лентяи», решили идти в город и объединиться с рабочими в знак солидарности, а рабочая делегация собирается явиться к нему и предъявить свои требования. И вот хозяин начинает готовиться к встрече с делегацией. С трудом натягивает он высокие лакированные сапоги, покрывает свою «уважаемую лысину» широкополой шляпой, выпячивает грудь и расправляет усы. Снова и снова пересчитывая патроны в пистолете, думает он о том, как сначала отвлечет внимание делегатов нравоучениями и наставлениями, а потом всех в упор перестреляет. Ведь их будет немного, самое большее — трое. Затем останется только вызвать полицейского и сказать: «Мне пришлось избавиться от этих собак. Они пытались меня похитить».

Однако простая случайность, всего лишь порыв ветра, который захлопывает дверь, когда хозяин выходит на минуту подышать воздухом, нарушает этот тщательно продуманный план. Хозяин оказывается один на один с толпой возмущенных рабочих, и храбрость моментально покидает его. Недаром этому рассказу Эутикио Леаль предпосылает эпиграф: «Тот, кто может купить храбрость, считается храбрым, хотя и остается грусом».

О борьбе молодых революционеров, двух юношей и девушки, работающих в подпольной типографии, повествуется в рассказе «Завтра воскресенье». Им приходится быть одновременно и редакторами, и корректорами, и разносчиками нелегальной литературы. Они распространяют запрещенные газеты и листовки в фабричных районах, торговых центрах и в городских предместьях. А между тем полицейские, которых героиня рассказа Лаура сравнивает с собаками, мечущимися в поисках пищи, вынюхивают и выслеживают их следы. Молодых людей арестовывают и бросают в тюрьму. Один из них, когда сознание на короткие мгновения возвращается к нему после пыток, думает: «Приятно лететь над миром и видеть, как листовка от одного рабочего переходит к другому. Если она попадает на фабрику, неизвестные руки подхватывают ее, если залетает в мастерские, девушки передают ее самым надежным клиентам. В садах и парках ее читают дети и взрослые». Он вспоминает слова Лауры: «Наступит день, когда все двери откроются нам навстречу и нас примут с любовью. В этот день родится мир, во имя которого мы погибаем в нашей борьбе...»

Как-то, говоря о задачах писателя, Эутикио Леаль заметил, что свой долг он видит в том, чтобы бороться на стороне рабочего класса, бедного крестьянства и всех тех, кто выступает за приобщение его страны к мировой социалистической системе, освобождающей человека от эксплуатации и нищеты. «Подлинно народный художник должен находиться на переднем крае борьбы; аполитичных литературных произведений не существует: либо писатель служит богатым, либо отстаивает интересы бедных — третьего пути быть не может».

И новая книга Эутикио Леаля, отразившая важные моменты в революционной борьбе колумбийского народа, подтверждает, что он остается верен своему долгу писателя-коммуниста.

Г. ЖУЧКОВА

◆

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

РАССКАЗЫ ПАТРИКА УАЙТА

Новая книжка из шести рассказов австралийского романиста, лауреата Нобелевской премии 1973 г. Патрика Уайта называется «Австралийские попугаи». По мнению рецензента английского еженедельника «Таймс литерари сапплмент», «писательское мастерство П. Уайта-рассказчика столь же блистательно, как и его талант романиста». Герои рассказов, вошедших в сборник «Австралийские попугаи»,— самые обыкновенные люди. Однако писательская задача Уайта — поставить их в совершенно необычные обстоятельства, чтобы дать простор своему воображению и показать читателю, какими необычными гранями может повернуться обыкновенная жизнь.

«К концу первого же абзаца,— пишет рецензент,— автор и его персонажи набирают дыхание, повествование развертывается живо и драматично. В нужный момент писатель позволяет себе взгляд в прошлое, который углубляет и заостряет восприятие настоящего». Уайт — мастер внутреннего монолога, и читатель лишь изредка улавливает присутствие автора в оброненной им самим фразе. Писатель как бы растворяется в своих многочисленных персонажах, заставляя их жить самостоятельной жизнью. Однако он беспощаден к своим героям и трезво видит все их человеческие недостатки. «Он не был бы подлинным художником, если бы не умел заставить своих читателей любить этих скучных, заурядных людей. П. Уайт-рассказчик расширяет наш привычный взгляд на мир, озаряя трюизмы молнией правды».

АНГЛИЯ

«БИНГО» ЭДВАРДА БОНДА

В центре внимания британской прессы — последняя пьеса известного английского драматурга Эдварда Бонда «Бинго». Пьеса посвящена последним дням Шекспира в городе Стратфорд-он-Эйвон.

Как отмечает в своей обширной статье, посвященной детальному анализу «Бинго», один из известных специалистов по творчеству Шекспира С. Шоенбаум, в пьесе не следует искать исторической достоверности, хотя нет никаких сомнений, что автор знаком и с исторической обстановкой того времени, и с многочисленными версиями жизни и смерти великого драматурга. Однако подзаголовок пьесы — «Сцены о деньгах и о смерти» — говорит о том, что Эдварда Бонда интересует даже не столько личность Шекспира, сколь-

Джон Гилгуд в роли Шекспира в спектакле «Бинго».

(Журнал «Лиснер»)

ко проблема: писатель и общество. Жизненный итог Шекспира в пьесе Эдварда Бонда трагичен — он кончает самоубийством, приняв смертельную дозу яда. Шекспир понимает, что он слишком малого добился на протяжении своей жизни, борясь с жестокостью, насилием, несправедливостью мира. Именно поэтому со сцены столь часто звучит вопрос, с которым герой обращается к самому себе: «А было ли что-нибудь сделано?»

В предисловии к опубликованному тексту пьесы Эдвард Бонд объясняет, почему он обратился к периоду елизаветинской Англии. «Я написал «Бинго», потому что противоречивая шекспировская эпоха очень сходна с нашим веком. Мы живем в мире, где остались лишь осколки традиционных ценностей».

По глубокому убеждению драматурга, жизнь общества должна быть основана на гуманистических ценностях. Современная духовная ситуация на Западе, считает Бонд, ставит перед человечеством дилемму: или существовать в технологическом, технократическом обществе, которое грозит превратить людей в механических муравьев, или же бороться за утверждение общества, где господствуют гуманистические, нравственные принципы.

Роль Шекспира с успехом исполнил Джон Гилгуд. По мнению многих театральных критиков, ему блестяще удалось раскрыть трагедию писателя-гуманиста, бессильного перед напором враждебной действительности.

«ТИХИЙ ГОЛОС» ДОРИС ЛЕССИНГ

«Тихий голос, личная интонация» — так называется сборник эссе и критических статей известной английской писательницы Дорис Лессинг, выпущенный американским издательством «Кнопф». Книга отражает взгляды писательницы на литературу, социологию, политику. Скрывший свое имя за инициалами, рецензент американского журнала «Сатердей ревью» утверждает, что своей популярностью Д. Лессинг обязана лишь участникам и попутчикам Движения за освобождение женщин. В связи с тем, как утверждает рецензент, что Дорис Лессинг всегда последовательно придерживалась левых взглядов, настоящий сборник отражает «противоречивость утопического мировоззрения, столкнувшегося с реальностью». «Тихий голос» Лессинг, услышанный, по собственному утверждению рецензента, не только в самой Англии, но и далеко за ее пределами, однако, представляется рецензенту «невнятным».

Все же рецензент вынужден признать, что «в книге есть много хорошего. Когда Лессинг не пускается в размышления о политике и социологии, многое из того, что она пишет о современном романе,— интересно и будит мысль...».

БОЛГАРИЯ

ТВОРЧЕСКАЯ ВСТРЕЧА

В Софии состоялся научный симпозиум, посвященный теме: «Социалистический реализм и современный художественный про-

Картина болгарского художника Иоана Левиева «Материнство».

(Журнал «Обзор»)

цесс», в котором приняли участие член Политбюро и секретарь ЦК БКП Александр Лилов, советские и болгарские ученые, писатели, критики.

С докладом выступил председатель болгарского Общества эстетиков, искусствоведов и литературоведов Атанас Стойков. Он остановился на роли и значении искусства социалистического реализма в середине 70-х годов нашего века в общем современном художественном мировом процессе.

Участники симпозиума в своих научных сообщениях отметили, что социалистический реализм лежит в основе поступательного художественного развития человечества, что он наиболее рельефно выражает художественно-эстетический идеал рабочего класса, борющегося за революционное преобразование общества.

На симпозиуме была подчеркнута актуальность ведения борьбы против идеологических противников социалистического реализма, сознательно искажающих его сущность; были рассмотрены проблемы эстетической теории, литературы, изобразительного искусства, театра, кино и т. д; была отмечена необходимость наиболее полного использования искусства в целях коммунистического воспитания трудящихся, формирования всесторонне развитых личностей.

НАГРАДЫ XIII КИНОФЕСТИВАЛЯ

На последнем традиционном Варненском фестивале болгарских фильмов были широко представлены картины, посвященные современности, интересные работы, свидетельствующие о творческих поисках деятелей болгарского кино как в области тем, так и в области художественных средств.

Главный приз фестиваля — «Золотую розу» — получили художественный фильм «Зарево над Дравой» (режиссер Зако Хеския) — за полнокровное, масштабное воссоздание героической борьбы болгарского народа во второй мировой войне и документальный фильм «Строители» (режиссер Христо Ковачев).

Первые премии получили художественные фильмы «Магистраль» (режиссер Стефан Димитров) — за успешную разработку современной темы и «Дерево без корня» (режиссер Христо Христов). Второй премией награжден художественный фильм «Крестьянин с колесом» (режиссер Людмил Кирков).

Были присуждены премии за лучшую женскую роль, за лучшую мужскую роль, премия Союза болгарских художников и т. д. Премию Союза болгарских писателей получили Павел Вежинов и Рангел Игнатов за сценарий фильма «Зарево над Дравой».

На снимке: мать Иштвана Шимона и Иштван Шимон в один из приездов в родную деревню.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

ПЕРВАЯ ПЬЕСА ПОЭТА

С каждым годом расширяется диапазон творчества Иштвана Шимона. Поэт, критик, публицист, литературовед... А недавно на страницах еженедельника «Фильм, синхаз, мюжика» Иштван Шимон рассказал о работе над своей первой пьесой, премьера которой должна состояться в день национального праздника Освобождения 4 апреля 1975 года.

«Мой тридцатилетний опыт в поэзии,— говорит Шимон,— показывает, что есть впечатления, которые невозможно выразить в стихах. Не случайно древние греки отдавали драме предпочтение перед лирикой. На мой взгляд, воссоздавать объективные жизненные конфликты лучше всего, «проигрывая» их на сцене.

Написанию моей пьесы предшествовала большая работа: изучение теории драмы, знакомство с внутренней жизнью театра, с его законами. В основу пьесы, посвященной теме освобождения, лег мой собственный жизненный опыт, опыт человека, кровными узами связанного с венгерским крестьянством, которое события 1946 года в Венгрии — провозглашение республики, конфискация помещичьих земель и их раздел — сразу сделали участником общественной жизни. Как сложилась судьба моих земляков в последующие тридцать лет, а главное, что произошло в их душах — об этом я и рассказываю».

Перед Иштваном Шимоном всегда стоял пример собственной матери. В селе Бажи, где вырос Шимон, его

мать была первой женщиной, сын которой окончил университет и стал депутатом Государственного собрания. Она гордилась им, а он — ею. Она до последних лет своей жизни оставалась его советчиком и другом.

Хельга Гёринг и Вальфрида Шмитт в телевизионном фильме «Тростник».

(Еженедельник «Зонntаг»)

ГДР

ПРОЗА РАЙНЕРА КИРША

Поэт Германской Демократической Республики Райнер Кирш выступил в новом жанре — издательство «Реклам» выпустило небольшой сборник его прозы под названием «Копии с оригиналов».

Книга содержит, как говорится в аннотации издательства, «три портрета и репортаж». Три рассказа воссоздают портреты крупных ученых: хирурга Шобера, профессора Гильде — специалиста по сварочной технике, философа Лёзера, а репортаж посвящен городу Рослебен. «Райнер Кирш выступает в своей книге как вдумчивый наблюдатель, который занимательно и с большим знанием предмета дает читателю представление о разных областях жизни»,— пишет рецензент журнала «Форум». Писатель прослеживает три разных жизненных пути, рассказывает о том, какую роль играет работа трех ученых, как она связана с экономикой и наукой страны. Следуя основной мысли: ценность человека — в его делах,— Кирш отнюдь не делает своих героев идеальными людьми, он показывает их в разных ситуациях, с их достоинствами и недостатками.

«Сборник Кирша «Копии с оригиналов»,— пишет «Форум»,— интересен больше всего тем, что писатель попытался создать прозу, основанную на подлинности, достоверности. Можно считать, что эта попытка ему удалась».

ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬМ ПО РАССКАЗУ ЗЕГЕРС

Режиссер Иоахим Кунерт и сценарист Ганс Мюнхеберг создали телевизионный фильм «Тростник» по одноименному рассказу Анны Зегерс. Экранное воплощение получила история замкнутой, неразговорчивой девушки Марты Эмрих, проводившей на войну двух братьев и жениха и взвалившей на свои плечи всю тяжелую крестьянскую работу. Приходит известие о гибели жениха и младшего брата. Горе еще больше отделяет Марту от людей. Кажется, что, кроме работы, ничто ее не интересует.

И все же она не может отказать в приюте человеку, которому грозит смертельная опасность. Так Марта сохранила жизнь крупнейшему деятелю антифашистского подполья.

После войны коммунист Курт Штайнер уезжает в Берлин на ответственную работу. Изредка он приезжает, иногда пишет письма. Но горечь разлуки с любимым человеком уже не может ожесточить Марту. Она продолжает мужественно бороться за лучшее будущее всех людей.

В начале и в конце фильма на телевизионном экране появляется актриса, которая читает текст рассказа. Это, по мнению рецензентов, создает определенное настроение, которое подчеркивается удачно подобранной музыкой. Газета «Нойес Дойчланд» называет фильм «Тростник» «очень гармоничным, полным большой поэтической силы».

«Телевизионный фильм довольно точно следует рассказу Зегерс,— пишет обозреватель еженедельника «Зонntаг».—Сжатый, немногословный, со скупыми характеристиками героев, он, однако, по-настоящему трогает зрителя. Без сомнения — это лучшая экранизация Зегерс из всех, которые были у нас до сих пор».

ФРГ

НОВАЯ КНИГА ЗИГФРИДА ЛЕНЦА

Гамбургское издательство «Гофман унд Кампе» выпустило новую книгу Зигфрида Ленца «Дух мирабели. Истории из Боллерупа».

«Двенадцать рассказов маленького тома,— пишет рецензент западногерманской газеты «Франкфуртер альгемайне» Марсель Рейх-Раницкий,— это анекдоты и юморески, цветисто-лукавые жанровые картинки, веселые идиллии, лукавые короткие истории, грациозные наброски, повествующие о сегодняшней жизни маленькой деревушки Боллеруп где-то на севере ФРГ, близ датской границы».

Газета вспоминает в этой связи о раннем сборнике «деревенских историй» Ленца, книге «Так нежна была Зулейкен», которая вышла

в 1955 году и принесла писателю первый большой успех. Но то были воспоминания о довоенном детстве в захолустье. Боллеруп, в отличие от Зулейкен,— не такое уж захолустье. Эту деревушку посещают журналисты и представители разных фирм, здесь выступают писатели и развертываются предвыборные баталии. Боллерупу известны последние сенсации и новинки моды. Автомобиль здесь привычен так же, как в любом городе.

И все же Боллерупу свойственно что-то, чего в городе нет. Здесь, по словам самого Ленца, можно встретить непосредственность чувств и восприятий. Эти особенности деревенских жителей Ленц, по мнению критика, «описывает с любовью, не боясь преувеличений». Ведь и эти шутливые, гротескные преувеличения так или иначе служат ясности, правдивости.

Рецензент особенно выделяет одно, не столь уж частое в современной западногерманской литературе, достоинство книги — «она заставляет нас смеяться».

«Наверно, — заключает он,— деревни Боллеруп, как и Зулейкен, не найти ни в одном географическом атласе. Но она займет свое прочное место на карте литературы».

ТРУДНЫЙ ПУТЬ ПЕТЕРА ФЛЯЙШМАНА

Фильмы западногерманского кинорежиссера Петера Фляйшмана не пользуются коммерческим успехом. Лишь на короткое время появилась в Мюнхене его лента «Несчастье» (сценарий Мартина Вальзера), изображающая политическую, социальную и нравственную жизнь маленького франконского городка. За пределами ФРГ фильм получил известность под названием «Силезские колокола».

В августе 1974 года кинофильм Фляйшмана был показан по западногерманскому телевидению. По этому поводу рецензент журнала «Шпигель» замечает, что «Несчастье» — «один из очень немногих фильмов, в которых чувствуется отнюдь не бесстрастный интерес автора к реальной западногерманской действительности».

Фляйшман приводит своих зрителей к выводу, подчеркивает рецензент, что подлинная атмосфера Западной Германии рождается «не из обманчивого жонглирования сексуальной свободой и либеральными мечтаниями — ее создают руководители концернов, печально известные своей недобросовестностью, ограниченные обыватели, проводящие за пивной кружкой большую часть свободного времени, их беспомощные разоблачители, несостоятельные отцы семейств, матери, производящие слишком уж умиротворяющее впечатление, и что важнее всего — дети, которые отчаянно стремятся противостоять этому мирку и в конце концов устало приспосабливаются к обстоятельствам».

Новый фильм Фляйшмана «Месть Доротеи» был показан недавно в Париже. То, что премьера западногерманского фильма состоялась не в ФРГ, рецензент журнала «Вестерманс монатсхефте» отмечает как факт парадоксальный и единственный в своем роде. «Месть Доротеи» — резкая сатира на «торговлю сексом», в результате которой широкий поток порнографии заполнил экраны и книжный рынок стран Западной Европы. Молодая героиня фильма приезжает из провинции в Гамбург, чтобы вкусить прелести «свободной любви», которая вскоре открывается ей своими неприглядными сторонами. Морально опустошенная, возвращается она в родные места. Фильм Фляйшмана, отмечает критика, поднимает проблему, весьма важную для Западной Германии, страны, производящей и потребляющей «коммерческий секс» в огромных количествах. Он заставляет задуматься о тяжелых последствиях «сексуальной революции», о ее разрушительном действии на человеческую личность.

Кадр из фильма «Месть Доротеи».

(Журнал «Вестерманс монатсхефте»)

ГРЕЦИЯ

ОЖИВЛЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

После ухода с политической арены военной хунты деятельность афинских издательств заметно оживилась, газеты публикуют об-

ширную информацию о готовящихся изданиях. Почетное место уделяется сообщениям об изданиях произведений выдающегося греческого поэта, лауреата Нобелевской премии Георгоса Сефериса (1900—1971). Под редакцией известного греческого филолога Г. Саввидиса уже вышло в свет дополненное издание «Эссе» Сефериса. Готовится к печати вторая часть «Дневника» писателя, а также его единственный роман «Шесть ночей на Акрополе», написанный в 1926—1927 гг. Параллельно с произведениями Сефериса издательство «Икарос» готовит новый сборник стихотворений известного греческого поэта Одиссеаса Элитиса «Единокровные».

Другое крупное афинское издательство «Кедрос» объявило о предстоящем выходе в свет новых книг Янниса Рицоса. Это сборники стихотворений «Стена» и «Бумажные», а также книга очерков о Маяковском, Элюаре, Эренбурге, Хикмете и Аттиле Йожефе. В этом же издательстве Рицос выступит в качестве художника-оформителя при переиздании «Подлинной апологии Сократа» лауреата Международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» Костаса Варналиса.

По сообщениям египетской печати, популярная египетская киноактриса и режиссер Магда (на фото) снимается в комедийном фильме «Прекрасный пол». Актриса исполняет роль женщины-профессора, всецело поглощенной наукой и, казалось бы, чуждой обычным житейским радостям, которая неожиданно влюбляется и становится жертвой своего чувства.

(Журнал «Аль-Изаа ва-т-Тиливизьон»)

ЕГИПЕТ

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ»

Как сообщает египетский журнал «Ат-Талиа», в Каире вышел первый номер «Аль-Маджалля аль-мусикийя» («Музыкального журнала»). Главный редактор нового журнала — доктор Ратиба аль-Хифни.

Как пишет Р. аль-Хифни в редакционной статье первого номера, она решила продолжить дело своего отца, известного музыковеда Махмуда Ахмада аль-Хифни, который еще в 1936 г. основал первый в Египте журнал, посвященный музыке.

ИРАК

НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Уроженец Ирака Абу ат-Тайиб аль-Мутанабби (915—965) — классик арабской поэзии. О нем написано немало исследований как в арабских странах, так и в Европе. Тем не менее в жизни и творчестве аль-Мутанабби остается еще много неразгаданного. Об этом свидетельствует, в частности, книга иракского литературоведа доктора Нури Джафара «Самобытность поэзии Абу ат-Тайиба аль-Мутанабби», опубликованная недавно в Багдаде.

Как пишет литературный обозреватель газеты «Багдад обсервер», д-р Джафар работал над этой книгой семь лет. Его двухлетнее пребывание в Марокко дало ему возможность изучить прежде неизвестные рукописи, касающиеся аль-Мутанабби, и использовать их в своем исследовании.

Книга д-ра Джафара, по мнению рецензента, представляет собой «общее аналитическое исследование поэзии аль-Мутанабби, в котором особое внимание уделяется ее самобытным аспектам». Автор стремится объяснить противоречивый характер деятельности и творчества аль-Мутанабби и найти «психологические и социальные корни этого противоречия».

Обозреватель газеты дает положительную оценку книге д-ра Джафара об аль-Мутанабби — этом популярнейшем арабском поэте, многие цитаты из стихотворений которого давно превратились в крылатые выражения и пословицы.

«МУКИ РОЖДЕНИЯ»

По сообщениям иракской прессы, вышел новый роман Гаиба Туамы Фармана «Муки рождения».

Роман «Муки рождения» завершает трилогию Фармана, посвященную жизни Ирака в двадцатилетие, предшествовавшее антимонархической освободительной революции 1958 года. Первая книга трилогии — «Пальма и соседи» — была посвящена периоду второй мировой войны. Вторая — «Пять голосов» — началу пятидесятых годов. Действие нового романа происходит в период, непосредственно предшествовавший революции.

Романы Фармана имели значительный успех как в Ираке, так и в других арабских странах. «Труппа современного художественного театра» в Багдаде по роману «Пальма и соседи» поставила спектакль, а по мотивам романа «Пять голосов» недавно был снят фильм под названием «Поворот». (Роман «Пять голосов», а до этого некоторые рассказы Фармана были переведены на русский язык, что нашло благоприятный

Юсеф аль Ани в роли поэта Шафира. Сахирил Асад в роли Сабрии в фильме «Поворот».

(Газета «Аль-Джумхурия»)

отклик в иракской прессе — недавно иракская газета «Аль-Джумхурия» опубликовала на своих страницах перевод предисловия к советскому изданию «Пяти голосов».)

крупный специалист по литературе эпохи Возрождения Витторе Бранка (он подготовил уникальное издание недавно найденной, впервые опубликованной второй центурии «Смеси» Анджело Полициано). Под его же редакцией будет выпущено научное издание «Декамерона».

К юбилею великого писателя намечены публикация других его произведений, подготовка биографии Боккаччо и библиографии изданий его книг и исследований его творчества, выставка произведений изобразительного искусства, театральные постановки, концерты, радио- и телепередачи.

В помощь юбилейному комитету учреждена консультативная комиссия, состоящая из заведующих кафедрами итальянской литературы университетов страны, а также крупнейших зарубежных специалистов по творчеству Боккаччо.

Национальное общество Джованни Боккаччо готовит международный конгресс, посвященный судьбе наследия Боккаччо в Италии и во всем мире. Конгресс состоится в мае 1975 г. во Флоренции и находящемся близ нее городке Чертальдо, где жил и скончался Джованни

ИТАЛИЯ

К ЮБИЛЕЮ БОККАЧЧО

В декабре 1975 г. исполняется 600 лет со дня смерти Джованни Боккаччо. Национальный юбилейный комитет, в состав которого входят представители университетов, научных и литературных обществ, муниципалитетов и других организаций, наметил широкую программу празднования юбилея одного из первых европейских гуманистов и родоначальников литературы Возрождения. Многие из намеченных мероприятий уже находятся в стадии осуществления. Две крупнейшие библиотеки Флоренции — Национальная и Лоренцо Медичи — предоставили свои залы для выставки рукописей Боккаччо и документальных материалов, связанных с его жизнью и творчеством. В издательстве «Алинари» готовится факсимильное издание рукописи «Декамерона». Редактор его — известный филолог и текстолог,

---

Новую киноверсию известного романа писателя Джонстона Макколла «Знак Зорро» (в двух предыдущих экранизациях главную роль исполняли Дуглас Фербенкс и Тайрон Пауэл) ставит итальянский кинорежиссер Дуччо Тессари, пригласивший на роль Зорро — таинственного защитника угнетенных — актера Алена Делона. Тессари — постановщик множества приключенческих картин, пользующихся довольно большим успехом. Как заявил режиссер представителям печати, фильм предназначается для самого широкого зрителя, главным образом для подростков. Натурные съемки будут вестись в Мадриде; костюмы действующих лиц и декорации выдержаны в духе рисунков Гойи. На фото исполнители главных ролей в фильме — Оттавия Пикколо и Ален Делон.

(Газета «Унита»)

Боккаччо. Особенности языка Боккаччо, Данте и Боккаччо, образы и сюжеты Боккаччо в музыке, изобразительном искусстве, в театре и кино — вот некоторые из тем юбилейных встреч и конференций. Международный семинар будет проведен и далеко за пределами Италии — в американском городе Лос-Анджелесе. Его организует Калифорнийский университет в октябре 1975 г.

Городские власти Чертальдо проводят большую работу по охране, реставрации и восстановлению памятников и зданий, связанных с жизнью и деятельностью своего великого земляка.

КАНАДА

«ПРОРОКИ»

Недавно опубликованный роман известной канадской писательницы Маргарет Лоренс «Пророки» заслужил признание читателей и критики. Как и в предыдущих книгах Лоренс, действие «Пророков» происходит в вымышленном городке Манавака, прототипом которого послужил родной городок писательницы Манитоба.

Романы Лоренс — это сага о маленьком канадском городке, о его обитателях, их заботах и радостях. Героиня «Пророков» — писательница Мораг Ган, образ, по мнению критиков, во многом автобиографический. Повседневность мешает человеку разобраться в себе, считает Мораг Ган, его личность оказывается связанной многочисленными обязательствами. Сложно складываются отношения Мораг с жителями родного города. Они гордятся ею, прославившей провинциальную Манаваку, и в то же время не понимают Мораг и во многом осуждают. Но героиня не тяготится своим одиночеством, а, напротив, считает его достижением интеллектуальной свободы. Она стремится освободиться от всех человеческих связей и отношений, ибо такую отрешенность она рассматривает как необходимое условие для творчества. Впервые в жизни она достигла той свободы, к которой так стремилась, и перед ней встали вопросы: кто же она, чего она хочет от жизни?

Но это не только роман о самопознании, это и роман о творчестве. Повествование построено на воспоминаниях Мораг Ган. Перед героиней встает ее полное лишений детство (она была сиротой, удочеренной городским мусорщиком), юность, замужество. Воспоминания Мораг раскрывают читателю процесс создания художественного произведения. Маргарет Лоренс показывает, как жизненный опыт писателя, его воспоминания преломляются и синтезируются в продукт творчества. Рецензент журнала «Кенэдиен форум» отмечает, что роман «Пророки» — итог творческих исканий Маргарет Лоренс, отразившей в образе Мораг Ган собственные взгляды на жизнь и на искусство.

КНР

ТЕАТР В КИТАЕ

Китай издавна считался страной театра. «Китайцы бесспорно самый театральный народ! — писал известный советский востоковед академик В. М. Алексеев.— Тот, кто побывал в Китае, подтвердит, что оперные арии своим совершенно исключительным распространением ничуть не уступают народной песне. Все видели, все знают, все напевают. Грязный, в лохмотьях нищий, распевающий арию Чжугэ Ляна из оперы «Хитрость с пустой крепостью» и тут же на улицах играющий его роль,— явление вполне обычное... Более страстных театралов не видел свет!»

Естественно, что Мао и его группа, стремящиеся к господству над умами миллионов китайцев, не могли оставить в стороне такое орудие идеологической борьбы, как театр. Сначала классическая драма подверглась навязанной сверху «реформе» и из нее были изгнаны «студенты и красавицы», «бесы и оборотни», различные носители «феодальной» идеологии, а заодно и все то, что составляло самую ее сущность. «Культурная революция», казалось, стала концом традиционного театра. Множество трупп было расформировано, на смену великому разнообразию прежнего репертуара пришли семь официально апробированных «образцовых революционных пьес». В 1971 г. к ним было добавлено еще пять, подготовленных под личным наблюдением Цзян Цин. Авторы «образцовых пьес» в полной мере использовали условность традиционного театра, чтобы создать «идеальных», с их точки зрения, героев. Но образы получились ходульными и безжизненными. Несмотря на свою «свирепую революционность», они способны были привлечь зрителя только по принципу «на безрыбье и рак — рыба».

Пьесы были отсняты на цветную пленку, без конца показывались в кино, по телевидению. В течение трех лет официально одобренный репертуар фактически оставался неизменным. Но так не могло длиться вечно.

Минувший 1974 год стал годом перемен в китайском театре. Кампания «критики Конфуция и Линь Бяо» подхлестнула рвение китайских печатных органов. Снова поднялась волна восхваления «образцовых революционных пьес», которые именуются не иначе, как «жемчужинами мирового театрального искусства». «Можно предвидеть, — писала газета «Гуанмин жибао» в своей передовице,— что по мере углубления и развития движения критики Конфуция и Линь Бяо, благодаря дальнейшему распространению и популяризации революционных образцовых пьес, сады нашего социалистического искусства несомненно явят собой картину невиданного по пышности бурного рас-

цвета ста цветов и десяти тысяч трав». Была предпринята «пересадка» образцовых пьес на почву местных разновидностей театра, отличающихся целым рядом сценических и драматургических особенностей. Так появился кантонский вариант пьесы «Шацзябан», хэбэйский — пьесы «История красного фонаря» и др. «Образцовые пьесы» в обязательном порядке стали переводиться на языки нацменьшинств Китая, пропагандируя и среди них образ нового героя — «верного бойца председателя Мао».

Однако усталость от «образцовой» драматургии уже дает себя знать. Видимо, поэтому китайское телевидение перешло на своего рода «концертные программы» — собрание отдельных номеров из разных «образцовых пьес». Монополизация театра явно не вязалась и с лозунгом «творчества масс». Поэтому наряду с дальнейшей пропагандой «образцовой» драматургии руководство идеологическим фронтом во главе с Цзян Цин вынуждено было пойти на некоторое оживление театральной жизни. Правда, большинство театров в Пекине по-прежнему закрыто, их здания превращены в общежития, гостиницы и кино. Но весной и осенью в городе прошли театральные фестивали. Зритель наконец увидел новые пьесы.

Не следует думать, что они сильно отличаются от набивших оскомину «образцовых» — ведь те и мыслились прежде всего как эталон, пример для подражания, но неизбалованный разнообразием китайский театрал живо реагирует на все, что хоть чем-то разнится от шаблона, хотя бы намеком напоминает о проблемах реальной жизни. Любопытны пьесы «Борьба на стапелях», «Судим кресло» (сюжет последней в чем-то перекликается с «Двенадцатью стульями» — правда, здесь в кресле спрятаны документы, разоблачающие классового врага). Уже допускаются отступления от канонических стандартов «стального бойца» — главного героя китайской литературы последних лет (например, в пьесе «Судим кресло» положительный герой, старик-бедняк, поет, что он пьян). Часто положительным героем становится женщина. Это, безусловно, связано с определенным поворотом в ходе кампании по «критике Конфуция и Линь Бяо», которых стали обвинять в принижении роли женщины в общественном развитии. Каким образом отразится внутриполитическая борьба в Китае на дальнейшей судьбе театра—сейчас трудно сказать. Пока же на некоторые новые постановки (например, на пьесу «Три посещения деревни Таофэн») уже опустилась критическая дубинка.

ЛИВАН

«КРАСНЫЙ ПАДУБ»

Падуб — небольшое вечнозеленое дерево с острыми колючими листьями и ярко-красными ягодами — символизирует в ливанских народных сказаниях стойкость и упорство. «Красным падубом» назвал свою новую книгу, посвященную героической истории Коммунистической партии Ливана, писатель Мухаммед Дакруб.

По свидетельству еженедельника «Аль-Ахбар», в этой книге писатель «увлекательно и с большой научной точностью развертывает историческую эпопею, предшествовавшую созданию первой самостоятельной организации рабочих, крестьян и революционной интеллигенции 24 октября 1924 года, останавливаясь подробно на связи этой организации — Компартии Ливана — с борьбой всего ливанского народа».

Как сообщает ливанская пресса, режиссер Жорж Наср приступил к съемкам фильма «Человек с юга», в котором рассказывается о тяжелой судьбе тружеников южного Ливана. В одной из главных ролей снимается ливанская актриса Хабиба, настоящее ее имя— Гладис Абу Джауда (на снимке).

(Журнал «Аль-Изаа ва-т-Тилливизьон»)

МАЛАГАСИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПЕРВЫЙ ПОЛНОМЕТРАЖНЫЙ

Специальный приз жюри Динарского кинофестиваля получил первый малагасийский полнометражный игровой фильм режиссера Соло Рандрасаны «Возвращение». Критика отметила, что это правдивое и искреннее произведение.

Бывший крестьянин Ранаиво с женой Рамаво и дочерью Ниво бедствует в трущобах Тананариве. Денег на жизнь не хватает, а из деревни приходит отец и требует денег для празднования «дня предков». В этот день малагасийцы раскапывают могилы родственников, чтобы положить им новые саваны. Ранаиво влезает в долги и дает отцу деньги, но вернувшись с праздника, не может их выплатить и вынужден покинуть Тананариве. Вместе с семьей он отправляется на запад острова, где правительство предоставляет крестьянам землю. Ранаиво легко приспосабливается к новой жизни, он любит землю, любит крестьянский труд, но жена его Рамаво не хочет вновь становиться крестьянкой, она покидает Ранаиво и уезжает в город.

Режиссер фильма С. Рандрасана нашел очень меткие

Кадр из фильма «Возвращение» режиссера Соло Рандрасаны.

(Журнал «Жён Африк»)

и выразительные средства для показа в фильме социального неравенства. Критики отмечают сцену, где бедняк продает пустые бутылки возле кафе «Белый снег», а в кафе в это время малагасийские и европейские буржуа поглощают какие-то деликатесы. Как отмечает рецензент, все точно и правдиво в истории крестьянина Ранаиво, зажатого между силой традиции и эксплуатацией в городе. Ранаиво находит выход в возврате к земле, но показано это так, будто автор своим финалом спрашивает: разве это решение вопроса? Критики упрекают С. Рандрасану в том, что он не дает ответа на им же самим поставленный вопрос, однако единодушно отмечают, что фильм «Возвращение» свидетельствует о том, что малагасийская кинематография станет одной из ведущих в Африке.

МАРОККО

РАЗВИТИЕ НАРОДНОГО ИСКУССТВА

В Марокко уделяется большое внимание развитию народного искусства. Как сообщает иракский журнал «Аль-Изаа ва-т-Тиливизьон», в стране действует более 140 народных ансамблей.

Каждый год в старинном городе Марракеше на площади «Каср аль-бадиа» устраивается фестиваль народного искусства, в котором принимает участие около 30 лучших ансамблей из всех районов Марокко.

Эти фестивали, продолжающиеся обычно две недели, представляют собой подлинный смотр народного искусства арабов и берберов всех областей Марокко.

Сцена из спектакля марокканского народного ансамбля.

(Журнал «Аль-Изаа ва-т-Тиливизьон»)

МЕКСИКА

«Я ПРЕЖДЕ ВСЕГО МЕКСИКАНЕЦ!»

Эмилио Фернандес, выдающийся мексиканский режиссер и актер, в минувшем году отпраздновал свое семидесятилетие. Его фильмы, созданные в содружестве с замечательным оператором Габриэлем Фигероа, «Мария Канделярия», «Рио Эскандидо», «Маклovия» широко демонстрировались на советском экране. Эмилио Фернандес был не раз лауреатом на международных фестивалях в Карловых Варах, где были отмечены премиями его фильмы «Крестьянка» и «Маклovия». На последнем фестивале в Карловых Варах ему вновь была вручена премия за заслуги в развитии мирового кино и за творчество в целом. Здесь же демонстрировался его новый фильм «Отверженная».

«Все созданные мною фильмы, — сказал Фернандес,— являются как бы частью мозаики о жизни мексиканского народа, это относится и к моему последнему фильму, действие которого происходит в не-

проходимых джунглях, полных диких зверей, ядовитых змей и множества насекомых, среди всего этого живет человек. Весь фильм снимался на натуре, так что все звуки джунглей подлинные».

На вопрос, кем он прежде всего является — актером или режиссером,— Фернандес ответил: «Я прежде всего мексиканец! Я счастлив и горд тем, что принадлежу к людям, посвятившим себя такому массовому средству воздействия, каким является кино. И все же мне часто становится не по себе, когда я смотрю фильмы, которые вместо того, чтобы воспитывать и просвещать зрителей, проповедуют безнравственность, деградацию и гибель человечества. Киноискусство обладает огромными возможностями, но наряду с этим и огромной ответственностью. К несчастью, в большинстве своем оно находится в руках бизнесменов, лишенных всякого представления о морали, и поэтому фильм может служить не только добру, но и злу». Далее Фернандес говорит, что для него образцом служит фильм Сергея Эйзенштейна и Эдуарда Тиссэ, посвященный Мексике: «Этим двум великим мастерам я обязан тем, что стал снимать фильмы».

НОРВЕГИЯ

«ПАМЯТНИК ТЕМ, КТО СОВЕРШИЛ ПОДВИГ»

25 октября 1944 г. Советская Армия освободила от фашистской оккупации первый город Северной Норвегии — Киркенес (район Финмарка). С тех пор этот день ежегодно празднуется в Норвегии, а в минувшем 1974 г. он отмечался особенно торжественно в связи с 30-летней годовщиной знаменательного события.

30-летию освобождения Киркенеса посвятили свою новую совместную работу кинематографисты СССР и Норвегии. Фильм «Под каменным небом» — производство Ленфильм — Тимфильм, поставленный режиссерами Игорем Масленниковым и Куртом Андерсеном по сценарию Юрия Нагибина и Сигбьёрна Хёльмебакка,— с успехом демонстрировался на экранах Норвегии. На первом просмотре присутствовал норвежский король, премьера фильма состоялась также в Москве и Ленинграде.

В основу фильма положены подлинные факты. Отступая под ударами Советской Армии, фашисты упорно продолжали проводить свою пресловутую «тактику выжженной земли». Киркенес оккупанты уничтожили почти полностью. Оставшимся без крова жителям было приказано эвакуироваться. Приказу подчинились лишь немногие, большинство же, около двух тысяч человек, вместе с детьми, скотом, домашним скарбом ушли в горы и укрылись в одной из старых шахт. Этих людей спасли советские солдаты, высадившиеся на побережье Северной Норвегии и помешавшие немцам взорвать шахту.

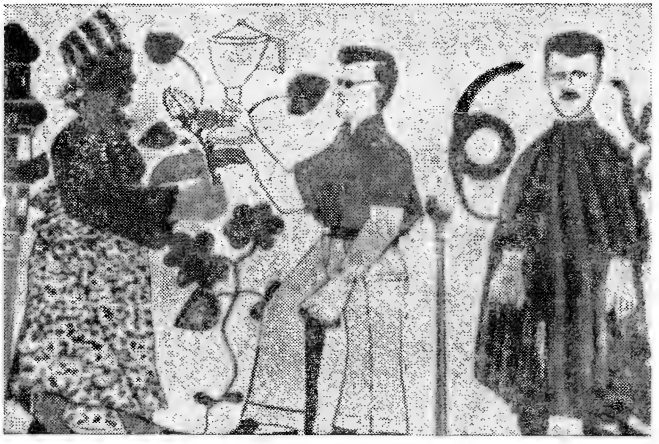
Рецензент газеты «Фрихетен» назвал фильм «памятником тем, кто совершил подвиг в Финмарке в 1944 году», а «Норшенсфламман» поместила на своих страницах воспоминания участников освобождения Северной Норвегии под заголовком «Красная Армия пришла со свободой и хлебом».

«Впереди длинного шествия бледных, истощенных, но счастливых и взволнованных людей ехал на велосипеде мальчик, который первым выбрался из шахты, так долго служившей для всех единственным убежищем. Советские солдаты подняли над шахтой норвежский флаг, и по-русски и по-норвежски зазвучал «Интернационал». Впервые за четыре года норвежцы смогли собраться вместе не под «каменным небом» штрека, а под флагом своей страны». Этот рассказ очевидца Юста Липпе почти буквально воспроизведен в фильме.

НИГЕРИЯ

Художник Муса Йола расписывал стены домов в деревнях Северной Нигерии. Яркие, очень выразительные росписи замечательного художника-самоучки привлекли внимание к его творчеству. Его пригласили сделать стенные росписи в университете им. Ахмаду Белло в городе Зариа. Муса Йола создал в Зарии маленький художественный музей. На снимке: фрагменты стенных росписей Мусы Йолы.

(Журнал «Африкэн артс»)



Для него, как и для многих других норвежцев, те октябрьские дни незабываемы. Член Норвежской компартии со дня ее основания — с 1923 года,— он принял активное участие в событиях 1944 года. После полутора лет, проведенных в шведской тюрьме за нелегальную деятельность, ему удалось перебраться в Шотландию, где в то время формировались норвежские военные группы. В рядах норвежских боевых соединений он переправился в 1944 году в Финмарк, где служил офицером связи. «Большая часть Киркенеса была сожжена, — рассказывает он,—но, благодаря быстрым и решительным действиям Красной Армии, удалось спасти население города от высылки и защитить часть граждан в самом Киркенесе и его окрестностях». «Но не только за уничтожение фашистов мы благодарны советским солдатам, — продолжает Юст Липпе,— они самоотверженно и регулярно снабжали гражданское население и норвежских военных хлебом и другими продуктами. А ведь первый корабль с продовольствием из Англии пришел только 23 января 1945 года!» Далее Юст Липпе отмечает уважение и такт, проявленные советскими освободителями по отношению к народу Норвегии: «Сразу же после изгнания немцев советские товарищи восстановили норвежское гражданское управление и предоставили норвежцам возможность самостоятельно работать, решать свои дела».

И еще один характерный эпизод, рассказанный Ю. Липпе: «Под руководством одного советского офицера я принимал участие в восстановлении первого моста для налаживания прерванных транспортных связей с остальными частями страны... А 15 лет назад, находясь в Новосибирске, в составе норвежской делегации, я встретился с советским инженером, который с увлечением рассказывал нам о проекте строящейся плотины. Это была волнующая встреча — инженер оказался моим «мостовиком» из Киркенеса». Другой активный участник событий в 1944 году, коммунист, доктор Адам Эгеде Ниссен, делясь своими воспоминаниями, подчеркивает:

«Бесчисленными доказательствами солидарности и гуманизма советские солдаты навечно завоевали себе место в сердцах норвежцев. Ни «холодная война» и ни антисоветские кампании, какими бы хитроумными и коварными они ни были, не могут изменить этого и менее всего — в Северной Норвегии».

ПЕРУ

НЕУДАЧА РОМАНИСТА

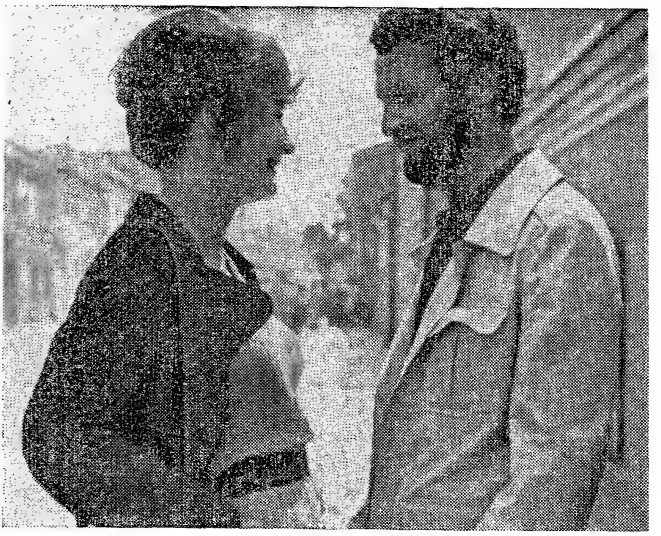
Откликаясь на изданный в Испании последний роман перуанского писателя Марио Варгаса Льосы «Пантелеон и визитерши», латиноамериканская и испанская критика весьма холодно оценивает это произведение. В центре нового произведения — фигура капитана Пантелеона Пантохи, «примерного отца семейства», вымуштрованного солдафона, которому приходится выступать в неблаговидной роли «опекуна» проституток для солдат отдаленных гарнизонов в джунглях. В конце концов оказывается, что Пантелеону отнюдь не в тягость его «миссия» и что он использует ее для грязных делишек.

Рецензент барселонского журнала «Камп де л'арпа» отмечает, что хотя предисловие к роману определяет его как фарс, однако сатира явно не удалась Варгасу Льосе, который, кстати, не раз заявлял, что его «раздражают юмористы» и «юмор — это ирреальность». Игнорирование же перуанским писателем новой ре-

Кадр из фильма «Под каменным небом».

(Газета «Норшенсфламман»)

альности и злободневных тем своей родины, вставшей на новый путь развития, дальнейший отход от реализма в свою очередь ведут, как подчеркивается в рецензии, к «схематичности и нежизненности большинства образов, явно недостаточной психологичности, сентиментализму, языковым штампам... Отдельные смешные эпизоды, связанные с главным героем, отнюдь не могут эту вещь превратить в социальный гротеск».



Иоанна Богацка и Леонард Петрашак в главных ролях в фильме «Линия».

(Журнал «Экран»)

ПОЛЬША

«ДВЕНАДЦАТЬ» ТАДЕУША НОВАКА

Вслед за романом «Черти» («ИЛ» № 3—4, 1975) вышла в свет новая книга Тадеуша Новака «Двенадцать», которая сразу привлекла внимание читателей и критики. На нее откликнулись А. Черминска в еженедельнике «Литература», Януш Термер в газете «Трибуна люду» и писатель В. Жукровский в «Новых ксёнжках».

Роман «Двенадцать» является как бы продолжением «Чертей». Молодые герои этой книги, выросшие в деревне, попадают в город, где начинают «врастать» в новую, непривычную для них жизнь. Этот процесс оказывается трудным и порой болезненным. Но хотя они и не совсем еще освоились в городских условиях, но уже поняли, что мифологизированный, сказочный мир детства, проведенного в деревне, безвозвратно ушел в прошлое.

В своем романе Т. Новак показывает всю сложность психологических и общественно-бытовых проблем действительности конца сороковых годов.

Говоря о своих дальнейших творческих планах, Т. Новак в интервью газете «Трибуна люду» сообщил, что будет писать второй том романа «Двенадцать».

НОВАЯ РАБОТА КАЗИМЕЖА КУЦА

Режиссер Казимеж Куц приступил к съемкам фильма «Линия», в основу которого лег одноименный роман писателя Ежи Вавжака. Его предыдущие фильмы «Соль земли черной» и «Жемчужина в короне», получившие широкое признание зрителей и прессы, посвящены силезским шахтерам. В новом фильме «певец земли силезской» отступает от привычной тематики, это прежде всего фильм политический, повествующий о трудной судьбе партийного работника, присланного в район на должность секретаря.

На вопрос, почему он отошел от прежней тематики, Куц ответил, что из чувства противоречия. В свое время вопреки существующему мнению, что нельзя создать интересный производственный фильм, он снимал фильмы о шахтерах, так и сейчас снимает фильм о партийном секретаре, отражающий важные проблемы современности.

«Я адресую этот фильм,— говорит Куц,— всем молодым людям, которые участвуют в нашей общественной жизни в меру своих сил и возможностей, которые смело объявляют войну бюрократии и косности, какой бы трудной борьба эта ни была».

РУМЫНИЯ

«ИТОГОВЫЕ СБОРНИКИ»

Так озаглавил критик Д. Мику свою рецензию на выпущенные издательством «Эминеску» в серии «Панорама» три обобщающих сборника: «Современный румынский роман», «Современный румынский рассказ» и «Современный румынский репортаж».

Содержание сборников, утверждает рецензент, — убедительное свидетельство динамизма современного литературного процесса в Румынии. Они в равной мере полезны и как антологии, ибо вобрали в себя наиболее характерные произведения минувшего тридцатилетия, и как своеобразные библиографические справочники, и как свод критических высказываний о многих писателях этого периода.

Книги снабжены обширными вступительными статьями. Введение И. Влада к антологии романа (в кото-

рой представлены в той или иной форме 129 книг!) рецензент называет подлинным историческим атласом румынского послевоенного романа. Тщательное исследование истории рассказа, сделанное К. Рекманом, дает основание полагать, что в результате усилий целого отряда высокоталантливых прозаиков этот жанр достиг в Румынии заметных высот, каких он не знал со времен Караджале и Садовяну.

«Все три сборника,— заключает Д. Мику,— убеждают нас в том, что в Румынии развивается подлинная, живая литература, способная внести свой вклад в развитие современной духовной жизни мира».

ВЕЛИЧИЕ КОММУНИСТКИ

По-новому зазвучала пьеса Д. Р. Попеску «Карлик в летнем саду» в постановке театра города Тыргу Муреш. Спектакль оценен по достоинству: ему присуждена премия на фестивале румынской драматургии в честь тридцатилетия со дня освобождения от фашистского ига.

Рецензент журнала «Театрул» В. Мындра отмечал недавно, что пьеса Д. Р. Попеску — «подлинная поэма, возможно, наиболее прекрасное драматическое произведение нашей литературы, вдохновленной коммунистическими идеалами».

Героиня пьесы, коммунистка Мария, схвачена агентами охранки и приговорена к смерти. Но узница ждет ребенка. До его рождения она будет жить. И эти месяцы, подаренные ей судьбой, она превратит в сплошной яростный поединок с тюремщиками, пытающимися сломить ее волю, заставить предать товарищей. Запугивания, унижения, обман — все пущено в ход, но палачи бессильны перед женщиной, посвятившей себя служению будущему. «Мария,— отмечает на страницах «Ромыния литерарэ» Р. Бэдилэ,— персонаж поистине легендарный, необычайной нравственной высоты, близкий героям античной трагедии, но еще более — традициям народного творчества. В ней соединились героизм и поэзия, несгибаемость и женственность, революционный пафос и трезвая мысль».

США

«АВТОБИОГРАФИЯ» КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

Так озаглавлена статья, опубликованная в американском еженедельнике «Нью-Йорк таймс бук ревью» в связи с выходом в свет «Автобиографии» Анджелы Дэвис. По мнению критики, эта «красноречивая и захватывающая книга» знакомит американцев с человеком, имя которого все знают и которому довелось стать наиболее заметной фигурой в истории американского «гражданского неповиновения» 60-х годов.

В период длительного предварительного заключения, получив наконец доступ к тюремной библиотеке, Анджела Дэвис обнаружила в ней несколько книг — след пребывания в той же тюрьме Э. Г. Флинн и других деятелей американского коммунистического движения. Эти книги помогли ей перенести тюремное заключение. «Ее собственная книга,— пишет рецензент Э. Лангер,— предназначена для тех же полок. Она призвана укрепить решимость следующих поколений политических заключенных, подобно тому как «Автобиография» У. Дюбуа и работы других прогрессивных общественных деятелей помогли самой А. Дэвис».

Ион Фискутяну в роли Пасэре, Маринела Попеску в роли Марии.

(Журнал «Театрул»)

Книга рассказывает не только об общественной деятельности А. Дэвис, но и о ее пути к этой деятельности. Она выросла в известном своим расизмом южном штате Алабама, но часто бывала в Нью-Йорке и уже в юности обнаружила контраст между жизнью американского Севера и Юга. Если она стала хорошим социологом и философом, пишет рецензент, к этому были реальные предпосылки в окружавшей ее действительности.

Родители Дэвис были связаны с прогрессивным движением еще с 30-х годов, среди их знакомых было много коммунистов. Будучи ученицей старших классов, Дэвис переехала в Нью-Йорк, где жила в семье белого, бывшего священника, потерявшего приход в период маккартизма. В Нью-Йорке она посещала занятия, которые вела Элизабет Ирвин, одна из лидеров левого движения. По ее словам, знакомство с «Коммунистическим манифестом» было для нее подобно операции, снявшей пелену с глаз. В этой работе она нашла для себя ответы на многие вопросы. Ее собственные мысли и чувства обрели ясность и стройность, ей стали понятны общественные закономерности. В эти годы она была членом местной молодежной коммунистической организации.

В юности Дэвис мечтала стать детским врачом. Студенткой она уехала в Европу, где год изучала французскую литературу. Затем она два года изучала Канта, Гегеля и Маркса в Институте социальных исследований во Франкфурте. Здесь ее работой руководили Маркузе и Адорно.

В 1967 году, захваченная бурными событиями движения за гражданские права, она вернулась на родину. Участие в движении помогло ей выработать собственную точку зрения и преодолеть те ошибочные взгляды на марксизм, которые она привезла из Европы от своих знаменитых учителей. Собственная общественная практика убедила ее в том, что только Коммунистическая партия США способна направить негритянское движение по верному пути. В 1968 году она стала членом Компартии США.

В своей книге, пишет рецензент, Дэвис пытается доказать нам, что ее жизнь и деятельность — типичное и закономерное явление для Америки наших дней. «По-моему, — пишет критик, — это не так. Анджела Дэвис — явление слишком значительное, чтобы сводить его к каким-либо стереотипам, пусть даже к героическим».

ФРАНЦИЯ

МЕМУАРЫ ЖАНА РЕНУАРА

Кинорежиссеру Жану Ренуару скоро исполнится 80 лет. С 1940 г. он живет в Голливуде и в течение последних пяти лет ничего не снимает. Свой последний фильм «Маленький театр Жана Ренуара» он снял в 1969 г. совместно с французским радио и телевидением. В последние годы Жан Ренуар занялся литературной деятельностью, написал роман «Записки капитана Жоржа», пьесу «Орвет» и другие произведения. Его последняя книга называется «Моя жизнь и мои фильмы» (изд-во Фламмариона). В этой книге Жан Ренуар вспоминает всю свою жизнь, начиная с самого детства, затем рассказывает о своем творческом пути, о фильмах, 9 немых и 25 звуковых, созданных им за 45 лет режиссерской деятельности.

Необычайно интересны воспоминания Жана Ренуара о встречах с людьми, оказавшими на него значительное влияние. Среди них: Марсель Паньоль, Жан Жироду, Пьер Ренуар, Жан Габен, Сент-Экзюпери, Чарли Чаплин.

Кинорежиссер Франсуа Трюффо пишет в «Монд» о книге Жана Ренуара, отмечая «раскованность, точность, благородство, своеобразие киномемуаров одного из старейших деятелей французского кино».

ЮБИЛЕЙНАЯ ВЫСТАВКА ЖАНА ЭФФЕЛЯ

Три месяца в Музее искусства и истории города-спутника Парижа Сен-Дени была открыта выставка французского художника Жана Эффеля, посвященная 40-летию его творческой деятельности.

Четыре десятилетия назад Жан Эффель начал помещать в парижских газетах и журналах свои сатирические рисунки. С тех пор им сделано более 15 тысяч рисунков на злобу дня, выпу-

---

Умер один из лучших комиков французского кино Франсис Бланш. Одно его появление на экране уже вызывало смех. Но Франсис Бланш был не только киноактером. Он был одним из авторов многих телевизионных и радиопередач, писал киносценарии. Песню «Пленник» он написал специально для Эдит Пиаф.

После того как на экраны вышел знаменитый фильм «Бабетта идет на войну», Франсис Бланш стал для всей Франции «папашей Шульцем».

Журнал «Пари-матч» в статье, посвященной его смерти, пишет, что он хотел умереть, как Мольер — на сцене. В общем, так и получилось. В больницу, где он скончался, его привезли со съемок. На снимке: Франсис Бланш на съемках своего последнего фильма.

(Журнал «Пари-матч»)

щено около сорока книг-альбомов, среди которых всемирно известными стали «Роман об Адаме и Еве» и «Сотворение мира».

На выставке в Сен-Дени было представлено 225 рисунков, карикатур и других произведений Жана Эффеля. Проходя по залам музея, зрители как бы листали иллюстрированный учебник новейшей истории, написанный остроумным сатириком-журналистом, который всегда на протяжении этих сорока лет оказывался на переднем крае борьбы за интересы трудящихся, оставаясь при этом большим художником в самом высоком смысле этого слова. «Другого такого рисовальщика нет,— писал о нем Андре Вюрмсер в «Юманите». И добавлял: — Ни одного политического промаха за 40 лет плодотворнейшей деятельности этого веселого парижского гамена, который и сам умеет смеяться над чем угодно, и людей умеет заставить смеяться над чем угодно, даже над богом».

Сцена из спектакля «Фрёкен Юлия». Слева направо: Сольвейг Тернстрём в роли фрёкен Юлии, Бёрье Альстед в роли Жана и Маргарета Бюстрём в роли Кристины.

(Газета «Ню даг»)

ШВЕЦИЯ

«ФРЁКЕН ЮЛИЯ», ОСВОБОЖДЕННАЯ ОТ СТРАСТЕЙ

«Трагедия Стриндберга «Фрёкен Юлия» относится, несомненно, к классике шведской литературы: ее часто играют любительские коллективы и выбирают для парадных представлений профессиональные театры, ее толкуют и перетолковывают, экранизируют и танцуют в балете. Но из этого несметного количества разнообразных воплощений возникает одна и та же стандартная и одноплановая картина: драма в господской усадьбе, где непреодолимость классовых границ дает страстям опасный поворот. Так это с большим успехом до сих пор и игралось шведскими театрами: столкновение характеров и темпераментов, мрачная игра роковых страстей».

Процитированный абзац принадлежит критику Перу Люсандеру, рецензирующему в газете «Ню даг» новую постановку «Фрёкен Юлии» в стокгольмском театре «Драматен», которая, по мнению критика, впервые на шведской сцене дает более глубокое толкование стриндберговской трагедии. «Демонизм, борьба полов, эротические страсти — вот три удобных ключика, которыми до сих пор пытались открыть «Фрёкен Юлию» (да частично и другие произведения Стриндберга),— продолжает Пер Люсандер.— Конкретная историческая атмосфера пьесы заменялась туманно-неопределенным «усадебным миром», а сама пьеса трактовалась как разоблачение феодально-сословного общества. Такая трактовка, естественная для буржуазно-радикальной критической мысли, глубоко закрепилась в истории литературы и в истории театра». Однако, считает П. Люсандер, «Фрёкен Юлия» содержит гораздо больше критики врывающегося на историческую арену капитализма, чем феодализма, и именно это, как отмечает критик, понял режиссер Ларс Йоран Карлсон, открыв своей постановкой возможность по-новому прочесть и увидеть Стриндберга. Это достигается в первую очередь с помощью совершенно неожиданного, непривычного толкования образа Жана, слуги фрёкен Юлии и одного из главных персонажей пьесы. Уже не полукрепостной, а наемный работник, он мыслит категориями капитализма и говорит языком буржуазии. Он продает свой труд лишь до поры до времени, пока сам не сможет стать покупателем, господином. Но оказывается, что подняться на более высокий социальный уровень (к чему он так стремится) вовсе не означает подняться на более высокую нравственную ступень, скорее, наоборот. Он по собственной воле никому не причинит зла, но будучи уже человеком новой, буржуазной эпохи, он в большей мере подчиняется ее законам и логике, чем своей собственной воле, и становится невольной причиной зла.

Называя постановку Ларса Карлсона «почти сенсационной», Пер Люсандер пишет в заключение, что она «показывает, какого Стриндберга мы были лишены все эти годы и как давно мечтали такого Стриндберга увидеть на сцене».

На всех языках

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ИТАЛИИ

«Серия, которая заслужила похвалу «Правды», «Литературной газеты», «Известий» и самой квалифицированной итальянской критики» — под таким заголовком в итальянской печати отмечается выход в свет переводов романов советских авторов — Георгия Маркова, Чингиза Айтматова, Юрия Бондарева, Василя Быкова. Их произведения в серии «Советские и восточноевропейские прозаики» публикует крупное издательство Мурсия. Каждый очередной том издательство сопровождает лаконичной, но тщательно подготовленной и весьма благожелательной аннотацией. Так, роман Г. Маркова «Строговы» издательство называет «посланием истины, скромным и в то же время возвышенным»; в аннотации на повесть В. Быкова «Последние три дня» («Сотников») отмечается ее глубокий психологизм; самая лестная оценка дается трем «коротким романам» (так итальянцы часто называют повести) Ч. Айтматова — «Прощай, Гюльсары», «Джамиля» и «Белый пароход»; о романе Ю. Бондарева «Горячий снег» говорится, что это «роман, исполненный правды, далекий от всякого искушения риторики». Изданием романов этих писателей издательство Мурсия начало важное и серьезное дело ознакомления итальянского читателя с современной советской прозой. Выход каждого очередного тома этой серии — несомненно, значительное событие в литературной жизни Италии и в деле дальнейшего культурного сближения между советским и итальянским народами.

Издательство ТЕТИ вслед за широко известными книгами «Письма приговоренных к смерти участников европейского Сопротивления» и «Последние письма из Сталинграда» выпустило перевод изданного в Советском Союзе сборника «Говорят павшие герои». Это собрание посланий советских партизан и солдат, написанных перед смертью, рисует нравственный портрет народа, единого в борьбе в защиту социализма во всем мире, пишет газета «Унита» в обширной рецензии, посвященной сборнику. Автор рецензии, подчеркивая как документально-историческое, так и морально-политическое значение сборника писем павших советских героев, отмечает и большую информационную, познавательную ценность этой книги, снабженной к тому же богатейшим справочным аппаратом для итальянского читателя, желающего узнать правду о второй мировой войне.

Внимание критики — и литературной, и кинематографической,— а также широких читательских кругов продолжает привлекать вышедший в издательстве Де Донато перевод работы Виктора Шкловского о Сергее Эйзенштейне. Это новое произведение хорошо известного в Италии советского писателя в итальянском издании носит такое название: «Его Величество Эйзенштейн. Биография выдающегося деятеля».

Широкий интерес в Италии к современной советской поэзии нашел отражение в программах итальянского радио. На студии в Турине идет запись цикла радиопередач, посвященных советской поэзии наших дней. Этот цикл подготовлен Курцией Феррари для постоянной рубрики итальянского радио «Поэзия в мире». Цикл «Новая поэзия Советского Союза» состоит из пяти передач, в которые включены наиболее характерные и значительные стихотворения советских поэтов, отобранные автором передачи, а также творческо-биографические очерки — портреты ряда советских поэтов. Так, первая радиопередача посвящается творчеству Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского; вторая — Белле Ахмадулиной; в третьей идет речь о стихах Роберта Рождественского, Александра Яшина и Юстинаса Марцинкявичюса; в четвертой рассказывается о покойном армянском поэте Паруйре Севаке, о творчестве Владимира Цыбина и латышского поэта Ояра Вациетиса; пятая — последняя — передача знакомит итальянцев со стихами Виктора Сосноры.

Издаваемый в Риме двухмесячник «Джорнале де поэти» напечатал стихи Расула Рза (Азербайджанская ССР), Джубана Мулдагалиева (Казахская ССР) и Мирсанда Миршакара (Таджикская ССР).

◆

Авторы этого номера

ТАДЕУШ НОВАК — TODEUSZ NOWAK (род. в 1930 г.).

Польский поэт и прозаик. Окончил Ягеллонский университет, факультет польской филологии. Дебютировал в 1948 г. на страницах польской литературной печати как поэт. В 1953 г. выступил с томиком стихов «Учусь говорить» («Uczę się mówić»), затем выпустил еще несколько поэтических книг, в том числе «Пророки уже уходят» («Prorocy już odchodzą», 1956), «Домашние псалмы» («Psalmy na użytek domowy», 1959), «Зернышко травы» («Ziarenko trawy», 1964), «Белее чем снег» («Bielsze nad śnieg», 1971), «Псалмы» («Psalmy», 1971). В 1962 г. вышел его сборник рассказов «Пробуждения» («Przebudzenia»). С тех пор Т. Новак, не оставляя поэзию, все чаще обращается к рассказу и роману. После повести «Этакая богатая свадьба» («Takie większe wesele», 1966) вышел роман «А как королем, а как палачом будешь» («A jak królem, a jak katem będziesz», 1968), который принес писателю широкую известность и за который был удостоен в 1971 г. премии министра культуры и искусства. Все творчество Т. Новака посвящено жизни польской деревни, быт которой он наблюдал с детства — писатель родился и вырос в крестьянской семье.

В последние годы Т. Новак неоднократно отмечался государственными премиями.

Мы знакомим читателей с его творчеством, публикуя роман «Черти» («Diabły». Warszawa, Czytelnik, 1971) который благожелательно встречен польской критикой.

■

СТАРОСЕЛЬСКАЯ КСЕНИЯ ЯКОВЛЕВНА.

Советский переводчик с польского. В ее переводах вышли: повесть А. Рудницкого «Белая» роман В. Маха «Агнешка, дочь Колумба» (совместно с Л. Тоомом), рассказы Я. Ивашкевича, К. Филиповича, С. Зелинского, главы из неоконченного романа М. Домбровской «Приключения мыслящего человека» и другие произведения.

■

УОЛТЕР МЭККИН — WALTER MACKEN (1915—1968).

Ирландский писатель, актер, режиссер, драматург. Автор многих романов, в числе которых «Погаси луну» («Quench the Moon», 1948), «Я — один» («I Am Alone», 1949), «Закат в окнах» («Sunset on the Window Panes», 1954), трилогия «В поисках земли обетованной» («Seek the Fair Land», 1959), «Молчаливый народ» («The Silent People», 1962), «Жестокий ветер» («The Scorching Wind», 1964) получили известность за пределами Ирландии. Его перу принадлежат пьесы «Дом Манго» («Mungo's Mansion», 1946), «Собственность без владельца» («Vacant Possession», 1948), «Сумерки воина» («Twilight of a Warrior», 1956), «Герой вернулся домой» («Home is the Hero», 1953). Нередко он осуществлял постановку своих пьес и выступал в них в качестве актера.

На русский язык переведен лучший его роман «Ветер сулит бурю», сборники рассказов «Зеленые горы», «Лодочные станции», «Бог создал воскресенье».

Публикуемый рассказ взят из сборника «Куколка» («Coll Doll», Dublin, Gill and Macmillan, 1969). Он войдет в книгу «Современная ирландская новелла», которую выпускает издательство «Прогресс».

МИТИНА СУЛАМИФЬ ОСКАРОВНА.

Советский переводчик с английского. В ее переводах выходили произведения Грэхема Грина, Трумэна Капоте, Шона О'Кейси, Теннесси Уильямса и многих других англоязычных авторов.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — VITĚZSLAV NEZVAL (1900—1958).

Чешский поэт, народный художник Чехословакии, один из крупнейших представителей европейской революционной поэзии XX века. С 1924 г. член компартии Чехословакии. Его первый поэтический сборник «Мост» («Most») вышел в 1922 г. Затем последовали книги стихов «Пантомима» («Pantomima», 1924), «Маленький розовый сад» («Menši růžová zahrada», 1926), «Обратный билет» («Zpáteční lístek», 1933), «Пять минут за городом» («Pět minut za městem», 1939), «Крылья» («Křídla», 1952), «Васильки и города» («Chrpy a města», 1955) и другие. Перу Незвала принадлежат также поэмы «Удивительный кудесник» («Podivuhodný kouzelník», 1922), «Эдисон» («Edison», 1928), «Сигнал времени» («Signál času», 1931), «Песнь мира» («Zpěv míru», 1950), «Из родного края» («Z domoviny», 1951), а также прозаические и драматургические произведения. В. Незвал был не только поэтом и драматургом, но одаренным композитором и живописцем. В 1951 и 1953 гг. был удостоен Государственной премии, в 1953 г. награжден Золотой медалью Всемирного Совета Мира.

На русский язык переведено много поэтических произведений В. Незвала. Дважды выходили объемные однотомники избранных произведений поэта, его стихи неоднократно печатались на страницах «Иностранной литературы».

Мы публикуем с сокращениями воспоминания В. Незвала «Из моей жизни» («Z mého života», Praha, Československý spisovatel, 1959).

БЕРНШТЕЙН ИННА АБРАМОВНА.

Советский литературовед, критик и переводчик, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького АН СССР. Автор книг «Творческий путь Марии Пуйманової» (1961), «Литература социалистической Чехословакии» (1965), «Творческий путь К. Чапека» (1969), «Бравый солдат Швейк» Ярослава Гашека» (1971), многих статей по проблемам литературы Чехословакии и ряда переводов произведений чешских писателей.

ЛЕРЕР ЛИДИЯ ИВАНОВНА.

Советский переводчик современной художественной литературы со славянских языков (чешского, словацкого, болгарского). В ее переводах советский читатель познакомился с произведениями Б. Бржезовского, А. Плавки, Э. Станева, Д. Талева, К. Калчева и др.

МИКЕЛАНДЖЕЛО БУОНАРРОТИ, иначе— МИКЕЛАНЬОЛО ДИ ЛОДОВИКО ДИ ЛИОНАРДО ДИ БУОНАРРОТО СИМОНИ — MICHELANGELO BUONARROTI (1475—1564).

Итальянский скульптор, живописец, архитектор и поэт — величайший художник эпохи Возрождения, чьи произведения знаменуют собой одну из вершин мировой художественной культуры.

ВОЗНЕСЕНСКИЙ АНДРЕЙ АНДРЕЕВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский поэт. Автор многих сборников стихов, в том числе «Треугольная груша» (1962), «Ахиллесово сердце» (1966), «Тень звука» (1970), «Взгляд» (1972), «Выпусти птицу» (1974), драматургических произведений «Антимиры» и «Поэтория» (музыка Р. Щедрина).

Стихи А. Вознесенского переведены во многих странах мира, он избран почетным членом Американской Академии искусств и Баварской Академии искусств.

ШЕРЛАИМОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА.

Советский литературовед и критик, доктор филологических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения АН СССР, автор монографий по литературе Чехословакии: «Станислав Костка Нейман» (1959), «Иржи Волькер и новые черты чешской прозы XX века» (1965), «Витезслав Незвал» (1968), «Чешская поэзия XX века (двадцатые и тридцатые годы)» (1973) и ряда статей по современной чешской и словацкой литературе.

ВАГАПОВА НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА.

Советский литературный критик, переводчик с сербско-хорватского и словенского, научный сотрудник Института истории искусств Министерства культуры СССР. Автор статей по вопросам югославской литературы, драматургии и театра.

■

СТАНИСЛАВ ЛЕМ — STANISŁAW LEM (род. в 1921 г.).

Польский писатель, один из видных представителей современной философской фантастики, мастер сатирического гротеска. Окончил медицинский факультет Краковского университета. Работал при кафедре психологии, занимался историей и теорией науки. Литературную деятельность начал в 1946 году, выступал со стихами и рассказами. Ныне автор многочисленных научно-фантастических произведений, в которых рассматриваются возможные социальные последствия развития науки и техники книг эссе по философским проблемам кибернетики, космонавтики, эвристики, футурологии.

Произведения С. Лема переведены на многие языки мира, пользуются большой популярностью в нашей стране. На русском вышли книги: «Астронавты», «Магелланово облако», «Эдем», «Вторжение с Альдебарана», «Возвращение со звезд» (предисловие космонавта Г. С. Титова), «Солярис» (и одноименный фильм), «Непобедимый», «Высокий замок», «Сумма технологии» и другие.

Мы публикуем фрагменты из книги «Идеальный вакуум» («Doskonała proznia» Warszawa, Czytelnik, 1971).

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, В. Д. ЗОЛОТАВКИН (отв. секретарь), **И. Ф. ЗОРИНА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, Т. А. КУДРЯВЦЕА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ** (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, С. П. ЧЕРНИКОВА, К. А. ЧУГУНОВА** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: Москва 109017. Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Сдано в набор 5/I 1975 г. А 04566. Подписано к печати 7/II 1975 г.
Бумага 70×108 1/16=9 бум. л. 18 п. л. (25,2) усл. п. л.+1 вкл. Уч.-изд. л. 27,38.
Тираж 600.000 экз. (1-й завод 1—400.000 экз.) Зак. 43.

Журнал выходит один раз в месяц.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394